К. Паустовский

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ

Константин Паустовский

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

В ШЕСТИ ТОМАХ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1958

Константин Паустовский

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ ЧЕТВЕРТЫЙ

МАЛЕНЬКИЕ ПОВЕСТИ
РАССКАЗЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва 1958

МАЛЕНЬКИЕ ПОВЕСТИ



СУДЬБА ШАРЛЯ ЛОНСЕВИЛЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Шарль Лонсевиль, инженер по литью пушек, был взят в плен во время отступления из Москвы наполеоновской армии. У Лонсевиля была отморожена нога. Старый мундир пропах гарью пожарищ, глаза слезились от блеска снегов.

Несколько раз за время жизни в России Лонсевиль упоминал, что был когда-то бонапартистом.

Он был благодарен Бонапарту, бросавшему его как незаметную частицу своей армии из Ломбардии в Моравию и из Пруссии в Россию.

Произнося слово «бонапартизм», Лонсевиль вспоминал вечера Венеции, каналы на окраинах, где артиллеристы купали лошадей, дубовые леса Германии, горячую кровь, капавшую в сырую траву, дым сражений, застилавший полевые дороги и реки...

В плену Лонсевиль понял, что прошлое убито окончательно и возврата к нему нет.

В 1810 году Лонсевиль встретил в почтовом дилижансе по пути в Гренобль высокую и тонкую женщину с живыми глазами. Ее сопровождал кавалерийский офицер в пыльном мундире и мягких сапогах, обшитых мехом. Была зима. Дилижанс поминутно застревал в грязи. Ночью ехать стало невозможно. Остановились в ближайшей деревне, где в кабачке нашлось чудесное

вино. Офицер топил камин можжевельником и хвалил сырой ветер, дувший с Альп. Женщина дремала. Почти всю ночь офицер болтал с Лонсевилем. Потом Лонсевиль уснул и сквозь сон слышал, как офицер сказал женщине суровым тоном наставника:

— Мой молодой друг, пределом глупости является желание повторить вчерашний день.

Утром Лонсевиль вспомнил во всех мелочах ночную болтовню, и она показалась ему блестящей и увлекательной. Расставаясь со своими спутниками, Лонсевиль узнал их имена. Женщина оказалась молодой поэтессой Марией Трините. Имя офицера он забыл.

Год спустя Лонсевиль посетил Марию Трините в Париже. Она читала ему стихи о подорожнике и звоне колоколов над Луарой. Через три месяца девица Трините стала женой Лонсевиля. С ней он прожил всего две недели, потом начались походы.

Изредка он получал от нее письма и читал их в пыльных палатках. Жена писала о жестоком времени, одиночестве, вытоптанной солдатскими конями Европе. Лонсевиль улыбался — за тягостью походов он видел победы. Но они не пришли. Пришли разгром и плен.

Лонсевиль сначала жил в Калуге. Затем его отправили на пушечный завод в Петрозаводск.

Путь был уныл. У Лонсевиля осталась память о тусклых реках и молчаливых людях, глядевших на француза с покорностью.

Приезд его в Петрозаводск совпал с посещением завода императором Александром. Царь медленно обошел закоптелые низкие мастерские. Он взял молот у кузнеца, три раза ударил по раскаленному стволу пушки и помахал в воздухе бледной рукой с длинными, будто оттянутыми искусственно, пальцами. Потом он вышел во двор, где у пруда толпой стояли рабочие, лениво вынул золотую монету и швырнул ее в пруд. Тотчас несколько рабочих бросились в воду в одежде, и один из них вынырнул с монетой в зубах.

— Молодец! — внятно сказал царь, вытирая руки мягким фуляром: на пальцы попали брызги прудовой тухлой воды.

— Рад стараться, ваше величество! — хрипло прокричал рабочий.

Лонсевиль смотрел на царя с отвращением и гневом. Так вот каков этот «брат», а потом соперник Бонапарта, метавшийся по своей стране, как мечется рыба с порванным плавательным пузырем!

ГЛАВА ВТОРАЯ

Вскоре после переезда в Петрозаводск Лонсевиль был вызван к начальнику завода, оберберггауптману [1], англичанину Адаму Армстронгу.

Стояла осень. Черные реки — Неглинка и Лососинка — проносили через город желтые березовые листья и нагромождали их в пышные кучи около зеленых от гнили плотин.

Столбы тусклого пламени из доменных печей озаряли по ночам мертвый город, и в освещении этом он чудился Лонсевилю бредом. Зарево выхватывало из кромешной темноты куски незнакомой и угнетавшей Лонсевиля жизни: страшные усы будочника, поломанные мосты, мокрый нос пьяного, оравшего песню: «Не знаешь, мать, как сердцу больно, не знаешь горя ты мово», обрывки афишек, извещавших, что в знак посещения завода государем с рабочих будут отчислять по две копейки с заработанного рубля на сооружение церкви в слободе Голиковке.

Армстронг жил в губернаторском доме, построенном двумя полукружьями по обочинам площади, заросшей травой. Дом был благороден и прекрасен, как и все творения зодчего Растрелли.

Лонсевиль долго не мог припомнить, в каком городе он видел подобное здание. Потом вспомнил и улыбнулся. Конечно, в Веймаре, куда они входили июньским утром. Как можно забыть запах воды и лип

---

[1] Оберберггауптман — высший чин инженера по горному делу в XVIII веке. (Подстрочные примечания принадлежат автору.)

и росу, падавшую с ветвей на сукно серых мундиров! Как можно забыть дым жаровен и золотую пену — ее приходилось с силой сдувать с тяжелых пивных кружек! Как можно забыть дом Гете, где в тишине, среди бальзаминов, рождались мысли, волновавшие лучшие умы Европы!

Воспоминание о Веймаре являлось, пожалуй, последней вспышкой детского бонапартизма. Портрет императора был потерян во время отступления, и новые мысли волновали Лонсевиля — мысли о странной стране, где он находился.

Армстронг принял Лонсевиля в темном кабинете, загроможденном, как старая кузница, образцами изделий завода — ядрами, кандалами, гирями и моделями пушек.

Армстронг был толст и сумрачен. Губы его подергивались неопределенной усмешкой.

Разговор пришлось вести через старичка переводчика, гувернера детей Армстронга, — англичанин плохо знал французский язык.

— Я докладывал императору о вас, — пролаял Армстронг, не глядя на Лонсевиля. — Его величество повелел оставить вас на заводе до окончания войны и, буде вы покажете старания и опыт в своем деле, заключить с вами контракт на работу в дальнейшем. Вы назначаетесь в литейную мастерскую помощником пушечного мастера Кларка.

— Я пленный, — горячо ответил Лонсевиль. — До окончания войны я принужден жить и работать здесь, но ничто в дальнейшем не заставит меня остаться в этой жестокой стране.

Армстронг поднял темные веки и тяжело взглянул на Лонсевиля. Тот невольно отвернулся. В этом англичанине все — вплоть до припухлых век и редких бакенбард — казалось отлитым из чугуна. С чугунной усмешкой Армстронг порылся в ящике стола, вынул горсть мелких бляшек и разложил их перед собой.

— Последствия свободы, равенства и братства столь очевидны и отвратительны, — сказал он, перебирая бляшки, — что жестокость необходима. Вы — джентльмен, и я хочу говорить с вами свободно. Рос-

сию можно назвать страной не столь жестокой, сколь несчастной. Беззаконие господствует сверху донизу — от приближенных венценосца до последнего городничего. Вот небольшой тому пример: в разгар войны, когда ядра были нужнее хлеба, я получил приказ изготовлять в числе прочих вещей железные пуговицы с гербами всех губерний Российской империи.

Армстронг придвинул бляшки Лонсевилю. Рука его тяжело прошла по столу, точно он толкал стальную отливку.

Лонсевиль рассеянно взглянул на пуговицы с орлами, секирами и летящими на чугунных крылышках архистратигами и потер лоб, — разговор с англичанином раздражал его и вызывал утомление. Этим утром в литейном цехе он видел обнаженного до пояса старика рабочего, со спиной, исполосованной синими шрамами.

То были следы порки.

— Вы — британец. Вы — сын страны, кричащей на всех перекрестках об уважении к человеку, — Лонсевиль взглянул на крутой лоб Армстронга, — как можете вы сносить порку?

Армстронг встал, давая понять, что разговор, принявший острый характер, окончен.

— Мне нет дела до чужих законов, — промолвил он сухо. — Я думаю, что в армии Бонапарта тоже было принято хлестать плетьми лошадей, чтобы заставить работать, а не кормить их сахаром. Мой знаменитый предшественник, начальник завода, шотландский инженер и кавалер Гаскойн, потребовал у царского правительства полной независимости от русских властей. Только благодаря этому он создал завод и ввел самый рачительный карронский способ литья чугуна [1] в воздушных печах.

Армстронг проводил Лонсевиля до дверей кабинета и пригласил в ближайшее воскресенье к себе на бал. Балы Армстронга славились по Олонецкому краю обилием еды, пышностью и скукой.

---

[1] Карронский способ литья чугуна — плавка руды горячим воздухом. Впервые был введен на Карронском литейном заводе в Шотландии.

Лонсевиль вышел. Ветер с Онежского озера доносил запах мокрой сосновой коры. По черной озерной воде плавала мертвая карта северного звездного неба.

Только к рассвету, когда озеро покрылось редкими хлопьями чаек и рыбачьих парусов, Лонсевиль уснул. Тоска по Франции, по ветру с Альп мучила его в эту ночь с особой силой.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Гувернера детей Армстронга звали Филипп Бараль. Он был француз, родом из Эльзаса. Подружившись с Лонсевилем, старичок выболтал ему невеселую историю своей жизни.

В 1765 году его старший брат, негоциант, получил от императрицы Екатерины разрешение возвести на месте закрытого чугунолитейного завода в Петрозаводске, построенного еще при Петре, небольшую жестяную фабрику. Брат вызвал Филиппа из Эльзаса и поручил ему вести счетоводство. Фабрика изготовляла из сибирской руды жестяную посуду, серпы, наперстки и стальные кирасы.

Бараль с восхищением вспоминал парады кирасирских полков в. Петербурге в новеньких баралевских кирасах.

— Мы зажгли на этой холодной стали солнце Прованса! — кричал он пронзительно, как все глуховатые люди, и утирал остренький нос коричневым платком.

Через несколько лет фабрика пришла в упадок: русское правительство отказалось отпускать Баралю сибирскую руду. Бараль-старший вернулся во Францию, где был убит во время революции. Бараль-младший остался распродавать фабричное имущество. Связь с Францией была потеряна, и старик поступил конторщиком на Александровский завод. В то время его восстанавливали, и адмирал Грейг привез на завод из Шотландии множество инженеров, мастеров и художников во главе с кавалером Гаскойном.

Гаскойн умер несколько лет назад, но до сих пор Бараль с ужасом вспоминал этого «бесноватого англичанина». По его словам, Гаскойн был груб, жаден и нетерпим. Не было такого порока, которого бы старик не приписал Гаскойну. Он даже считал его виновником своей глухоты. Помилуйте, разве можно производить такие дикие пробы новых пушек, какие придумал Гаскойн?!

Пробы эти назывались «тягчайшим аглицким коронным испытанием». В пушку забивали порох, пыжи и пять ядер — последнее ядро торчало из дула — и стреляли, полагаясь на милосердие святой девы. Иные пушки разлетались в куски. Во время одного из взрывов погибло трое рабочих, а Бараль оглох на левое ухо. И во всем этом был виноват Гаскойн.

Лонсевиль заинтересовался Гаскойном. Имя его повторялось на заводе ежеминутно.

Болтовне пустого и раздражительного гувернера Лонсевиль доверял очень мало, особенно после того, как узнал, что Бараль — роялист. Когда пришло известие о битве при Ватерлоо, в страшный день падения Бонапарта, Бараль устроил для себя праздник. Он надел шелковый камзол, кружевной галстук с вышитыми серебром королевскими лилиями и пошел гулять на набережную. Он постукивал палкой по мшистым валунам и размышлял о плеяде Людовиков, создавших из Франции прелестный рай для легкомысленных вельмож и женщин.

Если бы Лонсевиль не был артиллерийским инженером, он занялся бы составлением биографий замечательных людей. Любимой его книгой всегда оставался Плутарх.

Лонсевиль любил распутывать историю чужих существований, как клубок свалявшихся ниток. Он справедливо считал, что нет ни одной, даже самой ничтожной, человеческой жизни, где не отражалась бы эпоха, то блистательная, то грубая и жестокая, как империя Александра.

Склонность Лонсевиля к изучению биографий вызывала симпатии к нему среди окружающих. Следуя своему влечению, Лонсевиль любил беседовать

с людьми различных общественных ступеней и молча выслушивать исповеди, давая каждому право считать себя его мимолетным другом и наперсником. В свободные часы Лонсевиль думал над всем услышанным, и лицо его приобретало холодное и острое выражение. Он совсем не был так человеколюбив без разбора, как то могло показаться на первый взгляд.

На Александровском заводе из трех занимавших его людей — Гаскойна, квартирного хозяина, литейщика Мартынова, и чернорабочего, старика Костыля, — Лонсевилю удалось узнать кое-что лишь о Гаскойне и Мартынове. От Костыля Лонсевиль ничего не мог добиться.

На лбу и щеках у Костыля были выжжены три буквы: В, О и З. В ответ на расспросы Лонсевиля Костыль поглядывал испуганно и дико.

Мартынов же побаивался посвятить Лонсевиля в тайну Костыля, мало пока доверяя французскому офицеру.

Гаскойн оказался совсем не таким, каким он чудился жалкому гувернеру. Этот спокойный светлоглазый шотландец был по натуре реформатором и воротилой-дельцом. Он создал на развалинах Петровского завода лучший пушечный завод в России, названный Александровским. Он ввел карронский способ литья в воздушных печах и начал работать на английском угле.

Он добился больших прав и не терпел ни малейшего вмешательства в дела завода. Он холодно третировал немудрых олонецких губернаторов и окружил себя армией соотечественников — англичан. Он потребовал для себя две тысячи пятьсот фунтов стерлингов в год и крупной доли из прибылей завода. Бергколлегия[1] согласилась. Гаскойн стал неограниченным правителем завода и почти всего Олонецкого края.

Доходы завода росли с неслыханной быстротой. Это объяснялось просто. Гаскойн ввел много новых

---

[1] Бергколлегия — ведомство, управлявшее горной промышленностью в XVIII веке; была учреждена Петром I.

производств, а рабочим платил нищенские деньги — от двадцати пяти до ста рублей в год.

Бараль подарил Лонсевилю отлитый из чугуна тончайшей работы барельеф — «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи. Литье это было исполнено по распоряжению Гаскойна. Лонсевиль повесил барельеф над койкой. Разглядывая его, он вспоминал фрески итальянских церквей, как бы просвечивавшие через мутную воду.

Лонсевиль всегда чувствовал склонность к архитектуре и считал, что единственное свойство, достойное уважения в «бесноватом англичанине», — его любовь к литью барельефов, бюстов, балюстрад и садовых решеток.

Но Гаскойн относился к художественному литью как к забаве и отдыху. Он начал изготовлять на Александровском заводе земледельческие и прядильные машины и отлил огненную (паровую) машину для Воицкого золотого рудника. Это было настоящее дело, достойное английского инженера. Серьезные работы задерживались из-за пустяков: от Гаскойна требовали отливки садовых скамеек, перил для петербургских дворцов и бронзовых ваз для дворцовых парков.

Гаскойн пожимал плечами, соглашался. «Ну что ж, рабская страна взамен машин требует украшений — будем ее украшать!»

То было время, когда великие зодчие — Растрелли, Кваренги, Камерон и Воронихин — создавали каменный величественный ансамбль императорской России. Его густо обкуривал нищий дым деревень. Порфир блестел над Невой, как бы омытый слезами безвестных строителей. Россия боязливо кряхтела, скрывая под отрепьями сизые рубцы от плетей. Блистательные фейерверки взлетали над навозом крепостных погостов, и огненный вензель императрицы — громадная буква *Е* — высовывал насмешливый язык в ответ на проклятья.

Гаскойн добросовестно отливал цветочные вазы, дельфинов и нимф, бюсты Павла с вздернутыми ноздрями и кандалы для каторжан. Вазы принимались по

внешнему виду, кандалы — по звону. Лучшими считали те, что звенели от малейшего прикосновения.

Но главной работой была отливка морских пушек, лафетов, бомб, гранат и брандкугелей. Принимать их приезжали чины адмиралтейства — очень схожие друг с другом красноносые старички, пившие в изобилии наливки и нечистые на руку.

Пушки принимали на глаз, грузили на баржи-галиоты и отправляли в Кронштадт.

Незадолго до смерти Гаскойн был назначен директором Кронштадтского и Луганского пушечных заводов. Он приобрел облик русского вельможи: стал ленив, тяжеловат, грубо шутил, толкал палкой в затылок ямщиков и ходил по заводу в халате.

Воспоминания о туманной Шотландии, о танцах под звуки волынки, песнях Оссиана и реках, полных форели, приходили к Гаскойну все реже. Только по старой привычке он изредка вздыхал и приговаривал:

— Чудно живется в веселом городке Эдинбурге!

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Лонсевиль не любил англичан и всего английского. Завод работал на английской глине и английском угле. Только руда шла местная, озерная, но в ней было столько воды, что в доменных печах постоянно случались взрывы.

Лонсевиль решил заменить английскую глину олонецкой. Говорили, что на южном берегу озера, около Вытегры, есть превосходная глина, годная для литейного дела. Лонсевиль получил разрешение от Армстронга поехать в Вытегру. Он взял с собой Мартынова и четырех чиновников заводской конторы.

Три дня они плыли по свинцовому озеру. Изредка оно серебрилось от ряби. Стояло бабье лето. Лонсевиль читал Плутарха и Руссо и беседовал с Мартыновым, коверкая русские слова. Чиновники пили водку. Они условились пить, не произнося самого

слова «водка». Каждое утро начинался один и тот же разговор.

— Не плохо бы, а? — спрашивал один из чиновников.

— Да, не вредно бы, — отзывался другой.

— Пожалуй, стоит, как полагаешь?

— Так в чем дело? Я сбегаю в каюту и принесу.

Днем чиновники, напившись, спали на палубе и храпели так, что Лонсевиль не находил себе места. Матросы пинали их сапогами и грозились выбросить в воду. Матросы были раскольники из «поморского согласия» и не потребляли ни водки, ни табаку.

Шкипер, тощий мужик с ястребиными глазами, тяжело икал и хватался за низ живота. Он рассказал Лонсевилю, что у него «вывалилась кишка» и случилось это все из-за того же «подлого англичанина» Гаскойна. Гаскойн отлил несколько икон из чугуна весом по пяти пудов. Шкипер пытался один поднять такую икону во время крестного хода, но в животе лопнула таинственная жила и «хряснул мосолок».

На корабле Лонсевиль написал письмо Марии Трините:

«Дорогой друг, я не решаюсь просить вас приехать сюда хотя бы на месяц. Разрешение вы могли бы получить у русского посланника в Париже, но дорога утомительна и угрюма. Я не хочу подвергать ваше воображение столь тяжким испытаниям.

До сих пор я живу подобно пленному и знаю, что отсюда меня не выпустят. Начальник завода англичанин Армстронг в ответ на мою просьбу отпустить меня во Францию рассказал много интересных подробностей о Шлиссельбургской тюрьме, находящейся невдалеке отсюда. Туда царь заточает людей на всю жизнь, и имена их раньше смерти заносятся в списки мертвых.

Я устал. Я часто болею лихорадкой.

Любовь моя к вам прошла ряд тяжких испытаний в ошибках, сражениях и одиночестве. Я берегу ее как последнее ощущение юности. Прошло два года, но я не имею никаких известий от вас».

В Вытегре остановились в подворье женского монастыря. Пахло кислым хлебом и болиголовом. На горах белели церкви и березы. У плотин шумела зеленая вода. Монахини-белички с черным флером, свисавшим до пят, семенили по дорожкам и опускали перед Лонсевилем глаза. Их пухлые щеки покрывала больная монастырская бледность.

В Вытегре Лонсевиль купался вместе с чиновниками и Мартыновым. Когда чиновники разделись, Лонсевиль вздрогнул от отвращения: на их ягодицах синели тонкие злые шрамы.

— Неужто в России бьют плетьми даже чиновников? — спросил Лонсевиль Мартынова.

— Да ведь они заводские чиновники, сироты, — ответил Мартынов равнодушно. — К нам на завод привозят сирот из Рязани и Тулы, учат счету и письму, потом они и служат здесь до самой смерти. У нас, почитай, вся контора из сирот. Их, конечно, порют: они не дворяне.

В нескольких верстах от Вытегры Лонсевиль нашел глину. Чиновники были оставлены для добычи глины и отправки ее на завод, Лонсевиль же с Мартыновым выехали обратно в Петрозаводск.

Опять на озере стояло безветрие, и солнце погружалось в серый пепел туч. Лонсевиля трепала жестокая лихорадка. Мартынов сидел рядом с Лонсевилем и вполголоса рассказывал о своей жизни.

— Меня тоже секли, ваше высокородие. Дали мне пятьдесят ударов. Год хворал, все нутро рудой запеклось. Пороли меня за нашего деревенского попа. Пьяница-поп, охальник-поп всю деревню держал в трепете.

Работал я в тогдашнее время на заводе шишельником[1]. Сталь мы делали знаменитую, даже в Англию ее отсылали. При царице Екатерине приезжали за этой сталью аглицкие морские офицеры. Солидные, белорусые, в синих тонких камзолах, при серебряных шпагах.

---

[1] **Шишельник** — рабочий, изготовляющий из глины формы для литья.

Работали мы круглый год без отдыха. Только на рождество да на пасху давали нам на неделю выход. Платили, милок, плохо, как и сейчас платят. Мне назначили сорок рублей серебром в год да на малых ребят по двадцать рублей в год, — у меня их двое. Считай восемьдесят рублей.

Повиновение у нас на заводе военное. Шагнул не так — получай вычет. Аккуратно надо было себя держать. Особливо с аглицкими мастерами. Вы — человек французского звания, доходчивый к простому народу, — вам не обидно такие слова слышать.

Приехал я как-то на пасху и слышу — поп похваляется по деревне, что женку мою себе забрал. Встретил я его пьяного и плюнул в рыжее рыло. Он — в кулаки. Я, как замечаете, был парень крепкий. Пришлось попу плохо.

Взяли меня в наручники, привезли на завод, судили. И вышла во время суда такая история, ваше высокородие, что, почитай, по всей Руси другой такой не было.

Суд у нас помещался в губернаторском доме, — сгорел теперь тот дом, — а рядом через прихожую жил и сам губернатор, его превосходительство господин Державин. Гимны писал, но человек был тихий. Завел он себе медвежонка по имени Яша.

Судят меня. Поговорили то да се. Поп на суде сидит трезвый и кроткий, как овца, только волос рыжий злым огнем горит. Начали читать приговор, и вдруг — шасть — медвежонок в присутственный зал вкатился, прямо к столу. Схватил лапами красное сукно и со всеми делами, и стаканами, и колокольчиками, и чернильницами — грох на пол. Зачал рвать на мелкие части. Рычит. Зерцало разбил. Писарю руку окровенил. Едва солдаты Яшу поймали.

Судьи объявили: поелику зерцало разбито неосмысленным зверем, приговор силу теряет, и надо, мол, судить сызнова, а на господина Державина послать жалобу в Санкт-Петербург.

Пошло дело в сенат, потом к самой императрице, и повелела она дать мне безо всякого суда пятьдесят плетей, а медвежонка того убить.

Однако отсидел я в остроге, дожидаясь царской милости, лишний годок. Да до суда отсидел год пять месяцев. Вот и сочтите, ваше высокородие, сколько выйдет. Ежели правду сказать, то доля моя счастливая. Иные прочие, дожидаясь суда, по десять лет гниют в цепях да в царских ямах. Ко времени суда никакой вины не остается. Вся вина в воздух уходит, и остаются от человека одни вши да смрад.

Рассвет зеленел над туманным озером. На далеком берегу горели костры. Над ними переливалась блеском ключевой воды утренняя звезда Венера.

— Судьбина наша чугунная, а сами мы царские да барские, — промолвил Мартынов. — И вам назначено царской волей помереть на Александровском заводе.

Лонсевиль глухо застонал. Ему приснился фрегат, быстро резавший мутные волны.

В каюте капитана блестел лакированный ларец. В нем лежал пакет — письмо от Марии.

— Зачем вы отправили письмо морем? — спросил Лонсевиль и открыл глаза.

— А-а-ай, а-а-ай! — кричали над ним испуганные чайки. На лбу выступила обильная испарина.

Мартынов отошел на цыпочках и сел покурить у борта.

Озеро уже шумело. Начиналась предрассветная качка.

— Судьбина наша чугунная, — пробормотал Мартынов, — и конца ей никак не сыщешь. Вот, милок француз, ваше высокородие, какие наши дела.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Балы у Армстронга поражали Лонсевиля не меньше, чем порка. То были длинные и вялые балы, где надоевшие друг другу люди приправляли провинциальную скуку жареной медвежатиной и острой сплетней. Балы устраивались по любому поводу. На этот раз балом было ознаменовано открытие на заводе

мастерских для сверления пушечных жерл по английскому способу.

В официальной переписке новые мастерские назывались «свиреленными», рабочие же звали их попросту «свирельными». Четыре исполинских сверла, вращаемых водой, медленно врезались в пушечные стволы. Работа в «свирельных» мастерских почиталась самой тяжелой. Было трудно почти на глаз, без точных приборов, определить середину ствола и просверлить его до назначенного предела.

В день пуска мастерских на Абрамовском мосту по наущению городничего устроили кулачный бой. Голиковка вышла стенкой на Гористую улицу. Рабочие дрались с купеческими молодцами.

Дым слоился над крышами, закрывая угрюмое солнце.

Посмотреть на бой пришли даже англичане. Русские способы праздновать технические победы казались им занимательными. Но бой начался вяло и разгорелся лишь к темноте, когда гости не могли видеть крови, разъедавшей красными проталинами истоптанный снег.

Победили купеческие молодцы. Рабочие дрались неохотно, лишь бы не ссориться с начальством, пожелавшим отпраздновать пуск новых машин крупным «кулачным делом».

Лонсевиль подошел близко и видел кровь. Он видел сизое от сокрушительных ударов лицо молотобойца Степана, слышал, как выл, катаясь по снегу, десятилетний мальчишка. Мартынов, пытаясь успокоить Лонсевиля, объяснял, что мальчишку нечаянно ударили «под душу», мучиться он будет недолго и вскорости отойдет.

На бал Лонсевиль приехал бледный от неизлитого раздражения.

Чиновники губернских учреждений совместно с женами ставили любительский спектакль. Шла опера под названием «Олонецкая русалка».

То была грубая пародия на «Энеиду», сплошная дичь, усилившая раздражение Лонсевиля. Карфаген-

ские министры пили романеечку, а Дидона плясала «барыню», помахивая платочком. При этом она визгливо пела:

В нашем зеленом саду
Девка рвала лебеду.
Она рвала,
В фартук клала,
Приговаривала.

Припев подхватывали все карфагенские министры:

Кому тошно по нам,
Тот пускай придет сам.
Кому хочется,
Тот сволочится.

Зрители искренне хлопали в ладоши, но после спектакля Лонсевиль слышал, как седовласый толстяк, держа за пуговицу губернера Бараля, громко возмущался, называя оперу якобинской.

— Что означает сия пьеска? — Старик задыхался и поводил желтыми глазами, будто ожидая сочувствия от потемневших портретов. Лицо его вздрагивало при каждом треске нагоравших свечей. — Министры возносятся друг перед другом своей сонливостью и выражаются самыми подлыми речами, как они спокойно почивают при воплях подданных. Не есть ли это самая колкая критика на министерство?

Лонсевиль отошел. Казалось, скука воплотилась в чад свечей и мерцание грубой позолоты приземистых и жарких зал. Декабрьская ночь черным камнем давила на сердце.

«Опять лихорадка», — подумал Лонсевиль и вытер лоб холодным белоснежным платком.

Но испарина не проходила.

— Где я? — спросил Лонсевиль почти вслух. По привычке одиноких людей он часто говорил сам с собой. — Откуда столько пьяных англичан и русских? Какая тяжелая ночь! Как болит голова от дыма канделябров и сладкой вони жареных уток! Сейчас я должен уйти.

Он оглянулся на залы, откуда доносило тошный запах пачуль.

— Ах, не то, не то! — поморщился Лонсевиль и пошел к выходу.

Кровь! Он видел ее очень много в боях, еще во время революции. То была чистая артериальная кровь. На политой ею земле, как говорила ему мать, расцветают гвоздики. То была кровь борьбы, кровь изорванных в клочья, но победоносных армий санкюлотов, кровь марсельезы, высыхающая мгновенно от палящих пожаров. Наконец, то была благородная кровь мщения. А здесь? Здесь он видел густую венозную кровь унижений, порок, драк в угоду начальству.

А балы? Как еще памятны балы Гренобля, где девушки прикалывали к корсажам букеты полевых ромашек, а легкое вино, выпитое за счастье товарищей, напоминало по цвету солнечный день.

У выхода Лонсевиля задержал секретарь Армстронга Юрий Ларин. С живостью двадцатилетнего юноши он взял Лонсевиля под руку и мягко, но сильно повел обратно к столу, болтая без умолку. Ларин говорил шепотом, глаза его блестели.

— Ну, какова пьеса? Это наше общее сочинение, наша посильная сатира на министерства. Не правда ли, забавно? Великая революция владеет умами и находит отклик даже в таких медвежьих углах, как наш завод.

Лицо Лонсевиля покрылось бледностью. Они подошли к столу, где, погромыхивая креслами, рассаживалась к ужину петрозаводская знать.

— Сударь, — сказал Лонсевиль, — вы позволяете себе оскорблять великую революцию моей родины, считая жалкую эту пьеску детищем революционных идей. Вы не знаете революции. Ее дыхание кроваво и беспощадно. Я благодарен небу за то, что был ее участником и очевидцем. Вы, полагающие себя чуть ли не монтаньярами, знаете ли вы, что в новых английских машинах, пущенных сегодня на заводе, в тысячу крат больше революционного пороху, чем в десятке таких глуповатых спектаклей?

Лонсевиль сознавал, что мысли его не совсем ясны от начинавшейся лихорадки. Во время горячечных припадков он начинал плохо видеть и слышать. Иначе он заметил бы тяжелую и грозную тишину, воцарившуюся

в зале. Иначе он увидел бы рядом с собой голубую ленту губернаторского мундира и шелковый камзол гувернера Бараля.

— Чем вы ознаменовали начало работ новых машин? — продолжал Лонсевиль. — Кулачным боем и балом, где лишь глупость и жирная пища вызывают веселье гостей. Сегодня я узнал, что в здешнем суде лежит три тысячи нерассмотренных дел. Остроги переполнены. На заводе секут плетьми рабочих. Все это требует жесточайшего конца.

Лонсевиль остановился, пытаясь собрать разбегавшиеся мысли. Треск свечей походил на отдаленную ружейную пальбу.

— Если вы располагаете временем и охотой,— Лонсевиль слегка поклонился Ларину,— я готов в свободное время подробно посвятить вас в ход революции. Тогда вы поймете ее истинные задачи и способы осуществления.

Лонсевиль вышел. Губернатор подозвал движением глаз адъютанта и промолвил, почти не шевеля губами:

— Надлежит немедленно поставить в известность канцелярию его величества.

Звон шпор подтвердил, что приказ услышан и будет исполнен.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

В конце зимы на завод приехал принимать пушки величественный генерал Ламсдорф.

Мартынов рассказал Лонсевилю, что этот генерал, будучи еще молоденьким офицером, участвовал в подавлении восстания крестьян, приписанных к Александровскому заводу.

Восстание? Это слово звучало неправдоподобно. Полно, не горячечный ли это сон олонецких пустошей?

Неверие Лонсевиля раздосадовало Мартынова. Он посвятил француза в историю мятежа, длившегося три года.

Народное возмущение! Что может быть благодарнее этой темы для исследователя, каким был по натуре Лонсевиль?

С некоторых пор Лонсевиль переживал странное ощущение времени — оно как бы ускорило свой бег. Эпохи сменяли друг друга, подобно картинам, освещенным короткими вспышками молний. Будущее, порожденное прошедшим, надвигалось с неясным гулом, а прошедшее таяло безвозвратно.

Лонсевиль решил записывать, хотя бы наспех, все, что касалось переплетения эпох, на переломе которых ему суждено было жить.

Первый толчок к записям дала встреча Ламсдорфа с Костылем.

На пробе пушек присутствовало все заводское начальство. Падал пухлый и теплый мартовский снег. Он был настолько непрочен, что от самого ничтожного звука — от удара кувалды по наковальне и великопостного звона колоколов — слетал с деревьев и падал хлопьями на серые плащи офицеров. Костыль был приставлен сметать снег с бронзовых орудийных стволов. Вензель императора Александра блестел на них самоварной медью.

Ламсдорф пристально взглянул на Костыля и сделал знак, чтобы тот подошел.

Генеральские баки и глаза ничем не отличались от цвета пасмурного неба. Костыль понуро стоял перед Ламсдорфом и смотрел на острые носки генеральских сапог. По привычке ему хотелось нагнуться и смахнуть снег с черного лака.

Ламсдорф шагнул к Костылю, величественным жестом выпростал руку из-под плаща — золотое шитье мундира тускло блеснуло в глаза окружающим — и сдернул с Костыля шапку. Армстронг поморщился: он ждал грубой вспышки генеральского гнева на непочтительного холопа. Но Ламсдорф улыбнулся сухими губами и спросил:

— Меня знаешь?

— Как не знать, знаю. — Костыль поглядел на шапку: генерал бросил ее в снег около орудий.

— Вот, государи мои, — Ламсдорф положил на голову Костыля тяжелую руку в кожаной перчатке, — вот пример подлинного монаршего благоволения к заблудшим подданным. Глядите сюда.

Ламсдорф взял Костыля за волосы, откинул его голову и медленно обвел пальцами шрамы на его щеках и лбу — клейма В, О и З.

— Сии знаки выжжены по приговору императорского сената.

Он поворачивал голову Костыля решительно и умело, точно показывал собравшимся ручного зверя. Костыль и вправду стал похож на ярмарочного медведя. Он топтался, глядя в снег, и багровая кровь неторопливо растекалась от его шеи к ушам.

— В Кижах был?

— Так точно, был, — тихо ответил Костыль.

— Климку Соболева помнишь?

— Запамятовал, ваша светлость.

— То-то, запамятовал!

Ламсдорф, забыв о том, что рука его крепко держит Костыля за взъерошенные волосы, взглянул на почтительную толпу, окружавшую его, и медленно заговорил:

— Вот один из девяти тысяч мятежников, возмутившихся против императрицы Екатерины. Приписные к вашему заводу холопы, пользуясь дикостью окрестных лесов и отсутствием гарнизона, безнаказанно буйствовали три года, остановили завод и лишили государство оружия, потребного для войны с турками. Роте Зюдерманландского полка, в коем я служил в то время в малом чине, посчастливилось окружить мятежников в погосте Кижи и принудить к покорности орудийной пальбой. История сия поучительна. О ней надлежало бы рассказывать более пространно вечерком за фараоном и бутылкой рейнвейна.

Армстронг хмуро поклонился, выражая согласие на вечер с фараоном и бутылкой рейнвейна.

Ламсдорф вспомнил, что держит Костыля за волосы, оттолкнул его и отряхнул перчатки.

Торжественный и прямой, он двинулся вперед под унылый перезвон колоколов и шепот инженеров, поспешавших сзади.

Громыхнула первая пушка — началась проба. Солдаты стояли у лафетов, не смея шелохнуться. Талый снег щекотал их лица, капал с носов и стекал по рыжим усам на мокрые мундиры.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

О приписных крестьянах Лонсевиль записал в тетрадь все, что удалось узнать от Мартынова.

При Петре I к заводу приписали крестьян Вытегорской, Белозерской, Олонецкой и Петрозаводской вотчин. Приписка означала худший вид рабства. Только лопарей, признанных царским правительством ни к чему не годными людишками, освободили от приписки. За это с них драли неслыханные налоги и взятки.

Приписные вместо подушной подати должны были работать на заводе. Расценка для них была в четыре раза меньше, чем для вольных.

Отработка подати требовала непосильного напряжения. Никто из приписных толком не знал расценок. Они менялись с хитрым расчетом, чтобы заставить крестьян работать круглый год, даже в горячую пору пахоты и жатвы.

Приписной получал примерно пять копеек в день. За этот пятак надо было пропитаться самому и задать корм коню.

Приписные возили лес, выжигали уголь, добывали руду, клали заводские здания и плотины, мяли глину и жгли известь.

Зачастую приписных гнали на завод за триста — четыреста верст для работы на два дня. Измываться над приписными вошло в обычай. Этим занимались все — от начальника завода до последнего рыластого писца.

Жалоб не слушали. В ответ на жалобы поминали первого начальника завода голландца Генина [1], поровшего приписных, и грозили цепями и каторгой.

Зипунное горе настаивалось крепко, подобно кислому хлебу. От приписных за версту несло тоской и

---

[1] Генин в числе других иностранных инженеров и техников поступил на русскую службу при Петре I, был назначен начальником олонецких заводов, способствовал там большим техническим достижениям. Впоследствии был назначен Петром I начальником всех уральских заводов. Построил город Екатеринбург (ныне Свердловск).

беспомощностью. Лошаденки их ходили в кровавых подтеках.

Жить было обидно и подло. И день и ночь над головой свистели батоги. И день и ночь — тоска бесконечных обозов с мокрыми бревнами, урчащие от голода животы, окрики. В 1769 году приписные восстали.

«Память моя ослабевает, — писал Лонсевиль в своей тетради. Метель свирепела над озером и выла в холодных боровах. Этот заунывный звук напоминал ему отдаленные сигналы трубачей к атаке. — Я в упор смотрю в глаза истории и замечаю, как быстро иссякает время великих общих дел. Вопреки этому даже здесь, в России, я переживаю одушевление, присущее смелым и свободным мыслям. Такое состояние напоминает предчувствие далекого рассвета, неизбежного и в этой стране.

Россия имеет свои способы возмущения, называемые бунтами. Примечательно, что поводом для бунтов весьма часто являются подлинные или подложные царские указы.

Пятьдесят лет назад императрица Екатерина подписала указ об увеличении подушной подати с крестьян на один рубль. Слух об этом с непостижимой быстротой дошел до деревень — раньше, чем фельдъегери прискакали с указом в губернские города, и вызвал бунт, длившийся несколько лет.

Я убедился, что Россия живет ожиданием чуда. О чуде гнусаво бормочут монахини, оплакивая мертвых. О чуде возглашают в церквах спившиеся певчие. Чудо предсказывают нищие, чья одежда блестит от лампадного масла, — их здесь почитают святыми и называют странниками. Наконец, о чудесных капризах царей любят рассказывать старые солдаты, облысевшие от тяжелых париков.

Иногда я ловлю себя на глупой мысли, что действительно только чудо может спасти этих крестьян, скребущих липкую глину полей и хлебающих щи, столь же соленые, как слезы. Наивная вера в милосердие царя до сих пор существует в народе.

В России, так же как и всюду, царская воля получает осуществление в указах, написанных языком торжественным и непонятным.

Указов ждут, но, когда они появляются, их почти никто не читает — нет грамотных людей. Немногочисленным чтецам верят на слово и толкуют указы так, как желательно каждому.

Когда был издан указ 1769 года, приписные решили, что царица отменила приписку и взамен работы на Александровском заводе можно вносить в государственное казначейство по семьдесят копеек с души.

Заводское начальство объявило, что царица отнюдь не отменяла приписку и, наоборот, впредь прилется отрабатывать вдвое больше. Приписные этому не поверили. Возможно, что они и поверили, но прикинулись дурачками и упорно толковали указ посвоему.

Приписной Емельян Каллистратов поехал по вотчинам. Он собирал приписных и призывал их не выходить на работу.

Мартынов знавал Каллистратова. Насколько я понял его боязливый рассказ о восстании, Каллистратов был угрюмый и насмешливый мужик. Но он, как и многие в те времена, верил, что в золоченых залах дворца живет, подобно райской птице, нетленная и прекрасная правда и только министры не дают ей дойти до народа.

На сходах Каллистратов кричал короткие и взволнованные речи. Он называл вельмож захребетниками (людьми, живущими на чужой шее), ругал приписных за робость последними словами и требовал отправки выборных людей в столицу.

Я не могу отказаться от искушения записать речь Каллистратова совершенно так, как передавал ее мне Мартынов:

«Работу кидай! Ни единого коня не ставить, ни единого бревна, ни единой меры руды! Правду спрятали от нас захребетники, как золотое колечко в навоз. Правду надо достать. Царица живет за семью дверьми. Министры и гвардия вокруг нее стенкой

стоят. Стенку надо сломать, поднести челобитную, — пусть льется горе мужицкое к царским ногам. Гляди, какие мы. Гляди, чего с нами делают, с верноподданными, с людьми в державе твоей, богом хранимой. Обману положим конец! Правду взыщем. Министрам тем вырвут языки, сгноят их в Пелымских острогах[1]. За что сгноят, пытаешь? За бездолье твое, за раннюю твою смерть, вот за что. Терпежом всю жизнь жили, теперь от терпежа одни крохи остались».

По приписным вотчинам стоял гул. Гудел весь полуостров Заонежье, где начался бунт. Кричали люди, гудели набаты, сзывая крестьян на сходы, плакали от радости женщины. Работы на заводе остановились. Заводское начальство растерялось. Каллистратов с прошением за пазухой уехал в Петербург.

Он присылал оттуда короткие и радостные письма. Он ждал приема у царицы и требовал присылки в Петербург ста выборных крестьян, чтобы вместе с ними подать жалобу Екатерине.

«Чем боле будет нас, мужиков, — писал он, — тем боле горе мужицкое встрянет в глаза царице».

(Смысл слова «встрянет» мне никто не мог объяснить. Остается предположить, что это слово соответствует словам «вонзится», «вопьется» или хотя и имеет иное значение, но близко к указанным выше.)

Вскоре письма прекратились. По Заонежью прошел слух, что Каллистратова заковали в цепи и бросили в страшные подвалы Петропавловской крепости.

Слух скоро подтвердился. Подтвердил его сам Каллистратов, выпущенный из заключения.

Он приехал худой и пристыженный. Он снова созывал приписных и говорил, что из столицы едет чрезвычайная комиссия, назначенная царицей, и комиссия эта найдет, наконец, настоящую правду. Но Каллистратова слушали плохо. Воздух освобождения проветрил головы.

---

[1] Пелым — город в Западной Сибири, к северу от Тобольска; место ссылки в XVIII веке.

В деревне Кондопоге молодой парень крикнул Каллистратову дерзкие слова:

— Хорошо поет твоя царица, райская птица, только здорово гадит на голову. Что ж не показываешь языки, у министров отрезанные?

Каллистратов погрозил ему кулаком. Приписные зароптали:

— Ты не грози. Мы «кулаченные и перекулаченные». (Эти слова Лонсевиль написал по-русски.) Ты правду про царицу скажи. Много вас, царских угодников!

В июле 1770 года на Александровский завод действительно приехала чрезвычайная следственная комиссия.

По вотчинам разослали гонцов с приказом всем приписным выбрать старост и прислать на завод.

Тогда выступил новый главарь восстания, приписной Клим Соболев».

Он занимал Лонсевиля гораздо больше, чем угрюмый и неуравновешенный Каллистратов.

По словам Мартынова и Костыля, Соболев был весельчак и балагур. Он хорошо знал грамоту. Он составил от имени приписных заявление обо всех беззакониях и подал его председателю комиссии — беззубому и пышному вельможе, распространявшему сладкий запах ландышевых капель.

В заявлении в числе прочих обид было указано, что за последние сорок лет заводское начальство незаконно взыскало с приписных пятьсот тысяч рублей якобы неотработанных денег.

Это же подтвердили все старосты. Они излагали свои жалобы неясно и торопливо. Они стояли перед столом комиссии, как перед церковным аналоем, и дурели от могильного запаха ландышевых капель. Вельможа слушал, закрыв глаза. Когда он открывал их, что означало нежелание слушать дальше, секретарь обрывал допрашиваемого и вызывал следующего. Вельможа зевал и говорил добродушно:

— О-хо-хо! Сие совершенно верно, но польза государственная двулика, как бог Янус. Токмо таковым

соображением надлежит комиссии руководствоваться. Понятно вам, государи мои?

Члены комиссии наклоняли головы в белоснежных столичных париках.

Опросив старост, комиссия уехала. Сенат, приславший комиссию, был обескуражен ее работой: вместо крутых мер беззубый вельможа — председатель комиссии — ограничился сонным докладом. Тогда на завод был послан генерал Лыкошин. Он, ознакомившись с делом, вызвал войска. Пока рота солдат и артиллерия под командой подпоручика Ламсдорфа двигалась к заводу, приписные по-прежнему не выходили на работу — ждали вестей из столицы.

Настало затишье, какое часто бывает в разгар народных волнений.

«Дальнейший ход событий не совсем ясен, — записал Лонсевиль. — Следует расспросить о нем не только Мартынова и Костыля, но и Ларина — в его руках находятся все документы, имеющие касательство к восстанию.

Отныне я пишу не биографию великого человека, как предполагал ранее, но биографию крестьянского возмущения».

На этом запись Лонсевиля обрывалась. Дальнейшие события не дали ему возможности закончить начатую работу по изучению мятежа приписных крестьян.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Вечеринки у Юрия Ларина носили иногда таинственный характер. Собирались молодые чиновники губернских учреждений. Они играли в фараон, пели песни, пили водку и под шумок вели вольнодумные разговоры. Сборища эти получили наименование «парижского парламента».

Лонсевиль бывал несколько раз у Ларина, стремясь изучить русские нравы и получить новые сведения о Климе Соболеве и конце крестьянского восстания.

Особенно памятным для Лонсевиля был последний вечер, совпавший с приездом Ламсдорфа.

С утра шел снег, падавший густо и совершенно отвесно. В зимнем пейзаже господствовали две краски — серая и белая. Белой была земля, а серым и темным — небо. Поэтому свет вопреки обычным законам падал не с неба, а подымался с земли, что придавало редкую причудливость садам, превращенным инеем в гигантские кружевные видения, городу и лицам людей, освещенным снизу.

У Ларина пахло угаром, дымили шандалы и собравшиеся молодые люди пели излюбленную песенку «парижского парламента»:

Наше вечное согласье
Нам подаст веселы дни.
Насадим народам счастье
Мира сладкого в тени.

На этот раз среди чиновников сидел грузный старик с бегающими глазами вора и льстивым голосом.

Он тер ноги, обутые в меховые сапоги, и охал.

— Вот осколок екатерининского века, бывший полковник Тарновский. — Ларин подвел Лонсевиля к старику. — Очевидец многих событий, вас интересующих. При императоре Павле он был сослан к нам на завод писарем, но до сих пор не получил помилования. Отсюда вы можете судить, как жестоки наши российские законы и как беспощадна Тайная экспедиция.

— За что вы сосланы? — спросил Лонсевиль.

«Явный мошенник», — подумал он про себя и пожал плечами: неразборчивость Ларина начинала его удивлять.

— Я без водки рассказывать не согласен! — прокричал старец сипло и весело.

Лонсевиль пристально смотрел на Тарновского.

Фамилия эта всплывала в глубине памяти. Она была связана с чем-то давно забытым, от нее осталось одно только ощущение противности и смрада.

Наконец Лонсевиль вспомнил — да, эту фамилию он слышал в городе Кале, где сооружал помосты для погрузки пушек на корабли. Там ему рассказывали об английской авантюристке герцогине Кингстон, жившей в Кале, и об управителе ее имениями и водочными заводами в России полковнике Тарновском. Так вот кто сидел перед ним! Беседа обещала быть занимательной.

— Кстати, — промолвил Ларин, — вы осведомлялись о значении букв В, О и З, выжженных на лице у Костыля? Они составляют слово «Возмутитель».

— Это что! Холопам жгут лбы за дело, — пробормотал Тарновский. — А вот у герцогини Кингстон выжгли позорное клеймо на левой руке за двоемужество, и с тех пор она не могла носить бальных туалетов. То холоп, а то герцогиня несравненной красоты. Разницу постигаете?

Лонсевиль промолчал.

— Юрий Петрович сообщил мне, что вы, будучи историком, интересуетесь бунтом здешних холопов. — Тарновский икнул. — Ну что ж, история — вещь почтенная, хотя и малосовместимая со званием инженера.

— История — это я. — Старик ударил себя в грудь. Он заметно пьянел. — Я был управителем богатейшей женщины в Европе, затмившей блеском своих бриллиантов императриц. Я привел из Лондона в Петербург корабль с картинами, подаренными матушке Екатерине герцогиней Кингстон. Целый фрегат, батенька, одних Рембрандтов. Мы пили чай на ящиках с творениями Рафаэля. Это надо понимать! В этом есть видимость широкой русской натуры!

Когда леди Кингстон прибыла в Петербург на собственной яхте, вся столица заполнила набережную и приветствовала красавицу криками и бросанием цветов. Леди Кингстон блистала на всех балах и, выражаясь фигурально, была летней розой на всех зимних праздниках и парадах. А чего стоил тот зимний парад, когда холоп Клим Соболев, приписной к Александровскому заводу, подал царице челобитную... Стой, не мешай, дай рассказать по порядку. Я рассказчик отменный.

Было это зимой тысяча семьсот семидесятого года. Слышал я стороной о мятеже на заводе и о посылке следственной комиссии, но делом сим не интересовался.

Говаривали, что восстание стихло и что мятежники сидят, мол, и ждут царицына решения. Ждали, ждали, да заждалися. Прислали в столицу Соболева. День выдался морозный, золотой, солнце блистало, батенька мой, не хуже, чем сабли гвардейцев.

Старик выпил.

— Ты не гляди на меня, Юрий Петрович, точно я бродяга. Когда выпью, во мне поэзия возгорается. Недаром я Державину сказал обидные стишки:

За счастье поруки нету,
И чтоб твой свет светил нетленно свету,
Не бейся об заклад.

— А не тебе ли Державин сказал их! — спросил юноша в грязном малиновом фраке.

— Замолкни, птенец! Слушай, что будет. День был трескучий и снежный. Царица ехала в золоченой карете на полозьях, а за нею невдалеке следовала в открытых санях леди Кингстон.

Внезапно к карете императрицы подбежал молодой холоп в чистом армяке, пал на колени в снег и крикнул весело и требовательно: «Царица-матушка, примай челобитную на великие наши обиды!»

Царица подняла веки, — а надлежит помнить, что подымать их было трудно, ибо они тяжелели от сурьмы, — светлые ее глаза блеснули улыбкой. Улыбку ту она изучила в совершенстве и могла вызывать на устах в любое мгновение.

Лошади остановились. Граф Орлов подъехал к челобитчику. Я заметил, как в гневе тряслась, сжимая повод, его рука с синим родимым пятном на пальце. Признаться, я был напуган.

«Ну, что ты? — спросила царица протяжно, что означало приветливость. — Подай сюда. Кто ты таков?»

Холоп, впоследствии оказавшийся Климом Соболевым, подполз на коленях, протягивая перед собой сложенную вчетверо бумагу.

На оную бумагу глядели все: и Екатерина, и Орлов, и герцогиня Кингстон, и шпалеры солдат, что застыли могучим покоем вокруг кареты матушки-царицы, и офицеры, вздымавшие к небу стальные клинки, и тысячное скопление горожан, пестревшее шелковыми салопами щеголих... Эх, пышность! — Старик потер ноги и помолчал. — Вот будто сейчас помню. Поверите ли, стало слышно, как скрипнул снег под ногой покачнувшегося солдата. Даже тяжко стало от безмолвия, пока Клим Соболев не крикнул хриплым голосом, ровно из могилы:

«Мы, мол, приписные твоего величества холопы с Александровского завода. Спаси, голубушка, от министров-собак!»

Тут точно ветер прошел по шеренгам солдат — штыки дрогнули. Орлов, натурально, смял челобитчика конем, и карета тронулась. Ударили барабаны, дабы заглушить крик Соболева, схваченного гвардейцами и связанного по рукам.

Дальнейшего я не видел, но рассказываю со слов приятеля — дворцового офицера. Будто поздней ночью прискакал от генерала Лыкошина фельдъегерь и привез донесение, в коем Лыкошин сообщал, что все Заонежье вооружилось и выступило против властей. Посланный отряд под начальством подпоручика Ламсдорфа мятежники привели в расстройство, Ламсдорф отступил к заводу. То было тогда, а сейчас — каким орлом глядит!

Говаривали, что императрица, получив донесение, отложила свою книгу под титлом «Опровержение аббата Дидерота», распорядилась послать Лыкошину подкрепление, дабы бунт прекратить немедленно, и притом добавила: «Народ — точно дети. Решив воспитать в нем добрые начала, его надлежит изредка сечь».

Лонсевиль, чтобы поощрить старика к рассказу, выпил с ним немного водки. Ее подавали в черных бутылках с надписью «Чудлейская мыза».

Рюмки покрылись потом. За окнами тлел закат, придавленный к снегам облачным небом. Галки кружились вокруг церковных крестов.

Вольнодумных разговоров никто не вел: опасались Тарновского и хотели поскорее его выпроводить. С минуты на минуту должен был приехать Ламсдорф в сопровождении Армстронга — игра в фараон была назначена у Ларина.

Тарновскому сунули в карман бутылку рому, и двое чиновников подняли и повели его домой. Остальные притихли, а кое-кто незаметно исчез: встреча с Ламсдорфом и Армстронгом не сулила удовольствия.

Лонсевиль собрался уходить, но вспомнил, что Ламсдорф обещал рассказать о восстании, и замешкался. Воспоминание о Кале неожиданно приобрело ясность, — ну конечно, он знает очень многое о леди Кингстон.

— Имя леди Кингстон, — сказал Лонсевиль, ни к кому не обращаясь, — является напоминанием об одной из самых удушливых и бесплодных эпох. Кстати, известно ли вам, что Александровский завод отливал статуи для ее дома в Петербурге? Но не в том дело. Будучи в Кале с армией Бонапарта, я слышал от обитателей этого города рассказы о герцогине Кингстон.

Весь город трепетал перед ней. Женщины осыпали ее цветами. Мэр приказал покрыть мостовую около ее дома соломой, дабы стук колес не тревожил покоя этой авантюристки и отравительницы. Она хотела поселиться в Кале навсегда.

Благосостояние города зависело от капризов надменной женщины. Ежели бы она стала гражданкой Кале, это обстоятельство сулило бы городу неслыханное благополучие: богатства Кингстон почитались баснословными. Богатства эти приобретались отравлениями, подлогами, спаиванием крестьян и дворцовыми интригами.

То было время, когда города преклонялись перед низостью, усыпанной алмазами. Что может быть позорнее этого зрелища! Что может быть позорнее почета,

воздававшегося Кингстон всеми европейскими дворами! Она визжала на королей и била туфлей по лицу придворных дам.

Когда Кингстон находилась в гостях у польского князя Радзивилла, он сжег ей на потеху деревню со всем нищим скарбом своих крепостных. В пламени погибли дети. И все потому, что герцогине наскучили фейерверки непревзойденного пиротехника генерала Мелессино. Ей хотелось более величественного и жизненного зрелища.

Радзивилл устроил в честь герцогини ночную охоту на кабанов при свете факелов. Чтобы попасть на охоту, герцогиня ехала из Риги в Литву, и по всему ее пути согнали крестьян — жечь костры и застилать хворостом дороги. Однажды лошади понесли, и герцогиня едва не была убита перевернувшейся коляской. Вне себя от злобы, она выдумала гнусную историю, что некий холоп швырнул в коней горящей головешкой. Радзивилл приказал засечь двадцать крестьян. Кингстон наградила его за это одной из своих фальшивых улыбок.

Неужто мы можем забыть, что жизнь тысяч людей была отдана на произвол взбалмошных и злых куртизанок? Неужто мы можем без содрогания вспоминать черные времена абсолютизма?

Как примириться с тем, что Европе снова наступил на горло императорский каблук и народами руководят короли, злые и нечистоплотные, как обезьяны?

Лонсевиль сжал голову руками. Потом он встал и стремительно вышел. Ларин взглянул на его бледный профиль, промелькнувший в багровом пламени задрожавших свечей, и прошептал соседу:

— Как он похож на Руже де Лиля!

Он настолько растерялся, что позабыл проводить Лонсевиля до дверей.

Лонсевиль быстро шел по улицам. Сырой ветер шумел в садах, и было явственно слышно, как хрустит и оседает снег. В порывах ветра Лонсевиль улавливал похожий на рыданье и радостный крик напев отдаленной марсельезы. Он усмехнулся, вспомнив о выпитом вине.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Лонсевиль не слышал рассказа Ламсдорфа о подавлении восстания приписных крестьян.

Расспросив Ларина и двух смущенных юношей, присутствовавших при рассказе генерала, он составил ясную картину последних дней восстания.

Поздней осенью 1770 года Соболев бежал из арестного дома в Петербурге и появился в Великой Губе.

Лыкошин, предпочитавший отсиживаться на заводе в надежде, что восстание погаснет само по себе, получил из Петербурга приказ арестовать матежника.

Лыкошин отправил в Великую Губу солдат, но мятежники разоружили их. Вернувшись, солдаты рассказывали, что крестьяне вооружены, кроме самопалов, рогатинами и пестами.

Лыкошин понял, что дальнейшее бездействие будет стоить чинов, орденов и свободы. Он двинул в гнездо восстания — деревню Кижи — крупные силы. После жестокого боя войска опять отступили. Ламсдорф донес, что мятежники идут сражаться, соблюдая все правила военного искусства. Когда солдаты подходили к Кижам, утопая в снегах, отряды лыжников-крестьян окружили их и нанесли сокрушительный удар с тыла.

Численность мятежников Ламсдорф определил в девять тысяч человек. Он высказал предположение, что во главе восставших стоит умелый и упорный руководитель.

— Климка Соболев, не иначе, — заметил Лыкошин, выслушав донесение.

К тому времени обстановка складывалась для Лыкошина благоприятно. В Москве началась чума, и Екатерина как бы забыла о мятеже в Олонецком крае. Можно было выждать еще малость, благо на заводе от безделья шла картежная игра и гремели балы.

Лыкошин во всем, кроме военных дел, был человеком азарта. То был полководец второго ранга, ленивый и хитроватый. Военной славе он предпочитал славу бальных зал, где блеск вышитого мундира не требовал изнурительной погони за наглым холопом.

Губернатор торопил Лыкошина. Он опасался, что в Заонежье воскресли нравы Великого Новгорода и крепнет крестьянская республика, грозящая всему краю жакерией.

— Полноте, ваше сиятельство, — отвечал благодушно Лыкошин, — вот снежок растает, тогда мы и подпалим зад у ваших новгородцев. Воины, как говаривал Юлий Цезарь, даже бездействуя, бывают ужасны врагам.

В начале лета 1771 года пришло известие о возмущении яицких казаков, и Лыкошин получил предписание, где было сказано:

«Поелику олонецкие мятежники могут обнадежиться преступным возмущением яицкого люда, надлежит их разбить тотчас же с силой и решимостью, не медля, подобно прежнему, и не боясь причинить огорчительность государыне великим пролитием мужицкой крови».

Тогда Лыкошин послал в Кижи с пехотой и артиллерией князя Урусова, Ламсдорфу он уже не доверял. Мятежники так привыкли к лености и бездеятельности войск, что допустили их войти в деревню и засели за церковной оградой.

Начались хитроумные переговоры о сдаче. Клим Соболев отвечал князю резко и весело. Урусов багровел от гнева, чувствуя, что этот смерд находчивее его, князя, чье острословие стало притчей игорных домов.

Дабы внести раздор в ряды мятежников, Урусов подослал к ним Каллистратова, окончательно раскаявшегося и перешедшего на сторону начальства. Мятежники Каллистратова избили и прогнали.

Воспользовавшись сумятицей с Каллистратовым, Урусов подвез пушки и навел их на церковный двор. Мятежники смеялись и показывали артиллеристам кукиши. В церкви шла беспрерывная служба — Соболев был уверен, что офицеры не решатся стрелять по храму во время богослужения. Он ждал предательства, но не допускал мысли о кощунстве, — такова была дикая логика екатерининских времен.

Урусов снял шляпу с плюмажем и махнул артиллеристам.

Ударил первый залп. Мятежники смешались. Раздались крики, брань, потом одиночные выстрелы.

— Картечь, картечь! — кричал в исступлении Урусов, и залпы били в упор, в толпу крестьян.

Три часа мятежники сопротивлялись, прячась в церкви и среди могильных плит. Убитых сносили в алтарь. После каждого залпа от церкви отлетали щепки. Свинец дымился и распространял кислый дым. Кровь, густая, как слюна, капала в пыльную крапиву.

К вечеру мятежники сдались. Восемьдесят человек во главе с Соболевым были согнаны на завод, закованы в цепи и отправлены в Петербург.

Всем им, по приговору сената, вырвали ноздри, выжгли на лице знаки: на лбу букву В, на правой щеке — О и на левой щеке — З, и погнали на каторгу в Пелым.

Клейма для знаков отлили на Александровском заводе.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Ранней весной Лонсевиль был арестован и отправлен под конвоем в Петербург.

Везли его небритые солдаты, охрипшие от бессонницы и водки. В возке было тесно. Угловатые тесаки били по ногам. От солдат несло сырым табачищем и потом. На ночлегах конвоиры били вшей, поили Лонсевиля жидким чаем и безо всякого успеха любезничали со злыми хозяйками, пытаясь выклянчить вареной картошки и каши.

В Петербурге Лонсевиль был доставлен к начальнику жандармской команды.

Лонсевилю предъявили обвинение в распространении на Александровском заводе крайних мыслей, подрывающих устои империи.

— Я офицер французской армии. — Лонсевиль посмотрел в глаза жандармского генерала, напоминавшие по цвету спитой чай. — Я имею право высказывать

любые мысли. Вам известно, что в этой стране я нахожусь помимо воли. Неразумно требовать, чтобы человек, подчинившийся жестокой судьбе и живущий в обстановке враждебной, оправдывал варварство, столь же ему чуждое, как вам чужды идеи революции.

Лонсевиль замолчал. В кабинете стояла густая тишина. За высокими окнами, за туманом серенького денька во дворе казарм, желтых и величественных до скуки, глухо гремел барабан.

— Да, вы офицер, но бывшей армии Бонапарта, — язвительно ответил генерал, потер сапогами один о другой и вздрогнул от пронзительного скрипа голенищ. Лицо его рванула гримаса отвращения. Обдуманный ответ был сорван. Он вылетел из головы от этого омерзительного скрипа. Генерал никак не мог его припомнить и включить в полные изящества французские периоды. Он молчал. Молчание длилось так долго, что становилось тягостным и неприличным.

Лонсевиль сказал требовательно:

— Вы не можете карать меня как подданного иностранной державы. Империя Бонапарта разгромлена. Война окончена. Лучшим исходом из неприятной истории было бы высочайшее разрешение вернуться мне во Францию.

Генерал поднял глаза от сапог. Хотелось поскорее избавиться от изможденного и скупого на слова французского офицера, пойти переменить сапоги и упечь в яму негодяя сапожника.

— Я представлю вашу просьбу на благоусмотрение императора. — Генерал встал, и сапоги, зацепившись один за другой, снова взвизгнули зло и оглушительно. Лонсевиль посмотрел на ноги генерала. Тот покраснел и пробормотал быстро и резко:

— Вы свободны. Разрешительные бумаги будут вскорости высланы на Александровский завод, где вам надлежит их дожидаться.

Как передать чувство облегчения, охватившее Лонсевиля после этих слов? Оно было подобно порыву соленого ветра с моря. Сбегая по каменной, веющей холодом лестницы, Лонсевиль взглянул на себя в зер-

кало. Его глаза и волосы молодо блестели. Лонсевиль быстро накинул шинель и вышел на набережную.

Под мостами шуршал зернистый ладожский лед. Величие тумана, несшегося над гранитной столицей, напоминало океан, берега Бискайского залива, где Лонсевиль провел часть детства.

У Лонсевиля в Петербурге не было друзей. Единственным знакомым был архитектор Воронихин, приезжавший на Александровский завод заказывать чугунные базы для колонн Казанского собора. Лонсевиль пошел к нему.

Перспектива величественного города разворачивалась перед ним, смягченная мглой. О чугунные решетки мостов и бронзовые плечи памятников ударялись капли дождя. Они падали с черных ветвей. Сады источали запах лежалой листвы, сбрызнутой спиртом.

Воронихина Лонсевиль застал за черчением. Сухой и седоватый архитектор заканчивал постройку Казанского собора.

Обстоятельства встречи с Воронихиным Лонсевиль почти забыл, — от утомления у него началась лихорадка. Он запомнил лишь утреннюю прогулку по городу в сопровождении архитектора, рассказ Воронихина о своей жизни — здесь Лонсевиль в последний раз использовал склонность к изучению биографий, — строгие мосты и садовые решетки, украшавшие Петербург и изготовленные на Александровском заводе.

Они долго стояли у моста через Мойку, отлитого Гаскойном. Воронихин восхищался изгибом арки и обработкой мельчайших частей, напоминавших нагромождение индийских плодов. Налет на перилах моста был зеленоват, как цвет петербургского воздуха.

Беседуя с Воронихиным, Лонсевиль вспомнил почему-то о Моцарте, Байроне, Гете, о всех людях, живших блистательно и мудро и возвеличивших неповторимую эпоху своим существованием.

Рассказ о жизни Воронихина, выслушанный Лонсевилем с величайшим вниманием, несколько примирил его с Россией. Прощаясь с архитектором, он даже почувствовал сожаление, что покидает эту страну. Он сравнивал ее с петербургскими туманами, — за грязной

их пеленой нет-нет да и проглянет светлое золото адмиралтейской иглы.

Воронихин был крепостным графа Строганова, владетеля Пермского края. Архитектор родился в городе Усолье — диком и сером, как волчья шкура, окруженном болотами, лесами и соляными ва́рницами. Он прожил детство, ничем не отличное от детства крестьянских детей.

В отрочестве способности к рисованию выделили его из среды неуклюжих и запуганных товарищей. Его послали в ученье. Он жил в Петербурге, Риме, Флоренции, и багряная итальянская осень, гравюры Пиранези [1] и мраморы Рима создали из курносого усольского мальчишки величайшего архитектора XIX века. Он научился воплощать в бронзе и граните чужие мысли о славе. Он строил величественный Казанский собор, не имевший на первый взгляд веса — настолько соразмерны были его объемы.

Из Петербурга Лонсевиль уехал на рассвете холодного апрельского дня. В двух верстах от столицы, когда был еще виден шпиль адмиралтейства, возок застрял в грязи.

Грязь и нищета снова окружили Лонсевиля, сменив холодное великолепие петербургских проспектов.

Лонсевиль закутался в шинель, откинулся в глубину возка и уснул. Небо побрызгивало частым дождем.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

В селе Подпорожье, на Свири, жила знаменитая плакальщица, бабка Анфиса. Изба ее стояла над рекой. По реке несло онежский лед, громыхавший в каменных порогах. Конец апреля выпал жаркий. Березовые рощи качались в зеленом дыму маслянистых почек. Синий ветер раздувал по небу клочья облаков.

---

[1] Пиранези (1720—1778) — итальянский художник-гравер, прославившийся гравюрами, изображавшими архитектурные памятники Италии.

Рыжий ямщик Лихарев пришел к бабке с великой просьбой отпеть проезжего, умершего от горячки. Бабка накинула шаль и пошла на почтовую станцию.

Проезжий лежал в амбаре в длинном гробу, сколоченном из неструганых досок.

— Где же его хоронить-то? — спросила бабка.

— Да, надо быть, повезу на завод.

— А какой он веры?

— Французской. Больно строгий до себя человек. Надысь вызвал меня, сам чуть дышит. Письмо дал. Отправь, говорит, с завода на родину. Велел мне достать из баула значок военный, приколол его к вороту шинели, накрылся той самой шинелью и помер.

— Говорил чего?

— Да чего-то говорил не по-нашему. Смотрительша с им была.

Бабка Анфиса вошла в амбар, откинула платок с лица покойника и ахнула — похож! Похож на сына Ивана, убитого на германской земле, вот как похож! Бабка обняла тело Лонсевиля, прижалась головой к медному значку на вороте серой шинели — номеру наполеоновского полка, где служил Лонсевиль, — и запела звенящим томительным голосом.

Анфиса никогда не пела обыкновенных причитаний. Она их придумывала около каждого гроба, и почему-то каждый покойник был ей жалок и мил, как родной.

— Вот весна пришла, за окном стоит, а ты лежишь, соколик милый, ничего не надобно тебе — ни слезы материнской, ни жалости девичьей. Причалила ладья к последнему небесному плоту. Сам господь к тебе идет, сам господь подымает тебя — знает, помер на далекой сторонушке.

Лихарев утер армяком нос — больно жалостливо пела старуха.

— Горе великое ходило за тобой по земле. Сердце кровавое носил, боль сиротскую. Нешто можно жить одному на чужих глазах, помереть в пути да в распутицу?

Только три человека плакали над трупом инженера по литью пушек Шарля Лонсевиля — бабка Анфиса,

ямщик и жена смотрителя почтовой станции, молодая приглядная женщина с насурмленными бровями.

Прощаясь, она поцеловала Лонсевиля в лоб, и крупная слеза упала на мертвое лицо и запуталась в ресницах.

Лихарев перекрестился, закрыл гроб крышкой и увязал мокрой веревкой.

В деревне Роп-ручей, вблизи Петрозаводска, тележку Лихарева остановили жандармы. Они отобрали у Лихарева все вещи Лонсевиля. Только письмо Лихарев скрыл на груди.

Жандармы открыли гроб, осмотрели умершего и приказали Лихареву везти тело в Петрозаводск, на немецкое кладбище, да поменьше болтать в дороге. Лихарев повздыхал и поехал. Дорогой он выпил и беседовал со своим немым спутником, бахвалясь, что перехитрил жандармов и не отдал письма, за что будет ему, Лихареву, богатая мзда на небесах.

— Родимый, — бормотал Лихарев, икая на ухабах, — ты на меня надейся. Я все постигаю. В свой срок ты, видать, помер. Не в смерть бы я тебя завез, так в острог, а он, надо быть, горше смерти.

Через сутки тело Лонсевиля лежало в холодной часовне на немецком кладбище в Петрозаводске.

Письмо Лонсевиля Лихарев передал по начальству, и оно попало к Армстронгу.

Армстронг вызвал Бараля, запер кабинет на ключ, вскрыл пакет и потребовал перевести письмо на английский язык.

— Было бы недостойно джентльмена, — сказал он, — вскрывать частные письма, но мы имеем дело с человеком, заподозренным в якобинстве. Прямой долг повелевает мне узнать содержание пакета.

— Письмо на имя женщины... Марии Трините, — тихо промолвил Бараль.

— Все равно, читайте!

— «Я был арестован, отвезен в Петербург, но после допроса получил свободу и разрешение вернуться во Францию.

Впервые за годы сердечных лишений и одиночества я испытал ощущение полного счастья. Но напрасно. На обратном пути в Петрозаводск я заболел тягчайшей лихорадкой.

Я лежу на почтовой станции в деревне Подпорожье, в трех днях пути от Петербурга.

Не пугайтесь, если на этом листе вы найдете следы крови. Невежественный здешний лекарь поставил мне пиявки к вискам, и все лицо у меня залито кровью. Я очень слаб, часто впадаю в беспамятство. Я умру не позже чем ночью.

Я вспоминаю свою жизнь и заклинаю вас: любите память обо мне, иначе мысль о смерти становится невыносимой. Вы знаете, что я был честен, ненавидел рабство и варварство и любил свободу, мудрость и веселье. Всю глубину человеческого несчастья я узнал только в России на Александровском заводе.

Я бы вернулся во Францию иным — не офицером победоносной армии, пахнущим пылью походов и сиренью рейнских садов, а мстителем и солдатом. Я жил бы во имя возмездия, во имя мудрости и блеска человеческого ума, задушенного королевским режимом.

Я любил и люблю вас. Здесь, в черном мраке этой ужасной страны, я готов кричать от отчаяния и плакать по вас, как плачет ребенок по убитой на его глазах матери.

Я поступил предусмотрительно. Прежде всего я написал адрес на конверте, чтобы отправить письмо, даже если оно не будет закончено.

Опять вечер. Над черными елями там, далеко, где Париж, заходит луна. Я прислушиваюсь к собственным стонам. Почему я не умер под Бородином или на Висле? Комната залита заревом луны. Светило ночи восходит над обширной страной очень медленно, и столь же медленно иссякают мои последние силы. Я хотел бы дождаться солнца...»

— Все, — сказал Бараль. — Письмо не дописано.

— «Светило ночи», — пробурчал Армстронг, и кривая усмешка сползла с его губ и исчезла в дыму коротенькой трубки.

— Astre de nuit, — повторил он по-французски. — Господин Бараль, для чего нужны на земле поэты?

— Для усовершенствования в языке, сударь.

— Но не для литья пушек, я полагаю. Каждая страна прекрасно обошлась бы без поэтов. К сожалению, закон разрешает оплачивать человеческую болтовню. Письмо этого поэта отправьте по адресу и сообщите от себя обстоятельства его смерти. Надо уважать чувства близких.

Армстронг выколотил трубку о кандалы, издавшие мелодический звон.

Бараль поклонился и вышел. Он нес письмо, брезгливо держа его за уголок кончиками пальцев. Так выносят в сорное ведро убитую мышь...

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

«Получив наисекретнейшее предписание вашей светлости, я тотчас же выехал с двумя жандармами на ближайшую к Петрозаводску почтовую станцию Роп-ручей, где и дожидался проезда бывшего офицера французской армии, инженера Александровского завода Шарля-Евгения Лонсевиля.

На четвертые сутки, когда я потерял всяческую надежду задержать оного Лонсевиля, полагая, что он, предупрежденный неизвестными лицами, скрылся, в Роп-ручей приехал ямской крестьянин Лихарев, доставивший сосновый гроб, обвязанный веревками, и вещи, принадлежавшие Лонсевилю.

Вещи были отобраны и препровождены в канцелярию его высокопревосходительства господина олонецкого губернатора.

Гроб был вскрыт, и в нем обнаружено тело упомянутого Лонсевиля, завернутое в военную французского образца шинель с номерным знаком 37-го савойского полка.

Из опроса ямского крестьянина Лихарева, равно как и из обозрения тела, оказалось, что Лонсевиль умер от горячки в селе Подпорожье.

Тело по моему приказанию было немедленно отправлено в Петрозаводск и предано земле без всякой огласки.

Ввиду вышеизложенных обстоятельств мною не мог быть выполнен приказ вашей светлости о тайном задержании государственного преступника Лонсевиля на пути его из Петербурга в Александровский завод и препровождении оного Лонсевиля в Шлиссельбургскую крепость для пожизненного заключения, дабы содержать его там без фамилии под номером 26.

О последующем жду распоряжений.

Вашей светлости покорнейший слуга ротмистр *Тучков*».

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

В двадцатых годах прошлого столетия, через несколько лет после смерти Лонсевиля, в Петрозаводск приехала французская гражданка Мария Трините, назвавшая себя женою Шарля Лонсевиля.

Узнав о смерти Лонсевиля, Трините решила ехать в Россию, чтобы видеть те места, где он жил, и поговорить с людьми — свидетелями его последних дней. Готовясь к поездке в течение нескольких лет, Трините изучила русский язык и изъяснялась на нем довольно свободно.

Она прожила в Петрозаводске с весны до поздней осени. Очень часто она отправляла письма во Францию, своей подруге Рашель Мартисон.

Судя по письмам Мария Трините обладала острой проницательностью и склонностью к меланхолии. Многие места из ее писем заслуживают лучшей участи, нежели тление в пахнущих сухим жасмином семейных архивах Мартисон.

«Сегодня начальник завода мистер Фуллон, — писала Трините, — был настолько любезен, что сам вызвался показать мне мастерские.

Представь себе, Рашель, грязную кузницу в Руане, увеличенную в двадцать раз, — это и будет тот завод, где страдал и умер Шарль.

Помещения блестят от окаменелой копоти. Рабочие похожи на бородатых негров. Едкий дым выжигает глаза. Люди работают молча и безо всякой спешки.

Здесь все из дерева. Весь завод приводится в движение водой, и шум ее господствует над маленьким городом.

Фуллон — весьма просвещенный англичанин. Он лично знал шотландского писателя Вальтера Скотта.

Он рассказал мне историю этого завода со времен царя Петра, добавив, что не удивительно, если твердую копоть на стенах я приму за окаменелую кровь.

— Этот завод, — сказал мне Фуллон, — олицетворяет режим своей страны.

Слова эти были произнесены около исполинской плющильной машины. Вообрази себе стальные плиты. Они сдавливают с чудовищной силой раскаленные шведские пушки, превращая их в куски чугуна.

Фуллон показал тонкой рукой в черной перчатке на эту машину и сравнил ее с Россией. Мы говорили по-французски, и никто нас не мог слышать.

— В противоположность своим соотечественникам, английским директорам завода, — добавил Фуллон, — я стремлюсь поскорее покинуть Россию и вернуться в Англию. Я не ощущаю особого удовольствия от мысли о всех своих предшественниках. Завод этот насчитывает свыше ста лет существования. Он был построен еще при Петре. Начальником завода в те времена был голландец Вильям Генин.

Он рассказал мне историю Генина. Она заслуживает того, чтобы тебе ее передать.

Генин отличался суетливостью и добродушием. Еще в молодости, в Голландии, он изводил старушку мать любовью к кошкам. Он подбирал на улицах котят и приносил их домой в карманах камзола. Котята пачкали полы, и старушка весь день затирала кошачьи следы лавандовым маслом.

Однажды Генин привел вместо котенка неотесанного русского парня. Парень заблудился в ночном Амстердаме. Он спал очень неспокойно, тяжело дышал во сне.

За утренним кофе старушка хотела сказать русскому, что у него в носу полипы, но Генин строго посмотрел на нее и промолвил, что их скромный дом осчастливлен пребыванием русского царя. Старушка пролила кофе, а царь похлопал ее по плечу. Старушка сделала книксен и скрылась на кухне.

Через год Генин уехал с русским царем в Москву. Сначала он обучал боярских сыновей артиллерийскому делу, потом был назначен начальником Петровского пушечного завода.

Завод работал скверно. Управители погрязли в лихоимстве. Рабочие и рекруты разбегались сотнями. Тогда добродушный Генин выпустил кошачьи когти — он не хотел рисковать своей головой. Он порол рабочих, ходил по заводу, охал, кричал и жаловался на жестокость Петра.

Слух об этом дошел до царя, и на завод прислали следить за Гениным фискала Ижорина.

Генин обиделся. Он заваливал Петербург жалобами на несносные притеснения Ижорина.

Он хвастал своими успехами и угрожал бросить завод, если фискал немедленно не будет отозван.

Царь молчал.

Сообщения Генина, что из отлитой им тысячи пушек разорвалось только три, что шпажные клинки с Петровского завода не хуже золингенских, что ружья завод изготовляет по лучшему, штеттинскому способу, оставались без ответа.

Царь молчал, а Генин пугался и учащал порки.

Вокруг завода по топким дорогам были выставлены караулы, ловившие беглых рабочих.

Рабочий завода Рябоев открыл вблизи Кончозера источник целебной воды. Генин дал Рябоеву три рубля и приказал молчать. Он поставил около источника камень с надписью, что воды открыты им, Вильямом Гениным, и отправил в Петербург донесение, где именовал новые воды марциальными и звал царя попользоваться ими.

Тотчас же пришло повеление построить около источника летний дворец. Царь приехал с царицей и

принял несколько ванн. Воды помогли. Генин в благодарность был произведен в генералы.

Я вполне согласилась с Фуллоном — не очень весело иметь за спиной таких предшественников.

Ты знаешь, только здесь, на заводе, я поняла, отчего умер Шарль. Возвращение во Францию его не спасло бы. Как может радостно смотреть на небо человек, видевший, как истязают людей!

Ты представь себе наглые бакенбарды военных инженеров, невежественных и пьющих водку целыми ведрами, картежную игру, где нет места даже азарту, рабочих, обреченных быть скотами, и скотов, обреченных работать до последнего издыхания, муштровку солдат — их бьют по щекам за дрогнувший носок сапога, — полную невозможность протеста, рассказы о Сибири, плетях и каторге, злых женщин и тоску этих неописуемых непролазных дорог, где ямщики хрипнут от самой подлой брани, — представь все это в сиянии чистейшего неба, в свежем ветре с озер, в душистом молчании лесов, и ты поймешь, как прекрасна эта страна и как терпелив народ, ее населяющий.

На заводе отливают надгробный памятник Шарлю. Я поставлю его и уеду во Францию. Но я привезу землю с могилы Шарля, землю этой страны, и посажу в нее в нашем саду лучшие цветы, какие мне даст отец. Пусть хоть эта холодная земля радуется их благоуханию».

«Третьего дня, наконец, — писала Трините, — поставили над могилой Шарля чугунный памятник и ограду, похожую по тонкости работы на кружево.

Теперь мне здесь нечего делать. На днях я уезжаю. Меня пугает обратный путь. Какая предстоит горечь от зрелища плоских и бесцветных озер под таким же плоским и сереньким небом...

Мне придется ехать водой. Как передать тебе монотонность этого пути по каналам на скрипучих и медленных баржах, простаивающих сутками около безлюдных деревень?

Все будет пропитано смрадом воды, гниющей в трюмах, и едким табаком — его курят здешние рабочие.

Необходимо брать пищу до Петербурга. В дороге ничего нельзя купить, кроме чая, постного сахара, пахнущего салом, и черствого хлеба. Когда я вижу этот хлеб, колючий от соломы, я почему-то вспоминаю слезящиеся глаза мужиков и их растрепанные ветром рыжие бороденки — одно из самых ярких впечатлений моего путешествия по России.

Да, путь будет печален, как возвращение с похорон. Здесь я оставляю свое сердце. Здесь умер Шарль, который так жестоко и наивно страдал в силу своего чистосердечия и жажды высшей справедливости».

«Вчера я пережила первый радостный день в России.

Не помню, писала ли я тебе, что мистер Фуллон посоветовал мне познакомиться с его секретарем Юрием Лариным. По словам Фуллона, Ларин, человек весьма начитанный и обладающий живым умом, был искренним другом Шарля.

Но, к несчастью, незадолго до моего приезда в Россию Ларин был послан в Англию, чтобы завербовать там для завода несколько литейных мастеров, и возвратился в Петрозаводск только третьего дня.

Вчера, 15 августа, завод не работал по случаю праздника успения, и я совершила большую бестактность: я пошла к Ларину, даже не предупредив его о своем визите. Я уверена, что ты меня не осудишь. Ты знаешь, как мне дорога память о каждом слове и каждом поступке Шарля. Кто лучше Ларина мог рассказать о его последних днях?

Я очень волновалась. Меня встретил высокий приветливый человек с пытливыми и несколько насмешливыми глазами.

— Чем я могу служить вам, сударыня? — спросил он меня по-русски.

Я назвала себя. Спазмы сжимали мое горло.

— Так это вы жена Лонсевиля? — тихо спросил Ларин по-французски. — Бог мой, какую радость вы принесли мне своим приездом!

Он волновался не меньше меня. Он нервно ходил по комнате и непрерывно говорил. Он вспоминал день за днем жизнь Шарля, передавал его рассказы,

его гневные речи. Он говорил о любви к Шарлю простых людей и рабочих, о неожиданном аресте, о том, что только смерть спасла Шарля от пожизненной каторги и что, может быть, только благодаря этой смерти он избавился от потери рассудка в глухих казематах Шлиссельбургской крепости.

— Лонсевиль был человеком прекрасных душевных порывов, — сказал он, остановившись и глядя в окно, где золотые березы осторожно сбрасывали на землю легкие листья. — Ему я обязан тем, что перестал быть глупым юнцом, вздыхающим о революции, как о любимой женщине. Он зажег меня ненавистью к тирании и холодной решимостью. Он вложил в меня мысль, что освобождение невозможно без жестокого уничтожения угнетателей. Он заставил меня изучить историю французской революции и творения великих мыслителей. Через месяц после знакомства с ним я с дрожью в сердце понял, что этот человек любит наш народ умной и горячей любовью борца, тогда как мы только и делаем, что проливаем слезы над жалкой долей холопов в армяках лишь за бутылкой водки.

Ларин быстро отошел от окна и засмеялся, всплеснув руками.

— Сударыня, мы попали с вами в поповскую мышеловку. Сегодня праздник. По нашим обычаям, священники с причтом ходят по домам и служат молебны. Вон, видите, отец Серафим направляется ко мне, и мы уже не успеем скрыться. Утешительно лишь то, что эта церемония продлится две минуты, ибо отец Серафим изрядно пьян.

Отец Серафим вошел в дом в сопровождении дьякона с таким шумом, точно в залу впустили стадо слонов. Покричав и покадив две минуты около иконы, он сунул в губы Ларину и мне холодный серебряный крест и торопливо сел к столу.

Слуга подал вино и закуску. Выпив рюмку водки, отец Серафим начал несносно хвастаться своим дедом, священником Семеном, жившим в селе Кижи. Он рассказал, что некогда царь Петр на пути в Петербург остановился в этой деревне и зашел в цер-

ковь. Он рассеянно слушал торжественную службу и ковырял пальцем иконы, отлитые из чистой меди.

После службы царь подошел к Семену,— по словам Серафима, то был черный поп с дикими глазами,— и спросил, указывая на иконы:

— Кто отливал?

Семен ответил, что иконы и кресты отлил голландец Бутенат, державший при царе Алексее медный завод в Кижах.

Бутенат был лютеранин, и поп Семен не мог этого снести. Несколько раз собирал крестьян, бил в колокола и устраивал на заводе погромы. Бутенат не выдержал войны с попом и бежал в Голландию, а завод крестьяне разворовали по бревнам.

— Поп,— сказал Петр тихо,— про тебя мне доносили многое. Кожу сдеру!

Поп воздел руки, вытаращил глаза и крикнул:

— Еретиков изведу заодно с их семенем — царя не побоюся!

Петр сплюнул и вышел.

— Каков прадед, таков и правнук,— сказал мне Ларин по-французски. Он был раздосадован хвастовством и нечистоплотностью священника, евшего мясо руками.

Отец Серафим вытер бороду, где застряли кусочки вареной моркови, попрощался и ушел, сотрясая прихожую топотом глубоких кожаных калош.

— Я не могу выносить дым ладана, — поморщился Ларин, — он напоминает мне похороны и вызывает мигрени. Ежели вы не устали, то не лучше ли нам пройти на набережную.

Я с радостью согласилась.

Мы ходили по набережной до позднего вечера. Свечи в редких фонарях горели неподвижно и тускло — над озером установилось безветрие. В темной воде отражались печальные звезды. Из заброшенных садов был слышен запах вянувших листьев.

— Вы не должны ненавидеть нашу страну,— говорил мне вполголоса Ларин.— Жажда освобождения терзает лучшие умы. Молодые люди, совершившие поход во Францию, привезли оттуда не только

зажившие раны и обветренные лица, но и порох революционных надежд. Россия охвачена предрассветным холодом и тревогой. Не принимайте этот холод за дыхание смерти. Как иначе, как не предвозвестником зари, мы можем назвать нашего поэта Пушкина? Известны ли вам его стихи о карающем кинжале? «Как адский луч, как молния богов, немое лезвие злодею в очи блещет, и, озираясь, он трепещет среди своих пиров...» Пушкин — это поистине молния богов.

Над озером блеснула тусклая зарница, и лишь минуту спустя прокатился далекий гром. Ларин засмеялся.

— Осенняя гроза,— промолвил он и остановился.— Прекрасное будущее приближается неотвратимо. Когда оно наступит, нам не дано знать. Ради него жил последние годы ваш муж, беспощадно вырвавший из своего сердца все черты наивности и благодушия. Не впадайте в отчаяние. Какая беда в том, что он страдал нашими горестями? Неужто вы склонны к мысли, что революции достоин лишь народ французский?

— Сударыня,— сказал, помолчав, Ларин и показал мне на небо,— звезды светят с неизмеримо меньшей яркостью, чем солнце, но в наши зимние ночи они освещают путь и служат путеводными знаками. Нет великих и малых дел, ежели человек всем сердцем стремится к великому и справедливому, ибо в этом случае все дела имеют великие вес и последствия.

В город мы вернулись через темный и облетевший сад. Листья шумно пересыпались под нашими ногами. Я как бы выпила легкого вина,— внезапно Россия показалась мне страной, любимой до боли в сердце».

«Завтра я уезжаю. Безоблачные дни сменились ненастьем. С Белого моря дует неровный ветер и несет снег вперемежку с дождем. Как говорят русские, «дождь сечет». Какое иное сравнение мог придумать народ, привыкший к тому, что его секут постоянно?

Дождь сечет.

Пейзаж за моими окнами приобрел вид картины, косо повешенной на стене. Косые струи дождя, косой дым из низких заводских труб, косые деревья, наклонившиеся люди, пробивающиеся через дождь и ветер, наконец косой полет ворон, зловеще каркающих над пустырями.

Перед отъездом я видела забавное зрелище — богослужение под дождем, панихиду по императрице Екатерине.

Шеренги солдат стояли в жидкой грязи. Генералы кутались в черные плащи. С желтых волос отца Серафима вода текла на черную ризу, и певчие пели уныло и хрипло, прикрывая рты посиневшими руками.

Рабочие стояли поодаль, глядя в землю и крестясь быстро и машинально. Они все были в черном, в тяжелых сапогах и напоминали толпу галерников, слушающих напутствие перед отправкой на каторжные работы.

Потом запели «вечную память». Генералы, солдаты, рабочие, чиновники и женщины в кринолинах опустились на колени в желтую от навоза грязь. Хоругви склонились до земли от налетевшего ветра. Повалил серый липкий снег.

У меня болит сердце от сострадания к этому народу.

Я прошла на кладбище и положила на могилу Шарля несколько белых астр.

Ветер тотчас же унес их, будто Шарль отбросил их рукой, протестуя против моего отъезда.

Я расплакалась. Боже, что мне делать? В этой стране я оставляю свою душу. Мне не следовало приезжать сюда».

«Ларин, провожая меня, дал мне несколько писем своим друзьям в Петербурге.

Рашель, я впервые увидела людей, столь же полных нервическим ощущением нашего грозного времени, как полон им был Шарль. Я встретила русских, соединявших в себе гражданскую доблесть с самой привлекательной мягкостью славянской натуры.

Один из них, — я не буду называть тебе его имени, — выслушав горестную историю Лонсевиля, сказал мне:

— Сударыня, придет время, когда наши потомки вычеканят новую надпись на надгробном памятнике Лонсевиля. Благородные его стремления не получили развития. Императорская Россия убила его, как убивает лучших детей народа. Отныне он наш.

— Какую надпись? — спросила я.

— Вы владеете русским языком?

Я утвердительно наклонила голову. Он понизил голос и прочел, волнуясь:

Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья.
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена.

Мы стояли на набережной Невы около Летнего сада. Я подняла голову и сквозь слезы увидела в лунной голубой полночи корабль, который должен был увезти меня во Францию. Матросы зажигали на его бортах фонари. Облака, подобные низкому дыму, быстро неслись со стороны моря.

— Он наш,— повторил русский, и я поняла, что отныне эта прекрасная и несчастная страна так же близка мне, как Франция».

1932

ОЗЕРНЫЙ ФРОНТ

Капитан Тренер пожевал жареную репу и вздохнул. Вкус репы отдавал горечью, как воздух лесистого и холодного Заонежья, где стояла флотилия.

Кончался май. Грязный лед все еще таял на берегах Онежского озера. По ночам казалось, что озеро превращается в море, — запах льда напоминал запах сырых приморских песков.

Лес шумел за окнами избы, нагоняя сон. Канонерские лодки кланялись берегу, поблескивая огнями. То были старые буксирные пароходы, приплюснутые, как клопы. В Петрозаводске их выкрасили в цвет мокрого полотна и поставили им на палубы орудия.

— О чем вздыхаешь, старик? — спросил Тренера штурман Ерченко, прозванный «Сарвингом».

На морском языке сарвингом называют старую, истлевшую парусину. Наступили жестокие дни. Лучшим напитком считался спитой чай, великолепной едой — болтушка из затхлой муки. Толстый штурман лишился своего объема и посерел, подобно видавшему виды рыбачьему парусу. «Сарвинг» — сказал о нем Тренер. Прозвище немедленно было узаконено всей Онежской озерной флотилией.

— Погано! — ответил Тренер. — Сиди в этой дыре и дожидайся английских истребителей. Жуй репу и любуйся на «консервные банки», — он кивнул за окно.

где огни канонерок продолжали качаться с монотонностью маятников. — К тому же холодно. Наступает второй ледниковый период.

Комиссар Мартайнен неодобрительно ухмыльнулся.

Хозяйка избы, старуха Кузьминишна, поставила на стол тарелку с вареной ряпушкой. Тренер ковырнул вилкой перепрелую кашу из рыбы и рассердился.

— Что вы хмыкаете? Надо, наконец, научиться уважать науку. Флотилия на собственной шкуре испытывает приближение льдов.

Сарвинг заскрипел стулом.

Тренер гневно взглянул на штурмана.

— Не лезь в пузырь, Эдуард, — прохрипел Сарвинг. — Я тебя всегда с удовольствием слушаю.

— Надо иметь голову на плечах, — сказал Тренер. — Почему англичане устроили в Медвежьей горе базу? Почему поставили на берегу судовые орудия и спустили на озеро истребители? Если бы не лед в мае, в половине мая, было бы это или нет? Я тебя спрашиваю, старый обалдуй. Конечно, нет. Наши коробки от сардин не могли форсировать лед. Мы бегали около кромки льда и грызли собственные кулаки. Май, видите ли, чудесный месяц май, стоял над этим чертовым озером, и лед таял с такой же скоростью, с какой растет борода у флагмана.

(Было известно, что флагман брился раз в неделю не из-за отсутствия времени, а за полной ненадобностью делать это чаще.)

— Холодная весна, — согласился Мартайнен.

— Холодная весна? — язвительно переспросил Тренер. — Вы в этом уверены? А вы знаете, что здесь в доисторические времена был климат Сицилии?

— Все может быть, — согласился Мартайнен. Ему хотелось спать. Сарвинг уже всхрапывал.

— Да, все может быть, — ответил Тренер и оглянулся.

Из темного угла избы, где стояла кровать, послышался тихий плач.

Мартайнен смотрел за окно, где между сосен дрожали звезды. Сарвинг проснулся и встал.

— Опять! — сказал он испуганно и начал застегивать рваную шинель, похожую на больничный халат. — Пора на канонерку. В пять часов снимаемся в дозор к Мэгострову. Хоть бы три часика поспать.

— Мертвого не воротишь, — пробормотал Мартайнен. — Идемте, штурман.

Тренер остался. Еще третьего дня он забрел в избу Кузьминишны в поисках молока. В избе он застал старуху и молодую плачущую женщину. Пока старуха кормила Тренера простоквашей, женщина не переставала плакать.

Тренер торопливо глотал простоквашу, не чувствуя ее вкуса, потом тихо спросил старуху, кто эта женщина.

— Учительша, — прошептала старуха. — Беда у нее случилась. Девочку убили.

Тренер больше ничего не спрашивал. У себя, на канонерской лодке «Номер два», он рассказал о необыкновенной избе, где кормят густой простоквашей. В избу началось паломничество.

Старуха притворно негодовала, но в простокваше не отказывала.

Когда простокваша иссякала, Кузьминишна кормила моряков жареной репой и ряпушкой.

Избу прозвали «Кафе Колдунчик». Каждый вечер там можно было застать посетителей, отдаленно напоминавших моряков. Об их профессии можно было догадаться по случайно уцелевшим признакам: фуражкам с золочеными «крабами», рваным клешам, пуговицам с якорями, татуировке под рукавами ватных телогреек и старомодных пиджаков, но больше всего — по обветренным и озябшим лицам.

Сарвинг и Мартайнен ушли. Тренер остался. Он был любопытен. Жгучее любопытство преследовало его все время. Несмотря на свои сорок лет, он увлекался множеством вещей. Он походил на мальчика, старающегося во что бы то ни стало сломать игрушку, чтобы заглянуть внутрь. Жизнь была для Тренера подобна этой игрушке. Он любил разбирать механизмы, выпытывать людей, читать научные исследования, спорить. Из накопленных за долгие годы

наблюдений он делал ошеломляющие выводы. Это занятие его радовало. Потому, может быть, через всю жизнь Тренер прошел легко, точно посвистывая, и заслужил кличку чудака.

Тренеру не давала покоя учительница. Он хотел узнать причину ее слез. На этот раз им меньше всего руководило любопытство. Он испытывал несвойственную ему досадную жалость.

— Как это случилось? — спросил он Кузьминишну.

Рассказ старухи не успокоил Тренера. Откровенно говоря, он ничего не понял. Ясно было одно — дочь учительницы, двухлетняя девочка, погибла от взрыва ручной гранаты.

Необходимо оговориться. Дело происходило в 1919 году в селе Толвуе, на полуострове Заонежье. С севера на Петрозаводск наступали две белые армии. Олонецкая добровольческая армия, состоявшая из финнов, пробивалась из Финляндии к Лодейному Полю. Северная добровольческая — густая смесь из английских, сербских, американских и русских белых отрядов — двигалась из Мурманска вдоль железной дороги. Последнюю армию называли «англичане».

В мае 1919 года англичане заняли Медвежью гору — самый северный пункт на Онежском озере. Они укрепились там и послали в Заонежье отряды с продовольствием и оружием — поднять восстание среди хозяйственных заонежских рыбаков.

Восстание началось в Толвуе и Шуньге, но было быстро подавлено.

Сарвинг на своей канонерской лодке доставил в Толвуй из Петрозаводска музыкантскую команду. Этого оказалось достаточно, чтобы восставшие подняли белый флаг и сдались.

В то время на карельском фронте не было войск и винтовок. Каждые десять вооруженных людей считались хорошей боевой частью. Довольно того, что единственный батальон целый месяц сдерживал натиск превосходящих сил белых вдоль Мурманской до-

роги, яростно защищая каждую шпалу и каждый телеграфный столб. В конце концов этот потрепанный и голодный батальон остановил наступление белых.

Все главные силы были оттянуты против Юденича.

Сарвинг заслуженно гордился «толвуйским делом». Барабанщики и трубачи, умевшие с грехом пополам сыграть «Интернационал», оказались надежными бойцами.

Правда, после этого Сарвингу долго не давали покоя. Каждый раз, когда его канонерка, прозванная «Музыкантом», вползала, шлепая колесами, в петрозаводскую гавань, команды сторожевых катеров встречали ее варварским маршем. Его наигрывали на гребенках, жестяных кружках и попросту хлопая себя кулаками по надутым щекам.

На это развлечение командующий флотилией смотрел сквозь пальцы. Сарвинг багровел и ругался.

Несчастье с учительницей случилось в день высадки музыкантского десанта.

Сарвинг внезапно открыл по селу огонь из кормового орудия. Началась паника. Отряд из нескольких американских солдат во главе с лейтенантом Шервудом бежал в лес, не сделав ни одного выстрела.

Шервуд бежал впереди. В узком переулке он натолкнулся на учительницу. Она спешила с девочкой в единственный каменный амбар, чтобы спрятаться от обстрела. Шервуд задел учительницу плечом и отскочил. Раздался взрыв. Шервуд бросился дальше. Солдаты бежали за ним. Один из них перепрыгнул через упавшую девочку, остановился, показал себе на голову, что-то яростно прокричал по-английски и побежал дальше.

Девочка была убита осколком ручной гранаты в висок. Очевидно, Шервуд уронил гранату, наткнувшись на учительницу.

— Непонятно, — пробормотал Тренер. — Чтобы граната взорвалась, необходимо сбить кольцо, а для этого надо остановиться. Тут что-то не так.

Учительница взяла убитую на руки и ушла в лес.

Она ходила до утра, баюкала посиневшую девочку и пела ей песни.

Утром сигнальщик, матрос Федор Гущин, привел учительницу в деревню. Вот все, что удалось узнать Тренеру.

Тренер надвинул форменную кепку на глаза и пошел на канонерку. В туманном озере плескались мелкие волны. Над ними в теплом воздухе, опровергавшем опасения Тренера о нашествии льдов, подымалась опухшая луна.

Тренер поморщился. В лунные ночи он спал тревожно. Значит, опять бессонница.

Учительница напомнила ему молодость, когда он гардемарином приехал к себе на родину, в Псков. Тогда у него был еще свежий голос. Каждый вечер он выезжал в лодке на реку Великую, становился под мостом и пел. Мост давал гулкий резонанс. Тренер пел старинный романс. Теперь он его забыл, в памяти осталась только одна строчка:

Кто ты, певунья, я не знаю...

Вокруг Тренера толпой собирались лодки. Он запомнил одну, выкрашенную в белый цвет. В ней приезжала девушка, удивительно похожая на эту учительницу — те же зеленоватые, немного косые глаза, тот же застенчивый взгляд. Такая же милая дурнушка.

«Вот молодость! — подумал Тренер. — Пенье до рассвета, холодная вода Великой, запах цветущих лип...»

У себя в каюте он тихо запел: «Кто ты, певунья, я не знаю», но прислушался и осекся. Начало сердито стрекотать радио. Через несколько минут радист принес синий бланк — зашифрованный приказ командующего немедленно сниматься и идти из Онежского озера в Ладожское, к пристани Свирице.

Тренер сказал про себя: «Есть идти в Свирицу». Он не знал тогда, что присутствует при начале смелой и блестящей видлицкой операции.

В три дня флотилия прошла несколько сот миль из Онежского озера в Ладогу и отдала якоря в Свирице, вблизи впадения Свири в Ладожское озеро.

Путь был совершен в глубочайшей тайне. Готовился быстрый удар в тыл финнам — удар на Видлицу, главную базу Олонецкой добровольческой армии.

Финны ничего не подозревали. На Ладожском озере советских судов не было. Переброска их из Онежского озера казалась невероятной. По законам стратегии это было равносильно безумию, ибо фронт против англичан оказывался обнаженным. К тому же петрозаводская газета печатала успокоительные сообщения, что Онежская флотилия до последней крайности будет защищать город от англичан и жители могут спокойно предаваться своим занятиям.

Финские шпионы доставляли номера газеты в штаб Олонецкой армии, где большевистской газете верили беспрекословно и наивно.

В Свирице Тренер поднялся на мостик. Холодные луга лежали вокруг. В прибрежном тальнике шумел ладожский ветер. Глыбами лакированного серого льда застыли на воде эскадренные миноносцы «Уссуриец» и «Амурец», пришедшие из Балтики.

Медные поручни на миноносцах были надраены до той степени блеска, какая носит у моряков название «чертова глаза». Закат рассыпал по меди десятки маленьких угрюмых солнц.

Над рекой дымилось тяжелое небо. Солнце прорвало в тучах окровавленную щель.

Мартайнен принес на мостик приказ командующего флотилией Панцержанского. Он был передан с посыльного судна, где командующий держал свой флаг.

Тренер читал приказ с нескрываемым удовольствием. Он любил язык приказов, короткий, будто блеск световых сигналов, которыми перекликаются боевые корабли во время ночных походов.

— «Общая задача, — читал Тренер, — сбить неприятельские батареи у посада Видлицы и высадить десант в устье реки.

Корабли собираются в Свирице. По моему сигналу все снимаются с якоря и вступают в строй кильватера. В Видлице эсминцы подходят к берегам севернее реки и начинают обстрел батарей на правом ее берегу, стараясь состворить батареи и имея их на норд-ост от себя. Затем миноносцы переносят огонь на Видлицкий посад. Заградитель «Яуза» обстреливает батареи южнее реки и прекращает огонь не ранее, чем батареи замолчат.

Дивизиону сторожевых судов держаться на вест от заградителя «Яузы» и по сигналу последнего идти в устье реки. Подойдя к устью, открыть огонь и остановиться у пристани».

— Это нам, — сказал Тренер. — Будет шумно.

«После высадки десанта с транспортов всякая артиллерийская стрельба прекращается. Корабли остаются на местах и ждут моего распоряжения.

Миноносцы имеют трехфлажную сигнальную книгу. Для пароходов средство связи — только голос».

— Все? — спросил Мартайнен.

— Все, — ответил Тренер и повторил: — «Для пароходов средство связи — только голос».

— Собственно говоря, одним голосом и воюем. И, между прочим, бьем. Под островом Мэг на Онежском озере — это было еще до вас — налетели английские гидро. Летчики хамили, почти цепляли за мачты. А у нас ни одного зенитного орудия. Пулеметы вверх не бьют из-за перекоса лент. Пришлось отстреливаться из винтовок и грозить кулаками. Но зато мы идеально научились увертываться на своих консервных банках. У англичан не было ни одного попадания.

— Бывает, — промолвил Мартайнен.

Комиссар принадлежал к породе людей, разговаривающих глазами. Он даже редко говорил «да» или «нет». Обычно согласие или отказ Тренер узнавал по его взгляду. На Тренера он смотрел одобрительно, целиком ему доверял, на только что присланного из Петрограда старшего артиллериста — со скукой, считал его безвредным шаркуном.

Мартайнен никогда не ругался. В тех случаях, когда надлежало сказать крепкое слово, у него краснел затылок и белели глаза.

Выход в озеро был назначен ночью. Тренер приказал разбудить себя в полночь и спустился в каюту. Он лег и укрылся шинелью.

— «Сражения—это дым»,—пробормотал он сквозь дремоту. «Кто это сказал? Какая чепуха! Должно быть, кто-нибудь из английских военачальников. По старым английским традициям, каждый боевой генерал, умирая, говорил какую-нибудь глупость, вроде того, что «война, как и все явления в мире, необходима». «Англия надеется, что каждый исполнит свой долг» — это самое неудачное из выражений Нельсона.

Кстати, почему Нельсон выиграл Трафальгарскую битву? В маневрировании парусных линейных кораблей не было правильного расчета. Нельсоном руководили каприз, полет фантазии, безрассудная смелость.

У нас — иное. Мы выиграем благодаря простому плану, скрепленному мужеством и верой в дело».

— Трафальгар, — промолвил Тренер и натянул шинель на голову.

Дремоту Тренера прервал короткий стук в дверь. Пришел Мартайнен. Он сел в ногах Тренера, скрутил папиросу и будто невзначай обронил:

— Артиллерист дрейфит.

— Я проверял дальномеры и крепления. Все в порядке.

— Да, но человек не в порядке.

— Будем следить.

Тренер поморщился и сел на койке. Болела голова. Перед боем это было совсем напрасно.

— А я здесь лежал, думал.

— Мечты о магнолиях в Петрограде? — усмехнулся Мартайнен.

— Да, все те же мечты о магнолиях, — вздохнул Тренер.

Его беспокоил артиллерист. Маленький, черный, очень вежливый, он выдавал сухопутное происхождение бледным лицом и множеством угрей на щеках. В боях он еще не был.

Артиллерист сам стриг себе усы по-английски. В каюте у него пахло филодермином и парикмахерской. На стенах веерами висели открытки золотоволосых девушек с розовыми носами и глазками цвета капусты. С матросами артиллерист говорил вкрадчиво, но мало. Команда его невзлюбила и прозвала «пассажиром».

— Ему бисером вышивать, а не плавать, — проворчал Тренер и натянул шинель. Пора было подыматься на мостик. — Что с ним происходит?

— Он дрожит, — ответил Мартайнен, и затылок его побагровел.

Тренер крякнул, выругался и застегнул шинель. Внезапно лицо его стало каменным, глаза похолодели. Он засунул руку в карман и вынул старые кожаные перчатки. Мартайнену показалось, что этим незаметным жестом Тренер небрежно спрятал в карман недавние мечты о магнолиях. Тренер сказал резко:

— Сейчас снимаемся.

— Есть! — невольно ответил Мартайнен и пропустил Тренера вперед.

Ветер с Ладоги пересчитывал редкие огни флотилии. Гулкий пар рвался вверх из труб миноносцев. После дремоты бледная северная ночь показалась Тренеру сном. Речные волны шумели в прибрежных кустах. Над болотами скрипели коростели.

В эту минуту старый буксирный пароход «Сильный» — ныне канонерская лодка «Номер два» — показался Тренеру грозным истребителем. Корабль затих. Люди говорили шепотом. Только машина, разогреваясь, посапывала паром.

На посыльном судне замигал сигнал. Все вздрогнули, хотя ждали его именно в этот час. Сигнал был дан в назначенное время.

Тотчас же две низкие тени миноносцев сдвинулись и, вздохнув машинами, пошли за посыльным судном. Флотилия вытягивалась белой линией кильватерных огней.

Вышли в озеро. Ветер свежел. С веста шла короткая волна. Через час канонерская лодка «Номер два» уже отыгрывалась, принимая волну. Тренер слушал нараставший шум и не мог отделаться от мысли, что шумят не прибрежные сосновые леса, а Ладожское озеро.

По пути в Видлицу, около устья реки Олонки, флотилию ждали транспорты с десантом. К ним подошли в три часа ночи. Рассвет зарождался на востоке отблеском бесконечных болот. Ветер стих.

В полной тишине флотилия перестроилась. Сторожевые суда окружили кольцом транспорты. Финская батарея как бы спросонок открыла огонь. Снаряды ложились между суднами флотилии и берегом. Командующий приказал на огонь финнов не отвечать.

Тренер считал недолеты и посматривал на артиллериста.

Артиллерист потирал руки.

— Зябнете? Надо было выспаться раньше, — жестко сказал Тренер. — От дрожи может случиться расстройство желудка.

Артиллерист покраснел и сошел с мостика.

В пять часов флотилия подошла к Видлице. На берегах стояла предрассветная тишина. Если прислушаться, то слышался свист просыпающихся птиц. Было туманно и сыро.

Миноносцы отделились от флотилии, ушли к северу, круто повернули, и тотчас два гулких залпа, повторенных эхом, блеснули над серой водой.

Залпы учащались. Дым сражения — о нем недавно вспоминал Тренер — качался над палубами, взрываясь звонким треском огня.

Заградитель «Яуза» открыл огонь по видлицкому заводу. Завод вспыхнул исполинским костром. Финны отвечали торопливо и ожесточенно. Чайки с детским визгом неслись на юг, оглушенные боем.

Берега глухо дрожали. Дым взвивался над лесом то белыми, то багровыми клубами, — «Яуза» вела жестокую дуэль с батареей на южном берегу. Тренер посмотрел на часы, было уже шесть. Бой длился ровно час.

Подняв глаза от часов, Тренер увидел, как артиллерист пригнулся у орудия. Тренер, пораженный, смотрел на него, — были видны блестящие глаза на смуглом лице. «Прямо Лермонтов», — подумал Тренер.

Канонерка вздрогнула, отшатнулась, и завыл, ввинчиваясь в небо, снаряд. Взрыв! Он пышно и долго

расплывался над землей. Вместо четырех орудий неприятельская батарея начала отвечать из трех.

— Пассажир подбил орудие, — сказал штурвальный.

Тренер оглянулся и в упор посмотрел в его смеющиеся глаза.

— Не пассажир, а старший артиллерист, — сказал он голосом, покрывшим гул боя. — Шутки в бою считаю неуместными.

Бой разгорался. Финны отстреливались с редким упорством. Сарвинг на своей канонерке, окутанной дымом, был ясно виден издалека: казалось, на мостике стоял памятник.

«Яуза» тремя залпами сбила батарею на южном берегу реки. Миноносцы носились вдоль северного берега, на крутых поворотах полыхая желтым огнем.

— Огонь достигает степени ураганного, — промолвил Тренер и поднял бинокль. Смотреть мешали частые выстрелы с канонерки, поле зрения в бинокле смещалось после каждого удара.

Наконец Тренер нащупал неприятельскую батарею и выругался. То, что он увидел, поразило даже его, привыкшего к боям. Броневые катера в дыму и пене мчались вдоль самого берега, почти царапая бортами о камни, и расстреливали орудийную прислугу из пулеметов. Финны метались, не ослабляя огня.

В семь часов батареи неприятеля, наконец, замолчали. Финский штаб горел. Миноносцы перенесли огонь на Видлицкий посад, где медленно подымалась в небо гора бурого дыма.

«Яуза» просемафорила Тренеру приказ немедленно войти в реку. Тренер ворвался в устье на полном ходу, ведя обстрел обоих берегов из орудий и пулеметов.

Оглянувшись, он увидел, что миноносцы прекратили огонь и застопорили машины.

«Ша и ре!» — просигналил ему по-дружески Сарвинг. На языке старых моряков это означало: «Все кончено».

— Брось трепаться, — ответил Тренер.

Сзади подходили транспорты. Началась высадка десанта. Тренер пошел вверх по реке, обстреливая

правый берег шрапнелью. Когда он вернулся, высадка кончилась. Огонь стих.

— Неужели ша и ре?

Тренер достал из кармана склянку от рыбьего жира и отхлебнул несколько глотков коньяку. В это время в лесу швейными машинами застрочили пулеметы. Со всех судов тяжелым громом ударил залп. Финны делали последнюю попытку сбить десант в озеро.

С «Ласки», прошедшей у самого борта, Тренеру крикнули, что сейчас финны откроют пулеметный огонь. Тренер дал залп по опушке, но в ответ пулемет лопнувшим железным тросом хлестнул по палубным надстройкам, выбивая щепки и пыль.

Тренер выхватил руку из кармана. С рукава капала на палубу яркая кровь, но боли он не чувствовал. Второй залп колыхнул воздух. Тренер пошатнулся, сел на кнехт, медленно стал на колени и упал головой на планшир. Мартайнен бежал с бака.

— Санитара! — крикнул он, и глаза его побелели.— Санитара скорей!

Огонь быстро стих.

Тренер, стиснув зубы, ждал, пока неопытный санитар резал тупыми ножницами толстый шинельный рукав.

После перевязки Тренер потерял сознание. Очнулся он, когда вся флотилия вытянулась на рейд и стала на якорь.

«Яуза» и «Сом» грузили трофеи — одиннадцать орудий, две тысячи винтовок, двенадцать пулеметов, множество снарядов, патронов, продовольствие и даже генеральские брюки начальника штаба, бежавшего к финской границе в одном белье. Брюки эти брезгливо принес на кончике штыка красноармеец с черным чубом и бросил на палубу.

— Ну что? — спросил Тренер Мартайнена.

— Разгром. — Мартайнен впервые за время службы на канонерке улыбнулся. Улыбка у него была ослепительная и открытая. — Руку прострелило? Ничего! Будем плавать вместе.

Тренер еще не знал, что «Музыкант» прославился вторично. В разгар боя Сарвинг перехватил радио на

немецком языке из Сердоболя, где стояла финская флотилия. Очевидно, до Сердоболя дошли отголоски боя. Радио запрашивало: «Сообщите, что случилось. Нужна ли помощь?» Сарвинг ответил: «Все благополучно. В помощи не нуждаемся». Финская флотилия продолжала мирно качаться на сердобольском рейде и не выслала в район Видлицы даже разведки.

Весь день Тренер пролежал в каюте. За иллюминаторами душным паром лежал туман. В пелене тумана грозно и нежно пропели сирены миноносцев, прощавшихся с флотилией. Миноносцы уходили в Петроград.

К вечеру зашлепали колеса, зажурчала вода, залязгали рулевые цепи, — флотилия снялась обратно в Свирицу.

Мартайнен принес Тренеру чашку настоящего черного кофе. Впервые он долго и внимательно расспрашивал Тренера о ледниковом периоде. Тренер оживился, даже боль в простреленной руке стала меньше.

— Меня занимает, — Тренер смущенно улыбнулся, — одна мысль. Когда кончится война, я попытаюсь изложить ее на бумаге. Я хочу написать книгу. Мне кажется, я найду способ предотвратить новое нашествие льдов.

Мартайнен встал. Пора было уходить и дать раненому отдых, — начинался бред. Комиссар внезапно подумал, что на койке лежит не капитан сорока лет, а мальчик, взволнованный чтением Жюля Верна.

Никогда в жизни — ни в Финляндии, где Мартайнен работал на верфи в Ганге, ни в Кронштадте на флоте — он не встречал таких странных и привлекательных людей.

В своей каюте Мартайнен долго стоял, широко расставив ноги. Потом он открыл сундучок, достал растрепанную книгу «История кораблекрушений» и пошел к Тренеру. Раненый спал. Мартайнен положил книгу на стол — пусть почитает завтра.

В коридоре Мартайнен встретил вахтенного, свирепо посмотрел на него и сделал замечание за плохо вымытую палубу. Этим он как бы расквитался с собой за несвойственную ему мягкость и ушел, успокоившись, спать.

Утром пришло радио, что после видлицкой операции белый фронт дрогнул и финны бегут к границе.

Флотилия возвращалась по Свири в Онежское озеро. Река несла пену, отражения неба, облаков, березовых рощ, свисавших над берегами. Суда флотилии кроили серыми бортами на части волнующийся весенний мир, стремительно плывший по реке. Он разлетался на тысячи осколков на каменных порогах, но быстро возникал вновь.

На палубе пели. Тренеру доставляло удовольствие думать, что канонерка идет в солнечные страны и матросы хохочут, не в силах сдержать избыток веселья.

— Победа, — прошептал он и уснул.

Напрасно искать описание этого случая в истории войны, изданной американским военным министерством.

Сто тринадцатый американский полк, пришедший воевать против «красных боло» — большевиков, расквартировали в Медвежьей горе и по бревенчатым блокгаузам вдоль Мурманской дороги.

Лейтенант Шервуд был офицером этого полка, состоявшего из румяных и сытых солдат.

В блокгаузах пахло инжирными конфетами и трубочным табаком «вирджиния». Солдаты брились каждый день. Консервные банки радовали глаз пестротой этикеток.

Офицеры носили в карманах безделушки — то плюшевых зайчат, то брелоки из неаполитанских камней — в качестве талисманов от бед. Патефоны наигрывали веселые военные песенки.

— Война — это охота, — говаривал лейтенант Шервуд.

В широком свитере и с трубкой в крепких зубах он был похож на городского охотника, приехавшего в леса с веселой компанией друзей бить волков и ставить западни на лисиц.

Шервуд был игроком. За картами его лицо чернело. Он обыгрывал всех и деньги прятал небрежно и безжалостно. Он обладал всеми качествами игрока: сухим

равнодушием, истерической раздражительностью и глубоким убеждением, что окружающие созданы для того, чтобы ему, Шервуду, было легче и приятнее жить.

До войны с «красными боло» Шервуд никогда не знал страха. Первый страх он испытал в селе Толвуе. Он старался о нем не вспоминать.

В Толвуе Шервуд со своим отрядом устраивал восстание против большевиков.

Может быть, если бы к Толвую подошел крейсер, чистый и сверкающий, Шервуд не испугался бы. Может быть, он даже вступил бы в бой с десантом — румяными матросами, одетыми в удобную и дорогую форму. То была бы лихая стычка с товарищами по оружию, отличавшимися от Шервуда лишь тем, что они люди другой национальности.

Но вместо крейсера Шервуд увидел грязный и низкий пароход, который топили дровами. Вместо новеньких орудий он увидел облезлую пушку, бившую растрепанно и часто. Вместо чистых матросов на берег выбегали оборванные люди, и, наконец, вместо блестящего офицера он заметил грузного женоподобного мужчину в шинели, похожей на больничный халат.

Шервуд понял, что это — смерть и ни о какой веселой перестрелке не может быть и речи. Перед ним были не товарищи по оружию, а враги. В их глазах Шервуд прочел свой приговор.

Нервы игрока не выдержали. Шервуд бежал, не сделав ни одного выстрела.

В Медвежьей горе он сочинил рапорт, где бегство было заключено в такое количество шаблонных военных выражений, что теряло характер бегства и становилось «совершенно необходимым отступлением под натиском превосходящих сил противника».

Военный пыл сто тринадцатого полка быстро выветривался. Наступление на Петрозаводск шло медленно. От наседавших американцев яростно отбивался единственный батальон, прозванный американцами «батальоном помешанных».

— Взбешенная кошка может испугать даже льва, — говорил по этому поводу помощник Шервуда Тоуз.

Шервуд начал замечать, что солдаты — с ними в прежнее время было так приятно шутить — начали помалкивать. Они шептались по блокгаузам и внимательно рассматривали офицеров, будто видели их в первый раз.

Чутьем игрока Шервуд догадался, что солдаты прикупили хорошую карту, но никак не мог решить — какую. Все дело в том, когда они с нее пойдут и чья комбинация будет сильнее.

Ясно, что игру со стороны солдат будет вести сержант Кейри. Это успокаивало Шервуда. Что может выкинуть этот бывший садовник?

Прежняя профессия Кейри, обстригавшего плодовые деревья в садах Калифорнии, должна была выработать в нем качества, свойственные садовникам: доброту и склонность к размышлениям, особенно по утрам, когда сады пахнут воском и цветами померанца.

Шервуд рассказал о своих опасениях Тоузу.

Тоуз начал философствовать — это было его единственным недостатком.

— Божья коровка, — сказал он, радуясь собственной находчивости, — всегда ползет по пальцам вверх. Кейри — божья коровка. Имея дело с ним, никогда не опускайте руку, а держите ее пальцами вверх. Показывайте на небо, и Кейри невольно поползет к небесам.

— Бред,— пробормотал Шервуд.— Говорите серьезнее.

— Необходимо поддерживать возвышенный образ мыслей этого солдата. Надлежит делать вид, что мы вегетарьянцы и убивать «красных боло» нам так же неприятно, как собственноручно резать петухов. Станьте его единомышленником, обезоружьте его этим. Ругайте командира полка. Пойте почаще «Звезду отчизны». Тоскуйте по родине. Это верный путь избавить себя от неприятностей.

Шервуд послал Тоуза ко всем чертям и решил развлекаться. Их рота стояла в тылу около Диановой горы. Стычек с «боло» не было, это очень успокаивало солдат. Тоуз предложил устроить пикник на ближайшем озере.

День пикника напомнил Шервуду калифорнийское лето. Солнечный свет заливал траву, где трещали кузнечики. Казалось, в озеро с большой высоты сыплется бисер.

От рома голова гудела перетянутой гитарной струной. Патефон насвистывал лихую военную песенку:

Милей солдата
На свете нет.
Об этом знает
Красотка Кэт!

Тоуз, как всегда в таких случаях, говорил о величии солдатской жизни. Речь его звучала неподдельным пафосом.

— Что такое солдат? — кричал он отрывисто и чокался с русской женщиной, приглашенной на пикник из Медвежьей горы. — Солдат — это человек, знающий цвет воды всех океанов и цвет небес всех материков. Вот что такое солдат! Полки идут всюду — и по снегам России и по земле Палестины. Чужой ветер шумит в наших знаменах. Ваше здоровье, но, поверьте, я не пьян! Слава горит над нами, как солнце, — слава побед и прелесть опасности. На своих штыках мы носим цветы родных полей. Мы посылаем мысленные поцелуи девушкам, оставленным за океаном. Жизнь солдата прекрасна. Жизнь солдата гремит, как марш. Но, к сожалению, слишком часто она бывает так же коротка, так же коротка.

Тоуз впал в грустное состояние и предложил русской покататься на лодке.

Шервуд незаметно привязал к лодке тонкий канат и, когда она отошла на несколько шагов от берега, стремительно потянул ее обратно. Тоуз греб, брызгал веслами и ругался.

Шервуд отпустил лодку, но снова потянул ее с той же силой. Лодка врезалась в берег. Женщина упала. Ее легкое шелковое платье промокло. Она принужденно улыбалась. Шервуд хохотал.

В эту минуту появился Кейри. Он шел по лесной тропинке и был виден издалека. Он держал винтовку наперевес. Перед ним шел высокий худой человек с за-

вязанными руками. Порванный клеш бил его по ногам.

Наступила неприятная тишина.

Шервуд опрокинул в горло алюминиевый стаканчик рома, нащупал в кармане револьвер и встал. Тоуз и женщина подошли сзади.

— Пленный, —сказал Кейри, стукнул прикладом о землю и замер.

— Матрос? —спросил Шедвуд пленного на ломаном русском языке.

Пленный молчал.

— Из какой части?

Пленный молчал.

— Если вы не перестанете молчать, я буду вынужден поступить с вами, как со шпионом.

Пленный молчал.

— Сын вора, — сказал Шервуд тихо, — если вы назовете свою часть и количество штыков, я отпущу вас обратно. Ваше присутствие в банде «боло» их не спасет.

Шервуд подождал, но пленный ничего не ответил.

— Комиссар? —догадался Шервуд и взглянул в лицо пленного.

Пленный смотрел на Шервуда пристально и спокойно. Шервуд отступил. Пленный сделал шаг вперед. не спуская с Шервуда глаз. Кейри стукнул прикладом и тоже сделал шаг вперед.

— Мне эта комедия не нравится! — крикнул Шервуд, чувствуя прилив истерического раздражения. — Заговоришь ты или нет, собачье мясо?

Пленный продолжал рассматривать Шервуда.

— Что он, немой? — спросил Шервуд Кейри.

-- Нет, сэр, он разговаривал и даже смеялся.

Глаза Шервуда побагровели. В голове гудела готовая лопнуть струна.

— Говори! — Он плеснул на пленного остатками рома из стакана. Стакан во время допроса Шервуд держал в руке.

Пленный сделал шаг вперед и плюнул Шервуду в лицо. Женщина вскрикнула. Кейри стоял навытяжку.

— А-а-а! — Шервуд отскочил к сосне. Тоуз знал, что сейчас начнется припадок. — Сержант, не тратить

на него больше одного патрона. Сколько у вас патронов в винтовке? Пять? Через полчаса Тоуз проверит вашу винтовку. В ней должно остаться четыре патрона, или вы будете болтаться на первом семафоре.

— Слушаюсь, — глухо ответил Кейри, тронул пленного за рукав и пошел с ним в глубь леса.

«Об этом знает красотка Кэт», — свистел равнодушный ко всему патефон.

Пикник был сорван. Тоуз и русская женщина вернулись в поселок. Шервуд остался. У него разболелась голова. Ему хотелось отдышаться.

Через полчаса сержант Кейри явился к Тоузу и молча подал винтовку. Тоуз лениво проверил патроны. Их было четыре.

Через два часа на берегу озера обнаружили труп лейтенанта Шервуда. Выстрел был произведен в голову.

В тот вечер в солдатских бараках было шумно и неспокойно. Тоуз слышал, как солдаты пели любимую песенку:

Взойди скорей, звезда моей отчизны,
Далекий край измучил сердце мне.
Что делать, брат? Беду солдатской жизни
Не утопить в вине.

Через неделю солдаты сто тринадцатого полка отказались сражаться и потребовали немедленной отправки на родину.

Полк стянули к океану и посадили на транспорты.

Через шесть месяцев сержант сто тринадцатого полка Джон Кейри был приговорен к смертной казни за убийство лейтенанта того же полка Гордона Томаса Шервуда.

На суде Кейри показал следующее:

— Лейтенанта Гордона Шервуда убил я и убил потому, что он был негодяй.

Весной тысяча девятьсот девятнадцатого года меня послали с ним в село Толвуй, на берегу Онежского озера, с целью поднять восстание против большевиков.

Мы пробыли в Толвуе три дня. На четвертый день к берегу подошла канонерская лодка большевиков, открыла огонь и высадила десант. Он состоял, как

потом выяснилось, из полковых музыкантов, едва умевших владеть винтовками. Мы бежали, не истратив ни одного патрона.

На улице в очень узком месте лейтенант Шервуд столкнулся с женщиной. Она вела за руку девочку лет трех. Я бежал сзади и все видел. Лейтенант Шервуд находился в том состоянии страха, когда кажется, что каждая секунда дорога для спасения собственной жизни. Он предполагал, что женщина с ребенком задержит его бегство. Не останавливаясь, он выхватил ручную гранату, сбил кольцо и швырнул ее в женщину. Взрывом была убита девочка.

Уже тогда у меня появилась мысль убить этого офицера.

Мы вернулись в Медвежью гору. Здесь я встретил большевиков, пробравшихся в наш тыл.

Я узнал, что мы были глупо обмануты. Я увидел людей, в тысячу раз более близких мне по крови и духу, чем офицеры американских полков.

Председатель суда предупредил, что это замечание усугубляет вину и усиливает наказание.

— Больше, чем казнить меня, вы со мной ничего не можете сделать.

— Продолжайте, — поморщился председатель.

— Во время стоянки нашей части в резерве около Медвежьей горы патруль из трех солдат задержал в лесу матроса-большевика. Я доставил его к лейтенанту Шервуду. Лейтенант пьянствовал на берегу озера со своим помощником Тоузом и неизвестной мне русской женщиной. Пленный отказался дать показания. Лейтенант пришел в ярость и плеснул в него остатками рома из своего стакана. За это он заслужил от пленного плевок в лицо.

Кейри остановился.

— Лейтенант приказал мне расстрелять пленного. Я отвел его за четверть мили и отпустил, дав ему на дорогу табаку и спичек. Потом я вернулся к лейтенанту. «Негодяй убит?» — спросил он меня. «Так точно!» — ответил я и выстрелил ему в лицо. Я сделал то, что нахожу нужным. Все дальнейшее хорошо известно.

— Вы большевик? — спросил председатель.

— Кончайте, — ответил Кейри.

В зале суда наступила тишина.

Из комнаты конвоя долетало заглушенное пение:

Взойди скорей, звезда моей отчизны,
Далекий край измучил сердце мне.
Что делать, брат? Беду солдатской жизни
Не утопить в вине.

Председатель послал секретаря прекратить пение.

В августе канонерка «Музыкант», получив приказ произвести разведку, подошла к восточному берегу озера, к селу Песчаный погост.

Ранняя осень уже засыпала лесные дороги мокрыми листьями. Ветер сносил их в кучи около ветхой ограды Песчаного монастыря.

Боцман с «Музыканта» Миронов пошел на берег, долго бродил около монастырских стен, искал грибы, зашел к монахам, побеседовал, посмеиваясь, о кончине мира, а вечером доложил Сарвингу, что одного из монахов нужно немедленно арестовать.

— Почему?

— Коротковолосый,—ответил Миронов.—На пальце у него след от кольца. Монахи колец не носят.

Сарвинг согласился.

Вечером Миронов взял двух матросов и пошел в монастырь. Почти задевая за лицо крыльями, метались вокруг летучие мыши. Над пустошами, заросшими низким лесом и желтой травой, над порубками и болотами подымалась заржавленная луна.

— Вот, — сказал Миронов, поглядев на луну. — Был я в Америке. Там в ресторанах бьют в такие медные гонги, созывают господ в динингрум обедать.

Миронов до революции был матросом торгового флота. Он плавал на французских пароходах между Шербургом и Рио-де-Жанейро. Бразилию он не любил.

На жадные расспросы товарищей сб этой фантастической стране он отвечал односложно:

— Жарко очень. Нет моготы, как жарко. Никакой бани не нужно. Пот с тебя вытекает, как сало с жареного поросенка. Народ мелкий и нервный. Ходят, вертятся, чирикают, как воробьи, — нету силы в народе.

Миронов говорил с натугой, заикался, краснел.

Разговор для него был каторжной работой. Он предпочел бы перекрасить своими руками всю канонерку от киля до клотика, чем отвечать на приставания матросов.

Миронова тотчас же прозвали «оратором». Когда заходил разговор о выступлении где-нибудь на сельском сходе, шутники кричали, прячась за спинами надежных соседей:

— Даешь Миронова! У него язык работает механически!

Миронов выискивал обидчика глазами, потом говорил в пространство:

— Гляди, как кокну, мокро станет!

Монастырские ворота были заперты. Миронов постучал рукояткой маузера. Монах с гнилым запахом изо рта приоткрыл калитку.

— Ты бы, батя, водку пил, нутро у тебя от святости гниет, — сказал Миронов, протискиваясь в калитку.

Монах поклонился в пояс.

— Веди к настоятелю.

— Они богу молятся, — просипел монах и мигнул облезлыми глазками. — Нельзя их нынче тревожить.

— Говорю, веди!

Монах шустро побежал по заросшему бурьяном двору.

В покоях настоятеля бегали по стенам худые тараканы. Мутно светили лампадки, и только луна за пыльным окном сияла круглой золотой иконой.

Настоятель вышел молча. Он сжимал сухими руками железный крест на груди и тонко посапывал носом.

— Где ваш святой странник, папаша? — спросил Миронов. — Подайте его на бочку.

— Пошто он вам нужен, матросики? — спросил настоятель басом. — Пошто нарушаете иноческий покой? Неужто нельзя призывать господа среди ваших братоубийственных дел? Игрушку спрячь, — настоятель кивнул на револьвер. — Бог жизнь дал, бог и приберет в положенное время.

— Не бузи, патриарх! — Миронов начинал сердиться. —Мы заместо бога приберем кого полагается.

Настоятель воздел руки к небу и затряс головой. Миронов оттолкнул его и вошел в заднюю комнату. С лавки встал худой человек в старой рясе.

— Их высокородие командир канонерской лодки капитан Ерченко, — сказал Миронов, — просят ваше благородие пожаловать к нам на корабль на чашку чаю.

— Веди, — сказал странник и твердым военным шагом пошел к двери. Лицо его было спокойно и устало. — Веди, — повторил он. — Все равно, такое уж твое счастье.

На канонерке странника обыскали. Под рясой и вонючим тряпьем нашли пакет с английскими донесениями, напечатанными на папиросной бумаге. Донесения на имя великобританского поверенного в Вологде были подписаны генералом Уолшем и, судя по содержанию, переправлялись из Мурманска.

На груди у странника обнаружили шрам от пулевой раны. Но особенно удивило матросов то обстоятельство, что подмышки у странника были чисто выбриты.

— На какого дьявола это нужно? — спросил Миронов.

— От вшей, — спокойно ответил странник. — Опасности меньше. Когда же твой командир меня допросит?

— Дай срок. Управится, тогда и допросит.

— А к стенке когда?

— А за стенку ты не журись. Стенка никого не минует. Может, заместо стенки ты у нас будешь коком — свиней палить. Останешься на сверхсрочную службу. Всякое случается, господин офицер.

Сарвинг перевел донесения и приказал привести арестованного. На столе в кают-компании лежала записка, найденная у пленного, с двумя цифрами — 13 и 57, браунинг и золотая пуговица с орлом.

— Садитесь, поручик. — Сарвинг говорил очень медленно, и на его обрюзгшем лице вопреки обыкновению не было даже тени улыбки.

— Я не поручик, а подполковник. Но сейчас это не важно.

Сарвинг усмехнулся.

— Сейчас важно лишь то, что вы обыкновенный шпион, — промолвил он, перебирая бумаги. — Но не будем вспоминать о неприятных вещах. Поговорим на более интересные темы. Например, не встречали ли вы в Мурманске англичанина со шрамами на лице? Такие шрамы остаются на отмороженных местах. Чего вы хотите, пятьдесят градусов ниже нуля — это вам не жук потрогал лапкой. В бураны и при плохой пище все кончается гангреной и смертью. Так вот, не случалось ли вам беседовать с человеком, покрытым такими шрамами?

Офицер помолчал.

— Да. Такого я, кажется, видел, но не говорил с ним. Я не знаю английского языка.

— Значит, вы не знаете и содержания этих документов? — Сарвинг положил руку на листок папиросной бумаги.

— Нет.

— Вы плохой шпион. — Сарвинг поднял на офицера серые глаза, во взгляде его была брезгливость и усталость. — Вы не интересуетесь людьми. Вы не интересуетесь даже секретными пакетами, из-за которых рискуете жизнью. Поэтому-то вы так легко и попались.

— Не потому, — ответил офицер, скручивая толстую папиросу из махорки. — Я прошел пешком от Повенца до Песчаного погоста. Я устал. Мне все надоело. Один конец.

— Раскаяние после ареста не имеет никакой силы.

Офицер молчал.

— Куда вы шли?

— В Вологду.

Сарвинг тихо свистнул — далеконько! Он повертел золотую пуговицу и бумажку с цифрами 13 и 57.

— Это что?

— Пустяки. В Вологде я должен был пришить эту пуговицу к косоворотке, чтобы меня опознали свои. А тринадцать и пятьдесят семь — это пароль и отзыв. На пристани в Вологде я должен был встретить человека с такой же золотой пуговицей и сказать ему «тринадцать». Если он ответит «пятьдесят семь», — значит, свой. Я передаю ему пакет и получаю новое задание. Вот и все.

Сарвинг спрятал пуговицу и записку в карман вытертой до блеска синей куртки.

— Пошлете кого-нибудь в Вологду? — спросил офицер.

— Как придется.

— Мне безразлично. Скоро вы отправите меня в штаб Духонина?

Сарвинг побарабанил пальцами по столу. Бледные звезды за окнами казались страшно далекими, будто канонерка стояла среди Тихого океана. За переборкой кто-то сердито сказал:

— Пес вас знает, выбленочный узел завязать не умеете! Бархатные стали, черти!

— Сперва я отправлю вас в штаб флотилии. Если шпион дается в руки живым, то его обыкновенно разменивают. Таков неписаный закон. Но, в общем, в штабе посмотрят.

Два матроса с винтовками отвели арестованного в каюту.

Ночью канонерка снялась и пошла на соединение с флотилией.

Сарвинг сидел в каюте, сдвинув фуражку на затылок, много курил и перечитывал документы, отобранные у офицера. Огня он не зажигал. В окна светила пасмурная северная ночь.

Сарвинг волновался. Он бормотал про себя ругательства, пытался встать, но снова со скрипом садился на койку и подолгу смотрел на белесую карту озера, где берега и глубины проступали тонкими,

почти стертыми линиями. Ему нужен был собеседник, чтобы излить свое волнение. Собеседника не было. Но если бы он и был, то Сарвинг все равно не мог бы высказать ему свои мысли, ибо они касались документов, совершенно секретных. Поэтому Сарвинг беседовал с картой.

— Паршивая получается комбинация, — говорил он, часто задумываясь. — Вот я, Ерченко, штурман дальнего плавания... Плавал я и в Атлантическом океане, и в Тихом, и к берегам не жался, как каботажники. Плевали мы на маяки! Мы маяков по две недели в глаза не видели.

С детства, понимаешь ты, с самого детства я всосал в себя вместе с чаем и табаком уважение к своей профессии. Моряки — это не озерные трепачи. Кто открывал новые земли? Кто описывал берега, изучал течения, погибал у полюсов? Наш брат, моряк. Благодаря кому открыта теория Дарвина? Благодаря морякам и кораблю «Бигль». Не будь кораблей и плаваний, Дарвин сидел бы себе библиотекарем в Лондоне и жевал бутерброды с крутыми яйцами. Вся история прошита, как парус прошивается манильским тросом, именами моряков. Колумб, Магеллан, Кук, Лаперуз, Беринг, Нансен да наконец этот самый Шекльтон.

Да... Шекльтон... Мужество отчаянное, полярные ночи, вылазки на лыжах к Южному полюсу. Человек смотрел смерти в лоб, смотрел и смеялся. Газеты писали о величии... Нет, я не сомневаюсь. Это было настоящее величие. Еще в морском училище историк Шервинский говорил нам: «Морякам присущи сильные характеры». Так вот этот самый Шекльтон был одним из немногих... Как это сказать? Ну, человек с железными скулами и запасом жизни, которого хватило бы на десять капитанов... И вот — сгнил. Осталась одна мертвая хватка. И все Англия. Лондонские коммерсанты, чертовы старички, чтоб они пропали!

Сарвинг наклонился над столом. Выцветшая ночь разливала по каюте свет, как бледную воду.

Было холодно. Хотелось закутаться с головой в шинель, согреться, уснуть и увидеть во сне родную

Одессу, теплую воду в Бакалейной гавани, солнце, мокрые букеты гвоздики, что продают девчонки.

Сарвинг поежился. Если наскочат английские истребители, то так, может быть, и придется умереть, не выспавшись. Он начал медленно читать:

«Уполномоченному правительства его величества.

Вам необходимо знать, что бывший офицер королевского флота Шекльтон, прославленный своей экспедицией к Южному полюсу, заключил с губернатором Северной области генералом Миллером соглашение о передаче в концессию английскому акционерному обществу под председательством упомянутого Шекльтона всех богатств Кольского полуострова. Общество обладает капиталом в два миллиона фунтов стерлингов. Оно состоит из англичан с наилучшей деловой и финансовой репутацией. Концессия заключается на 99 лет.

Общество Шекльтона получает Мурманский район со всеми минеральными залежами, железнодорожную линию от Мурманска до Сороки, право вывозить лес в неограниченных размерах, строить лесопильные заводы, дороги и порты, ловить рыбу и вообще всячески использовать русский север в интересах развития великобританского капитала.

Генерал Миллер получает взамен крупный транспорт продовольствия и обмундирования. Будут также доставлены иные предметы, необходимые для успешных действий русской добровольческой армии».

— Иные предметы! — Сарвинг усмехнулся.

«Директор-распорядитель компании Шекльтон прибыл в Мурманск для работы.

Вам необходимо поддерживать среди организации русских офицеров уверенность (основанную на подлинном положении дела), что работа английских промышленников на севере не только облегчит борьбу с большевиками на фронте, но упорядочит тыл добровольческой армии, каковой, как вам должно быть известно, носит черты беспорядка и анархии.

Сообщаю вам для сведения, что флотилия его величества на реке Северной Двине пополнилась броненосной канонерской лодкой речного типа «Умбер», пришедшей из Бразилии, и тремя номерными мониторами».

Утром канонерка подходила к острову Хед. Шли у самого берега. Солнце переливалось в воде выпуклыми зеркалами. Пахло теплыми листьями ивы.

На баке слышался смех. Боцман Миронов рассказывал матросам, как английская речная канонерка «Умбер» во время плаванья по Амазонке запуталась в водяных лилиях и потеряла винт.

За островом открылась флотилия. Со сторожевого катера заиграли на гребешках неистовый марш — обычное приветствие «Музыканту». Миронов погрозил насмешникам кулаком и обозвал их «халамидниками».

Сарвинг просемафорил флагманскому кораблю: «Имею на борту пленного белого офицера с секретными документами».

От флагманского корабля отвалила шлюпка. Вода разлеталась с весел гребцов тяжелыми каплями ртути. Оловянные лососи выскакивали из воды, окруженные брызгами и бледными радугами от солнца.

До осени Тренер пролежал в петрозаводском лазарете. Рука долго не заживала. Началось глубокое нагноение — в рану попал кусок шинельного сукна.

В начале августа рука прошла. Тренер собирался выписаться, но заболел сыпным тифом.

Вместе с Тренером лежал сигнальщик с «Музыканта», Федор Гущин, раненный в ногу.

Судьба как бы нарочно сталкивала Тренера с Гущиным. Оба были ранены в одном бою под Видлицей, в один и тот же день заболели сыпняком и вместе вышли из лазарета.

Гущин был низкорослый матрос с прищуренными глазами. В лазарете он зачитывал до дыр пухлый томик Пушкина.

Каждый раз, откладывая книгу, Гущин говорил:

— Окончательно хорошо!

— Чем тебе Пушкин нравится, Федя? — спрашивал Тренер.

— Душа от него горит, Эдуард Петрович.

Душа у Гущина горела не только от Пушкина. Она горела и от воспоминаний и от жгучей боли. Гущин не мог забыть буйные митинги на Якорной площади в Кронштадте, дождливую ночь, когда он стоял в карауле у Смольного, и гром башенных орудий «Авроры», стрелявшей по Зимнему дворцу.

Пламя костров и огни выстрелов в тумане — таким запомнились ему первые дни Октября. От них тянуло свежестью балтийских волн. Со щек не сходил кирпичный румянец. Бушлат был всегда нараспашку. Сердце холодело от волнения, — казалось, прямо в сердце дул ветер революции.

От боли душа начала гореть недавно. Гущин шептал в потолок: «Окончательные гады» — и отворачивался от Тренера к стене.

Он скрывал от капитана страшную новость: канонерка «Номер два» и сторожевое судно «Баян» выбросились на камни около Толвуя после боя с английскими истребителями и гидропланами.

В первых числах августа истребители наскочили на канонерку и «Баяна», стоявших в дозоре у острова Сал. Истребители носились с неимоверной скоростью. Они развивали шестьдесят узлов в час, а наши канонерки едва натягивали четырнадцать узлов.

Истребители вертелись угрями, вспарывали воду и, пользуясь преимуществом хода, спасались от выстрелов. Гидро засыпали наши суда бомбами, снижаясь к самой воде.

Когда орудия на канонерке и «Баяне» раскалились и отказались стрелять, оба корабля, полузатопленные и окутанные паром, выбросились на камни. Команда спаслась вплавь. Гидро расстреливали плывущих из пулеметов.

Канонерка «Номер шесть» до последней минуты отражала набеги истребителей, прикрывая собой израненные суда. Расстреляв все снаряды, она ушла на юг, отбиваясь из винтовок от англичан, наседавших, как стая гончих.

Гущин боялся рассказать об этом Тренеру: капитан был еще слаб.

— Труба! — бормотал Гущин. — Ну, ничего, посчитаемся.

Посчитаться пришлось только поздней осенью, когда Тренер и Гущин вернулись во флотилию.

В первых числах октября флотилия вышла в Толвуй.

Около Толвуя, на острове Мэг, белые поставили сильные судовые орудия. Остров запирал вход в Повенецкий залив.

Был получен приказ уничтожить батареи противника на острове Мэг, уничтожить белую флотилию и высадить десант в тылу у белых, в Медвежьей горе.

Хмурая осень моросила над озером. Лесные гари затянули берега серой дымкой.

В Толвуе Тренер пошел с Гущиным к Кузьминишне в «Кафе Колдунчик». Старуха узнала капитана, обрадовалась и снова накормила его простоквашей. Учительницы Тренер не застал. Она уехала в Петрозаводск, и Кузьминишна даже не знала ее адреса.

От Кузьминишны пошли побродить в лес. Приближался вечер. В тумане падали желтые листья.

Гущин сорвал ветку мокрой калины и сказал задумчиво:

— «Люблю я пышное природы увяданье».

После лазарета он часто вспоминал кстати и некстати пушкинские стихи.

— Здесь я ее нашел, учительницу, — он показал Тренеру на тропинку. — Сердце горит, как вспомню.

На канонерку они вернулись в темноте. Звезды отражались в озере, как в матовом стекле. Леса опадали. В ушах Тренера стоял еще шорох сухой листвы, свист последних птиц. Не верилось, что рядом рыщут истребители белых и что вот в этом переулке лейтенант Шервуд бросил ручную гранату в двухлетнюю девочку.

Гущина радовало, что завтра бой и он наверняка примет сигнал командующего лечь на створ острова Мэг и открыть огонь залпами. Опять матросы зовут его «Копченым глазом», как принято дразнить сигнальщиков. Но даже это радовало Гущина.

Тренер проснулся еще до рассвета. За перегородкой каюты барабанил по палубе дождь.

Тренер натянул сырую шинель. Его знобило. Сквозь изморось с трудом просачивалось слякотное утро. На востоке лежала розовая грязная муть. Она предвещала ненастье.

Гущин не ошибся — с флагманского корабля просемафорили приказ лечь на створ острова Мэг.

К десяти часам утра открылся низкий остров. Розовый свет на горизонте потух. Навстречу кораблям бежали бесконечные волны. Начало качать.

Кабельтовы уменьшались, но остров молчал. На сигнальной мачте был виден в бинокль трехцветный флаг.

На судах заиграли боевую тревогу.

Остров полыхнул шестью желтыми огнями. Угрюмый гром потряс воздух. Дождь пошел гуще.

Флотилия открыла ответный частый огонь. Суда маневрировали, ложась на разные курсы.

— «Дым багровый клубами всходит к небесам», — громко сказал Гущин. — Садят из шести орудий. Красота! Однако спасения им не будет.

Все было непривлекательно — и небо, и озеро, и пасмурные дали, и низкий остров. Только желтые вспышки орудий разрывали замешанный на пепле дым. Вспышки эти казались Тренеру праздничными хлопушками.

Внезапно Тренер ощутил прилив мальчишеской радости. Непонятная уверенность, что и его, и Мартайнена, и всю флотилию ожидает необыкновенное счастье, заставила его рассмеяться. Такое чувство он изредка испытывал в жизни. Оно никогда не обманывало. Гущин с удивлением взглянул на смеющегося командира: боевой парень, даром что сказочник и чудак!

Тренер повернул канонерку бортом и дал залп по острову, дымившемуся от разрывов и дождя.

Неожиданно спустился туман. Огни выстрелов на острове едва пробивали его пелену. Тренер с раздражением взглянул на часы, — всего восемь часов утра, но впечатление такое, что на озеро опускается ночь.

Бой быстро затихал. Остров растаял в тумане. Дождь монотонно гудел по палубам кораблей. По-

дойти ближе к острову было невозможно: белые поставили под берегом мины.

— Ну и паршивые места! — рассердился Тренер.

С флагманского судна передали приказ прекратить огонь и стягиваться к Кузаранде. Надо было экономить снаряды и пополнить запас дров.

На следующее утро флотилия снова подошла к острову и открыла жестокий и частый огонь.

Сперва остров отвечал из всех орудий, потом начал отвечать все реже, как огрызающийся зверь. На острове возник пожар.

Внезапно Тренер выругался и засвистел, что во время боя считается верхом бестактности. Но событие действительно было необычайное: снаряды белых ложились перед самым островом — там, где никаких судов не было. Белые били в чистую воду.

— Они ошалели! — крикнул Гущин.

Старший артиллерист пожал плечами.

— Забавно, — промолвил Мартайнен и показал глазами на всплески снарядов, подымавшиеся далеко позади флотилии. Белые стреляли суетливо и неумело.

— Что происходит? Что за кабак! Какие немыслимые дистанции.

— Или повальное сумасшествие, — предположил артиллерист, — или испортились дальномеры.

Можно было подумать, что орудия на острове попали в руки детей и они забавляются, расстреливая прибрежные скалы. Одна скала взлетела на воздух каменным дождем.

Тренер укоризненно покачал головой. Суда флотилии постепенно прекратили огонь.

С флагманского корабля затрещало радио. Командующий предлагал острову сдаться во избежание излишнего кровопролития.

Через минуту на уцелевшей сигнальной мачте на острове поднялся красный флаг. «Ура» прокатилось над судами флотилии и далеким громом отозвалось на лесистых берегах. Вздрогнула вода.

Флагманский корабль принял с острова радио: «Не стреляйте». Остров Мэг сдался.

Командующий приказал гарнизону прислать деле-

гацию с замками от орудий. Остров не ответил. Он сдался, но поведение гарнизона казалось подозрительным, хотя орудия на острове молчали.

Ждали весь день. Лишь к вечеру от острова отвалила шлюпка. На судах флотилии наступила глубокая тишина, будто все затаили дыхание, надеясь услышать разговор делегатов с командующим.

Делегаты поднялись на палубу флагманского корабля. Впереди шел молоденький офицер без оружия и со споротыми погонами. Он отдал командующему честь.

— Гарнизон острова деморализован, — сказал он высоким вздрагивающим голосом. — Часть людей вместе с офицерами бежала на берег, часть перепилась. Остальные сдаются.

— Почему вы не ответили на радио о присылке делегации?

— Вашим последним снарядом разбило радиостанцию. Мы доставили пулеметы и шифры.

— Чем объяснить вашу сдачу? Ведь остров хорошо укреплен.

Офицер покраснел.

— Иностранцы ушли. Мы остались одни, и потом... это было безнадежное дело.

Командующий улыбнулся. Он вспомнил утреннюю сумасбродную стрельбу.

— Почему вы вели такой странный, чтобы не сказать больше, огонь?

— Орудийная прислуга была пьяна.

Матросы стояли поодаль. Офицер оглянулся, побледнел и сделал шаг назад. Он ждал, что по бокам вырастут конвойные с примкнутыми штыками, но командующий приказал отвести делегатов в кают-компанию и напоить чаем.

— Я очень прошу, — сказал офицер более твердым голосом, — по возможности не расстреливать нас, а использовать в качестве бойцов. Иностранцы третируют нас, офицеров и солдат Северной добровольческой армии, как собак. Даже наши союзники плюют нам в лицо, втайне считая нас изменниками родине. Это невыносимо. Лейтенант Смолл устраивает массовые порки крестьян. Адмирал Кетлинский убит

в Мурманске за то, что противился интервенции. В тылу разбой, пьянство и хабарничество.

— По возможности мы вас не расстреляем. — Командующий снова улыбнулся своим мыслям. — Вы бывший студент, должно быть?

— Так точно.

В кают-компании офицер жадно пил чай, и на глазах его блестели слезы. Он был еще очень молод. Слезы он глотал вместе с жидким чаем и сухарями.

— Совсем птенец, — сказал командующий комиссару флотилии. — Трудно такому без мамы, ой, трудно!

Делегаты сообщили, что вокруг острова стоит пояс мин.

Всю ночь к Мэгу ощупью подходили шлюпки с судов флотилии. К утру на остров был высажен отряд моряков. Он захватил восемь орудий и богатые запасы обмундирования и продовольствия.

Около судов флотилии плавали вспоротые консервные банки от английского корнбифа и французской солонины.

Потеплело.

Половина неба затянулась красным дымом, — за облаками заходило солнце.

Тренер втянул воздух всей грудью. Он проглотил одним залпом десятки свежих запахов: онежской воды, рыбы, осени, смолистых палуб, березового дыма из корабельных труб.

Вторую победу он ощутил как отдых.

Обстоятельства смерти сигнальщика Гущина передавались из уст в уста и ко времени прихода флотилии из-под Медвежьей горы в Петрозаводск приобрели характер легенды. На самом же деле смерть эта была для гражданской войны вполне обыкновенна.

Официальный рапорт сообщает следующее:

«В ночь на 5 ноября флотилия вышла из Толвуя к Медвежьей горе для высадки десанта в тылу у белых.

Вблизи Аженского маяка к кораблям флотилии присоединились транспорты с отрядом красноармей-

цев. Несмотря на сильный мороз, половина бойцов не имела шинелей.

В полной темноте, с потушенными огнями флотилия продвигалась малым ходом вдоль самого берега, дабы не наскочить на мины, расставленные белыми в некотором отдалении от береговой полосы.

Не замеченная неприятелем, флотилия достигла мыса Крестовый Наволок и приступила к высадке десанта. Пошел мокрый и настолько густой снег, что с мостика не было видно собственного форштевня. Десант свозили на шлюпках в темноте и пурге.

При подходе транспорта к берегу шлюпки были обнаружены неприятельским дозором. Сделав несколько ружейных залпов, дозор отошел.

Спустя недолгое время флотилия белых открыла ураганный орудийный огонь из Пергубы, находящейся в миле от Крестового Наволока. Попаданий не было. Белые либо совсем не знали места нашей флотилии, либо в темноте не могли ориентироваться, так как своим молчанием мы не давали противнику возможности определить наше местоположение.

После получасовой стрельбы в расположении белой флотилии произошло несколько сильных взрывов.

К рассвету высадка десанта окончилась. Десант перерезал шоссейную дорогу Медвежья гора — Любский песок и захватил обоз белых.

Утром мороз усилился, и ветер развел большую волну. Флотилия начала обстрел Медвежьей горы. На наш огонь отвечал только бронепоезд противника.

Днем обстрел Медвежьей горы возобновился и вызвал в поселке большой пожар.

К вечеру от командира десантного отряда была получена записка. Он сообщал, что белые получили сильное подкрепление, наступают с двух сторон, и пока не поздно — надо дать суда для приема десанта обратно.

Десант был взят на заградители, и флотилия отошла к югу.

Десант не мог развить наступления ввиду пурги, а также голода и крайнего утомления бойцов предыдущими беспрерывными боями.

Во время десантной операции погибло 16 бойцов, в том числе сигнальщик Онежской флотилии Федор Гущин, добровольно вступивший в ряды десантного отряда».

Из рапорта никак нельзя сделать вывод, что десантная операция под Медвежьей горой нанесла тяжелый удар белым.

В рапорте нет ни слова о ночной панике в Пергубе, как нет и подробностей смерти сигнальщика Гущина.

В рапорте сказано, что дозор белых, сделав несколько ружейных залпов по транспортам, быстро отошел. Дозор сообщил в Пергубу на суда белой флотилии, что к мысу Крестовый Наволок подошло с юга много пароходов. Ночь и буран преувеличили их размеры. По словам дозорных, пароходы были полны людей и на палубах ржали лошади, — очевидно, в тылу белых высаживалась кавалерийская часть.

Белая флотилия, стоявшая на якорях, открыла ураганный огонь. Били вслепую, в ночь, ожидая, когда ответят красные, чтобы по вспышкам выстрелов определить место высадки десанта. Но красные упорно молчали.

Мокрый снег лепил комьями в лица наводчиков. Страшная ночь душила со всех сторон, как петля.

Командующий белой флотилией страдал астмой. Он стоял на мостике, задыхался от раздражения, стучал кулаком по поручням и вскрикивал:

— Отвечайте же, черт вас дери! Отвечайте!

Временами командующему казалось, что дозор напутал, никаких большевиков нет и белая флотилия стреляет по пустому месту. Но тут же всем существом он ощущал крадущийся ход красных канонерок, запиравших его в Пергубе.

— Как они прошли по минам? — спрашивал он помощника. Не дожидаясь ответа, хватал бинокль и дрожащей рукой нащупывал разрывы. Сначала он ничего не видел, кроме черной непроглядной воды, заливавшей озеро. Потом широкий круг бинокля загорался грязным огнем, взлетали бурные фонтаны, и снова глаза залепляло крепчайшим мраком.

— Противник молчит. Заставьте его отвечать! — кричал он помощнику и судорожно расстегивал шинель. Грудная жаба сосала сердце, то прикусывая его крепким ртом, то отпуская. Командующий знал, что это его последняя ночь на земле.

— Может быть, там никого нет?

Помощник пожал плечами.

— Есть. Прислушайтесь.

Командующий перестал ходить по мостику. Со стороны Любских песков отчетливо гремели орудия. Командующий узнал огонь белого бронепоезда.

Что может быть страшнее врага, который без единого выстрела берет вас в кольцо в такую собачью ночь? По шоссе мчались обозы. Начиналась паника. Суетливые винтовочные выстрелы распарывали темноту. Со стороны железной дороги донесся тяжелый и медленный удар.

— Красные обходят! Мост взорвали! — крикнул в темноте надорванный голос.

Бронепоезд замолк. Сухопутная батарея белых стреляла очередями. Вспышки выстрелов освещали черные палубы, заваленные снежной жижей, хмурые берега, серый снег, летевший стремительным туманом над лесами.

Суда белой флотилии стреляли беспорядочно, то затихая, то сразу срываясь и перегоняя друг друга.

— Истерика! — пробормотал помощник командующего и вздрогнул от вопля с бака:

— Суда по левому борту! Суда!

— Дайте ракету, — приказал командующий.

Теперь все было ясно: красные канонерки заперли его в смертельной яме, поймали в западню, в чертов капкан.

Ракета свистнула и загорелась больным синеватым светом.

— Вот оно, вот! — крикнул командующий и показал в сторону озера, где в черной воде и шторме мчался, валясь с борта на борт, залепленный снегом до мачт миноносец с красным флагом на стеньге.

Командующий схватил себя за горло. Колючая боль свела скулы. Казалось, они трещат и лопаются на части. Был ясно слышен гул машин и порывистое хрипение пара, рвущегося из труб миноносца.

— «Уссуриец», — пробормотал командующий. — Откуда? Как он прошел в Онежское из Балтики? Каюк! Взорвать флотилию!

Миноносец налетел белой бурей. Небо дрогнуло. Рев орудий обрушился на мокрые палубы.

Командующий упал. Помощник схватил его за плечи — он был мертв. Ракета погасла.

Помощник сбежал с мостика. С флагманского судна замигал жалкий в ночном шторме световой сигнал: взорвать суда белой флотилии, а командам отступать пешим порядком в Медвежью гору.

Был миноносец или не был — помощник командующего не знал. Он отдал приказ о взрыве флотилии в силу ясного чувства, что все потеряно.

Через десять минут удары взрывов остановили на минуту буран. Снег пошел медленнее.

Об этом случае в приведенном выше рапорте сказано глухо: «После получасовой стрельбы в расположении белой флотилии произошло несколько сильных взрывов».

На рассвете разрозненные отряды белых моряков отходили к Медвежьей горе. Свинцовый ветер нес колючую крупу. На месте, где недавно стояла флотилия, гуляла ледяная волна.

Отступавшие остановились — тяжелый залп стряхнул снег с сосен. Красная флотилия, наконец, открыла огонь. Орудия ворчали уверенно и неторопливо. Ночные страхи давно прошли. Стало ясно, что никакого миноносца не было.

Мурманские гимназисты в матросских шинелях, весь странный сброд, составлявший команду белой флотилии, понуро брел вдоль берега на север, где подымался дым громадного пожара. Горела Медвежья гора.

Федор Гущин погиб на рассвете на второй день высадки десанта. Он ушел с корабля с отрядом бойцов.

Гущин знал, что поступок его сочтут дезертирством, но ему смертельно надоели неуклюжие пароходы, надоели бои, где не видишь врага, надоело

холодное и неспокойное озеро, надоело, наконец, вылавливать мины игрушечными катерными тралами.

Сухопутные стычки казались очень заманчивыми. Там приходилось перебегать, прятаться, хитрить, вообще действовать, тогда как на корабле во время боя стой и жди, влепит или не влепит неприятельская батарея снаряд в твою «консервную коробку».

Весь день Гущин отстреливался с бойцами от наседавших с севера белых. Пальцы сводило от холода. Временами было невозможно спустить курок. Пули мяукали среди сосен и с чавканьем падали в мокрый снег.

Кое-кто из бойцов жевал сухари, но у большинства сухарей не было. Хотелось пить. Гущин стряхивал снег с еловых веток и глотал его. От снега шел слабый запах соленых огурцов.

К вечеру бронепоезд белых вырвался из леса и обстрелял отряд частой картечью. Бойцы падали в снег, дули, ругаясь, на красные пальцы, с натугой оттягивали затворы. Некоторые так и оставались лежать на снегу, и нельзя было понять, убиты они или уснули от непомерной усталости.

К ночи под прикрытием бронепоезда с юга подошли свежие белые части. Десант зажимали в тиски. Он медленно отходил к озеру.

По пути перешли вброд ледяную бурую реку. Один из бойцов упал в воду и начал биться, как пойманная рыба. Гущин понял, что боец пропал. Подобрать его не успели. Белые поливали реку частым огнем из автоматов.

Стало слышно, как далеко на озере громыхала флотилия, бомбардируя Медвежью гору.

Неопытный в сухопутных боях, Гущин видел одно: десант сбивают к берегу, железная дорога нетронута, белые с двух сторон. Одним словом — «труба». О панике, вызванной десантом в тылу у белых, Гущин не знал. Он ее попросту не видел. О том, что белым, чтобы сбить десант, пришлось снять части с фронта, он тоже не знал.

К вечеру первого дня Гущин совершил второе дезертирство. Он скрылся из отряда, захватив четыре

ручных гранаты. Ночью он прошел через лес до полотна железной дороги и залег в кустах около деревянного моста.

Он лежал и слушал, толком еще не зная, что будет делать. К полночи он задремал. Приснился ему родной Белозерск, осень, дождь, приходская школа и поп Иосаф, обучавший его грамоте по растрепанному учебнику Ветхого завета. Поп сидел в классе в глубоких калошах, из-под дверей дуло мокрым холодом.

Гущин проснулся и сплюнул, — приснится же такая мура!

Густо шел снег с дождем. Спокойно погромыхивали рельсы. По звуку Гущин решил, что идет бронепоезд. Он подполз к мосту. Никого вокруг не было. Из лесу осторожно, как бы пятясь, выкатился первый бронированный вагон.

— Эх, чайку бы! — вздохнул Гущин, сбил кольцо с гранаты и швырнул в мост.

Мост осел только после третьего взрыва.

Сбивая кольцо с четвертой гранаты, Гущин замешкался. Граната разорвалась в воздухе. Гущин сел на землю, почувствовал во рту теплую жидкость и глотнул ее. Она была соленая, от нее тошнило.

— Вот так чаек! — пробормотал он растерянно, сплюнул на снег окрошку из зубов с кровью и лег на насыпь.

Поезд набегал с протяжным гулом.

Гущин опять забылся, увидел Тренера, шедшего к нему через лес, крикнул ему: «Душа у меня горит, Эдуард Петрович!», но Тренер не слышал. Он шел и пел свою любимую песенку:

Кто ты, певунья, я не знаю.
Но звонким песням на реке
Я часто издали внимаю
В своем убогом челноке.

Гущин вздохнул и закрыл глаза.

Бронепоезд с чугунным лязгом и громом валился под откос, разворачивал землю и вздрагивал, как

недобитая змея. В синеватом свете зари он был страшен и отвратителен.

Гущин лежал на боку, свернувшись калачиком. Казалось, на насыпи спит мальчик. Вокруг его головы снег превратился в розовую грязную кашу.

— Так и быть, поговорим о героизме, — согласился Сарвинг. — Понятие, конечно, туманное. Например, ваш угреватый артиллерист, когда заело зенитное орудие, грозил английскому летчику кулаком. Героизм это или нет? Летчик капнул на него бомбой и оторвал руку. Ставлю этот вопрос на обсуждение. Вот черт, как скребет!

Флотилия пробивалась через лед к Петрозаводску. Летняя кампания закончилась. На палубах стоял визг от трущихся о льдины железных корпусов. Черный туман, носивший название «соуса», лежал по горизонту.

— Нашли героя, — рассердился Мартайнен. — Если бы ему не оторвало руку, я упек бы его под арест. Он должен был чинить орудие, а не махать кулаками.

— Ну, хорошо! Возьмем другой случай с тем же самым артиллеристом. Под Видлицей он блевал от страха, но во время боя сбил неприятельские батареи. Что вы на это скажете?

— Это героизм, — согласился Мартайнен.

— Героизм, героизм, — насмешливо повторил Тренер. — Величайший героизм не в том, чтобы подставлять лоб под шальную пулю, а в том, чтобы понять величие совершающихся событий и верить в победу. Сигнальщик Гущин жил как герой, но смерть его я не считаю героической, хотя вы на этом и настаиваете. Позвольте, дайте мне кончить. Гущин жил как герой. Почему? Совершенно ясно, потому что за коркой черствого хлеба, за тифом, дырявыми канонерками и вынужденной жестокостью он видел конечную цель. Она была великолепна, и, поверьте мне, Гущин ни на минуту в этом не сомневался.

— «Туманно, туманно, как все туманно кругом», — хрипло пропел Сарвинг.

— Для тебя все туманно, толвуйский барабанщик, даже таблица умножения.

— Вы считаете, что Гущин погиб бессмысленно? — спросил Мартайнен.

— Да. В наше время смерть должна быть целесообразной, как и любое человеческое действие. Умирать следует тогда, когда это нужно и когда это дает наибольший, если хотите, деловой эффект. Гущин погиб, как восторженный поэт на баррикаде. Он не имел права бросить корабль.

Мартайнен укоризненно покачал головой.

Тренер вспылил.

— В героизме должен быть ум и верный расчет. Иначе это галиматья. Поняли? Революция не крестовые походы, где рыцари умирали ради того, чтобы поцеловать землю Иерусалима. Красивые жесты сейчас не нужны.

— Ну, если вы считаете взрыв бронепоезда красивым жестом... — пробормотал Сарвинг. — Это уж слишком.

Тренер наговорил сгоряча кучу несуразностей и, хлопнув дверью, вышел на палубу.

Он не умел спорить. В пылу спора он зачастую говорил совсем не то, что думал, потом спохватывался и ругал себя дураком. Так было и сейчас. Смерть Гущина потрясла его. Он прекрасно видел ее величие.

«Что может заставить людей с легким сердцем бросаться в бой?» — спрашивал он себя.

Очень многое. Начиная от идей, потрясающих человека до последнего нервного волокна, и кончая вот такой смертью, какой умер Гущин.

Тренер прошел на бак. Холодный туман наплывал густыми полосами, и в нем отрывисто звенели склянки. Звон склянок вызывал у Тренера множество воспоминаний. Вся жизнь прошла под этот звон, всегда одинаковый и всегда немного печальный.

— Не жизнь, а целая история с географией, — усмехнулся Тренер и неожиданно сказал в пространство: — Вот за это спасибо!

Он благодарил неизвестно кого за то, что ему привелось родиться в эту величавую и грозную эпоху, слы-

шать гул мировых портов, гром сражений, видеть ржавые берега Миссолунги, где умер Байрон, и заросший чертополохом Белозерск, где родился матрос Федор Гущин, читать умные книги и драться за революцию.

— Честное слово, хорошо жить! — сказал Тренер Сарвингу, вышедшему вслед за ним на палубу. — Я чего-то там наболтал. Ты не обращай внимания. Если ты умрешь, как Гущин, я начну тебя уважать.

— Ты меня живого уважай, — захохотал Сарвинг. Золотые пуговицы с якорями болтались на его шинели и дрожали от смеха.

Со сторожевого судна долетело глухое пение сирены. Вдали возник Петрозаводск. Спускался вечер, но в городе не было огней — там ждали налета неприятельских аэропланов. Только над Онежским заводом хмуро светилось зарево литейных печей.

Вскоре после десанта у Медвежьей горы северный фронт был прорван, и белые в беспорядке отошли к океану.

1933

СОЗВЕЗДИЕ ГОНЧИХ ПСОВ

Всю осень дули ветры с океана. Воздух дрожал, и наблюдать звезды по ночам было очень трудно.

Астроном Мэро был болен и стар. Он не мог раздвинуть маленький купол обсерватории и звал на помощь садовника. Они вдвоем тянули за тонкий канат. Створки купола тихо визжали, расходились, и, как всегда, в совершенной темноте появлялось холодное звездное небо.

Мэро садился отдохнуть на лесенку и горестно качал головой: «Ну, конечно, опять ветер! Опять воздух разной плотности летит над землей, перепутывая световые лучи».

Сухие дубовые листья залетали в обсерваторию. Деревья шумели за стенами, и садовник говорил, что если ветер срывает даже дубовые листья, то, значит, будет дуть очень долго.

Мэро любил поговорить с садовником. В горной обсерватории жило всего восемь человек. До ближайшего городка было тридцать километров каменистой трудной дороги. Товарищи Мэро — астрономы — отличались молчаливостью. Они разговаривали редко, — все, что можно рассказать, уже было рассказано. Они избегали расспросов и делали вид, что поглощены вычислениями.

Старуха Тереза — тоже молчаливая и суровая — готовила астрономам скромный обед. С каждым

месяцем обед в одни и те же часы, в обществе одних и тех же людей становился все тягостнее. С каждым годом все крепче овладевала людьми привычка к одиночеству. Тишина была так постоянна, что даже случайно прочитанные книги Мэро воспринимал как шум. Читая книгу, он, конечно, не слышал никаких звуков, но живо представлял их себе и сердился тем сильнее, чем больше было в книге сутолоки и громких разговоров.

— Какая крикливая книга! — говорил он и морщился. — В ней люди невыносимо орут, спорят, плачут... Нет сил разобраться в этом вопле.

Слух его за несколько лет жизни в обсерватории очень окреп. Он слышал много звуков, которых раньше не замечал. Они были однообразны. Ветер посвистывал в проволочных канатах, поддерживавших мачту; на ней по праздничным дням подымали флаг. Тогда прибавлялся еще один звук — веселое хлопанье флага. Оно вызывало воспоминания о праздниках в детстве, когда их городок так шумел от флагов, что у бабушки Мэро начиналась мигрень.

В детстве было много солнца, гораздо больше, чем теперь, и солнце тогда было совсем иное — очень яркое, огромное, занимавшее полнеба.

— Мне кажется, — говорил Мэро садовнику, — что солнце остывает на наших глазах. Свет уже не тот, да, не тот, как будто его закрыли пыльным стеклом.

Садовник соглашался со всем, — не ему было спорить с таким ученым человеком, как Мэро.

Кроме шума ветра, были еще другие звуки. Зимой мистраль нес через горные перевалы сухой снег и шуршал им, как песком, по окнам лабораторий. Изредка кричали орлы. Иногда дождь журчал в каменных водостоках. Летом был слышен редкий гром. Его раскаты возникали не над головой, как обычно, а внизу, в долинах. Грозовые тучи теснились гораздо ниже высот, на которых стояла обсерватория.

Этим, пожалуй, исчерпывались все звуки, если не считать плача заблудившихся коз и крика автомобиля, — раз в неделю шофер привозил из городка продукты, газеты и почту.

Газеты забирал к себе в комнату молодой астроном Ньюстэд — неуклюжий норвежец — и никогда не возвращал. Сначала астрономы ворчали на невежливого норвежца, потом привыкли к этому и забыли о существовании газет. Изредка они спрашивали Ньюстэда, что происходит внизу, в человеческом мире, откуда можно было ждать одних неприятностей. Ньюстэд неизменно отвечал, что мир по-прежнему сходит с ума. Этот ответ удовлетворял всех.

В конце осени Мэро, проводивший ночи около телескопа, — он изучал в то время созвездие Гончих Псов, — впервые услышал новые звуки. Они напоминали гул отдаленных горных обвалов. Вначале они были так слабы, что Мэро их плохо различал. Мэро терялся в догадках, но даже не пытался рассказывать о своих наблюдениях астрономам, — его и так считали чудаком. Но звуки усиливались. В одну из ночей сотрясение уже было так велико, что звезды сместились и раздвоились в зеркале телескопа.

Звуки шли со стороны побережья. Мэро вышел на железный балкон обсерватории и долго всматривался в горы.

Он видел все то же — снега, лунный блеск, звезды, лежавшие прямо на утесах, как сигнальные огни, — но нигде не было белой пыли, обычной спутницы снежных лавин.

— Матвей, — окликнул Мэро садовника, — вы ничего не слышали? Должно быть, в горах снежные обвалы.

— Слишком мало снега для обвалов, — ответил садовник. — Надо прислушаться.

Они замолчали. За оградой был слышен мерный плеск воды, будто падавшей на стекло. Это шумел ручей, кое-где уже покрытый коркой льда. Тишина длилась долго. Потом веский удар прокатился с востока и, отраженный горами, вернулся обратно на запад и стих.

— Это не обвал, — пробормотал садовник.

— Что же это?

— Это дальнобойные, — ответил неуверенно садовник. — Война бродит кругом, но сюда она не поднимется. Слишком высоко. Здесь ей нечего делать.

Тогда Мэро вспомнил скупые рассказы Ньюстэда о гражданской войне, опустошавшей в долинах старинные города и скудные поля крестьян. Вспомнил жалобы шофера на то, что в городке остались одни женщины и старики и ему приходится самому грузить продукты и опаздывать. Вспомнил, что Тереза начала готовить обеды гораздо худшие, чем раньше, но на это никто не обратил внимания.

Надо было тотчас все узнать. Мэро закрыл обсерваторию и спустился к жилому дому.

Астрономы сидели за ужином. Каминная труба в столовой пела глухо и сонно, — так она пела много лет.

— Друзья, — сказал, задыхаясь, Мэро. Он остановился в дверях и торопливо разматывал теплый шарф. — Я слышу отдаленную канонаду.

Астрономы подняли головы от тарелок.

— Ньюстэд, — продолжал Мэро очень громко и возбужденно, и астрономы оглянулись, но не на Мэро, а куда-то в угол, как бы не допуская мысли, что громкий голос может принадлежать больному старику. — Ньюстэд, вы должны подробно рассказать, что происходит.

Ньюстэд не ответил. Он взглянул на часы, встал и подошел к радио. Все с удивлением наблюдали за ним.

Ньюстэд наклонился над рычагами. Красным накалом загорелись электрические колбы, и печальный мужественный голос начал говорить об уличных боях в Мадриде, о воздушных бомбардировках, о сотнях изуродованных снарядами детей и о гибели дворца Альбы, где горят полотна Веласкеза и Риберы.

Астрономы слушали молча. Голос умолк так же внезапно, как и начал говорить.

— Что вы думаете об этом? — спросил Мэро в наступившей тишине и понял, что вопрос его был не совсем уместен.

Ньюстэд лениво вернулся к столу. Он сидел, вытянувшись, как бы прислушиваясь, и крепко держался за стол большими руками.

Сухой старик в сером костюме, сейсмолог Дюфур, отличавшийся изысканностью речи, первый нарушил молчание.

— Каждый из нас, — сказал он, усмехаясь, — чувствует себя в осажденной крепости с того дня, как он прибыл в обсерваторию. Мы окружены горами, где нет ни лесов, ни руды, ни угля. Нас осаждают ветры и снега. Миру нет дела до нас — и нам нет дела до мира. Люди безумствуют в долинах, но сюда им незачем подыматься. Здесь только звезды. Нельзя перелить их на орудия или добыть из них ядовитые газы. Они бесполезны для разумного человечества. Поэтому мы в безопасности.

— Не шутите так, Дюфур, — сказал Ньюстэд. — Война длится уже пять месяцев.

— Глупости, глупости, — пробормотал дребезжащим голосом молчавший до сих пор Эрве. Это был человек, лишенный возраста: ему можно было дать, не ошибившись, и сорок и шестьдесят лет. — Меня интересует другое: как может человек огорчаться из-за того, что сгорел кусок холста, хотя бы и покрытый красивыми красками? Я говорю о картинах Веласкеза. Всю жизнь я вожусь со звездами, что научило меня не волноваться из-за пустяков. Что может быть более непрочным, чем кусок полотна? Ради него люди мучаются, радуются и даже умирают. Это непонятно! Как можно связывать свою жизнь с такими вещами, когда существуют мысль и небо!

Разговор прервал Дюфур. Он быстро вышел и вернулся с тонкой бумажной полоской.

— Вот, — сказал он с торжеством, — еще одно доказательство точности моего сейсмографа. Он записал за последние дни около двухсот небольших сотрясений земли. Очевидно, это и есть разрывы снарядов. Я только сейчас об этом догадался.

Астрономы наклонились над бумажной полоской. На ней карандаш вычертил изломанную линию, изображавшую колебания земной коры.

Ньюстэд провел пальцем по изломанной линии. Глаза его были прищурены, а папироса крепко зажата прокуренными выпуклыми зубами, — Ньюстэд злился.

— Каждый излом, — сказал он, — означает удар снаряда. Ваша машина, Дюфур, лучше всего записывает убийства.

Дюфур хотел возразить, но не успел, — ясный удар возник за окнами. Горное эхо превратило его в раскаты и обрушило вниз, в каменные пропасти. Все притихли.

Мэро молчал. Ему не хотелось участвовать в бесплодном разговоре. Всю жизнь он думал, что изучение неба, так же как раскрытие всех других загадок вселенной, роднит человека с землей. Мэро был стар, добр и весь запас своих знаний берег не для себя. Он начал даже писать книгу о небе для тех веселых и вихрастых школьников, что должны были завидовать ему, старику, там, далеко, в глубоких земных долинах.

Непривычные мысли и воспоминания владели им в последнее время. Он вспоминал детство, а старики очень не любят вспоминать эту пору своей жизни. Он вспоминал елку. Пока ее не зажигали, она таинственно жила в соседней комнате за закрытой дверью, и только слабый запах хвои тревожил детское воображение. Потом дверь распахивалась, он робко входил и видел сверкающее дерево. Он мог рассматривать его, трогать хвою и золотые орехи, стеклянные нити и хлопушки, мог нюхать апельсины и инжир, висевшие на ветках, — он мог изучать елку, но, несмотря на это, ощущение тайны и прекрасных вещей, наполнявших комнату, не покидало его ни на минуту.

Такое же чувство он испытывал от познания вселенной.

— Все существует для человека,— говорил Мэро.— Если исчезнут люди, то я боюсь, что мне, астроному, будет не нужно даже звездное небо.

Эти мысли Мэро не решался высказывать часто, — они не встречали сочувствия. Разговор в столовой вызвал у него раздражение. Он не замечал раньше у своих собратьев по науке такой сухости мыслей и чувств. Грубый и ленивый Ньюстэд был, пожалуй, лучше их всех.

Гражданская война в долинах, отзвуки сражений и неприятный разговор в столовой как будто не нарушили жизни ученых. Астрономы работали по ночам, спали первую половину дня, а вечера проводили в лабораториях. Там они сличали снимки звездного неба

за многие годы, стремясь найти незначительные изменения. Каждое изменение в знакомой путанице звезд являлось открытием и давало повод для интересных догадок.

Ничто не изменилось, но все же непонятная тревога овладела учеными. Ее мог заметить только опытный глаз.

Мэро, сидя у телескопа, что-то сердито и подолгу бормотал. Ньюстэд два раза был замечен в том, что среди дня наводил искатель телескопа на край отдаленных гор. Остальные делали вид, что не замечают этого, — по астрономической традиции, рассматривание в телескоп земли считалось занятием для дураков.

Дюфур изредка говорил, что ощущение близкой, но безопасной для него войны укрепляет его нервы. Когда падал снег, астрономы бывали не в духе, — облачное небо останавливало работу. Больше всех негодовал Эрве. Теперь же, когда пошел густой снег, Эрве заметил, что снег, к счастью, сделает дорогу в обсерваторию непроходимой для вооруженных отрядов. Дюфур ядовито усмехнулся.

Библиотекарь Бодэн начал отбирать газеты у Ньюстэда и прочитывал их от доски до доски. При этом он так морщился, будто газетные заметки причиняли ему назойливую боль.

Как-то декабрьской ночью в обсерваторию Мэро вошел Ньюстэд. Это было нарушением правил, — никто не должен был мешать друг другу во время наблюдений. Мэро оглянулся и встал.

Ньюстэд остановился. Он расставил ноги и засунул руки в карманы брюк. Оба молчали.

Мэро почувствовал легкий запах вина. Это было уже слишком. Поведение норвежца делалось вызывающим.

— Я пришел, — сказал Ньюстэд так громко, будто он говорил с глухим, — помочь вам закрыть купол, потому что удар будет внезапным.

«Он пьян, — подумал Мэро. Впервые он видел пьяного человека в обсерватории. — О каком ударе он говорит?»

— Удар будет внезапным, — сердито повторил Ньюстэд. — Не упрямьтесь. Выйдите и посмотрите.

Ньюстэд закрыл купол, взял Мэро за локоть и вывел на железный балкон. Мэро шел безропотно, — в словах Ньюстэда он почувствовал тревогу и угрозу.

— Вот, — Ньюстэд кивнул на горы. — Какое прекрасное зрелище!

Над зубцами гор подымалась отвесная облачная стена. Она была освещена неизвестно откуда исходившим тусклым светом. Она протянулась от одного края горизонта до другого и на глазах росла, светлела, как бы распухала, закрывала звезды.

— Ураган, — сказал Ньюстэд и засмеялся. — Через десять минут он будет здесь. Дайте только ветру прорваться через горы.

— Почему же так тихо? — спросил Мэро.

— Ураганы всегда подходят в тишине.

Тишина была такой напряженной, что звуки собственных голосов казались им надтреснутыми и неприятными. Не было слышно даже привычного шума ручья. Горы уже курились серым дымом.

— Надвигается, — прошептал Ньюстэд.

Мэро наклонился вперед. Он вслушивался. В невыносимой тишине далеко и слабо жужжал мотор.

— Там человек. — Мэро показал на горы.

Снежные смерчи уже взлетали взрывами к черному небу.

— Где? — спросил Ньюстэд.

Мэро схватил его за плечо.

— Там, там! — кричал он и показывал на вершины, где Ньюстэд уже ничего не видел, кроме урагана, стремительно падавшего в ущелья дымными потоками. — Я слышу аэроплан.

— Вы... — крикнул Ньюстэд, но удар ветра вогнал ему обратно в горло хриплый крик. Земля вздрогнула, и тяжелый непрерывный вой урагана уничтожил все звуки. Ветер оторвал Мэро от перил балкона и прижал к стене обсерватории. Снег хлестал в глаза, в рот, не давал дышать. Ньюстэд схватил Мэро за руку и потащил вниз, — норвежец был уже весь белый от снега.

Они пробивались через тяжелые потоки воздуха к жилому дому, хватались за деревья, за кусты, почти падали на землю, закрывали руками глаза от мелкой гальки, больно бившей по лицу. Все дрожало вокруг и выло на разные голоса. Мачта напряженно гудела, голый сад свистел, как сотни яростных флейт, трещала разбитая черепица, звенели стекла, коротким непрерывным громом гремели железные крыши.

Фонари на столбах не качались на проволочных канатах, а были вытянуты наискось к земле, — ветер не давал им качаться, он отклонял их в сторону и каждую минуту мог сорвать и унести.

Ньюстэд втащил Мэро в столовую и только тогда окончил прерванную ветром фразу.

— Вы ошиблись, — сказал он, снимая пиджак и стряхивая с него снег, — аэроплана не было. А если он и был, то теперь его уже нет. Осталась только куча щепок.

Мэро не возражал.

Вскоре в столовую собрались астрономы. Буря объединяет людей. Она подогревает воображение. Даже скучные люди находят во время бури слова, чтобы передать легкое возбуждение, что охватывает человека, когда за стенами безумствует ветер.

Астрономы разошлись очень поздно. Мэро не спал. Он лежал на своей узкой кровати, прислушивался к вою ветра, и чувство одиночества сжимало ему сердце. Неужели так и придется жить до смерти в этих горах, в белой комнате, похожей на больничную палату? Неужели никто не придет, не погладит седую голову и не скажет: «Спи, я посижу около тебя и почитаю, пока ты уснешь»?

Мэро лежал свернувшись и казался себе мальчиком. Он вспомнил слова Эрве: «Астрономы не должны иметь любимых людей». «Да и старики, должно быть, тоже», — подумал Мэро.

Он встал, поднял штору и снова лег. Ему хотелось быть поближе к урагану, а опущенная штора казалась железным занавесом. Теперь ураган был рядом, за двойными рамами окон. Он не только визжал, распевал в скалах и плескал снегом в стекла, но и светил.

Тихий свет сочился от снегов. Он был чуть синеватым, будто за окнами кто-то зажег большие спиртовые горелки.

— Не надо засыпать, — пробормотал Мэро и начал думать об аэроплане, пролетевшем перед бурей над горами. Летчик не мог оглянуться, — впереди торчали отвесные скалы, — и только спиной, одной беспомощной спиной он ощущал ураган, догонявший его, как гончая зайца.

Ветер стучал ставнями. Болело сердце, и мысли медленно запутывались, пока Мэро не задремал.

Ему приснился странный сон. Будто он садится в запыленный серый автомобиль, чтобы ехать на юг Испании. Вместе с ним садится высокий тощий старик с седой дрожащей бородкой. Потертый костюм старика топорщится и гремит, и Мэро с испугом замечает под пиджаком у своего спутника заржавленные старые латы.

— Мы поедем туда и обратно, — говорит старик, и латы его скрежещут и скрипят в тесной машине, — и вы увидите все. Сдержите слезы.

Они мчатся по узким дорогам среди гор, и с каждого перевала открываются внизу громадные, как море, пространства разноцветной земли, то коричневой и сожженной небом, то черной от листвы лимонных деревьев, то медной от спелых колосьев, то голубой от воздуха, застоявшегося над лесами. И каждый раз при виде новых долин старик в латах встает, протягивает лязгающую руку вперед и с торжеством кричит одно и то же слово:

— Испания!

Так они мчатся мимо городов, где столько солнца, что оно не помещается на черепичных крышах и стенах домов и проникает даже в самые дальние углы погребков, где Мэро пьет со стариком вино и ест сыр, пахнущий гвоздикой.

Так они мчатся мимо старинных соборов, как будто покрытых серой копотью жары, мимо рек, из которых лениво пьют чистую воду терпеливые быки, мимо школ, где поют дети, мимо дворцов, где за полотняными занавесями сверкают в сумраке картины великих масте-

ров, мимо садов и полей, где каждый комок земли взвешен на руке и растерт твердыми ладонями спокойных поселян, мимо парков и заводов, жужжащих, как шмели, колесами горячих машин, мимо страны, летящей навстречу в ветре, хохоте, песнях, приветствиях и разнообразных отзвуках прекрасного труда.

В пустынном городке они проносятся мимо памятника какому-то высокому старику с седой бородкой. Мэро узнает в этой бронзовой фигуре своего спутника и успевает прочесть на памятнике надпись: «Мигуэль Сервантес».

— Так это вы — Сервантес? — кричит Мэро старику. Старик снимает шляпу и рассеянно отвечает:

— Да, я когда-то жил в этом городе.

Они поворачивают обратно и снова несутся мимо тех же городов, лежащих в развалинах, наполненных тяжелым смрадом трупов, мимо школ, где на порогах валяются убитые дети с жалобно открытыми ртами, мимо безумных женщин, бегущих по дорогам с остекленевшими глазами, мимо расстрелянных, привязанных за руки к ручкам дверей, мимо облетевших от пожара садов, мимо надписей, сделанных сажей на белых оградах: «Смерть всем, кто думает о свободе и справедливости! Смерть всем, кто не с нами!», мимо дворцов, превращенных в кучи черного мусора.

Отряд пехотинцев останавливает машину. У солдат тяжелые сапоги, похожие на ведра, красные лица, рыжеватые усы. Командует ими белобрысый офицер с оттопыренными ушами и сухим затылком.

— Вы кто? — кричит офицер.

Старик в латах встает, глаза его чернеют от гнева, руки трясутся.

— Собаки! — кричит он. — Наемные убийцы, обросшие кровавой шерстью! Прочь из моей страны! Я — Мигуэль Сервантес, я сын и поэт Испании, я солдат и честный человек!

Старик широко расставляет руки, он хочет задержать солдат.

— Огонь! — кричит офицер и взвизгивает от злости. Солдаты стреляют, и Мэро слышит, как бьют пули по

заржавленным латам старика, и старик падает лицом в пыль и, умирая, гладит худыми теплыми руками щебень родной дороги.

— Испания! — говорит он страстно, и редкие слезы падают на горячую землю. — Испания, мать моя, страна моих детей!

Снова щелкают пули по латам, но почему-то очень негромко.

Мэро проснулся. Как будто кто-то стучал в дверь. Он прислушался. Ветер еще шумел, но не так, как вечером. Ураган уставал. Хлопнула ставня, и кто-то застучал в дверь сильнее.

— Кто там? — спросил Мэро почти шепотом.

— Я, сударь, — ответил из-за двери садовник.

— Что случилось?

— В ущелье, за ручьем, стреляют, — сказал садовник. — Может быть, вы встанете, и мы послушаем. Я думаю, что случилась беда.

Мэро начал поспешно одеваться. Неужели война поднялась и сюда, в никому не нужные горы? Он вспомнил только что виденный сон, и ему показалось, будто кто-то медленно стискивает ему горло.

— Должно быть, это хлопают ставни, Матвей, — сказал он шепотом, боясь разбудить Эрве, спавшего за стеной. Ему хотелось верить, что садовник ошибся и никаких выстрелов нет. Кто и в кого может посылать пули в этой пустыне?

Садовник ничего не ответил. Они вышли. Снег уже не падал. Ветер стихал, и на востоке смутно виднелись громады туч, задержанных горами. Начинался рассвет. Он просачивался сквозь разрывы тяжелого неба, и можно было уже различить деревья, покрытые снежными шапками, и зеленую воду в бассейне, где плавали маленькие вылинявшие рыбки.

Садовник провел Мэро к ограде. За ней дымилась пропасть и бормотал ручей. Дна пропасти не было видно, — темнота в горах дольше всего держится в ущельях и уходит оттуда медленно — пожалуй, не быстрее, чем испаряется снег.

— Это здесь, — сказал садовник и показал за ограду.

Мэро заглянул вниз, но ничего не увидел.

— Мое зрение ослабло, — сказал он печально. — Я ничего не вижу. Может быть, вы увидите лучше меня.

— Страшновато заглядывать, — ответил садовник. — Давайте немного послушаем.

Они замолчали. И тогда Мэро услышал как будто слабый человеческий стон или хриплый короткий крик. Он был очень неожиданным. Потом два глухих выстрела прогремели в темноте на берегу ручья.

Мэро отшатнулся от ограды и быстро пошел к жилому дому. Садовник, ничего не понимая, растерянно шел следом. Снова прогремели два коротких выстрела.

Мэро прошел в лабораторию. Садовник шел за ним. Мэро открыл нишу в стене. Руки его дрожали. Он нажал кнопку, и пять колоколов начали яростно звонить в разных концах дома и в обсерваториях. Это был сигнал тревоги. Его давали только в случае серьезной опасности или необходимости немедленно созвать всех обитателей обсерватории.

Колокола гремели оглушительно, как пулеметы.

В комнатах зажегся свет, захлопали двери, — и через несколько минут в лаборатории собрались взволнованные астрономы.

Один Ньюстэд был спокоен. Он подошел к Мэро, крепко взял его за плечо и слегка встряхнул.

— Что случилось? — спросил он очень громко. Никто не обратил внимания на грубый поступок Ньюстэда.

— В ущелье, — ответил Мэро, — кто-то погибает. Он просит помощи.

— Откуда вы это взяли? — рассердился Дюфур. — Он кричит?

— Он кричит и стреляет через равные промежутки времени.

Наступило молчание.

— Кто пойдет со мной? — спросил неожиданно Ньюстэд. — Если он разбился, надо идти вчетвером. Иначе мы его не вытащим.

— Я бы пошел с вами, — ответил садовник.

— Этого мало.

— Тогда возьмите меня,— тихо попросил Бодэн.

— Все равно мало. Надо идти вчетвером,— повторил Ньюстэд.

Мэро молчал. Он не мог спуститься в ущелье. Даже в автомобиле, когда машина подымалась в горы, и то Мэро уставал. Ему передавалось напряжение мотора.

— Ну что же, — сказал Эрве, — я очень вынослив, хотя и выгляжу стариком.

— Это не имеет значения, — ответил Ньюстэд. — Идемте.

Когда они оделись и вышли, было уже светло, но туманно. Ньюстэд первый перелез через ограду и начал спускаться. В руках у него был канат. Вторым перелез садовник. Бодэн и Эрве спускались последними. Щебень осыпался у них из-под ног и громко шуршал по откосам.

Мэро и Дюфур стояли около ограды. Взошло солнце, снег начал таять, с деревьев капали крупные капли воды.

Ньюстэд и его спутники растворились в тумане. Сначала ничего не было слышно, кроме стука скачущих по обрыву камней, потом Ньюстэд закричал:

— Эге-гей, эге-гей! — и в ответ где-то очень близко хлопнул выстрел.

Ньюстэд крикнул:

— Стреляйте вверх, а не в скалы, черт вас возьми! Может быть рикошет.

Чей-то незнакомый голос несколько раз сказал:

— Сюда, сюда! Перейдите ручей, сюда!

Голоса были слышны отчетливо, будто из соседней комнаты.

— Рикошет, — повторил Мэро с удивлением. Он знал значение этого слова, но произнес его в первый раз в жизни и удивился. — Какое неприятное слово — рикошет.

— Думаю, что мы услышим еще худшие слова, — холодно сказал Дюфур.

Из тумана доносились голоса, но гораздо глуше, чем раньше.

— Дайте нож срезать веревки, он сильно запутался, — сказал голос Ньюстэда. — Все равно, давайте садовый, только скорей.

— Что там? — крикнул Мэро, но никто не ответил.

Была слышна возня, потом слабый крик, и Бодэн сказал сердито:

— Да не спотыкайтесь вы, ради бога!

Разговоры надолго стихли, и только слышно было хриплое дыхание взбирающихся по откосу людей.

— Пусть отдохнет, — сказал садовник где-то совсем рядом.

— Ничего, идите, — ответил Бодэн.

Мэро уже различал темное пятно, медленно подымавшееся по склону.

— Держите крепче, Матвей, — попросил Эрве.

— Ничего, — ответил глухо садовник. — У меня руки липкие от крови, я не выпущу.

Наконец они поднялись к самой ограде, и Мэро увидел у них на руках окровавленного человека в синем брезентовом костюме. Лица его нельзя было различить из-за спутанных и слипшихся волос. Серые брюки Ньюстэда были измазаны кровью.

Человека быстро внесли в комнату Эрве и положили на кровать. Бодэн, исполнявший в обсерватории обязанности не только библиотекаря, но и врача, раздел неизвестного, промыл раны и наложил перевязки. Ему помогал Ньюстэд.

В комнатах запахло лекарствами. Полы были затоптаны, на них стояли лужи растаявшего снега.

Обитатели обсерватории собрались в столовой. Они смотрели на капли густой крови, тянувшиеся наискось по ковру, и ждали Ньюстэда и Бодэна. Те долго не шли.

У Мэро дрожали руки.

— Надо бы истопить камин, Тереза, — сказал он служанке, но она, сидя в углу, что-то шептала, должно быть молилась, и не расслышала просьбы Мэро.

Первым вошел Ньюстэд. Он подошел к камину и начал греть руки, хотя огонь в камине не горел. Потом он заметил это, деланно засмеялся и набил трубку.

— Ну вот, — сказал он, — война, наконец, добралась и до нас. Поздравляю с ней всех собравшихся.

— Что с ним? — спросил Мэро.

— Он, должно быть, умрет, — ответил Ньюстэд. — У него переломано все, что может быть переломано у человека. Прыжки с парашютом в горах — отчаянное дело. Он летел из Франции в Мадрид.

— Военный? — спросил Дюфур.

— Нет, он поэт.

— Я не настроен шутить, — сказал ледяным голосом Дюфур.

— А я вам говорю, что это так, — рассердился Ньюстэд. — Ураган перевел машину в штопор, он успел выброситься с парашютом. Все остальное понятно.

— Главное никому не понятно,— пробормотал Дюфур. — Вы что-то упомянули насчет войны.

Вошел Бодэн. Он снял очки и посмотрел на всех красными близорукими глазами.

— Нужен врач, — сказал он растерянно.— Я слишком мало знаю, чтобы спасти этого человека.

Решение было принято тут же. Машина пойдет в городок за врачом. Поедут шофер и Ньюстэд. Бодэн и Мэро должны дежурить около разбившегося человека. Тереза им будет помогать. Все астрономические наблюдения будут пока вести Дюфур и Эрве.

— Настоящий ученый никогда не поступил бы так опрометчиво, как Мэро и Ньюстэд, — сказал Дюфур Эрве, когда Ньюстэд уехал. — Я не уверен в том, что можно срывать многолетние наблюдения из-за бесполезной суеты вокруг этого человека. Он все равно не выживет.

Эрве молчал.

— Война, — сказал он, наконец, и вздохнул. — Я знаю, что астрономы никогда не будут стрелять друг в друга. А об остальном я предпочитаю не думать.

— А следовало бы подумать о том, что наша французская обсерватория находится на испанской земле,— сказал Дюфур.

Ньюстэд уехал. Снег стаял, и мокрые горы блестели под солнцем. По скалам бежала ледяная вода.

Небо подымалось все выше, делалось бледнее, из пустынной долины потянуло теплом.

Шофер резко затормозил и показал Ньюстэду на красные скалы. У их подножия валялась куча железа и дерева.

— Это его машина, — сказал шофер.

Ньюстэд вышел, собрал в тени от скалы слежавшийся снег и очистил им со своих брюк бурые пятна крови.

— Едемте, — сказал он шоферу. — Как бы наши старики его не уморили.

Они легко понеслись вниз. Казалось, что машина сорвалась, тормоза лопнули и они не смогут остановиться до самого городка. На поворотах машину заносило, и она с размаху сбрасывала в пропасти груды щебня.

Ньюстэд был доволен. Он пел. Земля приближалась. Он уже слышал запах дыма из нищих очагов. На голых склонах паслось маленькое стадо коз. Его сторожила высокая старуха в черном платке. Она стояла у дороги и даже не оглянулась, когда машина промчалась рядом.

Городок был пуст и тесен. Толпа худых крикливых женщин окружила машину. Женщины говорили все сразу. Ньюстэд плохо знал испанский язык. Он с трудом разобрал из их слов, что негодяй доктор бежал с семьей в Уэску, а в городе остался только аптекарь.

Одна из женщин держала за руку девочку в черном платке, таком же, как у всех женщин и у старухи, сторожившей коз. Девочка исподлобья смотрела на Ньюстэда, а женщина о чем-то просила, вытирая глаза грязным фартуком.

— Чего она хочет? — спросил Ньюстэд шофера.

— Она просит, чтобы мы взяли эту девочку с собой. У девочки недавно фашисты убили отца. Под Уэской. Она говорит — в горах не так опасно, они туда не придут.

— Кто «они»?

Шофер пожал плечами:

— Понятно.

— Мы не можем ее взять, — сказал Ньюстэд. — Кто с ней будет возиться? И так у нас раненый человек.

Шофер молчал.

— Кто с ней будет возиться? — повторил Ньюстэд

— Мое дело — руль, а ваше дело — решать все остальное.

— Ах, так?!

Ньюстэд открыл дверцу машины и втащил девочку. Мать засмеялась и что-то закричала девочке, поправляя черные седеющие волосы.

Шофер дал ход. Машина рванулась вверх по улице, к аптеке. Ньюстэд обернулся. Женщины махали вслед черными платками и были похожи на стаю худых птиц, бесшумно хлопающих крыльями. Девочка упрямо смотрела в спину шофера глазами, полными слез.

— Скажите ей, чтобы она не боялась, — сказал шоферу Ньюстэд. — Когда все пройдет, мы ее привезем обратно.

Шофер кивнул головой.

Аптекарь спал. Ньюстэд попросил разбудить его. Вышел желтый горбун. Он сонно поздоровался и стал на скамейку за прилавком, чтобы быть выше.

Ньюстэд не знал, что нужно купить для разбившегося человека. Он коротко рассказал, что случилось, и попросил совета. Аптекарь удивленно посмотрел на Ньюстэда и сдержал зевоту.

— У меня ничего нет. Могу поклясться. Есть немного гипса, марли и шесть ампул морфия. Это все, что я могу дать. Без врача вы не справитесь. Йод есть у вас в обсерватории. Господин Бодэн год назад купил столько йоду, что его хватит на всю республиканскую армию, а не только на одного человека из этой армии.

— Почему вы думаете, что он республиканец?

— Кто же будет лететь из Франции ночью? Вы нашли самолет?

— Нет, — ответил Ньюстэд. Он не был расположен к болтовне.

— Дело не в человеке, а в самолете, — проворчал аптекарь и пошел в заднюю комнату. Он что-то бормотал там, копался и, наконец, вынес небольшой пакет.

Ньюстэд попрощался. Аптекарь вышел за ним на каменное крыльцо. Серый свет стоял над городком. Снег на горах казался отсюда очень тусклым.

— А где сейчас дерутся? — спросил Ньюстэд.

— Всюду, — ответил аптекарь и усмехнулся.

Обратно ехали медленно, — подъем делался все круче. Девочка сидела сгорбившись, уставившись круглыми, полными слез глазами в спину шофера. Ньюстэд не знал, как ее утешить, молчал и насвистывал.

Снова встретилась высокая старуха около маленького стада коз. Она, нахмурившись, оглянулась на машину.

Выцветшее небо простиралось над головой. Горы были рыжие, покрытые голыми дубовыми кустами. Долину затянуло сероватым дымом.

Ньюстэд впервые понял, как ему надоело жить в обсерватории, хотя бы и так близко от звездного неба. Хорошо бы очутиться в Мадриде, где люди живые, шумные и упорные, где они дерутся за очень понятные вещи! Может быть, все это будет длиться очень недолго, но что с того?

— Что с того? — вслух повторил Ньюстэд. Девочка не оглянулась. Она сидела все так же неподвижно.

«Большое горе», — подумал Ньюстэд, глядя на нее. Он хотел потрепать ее по плечу, но не решился.

Отсюда, из долины, обитатели обсерватории показались ему мертвецами, которые только притворяются живыми и спорят, говорят, едят и наблюдают звезды, как заводные куклы. Особенно раздражал Дюфур — ходячий часовой механизм с изысканным звоном. Тихоня Эрве казался неплохим человеком, но жизнь в обсерватории вышелушила его, как мумию.

— Один Мэро, — пробормотал Ньюстэд, — но он так стар, что может умереть от сильного порыва ветра.

За одним из поворотов, откуда уже была видна обсерватория, шофер остановил машину.

— Теперь не стоит торопиться, — сказал он. — Посмотрите на мачту.

Ньюстэд всмотрелся и увидел флаг. Он был приспущен до половины. Эта традиция была близка Нью-

стэду. Сын морского капитана, любителя астрономии, он хорошо знал морские нравы, и приспущенный флаг — знак траура — всегда вызывал у него ощущение несчастья. С давних пор многие обсерватории Европы придерживались этого морского обычая.

Ньюстэд понял, что опоздал.

Ворота обсерватории были закрыты. Несмотря на гудки, никто не вышел навстречу. Шофер вылез из машины и сам открыл ворота.

Ньюстэд взял за руку девочку и повел ее к Терезе.

— Как тебя зовут? — спросил он ее по дороге.

— Си, — шепотом ответила девочка.

— Сесиль? — переспросил Ньюстэд.

— Си, — повторила девочка, и из глаз ее потекли слезы.

Больше Ньюстэд ничего не спрашивал.

Заплаканная Тереза встретила девочку спокойно, как будто она только ее и ждала. Она вытерла руки о передник и, присев на корточки, начала разматывать на девочке рваный черный платок. Она заговорила с ней своим грубым, мужским голосом. Девочка отвечала шепотом, но не плакала. Ньюстэд ушел, недоумевая, — он так и не понял, в чем эта чертовская тайна общения с детьми.

Он прошел в комнату Эрве, где лежал умерший. В столовой зеркало было завешено старым холстом.

В коридоре он встретил Матвея. Садовник нес только что срезанные ветки сосен и тиса с темной листвой. Они вместе вошли в комнату.

Человек лежал, вытянувшись, под простыней, на кровати. Волосы его были причесаны, и через лоб тянулся запекшийся шрам.

Матвей разбросал по полу хвою. На столике горели две восковые свечи. Пламя трещало. Шторы были спущены.

— Это зажгла Тереза, — сказал тихо садовник. — Женщины знают, как обряжать умерших.

Ньюстэд посмотрел на лицо неизвестного. Оно было молодым, но очень измученным. Две глубокие морщины, как шрамы, лежали на щеках. Выражение губ было таким, будто человек кого-то вполголоса звал.

— Вот и смерть погостила у нас, сударь, — сказал Матвей. — Профессор Эрве приказал вырыть могилу около ограды, под старым тисом.

— Где Мэро? — спросил Ньюстэд.

— Он у себя. Он очень расстроен. Человек умер у него на руках.

Ньюстэд медлил идти к Мэро. Вошел Эрве.

— Ньюстэд, — сказал он и криво улыбнулся, — вот видите, жизнь впервые ворвалась в нашу обитель, но и то под видом смерти.

— Не только, — ответил Ньюстэд. — Я привез из города маленькое существо. Оно нуждается в помощи.

— Неужели мы еще кому-нибудь нужны? — спросил Эрве с искренним удивлением.

Мэро сидел в своей комнате за письменным столом. Он сжимал виски слабыми руками — хотел сдержать слезы.

Стол был пуст. Он не написал за этим холодным лакированным столом ни одной строчки любимому человеку, здесь он писал только вычисления и вежливые письма астрономам. Ни любимых, ни любящих не было. Нет, они были когда-то, но Мэро забыл о них. Должно быть, они давно уже умерли, как умер этот человек. «Нельзя забывать любящих, лучше их убить, чем забыть», — говорила его мать, и Мэро теперь понял, что она была права.

Человек умер во время дежурства Мэро. Он почти не говорил. Он все время стонал и один только раз окликнул Мэро.

— Отец, — сказал он, и Мэро вздрогнул от этого забытого слова, — возьмите в сумке письмо и бумаги... Прочтите... Отправьте... Если приедет, вы расскажете... Я думаю только о ней, бесполезно думать о другом... Совсем бесполезно...

Мэро нашел письмо и бумаги. Человек затих, потом начал бредить. Он пел в бреду. Это было очень страшно, и Мэро позвал Бодэна.

Когда Бодэн пришел, человек был уже мертв.

Письмо и бумаги Мэро забрал к себе и все никак не мог дочитать до конца, — множество мыслей возникало после каждой прочитанной строчки.

Человека похоронили в сумерки. Все молча стояли, обнажив головы, пока садовник и Ньюстэд засыпали могилу мокрым щебнем. На могиле поставили маленький деревянный столб с дощечкой. На ней Бодэн написал:

> Виктор Фришар, поэт, француз. Разбился во время перелета из Франции в Мадрид. Пусть к именам людей, отличавшихся мужеством, прибавится еще одно имя неизвестного нам, но благородного человека!
>
> Астрономы и сотрудники французской обсерватории Сиерра дель Кампо (Пиренеи).

После похорон астрономы собрались в лаборатории. Ньюстэд созвал всех, чтобы сделать, как он сказал, чрезвычайное сообщение. Все были утомлены и молчали, — прожитый день стоил нескольких лет прежней невозмутимой жизни.

— Профессор Мэро, — сказал Ньюстэд и встал, этим он подчеркнул важность своих слов, — передал мне бумаги и письмо, оставшиеся после умершего. Перед смертью он просил огласить их и отправить по назначению. Я выполняю волю неизвестного мне человека с тем большей охотой, что содержание этих бумаг, — Ньюстэд положил на них тяжелую руку, — заставляет меня отказаться на время от работы в обсерватории и спуститься в долины, где вот уже пять месяцев, как вам известно, свирепствует гражданская война.

— Я знал, что вы филантроп, — заметил Дюфур.

— Это делает честь вашей проницательности, — спокойно ответил Ньюстэд. — Человек, которого мы пытались спасти и только что похоронили, — французский поэт. Поэты — братья астрономов. Прекрасное содержание окружающей жизни проявляется не только в законах звездного неба, но и в законах поэзии.

— Понятно, — пробормотал Дюфур. — Читайте письмо!

— Если бы вам это было понятно, — ответил Ньюстэд, — то вы бы не занимались сейчас вычислением ор-

биты планеты за номером тысяча двести двенадцать. Диаметр этой планеты не больше километра. Я считаю эту работу такой же ненужной, как подсчет пылинок на земле.

— Спасибо! — воскликнул Дюфур и деланно засмеялся. — И после этого вы считаете себя ученым?

— Да, — грубо ответил Ньюстэд. — Вы — Дюфур, я — Ньюстэд, и мы никогда не поменяемся мозгами. Но я еще не окончил. Поэты и писатели Франции приобрели несколько аэропланов и оружие для помощи испанской Народной армии. Фришар вызвался перебросить эти аэропланы в Мадрид. Причина его гибели известна. В разбитом самолете осталось оружие — винтовки, патроны и пулеметы.

— Очень хорошо, — сказал Эрве, — но мы-то ими не воспользуемся.

— Письмо адресовано в Бриэк, женщине, — сказал Ньюстэд, как будто не слыша всех замечаний. — Вряд ли нужно называть ее имя. Я читаю письмо.

«Это письмо отправят тебе, если я умру. Ты помнишь последний день в Бриэке, когда я уезжал, помнишь черные скалы и запах старых рыбачьих сетей? Дул очень холодный ветер с океана, и у тебя зябли маленькие милые руки. Мы были одни в нищем городке. Мы были тогда совсем одиноки с тобой, и ты была для меня не только любимой, но и матерью, сестрой, самым преданным другом.

Через час я вылетаю в Испанию. Я храню в своей памяти твои слова о том, что ты не могла бы любить ничтожного человека. Для иных людей трудно сохранить достоинство в наше время, когда низость, вооруженная пулеметами и фосгеном, начала схватку со всем лучшим, чем жило и будет жить человечество. Для иных лучше бежать на край земли и спрятаться в теплые норы, размышляя о том, что жизнь дается только раз и ее надо прожить для себя. Но во имя того, что она дается только раз, что она неповторима и замечательна, во имя этого мне легче идти навстречу опасности с открытым лицом и завоевать эту жизнь

или умереть за нее, чем писать красивые слова и страдать от дурного запаха собственной совести.

Ты поймешь меня, я знаю. Я не умею утешить тебя. Я люблю землю, потому что ты живешь на ней, люблю воздух, потому что он прикасается к твоему лицу, люблю каждую травинку, на которой останавливаются твои глаза, люблю каждый твой след на сыром песке и ночную тишину, потому что тогда я слышу твое дыхание, — и вместе с тем я лечу умирать. Я почти уверен в этом.

Прощай! Ты расскажи о своем горе рыбачкам, если у тебя хватит сил рассказать. Никто лучше этих простых, рано постаревших женщин не сможет понять его, — ведь у них нет ни одной семьи, где бы не было горя».

Ньюстэд окончил читать и, наклонив голову, перебирал на столе бумаги. Все молчали. Эрве начал задыхаться, судорожно вынул платок и высморкался.

— Хорошо, что вы прочли письмо, — тихо сказал Мэро. — Хорошо, я знаю... Но позвольте мне уйти, я не могу дольше оставаться.

Мэро вышел. Дюфур сидел с потухшей папиросой во рту.

Мэро заперся в своей комнате, подошел к окну и заплакал. Колючая тяжесть в груди причиняла боль. Мэро думал, что она растворится от слез, стекавших по его желтым щекам, но она все усиливалась, и Мэро уж ничего не видел за окном, — звезды мутными пятнами расползались по стеклу.

Ему было жаль умершего, было жаль молодую осиротевшую женщину, жаль себя, Эрве, всех, кто так неприютен, затерян в этом громадном и неласковом мире.

Поздно вечером Мэро вошел в комнату Ньюстэда. Норвежец стоял у стола и рвал какие-то бумаги.

— Ньюстэд, — сказал Мэро, — я уезжаю. Я хочу сам отвезти письмо в Бриэк. Я, как и вы, на время бросаю обсерваторию.

— Что ж, — ответил Ньюстэд, — ведь у вас нет ни сына, ни дочери... Это понятно.

Мэро с благодарностью посмотрел на Ньюстэда. Ньюстэд обнял его за плечи и сказал:

— Мы никогда не должны забывать друг друга.

— Конечно, — ответил Мэро.

У себя в комнате Мэро увидел на столе последние астрономические вычисления и тщательно спрятал их в ящик.

Созвездие Гончих Псов играло далеким светом за стеклами, и Мэро, взглянув на него, подумал, что Бриэк лежит как раз в той стороне.

Утром ни Ньюстэд, ни Мэро не уехали. На рассвете в обсерваторию прибежала из города измученная женщина, мать девочки. Голосом, хриплым от волнения, она рассказала, что городок занят небольшим отрядом фашистов, что аптекарь донес командиру отряда, будто в обсерватории скрывается раненый человек, летевший из Франции в Мадрид, и утром отряд выступает в обсерваторию.

— Они думают, что он вез секретные бумаги, и хотят его расстрелять, — сказала женщина. — Так хвастались солдаты.

— Единственная секретная бумага у меня, — сказал Мэро. — Я ее никому не отдам.

Женщина посмотрела на Мэро с удивлением. Она не поняла слов этого старика.

Снова был созван военный совет.

— Что же делать? — спросил Бодэн.

— Не выдавать его, даже мертвого,— ответил Ньюстэд.

Дюфур не удержался.

— Придется защищать от них звезды, — сказал он, усмехаясь. — Их много? — спросил он женщину.

— Тридцать человек.

— Все равно, — сказал Ньюстэд. — Начнем действовать.

— Конечно, — согласился Дюфур. — Для астрономов не составит труда разбить эгу воинскую часть. Тем более что в ней нет наших собратьев по науке, и потому даже Эрве может участвовать в схватке.

Через час шофер и Ньюстэд привезли на машине двадцать винтовок, патроны и пулемет. Они подобрали

их среди обломков самолета. Несколько винтовок было испорчено, пулемет тоже. Шофер к полудню починил его и хотел испробовать, но Ньюсгэд запретил пробу, — звуки выстрелов могли заставить отряд насторожиться раньше времени.

Ньюстэд распоряжался невозмутимо. По молчаливому соглашению он был избран начальником вооруженной обсерватории. Вопреки его ожиданиям никто не сомневался в необходимости дать отпор отряду, подымавшемуся из долины. Непонятное веселье охватило обитателей обсерватории, — очевидно, то возбуждение, какое появляется у человека во время большой опасности.

План обороны был прост. Он был рассчитан на то, чтобы ошеломить нападавших и взять их под перекрестный огонь. Это, по мнению Ньюстэда, должно было привести к бесспорной победе.

Невдалеке от обсерватории, на скале, установили пулемет. Со скалы было удобно обстреливать повсрот дороги. У пулемета лежал шофер. Около него дежурили с винтовками садовник и Ньюстэд. Садовник замаскировал пулемет и скалу сухими дубовыми ветками.

Дюфур наблюдал за дорогой в искатель малого телескопа. За пятнадцать километров были хорошо видны ее белые безлюдные изгибы.

Вход в обсерваторию был забаррикадирован тяжелыми ящиками от инструментов.

Бодэн, Эрве и Мэро сидели на скамейке около ограды, откуда им был виден тот же поворот дороги, что и Ньюстэду, засевшему на скале. Эрве впервые за многие годы закурил. Три старика тихо беседовали, и только по сухому блеску их глаз можно было догадаться, что они взволнованы.

Винтовки стояли поодаль, прислоненные к стене. Был солнечный день, с гор дул прохладный ветер, и белый петух взлетел на ограду и кричал, хлопая крыльями. Было слышно, как в кухне Тереза громко беседовала с горожанкой и говорила, что старики, пожалуй, еще могут постоять за себя.

Никто из астрономов не верил, что бой действительно будет. Мэро следил за тенью от мачты. Она

сначала закрыла одну винтовку, потом другую и уже подходила к третьей.

— Может быть, они повернули обратно? — спросил Бодэн, и в голосе его послышалась тревога.

— Эй, вы, — сказал Мэро, — старый наполеоновский гвардеец! Потерпите еще час-другой, не огорчайтесь!

Мэро смотрел на тень мачты. Она закрыла уже третью винтовку. Что-то темное поползло рядом с тенью. Мэро поднял голову и увидел флаг. Он подымался вверх, раскрываясь и шурша. Это Дюфур давал знать Ньюстэду, что на дороге замечен отряд.

— Наконец-то старина Дюфур высмотрел то, что ему нужно, — сказал Бодэн.

Он вздрагивал от волнения. Быстро подошел Дюфур.

— Двадцать пять! — прокричал он возбужденно. — Двадцать пять королевских молодчиков! Впереди идет командир, рыжий, как огонь.

— Почему вы думаете, что это командир? — спросил Мэро.

— С каких пор вы начали сомневаться в точности наших приборов? Я видел нашивки на его воротнике.

— Ну, в таком случае мы не спорим, — сказал, улыбаясь, Эрве.

— Они будут на повороте через двадцать минут, — сказал Дюфур.

— Если не ошибаюсь, — пробормотал Бодэн, — тот способ обстрела, который предложил нам Ньюстэд, носит название флангового огня?

— Совершенно верно, — подтвердил Дюфур. — Они попадут в засаду. Но вы подумали, что делать, если они все же прорвутся через ограду?

— Они не прорвутся, — сказал Мэро, — или мы умрем.

— Надо предвидеть все, — возразил Эрве. — Мы можем отступить в наблюдательные вышки. Их три, и все они построены из гранита. Посмотрите: лесенка, балкончик, железная дверь. Два узких окна заменят бойницы. Других окон нет.

— Замечательные боевые сооружения! — воскликнул Бодэн. — Как мы раньше не видели этого?

— Это будет лучше всего, — сказал Мэро. — По крайней мере мы погибнем, как принято писать в военных приказах, на боевом посту, около своих спектрографов и зеркал.

Все засмеялись. Никто не верил в возможность настоящего боя.

— Но в общем, — сказал Дюфур, — пора идти за Терезой.

Он позвал Терезу. Ее появление прекратило шутки. Тереза была в короткой юбке, а грудь она крест-накрест туго завязала черным платком. Она осмотрела винтовки, выбрала себе самую новую и сказала:

— Девчонкой отец учил меня стрелять по коршунам. Они часто воровали у нас цыплят.

— Ну, друзья, — сказал Бодэн, — давайте приготовимся.

Старики взяли винтовки. Каждый из них уже давно выбрал себе выступ ограды, из-за которого собирался стрелять.

Дюфур посмотрел на часы.

— Очень скоро, — сказал он шепотом.

Все, кроме Мэро, заняли свои места. Мэро решил подойти к ограде в последнюю минуту, — ему было трудно стоять.

— Как будто видна пыль, — таинственно сказал Бодэн.

— Посмотрите, Тереза.

— Недавно стаял снег, — ответила так же тихо Тереза. — Откуда же пыль?

Мэро потрогал карман. В нем зашуршало письмо в Бриэк. Он предупредил всех, что письмо у него, и потому был спокоен.

— А! — тихо вскрикнул Дюфур.

Мэро торопливо подошел к своему выступу. Все, не двигаясь, смотрели на дорогу. Из-за поворота медленно выходили солдаты. Они несли винтовки на ремнях и шли вразброд.

— Когда будете нажимать спуск, старайтесь не дышать, — предупредила Тереза.

— Вы настоящая маркитантка, Тереза, — ответил Дюфур. — Но почему же Ньюстэд так долго молчит?

— Наш шофер был на фронте. Он знает, когда начинать.

Дорога уже чернела от солдат. Они остановились, пропуская вперед офицера, и в ту же минуту торопливо забил и залаял пулемет Ньюстэда. Желтые дубовые листья полетели вихрем. Горное эхо перебрасывало стук пулемета со скалы на скалу; он отскакивал от отвесных стен, шарахался с размаху на дно пропастей, падал, подымался, звучал то глухо, то нарастал до оглушительного треска, будто стальные молотки били по пустым пароходным котлам. Щебень и пули свистели по дороге. Солдаты бросились за каменный парапет. Офицер что-то кричал, закрывая рукой голову, потом упал и больше не двигался. Дюфур насчитал на дороге десять упавших, но в это время первая пуля звякнула об ограду и с тихим воем прошла рикошетом через сад, сбив несколько веток со старой сосны.

— Друзья, — крикнул Бодэн, — не зевайте!

Солдаты, лежавшие за парапетом, не были видны Ньюстэду, но их легко было обстреливать из-за ограды. Первым выстрелил Бодэн. Тереза щурилась, у нее из-под платка выбилась прядь седых волос, и она, сердясь, судорожно и часто ее поправляла. Дюфур долго целился и стрелял спокойно. Эрве старался попасть в парапет; от удачных выстрелов над ним взвивались белые струйки пыли. У Мэро после первого же выстрела заболело плечо от удара прикладом, но он продолжал стрелять, почти не целясь.

Часть солдат перенесла огонь на ограду. Все чаще щелкали пули. Белый петух, испуганный выстрелами, взлетел с кудахтаньем на сосну, сорвался и тяжело ударился о землю, — он был разорван пулей.

Огонь учащался. Мэро слышал за своей спиной звон стекла. Пули били по окнам второго этажа. Он подумал, что лаборатория в первом этаже, и это очень хорошо, — все приборы останутся целы.

Пулеметные пули прошли по верхушке ограды и запорошили пылью глаза.

— Все по пулеметчику! — приказал Бодэн. — У них один пулемет, больше нет. Как они успели его поставить!

Мэро стрелял, почти не сознавая, что происходит. Очень трудно было вставлять обойму в винтовку. Он несколько раз больно защемил себе кожу на ладони, из пальца текла кровь.

Он видел, как солдаты медленно отползли вниз по склону, прячась за камнями. Судя по выражению их лиц, они что-то кричали и ругались. Он хорошо видел ноги пулеметчика — очень худые и кривые, в грязных обмотках. Потом он увидел, как пулеметчик привстал, упал на бок и покатился по крутому склону, как зеленый мешок. Он докатился до дубового куста и застрял в нем.

Пулемет затих. Теперь работал только пулемет Ньюстэда. Солдаты вскочили и побежали, пригибаясь к земле. Они прыгали вниз, с камня на камень, некоторые бросали винтовки.

Мэро видел, как Ньюстэд и шофер быстро спустили пулемет со скалы на дорогу, бегом прокатили его до поворота и залегли. Снова пулемет задрожал и залаял, и по дороге понеслись длинные ленты пыли. Ньюстэд махал рукой.

— Поздравляю вас, старики, — сказал Дюфур. — Они отступают.

— Значит, это конец? — спросил Эрве.

— Да, мы, кажется, ловко отделались, — ответил Бодэн.

Пулемет стих. Раздался последний одинокий выстрел. Это еще стреляла Тереза. Эрве потряс ее за плечо. На дороге видно было всего несколько солдат, бежавших вниз. Они исчезли за поворотом.

Мэро бросил винтовку и выпрямился. Солнце сверкало над головой. Тишина плыла над горами. Мэро вздохнул. Воздух был напитан запахом листьев и корней.

Снова стало слышно, как ручей шумит на дне пропасти. Амфитеатр гор, залитых солнцем, сверкал и переливался красками поздней осени, и Мэро улыбнулся. Он знал: у него есть дочь где-то там, в Бриэке,

есть родная душа в этом мире, есть друзья — астрономы, старые, но храбрые люди. Он чувствовал себя так, будто только что завоевал право на жизнь, на обладание всем миром, шумевшим внизу, в когда-то чуждых долинах.

Тереза улыбнулась Мэро. Он обнял ее, и они расцеловались, как старики — брат и сестра. Было слышно, как Ньюстэд пел на дороге какую-то норвежскую песенку.

В тот же день остатки фашистов были выбиты одним ударом из городка отрядом басков, и Мэро и Ньюстэд тотчас уехали. Их провожали очень шумно, но никто не мог скрыть грусти этого прощания.

Снова тишина завладела обсерваторией, и, как всегда, звездное небо сверкало над ней по ночам и до рассвета прислушивалось к тихим голосам астрономов, медленным шагам садовника и к плеску старого ручья на дне ущелья.

1936

ОРЕСТ КИПРЕНСКИЙ

Поздней осенью 1836 года в устье Невы против Галерного острова бросил якорь грязный итальянский корабль. Он пришел из Ливорно.

Падал первый снег. Он сваливался пластами с грубых парусов, но тонким серебром ложился на реи. В сумерки корабль, занесенный снегом и освещенный огнем фонарей, казался даже собственным матросам нарядным и легким.

Корабль привез редкий груз — последние картины русских художников, живших в то время в Риме. Полотна Брюллова и Бруни, портреты Кипренского и гравюры Иордана были бережно завернуты и сложены в пустой каюте.

Прихода корабля долго ждали петербургские любители живописи. Первым на пристань приехал писатель Нестор Кукольник. Он стряхнул сырой снег с плаща и цилиндра и прошел в каюту капитана.

Свеча дрожала на черном столе. Она освещала в пыльной стеклянной вазе несколько апельсинов.

Капитан ел апельсины. Пахучий сок стекал по его загорелым пальцам. Кукольник, усмехнувшись, сказал, что, наконец, он чувствует и здесь, в Петербурге, воздух Италии.

Капитан пробормотал что-то невнятное и, дожевывая апельсин, выдвинул ящик стола. Там среди истре-

панных географических и игральных карт лежало письмо. Капитан протянул его Кукольнику. Кукольник вскрыл конверт и начал читать.

«В конце сентября, — читал Кукольник, — Орест Кипренский занемог жестокой горячкой, от которой усердием доктора начал было оправляться и стал выходить, как простудился снова, и горячка возвратилась. Художник не вставал более. Он скончался здесь, в Риме, третьего прошедшего октября».

Кукольник встал.

— Вы привезли тяжкую весть, — сказал он несколько напыщенно капитану. — В Риме умер один из величайших художников нашего века, мой соотечественник Орест Кипренский.

Капитан не ответил. Он перебирал апельсины. Вверху, на палубе, перекликались матросы. Итальянский язык казался особенно звонким в густом снегу, засыпавшем пустынные проспекты и дворцы Петербурга.

Капитан выбрал самый большой апельсин и подбросил его на ладони.

— Вот — возьмите, — сказал он и улыбнулся. Блеск зубов преобразил его угрюмое лицо. — В Италии никогда не перестанут созревать апельсины и художники.

Кукольник попрощался и вышел. Он спрятал апельсин в карман плаща и всю дорогу чувствовал его тяжесть и запах.

Кукольник медленно шел, прикрывая рукою рот от ветра, и думал, что не только в Италии, но и в Петербурге никогда не перестанут рождаться художники. Умер милый волшебник Орест, но живы Брюллов, Иванов и Уткин.

Петербургские дома, выкрашенные в зеленоватый, лимонный и серый цвета, казались фарфоровыми. Свет фонарей дрожал на античных фронтонах домов.

— Великий Рим среди болот и северных лесов! —

сказал Кукольник, думая о Петербурге. — Великий Рим в снегах и мраке ночи. Судьба его будет прекрасна.

Эта мысль принесла утешение.

Ни одна газета и ни один журнал не откликнулись на смерть Кипренского. Кукольник недоумевал. Трудно было понять причины молчания, окружившего смерть этого мастера.

Почти через месяц после смерти Кипренского Кукольник напечатал в «Художественной газете» несколько печальных строк.

«Смерть Ореста Кипренского, — писал он, — столь неожиданно лишившая Россию одного из блистательнейших художников, промелькнула в повременных изданиях как тень, наведенная мимолетной тучей, гонимой сильным ветром. Правда, немногие подробности о последних днях Кипренского достигли до северной столицы, — но отчего не раздались даже обычные газетные элегии над гробом знаменитым? Отчего не отдана последняя дань уважения художнику? Отчего? Решить не можем, но причины обнаружатся».

Причина была проста. Кипренский был не нужен тогдашней николаевской России, как были ей не нужны Федотов и Пушкин, Рылеев и Лермонтов, Гоголь и Иванов.

Кипренский прожил короткую жизнь. Она началась блестяще, но окончилась глупо и печально. Россия сжала его за шею и медленно гнула к земле, пока не поставила на колени перед знатью, перед царем и Бенкендорфом. И Кипренский-художник сбился с пути и умер гораздо раньше, чем спился и умер Кипренский-человек.

Итальянский апельсин долго лежал у Кукольника на письменном столе. Он придавал особую мягкость воздуху, наполненному запахом старых книг и слабой копотью свечей.

Кукольник берег его и все время старался вспомнить слышанный давно, лет пять назад, рассказ Кипренского об апельсине. Потом он все же вспомнил его и записал, но, как всегда, потерял запись среди множества заметок о живописи и неоконченных стихов.

Помнится, Кипренский рассказывал о своем детстве. Упоминал он о нем неохотно. Оно прошло на мызе под Ораниенбаумом. «Ораниенбаум» по-немецки означает «оранжевое, или апельсиновое дерево».

Старики, помнившие век Елисаветы, говорили, что название это было дано не зря. При основателе Ораниенбаума Меньшикове в теплицах тамошнего дворца вызревали апельсины. Даже на гербе Ораниенбаума было изображено серебряное поле с апельсиновым деревом, усыпанным созревшими плодами.

Старики, помнившие век Елисаветы, были матросы из морской богадельни в Ораниенбауме — первые наставники и учителя мальчика Кипренского. Их звали «сурками». Все время они проводили в неторопливых беседах и сне.

Чаще всего они рассказывали о морских бурях, налетавших на линейные корабли, грохоте волн и треске снастей. После их рассказов казалось, что вся земля наполнена холодными ураганами, тяжелым дымом туч, ветрами, дождями и грозами. Старые матросы хвастались бурями, как будто сами их вызывали.

Мрачность их рассказов соответствовала окружавшей природе, — белесое небо простиралось над болотистым берегом Финского залива, и томительно проходили тусклые осени и зимы.

Нетерпеливый мальчик — а Кипренский всю жизнь был нетерпелив и горяч — дожидался лета, когда солнце превратит, наконец, в бледное золото воды залива и зашевелится светлыми стрелами в листве дворцовых садов.

Летом матросы выползали на солнце. Их беззубые рты улыбались шуму деревьев и робкому свисту птиц. Менялись и матросские рассказы. В них среди вечных непогод наступало короткое затишье. Матросы вспоминали Италию, путали названия южных морей. Их память с натугой проникала через вереницу тяже-

лых матросских лет, через свинцовые туманы, через мутную воду старческой слепоты и вдруг озарялась светом полуденных стран, тонущих в оливковых рощах и перезвоне колоколов.

Крепкая вера моряков в то, что за пеленой дождей и бурь их ждут тихие гавани, сказывались в этих летних рассказах матросов с особенной силой.

Мальчик Кипренский — побочный сын бригадира Дьяконова, отданный отцом на воспитание своему крепостному Адаму Швальбе, — был с ранних лет предоставлен себе. Он мог часами слушать рассказы матросов или бегать из дому в ораниенбаумские сады и прятаться там от сторожей и садовников.

Эти сады славились каналами. В них веснами отражались заросли цветущей сирени. Мраморные статуи смотрели в зеленоватую воду холодных прудов, где плавали форели.

Ораниенбаум пугал мальчика своим безлюдьем.

Театр и дворец, построенные Растрелли, давно пустовали. На Катальной горке ни разу за многие годы не было слышно грохота увеселительных колясок. Сады, казалось, навсегда застыли в пышном запустении. Дворцовые зеркала не отражали никого, а холодные залы годами не слышали шума шагов и военной музыки времен императора Павла.

Мальчик был волен населять эти залы выдуманными героями и прекрасными женщинами. Он делал это со страстью и с полной верой в их существование.

Так с детства Кипренский привык мечтать. Спустя много лет эта героическая мечтательность сообщала особое очарование его работам. Это было в те годы, когда Кипренский превратился из крепостного мальчика в художника и об его «магической кисти» заговорила вся Европа.

В Ораниенбауме Кипренскому изредка удавалось пробираться к самому дворцу мимо полосатой будки гренадера. Мальчик осторожно подымался на террасу

и, прижав лоб к холодному стеклу дверей, долго, до ломоты в висках, рассматривал старинные портреты, висевшие в залах.

Короли и императоры неторопливо скакали на этих портретах в желтом пороховом дыму. Багровые вспышки мортир освещали крутые и надменные лица. Блестели кирасы. Знамена развевались в синих грозовых тучах, обрезанных тяжелой золоченой рамой.

Дома Кипренский рисовал по памяти эти портреты, а добродушный Адам Швальбе тайком от него показывал их своему барину Дьяконову. Рисунки были хорошие, и Дьяконов решил отдать совсем еще маленького мальчика в Академию художеств.

Несмотря на то, что Кипренский был сыном Дьяконова, по казенным бумагам отцом его считался Швальбе. Тотчас после рождения мальчика Дьяконов приказал Швальбе усыновить его и дать ему при крещении фамилию Копорский — по месту рождения мальчика в городке Копорье, вблизи Ораниенбаума. Под этой фамилией Кипренский и жил вплоть до поступления в Академию.

В Академии ему переменили фамилию на Кипренский. В то время «незаконным» детям можно было выдумывать и менять фамилии сколько угодно. Это считалось в порядке вещей.

В Академии художеств прошло детство и вся юность Кипренского.

Рассказы «сурков» о бурях, дворцовые сады и темные портреты остались в памяти Кипренского на всю жизнь.

Может быть, старым матросам он был обязан тем, что любовь к бурям, грозе и непогоде была выражена у него с особенной резкостью.

То было время французской революции, когда ветер романтики шумел над Европой.

Бледные поэты — в зарницах, в бурях и громах — пели вдохновенные песни о прелести дружбы, благородных порывах, свободе и мужестве. Наполеоновские солдаты разносили по самым глухим городкам славу побед, революционные декреты, шелест изорванных

знамен. Тревога очищала умы от сытости и жеманства восемнадцатого века.

Во время учения в Академии Кипренский был покорен романтикой. Он искал ее всюду. После утомительного сидения в классах за срисовыванием гипсовых Зевсов и Афродит Кипренский уходил на набережную Невы, бродил по ней и читал нараспев стихи неведомого поэта:

Ночь опустила тьму на старые сады.
Холодный ветр свистит и бьется на полянах.
И сердце нежное, все в пламени и ранах,
Трепещет с полночи до утренней звезды.
Увы, любимцы муз, свершился жребий мой!
Поет военный рог той полночью стоокой,
Бушуют облака. И точно! Дланью рока
Замахнут тяжкий меч над юною главой.

Эти стихи вызывали у Кипренского слезы. В них было все, что он любил еще с детства, — старые сады, холодный ветер, ночные тучи и нежное сердце. Потом эта любовь к бурной природе и неспокойному человеческому сердцу окрепла под влиянием времени.

«Мне часто мерещится,—писал Кипренский впоследствии, — черная качающаяся аллея дерев. Земля, кажется, окаменела, и до сих пор сохраняет она вид ужаса».

Недаром на всех портретах, написанных Кипренским в юношескую пору, позади взволнованных людей, позади поэтов, воинов и печальных женщин всегда стоит непроницаемое грозовое небо. Невольно кажется, что далекий гром и дыхание ливней покрывают нервной бледностью их лица.

Толпа этих странных и привлекательных людей как будто только что сошла на берега Невы с корабля, пришедшего из земли, созданной Байроном, из страны, где мудрые беседы и пылкие страсти сообщают необычайную прелесть существованию.

Учителя Кипренского по Академии Угрюмов и Дойен относились к живописи со страстью и строгостью. Они требовали от учеников умения рисовать с закрытыми глазами.

Дойен заставлял воспитанников Академии так накладывать краски на полотно, чтобы даже под лупой почти не было заметно следов кисти. Поверхность картины должна была быть гладкой, как полированная кость. Только после этого Дойен разрешал молодым художникам работать широкими и свободными мазками.

Все время уходило на рисование. Кипренский научился владеть карандашом с такой точностью, как хирург работает скальпелем. На чтение не оставалось времени.

Над умами художников властвовал тогда Левицкий — хитрый и добродушный украинец, создавший гениальные портреты кавалеров и дам екатерининской эпохи.

Все пытались подражать золотистому теплому тону его картин. Этот тон молодые художники ловили и изучали всюду — в пыльных классах Академии, когда закатное солнце бросало косые лучи на паркет, в отблесках куполов и игре бронзовых шандалов, в зрачках красавиц, позлащенных пламенем свечей.

На последних картинах Левицкого золотистый тон исчез. Он сменился фиолетовым и малиновым — холодным и старческим тоном.

Это дало повод Дойену произнести перед учениками речь о различном ощущении красок в юности, зрелом возрасте и старости.

— Юности свойственна пестрота красок, зрелости — тонкая мера в употреблении теплых и глубоких тонов, а старости — синеватые и холодные краски, столь похожие на цвет старческих жил на руках, — говорил Дойен и восхищался собственной проницательностью. — Не только каждый возраст человека имеет свои любимые краски, но также и каждая страна и каждое столетие на всем протяжении рода человеческого. Изучайте лица людей и краски своего века, если хотите стать его живописцами!

Кипренский следовал совету Дойена. Он изучал лица людей и краски своего века с присущей ему горячностью.

Подобно Пушкину, только что выпущенному из

лицея, Кипренский вел в то время жизнь петербургского повесы.

Но и в беспокойстве легкой жизни, среди балов, бессонных ночей и бесчисленных увлечений красавицами у Кипренского бывали минуты сосредоточенности и внимания.

Они приходили внезапно. Они застигали художника то среди улицы, то на извозчике во время возвращения с товарищеской пирушки, то в разгаре беседы с друзьями.

Как бы от сильного внутреннего толчка окружающий мир преображался. Куда ни взглянешь, всюду лежали чистые краски, то плотные, то совершенно прозрачные, созданные светом северного солнца, снегом, огнем фонарей.

Привычная земля казалась в такие минуты творением гениальных художников или архитекторов. Цвет неба и облака были как будто написаны венецианцами, а горизонты, синие от прохладного воздуха, провел своим безошибочным карандашом Растрелли.

Однажды на зимнем рассвете Кипренский возвращался из гостей. Он шел по мосту через Неву, опустив голову, и ни о чем не думал, — ему хотелось спать. Запоздалая тройка пронеслась мимо. Колкая морозная пыль посыпалась в лицо.

Кипренский очнулся, поднял голову и остановился. То, что он увидел вокруг, было больше похоже на торжественный сон, чем на петербургское утро.

Ночь не хотела уходить из столицы. Она лежала пластами тяжелого сизого воздуха у подножия зданий и в глубине садов.

Взошло солнце. Багровый свет уже загорался в окнах дворцов и падал вниз, в темноту, вырывая из нее то полосатую будку часового, то бронзовый памятник полководцу, седой от снежной пыли, то капитель колонны, украшенную замерзшими листьями аканта.

Небо Италии простиралось в зените, чистое и прекрасное, с грядой легких розовеющих облаков. Летел густой, медленный снег. При ясности неба это казалось непонятным. Чудилось, что снег зарождается в чистом воздухе между землей и небесным сводом.

Кипренский долго смотрел на торжественное падение снега среди немоты и безлюдья петербургских площадей. Снег осторожно ложился на чугунные перила мостов, на меховой ворот шинели и спины спящих извозчиков.

Столица покрывалась белым блеском. Далекие куранты пробили семь. Вокруг был разлит запах лесов, подступавших к Петербургу с севера и востока.

«Как я счастлив, что родился в России», — подумал Кипренский.

У себя в комнате Кипренский сбросил мокрую шинель и сел к топившейся печке.

— Где, — сказал он с тоской, — где я возьму красок, чтобы изобразить это зимнее безмолвие, и этот блеск, и дворцы, утратившие объем и тяжесть, и наконец волнение своего сердца? Какой божественной кистью я смогу передать немой восторг этого утра?

А назавтра после этих мыслей молодой художник — снова щеголь и повеса — забывал обо всем, откладывал кисти и спешил на вахтпарад. Там полки замирали, стоя на одной ноге и вытянув носки под водянистым и бешеным взглядом императора Павла. Там ждала его знакомая девушка — любительница военных учений.

Сверкание сабель, поднятых к небу, грохот барабанов и мерный топот полков, вращавшихся вокруг курносого императора,—все это вызывало ее восхищение.

— Я могла бы отдать сердце только военному, — сказала она однажды Кипренскому.

На следующем вахтпараде Кипренский прорвался сквозь строй солдат, бросился к Павлу и крикнул:

— Ваше величество! Я художник, но я хочу променять кисть на саблю. Молю принять меня в армию.

Павел, сморщившись, посмотрел на молодого франта и придержал коня.

— Убрать его, — сказал он сквозь зубы. — Военный парад есть таинство. Никому не вольно нарушать его безрассудными криками.

Кипренский получил жестокий выговор от начальства. Выговор был прочитан в присутствии всех учеников Академии.

Товарищи обидно пожимали плечами. Трудно было понять, как юноша, обладающий таким талантом, столь легкомысленно хотел променять его на расположение женщины.

Кипренский мучился тяжелым стыдом, но вскоре забыл о случае на вахтпараде. Он был легкомыслен не только в молодости, но и потом, в зрелые годы. Детская неустойчивость и погоня за внешним блеском в конце концов его погубили.

Еще в Академии Кипренский написал пейзаж «Пруд» — один из прекраснейших пейзажей русской живописи. Он полон тишины и прелести.

Пруд неподвижен. Вода в нем гладкая и дымная — такою она бывает ранним утром или после заката.

Стены высоких деревьев, темные чащи неподвижно стоят по берегам пруда. В небе висят серые, насыщенные росой облака. Мраморная статуя женщины на берегу печально смотрит в светлую воду.

По своей простоте и мягкости эта картина Кипренского равна пушкинским элегиям. Поэзия сумерек выражена в ней с тончайшим мастерством.

Друзья Кипренского говорили, что он, как ночная птица, начинал жить только в сумерки.

Невольно кажется, что к Кипренскому относятся две позабытые пушкинские строчки, начало неоконченных стихов:

Скажи мне, ночь, зачем твой тихий мрак
Мне радостней...

Последняя строка оборвана, но содержание ее ясно. Мрак ночи радостнее разоблачающего дневного света. Романтиков всегда привлекали сумерки, когда не только природа, но и лица людей чудятся таинственными и вдохновенными.

Почти в то же время Кипренский написал портрет своего отца.

Много лет спустя он выставил этот портрет в Неаполе. Неаполитанские художники пришли в величай-

шее волнение. Кипренский был вызван к президенту Неаполитанской академии художеств Николини.

Старый и желчный итальянец встретил Кипренского подозрительно и сказал, что лучшие знатоки живописи тщательно исследовали портрет и нашли, что он не мог быть написан художником девятнадцатого века. Портрет был признан работой Рубенса, которую Кипренский выдает за свою. Правда, голоса знатоков разделялись. Иные считали портрет работой Ван-Дейка, другие — Рембрандта.

Кипренский расхохотался в лицо президенту. Николини закричал, что неаполитанские академики не позволят себя обманывать столь наглым образом какому-то иностранцу.

Кипренский без труда доказал, что портрет принадлежит его кисти, и долго потом издевался над неаполитанцами.

В 1803 году Кипренский блестяще окончил Академию. Начались лучшие годы его жизни.

Недаром Кипренский следовал совету Дойена и изучал лица людей своего века. Он создал галерею портретов, где каждое лицо было характерно и передавало законченный внутренний облик человека. Он вскрывал в своих работах тонкие черты характера.

Изучение портретов Кипренского вызывает такое же волнение, как если бы вы долго беседовали со всеми полководцами, писателями, поэтами и женщинами начала девятнадцатого века.

Кипренский писал свежо, широко и законченно.

На его портретах существуют не только лица, но как бы вся жизнь написанных им людей — их страдания, порывы, мужество и любовь. Все это оставило след на их облике и было перенесено на холст.

Один из современников Кипренского говорил, что, оставаясь наедине с его портретами, он слышит голоса людей.

В этом была доля правды. Живость впечатления так велика, что, глядя на портрет Пушкина, слышишь как

будто давно знакомый голос поэта, обращенный к нам, его далеким потомкам.

Галерея портретов Кипренского разнообразна. Это великолепные автопортреты, портреты детей и его современников — поэтов, писателей, государственных мужей, полководцев, любителей живописи, купцов, актеров, крестьян, моряков, декабристов, художников, масонов, скульпторов, коллекционеров, просвещенных женщин и архитекторов.

Достаточно перечислить несколько имен, чтобы понять, что Кипренский был подлинным живописцем своего времени: Пушкин, Крылов, Батюшков, слепой поэт Козлов, Ростопчин, графиня Кочубей, знаток искусств Оленин, Голенищев-Кутузов, масоны Комаровский и Голицын, адмирал Кушелев, Брюллов, актер Мочалов, переводчик «Илиады» Гнедич, легендарный кавалерист Денис Давыдов — «боец чернокудрявый с белым локоном на лбу», партизан Фигнер, строитель одесского порта де Воллан, декабрист Муравьев, поэты Вяземский и Жуковский, архитектор Гваренги.

Этот список юношеских работ Кипренского далеко не полон. Кипренский оставил еще несколько автопортретов.

Он писал себя то подмастерьем живописи, то мечтательным мальчиком, читающим стихи, то изящным и оживленным светским юношей, объединившим в себе образы Моцарта и Евгения Онегина.

На всех этих портретах он одинаков — нервный, легкомысленный, тонкий, с косыми взлётающими бровями. Товарищи звали его «нежным франтом», а один из них оставил о Кипренском скупую, но выразительную запись:

«Был он среднего роста, довольно строен и пригож, но еще более любил делать себя красивым».

Незадолго до войны 1812 года Кипренский был послан в Москву в помощники скульптору Мартосу. Мартос работал в то время над памятником Минину и Пожарскому.

В Москве Кипренский продолжал писать с прежней горячностью и мастерством.

Он мечтал о поездке в Италию, о Риме — второй родине художников, но границы были закрыты.

Армия Наполеона шла по Европе в громе сражений и побед. Музеи сотрясались от гула канонады. Ядра скакали по бульварам музыкальной Вены. Художники ушли с полей, уступив место лафетам, пыльной гвардии и санитарным повозкам.

Кипренский смирился и усердно помогал Мартосу — умному скульптору, уже прославленному памятником герцогу Ришелье в Одессе.

В это время талант Кипренского достиг полного выражения. Легкомыслие как бы покинуло Кипренского. Художник чувствовал глубоко и сильно и со смелостью и тактом передавал то, что чувствовал.

Работа ему давалась легко. Он был подлинным «баловнем счастья».

Из Москвы Кипренский переехал в Тверь, где в то время жила дочь Павла Первого, принцесса Екатерина Павловна. Она пригласила Кипренского к себе и окружила заботами.

Дворец Екатерины Павловны был превращен в литературный клуб. Все выдающиеся люди Москвы бывали здесь запросто.

Окна дворца каждый вечер пылали сотнями свечей. В гостиных курили, спорили, читали стихи и острословили московские поэты и писатели, меценаты и художники.

Приближалась война. Дыхание боевых дней, передвижение армии, тревога, охватившая страну, — все это способствовало напряженной и взволнованной мысли.

Иногда в полночь быстро входил новый неожиданный гость. От его плаща шел запах ветра и полей. Он нетерпеливо скакал из Москвы в Тверь на перекладных, чтобы сообщить последние вести о баталиях и выслушать чтение высокопарных стихов и шум страстных споров.

Тусклый фонарь у тверского шлагбаума и ленивый сторож-инвалид перевидали в то время много приезжих, памятных всей России.

Кипренский жил вместе со всеми приподнятой и бессонной жизнью.

Но однажды вечером никто не приехал. На городскую площадь вошел на рысях полк угрюмых улан и расположился биваком. Горели костры, освещая черные капли дождя. Громко жевали лошади. Запах дыма, навоза, лошадиного пота и хлеба был неотделим от хриплой брани и дребезжащего голоса трубы. Москва была занята Наполеоном.

В Твери стало тихо. Больше никто не приезжал. Кипренскому было некого рисовать. Тогда он начал писать портреты крестьян и пейзажи на окраинах Твери и берегах Волги.

Карандаш сменил кисть. Кипренский только подцвечивал свои рисунки с удивительной тонкостью.

Слава молодого Кипренского росла стремительно.

Он вернулся из Твери в Петербург почти признанным гением. Слух о нем проник в Западную Европу. Вся столица говорила о «волшебном карандаше» художника. Легкость, с какою он создавал свои портреты, казалась чудом.

Кипренский был приглашен ко двору писать портреты великих князей. Все именитые люди столицы добивались чести быть увековеченными Кипренским.

Законное признание художника знатоками живописи преобразилось в петербургском высшем свете в пустую и трескучую моду. Кипренский стал моден, как в то время были модны коралловые ожерелья среди женщин и звонкие брелоки — «шаривари» — среди мужчин.

Кипренский начал писать еще лучше. Мастерство его портретов, особенно портрета Хвостовых, достигает как бы предела человеческих возможностей. Петербург подхватывает брошенное кем-то крылатое слово, что краски Кипренского действуют на людей, как рейнвейн. Они рождают резкие переходы от улыбки к необъяснимой печали, от восторга к задумчивости.

Кипренский, обладавший величайшим даром импровизации, но лишенный многих насущных знаний, упорства и мужества, погружался в блеск славы.

Он не жалел себя. Вдохновение — непонятное состояние, предел мечтаний художников и поэтов — длилось дни, недели, месяцы.

Вдохновение заставляло его смеяться от радости при каждом удачном ударе кисти, страдать от бессонницы, бродить по Петербургу в зелени и блеске белых ночей, всматриваться в спящие многоцветные воды, чтобы потом перенести эти краски на полотно.

Вера в могущество и светлый дар своих рук, глаз, своего ощущения мира держала художника в непрерывной внутренней дрожи.

Из мастерской, пахнущей лаком, он едет в императорские дворцы, где воздух кажется ему благородным от множества картин, мебели и бронзы, сделанных руками славных мастеров. Выйдя из дворца, он встречает друзей, приветствующих его молодо и радостно. Он встречает женщин, открыто улыбающихся ему, его славе, его счастливой юности, — женщин прекрасных и ждущих столь же прекрасной любви.

Кружится голова. Дни мелькают в жестоком напряжении. Где-то в глубине мозга уже родилась, как мышь, усталость и начинает грызть пока еще осторожно и робко, вызывая приступы головной боли. Усталость и головную боль Кипренский заглушал вином.

Кипренский не знал, да и не мог знать, что слава для таких людей, как он, — страшнее смерти.

Он любовался славой, гордился ею. Он искренне верил лести и трескучим тирадам журналистов. Он думал, что мир уже лежит у ног, покоренный его мастерством.

Он не знал, что талант, не отлитый в строгие формы культуры, после мгновенного света оставляет пороховой чад. Он забыл, что живопись существует не для славы. Он пренебрег словами Пушкина о том,

что «служенье муз не терпит суеты, прекрасное должно быть величаво».

За это он расплатился впоследствии тяжело и жестоко.

Кто знает, чем бы кончились эти напряженные дни, если бы не наступила передышка. Кипренскому было разрешено уехать в Рим «для усовершенствования в живописном мастерстве».

Может быть, Кипренский надорвался бы и умер молодым, как умирали многие талантливые люди в тогдашней России. Может быть, он, живя вблизи Жуковского и Пушкина, живя в кругу людей, знавших его душевную неуравновешенность, никогда бы не сделал искусство средством для жизненного успеха. Кто знает?

Сам он втайне сознавал, что совершает ошибку, но, непривыкший разбираться в своих душевных состояниях, не мог решить, как найти от нее избавление.

Он неясно тосковал о друге, который удержал бы его от погони за удачей и внешним блеском, вылечил бы от безволия и внушил мудрость большого человека и скромность подлинного гения. Тоска о друге-хранителе преследовала Кипренского до самой смерти, но жажда легкой жизни и удачи преодолела все.

От Петербурга до Любека Кипренский плыл на корабле. Море бушевало. Кипренский восхищался. Ему казалось, что корабль несет его в туманные страны романтики, взлелеянные в мечтах еще с детства.

Любек поразил его пустынностью. Недавно из города ушли последние наполеоновские полки. Германия встретила художника шелестом придорожных тополей и шумом быстро текущего Рейна. Наконец коляска Кипренского достигла Швейцарии. Он увидел Альпы.

«Я видел, — восклицает он в письме к Оленину, — горы, осужденные на вечные льды».

Кипренский остановился в Женеве, где написал несколько портретов и был избран членом художест-

венного общества. Это избрание он встретил как должное.

Из Женевы он выехал в Италию. Радость не покидала его. Цветение чуждой природы создало вокруг него новый живописный мир.

Густые леса на берегах Лаго-Маджиоре встречали его легким гулом. Свет солнца трепетал на их листве, как на поверхности моря. «Винограды горели, как яхонты. Селения улыбались своему изображению в лазоревой воде». Голоса пастухов звучали непонятно и весело в теплом неподвижном воздухе.

В Милане Кипренский целые дни проводил около «Тайной вечери» Леонардо да Винчи. Сторожа, хранители картины, рассказывали ему, как Наполеон несколько часов сидел перед творением Леонардо в глубокой задумчивости. Созерцание «Тайной вечери» внушило Кипренскому новую веру в свои силы.

«При виде творений гения, — писал он, — рождается смелость, которая в одно мгновение заменяет несколько лет опытности».

В миланском театре Кипренский впервые услышал «Волшебную флейту» Моцарта.

Чистые звуки моцартовской музыки, похожие на голоса серебряных труб, привели его в восхищение. В музыке Моцарта Кипренский хотел найти оправдание для себя, — ведь создал же Моцарт, капризный и ветреный, как женщина, проводивший ночи в пирушках и похождениях, эту высокую музыку.

Но Кипренский не знал, что Моцарт никогда не подчинял музыку низкому житейскому успеху.

Дилижанс въехал в Рим поздним вечером. Он задержался в Альбани, где ленивые жандармы окуривали серой вещи путешественников. В окрестностях Рима свирепствовала холера.

Когда стих грохот колес по каменной мостовой, Кипренский услышал свежий шум воды в городских фонтанах. Вода журчала и пела, наполняя ночь усыпительным плеском.

Сердце у Кипренского тяжело билось. Его провели в темную сводчатую комнату гостиницы и зажгли свечи.

Он тотчас же погасил их и распахнул окно. Ночь, великая, как далекое прошлое, стояла над Римом. Казалось, атланты держали ночное небо на широких плечах и от усталости все ниже склонялись к земле, приближая к ней звезды.

Неразгаданный город лежал у ног художника. Кипренский долго всматривался, пытаясь различить величественные руины, и вздрогнул, — в темноте высился огромный тяжелый купол собора, более черный, чем ночь. Это был храм святого Петра.

Кипренскому стало страшно. Он вспомнил последние петербургские годы. Внезапная усталость спутала его мысли.

«Не исчерпал ли я себя петербургским неистовством? — подумал Кипренский, отходя от окна. — Хватит ли сил продолжать начатое столь же успешно? Достигну ли я вершин Рафаэля? А достигнуть надобно».

«Нет!» — мерно сказал кто-то из темноты за окном.

Кипренский быстро обернулся, — это тяжелый церковный колокол отсчитывал часы.

«Нет!» — повторил колокол и стих, но темнота еще долго гудела от его медного голоса.

Было два часа ночи. Силы оставили Кипренского. Он уснул, не раздеваясь.

А утром в лицо полилось густое римское небо. Голубой воздух наполнял комнату. Пели фонтаны. Звонили колокола. Внизу на тесной площади бранились итальянки, продавщицы овощей, и отчаянно вопили погонщики ослов.

Кипренский быстро умылся, сбежал, насвистывая, с лестницы и смешался с пестрой толпой, расступившейся перед красной каретой кардинала.

Ветер пролетал над Римом и нес сухие и пышные облака, такие же, как на картинах старых мастеров.

Кипренский, отравленный славой, растерялся в загадочном Риме.

С каждым днем он все больше убеждался, что вершины Рафаэля ему не по силам. Он испытал чувство, описанное Гоголем: «Могучие создания кисти возносились сумрачно перед ним на потемневших стенах, все еще непостижимые и недоступные для подражания».

В чем была тайна Рафаэля? В чем было очарование старых мастеров? Как открыть эту тайну и перенести на свои холсты легкость чужой кисти?

Кипренский не знал. Он хотел покорить Рим, как недавно покорил Петербург. Он торопился и потому пошел по самому легкому пути.

Картины Рафаэля были выписаны тонко и гладко. Кипренский решил выписывать свои работы так же тщательно, как Рафаэль и Корреджио. Выходило сухо, мертво. Художник изменил себе. Глаза его как будто не видели живых красок.

Вместо великолепных портретов он начал писать скучные композиции Христа, окруженного детьми, и слащавые головки цыганок с розами в волосах.

Он хотел покорить Рим, но не знал Рима.

Однажды Кипренский услышал, как на улице весело распевали песню о Брюллове. Впервые зависть вошла в сердце. Рим — вечный Рим! — пел песню о молодом русском художнике, но не о нем, не о блистательном Оресте.

Кипренский был чужд Риму. Галерея Уффици во Флоренции заказала ему его собственный портрет. Но Кипренскому этого было мало. О портрете знали многие, но не весь Рим.

Кипренскому хотелось быть блестящим не только в живописи, но и в повседневной жизни. Он мечтал о том, как всюду — в остериях и дворцах, в Ватикане и академиях, среди прелестных римлянок и завистливых художников — громкая слава летит за ним, кружит головы, дает богатство, беспечность, любовь, преклонение.

В Риме для Кипренского пришло время последнего выбора между суровой жизнью подлинного художника

и позолоченным существованием модного живописца. Кипренский выбрал последнее.

В то время военная гроза уже отшумела. Наполеон был сослан на пустынный остров в океане. Громы революции затихли в сонном воздухе Европы.

Романтика умирала, не находя опоры в окружающей жизни. Место прежних героев и бледных от нежности женщин заняли Чичиков и Хлестаков. Романтика умирала, и вместе с ней медленно умирал художник Кипренский.

Русские художники, жившие в Риме, скоро наскучили Кипренскому.

Все дни напролет они свистели, как дрозды, за мольбертами в своих тесных комнатах, а по вечерам заполняли остерии на Испанской площади, затевая за дешевым вином бесплодные споры.

Они отращивали бороды, чтобы быть похожими на мастеров Возрождения, небрежно закидывали через плечо плащи, мечтали о славе Кановы, болели римской лихорадкой «терцаной» и время от времени умирали от чахотки. Рим был губителен для северян.

Только двое русских привлекали Кипренского — Брюллов и чахоточный застенчивый Тамаринский.

Дружба с Брюлловым не ладилась. Он обидно молчал, рассматривая последние итальянские работы Кипренского. Мнительный Кипренский объяснял это завистью.

Тамаринский тоже молчал, но в глазах его не было осуждения. Даже в Риме он кутал в шарф худую шею и жаловался на сырость ночей, — по вечерам ветер приносил из Кампаньи запах болот.

Тамаринский был сыном дьякона. Его отец надорвался, читая евангелие на литургии в присутствии императора Павла. Этим обстоятельством друзья Тамаринского объясняли хилое здоровье художника, родившегося через год после этого случая.

Тамаринский был знаком со знаменитым датским скульптором Торвальдсеном, соперником итальянского скульптора Кановы, жившим в то время в Риме.

Торвальдсен только что закончил бюст лорда Байрона. Весь Рим говорил о недавнем посещении города английским поэтом.

Кипренский еще с петербургских дней хранил в своем сердце память о Байроне. Он горько досадовал на судьбу, приведшую его в Рим после отъезда Байрона. Он завидовал даже слугам в остериях, видевшим прекрасного британца.

Кипренский уговорил Тамаринского пойти вместе к Торвальдсену посмотреть бюст Байрона и поговорить о поэте.

В то время Кипренский писал картины на аллегорические сюжеты — «Анакреонтову гробницу» и «Цыганку с миртовой веткой в руке». Писал он вяло, стараясь приятностью красок и зализанностью мазка вызвать восхищение итальянской публики.

Картины хвалили, особенно «Анакреонтову гробницу». Итальянский поэт Готти даже воспел ее в тяжеловесных стихах. Но все это было не то, — в похвалах не хватало искреннего волнения, как и в картинах уже не было живой игры красок и свободной кисти.

Посещение Торвальдсена доставило Кипренскому величайшую горечь и радость.

Беловолосый датчанин — обычно ленивый и беспечный — был в тот вечер сердит и взволнован.

Когда Кипренский вместе с Тамаринским поднимались в мастерскую Торвальдсена по железной грохочущей лестнице, из дверей мастерской выскочил толстый человек. Обмахивая шляпой потное лицо, он промчался мимо Кипренского и едва не сбил его с ног. Кипренский узнал в нем скульптора итальянца, известного своими ловко сделанными, безжизненными статуями.

Внезапно дверь мастерской распахнулась. В ней появился Торвальдсен.

— Я зубами высеку из мрамора лучше, чем ты резцом! — крикнул он вслед убегавшему скульптору и захлопнул дверь.

Кипренский поколебался и осторожно постучал. Слуга открыл дверь. Торвальдсен быстро ходил по

мастерской. На диване с цилиндром в руке сидел красавец Камуччини — известный Риму исторический живописец — и смеялся, глядя на Торвальдсена.

— Я удивляюсь, как развитой человек может смеяться! — сказал Торвальдсен и обернулся. Гнев быстро сошел с его лица. Через минуту он уже наливал в стаканы вино и отгонял мохнатых собак, царапавших лапами бархатные жилеты гостей.

Оживленно беседовали о скульптуре. Кипренский сказал, что мраморы Ватикана представляются ему мертвыми и не вызывают волнения, свойственного великим творениям искусства.

— Мой русский друг,— сказал Торвальдсен, посмеиваясь и разглядывая на свет вино,— мой знаменитый друг, позвольте мне сегодняшней ночью показать вам эти мраморы, и вы измените ваше легкомысленное суждение.

— Как, ночью? — воскликнул Кипренский.

— Не будем раньше времени разглашать нашу тайну,— хитро сказал Торвальдсен.

Камуччини снисходительно улыбнулся.

— Нельзя оскорблять мрамор! — воскликнул Торвальдсен.— Ничто лучше мрамора не может выразить чистоту человеческого тела. Он слишком тонок для моих грубых рук. Я преклоняюсь перед благородным резцом Кановы. С детства я привык высекать статуи из дерева. Я помогал отцу. Мой отец — исландец, резчик по дереву в Копенгагене,— делал деревянные фигуры для носов кораблей. Он был плохой художник. Его деревянные львы были похожи на толстых собак, а нереиды — на торговок рыбой.

Торвальдсен засмеялся.

— Отец очень горевал, что ему не удается работа. Вечером, за несколько часов перед моим рождением, мать сидела за прялкой. Она ждала родов, была рассеянна и забыла завязать нитку на прялке. Это у нас, датчан, считается счастливой приметой. «Петер,— сказала мать отцу уже после того, как я родился,— не горюй. Я забыла завязать нитку на прялке. Значит, сын принесет нам счастье». — «Я не знаю, что это такое», — сказал отец. «Я тоже хоро-

шенько не знаю,— ответила мать,— но я думаю, что счастлив тот, кто доставляет счастье многим людям».

Торвальдсен налил Кипренскому вина.

— Пейте! Все матери ошибаются, когда говорят о своих детях. И моя мать ошибалась, когда так думала обо мне. Я рассказал вам это затем, мой знаменитый русский друг, чтобы привести наивные слова моей матери о счастье. Я завидую вам. Вы должны быть беззаботно счастливым человеком. Я знаю ваши петербургские работы. Поэтому пейте и не спрашивайте меня о бюсте Байрона. Я его не покажу.

— Почему?

— Об этом мы поговорим по дороге в Ватикан.

Торвальдсен встал.

— Ночь уже достаточно темна,— сказал он,— чтобы смотреть античные статуи.

Кипренский недоумевал. Они вышли. Римская ночь была полна тьмы, огней, затихающего грохота колес и запаха жасмина.

— Почему вы не хотите показать нам бюст Байрона? — спросил Камуччини.— Неужели мы не достойны этого?

Торвальдсен остановился около лавчонки с фруктами и закурил трубку от толстой свечи, прилепленной к прилавку. Связки сухой кукурузы висели вперемежку с гроздьями апельсинов.

— Друзья, — сказал Торвальдсен, — не обижайтесь. Я не покажу вам Байрона потому, что эта работа несовершенна и не передает души поэта. Когда Байрон вошел в мою мастерскую, я обрадовался так сильно, как исландские дети радуются после зимы летнему солнцу. Я пел, работая над бюстом, хотя Байрон позировал ужасно. Его лицо было все время в движении. Ни на одно мгновение оно не могло застыть. Тысячи выражений срывались с этого прекрасного лица точно так же, как с его губ срывались тысячи то веселых, то острых, то печальных слов. Я делал ему замечания, но это не помогало. Когда я кончил бюст, Байрон мельком взглянул на него и сказал: «Вы сделали не меня, а благополучного человека. На вашем бюсте я не похож». — «Что

же дурного, если человек счастлив?» — спросил я. «Торвальдсен,— сказал он, и лицо его побледнело от гнева,— счастье и благополучие так же различны, как мрамор и глина. Только глупцы или люди с низкой душой могут искать благополучия в наш век. Неужели на моем лице нет ни одной черты, говорящей о горечи, мужестве и страданиях мысли?» Я поклонился ему и ответил: «Вы правы. Мой резец мне изменил. Я радовался, глядя на вашу голову, а радость туманит глаза». — «Мы еще встретимся», — сказал Байрон, пожал мою руку и вышел. На днях один богатый русский предложил мне за бюст тысячу цехинов.

— И что? — живо спросил Кипренский.

— Ничего. Я сказал ему: «Если бы вы, сударь, предложили мне деньги за то, чтобы разбить бюст, я взял бы их охотно. Свои ошибки я не продаю».

Торвальдсен засмеялся. Кипренский молчал. Все, что говорил Торвальдсен, причиняло ему боль. Датчанин бередил рану.

«Даю ли я сейчас счастье многим людям, как это было ранее? — думал Кипренский. — Неужели только глупцы пытаются устроить благополучие своей жизни?»

Размышления эти были прерваны приходом в Ватикан. Торвальдсен передал привратнику пропуск от кардинала.

При свете тусклой свечи они прошли по темным и гулким залам, где столетиями жили в тишине статуи, фрески, картины и барельефы. Лысый старик монах шел следом за Торвальдсеном.

Торвальдсен остановился посреди обширного зала. В нишах тускло белели мраморы.

— Отец! — негромко позвал Торвальдсен монаха. Старик подошел. Торвальдсен взял из его рук факел, не замеченный ранее Кипренским, и поднес к нему свечу.

Багровое пламя рванулось к потолку, и под стенами внезапно засверкали статуи, озаренные колеблющимся светом.

— Теперь смотрите! — негромко сказал Торвальдсен.

Художники стояли неподвижно. Кипренский всматривался в неясную игру огня на теплом камне. Он старался закрепить в памяти движения теней, сообщавшие необычайную живость лицам героев и мраморных богинь. Знакомая по петербургским дням давно позабытая душевная дрожь овладела им. Слезы комком подступили к горлу.

— Ну, что же, камень живет? — тихо спросил Торвальдсен.

— Живет, — глухо ответил Кипренский.

— Живет, — повторили Камуччини и Тамаринский.

— Друзья, — веско сказал Торвальдсен, — только так рождаются образы от античной скульптуры и создаются в тайниках нашей души законы мастерства.

Художники стояли неподвижно. Они молчали. Огонь шумел, освещая бесконечные залы.

Всю эту ночь Кипренский не спал. Как всегда, звонили колокола, и от тяжелых слез болело сердце.

«Где, на каких путях я потерял законы мастерства? Смогу ли я быть снова свободным?» — спрашивал себя Кипренский, но тотчас же эта мысль тонула в дремоте и в пении старых позабытых строк:

И сердце нежное, все в пламени и ранах,
Трепещет с полночи до утренней звезды...

Утомленный художник уснул. Рассвет разгорался над Римом.

Потрясение, пережитое в залах Ватикана, не прошло бесследно. Снова с прежним волнением Кипренский начал работать над портретом князя Голицына — одним из самых поэтических полотен русской живописи.

С прежним проникновением изображен у Кипренского этот мистик и аристократ, личный друг императора Александра.

Эта работа Кипренского написана в глубоких, бархатистых коричневатых и синих тонах. Позади сидящего бледного князя виден Рим, купол собора святого Петра, темные деревья и небо, покрытое

пышными грозовыми облаками — такими, как на картинах старых мастеров.

Второй портрет — княгини Щербатовой — Кипренский написал в мягких и блестящих красках, таких же мягких, как шелковая шаль, накинутая на плечи княгини. Все лучшее, что осталось в Кипренском от житейских встреч с женщинами, он воплотил в образ Щербатовой — задумчивость, нежность, девическую чистоту.

Это, пожалуй, были последние работы Кипренского, если не считать прекрасного портрета Голенищевой-Кутузовой и нескольких рисунков. В последний раз Кипренский вызывал своей кистью из глубин воображения любимых героев и женщин, — их уже не было в подлинной жизни. Это была вспышка перед концом.

После этого Кипренский писал слащавые и фальшивые вещи — жеманных помещиц, скучных богатых людей, представителей равнодушной знати. Он пытался заменить прежние острые характеристики изображением бытовых подробностей. Он наивно думал, что одежда, перстни, кресла и трубки смогут рассказать больше о человеке, нежели рассказывала раньше его гениальная кисть.

Свободные движения людей на портретах сменила деревянная и тупая поза. Краски сделались грязными, мутными и угнетали глаз. Заказы сыпались сотнями. В ящике письменного стола кучами валялись ассигнации и звенело золото.

В это время случилось событие загадочное, оставившее черную тень на всей дальнейшей жизни Кипренского.

Для картины «Анакреонтова гробница» Кипренский разыскал красивую натурщицу. У нее была дочь — маленькая девочка Мариучча. Кипренский рисовал и мать и дочь.

Однажды утром натурщицу нашли мертвой. Она умерла от ожогов. На ней лежал холст, облитый скипидаром и подожженный.

Через несколько дней в городской больнице «Санта-Спирито» умер от неизвестной болезни слуга Кипренского — молодой и дерзкий итальянец.

Глухие слухи поползли по Риму. Кипренский утверждал, что натурщица убита слугой. Медлительная римская полиция начала расследование уже после смерти слуги и, конечно, ничего не установила.

Римские обыватели, а за ними и кое-кто из художников открыто говорили, что убил натурщицу не слуга, а Кипренский.

Рим отвернулся от художника. Когда он выходил на улицу, мальчишки швыряли в него камнями из-за оград и свистели, а соседи — ремесленники и торговцы — грозили убить.

Кипренский не выдержал травли и бежал из Рима в Париж.

Перед отъездом он отвел маленькую сироту Мариуччу в сиротскую школу для девочек, в «консерваторио», и поручил ее настоятелю-кардиналу. Он оставил деньги на воспитание девочки и просил немногих художников, еще не отшатнувшихся от него, заботиться о Мариучче и сообщать ему об ее судьбе.

В Париже русские художники, бывшие друзья Кипренского, не приняли его. Слух об убийстве дошел и сюда. Двери враждебно захлопывались перед ним. Выставка картин, устроенная им в Париже, была встречена равнодушно. Газеты о ней промолчали.

Кипренский был выброшен из общества. Он затаил обиду. В Италию возврата не было. Париж не хотел его замечать. Осталось одно только место на земле, куда он мог уехать, чтобы забыться от страшных дней и снова взяться за кисть. Это была Россия, покинутая родина, видевшая его расцвет и славу.

В 1823 году, усталый и озлобленный, Кипренский вернулся в Петербург.

Сырое небо Петербурга залечивало раны медленно. Старые друзья не знали, о чем говорить. Никто из них не расспрашивал Кипренского об Италии. Их нарочито веселые и однообразные возгласы при встрече: «Ба,

Орест, да ты все таков же!» — смертельно надоели художнику.

Кипренский понял, что дружба хиреет от долгой разлуки. Прошлое вспоминалось со вздохом, а иной раз с равнодушием и скукой.

Только сады, холодная Нева и небо оставались все те же, — их дружба была неразделимой и вечной. Она не требовала ответных чувств.

Кипренский работал, получая достойные заказы, бывал при дворе, где рисовал с бюста Торвальдсена портрет только что умершего императора Александра Первого, изредка его навещали покровители и друзья.

Но все это было не то. Потускнели глаза, в них появилось беспокойное выражение, ослаб голос. По утрам художник часами лежал в постели, ни о чем не думая и ни к чему не прислушиваясь.

Иногда, накладывая на полотно серую или молочно-розовую краску и как бы не замечая ее мертвого тона, Кипренский вдруг бросал с бешенством кисть на пол, срывал с вешалки плащ и выбегал на улицу. Он шел, не замечая людей, на окраины города, где гнили в тумане тусклые домишки, и возвращался только к ночи.

Бывало это всякий раз в то время, когда что-нибудь в окружающей Кипренского петербургской жизни напоминало ему Италию. Глухая сердечная боль по светлому воздуху, по древним колоннам, горячим от солнца, по запаху жасмина становилась все чаще и чаще. С непонятным упорством Кипренский показывал друзьям картины, написанные в Италии, и требовал похвал. Все сделанное в Италии казалось ему прекрасным. Друзья хмурились и пожимали плечами.

Кипренский писал ни хорошо, ни плохо, — что-то погасло внутри. Однажды к нему прислали от Бенкендорфа. Граф просил Кипренского написать портреты его детей.

Кипренский махнул рукой и согласился. Теперь ему было все равно — писать ли Пушкина, Бенкен-

дорфа, Кюхельбекера или Аракчеева. Слабость свою Кипренский пытался прикрыть напускным легкомыслием и старался не вспоминать слов, сказанных им много лет назад, когда ему посоветовали писать портрет Аракчеева:

— Писать его надо не красками, а грязью и кровью, а таких вещей на моей палитре не водится.

Только два события запомнились Кипренскому из этих последних петербургских лет: наводнение 1824 года и работа над портретом Пушкина.

В день наводнения Кипренский ни разу не вспомнил об Италии. Утром он проснулся от пушечных ударов, сотрясавших стены. Ветер свистел в темных коридорах пустого дома. Кипренский распахнул дверь мастерской и засмеялся, — его, еще горячего от сна, сразу же обдуло запахом морской воды. За окнами непрерывно мчалось к востоку черное угрюмое небо.

— Буря! — крикнул Кипренский и подбежал к окну.

Буря бушевала над Петербургом, как возвращенная молодость. Редкий дождь хлестал в окна. Нева вспухала на глазах и переливалась через гранит. Люди пробегали вдоль домов, придерживая шляпы. Ветер хлопал черными шинелями. Неясный свет, зловещий и холодный, то убывал, то разгорался, когда ветер вздувал над городом полог облаков.

Кипренский спустился на улицу. Пушки били все тревожнее и чаще. Мокрые уланы неслись вскачь по затопленным мостовым, шумно взбивая пену. Смоленые лодки качались на привязи около чугунных оград. Нева шла громадой железной воды и грозно рокотала около мостовых устоев. В домах горели свечи.

Непонятный восторг вселился в душу Кипренского, — он дрожал от холода и возбуждения. Художник торопливо вернулся домой, зажег огонь в

круглой чугунной печке и схватил краски. Чем было лучше всего передать цвет этого ненастного дня? Кипренский выбрал сепию. Рисунок он нанес нервным брызгающим гусиным пером. Так появилось его «Наводнение».

Когда Кипренский писал портрет Пушкина, поэт был озабочен, хотя и пытался шутить.

Кипренский решил всю прелесть пушкинской поэзии вложить не в лицо поэта, бывшее в то время утомленным и даже чуть желтоватым, а в его глаза и пальцы. Глазам художник сообщил почти недоступную человеку чистоту, блеск и спокойствие, а пальцам поэта придал нервическую тонкость и силу.

— Ты мне льстишь, Орест, — промолвил грустно Пушкин, глядя на оконченный портрет.

Однажды Пушкин прочел Кипренскому стихи об Италии, как бы чувствуя тоску художника по недавно покинутой «стране высоких вдохновений»:

Где пел Торквато величавый,
Где и теперь во мгле ночной
Адриатической волной
Повторены его октавы;
Где Рафаэль живописал,
Где в наши дни резец Кановы
Послушный мрамор оживлял
И Байрон, мученик суровый,
Страдал, любил и проклинал.

Кипренский слушал, опустив голову и задержав кисть на полотне. Он в то время набрасывал губы поэта, а чтение стихов нарушало их замкнутую линию, столь похожую на линию юношеских губ.

— Александр Сергеевич, — сказал Кипренский, не подымая головы, — я хотел бы унести твой голос с собой в могилу.

— Полно, Орест, — ответил Пушкин и вдруг закричал тонким голосом, каким кричали на ули-

цах торговки чухонки: — Клюква, клюква, ай ягода-клюква!

Кипренский рассмеялся и легко ударил кистью по холсту.

В 1827 году Кипренский уехал в Рим. Ему все казалось, что в Риме вернется былая слава. Но жизнь уже приближалась к концу, и талант был тяжело подорван.

В Риме Кипренский скучал. Он все ждал событий, перемен. Мариучча выросла, стала стройной и милой девушкой. Кипренский полюбил ее, но долго скрывал это и от себя, и от Мариуччи, и от немногих друзей.

От тоски и необъяснимой тревоги художник начал пить. Он не знал, что ему оставалось делать в жизни. Работа быстро утомляла его, а без нее не было денег. И Кипренский работал, как сотни итальянских художников-ремесленников, снимавших копии с Рафаэля, Корреджио и Микельанджело для богатых иностранцев. Он часто писал по заказу портреты безразличных ему людей и зевал от скуки.

Рим был прежним, несмотря на медленное умирание художника. «Все тот же теплый ветер верхи дерев колышет, все тот же запах роз, и это все—есть смерть».

Так же пылали величественные закаты, так же, как и раньше, художники ходили смотреть на них с холма Пинчио. Грозный свет и сумрак римских вечеров любил Гоголь. Вместе с художниками он смотрел на закаты и приходил в раздражение, когда его окликали.

— Не мешайте мне, — восклицал он, — хотя бы на одно мгновение стать прекрасным человеком в этом неласковом мире.

Все так же пахли плесенью и вином каменные полы в остериях, где Кипренский встречался по вечерам со своим новым другом, гравером Иорданом. Иордан любил Кипренского и называл его «предоброй душой».

Десять лет, проведенных в Риме, Иордан потратил на гравировку рафаэлевского «Преображения». В кирпичном полу своей комнаты около гравировального станка он протер ногами глубокую яму. Об этой яме любил рассказывать художникам Гоголь.

Художники почитали Гоголя, но стеснялись, — писатель был необщителен и молчалив.

Иванов в то время уже писал свое «Явление Христа народу».

Кипренский же сидел в остериях. Он носил с собой хлеб и кормил им бродячих собак. Собаки ходили за ним стаями, но в остерии их не пускали. Тогда они садились у дверей и терпеливо ждали, помахивая хвостами.

По стаям собак, сидевших то у одной, то у другой остерии, заказчики разыскивали художника. Они заставали его за столом, уставленным бутылками. Он всегда требовал у слуги свечу, ставил ее перед собой и, прежде чем выпить вино, долго рассматривал его на свет.

— Жаль, друг мой милый, — сказал он однажды Иордану, — что нельзя писать картины вином. Сколько бы света и трепета мы вкладывали тогда в свои творения.

— Ваши краски, Орест Адамович, — ответил вежливый Иордан, — не уступают игре вина.

Кипренский досадливо поморщился и отвернулся.

— Что было, то быльем поросло, — сказал он глухо.

Кипренский не знал, что оставалось ему делать в жизни. Существовать было одиноко и неуютно. Тогда измученный Кипренский совершил последнюю ошибку — женился на Мариучче. Она его не любила, но была привязана к нему, как к человеку, спасшему ее от нищеты и голода. Чтобы жениться на Мариучче, Кипренский принял католичество.

Вместе с Мариуччей Кипренский уехал в Неаполь.

Ненадолго жизнь стала светлее. Каждый час больной и печальный художник чувствовал рядом с собой присутствие прекрасной юной итальянки. Она ему читала книги по истории Италии, трактаты о живописи и стихи.

Кипренский следил за каждым ее движением, пытаясь уберечь Мариуччу от самых ничтожных житейских неприятностей и оградить от скуки.

Уходило много денег. Кипренский ради заработка был готов на все. Он начал писать модные в то время сладкие пейзажи с дымящимся Везувием, продавал в Петербург копии с картин знаменитых итальянцев, унижался перед графом Шереметьевым, снабжавшим его деньгами, и писал ему жалкие шутовские письма в стихах:

Уже времечко катилось к лету,
А у меня денег нету.

Он просил у Бенкендорфа взаймы двадцать тысяч рублей на пять лет. Он намекал на то, что ему, Кипренскому, следовало бы пожаловать какой-нибудь орден за прошлые живописные заслуги. Но Петербург молчал.

Падение художника шло с неизбежностью. Кто знает, понимал ли Кипренский всю глубину своего душевного несчастья, вызванного слабостью воли, погоней за житейским успехом, отсутствием твердых вкусов и взглядов?

Если он и не понимал этого, то все же чувствовал, как крепнет в нем человек ничтожный и пошлый и теряется в туманах прошлого образ гениального и веселого юноши, сына романтического века.

В Неаполе Кипренский написал, собрав последние силы, полный высокой поэзии портрет Голенищевой-Кутузовой. Этот портрет возник среди дешевых и вымученных его работ, как последнее сверкание прошлого.

Из Неаполя Кипренский уехал с Мариуччей во Флоренцию и Болонью, а оттуда вернулся в Рим.

Погасшими глазами он смотрел на эти пустынные величественные города, вяло бродил по улицам, заросшим цветущей травой, и не предавался воспоминаниям. Очарование прошлого было ему уже недоступно. Хотелось покоя, вина, беспечных снов, действующих как лекарство, помогающих забыть тревогу последних лет.

В Риме Кипренский поселился в старом дворце Клавдия, где когда-то жил французский художник Лоррен.

Кипренский сильно пил. Каждую ночь он возвращался пьяный и приводил с собой подозрительных завсегдатаев остерий.

«Молодая жена его, — пишет Иордан, — не желая видеть великого художника в столь неприглядном виде, часто не впускала его, и он ночевал под портиком своего дома».

В одну из таких ночей в октябре 1836 года Кипренский простудился, несколько дней перемогался, а потом слег.

Мариучча вызвала старого доктора Риккарди, лечившего всех русских художников.

Лысый и вертлявый старик, похожий на запыленное чучело птицы, вошел вприпрыжку в низкую комнату, где лежал Кипренский. От каменных пустых стен тянуло холодом. Риккарди огляделся и высоко поднял брови — в комнате знаменитого художника висела только одна картина — неоконченный портрет Мариуччи, сидящей у окна.

Кипренский бредил.

Эхо чьих-то торопливых шагов доносилось из далеких пустующих комнат. Густая темнота лежала в углах и в длинных каменных коридорах. Жить в таком доме было сиротливо и холодно.

Риккарди выслушал больного. Ночной осенний ветер шумел над Римом. Старый дворец был полон странного гула, низкого пения каминных труб, хлопанья ставен, скрипа дверных петель.

Риккарди долго смотрел на бледное лицо Кипренского, откинув с его лба блестящие от испарины темные волосы.

— Синьора, — сказал он Мариучче, — у вашего мужа грудная горячка. Шум ветра не дает мне возможности выслушать его со всей тщательностью. Он очень плох. Надо пустить кровь.

Мариучча молчала. Ей было страшно оставаться одной с этим бредящим, внезапно ставшим совсем чужим человеком.

В бреду Кипренский говорил по-русски. Мариучча почти ничего не понимала. Она заплакала. Кипренский очнулся, пристально посмотрел на Риккарди и схватил его за руку.

— Александр Сергеевич, — сказал он очень тихо, и слезы поползли по его небритым щекам. — Спасибо... как же ты шел так далеко, милый... Ночь какая ненастная, а ты меня не хотел оставить...

Риккарди наклонился к больному.

— Это кто? — спросил тревожно Кипренский. — Цирюльник?

— Я доктор, — сказал медленно Риккарди. — Очнитесь. Я доктор. Говорите.

— У меня тяжелая кровь, — спокойно сказал Кипренский. — Краски застыли в жилах. Выпустите кровь, она не греет. Она холодит сердце.

— Прекрасно! — сказал Риккарди.

— Что вы понимаете, — прошептал Кипренский. — Люди великие, благородные, блиставшие умом и талантом, благословляли мое имя. Жуковский поцеловал меня в голову, Пушкин писал мне элегии, и знаменитые воины считали мою руку столь же верной, как их стальные клинки.

Он поднял худую руку и долго рассматривал ее на свет. Риккарди быстро сжал Кипренского за локоть, подставил оловянную чашку и проткнул острым скальпелем кожу. Брызнула темная кровь.

— Miserere mi, Domine,— сказал Кипренский и глубоко вздохнул. — Никто не знает... Лишь один я их помню, милые слова, любовь моего сердца...

Он помолчал и сказал тихо:

И сердце нежное, все в пламени и ранах,
Трепещет с полночи до утренней звезды.

Слезы снова потекли по его щекам.

—Друзей! — вдруг дико закричал Кипренский и сел на постели. Оловянная чашка опрокинулась, и кровь растеклась из нее по простыне и подушке. — Друзей!

Он упал на постель, на кровавые пятна, и лицо его начало медленно и торжественно бледнеть. Тихо

дрожали свечи. Риккарди приложил щеку к губам Кипренского.

Старый дворец гудел от ветра, как громадный струнный оркестр, играющий под сурдинку реквием.

Эхо чьих-то торопливых шагов неслось по пустующим залам. Быстро вошел Торвальдсен. Он увидел лицо Кипренского, очищенное от страданий, от следов пороков и болезней, — лицо более прекрасное, чем мрамор античных скульптур.

Торвальдсен снял шляпу, стал на колени у тела Кипренского и прижался лбом к его свисавшей с постели руке.

Осенний ветер шумел над Римом.

1936

ИСААК ЛЕВИТАН

У художника Саврасова тряслись худые руки. Он не мог выпить стакан чая, не расплескав его по грязной суровой скатерти. От седой неряшливой бороды художника пахло хлебом и водкой.

Мартовский туман лежал над Москвой сизым самоварным чадом. Смеркалось. В жестяных водосточных трубах оттаивал слежавшийся лед. Он с громом срывался на тротуары и раскалывался, оставляя груды синеватого горного хрусталя. Хрусталь трещал под грязными сапогами и тотчас превращался в навозную жижу.

Великопостный звон тоскливо гудел над дровяными складами и тупиками старой Москвы — Москвы восьмидесятых годов прошлого века.

Саврасов пил водку из рюмки, серой от старости. Ученик Саврасова Левитан — тощий мальчик в заплатанном клетчатом пиджаке и серых коротких брюках — сидел за столом и слушал Саврасова.

— Нету у России своего выразителя, — говорил Саврасов. — Стыдимся мы еще родины, как я с малолетства стыдился своей бабки-побирушки... Тихая была старушенция, все моргала красными глазками, а когда померла, оставила мне икону Сергия Радонежского. Сказала мне напоследок: «Вот, внучек, учись так-то писать, чтобы плакала вся душа от небесной и земной красоты». А на иконе были изображены травы

и цветы — самые наши простые цветы, что растут по заброшенным дорогам, и озеро, заросшее осинником. Вот какая оказалась хитрая бабка! Я в то время писал акварели на продажу, носил их на Трубу мелким барышникам. Что писал — совестно припомнить. Пышные дворцы с башнями и пруды с розовыми лебедями. Чепуха и срам. С юности и до старинных лет приходилось мне писать совсем не то, к чему лежала душа.

Мальчик застенчиво молчал. Саврасов зажег керосиновую лампу. В комнате соседа скорняка защелкала и запела канарейка.

Саврасов нерешительно отодвинул пустую рюмку.

— Сколько я написал видов Петергофа и Ораниенбаума — не сосчитать, не перечислить. Мы, нищие, благоговели перед великолепием. Мечты создателей этих дворцов и садов приводили нас в трепет. Куда нам после этого было заметить и полюбить мокрые наши поля, косые избы, перелески да низенькое небо. Куда нам!

Саврасов махнул рукой и налил рюмку водки. Он долго вертел ее сухими пальцами. Водка вздрагивала от грохота кованых дрог, проезжавших по улице. Саврасов вороватo выпил.

— Работает же во Франции, — сказал он, поперхнувшись, — замечательный мастер Коро. Смог же он найти прелесть в туманах и серых небесах, в пустынных водах. И какую прелесть! А мы... Слепые мы, что ли, глаз у нас не радуется свету. Филины мы, филины ночные, — сказал он со злобой и встал. — Куриная слепота, чепуха и срам!

Левитан понял, что пора уходить. Хотелось есть, но полупьяный Саврасов в пылу разговора забыл напоить ученика чаем.

Левитан вышел. Перемешивая снег с водой, шли около подвод и бранились ломовые извозчики. На бульварах хлопья снега цеплялись за голые сучья деревьев. Из трактиров, как из прачечных, било в лицо паром.

Левитан нашел в кармане тридцать копеек — подарок товарищей по Училищу живописи и ваяния, изредка собиравших ему на бедность, — и вошел в

трактир. Машина звенела колокольцами и играла «На старой Калужской дороге». Мятый половой, пробегая мимо стойки, оскалился и громко сказал хозяину:

— Еврейчику порцию колбасы с ситным.

Левитан — нищий и голодный мальчик, внук раввина из местечка Кибарты Ковенской губернии — сидел, сгорбившись, за столом в московском трактире и вспоминал картины Коро. Замызганные люди шумели вокруг, ныли слезные песни, дымили едкой махоркой и со свистом тянули желтый кипяток с обсосанных блюдец. Мокрый снег налипал на черные стекла, и нехотя перезванивали колокола.

Левитан сидел долго, — спешить ему было некуда. Ночевал он в холодных классах училища на Мясницкой, прятался там от сторожа, прозванного «Нечистая сила». Единственный родной человек — сестра, жившая по чужим людям, изредка кормила его и штопала старый пиджак. Зачем отец приехал из местечка в Москву, почему в Москве и он и мать так скоро умерли, оставив Левитана с сестрой на улице, — мальчик не понимал. Жить в Москве было трудно, одиноко, особенно ему, еврею.

— Еврейчику еще порцию ситного, — сказал хозяину половой с болтающимися, как у петрушки, ногами, — видать, ихний бог его плохо кормит.

Левитан низко наклонил голову. Ему хотелось плакать и спать. От теплоты сильно болели ноги. А ночь все лепила и лепила на окна пласты водянистого мартовского снега.

В 1879 году полиция выселила Левитана из Москвы в дачную местность Салтыковку. Вышел царский указ, запрещавший евреям жить в «исконной русской столице». Левитану было в то время восемнадцать лет.

Лето в Салтыковке Левитан вспоминал потом как самое трудное в жизни. Стояла тяжелая жара. Почти каждый день небо обкладывали грозы, ворчал гром, шумел от ветра сухой бурьян под окнами, но не выпадало ни капли дождя.

Особенно томительны были сумерки. На балконе соседней дачи зажигали свет. Ночные бабочки тучами бились о ламповые стекла. На крокетной площадке стучали шары. Гимназисты и девушки дурачились и ссорились, доигрывая партию, а потом, поздним вечером, женский голос пел в саду печальный романс:

Мой голос для тебя и ласковый и томный...

То было время, когда стихи Полонского, Майкова и Апухтина были известны лучше, чем простые пушкинские напевы, и Левитан даже не знал, что слова этого романса принадлежали Пушкину.

Он слушал по вечерам из-за забора пение незнакомки, он запомнил еще один романс о том, как «рыдала любовь».

Ему хотелось увидеть женщину, певшую так звонко и печально, увидеть девушек, игравших в крокет, и гимназистов, загонявших с победными воплями деревянные шары к самому полотну железной дороги. Ему хотелось пить на балконе чай из чистых стаканов, трогать ложечкой ломтик лимона, долго ждать, пока стечет с той же ложечки прозрачная нить абрикосового варенья. Ему хотелось хохотать и дурачиться, играть в горелки, петь до полночи, носиться на гигантских шагах и слушать взволнованный шепот гимназистов о писателе Гаршине, написавшем рассказ «Четыре дня», запрещенный цензурой. Ему хотелось смотреть в глаза поющей женщины, — глаза поющих всегда полузакрыты и полны печальной прелести.

Но Левитан был беден, почти нищ. Клетчатый пиджак протерся вконец. Юноша вырос из него. Руки, измазанные масляной краской, торчали из рукавов, как птичьи лапы. Все лето Левитан ходил босиком. Куда было в таком наряде появляться перед веселыми дачниками!

И Левитан скрывался. Он брал лодку, заплывал на ней в тростники на дачном пруду и писал этюды, — в лодке ему никто не мешал.

Писать этюды в лесу или в полях было опаснее. Здесь можно было натолкнуться на яркий зонтик щеголихи, читающей в тени берез книжку Альбова, или

на гувернантку, кудахчущую над выводком детей. А никто не умел презирать бедность так обидно, как гувернантки.

Левитан прятался от дачников, тосковал по ночной певунье и писал этюды. Он совсем забыл о том, что у себя, в Училище живописи и ваяния, Саврасов прочил ему славу Коро, а товарищи — братья Коровины и Николай Чехов — всякий раз затевали над его картинами споры о прелести настоящего русского пейзажа. Будущая слава Коро тонула без остатка в обиде на жизнь, на драные локти и протертые подметки.

Левитан в то лето много писал на воздухе. Так велел Саврасов. Как-то весной Саврасов пришел в мастерскую на Мясницкой пьяный, в сердцах выбил пыльное окно и поранил руку.

— Что пишете! — кричал он плачущим голосом, вытирая грязным носовым платком кровь. — Табачный дым? Навоз? Серую кашу?

За разбитым окном неслись облака, солнце жаркими пятнами лежало на куполах, и летал обильный пух от одуванчиков, — в ту пору все московские дворы зарастали одуванчиками.

— Солнце гоните на холст! — кричал Саврасов, а в дверь уже неодобрительно поглядывал старый сторож — «Нечистая сила». — Весеннюю теплынь прозевали! Снег таял, бежал по оврагам холодной водой, — почему не видел я этого на ваших этюдах? Липы распускались, дожди были такие, будто не вода, а серебро лилось с неба, — где все это на ваших холстах? Срам и чепуха!

Со времени этого жестокого разноса Левитан начал работать на воздухе. Вначале ему было трудно привыкнуть к новому ощущению красок. То, что в прокуренных комнатах представлялось ярким и чистым, на воздухе непонятным образом жухло, покрывалось мутным налетом.

Левитан стремился писать так, чтобы на картинах его был ощутим воздух, обнимающий своей прозрачностью каждую травинку, каждый лист и стог сена. Все вокруг казалось погруженным в нечто спокойное, синеющее и блестящее. Левитан называл это нечто воздухом. Но

это был не тот воздух, каким он представляется нам. Мы дышим им, мы чувствуем его запах, холод или теплоту. Левитан же ощущал его как безграничную среду прозрачного вещества, которое придавало такую пленительную мягкость его полотнам.

Лето кончилось. Все реже был слышен голос незнакомки. Как-то в сумерки Левитан встретил у калитки своего дома молодую женщину. Ее узкие руки белели из-под черных кружев. Кружевами были оторочены рукава платья. Мягкая туча закрыла небо. Шел редкий дождь. Горько пахли цветы в палисадниках. На железнодорожных стрелах зажгли фонари.

Незнакомка стояла у калитки и пыталась раскрыть маленький зонтик, но он не раскрывался. Наконец он раскрылся, и дождь зашуршал по его шелковому верху. Незнакомка медленно пошла к станции. Левитан не видел ее лица, — оно было закрыто зонтиком. Она тоже не видела лица Левитана, она заметила только его босые грязные ноги и подняла зонтик, чтобы не зацепить Левитана. В неверном свете он увидел бледное лицо. Оно показалось ему знакомым и красивым.

Левитан вернулся в свою каморку и лег. Чадила свеча, гудел дождь, на станции рыдали пьяные. Тоска по материнской, сестринской, женской любви вошла с тех пор в сердце и не покидала Левитана до последних дней его жизни.

Этой же осенью Левитан написал «Осенний день в Сокольниках». Это была первая его картина, где серая и золотая осень, печальная, как тогдашняя русская жизнь, как жизнь самого Левитана, дышала с холста осторожной теплотой и щемила у зрителей сердце.

По дорожке Сокольнического парка, по ворохам опавшей листвы шла молодая женщина в черном — та незнакомка, чей голос Левитан никак не мог забыть. «Мой голос для тебя и ласковый и томный...» Она была одна среди осенней рощи, и это одиночество окружало ее ощущением грусти и задумчивости.

«Осенний день в Сокольниках» — единственный пейзаж Левитана, где присутствует человек, и то его

написал Николай Чехов. После этого люди ни разу не появлялись на его полотнах. Их заменили леса и пажити, туманные разливы и нищие избы России, безгласные и одинокие, как был в то время безгласен и одинок человек.

Годы учения в Училище живописи и ваяния окончились. Левитан написал последнюю, дипломную работу — облачный день, поле, копны сжатого хлеба.

Саврасов мельком взглянул на картину и написал мелом на изнанке: «Большая серебряная медаль».

Преподаватели училища побаивались Саврасова. Вечно пьяный, задиристый, он вел себя с учениками, как с равными, а напившись, ниспровергал все, кричал о бесталанности большинства признанных художников и требовал на холстах воздуха, простора.

Неприязнь к Саврасову преподаватели переносили на его любимого ученика — Левитана. Кроме того, талантливый еврейский мальчик раздражал иных преподавателей. Еврей, по их мнению, не должен был касаться русского пейзажа, — это было делом коренных русских художников. Картина была признана недостойной медали. Левитан не получил звания художника, ему дали диплом учителя чистописания.

С этим жалким дипломом вышел в жизнь один из тончайших художников своего времени, будущий друг Чехова, первый и еще робкий певец русской природы.

На сарае в деревушке Максимовке, где летом жил Левитан, братья Чеховы повесили вывеску: «Ссудная касса купца Исаака Левитана».

Мечты о беззаботной жизни, наконец, сбылись. Левитан сдружился с художником Николаем Чеховым, подружился с чеховской семьей и прожил три лета рядом с нею. В то время Чеховы проводили каждое лето в селе Бабкине около Нового Иерусалима.

Семья Чеховых была талантливой, шумной и насмешливой. Дурачествам не было конца. Каждый пустяк, даже ловля карасей или прогулка в лес по грибы, разрастался в веселое событие. С утра за чайным столом уже начинались невероятные рассказы, выдумки,

хохот. Он не затихал до позднего вечера. Каждая забавная человеческая черта или смешное слово подхватывались всеми и служили толчком для шуток и мистификаций.

Больше всех доставалось Левитану. Его постоянно обвиняли во всяческих смехотворных преступлениях и, наконец, устроили над ним суд. Антон Чехов, загримированный прокурором, произнес обвинительную речь. Слушатели падали со стульев от хохота. Николай Чехов изображал дурака-свидетеля. Он давал сбивчивые показания, путал, пугался и был похож на чеховского мужичка из рассказа «Злоумышленник», — того, что отвинтил от рельсов гайку, чтобы сделать грузило на шелеспера. Александр Чехов — защитник — пропел высокопарную актерскую речь.

Особенно попадало Левитану за его красивое арабское лицо. В своих письмах Чехов часто упоминал о красоте Левитана. «Я приеду к вам, красивый, как Левитан», — писал он. «Он был томный, как Левитан».

Но имя Левитана стало выразителем не только мужской красоты, но и особой прелести русского пейзажа. Чехов придумал слово «левитанистый» и употреблял его очень метко.

«Природа здесь гораздо левитанистее, чем у вас», — писал он в одном из писем. Даже картины Левитана различались, — одни были более левитанистыми, чем другие.

Вначале это казалось шуткой, но со временем стало ясно, что в этом веселом слове заключен точный смысл — оно выражало собою то особое обаяние пейзажа средней России, которое из всех тогдашних художников умел передавать на полотне один Левитан.

Иногда на лугу около бабкинского дома происходили странные вещи. На закате на луг выезжал на старом осле Левитан, одетый бедуином. Он слезал с осла, садился на корточки и начинал молиться на восток. Он подымал руки кверху, жалобно пел и кланялся в сторону Мекки. То был мусульманский намаз.

В кустах сидел Антон Чехов со старой берданкой, заряженной бумагой и тряпками. Он хищно целился в Левитана и спускал курок. Тучи дыма разлетались

над лугом. В реке отчаянно квакали лягушки. Левитан с пронзительным воплем падал на землю, изображая убитого. Его клали на носилки, надевали на руки старые валенки и начинали обносить вокруг парка. Хор Чеховых пел на унылые похоронные распевы всякий вздор, приходивший в голову. Левитан трясся от смеха, потом не выдерживал, вскакивал и удирал в дом.

На рассвете Левитан уходил с Антоном Павловичем удить рыбу на Истру. Для рыбной ловли выбирали обрывистые берега, заросшие кустарником, тихие омуты, где цвели кувшинки и в теплой воде стаями ходили красноперки. Левитан шепотом читал стихи Тютчева. Чехов делал страшные глаза и ругался тоже шепотом, — у него клевало, а стихи пугали осторожную рыбу.

То, о чем Левитан мечтал еще в Салтыковке, случилось, — игры в горелки, сумерки, когда над зарослями деревенского сада висит тонкий месяц, яростные споры за вечерним чаем, улыбки и смущение молодых женщин, их ласковые слова, милые ссоры, дрожание звезд над рощами, крики птиц, скрип телег в ночных полях, близость талантливых друзей, близость заслуженной славы, ощущение легкости в теле и сердце.

Несмотря на жизнь, полную летней прелести, Левитан много работал. Стены его сарая — бывшего курятника — были сверху донизу завешаны этюдами. В них на первый взгляд не было ничего нового — те же знакомые всем извилистые дороги, что теряются за косогорами, перелески, дали, светлый месяц над околицами деревень, тропки, протоптанные лаптями среди полей, облака и ленивые реки.

Знакомый мир возникал на холстах, но было в нем что-то свое, не передаваемое скупыми человеческими словами. Картины Левитана вызывали такую же боль, как воспоминания о страшно далеком, но всегда заманчивом детстве.

Левитан был художником печального пейзажа. Пейзаж печален всегда, когда печален человек. Веками русская литература и живопись говорили о скучном небе, тощих полях, кособоких избах. «Россия,

нищая Россия, мне избы черные твои, твои мне песни ветровые, как слезы первые любви».

Из рода в род человек смотрел на природу мутными от голода глазами. Она казалась ему такой же горькой, как его судьба, как краюха черного мокрого хлеба. Голодному даже блистающее небо тропиков покажется неприветливым.

Так вырабатывался устойчивый яд уныния. Он глушил все, лишал краски их света, игры, нарядности. Мягкая разнообразная природа России сотни лет была оклеветана, считалась слезливой и хмурой. Художники и писатели лгали на нее, не сознавая этого.

Левитан был выходцем из гетто, лишенного прав и будущего, выходцем из Западного края — страны местечек, чахоточных ремесленников, черных синагог, тесноты и скудности.

Бесправие преследовало Левитана всю жизнь. В 1892 году его вторично выселили из Москвы, несмотря на то, что он уже был художником со всероссийской славой. Ему пришлось скрываться во Владимирской губернии, пока друзья не добились отмены высылки.

Левитан был безрадостен, как безрадостна была история его народа, его предков. Он дурачился в Бабкине, увлекался девушками и красками, но где-то в глубине мозга жила мысль, что он парий, отверженный, сын расы, испытавшей унизительные гонения.

Иногда эта мысль целиком завладевала Левитаном. Тогда приходили приступы болезненной хандры. Она усиливалась от недовольства своими работами, от сознания, что рука не в силах передать в красках то, что давно уже создало его свободное воображение.

Когда приходила хандра, Левитан бежал от людей. Они казались ему врагами. Он становился груб, дерзок, нетерпим. Он со злобой соскабливал краски со своих картин, прятался, уходил с собакой Вестой на охоту, но не охотился, а без цели бродил по лесам. В такие дни одна только природа заменяла ему родного человека, — она утешала, проводила ветром по лбу, как материнской рукой. Ночью поля были безмолвны, —

Левитан отдыхал такими ночами от человеческой глупости и любопытства.

Два раза во время припадка хандры Левитан стрелялся, но остался жив. Оба раза спасал его Чехов.

Хандра проходила. Левитан возвращался к людям, снова писал, любил, верил, запутывался в сложности человеческих отношений, пока его не настигал новый удар хандры.

Чехов считал, что левитановская тоска была началом психической болезни. Но это была, пожалуй, неизлечимая болезнь каждого требовательного к себе и к жизни большого человека.

Все написанное казалось беспомощным. За красками, наложенными на полотно, Левитан видел другие — более чистые и густые. Из этих красок, а не из фабричной киновари, кобальта и кадмия он хотел создать пейзаж России — прозрачный, как сентябрьский воздух, праздничный, как роща во время листопада.

Но душевная угрюмость держала его за руки во время работы. Левитан долго не мог, не умел писать светло и прозрачно. Тусклый свет лежал на холстах, краски хмурились. Он никак не мог заставить их улыбаться.

В 1886 году Левитан впервые уехал из Москвы на юг, в Крым.

В Москве он всю зиму писал декорации для оперного театра, и эта работа не прошла для него бесследно. Он начал смелее обращаться с красками. Мазок стал свободнее. Появились первые признаки еще одной черты, присущей подлинному мастеру, — признаки дерзости в обращении с материалами. Свойство это необходимо всем, кто работает над воплощением своих мыслей и образов. Писателю необходима смелость в обращении со словами и запасом своих наблюдений, скульптору — с глиной и мрамором, художнику — с красками и линиями.

Самое ценное, что Левитан узнал на юге, — это чистые краски. Время, проведенное в Крыму, представлялось ему непрерывным утром, когда воздух, отстоявшийся за ночь, как вода, в гигантских водоемах

горных долин, так чист, что издалека видна роса, стекающая с листьев, и за десятки миль белеет пена волн, идущих к каменистым берегам.

Большие просторы воздуха лежали над южной землей, сообщая краскам резкость и выпуклость.

На юге Левитан ощутил с полной ясностью, что только солнце властвует над красками. Величайшая живописная сила заключена в солнечном свете, и вся серость русской природы хороша лишь потому, что является тем же солнечным светом, но приглушенным, прошедшим через слои влажного воздуха и тонкую пелену облаков.

Солнце и черный свет несовместимы. Черный цвет — это не краска, это труп краски. Левитан сознавал это и после поездки в Крым решил изгнать со своих холстов темные тона. Правда, это не всегда ему удавалось.

Так началась длившаяся много лет борьба за свет.

В это время во Франции Ван-Гог работал над передачей на полотне солнечного огня, превращавшего в багровое золото виноградники Арля. Примерно в то же время Монэ изучал солнечный свет на стенах Реймского собора. Его поражало, что световая дымка придавала громаде собора невесомость. Казалось, что собор выстроен не из камня, а из разнообразно и бледно окрашенных воздушных масс. Надо было подойти к нему вплотную и провести рукой по камню, чтобы вернуться к действительности.

Левитан работал еще робко. Французы же работали смело, упорно. Им помогало чувство личной свободы, культурные традиции, умная товарищеская среда. Левитан был лишен этого. Он не знал чувства личной свободы. Он только мог мечтать о ней, но мечтать бессильно, с раздражением на тупость и тоску тогдашнего российского быта. Не было и умной товарищеской среды.

Со времени поездки на юг к обычной хандре Левитана присоединилось еще постоянное воспоминание о сухих и четких красках, о солнце, превращавшем в праздник каждый незначительный день человеческой жизни.

В Москве солнца не было. Левитан жил в меблированных комнатах «Англия» на Тверской. Город за ночь так густо заволакивало холодным туманом, что за короткий зимний день он не успевал поредеть. В номере горела керосиновая лампа. Желтый свет смешивался с темнотой промозглого дня и покрывал грязными пятнами лица людей и начатые холсты.

Снова, но уже ненадолго, вернулась нужда. Хозяйке за комнату приходилось платить не деньгами, а этюдами.

Тяжелый стыд охватывал Левитана, когда хозяйка надевала пенсне и рассматривала «картинки», чтобы выбрать самую ходкую. Поразительнее всего было то, что ворчание хозяйки совпадало со статьями газетных критиков.

— Мосье Левитан, — говорила хозяйка, — почему вы не нарисуете на этом лугу породистую корову, а здесь под липой не посадите парочку влюбленных? Это было бы приятно для глаза.

Критики писали примерно то же. Они требовали, чтобы Левитан оживил пейзаж стадами гусей, лошадьми, фигурами пастухов и женщин.

Критики требовали гусей, Левитан же думал о великолепном солнце, которое рано или поздно должно было затопить Россию на его полотнах и придать каждой березе весомость и блеск драгоценного металла.

После Крыма в жизнь Левитана надолго и крепко вошла Волга.

Первая поездка на Волгу была неудачна. Моросили дожди, волжская вода помутнела. Ветер гнал по ней короткие скучные волны. От надоедливого дождя слезились окна избы в деревне на берегу Волги, где поселился Левитан, туманились дали, все вокруг съела серая краска.

Левитан страдал от холода, от скользкой глины волжских берегов, от невозможности писать на воздухе.

Началась бессонница. Старуха хозяйка храпела за перегородкой, и Левитан завидовал ей и писал об этой

зависти Чехову. Дождь барабанил по крыше, и каждые полчаса Левитан зажигал спичку и смотрел на часы.

Рассвет затерялся в непроглядных ночных пустошах, где хозяйничал неприветливый ветер. Левитана охватывал страх. Ему казалось, что ночь будет длиться неделями, что он сослан в эту грязную деревушку и обречен всю жизнь слушать, как хлещут по бревенчатой стене мокрые ветки берез.

Иногда он выходил ночью на порог, и ветки больно били его по лицу и рукам. Левитан злился, закуривал папиросу, но тотчас же бросал ее, — кислый табачный дым сводил челюсти.

На Волге был слышен упорный рабский стук пароходных колес, — буксир, моргая желтыми фонарями, тащил вверх, в Рыбинск, вонючие баржи.

Великая река казалась Левитану преддверием хмурого ада. Рассвет не приносил облегчения. Тучи, бестолково теснясь, неслись с северо-запада, волоча по земле водянистые подолы дождей. Ветер свистел в кривых окнах, и от него краснели руки. Тараканы разбегались из ящика с красками.

У Левитана не было психической выносливости. Он приходил в отчаяние от несоответствия между тем, что он ожидал, и тем, что он видел в действительности. Он хотел солнца, — солнце не показывалось; Левитан слеп от бешенства и первое время даже не замечал прекрасных оттенков серого и сизого цвета, свойственных ненастью.

Но в конце концов художник победил неврастеника. Левитан увидел прелесть дождей и создал свои знаменитые «дождливые работы»: «После дождя» и «Над вечным покоем».

Картину «После дождя» Левитан написал за четыре часа. Тучи и оловянный цвет волжской воды создали мягкое освещение. Оно могло исчезнуть каждую минуту. Левитан торопился.

Картины Левитана требуют медленного рассматривания. Они не ошеломляют глаз. Они скромны и точны, подобно чеховским рассказам, но чем дольше вглядываешься в них, тем все милее становится тишина провинциальных посадов, знакомых рек и проселков.

В картине «После дождя» заключена вся прелесть дождливых сумерек в приволжском городке. Блестят лужи. Облака уходят за Волгу, как низкий дым. Пар из пароходных труб ложится на воду. Баржи у берега почернели от сырости.

В такие летние сумерки хорошо войти в сухие сени, в низкие комнаты с только что вымытыми полами, где уже горят лампы и за открытыми окнами шумит от капель и дико пахнет заброшенный сад. Хорошо слушать игру на старом рояле. Его ослабевшие струны звенят, как гитара. Темный фикус стоит в кадке рядом с роялем. Гимназистка сидит в кресле, поджав ноги, и читает Тургенева. Старый кот бродит по комнатам, и ухо у него нервно вздрагивает, — он слушает, не застучат ли в кухне ножи.

С улицы пахнет рогожами. Завтра — ярмарка, и на Соборную площадь съезжаются телеги. Пароход уходит вниз по реке, догоняет дождевую тучу, закрывавшую полнеба. Гимназистка глядит вслед пароходу, и глаза ее делаются туманными, большими. Пароход идет к низовым городам, где театры, книги, заманчивые встречи.

Вокруг городка день и ночь мокнут растрепанные ржаные поля.

В картине «Над вечным покоем» поэзия ненастного дня выражена с еще большей силой. Картина была написана на берегу озера Удомли в Тверской губернии.

С косогора, где темные березы гнутся под порывистым ветром и стоит среди этих берез сгнившая бревенчатая церковь, открывается даль глухой реки, потемневшие от ненастья луга, громадное облачное небо. Тяжелые тучи, напитанные холодной влагой, висят над землей. Косые холстины дождя закрывают просторы.

Никто из художников до Левитана не передавал с такой печальной силой неизмеримые дали русского ненастья. Оно так спокойно и торжественно, что ощущается как величие.

·

Вторая поездка на Волгу была удачнее первой. Левитан поехал не один, а с художницей Кувшинниковой. Эта наивная, трогательно любившая Левитана жен-

щина была описана Чеховым в рассказе «Попрыгунья». Левитан жестоко обиделся на Чехова за этот рассказ. Дружба была сорвана, а примирение шло туго и мучительно. До конца жизни Левитан не мог простить Чехову этого рассказа.

Левитан уехал с Кувшинниковой в Рязань, а оттуда спустился на пароходе вниз по Оке до слободы Чулково. В слободе он решил остановиться.

Солнце садилось в полях за глинистым косогором. Мальчишки гоняли красных от заката голубей. На луговом берегу горели костры, в болотах угрюмо гудели выпи.

В Чулкове было соединено все, чем славилась Ока, — вся прелесть этой реки, «поемистой, дубравной, в раздолье муромских песков текущей царственно, блистательно и плавно, в виду почтенных берегов».

Ничто лучше этих стихов Языкова не передает очарования ленивой Оки.

На пристани в Чулкове к Левитану подошел низкий старик с вытекшим глазом. Он нетерпеливо потянул Левитана за рукав чесучового пиджака и долго мял шершавыми пальцами материю.

— Тебе чего, дед? — спросил Левитан.

— Суконце, — сказал дед и икнул. — Суконцем охота полюбоваться. Ишь скрипит, как бабий волос. А это кто, прости господи, жена, что ли? — Дед показал на Кувшинникову. Глаза его стали злыми.

— Жена, — ответил Левитан.

— Та-ак, — зловеще сказал дед и отошел. — Леший вас разберет, что к чему, зачем по свету шляетесь.

Встреча не предвещала ничего хорошего. Когда на следующее утро Левитан с Кувшинниковой сели на косогоре и раскрыли ящики с красками, в деревне началось смятение. Бабы зашмыгали из избы в избу. Мужики, хмурые, с соломой в волосах, распояской, медленно собирались на косогор, садились поодаль, молча смотрели на художников. Мальчишки сопели за спиной, толкали друг друга и переругивались.

Беззубая баба подошла сбоку, долго смотрела на Левитана и вдруг ахнула:

— Господи Сусе Христе, что ж это ты делаешь, охальник?

Мужики зашумели, Левитан сидел бледный, но сдержался и решил отшутиться.

— Не гляди, старая, — сказал он бабе, — глаза лопнут.

— У-у-у, бесстыжий, — крикнула баба, высморкалась в подол и пошла к мужикам. Там уже трясся, опираясь на посох, слезливый монашек, неведомо откуда забредший в Чулково и прижившийся при тамошней церкви.

— Лихие люди! — выкрикивал он вполголоса. — Чего делают — непонятно. Планы с божьих лугов снимают. Не миновать пожару, мужички, не миновать бяды.

— Сход! — крикнул старик с вытекшим глазом. — Нету у нас заведения картинки с бабами рисовать! Сход!

Пришлось собрать краски и уйти.

В тот же день Левитан с Кувшинниковой уехали из слободы. Когда они шли к пристани, около церкви гудел бестолковый сход и были слышны визгливые выкрики монашка:

— Лихие люди. Некрещеные. Баба с открытой головой ходит.

Кувшинникова не носила ни шляпы, ни платка.

Левитан спустился по Оке до Нижнего и там пересел на пароход до Рыбинска. Все дни он с Кувшинниковой просиживал на палубе и смотрел на берега — искал места для этюдов.

Но хороших мест не было, Левитан все чаще хмурился и жаловался на усталость. Берега наплывали медленно, однообразно, не радуя глаз ни живописными селами, ни задумчивыми и плавными поворотами.

Наконец в Плесе Левитан увидел с палубы старинную маленькую церковь, рубленную из сосновых кряжей. Она чернела на зеленом небе, и первая звезда горела над ней, переливаясь и блистая.

В этой церкви, в тишине вечера, в певучих голосах баб, продававших на пристани молоко, Левитану почудилось столько покоя, что он тут же решил остаться в Плесе.

С этого времени начался светлый промежуток в его жизни.

Маленький городок был беззвучен и безлюден. Тишину нарушали только колокольный звон и мычание стада, а по ночам — колотушки сторожей. По уличным косогорам и оврагам цвел репейник и росла лебеда. В домах за кисейными занавесками сушился на подоконниках липовый цвет.

Дни стояли солнечные, устойчивые, сухие. Русское лето, чем ближе к осени, тем больше бывает окрашено в спелые цвета. Уже в августе розовеет листва яблоневых садов, сединой блестят поля, и вечерами над Волгой стоят облака, покрытые жарким румянцем.

Хандра прошла. Было стыдно даже вспоминать о ней.

Каждый день приносил трогательные неожиданности — то подслеповатая старуха, приняв Левитана за нищего, положит ему на ящик с красками стертый пятак, то дети, подталкивая друг друга в спину, попросятся, чтобы их нарисовать, потом прыснут от смеха и разбегутся, то придет тайком молодая соседка-староверка и будет певуче жаловаться на свою тяжелую долю. Ее Левитан прозвал Катериной из «Грозы» Островского. Он решил вместе с Кувшинниковой помочь Катерине бежать из Плеса, от постылой семьи. Бегство обсуждалось в роще за городом. Кувшинникова шепталась с Катериной, а Левитан лежал на краю рощи и предупреждал женщин об опасности тихим свистом. Катерине удалось бежать.

До поездки в Плес Левитан любил только русский пейзаж, но народ, населявший эту большую страну, был ему непонятен. Кого он знал? Грубого училищного сторожа «Нечистую силу», трактирных половых, наглых коридорных из меблированных комнат, диких чулковских мужиков. Он часто видел злобу, грязь, тупую покорность, презрение к себе, к еврею.

До жизни в Плесе он не верил в ласковость народа, в его разум, в способность много понимать. После Плеса Левитан ощутил свою близость не только к пейзажу России, но и к ее народу — талантливому, обездоленному и как бы притихшему не то перед новой бедой, не то перед великим освобождением.

В эту вторую поездку на Волгу Левитан написал много полотен. Об этих вещах Чехов сказал ему: «На твоих картинах уже есть улыбка».

Свет и блеск впервые появились у Левитана в его «волжских» работах — в «Золотом Плесе», «Свежем ветре», «Вечернем звоне».

Почти у каждого из нас остались в памяти еще с детства лесные поляны, засыпанные листвой, пышные и печальные уголки родины, что сияют под нежарким солнцем в синеве, в тишине безветренных вод, в криках кочующих птиц.

В зрелом возрасте эти воспоминания возникают с поразительной силой по самому ничтожному поводу, — хотя бы от мимолетного пейзажа, мелькнувшего за окнами вагона, — и вызывают непонятное нам самим чувство волнения и счастья, желание бросить все — города, заботы, привычный круг людей, и уйти в эту глушь, на берега неизвестных озер, на лесные дороги, где каждый звук слышен так ясно и долго, как на горных вершинах, — будь то гудок паровоза или свист птицы, перепархивающей в кустах рябины.

Такое чувство давно виденных милых мест остается от «волжских» и «осенних» картин Левитана.

Жизнь Левитана была бедна событиями. Он мало путешествовал. Он любил только среднюю Россию. Поездки в другие места он считал напрасной тратой времени. Такой показалась ему и поездка за границу.

Он был в Финляндии, Франции, Швейцарии и Италии.

Граниты Финляндии, ее черная речная вода, студенистое небо и мрачное море нагоняли тоску. «Вновь я захандрил без меры и границ, — писал Левитан Чехову из Финляндии. — Здесь нет природы».

В Швейцарии его поразили Альпы, но вид этих гор ничем не отличался для Левитана от видов картонных макетов, размалеванных крикливыми красками.

В Италии ему понравилась только Венеция, где воздух полон серебристых оттенков, рожденных тусклыми лагунами.

В Париже Левитан увидел картины Монэ, но не запомнил их. Только перед смертью он оценил живопись импрессионистов, понял, что он отчасти был их русским предшественником, — и впервые с признанием упомянул их имена.

Последние годы жизни Левитан проводил много времени около Вышнего-Волочка на берегах озера Удомли. Там, в семье помещиков Панафидиных, он опять попал в путаницу человеческих отношений, стрелялся, но его спасли...

Чем ближе к старости, тем чаще мысль Левитана останавливалась на осени.

Правда, Левитан написал несколько превосходных весенних вещей, но это почти всегда была весна, похожая на осень.

В «Большой воде» затопленная разливом роща обнажена, как поздней осенью, и даже не покрылась зеленоватым дымом первой листвы. В «Ранней весне» черная глубокая река мертво стоит среди оврагов, еще покрытых рыхлым снегом, и только в картине «Март» передана настоящая весенняя яркость неба над тающими сугробами, желтый солнечный свет и стеклянный блеск талой воды, каплющей с крыльца дощатого дома.

Самые мягкие и трогательные стихи, книги и картины написаны русскими поэтами, писателями и художниками об осени.

Левитан, так же как Пушкин и Тютчев и многие другие, ждал осени, как самого дорогого и мимолетного времени года.

Осень снимала с лесов, с полей, со всей природы густые цвета, смывала дождями зелень. Рощи делались сквозными. Темные краски лета сменялись роб-

ким золотом, пурпуром и серебром. Изменялся не только цвет земли, но и самый воздух. Он был чище, холоднее, и дали были гораздо глубже, чем летом. Так у великих мастеров литературы и живописи юношеская пышность красок и нарядность языка сменяется в зрелом возрасте строгостью и благородством.

Осень на картинах Левитана очень разнообразна. Невозможно перечислить все осенние дни, нанесенные им на полотно. Левитан оставил около ста «осенних» картин, не считая этюдов.

На них были изображены знакомые с детства вещи: стога сена, почернелые от сырости; маленькие реки, кружащие в медленных водоворотах палую листву; одинокие золотые березы, еще не обитые ветром; небо, похожее на тонкий лед; косматые дожди над лесными порубками. Но во всех этих пейзажах, что бы они ни изображали, лучше всего передана печаль прощальных дней, сыплющихся листьев, загнивающих трав, тихого гудения пчел перед холодами и предзимнего солнца, едва заметно прогревающего землю.

Исподволь, из года в год, у Левитина развивалась тяжелая сердечная болезнь, но ни он, ни близкие ему люди не знали о ней, пока она не дала первой бурной вспышки.

Левитан не лечился. Он боялся идти к врачам, боялся услышать смертный приговор. Врачи, конечно, запретили бы Левитану общаться с природой, а это для него было равносильно смерти.

Левитан тосковал еще больше, чем в молодые годы. Все чаще он уходил в леса, — жил он в лето перед смертью около Звенигорода, — и там его находили плачущим и растерянным. Он знал, что ничто — ни врачи, ни спокойная жизнь, ни исступленно любимая им природа не могли отдалить приближавшийся конец.

Зимой 1899 года врачи послали Левитана в Ялту.

В то время в Ялте жил Чехов. Старые друзья встретились постаревшими, отчужденными. Левитан ходил, тяжело опираясь на палку, задыхался, всем говорил

о близкой смерти. Он боялся ее и не скрывал этого. Сердце болело почти непрерывно.

Чехов тосковал по Москве, по северу. Несмотря на то, что море, по его собственным словам, было «большое», оно суживало мир. Кроме моря и зимней тихой Ялты, казалось, ничего не оставалось в жизни. Где-то очень далеко за Харьковом, за Курском и Орлом лежал снег, огни нищих деревень мигали сослепу в седую метель; она казалась милой и близкой сердцу, гораздо ближе беклиновских кипарисов и сладкого приморского воздуха. От этого воздуха часто болела голова. Милым казалось все: и леса, и речушки — всякие Пехорки и Вертушинки, и стога сена в пустынных вечерних полях, одинокие, освещенные мутной луной, как будто навсегда позабытые человеком.

Больной Левитан попросил у Чехова кусок картона и за полчаса набросал на нем масляными красками вечернее поле со стогами сена. Этот этюд Чехов вставил в камин около письменного стола и часто смотрел на него во время работы.

Зима в Ялте была сухая, солнечная, с моря дули тепловатые ветры. Левитан вспомнил свою первую поездку в Крым, и ему захотелось в горы. Его преследовало воспоминание об этой поездке, когда с вершины Ай-Петри он увидел у своих ног пустынное облачное небо. Над головой висело солнце, — здесь оно казалось гораздо ближе к земле, и желтоватый его свет бросал точные тени. Облачное небо дымилось внизу в пропастях и медленно подползало к ногам Левитана, закрывая сосновые леса.

Небо двигалось снизу, и это пугало Левитана так же, как пугала никогда не слыханная горная тишина. Изредка ее нарушал только шорох осыпи. Шифер сползал с откоса и раскачивал сухую колючую траву.

Левитану хотелось в горы, он просил отвезти его на Ай-Петри, но ему в этом отказали — разреженный горный воздух мог оказаться для него смертельным.

Ялта не помогла. Левитан вернулся в Москву. Он почти не выходил из своего дома в Трехсвятительском переулке.

Двадцать второго июля 1900 года он умер. Были поздние сумерки, когда первая звезда появляется над Москвой на страшной высоте и листва деревьев погружена в желтую пыль и в отсветы гаснущего солнца.

Лето было очень поздним. В июле еще доцветала сирень. Ее тяжелые заросли заполняли весь палисадник около дома. Запах листвы, сирени и масляных красок стоял в мастерской, где умирал Левитан, запах, преследовавший всю жизнь художника, передавшего на полотне печаль русской природы, — той природы, что так же, как и человек, казалось, ждала иных, радостных дней.

Эти дни пришли очень скоро после смерти Левитана, и его ученики смогли увидеть то, чего не видел учитель, — новую страну, чей пейзаж стал иным потому, что стал иным человек, наше щедрое солнце, величие наших просторов, чистоту неба и блеск незнакомых Левитану праздничных красок.

Левитан не видел этого потому, что пейзаж радостен только тогда, когда свободен и весел человек.

Левитану хотелось смеяться, но он не мог перенести на свои холсты даже слабую улыбку.

Он был слишком честен, чтобы не видеть народных страданий. Он стал певцом громадной нищей страны, певцом ее природы. Он смотрел на эту природу глазами измученного народа, — в этом его художественная сила и в этом отчасти лежит разгадка его обаяния.

1937

МЕЩОРСКАЯ СТОРОНА

ОБЫКНОВЕННАЯ ЗЕМЛЯ

В Мещорском крае нет никаких особенных красот и богатств, кроме лесов, лугов и прозрачного воздуха. Но все же край этот обладает большой притягательной силой. Он очень скромен — так же, как картины Левитана. Но в нем, как и в этих картинах, заключена вся прелесть и все незаметное на первый взгляд разнообразие русской природы.

Что можно увидеть в Мещорском крае? Цветущие или скошенные луга, сосновые боры, поемные и лесные озера, заросшие черной кугой, стога, пахнущие сухим и теплым сеном. Сено в стогах держит тепло всю зиму.

Мне приходилось ночевать в стогах в октябре, когда трава на рассвете покрывается инеем, как солью. Я вырывал в сене глубокую нору, залезал в нее и всю ночь спал в стогу, будто в запертой комнате. А над лугами шел холодный дождь, и ветер налетал косыми ударами.

В Мещорском крае можно увидеть сосновые боры, где так торжественно и тихо, что бубенчик-«болтун» заблудившейся коровы слышен далеко, почти за километр. Но такая тишина стоит в лесах только в безветренные дни. В ветер леса шумят великим океанским гулом и вершины сосен гнутся вслед пролетающим облакам.

В Мещорском крае можно увидеть лесные озера с темной водой, обширные болота, покрытые ольхой и осиной, одинокие, обугленные от старости избы лесников, пески, можжевельник, вереск, косяки журавлей и знакомые нам под всеми широтами звезды.

Что можно услышать в Мещорском крае, кроме гула сосновых лесов? Крики перепелов и ястребов, свист иволги, суетливый стук дятлов, вой волков, шорох дождей в рыжей хвое, вечерний плач гармоники в деревушке, а по ночам — разноголосое пение петухов да колотушку деревенского сторожа.

Но увидеть и услышать так мало можно только в первые дни. Потом с каждым днем этот край делается все богаче, разнообразнее, милее сердцу. И, наконец, наступает время, когда каждая ива над заглохшей рекой кажется своей, очень знакомой, когда о ней можно рассказывать удивительные истории.

Я нарушил обычай географов. Почти все географические книги начинаются одной и той же фразой: «Край этот лежит между такими-то градусами восточной долготы и северной широты и граничит на юге с такой-то областью, а на севере — с такой-то». Я не буду называть широт и долгот Мещорского края. Достаточно сказать, что он лежит между Владимиром и Рязанью, недалеко от Москвы, и является одним из немногих уцелевших лесных островов, остатком «великого пояса хвойных лесов». Он тянулся некогда от Полесья до Урала. В него входили леса: Черниговские, Брянские, Калужские, Мещорские, Мордовские и Керженские. В этих лесах отсиживалась древняя Русь от татарских набегов.

ПЕРВОЕ ЗНАКОМСТВО

Впервые я попал в Мещорский край с севера, из Владимира.

За Гусем-Хрустальным, на тихой станции Тума, я пересел на поезд узкоколейки. Это был поезд времен Стефенсона. Паровоз, похожий на самовар, свистел

детским фальцетом. У паровоза было обидное прозвище: «мерин». Он и вправду был похож на старого мерина. На закруглениях он кряхтел и останавливался. Пассажиры выходили покурить. Лесное безмолвие стояло вокруг запыхавшегося «мерина». Запах белой гвоздики, нагретой солнцем, наполнял вагоны.

Пассажиры с вещами сидели на площадках — вещи в вагон не влезали. Изредка в пути с площадки на полотно начинали вылетать мешки, корзины, плотничьи пилы, а за вещами выскакивал и их обладатель, нередко довольно древняя старуха. Неопытные пассажиры пугались, а опытные, скручивая «козьи ножки» и поплевывая, объясняли, что это самый удобный способ высаживаться из поезда поближе к своей деревне.

Узкоколейка в Мещорских лесах — самая неторопливая железная дорога в Союзе.

Станции завалены смолистыми бревнами и пахнут свежей порубкой и дикими лесными цветами.

На станции Пилево в вагон влез косматый дед. Он перекрестился в угол, где дребезжала круглая чугунная печка, вздохнул и пожаловался в пространство:

— Чуть что, сейчас берут меня за бороду — езжай в город, подвязывай лапти. А того нет в соображении, что, может, ихнее это дело копейки не стоит. Посылают меня до музею, где советско правительство собирает карточки, прейскуранты, все такое прочее. Посылают с заявлением.

— Чего брешешь?

— Ты гляди — вот!

Дед вытащил измятую бумажку, сдул с нее махру и показал бабе-соседке.

— Манька, прочти, — сказал баба девчонке, тершейся носом об окно.

Манька обтянула платье на рваных коленках, подобрала ноги и начала читать хриплым голосом:

— «Собчается, что в озере живут незнакомые птицы, громадного росту, полосатые, всего три; неизвестно, откуль залетели,— надо бы взять живьем для музею, а потому присылайте ловцов».

— Вот, — сказал дед горестно, — за каким делом теперь старикам кости ломают. А все Лешка-комсомолец. Язва — страсть! Тьфу!

Дед плюнул. Баба вытерла круглый рот концом платка и вздохнула. Паровоз испуганно посвистывал, леса гудели и справа и слева, бушуя, как озера. Хозяйничал западный ветер. Поезд с трудом прорывался через его сырые потоки и безнадежно опаздывал, отдуваясь на пустых полустанках.

— Вот существование наше! — сказал дед. — Летошний год гоняли меня в музею, сегодняшний год опять!

— Чего в летошний год нашли? — спросила баба.

— Торчак!

— Чегой-то?

— Торчак. Ну, кость древнюю. В болоте она валялась. Вроде олень. Роги — с этот вагон. Прямо страсть. Копали его цельный месяц. Вконец измучился народ.

— На кой он сдался? — спросила баба.

— Ребят по ем будут учить.

Об этой находке в «Исследованиях и материалах областного музея» сообщалось следующее:

«Скелет уходил в глубь трясины, не давая опоры для копачей. Пришлось раздеться и спуститься в трясину, что было крайне трудно из-за ледяной температуры родниковой воды. Огромные рога, как и череп, были целы, но крайне непрочны вследствие полнейшей мацерации (размачивания) костей. Кости разламывались прямо в руках, но по мере высыхания твердость костей восстанавливалась».

Был найден скелет исполинского ископаемого ирландского оленя с размахом рогов в два с половиной метра.

С этой встречи с косматым дедом началось мое знакомство с Мещорой. Потом я услышал много рассказов и о зубах мамонта, и о кладах, и о грибах величиной с человеческую голову. Но этот первый рассказ в поезде запомнился мне особенно резко.

СТАРИННАЯ КАРТА

С большим трудом я достал карту Мещорского края. На ней была пометка: «Карта составлена по старинным съемкам, произведенным до 1870 года». Карту эту мне самому пришлось исправлять. Изменились русла рек. Там, где на карте были болота, кое-где уже шумел молодой сосновый лес; на месте иных озер оказались трясины.

Но все же пользоваться этой картой было надежнее, чем заниматься расспросами местных жителей. С давних пор так уж повелось у нас на Руси, что никто столько не напутает, когда объясняет дорогу, как местный житель, особенно если он человек разговорчивый.

— Ты, милый человек, — кричит местный житель,— других не слухай! Они тебе такого наговорят, что ты жизни будешь не рад. Ты меня одного слухай, я эти места наскрозь знаю. Иди до околицы, увидишь по левой руке избу-пятистенку, возьми от той избы на правую руку по стежке через пески, дойдешь до Прорвы и вали, милый, край Прорвы, вали, не сумлевайся, до самой до горелой ивы. От нее возьмешь чуть-чуть к лесу, мимо Музги, а за Музгой подавайся круто к холмищу, а за холмищем дорога известная — через мшары до самого озера.

— А сколько километров?

— А кто его знает? Может, десять, а может, и все двадцать. Тут километры, милый, немеряные.

Я пытался следовать этим советам, но всегда или горелых ив оказывалось несколько, или не было никакого приметного холмища, и я, махнув рукой на рассказы туземцев, полагался только на собственное чувство направления. Оно почти никогда не обманывало.

Туземцы всегда объясняли дорогу со страстью, с неистовым увлечением. Меня это вначале забавляло, но как-то мне самому пришлось объяснять дорогу на озеро Сегден поэту Симонову, и я поймал себя на том, что рассказывал ему о приметах этой запутанной дороги с такой же страстью, как и туземцы.

Каждый раз, когда объясняешь дорогу, как будто снова проходишь по ней, по всем этим привольным местам, по лесным проселкам, усеянным цветами бессмертника, и снова испытываешь легкость на душе. Эта легкость всегда приходит к нам, когда путь далек и нет на сердце забот.

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ПРИМЕТАХ

Чтобы не заблудиться в лесах, надо знать приметы. Находить приметы или самим создавать их — очень увлекательное занятие. Мир примет бесконечно разнообразен. Бывает очень радостно, когда одна и та же примета сохраняется в лесах год за годом — каждую осень встречаешь все тот же огненный куст рябины за Лариным прудом или все ту же зарубку, сделанную тобой на сосне. С каждым летом зарубка все сильнее заплывает твердой золотистой смолой.

Приметы на дорогах — это не главные приметы. Настоящими приметами считаются те, которые определяют погоду и время.

Примет так много, что о них можно было бы написать целую книгу. В городах приметы нам не нужны. Огненную рябину заменяет эмалированная синяя табличка с названием улицы. Время узнается не по высоте солнца, не по положению созвездий и даже не по петушиным крикам, а по часам. Предсказания погоды передаются по радио. В городах большинство наших природных инстинктов погружается в спячку. Но стоит провести две-три ночи в лесу, и снова обостряется слух, зорче делается глаз, тоньше обоняние.

Приметы связаны со всем: с цветом неба, с росой и туманами, с криком птиц и яркостью звездного света.

В приметах заключено много точного знания и поэзии. Есть приметы простые и сложные. Самая простая примета — это дым костра. То он подымается столбом к небу, спокойно струится вверх, выше самых высоких ив, то стелется туманом по траве, то мечется вокруг

огня. И вот к прелести ночного костра, к горьковатому запаху дыма, треску сучьев, перебеганию огня и пушистому белому пеплу присоединяется еще и знание завтрашней погоды.

Глядя на дым, можно точно сказать, будет ли завтра дождь, ветер, или снова, как сегодня, солнце подымется в глубокой тишине, в синих прохладных туманах. Безветрие и теплоту предсказывает и вечерняя роса. Она бывает такой обильной, что даже блестит ночью, отражая свет звезд. И чем обильнее роса, тем жарче будет завтрашний день.

Это все очень несложные приметы. Но есть приметы сложные и точные. Иногда небо вдруг кажется очень высоким, а горизонт сжимается, кажется близким, до горизонта как будто не больше километра. Это признак будущей ясной погоды.

Иногда в безоблачный день вдруг перестает брать рыба. Реки и озера мертвеют, как будто из них навсегда ушла жизнь. Это верный признак близкого и длительного ненастья. Через день-два солнце взойдет в багровой зловещей мгле, а к полудню черные облака почти коснутся земли, задует сырой ветер и польются томительные, нагоняющие сон обложные дожди.

ВОЗВРАЩЕНИЕ К КАРТЕ

Я вспомнил о приметах и отвлекся от карты Мещорского края.

Изучение незнакомого края всегда начинается с карты. Это занятие не менее интересное, чем изучение примет. По карте можно странствовать так же, как по земле, но потом, когда попадаешь на эту настоящую землю, сразу же сказывается знание карты — уже не бродишь вслепую и не тратишь времени на пустяки.

На карте Мещорского края внизу, в самом дальнем углу, на юге, показан изгиб большой полноводной реки. Это Ока. К северу от Оки тянется лесистая и бо-

лотистая низина, к югу — давно обжитые, населенные рязанские земли. Ока течет по рубежу двух совершенно разных, очень непохожих пространств.

Рязанские земли хлебные, желтые от ржаных полей, кудрявые от яблоневых садов. Околицы рязанских деревень часто сливаются друг с другом, деревни разбросаны густо, и нет такого места, откуда бы не была видна на горизонте одна, а то и две-три еще уцелевшие колокольни. Вместо лесов по склонам логов шумят березовые рощи.

Рязанская земля — земля полей. К югу от Рязани уже начинаются степи.

Но стоит переправиться на пароме через Оку, и за широкой полосой приокских лугов уже стоят темной стеной Мещорские сосновые леса. Они идут к северу и востоку, в них синеют круглые озера. Эти леса скрывают в своей глубине громадные торфяные болота.

На западе Мещорского края, на так называемой Боровой стороне, среди сосновых лесов лежат в мелколесье восемь боровых озер. К ним нет ни дорог, ни троп, и добраться до них можно только через лес по карте и компасу.

У этих озер одно очень странное свойство: чем меньше озеро, тем оно глубже. В большом Митинском озере всего четыре метра глубины, а в маленьком Удемном — семнадцать метров.

МШАРЫ

К востоку от Боровых озер лежат громадные мещорские болота — «мшары» или «омшары». Это заросшие в течение тысячелетий озера. Они занимают площадь в триста тысяч гектаров. Когда стоишь среди такого болота, то по горизонту ясно виден бывший высокий берег озера—«материк»—с его густым сосновым лесом. Кое-где на мшарах видны песчаные бугры, поросшие сосняком и папоротником, — бывшие острова. Местные жители до сих пор так и зовут эти бугры «островами». На «островах» ночуют лоси.

Как-то в конце сентября мы шли мшарами к Поганому озеру. Озеро было таинственное. Бабы рассказывали, что по его берегам растут клюква величиной с орех и поганые грибы «чуть поболее телячьей головы». От этих грибов озеро и получило свое название. На Поганое озеро бабы ходить опасались — около него были какие-то «зеленущие трясины».

— Как ступишь ногой,— рассказывали бабы,— так вся земля под тобой ухнет, загудит, заколышется, как зыбка, ольха закачается, и вода ударит из-под лаптей, прыснет в лицо. Ей-богу! Прямо такие страсти — сказать невозможно. А самое озеро без дна, черное. Ежели какая молодая бабенка на него глянет — враз сомлеет.

— Отчего сомлеет?

— От страху. Так тебя страхом и дерет по спине, так и дерет. Мы как на Поганое озеро наткнемся, так бяжим от него, бяжим до первого острова, там только и отдышимся.

Бабы нас раззадорили, и мы решили обязательно дойти до Поганого озера. По пути мы заночевали на Черном озере. Всю ночь шумел по палатке дождь. Вода тихо ворчала в корнях. В дожде, в непроглядном мраке выли волки.

Черное озеро было налито вровень с берегами. Казалось, стоит подуть ветру или усилиться дождю, и вода затопит мшары и нас вместе с палаткой и мы никогда не выйдем из этих низких, угрюмых пустошей.

Всю ночь мшары дышали запахом мокрого мха, коры, черных коряг. К утру дождь прошел. Серое небо низко провисало над головой. От того, что облака почти касались верхушек берез, на земле было тихо и тепло. Слой облаков был очень тонок — сквозь него просвечивало солнце.

Мы свернули палатку, взвалили на себя рюкзаки и пошли. Идти было трудно. Прошлым летом по мшарам прошел низовой пожар. Корни берез и ольхи подгорели, деревья свалились, и мы каждую минуту должны были перелезать через большие завалы. Шли мы по кочкам, а между кочками, там, где кисла рыжая вода, торчали острые, как колья, корни берез. Их зовут в Мещорском крае колками.

Мшары заросли сфагнумом, брусникой, гонобобелем, кукушкиным льном. Нога тонула в зеленых и серых мхах по самое колено.

За два часа мы прошли только два километра. Впереди показался «остров». Из последних сил, перелезая через завалы, изодранные и окровавленные, мы добрались до лесистого бугра и упали на теплую землю, в заросли ландышей. Ландыши уже созрели — меж широких листьев висели твердые оранжевые ягоды. Сквозь ветки сосен просвечивало бледное небо.

С нами был писатель Гайдар. Он обошел весь «остров». «Остров» был небольшой, со всех сторон его окружали мшары, только далеко на горизонте были видны еще два «острова».

Гайдар закричал издали, засвистел. Мы нехотя встали, пошли к нему, и он показал нам на сырой земле, там, где «остров» переходил в мшары, громадные свежие следы лося. Лось, очевидно, шел большими скачками.

— Это его тропа на водопой, — сказал Гайдар.

Мы пошли по лосиному следу. У нас не было воды, хотелось пить. В ста шагах от «острова» следы привели нас к небольшому «окну» с чистой, холодной водой. Вода пахла йодоформом. Мы напились и вернулись обратно.

Гайдар пошел искать Поганое озеро. Оно лежало где-то рядом, но его, как и большинство озер во мшарах, было очень трудно найти. Озера окружены такими густыми зарослями и высокой травой, что можно пройти в нескольких шагах и не заметить воды.

Гайдар не взял компаса, сказал, что найдет обратную дорогу по солнцу, и ушел. Мы лежали на мху, слушали, как падают с веток старые сосновые шишки. Какой-то зверь глухо протрубил в дальних лесах.

Прошел час. Гайдар не возвращался. Но солнце было еще высоко, и мы не тревожились — Гайдар не мог не найти дорогу обратно.

Прошел второй час, третий. Небо над мшарами стало бесцветным; потом серая стена, похожая на дым,

медленно наползла с востока. Низкие облака закрыли небо. Через несколько минут солнце исчезло. Только сухая мгла стлалась над мшарами.

Без компаса в такой мгле нельзя было найти дорогу. Мы вспомнили рассказы о том, как в бессолнечные дни люди кружили в мшарах на одном месте по нескольку суток.

Я влез на высокую сосну и стал кричать. Никто не отзывался. Потом очень далеко откликнулся чей-то голос. Я прислушался, и неприятный холод прошел по спине: в мшарах, как раз в той стороне, куда ушел Гайдар, уныло подвывали волки.

Что же делать? Ветер дул в ту сторону, куда ушел Гайдар. Можно было разжечь костер, дым потянуло бы в мшары, и Гайдар мог бы вернуться на «остров» по запаху дыма. Но этого нельзя было делать. Мы не условились об этом с Гайдаром. В болотах часто бывают пожары. Гайдар мог принять этот дым за приближение пожара и, вместо того чтобы идти к нам, начал бы уходить от нас, спасаясь от огня.

Пожары в высохших болотах — самое страшное, что можно испытать в этих краях. От них нельзя спастись — огонь идет очень быстро. Да и куда уйдешь, когда до горизонта лежат сухие, как порох, мхи и спастись можно, да и то не наверняка, только на «острове» — огонь почему-то обходит иногда лесистые «острова».

Мы кричали все сразу, но нам отвечали только волки. Тогда один из нас ушел с компасом в мшары — туда, где исчез Гайдар.

Спускались сумерки. Вороны летали над «островом» и каркали испуганно и зловеще.

Мы кричали отчаянно, потом все же разожгли костер — быстро темнело,—и теперь Гайдар мог выйти на огонь костра.

Но в ответ на наши крики не было слышно никакого человеческого «голоса», и только в глухие сумерки где-то около второго «острова» вдруг загудел и закрякал, как утка, рожок автомобиля. Это было нелепо и дико — откуда мог появиться автомобиль в болотах, где с трудом проходил человек?

Автомобиль явно приближался. Он гудел настойчиво, а через полчаса мы услышали треск в завалах, автомобиль крякнул в последний раз где-то совсем рядом, и из мшар вылез улыбающийся, мокрый, измученный Гайдар, а за ним и наш товарищ — тот, что ушел с компасом.

Оказывается, Гайдар слышал наши крики и все время отвечал, но ветер дул в его сторону и отгонял голос. Потом Гайдару надоело кричать, и он начал крякать — подражать автомобилю.

До Поганого озера Гайдар не дошел. Ему встретилась одинокая сосна, он влез на нее и увидел вдали это озеро. Гайдар поглядел на него, выругался, слез и пошел обратно.

— Почему? — спросили мы его.

— Очень страшное озеро, — ответил он. — Ну его к черту!

Он рассказал, что даже издали видно, какая черная, будто смола, вода в Поганом озере. Редкие больные сосны стоят по берегам, наклонившись над водой, готовые упасть от первого же порыва ветра. Несколько сосен уже упало в воду. Вокруг озера, должно быть, непроходимые трясины.

Темнело быстро, по-осеннему. Мы не остались ночевать на «острове», а пошли мшарами в сторону «материка» — лесистого берега болота. Идти в темноте по завалам было невыносимо трудно. Каждые десять минут мы проверяли направление по фосфорному компасу и только к полночи выбрались на твердую землю, в леса, наткнулись на заброшенную дорогу и поздней ночью дошли по ней к озеру Сеглен, где жил наш общий приятель Кузьма Зотов, кроткий, больной человек, рыбак и колхозник.

Я рассказал всю эту историю, в которой нет ничего особенного, только затем, чтобы дать хотя бы отдаленное понятие о том, что представляют собой мещорские болота — мшары.

На некоторых мшарах (на Красном болоте и на болоте Пильном) уже началась добыча торфа. Торф здесь старый, мощный, его хватит на сотни лет.

Да, но надо окончить рассказ о Поганом озере. На следующее лето мы все же дошли до этого озера. Берега у него были пловучие — не привычные твердые берега, а густое сплетение белокрыльника, багульника, трав, корней и мхов. Берега качались под ногами, как гамак. Под тощей травой стояла бездонная вода. Шест легко пробивал пловучий берег и уходил в трясину. При каждом шаге фонтаны теплой воды били из-под ног. Останавливаться было нельзя: ноги засасывало и следы наливались водой.

Вода в озере была черная. Со дна пузырями поднимался болотный газ.

Мы удили на этом озере окуней. Мы привязывали длинные лески к кустам багульника или к деревцам молодой ольхи, а сами сидели на поваленных соснах и курили, пока куст багульника не начинал рваться и шуметь или не сгибалось и трещало деревцо ольхи. Тогда мы лениво подымались, тащили за леску и выволакивали на берег жирных черных окуней. Чтобы они не уснули, мы клали их в свои следы, в глубокие ямы, налитые водой, и окуни били в воде хвостами, плескались, но уйти никуда не могли.

В полдень над озером собралась гроза. Она росла на глазах. Маленькое грозовое облако превратилось в зловещую тучу, похожую на наковальню. Она стояла на месте, не хотела уходить.

Молнии хлестали в мшары рядом с нами, и на душе у нас было неважно.

Больше на Поганое озеро мы не ходили, но все же заслужили у баб славу людей отпетых, готовых на все.

— Вовсе отчаянные мужчины, — говорили они нараспев. — Ну такие отчаянные, такие отчаянные, прямо слов нету!

ЛЕСНЫЕ РЕКИ И КАНАЛЫ

Я снова отвлекся от карты. Чтобы покончить с ней, надо сказать о могучих массивах лесов (они заливают всю карту зеленой тусклой краской), о загадочных белых пятнах в глубине лесов и о двух реках — Со-

лотче и Пре, текущих на юг через леса, болота и гари.

Солотча — извилистая, неглубокая река. В ее бочагах стоят под берегами стаи язей. Вода в Солотче красного цвета. Такую воду крестьяне зовут «суровой». На всем протяжении реки только в одном месте к ней подходит неведомо куда ведущая дорога, и при дороге стоит одинокий постоялый двор.

Пра течет из озер северной Мещоры в Оку. Деревень по берегам очень мало. В старое время на Пре, в дремучих лесах, селились раскольники.

В городе Спас-Клепики, в верховьях Пры, работает старинная ватная фабрика. Она спускает в реку хлопковые очесы, и дно Пры около Спас-Клепиков покрыто толстым слоем слежавшейся черной ваты. Это, должно быть, единственная река в Советском Союзе с ватным дном.

Кроме рек, в Мещорском крае много каналов.

Еще при Александре II генерал Жилинский решил осушить мещорские болота и создать под Москвой большие земли для колонизации. В Мещору была отправлена экспедиция. Она работала двадцать лет и осушила только полторы тысячи гектаров земли, но на этой земле никто не захотел селиться — она оказалась очень скудной.

Жилинский провел в Мещоре множество каналов. Сейчас каналы эти заглохли и заросли болотными травами. В них гнездятся утки, живут ленивые лини и верткие вьюны.

Каналы эти очень живописны. Они уходят в глубь лесов. Заросли свисают над водой темными арками. Кажется, что каждый канал ведет в таинственные места. По каналам, особенно весною, можно пробираться в легком челне на десятки километров.

Сладковатый запах водяных лилий смешан с запахом смолы. Иногда высокие камыши перегораживают каналы сплошными плотинами. По берегам растет белокрыльник. Листья его немного похожи на листья ландыша, но на одном листе прорисована

широкая белая полоса, и издали кажется, что это цветут громадные снежные цветы. Папоротник, ежевика, хвощи и мох наклоняются с берегов. Если задеть рукой или веслом за космы мха, из него вылетает густым облаком яркая изумрудная пыль — споры кукушкиного льна. Розовый кипрей цветет невысокими стенами. Оливковые жуки-плавунцы ныряют в воде и нападают на стаи мальков. Иногда приходится тащить челн волоком по мелкой воде. Тогда плавунцы до крови кусают ноги.

Тишина нарушается только звоном комаров и всплесками рыб.

Плавание всегда приводит к неизвестной цели — к лесному озеру или к лесной реке, несущей чистую воду над хрящеватым дном.

На берегах этих рек в глубоких норах живут водяные крысы. Есть крысы, совершенно седые от старости.

Если тихо следить за норой, то можно увидеть, как крыса ловит рыбу. Она выползает из норы, ныряет очень глубоко и выплывает со страшным шумом. На широких водяных кругах качаются желтые кувшинки. Во рту крыса держит серебряную рыбу и плывет с ней к берегу. Когда рыба бывает больше крысы, борьба длится долго, и крыса вылезает на берег усталая, с красными от злости глазами.

Чтобы легче было плавать, водяные крысы отгрызают длинный стебель куги и плавают, держа его в зубах. Стебель куги полон воздушных ячеек. Он прекрасно держит на воде даже не такую тяжесть, как крыса.

Жилинский пытался осушить болота Мещоры. Из этой затеи ничего не вышло. Почва Мещоры — это торф, подзол и пески. На песках хорошо родится только картошка. Богатство Мещоры не в земле, а в лесах, в торфе и в заливных лугах по левому берегу Оки. Эти луга иные ученые сравнивают по плодородию с поймой Нила. Луга дают великолепное сено.

ЛЕСА

Мещора — остаток лесного океана. Мещорские леса величественны, как кафедральные соборы. Даже старый профессор, ничуть не склонный к поэзии, написал в исследовании о Мещорском крае такие слова: «Здесь в могучих сосновых борах так светло, что на сотни шагов вглубь видно пролетающую птицу».

По сухим сосновым борам идешь, как по глубокому дорогому ковру, — на километры земля покрыта сухим, мягким мхом. В просветах между соснами косыми срезами лежит солнечный свет. Стаи птиц со свистом и легким шумом разлетаются в стороны.

В ветер леса шумят. Гул проходит по вершинам сосен, как волны. Одинокий самолет, плывущий на головокружительной высоте, кажется миноносцем, наблюдаемым со дна моря.

Простым глазом видны мощные воздушные токи. Они подымаются от земли к небу. Облака тают, стоя на месте. Сухое дыхание лесов и запах можжевельника, должно быть, доносятся и до самолетов.

Кроме сосновых лесов, мачтовых и корабельных, есть леса еловые, березовые и редкие пятна широколиственных лип, вязов и дубов. В дубовых перелесках нет дорог. Они непроезжи и опасны из-за муравьев. В знойный день пройти через дубовую заросль почти невозможно: через минуту все тело, от пяток до головы, покроют рыжие злые муравьи с сильными челюстями. В дубовых зарослях бродят безобидные медведи-муравьятники. Они расковыривают старые пни и слизывают муравьиные яйца.

Леса в Мещоре разбойничьи, глухие. Нет большего отдыха и наслаждения, чем идти весь день по этим лесам, по незнакомым дорогам к какому-нибудь дальнему озеру.

Путь в лесах — это километры тишины, безветрия. Это грибная прель, осторожное перепархивание птиц. Это липкие маслюки, облепленные хвоей, жесткая трава, холодные белые грибы, земляника, лиловые колокольчики на полянах, дрожь осиновых листьев,

торжественный свет и наконец лесные сумерки, когда из мхов тянет сыростью и в траве горят светляки.

Закат тяжело пылает на кронах деревьев, золотит их старинной позолотой. Внизу, у подножия сосен, уже темно и глухо. Бесшумно летают и как будто заглядывают в лицо летучие мыши. Какой-то непонятный звон слышен в лесах — звучание вечера, догоревшего дня.

А вечером блеснет, наконец, озеро, как черное, косо поставленное зеркало. Ночь уже стоит над ним и смотрит в его темную воду — ночь, полная звезд. На западе еще тлеет заря, в зарослях волчьих ягод кричит выпь, и на мшарах бормочут и возятся журавли, обеспокоенные дымом костра.

Всю ночь огонь костра то разгорается, то гаснет. Листва берез висит не шелохнувшись. Роса стекает по белым стволам. И слышно, как где-то очень далеко — кажется, за краем земли — хрипло кричит старый петух в избе лесника.

В необыкновенной, никогда не слыханной тишине зарождается рассвет. Небо на востоке зеленеет. Голубым хрусталем загорается на заре Венера. Это лучшее время суток. Еще все спит. Спит вода, спят кувшинки, спят, уткнувшись носами в коряги, рыбы, спят птицы, и только совы летают около костра медленно и бесшумно, как комья белого пуха.

Котелок сердится и бормочет на огне. Мы почему-то говорим шепотом — боимся спугнуть рассвет. С жестяным свистом проносятся тяжелые утки. Туман начинает клубиться над водой. Мы наваливаем в костер горы сучьев и смотрим, как подымается огромное белое солнце — солнце бесконечного летнего дня.

Так мы живем в палатке на лесных озерах по нескольку дней. Наши руки пахнут дымом и брусникой — этот запах не исчезает неделями. Мы спим по два часа в сутки и почти не знаем усталости. Должно быть, два-три часа сна в лесах стоят многих часов сна в духоте городских домов, в спертом воздухе асфальтовых улиц.

Однажды мы ночевали на Черном озере, в высоких зарослях, около большой кучи старого хвороста.

Мы взяли с собой резиновую надувную лодку и на рассвете выехали на ней за край прибрежных кувшинок — ловить рыбу. На дне озера толстым слоем лежали истлевшие листья, и в воде плавали коряги.

Внезапно у самого борта лодки вынырнула громадная горбатая спина черной рыбы с острым, как кухонный нож, спинным плавником. Рыба нырнула и прошла под резиновой лодкой. Лодка закачалась. Рыба вынырнула снова. Должно быть, это была гигантская щука. Она могла задеть резиновую лодку пером и распороть ее, как бритвой.

Я ударил веслом по воде. Рыба в ответ со страшной силой хлестнула хвостом и снова прошла под самой лодкой. Мы бросили удить и начали грести к берегу, к своему биваку. Рыба шла рядом с лодкой.

Мы въехали в прибрежные заросли кувшинок и готовились пристать, но в это время с берега раздалось визгливое тявканье и дрожащий, хватающий за сердце вой. Там, где мы спускали лодку, на берегу, на примятой траве стояла, поджав хвост, волчица с тремя волчатами и выла, подняв морду к небу. Она выла долго и скучно: волчата визжали и прятались за мать. Черная рыба снова прошла у самого борта и зацепила пером за весло.

Я бросил в волчицу тяжелым свинцовым грузилом. Она отскочила и рысцой побежала от берега. И мы увидели, как она пролезла вместе с волчатами в круглую нору в куче хвороста невдалеке от нашей палатки.

Мы высадились, подняли шум, выгнали волчицу из хвороста и перенесли бивак на другое место.

Черное озеро названо так по цвету воды. Вода в нем черная и прозрачная.

В Мещоре почти у всех озер вода разного цвета. Больше всего озер с черной водой. В иных озерах (например, в Черненьком) вода напоминает блестящую тушь. Трудно, не видя, представить себе этот насыщенный, густой цвет. И вместе с тем вода в этом озере, так же как и в Черном, совершенно прозрачная.

Этот цвет особенно хорош осенью, когда на черную воду слетают желтые и красные листья берез и осин.

Они устилают воду так густо, что челн шуршит по листве и оставляет за собой блестящую черную дорогу.

Но этот цвет хорош и летом, когда белые лилии лежат на воде, как на необыкновенном стекле. Черная вода обладает великолепным свойством отражения: трудно отличить настоящие берега от отраженных, настоящие заросли — от их отражения в воде.

В Урженском озере вода фиолетовая, в Сегдене — желтоватая, в Великом озере — оловянного цвета, а в озерах за Прой — чуть синеватая. В луговых озерах летом вода прозрачная, а осенью приобретает зеленоватый морской цвет и даже запах морской воды.

Но большинство озер — черные. Старики говорят, что чернота вызвана тем, что дно озер устлано толстым слоем опавших листьев. Бурая листва дает темный настой. Но это не совсем верно. Цвет объясняется торфяным дном озер — чем старее торф, тем темнее вода.

Я упомянул о мещорских челнах. Они похожи на полинезийские пироги. Они выдолблены из одного куска дерева. Только на носу и на корме они склепаны коваными гвоздями с большими шляпками.

Челн очень узок, легок, поворотлив, на нем можно пройти по самым мелким протокам.

ЛУГА

Между лесами и Окой тянутся широким поясом заливные луга.

В сумерки луга похожи на море. Как в море, садится солнце в травы, и маяками горят сигнальные огни на берегу Оки. Так же, как в море, над лугами дуют свежие ветры и высокое небо опрокинулось бледной зеленеющей чашей.

В лугах тянется на много километров старое русло Оки. Его зовут Прорвой.

Это заглохшая, глубокая и неподвижная река с крутыми берегами. Берега заросли высокими, ста-

рыми, в три обхвата, осокорями, столетними ивами, шиповником, зонтичными травами и ежевикой.

Один плес на этой реке мы назвали «Фантастической Прорвой», потому что нигде и никто из нас не видел таких огромных, в два человеческих роста, репейников, голубых колючек, такой высокой медуницы и конского щавеля и таких исполинских грибов-дождевиков, как на этом плесе.

Густота трав в иных местах на Прорве такая, что с лодки нельзя высадиться на берег, — травы стоят непроходимой упругой стеной. Они отталкивают человека. Травы перевиты предательскими петлями ежевики, сотнями опасных и колких силков.

Над Прорвой часто стоит легкая дымка. Цвет ее меняется от времени дня. Утром — это голубой туман, днем — белесая мгла, и лишь в сумерки воздух над Прорвой делается прозрачным, как ключевая вода. Листва осокорей едва трепещет, розовая от заката, и в омутах гулко бьют прорвинские щуки.

По утрам, когда нельзя пройти по траве и десяти шагов, чтобы не промокнуть до нитки от росы, воздух на Прорве пахнет горьковатой ивовой корой, травянистой свежестью, осокой. Он густ, прохладен и целителен.

Каждую осень я провожу на Прорве в палатке по многу суток. Чтобы получить отдаленное представление о том, что такое Прорва, следует описать хотя бы один прорвинский день. На Прорву я приезжаю на лодке. Со мной палатка, топор, фонарь, рюкзак с продуктами, саперная лопатка, немного посуды, табак, спички и рыболовные принадлежности: удочки, донки, переметы, жерлицы и, самое главное, банка с червяками-подлистниками. Их я собираю в старом саду под кучами палых листьев.

На Прорве у меня есть уже свои любимые, всегда очень глухие места. Одно из них — это крутой поворот реки, где она разливается в небольшое озеро с очень высокими, заросшими лозой берегами.

Там я разбиваю палатку. Но прежде всего я таскаю сено. Да, сознаюсь, я таскаю сено из ближайшего стога, но таскаю очень ловко, так, что даже

самый опытный глаз старика колхозника не заметит в стогу никакого изъяна. Сено я подкладываю под брезентовый пол палатки. Потом, когда я уезжаю, я отношу его обратно.

Палатку надо натягивать так, чтобы она гудела, как барабан. Потом ее надо окопать, чтобы во время дождя вода стекала в канавы по бокам палатки и не подмочила пол.

Палатка устроена. В ней тепло и сухо. Фонарь «летучая мышь» висит на крючке. Вечером я зажигаю его и даже читаю в палатке, но читаю обыкновенно недолго — на Прорве слишком много помех: то за соседним кустом начнет кричать коростель, то с пушечным гулом ударит пудовая рыба, то оглушительно выстрелит в костре ивовый прут и разбрызжет искры, то над зарослями начнет разгораться багровое зарево и мрачная луна взойдет над просторами вечерней земли. И сразу же стихнут коростели и перестанет гудеть в болотах выпь — луна подымается в настороженной тишине. Она появляется, как владетель этих темных вод, столетних ив, таинственных длинных ночей.

Шатры черных ив нависают над головой. Глядя на них, начинаешь понимать значение старых слов. Очевидно, такие шатры в прежние времена назывались «сенью». Под сенью ив... И почему-то в такие ночи созвездие Ориона называешь Стожарами, а слово «полночь», которое в городе звучит, пожалуй, как литературное понятие, приобретает здесь настоящий смысл. Вот эта тьма под ивами, и блеск сентябрьских звезд, и горечь воздуха, и далекий костер в лугах, где мальчишки сторожат коней, согнанных в ночное, — все это полночь. Где-то далеко сторож отбивает на сельской колокольне часы. Он бьет долго, мерно — двенадцать ударов. Потом снова темная тишина. Только изредка на Оке закричит заспанным голосом буксирный пароход.

Ночь тянется медленно: кажется, ей не будет конца. Сон в осенние ночи в палатке крепкий, свежий, несмотря на то, что просыпаешься через каждые два часа и выходишь посмотреть на небо — узнать, не взо-

шел ли Сириус, не видно ли на востоке полосы рассвета.

С каждым часом ночь холодеет. К рассвету воздух уже обжигает лицо легким морозом, полотнища палатки, покрытые толстым слоем хрустящего инея, чуть-чуть провисают, и трава седеет от первого утренника.

Пора вставать. На востоке уже наливается тихим светом заря, уже видны на небе огромные очертания ив, уже меркнут звезды. Я спускаюсь к реке, моюсь с лодки. Вода теплая, она кажется даже слегка подогретой.

Восходит солнце. Иней тает. Прибрежные пески делаются темными от росы.

Я кипячу крепкий чай в жестяном закопченном чайнике. Твердая копоть похожа на эмаль. В чайнике плавают перегоревшие в костре ивовые листья.

Все утро я ловлю рыбу. Я проверяю с лодки переметы, поставленные поперек реки еще с вечера. Сначала идут пустые крючки — на них всю наживку съели ерши. Но вот шнур натягивается, режет воду, и в глубине возникает живой серебряный блеск — это ходит на крючке плоский лещ. За ним виден жирный и упористый окунь, потом — щуренок с желтыми пронзительными глазами. Вытащенная рыба кажется ледяной.

К этим дням, проведенным на Прорве, целиком относятся слова Аксакова:

«На зеленом цветущем берегу, над темной глубью реки или озера, в тени кустов, под шатром исполинского осокоря или кудрявой ольхи, тихо трепещущей своими листьями в светлом зеркале воды, улягутся мнимые страсти, утихнут мнимые бури, рассыплются самолюбивые мечты, разлетятся несбыточные надежды. Природа вступит в вечные права свои. Вместе с благовонным, свободным, освежительным воздухом вдохнете вы в себя безмятежность мысли, кротость чувства, снисхождение к другим и даже к самому себе».

НЕБОЛЬШОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ ОТ ТЕМЫ

С Прорвой связано много всяких рыболовных происшествий. Об одном из них я расскажу.

Великое племя рыболовов, обитавших в селе Солотче, около Прорвы, было взволновано. В Солотчу приехал из Москвы высокий старик с длинными серебряными зубами. Он тоже ловил рыбу.

Старик ловил на спиннинг: английскую удочку с блесной — искусственной никелевой рыбкой.

Мы презирали спиннинг. Мы со злорадством следили за стариком, когда он терпеливо бродил по берегам луговых озер и, размахивая спиннингом, как кнутом, неизменно выволакивал из воды пустую блесну.

А тут же рядом Ленька, сын сапожника, таскал рыбу не на английскую леску, стоящую сто рублей, а на обыкновенную веревку. Старик вздыхал и жаловался:

— Жестокая несправедливость судьбы!

Он говорил даже с мальчишками очень вежливо, на «вы», и употреблял в разговоре старомодные, давно забытые слова. Старику не везло. Мы давно уже знали, что все рыболовы делятся на глубоких неудачников и на счастливцев. У счастливцев рыба клюет даже на дохлого червяка. Кроме того, есть рыболовы — завистники и хитрецы. Хитрецы думают, что они могут перехитрить любую рыбу, но никогда в жизни я не видел, чтобы такой рыболов перехитрил даже самого серого ерша, не говоря о плотве.

С завистником лучше не ходить на ловлю — клевать у него все равно не будет. В конце концов, похудев от зависти, он начнет подкидывать свою удочку к вашей, шлепать грузилом по воде и распугает всю рыбу.

Старику не везло. За один день он обрывал о коряги не меньше десяти дорогих блесен, ходил весь в крови и опухолях от комаров, но не сдавался.

Один раз мы взяли его с собой на озеро Сегден.

Всю ночь старик дремал у костра стоя, как лошадь: сесть на сырую землю он боялся. На рассвете я зажарил яичницу с салом. Сонный старик хотел перешагнуть через костер, чтобы достать хлеб из

сумки, споткнулся и наступил огромной ступней на яичницу.

Он выдернул ногу, вымазанную желтком, тряхнул ею в воздухе и ударил по кувшину с молоком. Кувшин треснул и рассыпался на мелкие части. И прекрасное топленое молоко с легким шорохом всосалось у нас на глазах в мокрую землю.

— Виноват! — сказал старик, извиняясь перед кувшином.

Потом он пошел к озеру, опустил ногу в холодную воду и долго болтал ею, чтобы смыть с ботинка яичницу. Две минуты мы не могли выговорить ни слова, а потом хохотали в кустах до самого полдня.

Всем известно, что раз рыболову не везет, то рано или поздно с ним случится такая хорошая неудача, что о ней будут рассказывать по деревне не меньше десяти лет. Наконец такая неудача случилась.

Мы пошли со стариком на Прорву. Луга еще не были скошены. Ромашка величиной с ладонь хлестала по ногам.

Старик шел и, спотыкаясь о травы, повторял:

— Какой аромат, граждане! Какой упоительный аромат!

Над Прорвой стояло безветрие. Даже листья ив не шевелились и не показывали серебристую изнанку, как это бывает и при легком ветре. В нагретых травах «жундели» шмели.

Я сидел на разбитом плоту, курил и следил за перяным поплавком. Я терпеливо ждал, когда поплавок вздрогнет и пойдет в зеленую речную глубину. Старик ходил по песчаному берегу со спиннингом. Я слышал из-за кустов его вздохи и возгласы:

— Какое дивное, очаровательное утро!

Потом я услышал за кустами кряканье, топот, сопенье и звуки, очень похожие на мычание коровы с завязанным ртом. Что-то тяжелое шлепнулось в воду, и старик закричал тонким голосом:

— Боже мой, какая красота!

Я соскочил с плота, по пояс в воде добрался до берега и подбежал к старику. Он стоял за кустами

у самой воды, а на песке перед ним тяжело дышала старая щука. На первый взгляд, в ней было не меньше пуда.

— Тащите ее подальше от воды! — крикнул я.

Но старик зашипел на меня и вынул дрожащими руками из кармана пенсне. Он надел его, нагнулся над щукой и начал ее рассматривать с таким восторгом, с каким знатоки любуются редкой картиной в музее.

Щука не сводила со старика злых прищуренных глаз.

— Здорово похожа на крокодила! — сказал Ленька.

Щука покосилась на Леньку, и он отскочил. Казалось, щука прохрипела: «Ну погоди, дурак, я тебе оторву уши!»

— Голубушка! — воскликнул старик и еще ниже наклонился над щукой.

Тогда и случилась та неудача, о которой до сих пор говорят по деревне.

Щука примерилась, мигнула глазом и со всего размаху ударила старика хвостом по щеке. Над сонной водой раздался оглушительный треск оплеухи. Пенсне полетело в реку. Щука подскочила и тяжело шлепнулась в воду.

— Увы! — крикнул старик, но было уже поздно.

В стороне Ленька приплясывал и кричал нахальным голосом:

— Ага! Получили! Не ло́вите, не ловите, не ловите, когда не умеете!

В тот же день старик смотал свои спиннинги и уехал в Москву. И никто больше не нарушал тишину протоков и рек, не обрывал блесной холодные речные лилии и не восторгался вслух тем, чем лучше всего восторгаться без слов.

ЕЩЕ О ЛУГАХ

В лугах очень много озер. Названия у них странные и разнообразные: Тишь, Бык, Хотец, Промоина, Канава, Старица, Музга, Бобровка, Селянское озеро и наконец Лангобардское.

На дне Хотца лежат черные мореные дубы. В Тиши всегда затишье. Высокие берега закрывают озеро от ветров. В Бобровке некогда водились бобры, а теперь гоняют мальков шелесперы. Промоина — глубокое озеро с такой капризной рыбой, что ловить ее может только человек с очень хорошими нервами. Бык — озеро таинственное, далекое, тянущееся на много километров. В нем мели сменяются омутами, но мало тени на берегах, и потому мы его избегаем. В Канаве водятся удивительные золотые лини: каждый такой линь клюет полчаса. К осени берега Канавы покрываются пурпурными пятнами, но не от осенней листвы, а от обилия очень крупных ягод шиповника.

На Старице по берегам — песчаные дюны, заросшие чернобыльником и чередой. На дюнах растет трава, ее зовут живучкой. Это плотные серо-зеленые шарики, похожие на туго закрывшуюся розу. Если вырвать такой шарик из песка и положить корнями вверх, он начинает медленно ворочаться, как перевернутый на спину жук, расправляет с одной стороны лепестки, упирается на них и переворачивается опять корнями к земле.

В Музге глубина доходит до двадцати метров. На берегах Музги во время осеннего перелета отдыхают журавлиные стаи. Селянское озеро все заросло черной кугой. В ней гнездятся сотни уток.

Как прививаются названия! В лугах около Старицы есть небольшое безыменное озеро. Мы назвали его Лангобардским в честь бородатого сторожа — «лангобарда». Он жил на берегу озера в шалаше, сторожил капустные огороды. А через год, к нашему удивлению, название привилось, но колхозники переделали его по-своему и стали называть это озеро Амбарским.

Разнообразие трав в лугах неслыханное. Нескошенные луга так душисты, что с непривычки туманится и тяжелеет голова. На километры тянутся густые, высокие заросли ромашки, цикория, клевера, дикого укропа, гвоздики, мать-и-мачехи, одуванчиков, генцианы, подорожника, колокольчиков, лютиков и десятков других цветущих трав. В травах к покосу созревает луговая клубника.

СТАРИКИ

В лугах — в землянках и шалашах — живут болтливые старики. Это или сторожа на колхозных огородах, или паромщики, или корзинщики. Корзинщики ставят шалаши около прибрежных зарослей ивняка.

Знакомство с этими стариками начинается обыкновенно во время грозы или дождя, когда приходится отсиживаться в шалашах, пока гроза не свалится за Оку или в леса и над лугами не опрокинется радуга.

Знакомство всегда происходит по раз навсегда установленному обычаю. Сначала мы закуриваем, потом идет вежливый и хитрый разговор, направленный к тому, чтобы выведать, кто мы такие, после него — несколько неопределенных слов о погоде («заладили дожжи» или, наоборот, «наконец-то обмоет траву, а то все сушь да сушь»). И только после этого беседа может свободно переходить на любую тему.

Больше всего старики любят поговорить о вещах необыкновенных: о новом Московском море, «водяных еропланах» (глиссерах) на Оке, французской пище («из лягушек уху варят и хлебают серебряными ложками»), барсучьих бегах и колхознике из-под Пронска, который, говорят, заработал столько трудодней, что купил на них автомобиль с музыкой.

Чаще всего я встречался с ворчливым дедом-корзинщиком. Жил он в шалаше на Музге. Звали его Степаном, а прозвище у него было «Борода на жердях».

Дед был худой, тонконогий, как старая лошадь. Говорил он невнятно, борода лезла в рот; ветер ворошил у деда мохнатое лицо.

Как-то я заночевал в шалаше у Степана. Пришел я поздно. Были серые теплые сумерки, перепадал нерешительный дождь. Он шумел по кустам, стихал, потом снова начинал шуметь, как будто играл с нами в прятки.

— Возится этот дождь, как дитё, — сказал Степан. — Чисто ребенок — то тут шелохнет, то там, а то и вовсе притаится, слушает наш разговор.

У костра сидела девочка лет двенадцати, светлоглазая, тихая, испуганная. Говорила она только шепотом.

— Вот, приблудилась дурочка из Заборья! — сказал ласково дед. — Телку в лугах искала-искала, да и доискалась до темноты. Прибегла на огонь к деду. Что ты с ней будешь делать.

Степан вытащил из кармана желтый огурец и дал девочке:

— Ешь, не сумлевайся.

Девочка взяла огурец, кивнула головой, но есть не стала.

Дед поставил на огонь котелок, начал варить похлебку.

— Вот, милые вы мои, — сказал дед, закуривая, — бродите вы, как нанятые, по лугам, по озерам, а того нету у вас в понятии, что были все эти луга, и озера, и леса монастырские. От самой Оки до Пры, почитай на сто верст, весь лес был монашеский. А теперь народный, теперь тот лес трудовой.

— А за что им такие леса были дадены, дедушка? — спросила девочка.

— А пес их знает, за что! Бабы-дуры говорили — за святость. Грехи они наши замаливали перед матерью божьей. А какие у нас грехи? Грехов у нас, почитай, никаких и не было. Эх, темнота, темнота!

Дед вздохнул.

— Ходил и я по церквам, был грех, — пробормотал смущенно дед. — Да что толку-то! Лапти даром уродовал.

Дед помолчал, накрошил в похлебку черного хлеба.

— Житьишко наше было плохое, — сказал он, сокрушаясь. — Не хватало ни мужикам, ни бабам счастья. Мужик еще туда-сюда — мужик, по крайности, к водке прибьется, а баба совсем пропадала. Ребята у ней были не питые, не сытые. Топталась она всю жизнь с ухватами у печки, покуль черви в глазах не заводились. Ты не смейся, ты это брось! Я верное слово сказал насчет червей. Заводились те черви в бабьих глазах от огня.

— Ужасти! — тихо вздохнула девочка.

— А ты не пужайся, — сказал дед. — У тебя черви не заведутся. Теперь девки нашли свое счастье. Ране народ думал — живет оно, счастье, на теплых водах,

в синих морях, а на поверку вышло, что живет оно здесь, в черепке, — дед постучал корявым пальцем по лбу. — Вот, к примеру, Манька Малявина. Голосистая была девчонка, и все. В старые времена она бы свой голос в одночасье проплакала, а теперь ты гляди, что получилось. Что ни день — у Малявина чистый праздник: гармонь играет, пироги пекут. А почему? Потому, милые мои, что как же ему, Ваське Малявину, не весело жить, когда Манька каждый месяц ему, старому черту, двести рублей присылает!

— Откуль? — спросила девочка.

— Из Москвы. Она в театре поет. Кто слыхал, говорят — райское пение. Прямо плачет навзрыд весь народ. Вот она какая теперь становится, бабья доля. Приезжала она прошлым летом, Манька. Так разве узнаешь! Тонкая девица, гостинец мне привезла. Пела в избе-читальне. Я до всего привычный, а прямо скажу: схватило меня за сердце, а чего — не пойму. Откуль, думаю, такая власть человеку дадена? И как это пропадала она у нас, мужиков, от нашей дурости тысячи лет! Потопчешься сейчас по земле, там послухаешь, тут поглядишь, и умирать вроде все как будто рано и рано — никак, милый, время для смерти не выберешь.

Дед снял похлебку с огня и полез в шалаш за ложками.

— Жить бы нам и жить, Егорыч, — сказал он из шалаша. — Родились мы чуть-чуть рановато. Не угадали.

Девочка смотрела в огонь светлыми, блестящими глазами и думала о чем-то о своем.

РОДИНА ТАЛАНТОВ

На краю Мещорских лесов, недалеко от Рязани, лежит село Солотча. Солотча прославлена своим климатом, дюнами, реками и сосновыми борами. В Солотче есть электричество.

Крестьянские кони, согнанные в ночное на луга, дико смотрят на белые звезды электрических фона-

рей, повисшие в далеком лесу, и всхрапывают от страха.

Я жил первый год в Солотче у кроткой старушки, старой девы и сельской портнихи, Марьи Михайловны. Ее звали вековушей — весь свой век она коротала одна, без мужа, без детей.

В ее умытой игрушечной избе тикало несколько ходиков и висели две старинные картины неизвестного итальянского мастера. Я протер их сырым луком, и итальянское утро, полное солнца и отблесков воды, наполнило тихую избу. Картину оставил отцу Марьи Михайловны в уплату за комнату неизвестный художник-иностранец. Он приезжал в Солотчу изучать тамошнее иконописное мастерство. Он был человек почти нищий и странный. Уезжая, он взял слово, что картина будет ему прислана в Москву в обмен на деньги. Денег художник не прислал — в Москве он внезапно умер.

За стеной избы по ночам шумел соседский сад. В саду стоял дом в два этажа, обнесенный глухим забором. Я забрел в этот дом в поисках комнаты. Со мной говорила красивая седая старуха. Она строго посмотрела на меня синими глазами и комнату сдать отказалась. За ее плечом я разглядел стены, увешанные картинами.

— Чей это дом? — спросил я вековушу.

— Да как же! Академика Пожалостина, знаменитого гравера. Умер он перед революцией, а старуха — его дочь. Их там две живут старухи. Одна совсем дряхлая, горбатенькая.

Я недоумевал. Гравер Пожалостин — один из лучших русских граверов, работы его разбросаны всюду: у нас, во Франции, в Англии, и вдруг — Солотча! Но вскоре я перестал недоумевать, услышав, как колхозники, копая картошку, заспорили, приедет ли в этом году в Солотчу художник Архипов, или нет.

Пожалостин — бывший пастух. Художники Архипов и Малявин, скульптор Голубкина — все из этих, рязанских мест. В Солотче почти нет избы, где не было бы картин. Спросишь: кто писал? Отвечают: дед, или отец, или брат. Солотчинцы были когда-то знаменитыми богомазами.

Имя Пожалостина до сих пор произносится с уважением. Он учил солотчан рисовать. Они ходили к нему тайком, неся завернутые в чистую тряпицу свои холсты на оценку — на хвалу или поругание.

Долго я не мог свыкнуться с мыслью, что рядом, за стеной, в темноватых комнатах старого дома, лежат редчайшие книги по искусству и медные гравированные доски. Поздно ночью я выходил к колодцу напиться воды. На срубе лежал иней, ведро обжигало пальцы, ледяные звезды стояли над безмолвным и черным краем, и только в доме Пожалостина тускло светилось окошко: дочь его читала до рассвета. Изредка она поднимала очки на лоб и прислушивалась — стерегла дом.

На следующий год я поселился у Пожалостиных. Я снял у старух старую баню в саду. Сад был заглохший, весь в сирени, в одичалом шиповнике, в яблонях и кленах, покрытых лишаями.

На стенах в пожалостинском доме висели прекрасные гравюры — портреты старомодных людей. Я никак не мог избавиться от их взглядов. Когда я чинил удочки или писал, толпа женщин и мужчин в наглухо застегнутых сюртуках, толпа семидесятых годов, смотрела на меня со стен с глубоким вниманием. Я подымал голову, встречался с глазами Тургенева или генерала Ермолова, и почему-то мне становилось неловко.

Солотчинская округа — страна талантливых людей. Недалеко от Солотчи родился Есенин.

Однажды ко мне в баню зашла старуха в паневе — принесла продавать сметану.

— Ежели тебе еще сметана потребуется, — сказала она ласково, — так ты приходи ко мне, у меня есть. Спросишь у церкви, где живет Татьяна Есенина. Тебе всякий покажет.

— Есенин Сергей не твой родственник?

— Поет? — спросила бабка.

— Да, поэт.

— Племянничек мой,— вздохнула бабка и вытерла рот концом платка. — Был он поет хороший, только больно чудной. Так ежели сметанка потребуется, ты заходи ко мне, милый.

На одном из лесных озер около Солотчи живет Кузьма Зотов. До революции Кузьма был безответный бедняк. От бедности сохранилась у него привычка говорить вполголоса, незаметно — лучше уж не говорить, а помалкивать. Но от этой же бедности, от «тараканьей жизни» сохранилось у него и упрямое желание во что бы то ни стало сделать своих детей «настоящими людьми».

В избе Зотовых появилось за последние годы много нового — радио, газеты, книги. От старого времени остался только дряхлый пес — никак не хочет умирать.

— Как его ни корми, все равно тощает, — говорит Кузьма. — Такой у него на всю жизнь завод остался бедняцкий. Кто почище одет, тех боится, хоронится под лавку. Думает — господа!

У Кузьмы трое сыновей-комсомольцев. Четвертый сын — еще совсем мальчик, Вася.

Один из сыновей, Миша, заведует опытной ихтиологической станцией на озере Великом, около города Спас-Клепики. Как-то летом Миша привез домой старую скрипку без струн — купил ее у какой-то старухи. Скрипка валялась в старухиной избе, в сундуке, — осталась от помещиков Щербатовых. Скрипка была итальянской работы, и Миша решил зимой, когда на опытной станции будет мало работы, съездить в Москву — показать ее знатокам. Играть на скрипке он не умел.

— Если окажется ценной, — сказал он мне, — подарю кому-нибудь из наших лучших скрипачей.

Второй сын, Ваня, — учитель ботаники и зоологии в большом лесном селе, за сто километров от родного озера. Во время отпуска он помогает матери по хозяйству, а в свободное время бродит по лесам или по озеру по пояс в воде, ищет какие-то редкие водоросли. Их он обещал показать своим ученикам, шустрым и страшно любопытным.

Ваня человек застенчивый. От отца к нему перешли незлобивость, расположение к людям, любовь к душевным разговорам.

Вася еще учится в школе. На озере школы нет — там всего четыре избы, — и Васе приходится бегать в школу через лес, за семь километров.

Вася знаток своих мест. Он знает каждую тропинку в лесу, каждую барсучью нору, оперение каждой птицы. Его серые прищуренные глаза обладают необыкновенной зоркостью.

Два года назад на озеро приехал из Москвы художник. Он взял себе Васю в помощники. Вася перевозил художника на челне на другой берег озера, менял ему воду для красок (художник рисовал французскими акварельными красками Лефранка), подавал из коробки свинцовые тюбики.

Однажды художника с Васей застигла на берегу гроза. Я помню ее. Это была не гроза, а стремительный, предательский ураган. Пыль, розовая от блеска молний, неслась по земле. Леса шумели так, будто океаны прорвали плотины и затапливают Мещору. Гром встряхивал землю.

Художник с Васей едва добрались до дому. В избе художник обнаружил пропажу жестяной коробки с акварелью. Краски были потеряны, великолепные краски Лефранка! Художник искал их несколько дней, но не нашел и вскоре уехал в Москву.

Через два месяца в Москве художник получил письмо, написанное большими корявыми буквами.

«Здравствуйте, — писал Вася. — Отпишите, что делать с вашими красками и как их вам переслать. Как вы уехали, я их искал две недели, все обшарил, пока нашел, только сильно простыл, потому уже были дожди, заболел и не мог вам раньше отписать. Я чуть не помер, но теперь хожу, хотя еще очень слабый. Так что не сердитесь. Папаня говорил, что было у меня воспаление в легких. Пришлите мне, если есть у вас какая возможность, книжку про всякие деревья и цветных карандашей — охота мне рисовать. У нас уже падал снег, но только стаял, а в лесу под елочкой — смотришь — и сидит заяц! Остаюсь *Вася Зотов*».

МОЙ ДОМ

Маленький дом, где я живу в Мещоре, заслуживает описания. Это бывшая баня, бревенчатая изба, обшитая серым тесом. Дом стоит в густом саду, но почему-то отгорожен от сада высоким частоколом. Этот частокол — западня для деревенских котов, любителей рыбы. Каждый раз, когда я возвращаюсь с ловли, коты всех мастей — рыжие, черные, серые и белые с подпалинами — берут дом в осаду. Они шныряют вокруг, сидят на заборе, на крышах, на старых яблонях, подвывают друг на друга и ждут вечера. Все они смотрят не отрываясь на кукан с рыбой — он подвешен к ветке старой яблони с таким расчетом, что достать его почти невозможно.

Вечером коты осторожно перелезают через частокол и собираются под куканом. Они подымаются на задние лапы, а передними делают стремительные и ловкие взмахи, стараясь зацепить кукан. Издали кажется, что коты играют в волейбол. Потом какой-нибудь наглый кот подпрыгивает, вцепляется в кукан мертвой хваткой, висит на нем, качается и старается оторвать рыбу. Остальные коты бьют от досады друг друга по усатым мордам. Кончается это тем, что я выхожу с фонарем из бани. Коты, застигнутые врасплох, бросаются к частоколу, но не успевают перелезть через него, а протискиваются между кольями и застревают. Тогда они прижимают уши, закрывают глаза и начинают отчаянно кричать, прося пощады.

Осенью весь дом засыпан листьями, и в двух маленьких комнатках становится светло, как в облетающем саду.

Трещат печи, пахнет яблоками, чисто вымытыми полами. Синицы сидят на ветках, пересыпают в горле стеклянные шарики, звенят, трещат и смотрят на подоконник, где лежит ломоть черного хлеба.

В доме я ночую редко. Большинство ночей я провожу на озерах, а когда остаюсь дома, то ночую в старой беседке в глубине сада. Она заросла диким виноградом. По утрам солнце бьет в нее сквозь пурпурную,

лиловую, зеленую и лимонную листву, и мне всегда кажется, что я просыпаюсь внутри зажженной елки. Воробьи с удивлением заглядывают в беседку. Их смертельно занимают часы. Они тикают на врытом в землю круглом столе. Воробьи подбираются к ним, слушают тиканье то одним, то другим ухом и потом сильно клюют часы в циферблат.

Особенно хорошо в беседке в тихие осенние ночи, когда в саду шумит вполголоса неторопливый отвесный дождь.

Прохладный воздух едва качает язычок свечи. Угловатые тени от виноградных листьев лежат на потолке беседки. Ночная бабочка, похожая на комок серого шелка-сырца, садится на раскрытую книгу и оставляет на странице тончайшую блестящую пыль.

Пахнет дождем — нежным и вместе с тем острым запахом влаги, сырых садовых дорожек.

На рассвете я просыпаюсь. Туман шуршит в саду. В тумане падают листья. Я вытаскиваю из колодца ведро воды. Из ведра выскакивает лягушка. Я обливаюсь колодезной водой и слушаю рожок пастуха — он поет еще далеко, у самой околицы.

Я иду в пустую баню, кипячу чай. На печке заводит свою песню сверчок. Он поет очень громко и не обращает внимания ни на мои шаги, ни на звон чашек.

Светает. Я беру весла и иду к реке. Цепной пес Дивный спит у калитки. Он бьет хвостом по земле, но не подымает головы. Дивный давно привык к моим уходам на рассвете. Он только зевает мне вслед и шумно вздыхает.

Я отплываю в тумане. Восток розовеет. Уже не доносится запах дыма сельских печей. Остается только безмолвие воды, зарослей, вековых ив.

Впереди — пустынный сентябрьский день. Впереди — затерянность в этом огромном мире пахучей листвы, трав, осеннего увядания, затишливых вод, облаков, низкого неба. И эту затерянность я всегда ощущаю как счастье.

БЕСКОРЫСТИЕ

Можно еще много написать о Мещорском крае. Можно написать, что этот край очень богат лесами и торфом, сеном и картофелем, молоком и ягодами. Но я нарочно не пишу об этом. Неужели мы должны любить свою землю только за то, что она богата, что она дает обильные урожаи и природные ее силы можно использовать для нашего благосостояния!

Не только за это мы любим родные места. Мы любим их еще за то, что, даже небогатые, они для нас прекрасны. Я люблю Мещорский край за то, что он прекрасен, хотя вся прелесть его раскрывается не сразу, а очень медленно, постепенно.

На первый взгляд — это тихая и немудрая земля под неярким небом. Но чем больше узнаешь ее, тем все больше, почти до боли в сердце, начинаешь любить эту обыкновенную землю. И если придется защищать свою страну, то где-то в глубине сердца я буду знать, что я защищаю и этот клочок земли, научивший меня видеть и понимать прекрасное, как бы невзрачно на вид оно ни было, — этот лесной задумчивый край, любовь к которому не забудется, как никогда не забывается первая любовь.

1938

ТАРАС ШЕВЧЕНКО

> Други мои, искренние мои!
> Пишите, подайте голос за эту бедную, грязную чернь! За этого поруганного, бессловесного смерда!
>
> ---
>
> О, край мой милый! Моя судьбина!
>
> *Шевченко*

Дед мой — старый николаевский солдат — любил поговорить о Тарасе Шевченко.

— Было это в давние времена, — говорил дед, — когда служил я, хлопчик, в Оренбургском крае...

Эти давние времена казались мне похожими на рисунки в старых, побуревших журналах. Они были тусклыми, выгоревшими, от них тянуло горькой плесенью.

— Было это в давние времена, — повторял дед и тщетно старался выбить трясущимися руками искру из кремня, чтобы закурить трубку, — еще при царе Николае. Стояла наша рота в Гурьеве, на реке Урале. Кругом, куда ни кинь глазом, степь да степь, одна соленая земля, одна пустынная местность. И от великой сухости пропадали в той местности солдаты.

Я смотрел на деда и удивлялся — как это у него за столько лет жизни не сошли с лица ожоги от каспийского солнца. Щеки у деда были черные, шея жилистая, привыкшая к красному солдатскому воротнику, и только в глазах поблескивала голубоватая вода — спутник дряхлости, признак недалекой смерти.

— И прогоняли в то время через Гурьев, — неторопливо говорил дед, — известного впоследствии человека, бывшего крипака Шевченко. Забрил его царь в солдаты за мужицкие песни. Гнали его, хлопчик,

на Мангышлак, в самое киргизское пекло, где тухлая вода и нет ни травы, ни лозы, никакого даже ледащего дерева. Рассказывали старослуживые солдаты, что подобрал рядовой Шевченко у нас в Гурьеве сухой прут из вербы, увез на Мангышлак, а там посадил и поливал его три года, пока не выросло из того прута шумливое дерево. В наше время солдата гоняли сквозь строй, били беспощадно мокрыми прутьями из вербы. Называлось это занятие у командиров «зеленая улица». Один такой прут и подобрал Шевченко. В память забитого тем прутом солдата он его посадил, и выросло на крови солдатской да на его слезах веселое дерево в бедняцкой закаспийской земле. И по нынешний день шумит оно листами на Мангышлаке, рассказывает про солдатскую долю. Да некому его слушать, хлопчик. Шевченко давно лежит в высокой могиле по-над Днепром, а слышно тот разговор только пескам, да сусликам, да пыльному ветру. Дует он там день и ночь с бухарской стороны. День и ночь порошит глаза, сушит горло, тоску прибавляет. А теперь, по прошествии многих времен, может, на том месте, где сажал Шевченко вербу, уже вырос сад и какая-нибудь птица сидит в том саду и свиристит в тени, в холодке, про свои птичьи небольшие дела.

Я мог слушать деда весь день. В коноплянике жужжали зеленые мухи. Горох на горячем плетне рассыхался, трещал, и струилась, шумела за плетнем по камням быстрая река Рось.

Я знал от деда, что она несла свою воду сначала к Белой Церкви, а потом в степи, где «мрияла» голубая жара и задувал с Босфора, шевелил бурьян тепловатый черноморский ветер.

После солдатчины дед чумаковал в степях, возил из Крыма на волах перекопскую желтую соль и сушеную рыбу. С тех пор осталась у него привычка петь дребезжащим голосом заунывные, как скрип чумацких возов, запорожские песни. То были песни о сиротах, о злых мачехах, о сказочных маленьких реках, текущих из вишневых садов, о могилах и ястребах. «Засинели издалече старые курганы». Потом я узнал, что это были любимые песни Шевченко.

Детство мое прошло на Украине. В мазанной мелом хате пахло глиной от чистых полов. По вечерам моя тетка Феодосия Максимовна вытаскивала из каморы, из сундука, растрепанный том «Кобзаря», читала его мне нараспев, замолкала на полуслове, снимала нагар со свечи и вытирала глаза чистой «хусткой». Я смотрел на нее с удивлением. Я не знал тогда, что она плакала о своей женской доле, похожей на долю шевченковской Катерины, о судьбе девушки, обманутой любимым. Иногда она водила меня в леваду, на маленькую могилу, заросшую выше пояса колосистой травой, и рассказывала, что под этой травой лежит такой же маленький хлопчик, как я, только сероглазый, и зовут его Петрусь.

Много лет спустя я узнал, что в леваде был похоронен «незаконный» сын Феодосии Максимовны — «байструк», как говорили по дворам злые хозяйки.

Что может быть пленительнее раннего детства, прожитого на Украине! Оно осталось в памяти, как светлая роса на синих и желтых ползучих цветах портулака, как дым соломы, застилавший осенние дни, как застенчивые грудные голоса дивчат — моих двоюродных сестер, как постоянный шум вязов над дедовским куренем.

Дед весь день сидел в курене, сторожил пасеку. Но потом оказалось, что он ничего не сторожил, а отсиживался на пасеке от дурного характера моей бабки-турчанки — женщины гневной, прокуренной до костей едким фракийским табаком.

«По прошествии многих времен», летом 1931 года, я, внук этого безответного деда, сошел со старого каспийского парохода на берег в Александровском форте (бывшем Новопетровском укреплении), на полуострове Мангышлак, в месте ссылки Тараса Шевченко.

Я вспомнил рассказы деда и разыскал в пустынном, пришибленном поселке несколько жалких деревьев. Тусклый свет поблескивал на их выгорающих листьях. Пыль лежала над горизонтом — пыль ссыльных пустынь, мертвых солончаковых пространств. По дворам ревели облезлые верблюды. Солнце казалось глазом слепого.

Я пошел в степь. Желтоватые грязные облака стояли на небе. При первом взгляде на них было ясно, что они стоят здесь неделями, месяцами, как бы прилипнув к этому сухому небу.

На земле очень редко, в ста шагах друг от друга, росли кусты горькой солянки. За холмом я наткнулся на казахскую могилу. Около выветренного камня стояла пиала с теплой водой. На пиале сидели, покачиваясь, маленькие птицы.

Я вспомнил взволнованные слова Шевченко в его дневнике о киргизских детях. Они приносят на могилы своих родных чашки с водой, чтобы птицы, залетающие в эти мертвые земли, не погибли от жажды.

Здесь, в этих местах, бродил постаревший поэт в пыльном солдатском мундире. Здесь, по приказу Николая Первого, у него отобрали единственный карандаш, чтобы он не мог ни писать, ни рисовать. Здесь он думал о детях, жалеющих маленьких птиц, тосковал о своей «прекрасной, бедной Украине во всей ее непорочной и меланхолической красоте».

Я возвращался на пароход. Я торопился. Мне казалось, что пароход может уйти раньше времени и оставить меня на этих надрывающих сердце пустырях. Тогда я понял все великое отчаяние Шевченко, томившегося здесь семь лет в ссыльной казарме, отчаяние народного певца, которому заткнули железным кляпом рот.

В старое время на полях Украины часто можно было встретить пугливых мальчиков-пастухов — босоногих, в холщовых рубашках и штанах, с торбами за спиной. В торбы полагалось прятать краюху хлеба и кусок сала. Но в них большей частью ничего не было, кроме черствой корки и щербатого ножа, чтобы вырезать из вербы свистки и свирели. Иногда в торбе попадались сухие жуки, сломанные подковы и кремни — нехитрый запас пастушьих игрушек для непонятных взрослым, удивительных игр, где главным героем было воображение.

Вот таким хлопчиком-пастушонком со старой торбой на веревочной перевязи и был в детстве Тарас Шевченко.

Детство его ничем не отличалось от детства сотен таких же боязливых, погруженных в свои детские раздумья пастушат. Детские эти раздумья были горькими, как сама судьба детей, как печально было их будущее — рекрутчина, батоги, бедность, вечный труд и, наконец, лишний рот — постылая старость. Напрасно девушки гадали о будущем по знаменитым «оракулам», напрасно видели счастливые сны. Все знали, что эти сны редко сбываются в такой клятой стране, как николаевская Россия.

Родился Тарас в семье крепостного крестьянина Григория Шевченко в селе Моринцах, Звенигородского уезда, Киевской губернии. Родился в 1814 году, когда русская армия утверждала могущество империи Александра на полях Европы и сумрачным крипакам-украинцам как будто остались на долю только воспоминания. И они вспоминали при свете каганцов Железняка и Гонту, уманскую резню, колиивщину — украинскую жакерию, когда их отцы поднялись на панов, вооруженные деревянными кольями. Среди этих рассказов о потерянной вольности, среди гнева на панщину и вырос Шевченко.

Семья Шевченко принадлежала помещику Энгельгардту — «напыщенному и ничтожному животному», по отзывам беспристрастных современников. Но у этого ничтожества была железная рука. Шевченко с ненавистью вспоминал о ней до конца жизни.

Когда Тарасу пошел девятый год, умерла его мать. Отец, переехавший в деревню Кирилловку, женился на вдове с детьми. У маленького Тараса началась сиротская жизнь, полная обид, невыплаканных слез.

Об этой жизни было сложено много песен в тогдашней сирой России. О сиротах гнусавили убогие люди на папертях сельских церквей, о сиротах пели слепцы-кобзари по ярмаркам. И пели недаром. Песни о сиротстве детей выдавали потаенные думы о сиротстве народа. Слепые певцы, может быть сами того не зная, пели грозные и мрачные песни о великой народной печали.

Единственной утешительницей маленького Тараса была старшая сестра Катруся — его терпеливая, неж-

ная нянька. Она уводила его, плачущего, в леваду. Она рассказывала ему сказки о том, что небо стоит над землей на высоких синих столбах. Если идти и день и два, то подойдешь к этим столбам и увидишь небо так близко, что его можно будет потрогать рукой.

Мальчик затихал, слушал, а наутро убегал в степь искать эти синие небесные столбы, сбивался с дороги, засыпал, обессиленный, в бурьяне, и его привозили домой чумаки.

Через два года после смерти матери умер отец. Тарас остался круглым сиротой.

Когда перед смертью Григорий Шевченко делил между детьми свое нищенское наследство (должно быть — черную солому, холсты и казаны), он сказал, что Тарасу не надо оставлять ничего, потому что Тарас — мальчик не такой, как все: выйдет из него или замечательный человек, или большой негодяй, — ни тому, ни другому бедняцкое наследство не понадобится.

Мачеха, чтобы избавиться от пасынка, отдала его в пастухи. Пастухом Тарас был плохим. Пасти овец и свиней ему мешало живое воображение. Мальчик часами лежал на старых могилах, разглядывал небо, рассматривал украденную у дьячка книгу с картинками или играл сам с собою в тихие игры.

Пришлось взять его из пастухов и отдать в ученье к сельским дьячкам. Их было несколько, этих спившихся учителей грамоты. Они заставляли Тараса добывать им водку и читать по ночам псалтырь над покойниками.

Двенадцатилетним мальчиком Тарас уже знал всю невеселую судьбу крепостного: от рождения и до последней гробовой его свечи. Смерть казалась отдыхом. В прибранной пустой хате лежал восковой человек. Его черные заскорузлые руки впервые в жизни были бездельно сложены на груди. Ему не надо было вставать до рассвета, идти на барщину, подымать сохой неподатливую землю, думать все одну и ту же унылую думу, как прокормить жену и детей.

Потрескивала свеча. Воск капал на тонкие страницы псалтыри. Привычно вздыхали женщины, и го-

лос Тараса бормотал неясные утешения о светлых местах, где будет покоиться рядом с умершими панами душа крипака, потому что, как учила церковь, все люди после смерти становятся братьями.

Уже с этих лет Тарас невзлюбил подневольную крестьянскую жизнь. Все попытки мачехи и брата приучить его к хлеборобству наталкивались на безмолвное сопротивление. Уже с этих лет Тарас мечтал о живописи. Он украл у учителя-дьячка пять копеек, купил на них бумаги, сшил тетрадь и разрисовал ее цветами и узорами.

В конце концов Тарас не выдержал ежедневных побоев дьячка и ночных бдений над покойниками, сбежал из своей деревни и начал бродить по окрестным селам, разыскивать учителя живописи.

Живописью занимались все те же пьяницы дьячки, писавшие иконы для церквей. Иные брали к себе Тараса в ученье, но заставляли его батрачить или без конца тереть краски; другие прогоняли его в первый же день, считая ни к чему не способным. Только маляр в селе Хлипновке взялся испытать приблудного мальчика. Две недели он заставлял его рисовать, потом сказал, что из Тараса выйдет хороший художник, но взять его в обучение он боится, потому что Тарас — беглый крипак. Маляр потребовал у Тараса письменного разрешения от помещика Энгельгардта.

Тарас простодушно пошел за разрешением к управляющему имениями Энгельгардта. Тот посмотрел его рисунки и отправил Тараса на господскую дворню.

В то время Энгельгардту, жившему в Вильно, понадобились новые слуги. Тараса посадили на телегу вместе с другими дворовыми и отправили в далекую Литву. В донесении Энгельгардту о новых слугах управляющий против имени Тараса написал: «Годен на комнатного живописца».

В 1829 году в Вильно стояла снежная зима. Глубокие снега приглушали звон католических костелов. Это не была страшная зима 1812 года, — о ней виленцы вспоминали с содроганием. Город еще жил

памятью о походе Наполеона, о балах Александра, о сражениях и гибели на обледенелых горах около Вильно всей артиллерии Наполеона — маршал Ней приказал ее сжечь.

Здесь, в Вильно, был последний привал погибавшей многоязычной армии. Еще при Шевченко в подвалах виленских монастырей находили скелеты французских солдат.

Польша волновалась. Адам Мицкевич томился в позолоченной тюремной клетке — в литературных салонах ненавистного ему Петербурга. Молодежь зачитывалась его «Конрадом Валленродом». Медленно, но явственно приближалось польское восстание.

Но мальчик Тарас ничего не знал об этом, — гораздо позже он выучил польский язык и впервые прочел Мицкевича. Сейчас он целыми днями сидел в темноватой прихожей на конике — сундуке, где хранились принадлежности лакейского звания, ждал барского оклика, подавал Энгельгардту трубки. Вместо комнатного живописца Энгельгардт сделал его комнатным казачком.

В Вильно страсть к живописи у Тараса еще усилилась. В редкие свободные часы мальчик убегал в город. В Острой Браме, в бернардинских монастырях он видел старинные иконы, написанные безвестными художниками пышно и театрально. В доме Энгельгардта он рассматривал портреты героев войны двенадцатого года и суздальские образа. В Вильно мальчик впервые полюбил архитектуру и сохранил эту любовь на всю жизнь. Потом, на Украине и в Нижнем-Новгороде, он зарисовывал старинные здания, восторгался их пропорциями, строгостью линий и позабытыми строителями этих зданий — большей частью «простыми крестьянами-холопами».

В Вильно Шевченко испытал первую любовь. Она была неудачна, как и все его увлечения. Всю жизнь он прожил бобылем.

Об этой первой любви Шевченко мы знаем мало. Он полюбил девушку польку. Встретил он ее в одном из виленских костелов. Костелы всегда были местом встреч, взглядов, мимолетных и неясных знакомств.

Девушка была «вольная». Тарас был холоп. В этом одном уже заключалась безысходность его первой любви.

В палатах помещика Тарас впервые понял, как он унижен. У него появилась ясная мысль о необходимости освобождения холопов. Мысль эта росла, крепла, закалялась на протяжении жизни и сделала из безвестного мальчика великого «мужицкого поэта» и революционера.

Зимой в Вильно гремели балы. Паркеты дрожали от танцев, сияли под потолками тяжелые люстры, звенели шпоры. Ветер от шелковых шлейфов холодил ноги старикам, глядевшим на танцы из кресел. Крепостные музыканты надрывались на хорах, выдувая из флейт и кларнетов бешеные темпы мазурки.

Однажды Энгельгардт уехал на бал. Бал давали в день именин Николая. Челядь Энгельгардта могла, наконец, отдохнуть,—бал должен был затянуться до утра.

Когда в большом гулком доме все успокоились, Шевченко зажег свечу, прокрался в барские комнаты и начал срисовывать портрет генерала Платова.

Платов ехал по зимним полям. По обочинам дороги валялись замерзшие французы. Конь Платова гарцевал, как будто позировал мальчику.

Шевченко увлекся. Свеча оплывала. Ночь медленно приближалась к рассвету. Шевченко не слышал стука в дверь, суеты, грозных окриков Энгельгардта. Очнулся он от того, что рука барина схватила его за ухо и сбросила со стула. Взбешенный Энгельгардт кричал, что казачок палит всю ночь свечи и может сжечь дом и весь город. Тогда еще не стерлось воспоминание о пожаре Москвы, сгоревшей якобы от копеечной свечки.

— На конюшню! — кричал Энгельгардт. — Не твое холопское дело производить копии с этих портретов!

Утром Шевченко выпороли на конюшне. Порку он перенес, но несколько дней после нее думал о самоубийстве.

Через год, когда он получил от Энгельгардта новый

удар, он думал уже не о самоубийстве, а об убийстве своего барина: «С ножом в господские палаты я шел, не чувствуя земли». А через несколько лет он уже звал народ тащить на плаху первого крепостника и помещика всей России — царя Николая.

Порка не испугала Тараса, — он был тих, но упрям и продолжал втихомолку срисовывать портреты. Тогда Энгельгардт сдался. Он решил сделать из Тараса своего крепостного художника. В то время, как известно, помещики считали признаком просвещенности держать дворовых художников и время от времени засекать их до смерти.

Вблизи Москвы, в деревне Марфино — бывшем поместье князя Голицына, сохранилась около церкви могила крепостного архитектора Белозерова. Белозеров построил в Марфино церковь, но отказался, несмотря на приказ Голицына, поставить внутри церкви столбы. Столбы испортили бы легкую архитектуру. Голицын приказал засечь Белозерова, похоронить у стен построенной им церкви и выбить на могильной плите надпись о причинах его смерти в назидание непокорным холопам.

Энгельгардт вскоре переехал в Варшаву и отдал Шевченко в учение австрийскому хитроватому портретисту Лампи.

У Лампи Шевченко проучился недолго. Кончался 1830 год. Готовилось восстание. Польские полки волновались. Слово «повстание» произносилось во весь голос на городских площадях и в кофейнях. Наместник Константин заперся у себя в Бельведере. У французского консульства, где развевался трехцветный флаг, стояли возбужденные, восторженные толпы варшавян.

Энгельгардт решил бежать. Оставаться в Польше было опасно. Всю дворню он отправил в Петербург вслед за телегами, нагруженными барским добром. Стояла зима. Путь от Варшавы до Петербурга Шевченко прошел пешком.

В Петербурге Энгельгардт отдал Шевченко в учение к «комнатному живописцу» Ширяеву. Ширяев держал малярное и стекольное заведение.

Шевченко, вместе с другими учениками, жил у Ширяева на чердаке, носил ветхий тиковый халат и ходил на работу — красить стены, расписывать потолки и вывески.

Ширяев был подрядчиком. Это был человек необразованный, крутой и грубый. О том, чтобы научиться у него даже самым простым приемам живописи, нечего было и думать. Шевченко, как и все ширяевские ученики, боялся своего хозяина. Ширяев знал только один способ обучения — зуботычину.

По вечерам на чердаке у Ширяева старшие ученики рассказывали Шевченко о красотах Петербурга, о знаменитых Петергофских гуляниях и фонтанах. Громадный город — туманный и прямолинейный, холодный и блистательный — первое время пугал Шевченко. Разнообразие живописных богатств, заключенных чуть ли не в каждом доме, казалось ему сказочным после лубочных картинок, которые он воровал на Украине у своих учителей-дьячков. Все это надо было рассмотреть, изучить, срисовать.

Как-то летом Шевченко сбежал с работы и пошел пешком в Петергоф. В кармане его халата было несколько медных грошей и кусок хлеба.

В Петергофе Шевченко увидел нарядные толпы петербуржцев, любовавшихся струями воды, летевшими ввысь, к вершинам столетних деревьев, увидел Ширяева с его толстой женой, испугался и тотчас ушел обратно.

Он был так голоден и слаб, что фонтаны не произвели на него того впечатления, которого он ожидал. Кроме того, было страшно увидеть рядом с мраморными статуями и блещущими фонтанами, рядом с праздничной листвой садов тяжелое лицо самодура и кулака Ширяева.

Так жизнь шаг за шагом давала Тарасу трудные, но верные уроки. Рабство и пышные придворные праздники, тиковый халат и шелестящие наряды женщин, подрядчик, торжественно шествующий среди творений Растрелли и Воронихина, — все это возвращало мысль к обездоленности народа.

Народ, только народ имел право созерцать красоту и облагораживать себя этим созерцанием, а не Ширяевы и Энгельгардты. Надо было научиться высокому искусству живописи, чтобы отдать его народу, чтобы картины — «изящнейшие произведения человеческого духа» — висели не в дворцовых залах, а в народных галереях.

Никто не мог помочь Шевченко в трудном искусстве, и он начал изучать его сам. По пути с работы на ширяевский чердак он заходил в Летний сад и срисовывал мраморные статуи, поставленные еще во времена Елисаветы.

В Летнем саду Тарас начал писать и свои первые стихи. «О первых моих литературных опытах, — говорил он впоследствии, — скажу только, что они начались в том же Летнем саду, в светлые безлунные ночи. Украинская строгая муза долго чуждалась моего вкуса, извращенного жизнью в школе, в помещичьей передней, на постоялых дворах и в городских квартирах. Но когда дыхание свободы возвратило моим чувствам чистоту первых лет детства, проведенных под убогою батьковскою стрехою, она, спасибо ей, обняла и приласкала меня на чужой стороне».

Днем рисовать было некогда. Помогали белые ночи. Их сумрак был светел. Он не скрывал очертания статуй. Наоборот, в прозрачном блеске ночей статуи казались особенно ясными на темной листве, вычерченными более чистыми линиями, чем днем. Днем они были грубее.

Шевченко сидел около статуй и рисовал. Никто не мешал ему. Летний сад был пуст, безмолвен.

В одну из таких ночей преподаватель Академии художеств Сошенко проходил через Летний сад и увидел мальчика, сидевшего на перевернутом малярном ведре перед статуей Сатурна. Сошенко тихо подошел. Мальчик обернулся и что-то быстро спрятал за пазуху.

— Что ты здесь делаешь? — спросил Сошенко.

— Да ничего, — ответил растерянно мальчик. — Ничего я не делаю такого... Шел с работы и зашел в сад.

Сошенко молчал.

— Я рисую, — прошептал мальчик и покраснел.

— Покажи.

Мальчик показал художнику измятый набросок статуи Сатурна. Набросок был очень хорош.

Сошенко дал мальчику свой адрес и наказал непременно прийти в ближайшее воскресенье и принести свои рисунки.

С этой встречи начался перелом в жизни Шевченко. Сошенко первый открыл в Летнем саду этот «алмаз в кожухе», как он называл впоследствии Шевченко.

В первое же воскресенье Тарас пришел к Сошенко. Художник открыл ему дверь и протянул руку. Тарас схватил ее и хотел поцеловать. Сошенко вырвал руку. Тарас испугался, бросился вон из дверей и убежал.

Сошенко был возмущен «раболепием» мальчика. Он не знал, что Тарас — крепостной. Сгоряча он не понял, что запуганный мальчик хотел поцеловать ему руку не из раболепия, а из благодарности — так же, как поцеловал бы руку приласкавшего его отца.

Сошенко был взволнован не меньше Тараса. На следующий вечер он пошел в Летний сад, чтобы отыскать мальчика, и увидел его перед статуей Аполлона Бельведерского. Сошенко забрал мальчика и повел в трактир. Мальчик был худ, бледен; было видно, что он голодает.

В трактире Тарас рассказал Сошенко свою немудрую жизнь. Сошенко был в отчаянии: талантливый мальчик оказался крепостным. Не было никакой надежды вырвать его у помещика и сделать художником. Тарас смотрел в глаза Сошенко, но художник только махнул рукой.

Они молча вышли из трактира. Великолепный город лежал вокруг, расчерченный гениальными архитекторами. Казалось, неизмеримое горе было заключено в продуманной классической красоте петербургских зданий.

Около трактира встретился известный художник, старик Венецианов. Сошенко рассказал ему о Тарасе. Венецианов долго приглядывался к украинскому юноше, потом тихо сказал Сошенко:

— Добейтесь хотя бы некоторого улучшения его участи, а потом уже будем хлопотать о свободе. Все возможно на этом свете, лишь бы было непреклонное желание.

Сошенко пошел к Ширяеву. Долго он уговаривал угрюмого подрядчика отпускать Шевченко в свободное время к нему, художнику Сошенко, для обучения живописи. Ширяев подозрительно посматривал на художника и упирался. Занятие чистой живописью было, по его мнению, вредным баловством и ничего не могло принести крепостному, кроме несчастья. Но Сошенко был настойчив, и подрядчик сдался.

С тех пор Тарас все свободное время проводил в мастерской у Сошенко. Здесь он встретился с блиставшим в то время в Петербурге Карлом Брюлловым.

Имя Брюллова, недавно вернувшегося из Италии, было окружено трескучей славой. Петербуржцы знали восторженные отзывы Вальтера Скотта о полотнах Брюллова. Рассказывали, что в Риме, когда Брюллов появлялся в театре, зрители встречали его рукоплесканиями. О Брюллове создавались легенды. Его ставили в один ряд с Микеланджело и Рафаэлем. Его великолепная мастерская приводила в трепет измотанных нуждой художников и нищих учеников Академии. Пушкин восхищался Брюлловым и просил его написать портрет жены — Наташи Гончаровой.

Преклонение перед Брюлловым легко понять. Брюллов внес в русскую живопись живую нарядность и приподнятость красок. Он как бы целиком перенес в Россию вместе со своими полотнами клочок Италии. Все золотилось, смуглело, сверкало лукавством и улыбкой, театральной грацией на его холстах. Брюллову завидовал даже Кипренский.

Брюллову понравились рисунки Шевченко. Сбылось то, о чем Тарас не мог и мечтать. Один из величайших художников Европы не только держал в руках, но и искренне хвалил его «мазню».

Брюллову понравился Тарас — «мальчик с некрепостным лицом». Он заинтересовался его судьбой и обещал Сошенко подумать о ней.

После встречи с Брюлловым Тарас несколько дней ходил, ничего не видя, не слыша. Он беспричинно смеялся, забывал о работе, не замечал ругани Ширяева. Слезы радости часто появлялись у него на глазах.

Сошенко устроил так, что Тарас начал посещать классы Академии художеств. Там он рисовал античные гипсы. Он все сильнее втягивался в живопись, знакомился с вольнолюбивыми художниками, начинал понимать язык линий и следовать традициям живописного мастерства. И тем отвратительнее делалось для него прозябание раба, малярная работа, мусорный ширяевский чердак.

Брюллов рассказал о судьбе талантливого украинского юноши Жуковскому и музыканту Виельгорскому. Сообща было решено добиться освобождения Тараса.

Брюллов поехал к Энгельгардту. Он вернулся от помещика в бешенстве. «Это самая грязная свинья, какую я когда-либо встречал в жизни, — сказал он Сошенко. — Завтра он обещал назначить цену за Шевченко. Сходите к нему и узнайте, сколько он запросит».

Так начался страшный торг с Энгельгардтом за свободу Шевченко.

Сошенко сам не решился пойти к Энгельгардту. Он попросил об этом Венецианова. Сошенко думал, что Энгельгардт постыдится затеять торговлю с простодушным стариком, пользовавшимся всеобщей известностью и уважением. Венецианов охотно согласился идти к помещику, — всю жизнь он помогал людям, «впадавшим в крайность». Он считал это таким же естественным для себя делом, как и рисование картин.

Энгельгардт заставил старика Венецианова больше часа дожидаться в передней, среди челяди и лакеев. Принял он Венецианова грубо, надменно. Он не захотел слушать разговоров о талантливости Шевченко и необходимости свободы для его дальнейшего развития.

— Все это вздор! — сказал он Венецианову. — Все это филантропия! Не в том, батенька, дело.

Тогда Венецианов, краснея за собеседника, спросил, во сколько Энгельгардт оценивает свободу Шевченко.

— Наконец-то я слышу достойные слова! — воскликнул Энгельгардт и начал уклончивый разговор о том, что Шевченко ему надобен, потому что он, Энгельгардт, заказывает ему портреты знакомых и даже платит крепостному художнику за каждый портрет рубль серебром. Торг длился долго. Энгельгардт в конце концов назначил за Шевченко выкуп в две тысячи пятьсот рублей и не захотел уступить ни копейки.

Сумма была огромна. Она делала освобождение Шевченко почти невозможным. Венецианов пришел к Сошенко обескураженный и сердитый.

Снова совещались Брюллов, Сошенко, Венецианов и Жуковский и решили деньги эти достать во что бы то ни стало.

Шевченко страшно волновался. Он задумал убить Энгельгардта. Чтобы успокоить его, Сошенко добился у Ширяева отпуска для Тараса на один месяц. Но Ширяев был не такой человек, чтобы согласиться даром, — Сошенко должен был за это бесплатно написать портрет Ширяева.

Отпуск не помог Шевченко. Он знал, что нигде двух с половиной тысяч достать нельзя, что не стоит думать о свободе, и с каждым днем томился все больше. Он притих, был подавлен, растерян. Мысль об убийстве Энгельгардта он оставил: вместо свободы это принесло бы еще худшую неволю — каторгу, Сибирь.

Тоска заполняла дни. Мысли путались, и как леденящее железо входило в сердце отчаяние. Тарас не выдержал этого напряжения и заболел горячкой.

Его свезли в больницу. Гнилая весна медленно одолевала зимнюю стужу. Бурый дым падал из труб на закисающий снег. Лед на Неве чернел и трещал. С залива дули мокрые ветры.

Шевченко смотрел из окна больницы, — никакое солнце в мире, даже солнце его родной Украины не могло пробить толщу облаков, волочившихся по озябшей земле. Дни, холодные как казарма, стояли

над промозглым Петербургом. Шевченко чудилось, что худой николаевский солдат заглядывает на него в окна, не спускает с больного бескровных глаз, моргает белыми ресницами. Но за окнами никого не было, — там шел реденький снег.

Как-то ночью грозно вздохнула и грохнула Нева, — по реке двинулся лед. А утром в больницу пришел Ширяев — тихий, смущенный, совсем непохожий на прежнего матерого хозяина.

Он помял в руке черный картуз, сел и сказал:

— Ну, Тарас, не взыскивай с меня за обиду. Выкупили тебя господа художники. Теперь ты человек вольный.

Шевченко отвернулся, и губы у него задрожали.

Он не поверил хозяину. Ширяев повздыхал, потоптался — и ушел.

Вскоре пришел Сошенко. Шевченко сел на койке и спросил:

— Это правда?

— О чем ты говоришь, Тарас? — спросил Сошенко.

— Это правда, что вы... что я... — сказал Тарас и замолчал. Он боялся выговорить последнее слово — невероятное слово «свободен».

Сошенко догадался.

— Правда, Тарас, — сказал Сошенко.

Шевченко упал лицом на соломенный больничный тюфяк и зарыдал. Сошенко вынул из кармана «вольную» и отдал ее Шевченко. Тот прочел ее несколько раз, поцеловал и спрятал под подушку.

Было это 22 апреля 1838 года.

Болезнь Тараса заставила его друзей торопиться с поисками денег. Жуковский и Брюллов придумали выход. Брюллов написал портрет Жуковского. Портрет этот был разыгран в лотерею. Лотерея дала две с половиной тысячи рублей. Деньги тотчас отвезли Энгельгардту и получили от него «вольную» на «ревизскую душу крестьянина Тараса Григорьевича Шевченко».

Освобождение Шевченко почти совпало со смертью Пушкина. Пушкин умер только за год до этого. Только год назад Тарас робко вошел, вместе с притихшей тол-

пой, в небогатую квартиру поэта. Пушкин лежал в гробу, в прихожей. Витые розовые свечи горели около изголовья. В квартире был беспорядок, сопутствующий смерти.

Великий поэт напомнил Тарасу его родных крипаков, по которым он читал псалтырь, — так же было измучено его лицо, так же, должно быть впервые в жизни, были спокойно сложены на груди его сухие маленькие руки.

Тарас принес с собою лист бумаги и огрызок карандаша. Он спрятался в угол и начал срисовывать безжизненную голову поэта. Он смущался, вздрагивал, когда кто-нибудь задевал его полой тяжелой шубы.

Тогда уже Пушкин вошел в жизнь Тараса как недосягаемый друг, как величайший учитель поэзии.

Весна, наконец, победила холодную слякоть. По Неве прошел ладожский лед. Голубые дни подымались с востока и медленно уходили на запад, в тихую воду залива. Золотые шпили сверкали над шумным, оживающим городом. Шевченко был свободен.

От радости он даже не мог рисовать. Он бродил по городу, светлый, улыбающийся, часто вынимал из кармана «вольную» и перечитывал ее при свете северной ночи. Потом долго стоял задумавшись, глядел, как над островами зеленеет заря. Она казалась ему зарей его новой, удивительной жизни.

Тарас поселился у Сошенко и начал работать в Академии художеств под руководством Брюллова. С грязного чердака он перешагнул в мастерскую великого художника, где, как в лавке антиквара, были собраны превосходные вещи. Каждая из них была достойна рассказов, споров и размышлений.

В этой мастерской Тарас впервые понял прелесть бесед, переливающихся острой мыслью, шуткой, веским замечанием. Здесь вспоминали о Пушкине как о недавнем госте этой мастерской. Здесь во время работы читали вслух научные трактаты, говорили о Риме, качестве красок, рассказах Гоголя, Рембрандте и античности, музыке Гайдна и декабристах.

Брюллов открыл Шевченко свою богатую библиотеку. Шевченко впитывал содержание книг, как земля впитывает внезапный ливень. Он узнал о Гете, Шиллере, старике Гомере и Вальтере Скотте. Он изучал историю средних веков и Греции, французский язык, прошел курс зоологии, физики и анатомии.

Но особенно охотно Шевченко искал и прочитывал книги по истории Украины. Он не забыл ее в тревогах и радостях последних лет. Он всегда носил в сердце память о родных крипаках, лирниках, курганах, шумящих седою травою.

Брюллов тоже любил Украину. Тарас подолгу рассказывал ему о защитнике сельской бедноты — Кармелюке, песнях и праздниках, о мягком работящем народе, загнанном Екатериной в крепостное ярмо.

Иногда Брюллов брал Шевченко с собой в Эрмитаж или на загородные прогулки. Однажды они ездили на пароходе в Петергоф. Теперь Шевченко не был голоден. Петергоф предстал перед ним совершенно иным, чем в первый раз. Он понял прелесть этих садов, где в глубине аллей шумят балтийские волны, где морской ветер покрывает рябью пруды и из мраморных изваяний льются по ступеням, покрытым илом и бронзой, прозрачные водопады.

Эти прогулки были праздниками для Шевченко. Брюллов читал ученикам лекции о том, как живописать воду, небо, деревья и травы. Шевченко все больше привязывался к своему учителю. Почтительное, почти благоговейное отношение к Брюллову он сохранил надолго. Шевченко был тверд в привязанностях. Он прощал Брюллову все. Когда он узнал много лет спустя о скупости Брюллова, то старался внушить себе, что эта черта является только «случайной гримасой гения».

Годы учения в Академии художеств были самым легким временем в жизни Шевченко.

Он поселился в мансарде с товарищами по Академии: Михайловым и Штернбергом. Дни проходили

в посещении академических классов, в работе и чтении. Шевченко любил слушать чтение во время работы и сам любил читать вслух товарищам.

Постепенно завязывались знакомства с передовыми людьми своего времени и с украинцами, жившими в Петербурге, — писателем Гребенкой, знаменитым математиком Остроградским.

Впервые Тарас начал слушать музыку Бетховена, Гайдна, Моцарта. Музыку он любил. Она всегда напоминала ему об Украине. Из тончайших и разнообразных мелодий возникал образ певучей страны. Шевченко тосковал по ней. Припадки этой тоски приобретали характер болезни, и в эти минуты Шевченко писал на клочках бумаги первые свои украинские стихи. Поэзия уже боролась в нем с увлечением живописью. Поэзия уже стала его «странным, неугомонным призванием». Тогда же он написал свои знаменитые «Думы»:

Думы мои, думы мои,
Цветы мои, дети,
Я растил вас, я берег вас,
Где ваш кров на свете?
В край родной идите, дети,
К нам на Украину —
Под плетнями, сиротами,
А я здесь погину.
Сердце друга там найдете,
Оно не лукаво.
Чистую найдете правду,
Может быть, и славу.
Привечай же, мать отчизна,
Моя Украина,
Моих деток неразумных,
Как родного сына.

Жизнь шла легко, несмотря на отсутствие денег. Когда перепадал лишний рубль, приятели бежали в трактир «Рим» на Васильевском острове и заказывали жирные бифштексы. Однажды они украли живого гуся у смотрителя Академии. Гуся сварили в самоваре и съели, а крылья его подарили художнику Петровскому. Петровский писал конкурсную картину «Агарь в пустыне». Ему нужны были крылья какой-

нибудь большой птицы, как образец для крыльев ангела, утешающего Агарь. За свою «Агарь» Петровский получил заграничную командировку. Шевченко со смехом рассказывал всем, как гусиные крылья создали счастье художника.

В своих живописных работах Шевченко начал постепенно уходить от академичности и ложноклассической трактовки образов к ясному и простому реализму. Характерно, что один из академических этюдов Шевченко изображает нищего мальчика, который делится милостыней с бродячей собакой. Это была дань своему детству.

Шевченко получил от Академии две серебряные медали за свои работы, но работы эти его уже не радовали. Он увлекся акварельным портретом. В этой области учителем Шевченко был портретист Соколов. Тарасу нравились его просвечивающие краски, изящество рисунка.

Портреты работы Шевченко вскоре стали славиться в Петербурге. Посыпались заказы. Нужда окончилась. Шевченко стал кормильцем целой ватаги молодых художников украинцев. Он начал хорошо одеваться, бывать в театрах. Это вызвало жесткие упреки его наставника Сошенко. Он негодовал на «безалаберную жизнь» Тараса. «Мы — плебеи, — говорил Сошенко, — и вести легкомысленную жизнь нам с тобой не пристало».

Ничего странного в этом не было. Шевченко был в те годы еще настоящим ребенком. Купленный им непромокаемый плащ казался ему чем-то необыкновенным. Он гордился им и с восторгом показывал знакомым. Его, бывшего пастуха, помнившего дырявые, насквозь промокшие свитки, радовало, что вот хитрые люди придумали материю, которая и в дождь остается сухой. Недолгое увлечение Шевченко внешней стороной петербургской жизни было естественным у юноши, только что вырвавшегося из нищеты.

Оставаясь наедине с собой в пыльной комнате, заваленной начатыми холстами, Шевченко до слез грустил по Украине, и все думы, вся страсть, вся любовь были далеко от Петербурга, были со своим

обездоленным народом. Оставаясь один в своей каморке, Тарас писал стихи о родине. Над нею «орел черный сторожем летает, кобзари о ней народу песни распевают». О стихах этих никто не знал, и, может быть, о них долго бы не узнали, если бы не случай. Произошел он в конце 1839 года.

Шевченко писал портрет полтавского помещика Мартоса. Мартос приходил позировать Шевченко. Однажды Мартос заметил на полу комнаты исписанный клочок бумаги. Он поднял его — и прочел украинские стихи, поразившие Мартоса ясностью языка, певучестью, скорбью о судьбе Украины. Это был отрывок «Тарасовой ночи».

— Что это? — спросил Мартос. — Чьи это стихи?

— Мои, — неохотно ответил Шевченко. — Так... Баловство. Когда плохо делается на сердце, я и начинаю портить бумагу. У меня их много, этих стихов.

Шевченко вытащил из-под кровати корзину, доверху набитую изорванными скомканными листами, исписанными крупным неправильным почерком.

— Вот все мое добро, — сказал. — Тут сам черт вывихнет лапу.

Мартос начал разбирать рукописи. Шевченко смотрел на него с недоумением. Рукописи были в таком беспорядке, что Мартос не мог в них разобраться. Он взял их с собой, чтобы дома привести в порядок, и ушел.

Но пошел он не домой, а к украинскому писателю Гребенке. Они вдвоем разобрали рукописи, прочли их и долго молчали. Они были потрясены. Они впервые узнали о существовании большого народного поэта, чьи стихи были так неотделимы от страданий и мыслей народных, что даже не верилось, что они написаны одним человеком, а не созданы всем народом в течение многих лет на шляхах, на полях Украины.

Молчат горы, стонет море,
Могилы в тумане,
Стонут дети казацкие
Во вражеском стане.

На следующий день Мартос снова пришел к Тарасу позировать для портрета. Тарас молчал. Молчал и Мартос. Он ждал, когда Тарас спросит его о стихах. Но Тарас был угрюм, работал с ожесточением и не говорил ни слова. Наконец Мартос не выдержал.

— Прочел я ваши стихи, Тарас Григорьевич, — сказал он.

Шевченко молчал.

— Великолепные стихи! Их надо тотчас напечатать.

Шевченко испугался.

— Что вы! — заговорил он быстро и недовольно. — Какие это стихи! Засмеют меня за эти стихи, а то, пожалуй, и побьют поэты.

С большим трудом Мартосу удалось добиться от Шевченко разрешения напечатать стихи отдельной книгой. Она была названа «Кобзарь» и вышла в свет в феврале 1840 года. Вскоре вышли отдельными книгами и две великолепные поэмы Шевченко «Катерина» и «Гайдамаки».

Петербург заговорил о новом «мужицком» поэте. На Украине появление «Кобзаря» произвело впечатление потрясающее. Его выучивали наизусть, над ним плакали, его хранили в сундуках. Чудесным казалось, что из северного Петербурга раздался свободный голос бывшего раба-украинца, и голос этот прозвучал по всей стране как плач о бедняках, как призыв к освобождению от рабства.

Тогда Тарас еще не знал, что «своими стихами он сам себе кует кандалы». Узнал он об этом через несколько лет, в Петропавловской крепости. Со времени выхода «Кобзаря» Третье отделение уже тайно следило за поэтом.

Летом 1843 года сбылась, наконец, мечта Тараса. Он вернулся к себе на Украину прославленным поэтом и художником.

Поездка была связана с печатанием большого художественного альбома «Живописная Украина». В альбом должны были входить зарисовки украинских пейзажей, старых городов, быта, картины из истории Украины, написанные и выгравированные самим Шев-

ченко. Текст к гравюрам должны были писать известный историк Бодянский и украинский писатель Кулиш.

Украина встретила Тараса ласково, но вскоре же нанесла удар его юношеским представлениям о родине. Все украинцы были на отдалении одинаково милы Шевченко, как была мила сама Украина. Шевченко думал, что ее единственное несчастье заключалось в порабощении царским самодержавием. Стоило сбросить гнет царской России — и тотчас возродится былая вольность и слава, мирный труд расцветет на черноземных полях, и песни польются от края до края степей.

На Украине Шевченко был желанным гостем — и в хатах крипаков и в усадьбах помещиков-украинцев. Но как только Тарас переступил порог первого же помещичьего дома, он понял, что он крепостной, хотя и носит в кармане «вольную». Его принимали охотно, но давали временами почувствовать, что он — бывший холоп и ему не по плечу равняться со шляхтой и дворянством. Шевченко не мог смотреть в глаза казачкам, подававшим трубки, дворне, снимавшей шапки перед ним, знатным столичным человеком.

Он был костью от кости этих холопов, он был поэтом бедняцкой Украины. Ненависть к помещикам, к панам, независимо от того, кто они были — украинцы, поляки или русские, — вошла с тех пор в его сердце и крепла с каждым годом.

Он резко порвал знакомство с помещиками. В ответ на это один из помещиков, Лукашевич, прислал ему письмо. «Таких мужчин и олухов, как ты, — писал Лукашевич Шевченко, — у меня триста душ».

Однажды Шевченко гостил у полтавского помещика, «стихоплета» Родзянко, дружившего одно время даже с Пушкиным. Несмотря на кажущуюся дружбу с Пушкиным, Родзянко написал на него донос в стихах в то время, когда Пушкин был уже в ссылке. Пушкин, предупрежденный друзьями, не мог поверить этому. «Донос на человека сосланного есть последняя степень бешенства и подлости», — писал Пушкин. Он думал, что на это не способен даже Родзянко.

В доме Родзянко Шевченко увидел, как дворецкий ударил по лицу дворового мальчика. Шевченко ночью ушел из дома Родзянко, уехал в Миргород и больше с Родзянко не встречался.

Была одна только помещичья семья, с которой Шевченко мирился, — просвещенная и гуманная семья князя Репнина.

Дочь Репнина, Варвара, экзальтированная, порывистая женщина, полюбила Шевченко. Варвара была воспитана в отвращении к крепостному праву. Ее преклонение перед Шевченко — бывшим крипаком, теперешним разночинцем и талантливым поэтом — было безгранично. Она довела это преклонение до смешного. Каждая выпитая Шевченко рюмка водки, каждая вольная шутка казались ей недостойными гения и заставляли искренне и долго страдать. О своей любви она не сказала Шевченко ни слова. Это была безмолвная, но самоотверженная любовь.

Когда Шевченко был в ссылке, Варвара Репнина настойчиво хлопотала об его освобождении. Она прекратила хлопоты только после грубой угрозы со стороны Третьего отделения подвергнуть преследованию за это всю ее семью.

От идиллических мечтаний о патриархальной Украине Шевченко резко перешел к мыслям об освобождении народа от власти царя и панов. Он понял, что единственный путь к этому — восстание. Он знал, что его слова о судьбе украинских помещиков, о том, что «кровь их детей польется в далекое море сотнею рек», станут словами пророческими.

Вы, разбойники и воры,
Жадная орава!
По какому вы людскому
Божескому праву
И землей, от века общей,
И людьми живыми
Торгуете? Берегитесь,
Встретитесь вы с нами!
Он настанет, день веселый,
Вас настигнет кара,
Пламя новое повеет
С Холодного Яра!

Второй раз Шевченко приехал на Украину из Петербурга после окончания Академии художеств — весной 1844 года.

Весна стояла дружная, туманная. Полая вода задерживала Шевченко в пути. Есть нечто величавое в разливах русских рек. Они наполняют воздух самых убогих уголков земли блеском воды, отражающей весеннее небо. Блеском, похожим на блеск мелких морей, что вплотную подступили к порогам курных изб, к голым березовым рощам. Шевченко не досадовал на задержку в пути.

Он поселился в Киеве, сразу же был окружен украинской молодежью, но жил он в Киеве мало. Он исколесил всю Украину. Шевченко начал работать в археологической комиссии и по ее поручению зарисовывал памятники страны, сохранившиеся на Украине. Это дало ему прекрасное знание страны.

Он был в Подолии, на Волыни и в Полтавщине, во многих местах около Киева, в Чернигове, Нежине и Чигирине. Он напряженно работал как художник, но еще больше как поэт. В это время им была написана поэма об Яне Гусе и много стихотворений.

Однажды во время этих скитаний Шевченко попал на ярмарку в город Ромны. Здесь он увидел гоголевскую Украину.

Над Ромнами стояла непроницаемая мелкая пыль. На ярмарку пригнали громадные табуны лошадей и съехались со всей России кавалерийские ремонтеры покупать лошадей для армии. Лошадей гоняли на корде перед покупателями. Неистово кричали цыгане. Лудильщики били в медные тазы.

В ярмарочном балагане выступал знаменитый украинский актер Соленик. Это был выдающийся актер, равный Щепкину, но рано умерший. Шевченко считал его актером большего мастерства, чем Щепкин. Со Щепкиным к тому времени Шевченко познакомился и сдружился.

Выступление Соленика перед ярмарочным сборищем Шевченко воспринял как унижение театрального искусства.

В тот же вечер на ярмарке выступал хор московских цыган. Они разухабисто пели «Горные вершины»:

Не пылит дорога,
Не дрожат листы...
Погоди немного, —
Отдохнешь и ты.

Пьяные ремонтеры ревели от восторга и швыряли в цыганок измятыми кредитками. Шевченко ушел взбешенный.

«Думал ли великий германский поэт, — писал об этом Шевченко, — а за ним и наш великий Лермонтов, что их глубоко поэтические стихи будут отвратительно-дико петы пьяными цыганками перед собором пьянейших ремонтеров? Им и во сне не снилась эта грязная пародия».

Во время скитаний по Украине Шевченко много времени проводил среди крепостных крестьян. По ночам в темных хатах собирались родные его «гречкосеи» и безнадежно жаловались на угнетения, на обиды, на жестокости панов и шляхтичей. Для помещиков и шляхтичей, наводнявших Украину, «гречкосеи» были только «быдлом» — рабочим скотом. Гнев охватывал Шевченко — великий, беспощадный гнев поэта, трибуна, революционера. Этот гнев сообщил его стихам характер неистовых проклятий.

Да, он клял этот барский «смердящий» мир, клял царя, всех предателей и насильников.

А слез! А крови! Напоить
Всех императоров бы стало.
Князей великих утопить
В слезах вдовиц! А слез девичьих,
Ночных и тайных слез привычных,
А материнских горьких слез,
А слез отцовских, слез кровавых!
Не реки — море разлилось!
Пылающее море... Слава
Борзым, и гончим, и псарям,
И нашим батюшкам-царям.

Шевченко был «вольный». Его вольное слово звучало по всей Украине, его стихи читали шепотом, но этот шепот гремел в сердцах как набатный колокол, от него закипали слезы в глазах и холодели руки.

— Что делать, Тарас? — спрашивали измученные крипаки. — Вот ты вышел в люди — дай совет, открой очи, научи, как добиться до правды.

Шевченко в то время уже знал, что делать. Сбросить царя и помещиков. Взять землю. Он открыто звал к этому крестьян. Он писал об этом. Его «археологические прогулки» по Украине превращались в страстные агитационные поездки. Всюду, где был Тарас, усиливался крестьянский гнев, разгоралось возмущение. Он подымал в сознании крипаков задавленные рабством пласты человеческого достоинства и негодования.

В это время в Киеве вокруг историка Костомарова собрался кружок либеральной украинской молодежи. Молодежь эта была враждебна крепостному праву и считала, что оно может быть уничтожено при помощи «раскаявшихся» помещиков. Надлежало только вдохновить на освобождение крестьян лучших из помещиков и сделать это, воздействуя на них наукой и поэзией.

Постепенно кружок вокруг Костомарова рос и превратился, наконец, в тайное общество, названное Кирилло-Мефодиевским братством. Члены братства мечтали о политическом объединении славян и уничтожении «рабства и всякого унижения низших классов». Государственный строй славянских стран члены братства представляли себе в виде Славянских Соединенных Штатов.

Костомаров преклонялся перед поэзией Шевченко. По его словам, «Тарасова муза прорвала какой-то подземный заклеп, уже несколько веков запертый многими замками, запечатанный многими печатями».

Костомаров привлек в братство Тараса Шевченко, хотя Шевченко не разделял в своих политических взглядах той половинчатой либеральной теории, какую проповедовало братство. Путь Шевченко был путь революционной борьбы, путь уничтожения царской и помещичьей власти. Шевченко знал, что революция

будет беспощадной и кровавой. Но он примкнул к Кирилло-Мефодиевскому братству, так как вокруг него все же объединились передовые люди Украины.

Братство не было искушено в конспирации. В его среду проник предатель — студент Попов. Он донес властям, и братство было разгромлено. Костомаров и другие видные члены братства были арестованы.

Шевченко арестовали 5 апреля 1847 года, когда он возвращался из Чернигова в Киев и переправлялся на пароме через Днепр.

Участие Шевченко в Кирилло-Мефодиевском братстве было для правительства, как выяснилось впоследствии, только удобным поводом для ареста. Третье отделение давно подозревало о ходивших по рукам «дерзких» стихах Шевченко и об его агитации среди крепостных.

Семнадцатого апреля Шевченко был под конвоем доставлен в Петербург и заключен в Петропавловскую крепость. Началось следствие.

На допросе в Третьем отделении на вопрос: «Какими случаями вы были доведены до такой наглости, что писали самые дерзкие стихи против государя императора?» — Шевченко ответил: «Возвратясь в Малороссию, я увидел нищету и ужасное угнетение крестьян помещиками, посессорами и шляхтичами. И все это делалось и делается именем государя и правительства».

Следствие закончилось быстро. Результаты его были неожиданны. Шеф жандармов Орлов доложил Николаю, что дело Кирилло-Мефодиевского братства раздуто. Приговоры были очень мягкими для тогдашнего режима. Очевидно, правительство знало цену разговорам пылких юношей о моральном перевоспитании крепостников. Костомаров получил только год тюрьмы. Почти все обвиняемые были освобождены. Только один Шевченко был приговорен к ссылке рядовым солдатом в Оренбургский батальон «с правом выслуги», то есть на неопределенное время, почти на пожизненную каторгу.

В своем докладе царю Орлов сказал прямо: «Шевченко не принадлежал к братству, но он виновен по своим собственным отдельным действиям».

Николай мстил Шевченко за ненависть поэта к царям. Николай понимал, что «мужицкая» поэзия Шевченко была во много раз более страшной угрозой для самодержавия, чем либеральная болтовня юношей из Кирилло-Мефодиевского братства.

На приговоре о ссылке Шевченко Николай написал слова, изумившие даже жандармов: «Под строжайший присмотр, запретив писать и рисовать». Это была гражданская смерть для Шевченко. Художнику связали руки, поэту заткнули рот и бросили его в каторжную жизнь захолустного гарнизона.

Второго июня Шевченко выехал с жандармами в Оренбург. Громадный путь в две тысячи километров жандармы проскакали в девять дней.

Шевченко был отправлен тайно. Никто не знал, куда сослан поэт. Первое время по Петербургу ходили слухи, что он увезен на Аландские острова и там повешен.

Из Оренбурга Шевченко отправили в Орскую крепость, в пятый линейный батальон.

Если бы Шевченко не обладал мужеством и волей, если бы он не был «одарен крепким телосложением», как было сказано даже в приговоре о ссылке, он не вынес бы десятилетней ссыльной тоски.

Тяжесть этой тоски трудно передать словами. Даже в русском языке мало этих слов, — а кому, как не русскому народу, была знакома острожная кандальная тоска! С давних времен до самого начала двадцатого века, вплоть до революции, народ этот пропадал по каторгам, шагал по унылым Владимиркам и томился на вшивых этапах. Но за черными сибирскими ночами, за мраком и пылью азиатских степей этот великий замученный народ видел правду, синеющую как далекий рассвет.

И Шевченко думал в ссылке о том, чтобы «солнце правды хоть сквозь сон увидеть», чтобы «хотя бы раз еще взглянуть на народ свой».

Мертвая степь окружала Орск со всех сторон, тусклая степь, откуда изредка приходили в город толпы

кочевников менять верблюжью шерсть на водку и махорку. Кочевники называли Орск «злой крепостью».

Первые люди, которых Шевченко увидел, въезжая в Орск, были колодники с черными клеймами, выжженными на лбу.

Шевченко отвели в казарму. От нее шла застарелая кислая вонь. Ротный командир осмотрел поэта и пригрозил ему розгами, если он не будет «молодцевато служить государю» и выполнять по всей строгости ружейные приемы. Но до конца солдатской жизни Шевченко не выучил ни одного ружейного приема.

Казарма встретила поэта равнодушно. Люди тупели годами. Казалось, их ничто не занимало, кроме еды, сна, водки и картежной игры.

Командиры твердо следовали аракчеевскому правилу: «Сто человек забей — одного выучи». Это была, по словам Шевченко, «кабацкая шваль, прикрытая офицерским мундиром».

Каждый день из месяца в месяц Шевченко вставал на заре, чистил сапоги, фабрил усы и выходил на казарменный плац обучаться шагистике, ружейным приемам, колке чучел и «словесности» — самому тупоумному порождению николаевского армейского строя.

Унтера со злорадством следили за тем, чтобы поэт ничего не писал и не смел даже брать в руки карандаш.

«Стань навытяжку!» — этот крик преследовал поэта с утра до ночи. Но и ночь не давала покоя. Ночью солдаты дрались в казарме из-за украденных портянок и понюшки табаку, вели бесконечные споры, кого в какой роте пороли и кого будут пороть завтра, или разгоняли тоску — рвали всей пятерней струны балалаек. Среди старослуживых солдат крепко жили выработанные годами интересы — зависть из-за лишней манерки щей, мечты о лазарете. Когда Шевченко заболел цингой и лег в лазарет, вся рота жестоко завидовала ему. Болезнь была затаенной мечтой каждого солдата.

Пили все: офицеры, солдаты, все население никому не нужного Орска. Пили жестоко, тупо; заливали вод-

кой, заглушали похабными песнями и рассказами казарменную тоску.

В Оренбурге у Шевченко нашлись друзья. Одним из них был чиновник Михаил Лазаревский. Он всячески старался облегчить участь поэта, но это было невозможно.

Единственный путь избавиться хотя бы в незначительной доле от муштровки, от скотского быта казармы, нелепый, но единственный путь — был в «угощении» офицеров. От каждого угощения водкой офицеры размякали, смотрели сквозь пальцы на отлучки Шевченко и не требовали от него лихой выправки, — на нее он был совершенно неспособен.

Во время этих отлучек Шевченко уходил в степь, за город, или на берег глинистого мутного Урала, доставал из-за голенища сапога, из-за солдатской «халявы» маленькую истрепанную тетрадку и записывал в нее стихи.

Это были короткие стихи об одиночестве, о многоцветных радугах, пьющих там, на далекой родной Украине, днепровскую воду, о жестокой бедняцкой доле. Временами все прошлое — Украина, и Петербург, и милые сердцу друзья, и Академия художеств — казалось обманом, навеянным степною сон-травой.

Но эти отлучки, короткие передышки были куплены тяжелой ценой, — Шевченко должен был пить вместе с теми, кого он угощал. Так полагалось по традиции пьяниц. Нарушение этой традиции приводило к жестоким унижениям. Это и случилось впоследствии, когда Шевченко был переведен в Новопетровское укрепление. Инженерный офицер Кампиони затащил Шевченко к себе в офицерский флигель, где пьянствовали офицеры. Они лежали в одних рубахах на кошме и тянули по очереди сивуху из полуведерной бутыли. Шевченко хотели напоить сивухой, но он вырвался и вышел. Кампиони выскочил вслед за ним с отчаянным криком, что он, рядовой Шевченко, оскорбил офицера. Шевченко был арестован. На следующий день Кампиони подал рапорт коменданту о том, что Шевченко оскорбил действием его, Кампиони, и потому надлежит начать следствие.

Было это в 1857 году, накануне освобождения Шевченко, когда из Петербурга пришли известия о «помиловании». По тогдашним порядкам, дело грозило новой каторгой. Комендант посоветовал Шевченко единственный выход — извиниться перед Кампиони и уговорить его взять рапорт обратно. На карту ставилась вся дальнейшая жизнь, и Шевченко не выдержал: надел солдатский мундир и пошел к Кампиони. Он долго дожидался в передней. Потом Кампиони впустил Шевченко в комнату, покуражился над ним и, наконец, согласился взять рапорт обратно за четверть сивухи.

Так, среди отчаяния, сивухи, безвестности прошел год в Орске. Друзья ничего не писали. Они не скоро узнали, куда сослан Шевченко. Первые письма он получил от Варвары Репниной и от своего украинского друга Лизогуба. Репнина прислала Тарасу книги, а Лизогуб — ящик с красками. Это был печальный подарок. Лизогуб не знал приказа Николая, запрещавшего Шевченко рисовать.

Весной 1848 года просвещенный моряк лейтенант Бутаков приехал в Оренбургский край, чтобы произвести подробную опись берегов Аральского моря.

От Михаила Лазаревского Бутаков узнал о судьбе поэта и настоял, чтобы Шевченко был включен в состав Аральской экспедиции. Бутакову нужен был художник для зарисовки берегов Аральского моря. Шевченко был обрадован этим назначением и тотчас же выехал из Орска в Оренбург.

Экспедиция прошла на верблюдах от Оренбурга до берегов Аральского моря, построила две шхуны и вышла в плавание. Шевченко был назначен на шхуну «Константин». Он жил в одной каюте с офицерами и ссыльным солдатом, геологом Вернером.

Плаванье по Аралу было для Шевченко коротким отдыхом. Аральское море, похожее на синюю ртуть, налитую в песчаные берега, монотонные дни, самый характер работы, связанный с промером глубин, с исследованием необитаемых островов, с долгими стоян-

ками в тихих, безжизненных бухтах — все это позволяло хоть на время забыть казарму.

Экспедиция, закончив летние работы, зазимовала в глухом форте Кос-Арал.

Зимовка была тяжелая. Шумели холодные ветры, день и ночь трещали сухие камыши. Не было ни книг, ни писем. Почта в Кос-Арал приходила один раз в шесть месяцев.

Шевченко снова переболел цингой. У него началась бессонница. Много лет спустя, при воспоминании о ночах в Кос-Арале, у него, по его собственному признанию, холодело сердце. А тут еще изводили казаки-староверы, несшие в Кос-Арале сторожевую службу. Они приняли Шевченко из-за его бороды за ссыльного раскольничьего попа и преследовали поэта назойливыми выражениями своей почтительности.

Но хуже всего была бессонница. Туманная луна подымалась над Голодной степью, — там лежали неведомые страны, откуда Сыр-Дарья несла мутную и мертвую воду.

Шевченко выходил по ночам на палубу и тихо, чтобы не слышал капитан, пел любимые украинские песни, — томился, вспоминал об Украине. Слушал эти песни только вахтенный матрос. А пел Шевченко прекрасно. Некоторые из его современников говорят, что талантливость Шевченко якобы ярче всего была выражена не в его стихах и картинах, а в пении старинных запорожских песен.

Трещали камыши, холодная ночь простиралась над миром, и одиночество камнем лежало на сердце. Иногда в такие ночи великий поэт и замуштрованный солдат, преждевременно состарившийся от каторжной муки, плакал, сидя на палубе шхуны, и вытирал глаза рукавом колючей шинели. Плакал о своей недоле, милых друзьях, о заброшенности и беспомощности среди окружавших его равнодушных, казенных людей. В ссылке он вспомнил о матери:

Славно, мама,
Что ты так рано спать легла,
А то б ты бога прокляла
За мой удел...

Никому не было дела до Шевченко. Каждый нес на душе свою заботу, каждый думал о покинутой семье. Один только лейтенант Бутаков был спокоен, — его спасала выдержка исследователя.

В Кос-Арале Шевченко написал за зиму много стихов и поэм. Его гнев на царя и панщину еще больше окреп, еще усилился в ссылке:

> Пусть палачи царей карают.
> Конец им, палачам людским!

Весной экспедиция закончила опись аральских берегов, вернулась в Оренбург и занялась разработкой полученных материалов. Бутаков сообщил начальству, что Шевченко не может быть возвращен в свою часть, пока не закончит отделки «живописных видов Арала».

Шевченко остался в Оренбурге. Образованный и гуманный офицер капитан Герн поселил его у себя и отвел под жилье и мастерскую поэта флигель в саду. Шевченко снял ненавистную солдатскую форму, ходил в штатской одежде, много писал и рисовал. Командующий краем генерал Обручев заказал ему портрет своей жены.

После отчета о блестящей работе Аральской экспедиции генерал Обручев выдал Шевченко в награду... пять рублей серебром. Начальник Отдельного Оренбургского корпуса генерал Перовский возбудил в Петербурге ходатайство о производстве Шевченко в унтер-офицеры и разрешении ему рисовать. Петербург отказал. Петербург выразил неудовольствие тем, что, несмотря на приказ Николая, Шевченко было разрешено заниматься в экспедиции рисованием. Лейтенант Бутаков был взят под тайный надзор полиции.

В Оренбурге Шевченко сблизился с поляками, сосланными за восстание 1830 года. Среди них был разжалованный в солдаты польский офицер Сераковский. Он провел несколько лет в гарнизонах на берегу Сыр-Дарьи, видел ежедневные порки солдат, и у него возникла идея — ей он отдал всю жизнь — добиться отмены телесных наказаний в русской армии. После смерти Николая Сераковский был помилован, уехал в Петербург, поступил офицером в Главный штаб и

настойчиво добивался уничтожения шпицрутенов, розог, палочных избиений, заковывания в колодки.

Когда в 1863 году началось второе польское восстание, Сераковский примкнул к нему, был схвачен и повешен по приказу Муравьева. О Сераковском писали Герцен и Чернышевский, как о мужественном и благородном человеке, проникнутом идеями социализма.

В Оренбурге жить стало немного легче. Шевченко знал, что в столице друзья хлопочут о нем, что по просьбе добряка Лазаревского генерал Обручев согласился отправить Шевченко не в Орск, а вместе с Вернером на полуостров Мангышлак, в горы Кара-тау для поисков каменного угля. Это уже сулило некоторую независимость, отодвигало все дальше «смердячую» казарму в Орске.

Но случилось предательство. Некий прапорщик Исаев донес генералу Обручеву, что Шевченко ходит в штатском платье и вопреки царскому приказу пишет стихи и рисует картины. Обручев это прекрасно знал, — ведь не кто иной, как Шевченко, рисовал портрет его жены, — но раз донос был получен, ему, по правилам, надлежало дать ход. У Шевченко был произведен обыск. Нашли «партикулярные ношебные вещи», тетради со стихами, альбомы с рисунками и книги Шекспира, Пушкина и Лермонтова.

Полетели срочные донесения в Петербург. Петербург предписал рядового Шевченко держать под арестом и внушить ему, чтобы в дальнейшем он не осмеливался нарушать приказа Николая. Но рвение местных военных властей обогнало Петербург. Шевченко был посажен в тюрьму, но уже не за рисование и не за стихи, а за то, что появлялся на улицах в штатской одежде.

Больше полугода он просидел в тюрьмах Оренбурга, Орска и Уральска и был, наконец, поздней осенью 1850 года выслан в Новопетровское укрепление, на полуостров Мангышлак, на восточный бесплодный берег Каспийского моря. Это было место, носившее у видавших виды николаевских солдат название «могилы» и «вонючего пекла».

Ссылка на Мангышлак означала то же, что смерть. О человеке, загнанном в эту пустыню, начисто забывали. Он существовал только в рыжих от времени списках. Списки эти валялись в рассохшихся шкафах захолустных военных канцелярий. Пьяные писаря крутили из них цигарки, и в сизом чаду махорки исчезала порой самая память о сосланном. Если Петербург запрашивал о нем, то проходили месяцы, пока бумажные следы ссыльного отыскивались по канцеляриям.

Орск и Арал были только преддверием ссылки. Настоящая каторга началась на Мангышлаке.

Ротный Потапов — багроволицый, неряшливый, беспрерывно отрыгивающий сивухой, — придумал простой способ, чтобы отравить существование Шевченко. Он не кричал, не сажал поэта в «курятник» — на гауптвахту, а назойливо придирался к мелочам.

К Шевченко был приставлен дядька-солдат. Он следил, чтобы у Шевченко не было ни перьев, ни карандашей, ни чернил, ни бумаги. Каждый раз, когда Шевченко выходил из казармы, его обыскивали, заставляли снимать сапоги. Начальству было известно, что в Орске поэт прятал стихи в голенища сапог.

Мангышлак — глинистый, перегоревший от солнца полуостров, окруженный мелководным морем. На востоке, за солончаками, подымаются горы Кара-тау. Они похожи на сухой человеческий мозг — громадные купола из песчаника, изрытые трещинами.

На этом клочке земли было выстроено Новопетровское укрепление — самое скучное место во всей тогдашней Российской империи.

Изредка приходила из Гурьева парусная лодка с почтой, и еще реже — колесный пароход из Астрахани. Два-три раза за несколько лет заходил старый маленький крейсер, и морские офицеры — «невежды и брехуны», по словам Шевченко, — забавлялись тем, что рассказывали одичавшим жителям форта всяческие страхи: на днях, мол, приедет корпусный командир, отдаст под суд за пьянство офицеров и перепорет для порядка всех ссыльных солдат.

Солдаты в Новопетровском были другие, чем в Орске. В Орске было все же много старослуживых солдат, взятых в армию по рекрутчине на двадцать пять лет. Здесь же было много юношей, отправленных в армию по воле родителей за «дурной нрав» (эта мера широко применялась в помещичьем быту), и бывших офицеров, разжалованных в солдаты за уголовщину — «загибание» углов в картежной игре, воровство, продажу казенного имущества.

Жалованье офицерам и солдатам привозил пароход из Астрахани. Его ждали с нетерпением целыми месяцами только затем, чтобы, получив мешки с деньгами и раздав деньги по рукам, начать «гомерическое» пьянство.

Деньги целиком отсылались маркитанту или «спиртомеру» — целовальнику винной лавки Зигмонтовскому. Денщики притаскивали бутылки с водкой. В офицерские флигеля вызывали из казарм песенников, и начиналось пьянство. Длилось оно несколько дней и кончалось обыкновенно кровавой дракой.

Но в пьянстве соблюдался известный порядок. Солдатам жалованье выдавали не раньше, чем кончали пить офицеры. В этом сказывалась «мудрость» начальства. Солдаты пили во вторую очередь, когда офицеры уже успевали проспаться, и таким образом форт не оставался покинутым на произвол сплошной пьяной толпы.

Пили и зимой и летом — в удушающей жаре, в испарине, пили до белых чертей.

Ссыльные солдаты могли бы легко бежать из укрепления во время офицерских попоек, но бежать было некуда. Вокруг простиралась смертоносная пустыня, такая голая пустыня, что «не на чем было даже повеситься», как горько шутил Шевченко.

Население Новопетровского состояло из солдат, а это было «самое бедное, самое жалкое сословие в нашем отечестве», из офицеров — подонков армии, и немногих гражданских личностей — прощелыг и авантюристов.

Шевченко сдружился только с одним солдатом — служителем при лазарете, Андреем Обеременко. Они

были земляки и, сидя по вечерам на пороге лазарета, вспоминали Украину и пели вполголоса украинские песни.

В свободные от тяжелых работ и муштровки часы Шевченко заходил к целовальнику Зигмонтовскому. Это был лживый, невежественный старик, утомительно хваставшийся своей феерической жизнью. Жизнь эта сплошь состояла из «стечения удивительных обстоятельств». Зигмонтовский был и актером и якобы прогремел в роли Дмитрия Донского. Под видом морского лейтенанта он плавал с адмиралом Лазаревым к Южному полюсу, а будучи заседателем Одесского земского суда, примкнул к декабристам, за что и сидел в одиночном заключении в крепости Измаиле. Все, на что бы ни бросал даже мимолетный взгляд этот беспокойный старик, вызывало у него жажду вранья. Однажды, угощая Шевченко селедкой, он обильно поливал ее прованским маслом и при этом рассказывал, что во время плавания с адмиралом Лазаревым ему, Зигмонтовскому, удалось досконально узнать, откуда берется это самое прованское масло. Корабли Лазарева остановились около острова Прованс, лежащего между Италией и «городом Сингапуро». На этом острове росли громадные деревья. Стоило только надрезать на них кору, чтобы в бутылки хлынуло чистейшее прованское масло.

Но среди обитателей укрепления даже Зигмонтовский и его бесцветная старушка жена казались прекрасными людьми, и Шевченко часто заходил к ним почитать газету (Зигмонтовский получал «Петербургские ведомости») и послушать безобидное вранье старика.

Прошло три года. Ротного Потапова перевели в Уфу. Вместо него был назначен ротным служака и фрунтовик капитан Косарев. Он показался после Потапова «ангелом доброты». Комендантом укрепления был назначен полковник Усков — человек мягкий, увлекавшийся впервые появившейся в то время фотографией. Наконец начальником края вместо Обручева был назначен генерал Перовский — взбалмошный, жестокий, но предприимчивый и своеобразный чело-

век, гордившийся знакомством с Пушкиным, Гоголем и Жуковским.

Под влиянием друзей Шевченко Перовский в предписании к Ускову намекнул на необходимость послаблений ссыльному поэту. Шевченко был освобожден от тяжелых работ, муштровки, выправки. Перовский, будучи в Петербурге, просил шефа жандармов Дубельта разрешить, наконец, Шевченко рисовать, но Дубельт отказал.

Тогда Шевченко решил заняться лепкой. Бродя по окрестностям укрепления, он нашел хорошую глину и начал лепить из нее фигуры киргизов. Усков сначала обеспокоился, но потом решил, что раз лепка не запрещена — значит позволена, и смотрел на эти занятия Шевченко снисходительно.

Жизнь скрашивалась письмами — снова начали писать друзья, — посещениями семьи Ускова и редкими наездами в укрепление людей из России. Ненадолго приезжал писатель Писемский. Он обрадовал поэта рассказами о необычайном успехе его стихов. Два раза приезжали с экспедицией, изучавшей рыбные богатства Каспийского моря, ученый Бэр и молодой ученый Данилевский. С ними Шевченко отводил душу, но каждый раз после отъезда этих людей его охватывала новая тоска.

Бэр посоветовал Тарасу написать о своей судьбе президенту Академии художеств, известному скульптору и медальеру графу Федору Толстому. Шевченко написал, но без всякой надежды на помощь Толстого, только чтобы не обидеть Бэра.

Пустыня сторожила укрепление. В самой монотонности ее горизонта, в бесплодности земли, в мутном небе была заключена огромная тоска.

По вечерам Шевченко часто ходил вокруг стен укрепления. Сонные волны набегали на берега. Перекликались часовые. Звездное небо, такое же, как на родине, сверкало над головой, и от этого было еще горше, еще труднее на сердце.

Шевченко облысел, глаза его сузились и потеряли блеск, походка стала тяжелой и медленной.

Жизнь как бы кончалась, но не кончалась каторга. Шевченко подолгу смотрел на запад, где за ночной мглой, за шумом тусклого моря лежали блещущие росой, цветистые от радуг степи и небеса Украины. Ему снились томительные сны, дрожащие песни кобзарей, деревни, пестрые как писанки, гром днепровских порогов. Но наступало пробуждение, и поэт с горечью признавался:

Сердце старое черствеет,
И очи не видят
Ни хатенки этой белой
Под синью небесной,
Ни долины приветливой
У темного леса...

В Новопетровском Шевченко не написал за семь лет ни одного стихотворения. Казалось, что воображение иссякло, пролилось, как вода на сухую землю. И все чаще ярость подымалась к горлу, и Шевченко проклинал страшным неистовым проклятием палача Николая, обрекшего поэта на медленную смерть в изгнании, на худшую казнь, какую мог придумать «коронованный фельдфебель».

В 1855 году до глухого форта дошла радостная весть — Николай умер. Скрытое ликование охватило всех, даже некоторых офицеров. Упала тяжесть, ломавшая кости всей стране.

Говорили, что Николай отравился, не выдержал исхода Крымской кампании, и огромный его труп, надушенный и обложенный цветами, был так страшен, что придворные дамы от одного вида мертвого императора падали в обморок.

Шевченко ждал освобождения, ждал амнистии со стороны нового царя — Александра.

Александру Второму были поданы списки ссыльных, подлежавших освобождению. Он прочел их и тщательно вычеркнул из списков имя Шевченко. Он вежливо улыбнулся и сказал: «Этот слишком сильно оскорбил мою бабку и моего отца, чтобы я мог его простить».

Последняя надежда на освобождение пропала. И солдаты, и Усков, и даже иные отпетые офицеры Новопетровского укрепления были поражены царской несправедливостью и старались утешить Шевченко.

Одинокий, лишенный родных и друзей, Шевченко увлекся женой коменданта Ускова. Он бывал у Усковых каждый день. Дети Ускова полюбили поэта и звали его Горичем, сокращая трудное отчество.

Жена Ускова была красивая, приветливая женщина. Она обласкала Шевченко, а он полюбил ее по-юношески, с трепетом и благоговением. Но это была любовь неразделенная и скрытая. О ней нельзя было говорить никому. О ней Шевченко не мог даже намекнуть самой Усковой.

Любовь ссыльного солдата к жене коменданта сулила им обоим только несчастье.

О первых днях этой любви Шевченко писал, что дыхание поэзии появилось в мертвой пустыне. Но каторга — это «безграничное вместилище безграничных мерзостей» — оказалась сильнее молодой женщины. На глазах у поэта она притихла. Сначала она грустила и плакала, а через два года уже бойко играла в карты до утренней зари, ссорилась за ломберным столом, сплетничала, вырывала страницы из Лермонтова и скручивала из них папильотки.

Шевченко перенес двойной удар — неразделенной любви и медленного морального падения любимой женщины. Но он уже привык к ударам и научился переносить их.

Во время припадков тоски он уходил в степь, где разбили свои кибитки киргизы. Кочевники с недоумением смотрели на пожилого солдата с желтым лицом и добрыми глазами, бродившего по пустыне. Шевченко любил киргизов за их чистосердечие, живость, за детское любопытство.

Опять, как на Арале, началась бессонница. Шевченко выходил с вечера к стенам укрепления и ходил всю ночь вокруг этих стен, пока не появлялась на чистом небе утренняя Венера. Он бродил и думал о том, что тюрьма убила его как художника и поэта.

Но на следующий день он записывал в своем дневнике: «Вечер был тихий, светлый. На горизонте чернела длинная полоса моря, на берегу его горели в красноватом свете скалы, а на одной из скал блестели белые стены укрепления. Я невольно залюбовался своей семилетней тюрьмой». Такую запись, где были скупые и точные краски, мог сделать только настоящий художник. Нет, глаз еще был зорок, и сердце негодовало на людскую неправду — значит, каторга еще не замучила поэта.

Шевченко не знал, что Федор Толстой обивал в это время в Петербурге пороги дворцовых приемных и требовал освобождения поэта. Толстой был человеком широкого сердца и душевной мягкости. Ему отказывали, но он упрямо возобновлял просьбы. Хлопотал он, хлопотала его жена, Настасья Ивановна Толстая. Они заинтересовали судьбой поэта всех петербургских литераторов. Они ездили к великим княгиням и министрам. Они доказывали, что дальнейшее заточение Шевченко — бессмысленная жестокость. Им помогали Сераковский, поэт Алексей Толстой, братья Жемчужниковы.

И вот, наконец, свершилось: второго мая 1857 года Шевченко получил письмо из Петербурга от Михаила Лазаревского. Лазаревский поздравлял Шевченко со свободой.

Поэт, не дочитав письма, заплакал и долго не мог унять своих слез. Потом он прочел, что обязан своим освобождением Федору Толстому, но больше всего — его жене, Настасье Ивановне Толстой.

Шевченко написал письмо Толстой, похожее на крик благодарности, на молитву, — письмо, полное громадного волнения, почти экстаза.

«Сестра моя... — написал он и долго не мог продолжать: слезы капали на бумагу, не давали Шевченко дышать. — Сестра моя, богу милая, никогда мною не виденная! Чем заплачу тебе за радость, за счастье, которым ты обняла, восхитила мою бедную, тоскующую душу? Слезы! Слезы беспредельной благодарности приношу в твое возвышенное сердце».

Второе письмо он написал Федору Толстому и впервые подписал его не словом «рядовой», а словом «художник» Шевченко.

Шевченко ликовал, а приказ об освобождении медленно переползал из одной канцелярии в другую, писаря рылись в пыльных списках, пакеты дожидались оказии, и путь в три тысячи верст приказ шел почти три месяца. Поэт был обречен на ежедневное, изматывающее душу ожидание. Без приказа Усков не имел права освободить Шевченко. Он утешал поэта, а в ответ на гневные жалобы вздыхал и говорил одно только слово: «Форма!» Да, это была бесчеловечная «форма», но почему же, когда надо было сослать Шевченко, тот же длинный путь жандармы проделали всего за девять дней?

После письма Лазаревского Усков освободил Шевченко из казармы и разрешил ему жить в беседке, в комендантском саду. Сад был насажен с громадным трудом. Для него привозили на шхунах чернозем из Астрахани.

Шевченко любил этот сад, ухаживал за ним, и в беседке, в этом саду, дожидаясь приказа об освобождении, написал свои повести на русском языке и начал дневник. По своей искренности этот дневник является одним из исключительнейших явлений нашей литературы.

Начав писать, Шевченко успокоился. Ему казалось, что каторга его еще не сломала, что он все такой же, каким был десять лет назад.

О том, какой скудной, какой нищенской была солдатская жизнь Шевченко, можно судить по той неудержимой радости, с какой он пишет в дневнике, что купил себе, незадолго до отъезда, медный чайник. Это было уже богатство. Он ставил чайник на стол в беседке, писал, потом наливал себе чай в кружку, любовался чайником и гордился им, как живым существом.

Чтобы скрасить ожидание, Шевченко решил прочитывать по одной странице в день биографию Гоголя. Но биография была прочитана, а бумаги из Оренбурга все не было. Тогда Шевченко начал читать так же медленно книгу Кулиша «Записки о Южной Руси».

И эта книга была прочитана до конца и выучена почти наизусть, а приказа все не было.

Шевченко много думал о будущем. Он мечтал после возвращения из ссылки заняться гравюрой. Он считал, что живопись существует для народа, а единственный путь показать ему величайшие произведения живописи — это гравюра.

«Быть хорошим гравером, — писал он в своем дневнике, — значит, быть распространителем прекрасного и поучительного в обществе. Значит, быть полезным людям. Прекраснейшее, благороднейшее призвание гравера! Сколько изящнейших произведений, доступных только богачам, коптилось бы в мрачных галереях без твоего чудотворного резца».

Дни проходили в ожидании. Шли теплые, тихие дожди. Шевченко не спал по ночам, лежа в своей беседке. Он все думал о будущем и слушал, как застенчиво шуршит дождь — редкий гость пустыни — по скудной зелени, по крыше беседки. Потом Шевченко вставал, зажигал свечу, кипятил воду в чайнике и писал до утра свой дневник.

Наконец приказ об освобождении пришел. По правилам, Шевченко должен был выехать сначала в Оренбург, а уже оттуда, оформив свою «отставку из армии», возвращаться в Россию. Но комендант Усков на свой страх и риск выдал поэту пропуск от Новопетровского укрепления до Петербурга, без заезда в Оренбург.

Второго августа 1857 года, после десятилетней ссылки, Шевченко сел в парусную рыбачью лодку. Она отплывала в Астрахань. Шевченко был так взволнован, так торопился, что плохо помнил, как уехал, с кем прощался, кто провожал его на пристань.

Когда лодка отошла, он оглянулся на мрачные берега, где темнели батареи, где чей-то женский платок еще белел, еще трепетал в воздухе. Шевченко снял шапку. Любовь ушла, забылась. Каспийское море гудело, накатывало на берега тяжелую воду. Над пустыней подымалась тихая мгла, как дым пожара.

Ветер заливал брызгами лицо. Это была свобода. Ветер теребил рваную солдатскую шинель, как будто хотел сбросить с поседевшего Тараса последнюю память о ссылке.

Тарас задумался. Значит, не сбылись его слова, а он их когда-то считал пророческими:

В неволе вырос меж чужими
И, не оплаканный своими,
В неволе, плачущий, умру.

В пропыленной Астрахани Шевченко прожил несколько дней, дожидаясь парохода на Нижний-Новгород. Здесь он встретил своих земляков киевлян. Они были потрясены видом поэта. Изможденный, в изорванном солдатском мундире, он был больше похож на беглого, чем на освобожденного из ссылки.

Новые друзья одели Шевченко и устроили в его честь шумную вечеринку.

Только в Астрахани Шевченко понял, как измучила его ссыльная казарма: простое человеческое отношение к себе он воспринимал как счастье, — он отвык от него на протяжении последних десяти лет.

Астрахань казалась Шевченко «огромной кучей мусора, которую венчают зубчатые белые стены кремля и стройный великолепный собор XVII века». Шевченко был рад этому впечатлению от Астрахани. После семилетнего прозябания в пустыне он думал, что Астрахань должна была произвести на него громадное впечатление. Значит, он еще не потерял взыскательности художника. «Стало быть, — пишет Шевченко, — я еще не совсем одичал».

Он был тронут до слез, когда в грязном астраханском трактире завели «машину» и она хрипло заиграла увертюру из «Роберта-Дьявола». Семь лет Шевченко слышал только треск барабанов и раздирающие сердце звуки военного горна.

Собор так заинтересовал Шевченко, что он хотел зарисовать его, но не хватило времени. Он всех расспрашивал об этом соборе, об его строителе, но узнал только, что строил его «простой мужичок». Это было

правдой. Это прекрасное и величественное здание, видное за тридцать километров, было построено крепостным Дорофеем Мякишевым в начале восемнадцатого века. За постройку этого здания — оно могло соперничать с лучшими зданиями знаменитейших зодчих — Мякишев получил всего сто рублей серебром. Постройка длилась двенадцать лет.

В ссылке Шевченко ничего не читал. В Астрахани он тотчас пошел в библиотеку. Старик библиотекарь с гренадерскими усами, одетый в сюртук с красным солдатским воротом, очень дивился любопытству приезжего и рассказал Шевченко, что он был всего пятнадцатым посетителем за весь последний год.

Шевченко увидел на полках книжки «Русского вестника» и тут же, стоя около полок, начал читать их, — там были напечатаны новые вещи Гоголя, Аксакова и Соловьева.

В Астрахани жил рыбопромышленник Сапожников, учившийся живописи у Шевченко в Петербурге в 1842 году. Он узнал о приезде поэта и предложил ему место на пароходе «Князь Пожарский», нанятом Сапожниковым для переезда со своей семьей в Нижний-Новгород. Поэт с радостью согласился.

Плавание по Волге было для Шевченко праздником. Пароход шел от Астрахани до Нижнего целый месяц. Шевченко все время бегал по палубе, смотрел на берега, перезнакомился со всем населением парохода, сдружился с капитаном Кишкиным.

У Кишкина была «секретная тетрадь» с запрещенными стихами Рылеева, Беранже и Барбье. По вечерам собирались в каюте, и Кишкин читал вслух эти стихи. Особенно понравились Шевченко гневные стихи Барбье:

Свобода — женщина с упругой, мощной грудью,
С загаром на щеке,
С зажженным фитилем, приложенным к орудию,
В дымящейся руке.

Иногда в каюту к Шевченко приходил бывший крепостной, пароходный буфетчик Панов и играл для поэта на скрипке лучшие вещи Шопена. Панов был

необыкновенный скрипач, «крепостной Паганини». Игра его радовала и печалила Шевченко. Поэт радовался неиссякаемой талантливости народа и печалился о его судьбе, — Паганини должен был с салфеткой под мышкой с утра до ночи подавать всяческие расстегаи, солянки и водку пассажирам и владельцам парохода.

На пароходе Шевченко впервые прочел «Губернские очерки» Салтыкова-Щедрина. Они вызвали у него восторженное восклицание: «О Гоголь, наш бессмертный Гоголь! Какою радостью возрадовалась бы благородная душа твоя, увидя вокруг себя таких гениальных учеников своих!»

Книга Салтыкова-Щедрина была для Шевченко первым громким голосом революционной демократии, нарождавшейся в России. Шевченко был взволнован, — теперь он не чувствовал одиночества. Появилось новое могучее течение общественной мысли — течение искреннее, смелое, подавшее голос «за бедную грязную чернь». Новые люди были сродни Шевченко, — он уже знал это по тем отдельным словам, рассказам, намекам, которые доходили до него во время волжского плавания.

Шевченко все реже вспоминал Костомарова, Кулиша, либеральных дворянских юношей из Кирилло-Мефодиевского братства. Голоса Герцена, Чернышевского заглушали наивную болтовню «братчиков», постепенно превращавшихся в реакционеров, в преданных царских чиновников, в казенных профессоров.

Стояла осень. Кончался сентябрь. Дубовые леса по берегам Волги уже заржавели от первых утренних морозов, но на полях и в сырой траве еще попадались последние лесные цветы. Каждый раз, когда пароход останавливался у глухих пристаней, Шевченко уходил в леса и возвращался румяный, мокрый от росы, с громадным букетом цветов, которые тут же раздавал пассажирам.

Казалось, ничто не предвещало нового испытания. Но в Нижнем-Новгороде Шевченко узнал еще об одной подлости правительства. Нижегородский губернатор был извещен, что как только в городе появится Тарас Шевченко, то его, упомянутого бывшего рядо-

вого Шевченко, надлежит препроводить на жительство в Оренбург.

Кроме того, в предписании губернатору было сказано, что Шевченко запрещен въезд в обе столицы — Петербург и Москву.

В Нижнем-Новгороде Шевченко сказался больным. Местные власти сочли это заявление вполне достаточным и разрешили ему оставаться в городе до выздоровления.

Мягкость местных властей объяснялась тем, что нижегородским губернатором был причастный к декабристам, отсидевший ссылку в Верхнеудинске, полковник Александр Муравьев.

Нужно было выиграть время, чтобы Федор Толстой и петербургские друзья могли успеть выхлопотать поэту разрешение жить в Петербурге. Шевченко стремился в Петербург, к друзьям разночинцам, туда, где билась новая революционная мысль, наконец — в Академию художеств, чтобы изучить граверное мастерство.

Всю зиму поэт прожил в Нижнем-Новгороде. Местное общество встретило его ласково. Он перезнакомился со множеством «любопытных личностей». Нижний-Новгород был не только городом купцов, разбогатевших около Волги, но и городом многих чудаков и многих просвещенных людей.

Шевченко часто бывал у Якоби — любезного и едкого либерала, аристократа, презиравшего «фельдфебелей на троне» — Николая и Александра. Якоби снабжал Шевченко первыми брошюрами Герцена, вышедшими за границей. Когда Якоби показал Шевченко номер герценовского «Колокола», поэт поцеловал страницы газеты. Герцен был для Шевченко «апостолом» свободы.

Шевченко дружил с известным собирателем народных песен — тихим, застенчивым библиотекаремВаренцовым.

Он слушал игру на рояле местного виртуоза Татаринова, великолепно исполнявшего Мейербера.

В Нижнем-Новгороде был очень хороший театр, и Шевченко был постоянным его посетителем. В театре

он познакомился с чудаком Улыбышевым, дряхлым старцем, знатоком музыки, написавшим биографии Бетховена и Моцарта.

И Шевченко и Улыбышев приходили в театр не столько посмотреть пьесы, сколько послушать музыку, — в старые времена в театре перед спектаклем и в антрактах играли оркестры. Шла какая-нибудь кровавая драма или балаганный водевиль «Коломенский нахлебник» («дрянь с подробностями», по выражению Шевченко), а в антракте зрители слушали прекрасную увертюру из моцартовского «Дон-Жуана». Прекрасную, конечно, лишь в том случае, если оркестранты не были мертвецки пьяны и если от духоты не гасли к третьему действию все лампы и спектакль на этом не прекращался.

В Нижнем-Новгороде в то время жил Даль. Тарас его побаивался за холодный характер и за увлечение теософией.

Шевченко предпочитал людей простых, общительных, разговорчивых, — он сам очень любил поговорить. Говорить он мог с одинаковой охотой обо всем — о Брюллове и ценах на муку, об отвратительных дорогах в России и мерзости военного сословия, о нижегородском кремле и «неудобозабываемом унтере» Николае Первом, о том, как делать настоящую вишневку, о картинах Цампиери.

В доме Якоби Шевченко впервые встретился с декабристом. Это был Анненков. Шевченко отнесся к нему с величайшей почтительностью. Анненков был седой, величественный старик — настоящий «благовеститель свободы».

Преклонение Шевченко перед декабристами было безграничным. Он разыскал в Новгороде дочь декабриста Пущина, учившуюся в тамошнем институте, нарисовал ее портрет и всячески ее баловал.

Декабристам он посвятил взволнованные строки:

А ты, всевидящее око!
Знать, проглядел твой взор высокий,
Как сотнями в оковах гнали
В Сибирь невольников святых!

Как истязали, распинали
И вешали?.. А ты не знало?
Ты видело мученья их
И не ослепло?.. Око, око!
Не очень смотришь ты глубоко.
Ты спишь в киоте, а цари —
Да чур им, тем царям прожженным!
Пусть тешатся кандальным звоном.
Я думой полечу в Сибирь
И в Забайкалье; гляну в горы,
В вертепы темные и норы
Без дна, глубокие, и вас,
Поборников священной воли,
Из тьмы, из смрада и неволи,
Царям и людям напоказ,
Вперед вас выведу, суровых,
Рядами длинными, в оковах.

В Нижнем-Новгороде Шевченко много работал. Он написал поэму «Неофиты» и несколько стихотворений — свои знаменитые «Долю», «Музу», «Славу», и привел в порядок все стихи, написанные в ссылке, всю свою «невольницкую» поэзию. Работал он над прозой — над «Матросом» и другими повестями.

Несмотря на снежную и очень морозную зиму, Шевченко много рисовал на воздухе. Он срисовывал новгородские церкви и башни кремля. Тяготение к старой суровой архитектуре было по-прежнему его «слабостью».

Шла деятельная переписка с друзьями. Один из этих друзей — знаменитый актер Щепкин— приехал на несколько дней в Нижний из Москвы, чтобы повидаться с Шевченко. Для Шевченко это было «торжество из торжеств». Сдружила Шевченко со Щепкиным общая судьба — оба были украинцами и бывшими крепостными.

В марте 1858 года пришло из Петербурга известие о том, что Шевченко разрешено жить в столице.

Восьмого марта Шевченко выехал в Москву.

В Москве он несколько дней прожил у Щепкина, виделся с Аксаковым, с декабристом Волконским, с Варварой Репниной. Она не узнала его — так осу-

нулся и постарел Шевченко. По ее словам, он был «совсем потухший». Встреча не дала радости и поэту.

Из Москвы Шевченко выехал по железной дороге в Петербург.

Петербургские друзья встретили Шевченко восторженно. Федор Толстой и Лазаревский приехали на вокзал встречать поэта. Шевченко остановился у Лазаревского.

На следующий день Федор Толстой привез его к себе. Когда взволнованный Шевченко вошел в комнату, графиня Настасья Ивановна бросилась к нему. Шевченко протянул к ней руки, воскликнул: «Серденько мое!» — обнял ее и заплакал.

Шевченко хотел очень много сказать этой женщине, спасшей его от неволи. Он думал об этой встрече, ждал ее с нетерпением, но сказать ничего не смог — спазмы душили его.

Петербург очень радостно встретил поэта. В нем видели мученика, его приветствовали как страшную жертву николаевского царствования.

Каждый день его приглашали в дома тогдашних просвещенных людей. Он познакомился со Львом Толстым, Меем, Даргомыжским, Полонским, Щербиной, Достоевским, Курочкиным. На вечере, где Шевченко выступал вместе с Достоевским, Майковым и Писемским, публика устроила ему восторженную овацию. Шевченко от волнения сделалось дурно.

С утра до вечера комната Шевченко была полна друзьями. Они тащили его в театр, в цирк, в Эрмитаж, на художественные выставки, на званые обеды, на дружеские пирушки. Эта бурная радость оглушала и утомляла Шевченко. Иногда он прятался от друзей и одиноко бродил по Петербургу, возвращался на старые места, вспоминал молодость.

Ссылка кончилась. Петербург был перед ним. Свобода казалась неограниченной. Но к желанной цели Шевченко пришел физически усталым. На Волге, в Нижнем, в Москве он еще крепился. Только в

Петербурге он понял, что сделали с ним ссылка и казарма. Доктора признали его организм «преждевременно и навеки искалеченным и обессиленным».

Физическая разбитость особенно удручала Шевченко потому, что в Петербурге он встретился и сошелся с великим представителем революционной русской демократии — Чернышевским. Шевченко вошел в круг передовых людей, группировавшихся около журнала «Современник». Всем существом, всеми помыслами Шевченко был с этими людьми. Это было естественно, — ведь, по словам Добролюбова, «весь круг дум и сочувствий Шевченко находился в совершенном соответствии со смыслом и строем народной жизни».

Шевченко впервые встретился с Чернышевским на «вторниках» у Костомарова. Чернышевский поразил Шевченко ясным сознанием цели, умом, волей. Костомаров опасался влияния Чернышевского на Шевченко. Костомарову был враждебен «мужицкий демократизм» Чернышевского. Костомаров хотел сохранить Шевченко для себя — для украинских либеральных националистов. Но Тарас резко и определенно стал на сторону «мужицких демократов» — его подлинных братьев по духу.

Охлаждение между Шевченко и Костомаровым было неизбежным. Костомаров был далеко не прежним либералом. Многим стало известно, что во время ссылки в Саратове он ведал секретным столом при губернаторе и участвовал в обвинении саратовских евреев в ритуальном убийстве. А Шевченко в это время выступил вместе с Чернышевским с резким протестом против антисемитских статей одного петербургского журнала.

Шевченко начал изучать гравюру. Лучшие граверы, Иордан и Уткин, показали ему приемы этого сложного, тонкого мастерства. Шевченко с необыкновенным, почти подвижническим упорством погрузился в работу. Лучшие гравюры Шевченко сделал с картин Рембрандта. В 1860 году он получил звание академика гравюры и офорта.

В свободные минуты он писал стихи. В этих последних его стихах много горечи, много неистовой нена-

вистн к общественному строю России, к ее «псарям-императорам», много насмешек над богом с его «свинцовыми ушами», предчувствия близкого конца:

Так не пора ли понемногу
С тобою, спутницей убогой,
Нам вирши слабые бросать
И помаленьку собирать
Телеги в дальнюю дорогу?

Шевченко жил в маленькой квартире при Академии. Старый солдат-дядька приносил ему еду, чистил платье, изредка пытался прибрать в комнате, но Шевченко каждый раз его выгонял. Он не позволял никому прикасаться к своим гравировальным доскам, к резцам, рукописям, к бутылям с кислотами для протравления гравюр. На столе всегда лежало монисто, цветные украинские бусы, а над постелью на стене висели пучки сухих украинских трав — барвинка, руты, полыни.

Но жизнь порадовала Шевченко еще одной редкой и верной дружбой. В то время в Петербурге играл на сцене великий негритянский трагик Айра Ольридж. Он первым показал русским подлинного Шекспира. Это был актер гениальный. Он разрушал все традиции ложноклассического театра. Он даже играл спиной к публике, что тогда считалось совершенно невозможным для актера. Каждый его жест потрясал, каждая фраза была ясна, несмотря на то, что Ольридж играл на английском языке.

Шевченко впервые увидел Ольриджа в «Отелло». Поэт ушел со спектакля в глубоком смятении.

Через несколько дней Шевченко познакомился с Ольриджем у Толстых. Беседа шла при помощи переводчиков — детей Толстого. Ольридж рассказал Шевченко свою жизнь. Он был негром из Судана. Миссионер привез его из Африки в Лондон, где он, сын племени рабов, стал величайшим трагическим актером. Много общего было в судьбах Шевченко и Ольриджа, и это общее сдружило их.

Они много времени проводили вместе. Ольридж один раз был у Шевченко. В этот день Шевченко

впервые разрешил старому солдату прибрать комнату, и тот выкинул во двор сухую траву и рассыпанное монисто. Шевченко промолчал.

Шевченко написал портрет Ольриджа. Ольридж пел для Шевченко негритянские песни.

Когда Ольридж уезжал, его провожал весь театральный Петербург. С пути Ольридж прислал письмо русским актерам. «Вы изъявили в моем лице, — писал Ольридж, — сочувствие всему моему угнетенному племени».

Приближалась старость. Появилось желание уехать на родину, на Украину, поселиться в чистой маленькой хате, в покое, читать, писать стихи и гравировать прекрасные произведения живописи.

Шевченко рвался на Украину, хотел переиздать «Кобзаря», но ни того, ни другого власти ему не разрешали.

С большим трудом было все же добыто разрешение поехать на родину. Летом 1859 года Шевченко приехал в родное село Кирилловку, где жили его брат и сестра.

Сестра не сразу его узнала — не узнала своего Тараса в измученном, старом, тяжело дышащем человеке. Жить в Кирилловке было мучительно. Шевченко был один «вольный» среди всей своей крепостной семьи.

...в благодатном том селе,
Земли чернее по земле
Блуждают люди; оголились
Сады зеленые; в пыли
Погнили хаты, покосились;
Пруды бурьяном поросли.
Село как будто погорело,
Как будто люди одурели, —
Без слов на панщину идут
И за собой детей ведут.

Тарас уехал в местечко Корсунь, к родственнику Варфоломею Шевченко, и вместе с ним начал поиски клочка земли.

Землю нашли под Каневом, на высоком крутояре над Днепром, где Шевченко был потом похоронен.

Во время переговоров о покупке земли, — как водится, неторопливых и хитрых переговоров за бутыл-

кой наливки, — присутствовал какой-то захудалый шляхтич Козловский. Шевченко уже дошел до той степени раздражения против помещиков и шляхтичей, что не мог спокойно разговаривать с людьми этого сословия. Он сказал Козловскому несколько колкостей, потом разговор зашел о «божественных вещах», и Шевченко весьма вольно высказался о христианских святых.

Козловский донес. Через шесть дней Шевченко был арестован, просидел в тюрьме в Черкассах и в Киеве, был допрошен и выпущен.

Он прожил около месяца в Киеве и возвратился в Петербург. Он увез с собой новую обиду и память о запуганной, опутанной доносчиками стране.

В Петербург Шевченко приехал уже больным.

Здесь он хлопотал об освобождении от крепостной зависимости своих родных. Хлопоты эти были связаны с утомительным хождением по канцеляриям, переговорами со взяточниками. С Шевченко все чаще случались припадки неистового гнева. Он легко раздражался, плакал, подолгу никого к себе не пускал. Усталость усиливалась. Врачи исследовали Шевченко и нашли у него водянку. Ему запретили выходить из дому.

Он засел за гравюру, торопился работать, как будто сам назначил себе сроки приближавшейся смерти.

Девятнадцатого февраля 1860 года к Шевченко зашел его знакомый — Черненко. В этот день ждали опубликования манифеста об освобождении крестьян.

— Ну, что, что? Есть воля? Есть манифест? — судорожно спросил Шевченко.

— Еще нет, — ответил Черненко.

Шевченко тяжело выругался, закрыл лицо руками, упал на кровать и заплакал.

Болезнь усиливалась. Шевченко очень страдал. Друзья навещали его, но он стеснялся этих посещений. Большую часть дня он сидел один в своей неуютной холостяцкой комнате.

Старый солдат не понимал, что Шевченко болен, и все ходил вокруг, ворчал на беспорядок, на то, что лампа горит по ночам и со стен, с пучков сухих украинских трав, сыплется мусор.

Двадцать пятого февраля был день рождения Шевченко. Квартиру поэта посетило много знакомых. Когда все ушли и остался один Лазаревский, Шевченко сказал:

— Да, если бы на родину, на Украину, — там бы я, может быть, выздоровел.

Ночь прошла без сна. Мокрый снег шел над Петербургом. В этом снегу, среди холода невских льдов, среди каменных уснувших громад, в душной комнате, пропитанной запахом кислот и лекарств, в комнате, как бы отрезанной от мира ночным мраком, сидел и задыхался одинокий, отекший от водянки, плачущий старик с загубленной жизнью. Старик, которому едва минуло сорок шесть лет.

Двадцать шестого февраля утром Шевченко позвал старого солдата, приказал прибрать комнату и пошел в свою мастерскую. В дверях он остановился, вскрикнул и тяжело упал на порог.

А через несколько часов он уже лежал в комнате на столе, покрытый простыней, спокойный и величавый. Тонкие свечи трещали в изголовье и озаряли измученное лицо ссыльного солдата и великого народного певца.

Черное солнце поднялось в тот день над милой его Украиной.

1939

РАЗЛИВЫ РЕК

Поручик Тенгинского пехотного полка Лермонтов ехал на Кавказ, в ссылку, в крепость Грозную.

Весна выдалась не похожая на обыкновенные русские весны. Поздно распустились деревья, поздно цвела по заглохшим уездным садам черемуха. И реки запоздали и долго не могли войти в берега.

Разливы задерживали Лермонтова. Приходилось дожидаться паромов, а иной раз, если паром был поломан или ветер разводил на разливе волну, даже останавливаться на день-два в каком-нибудь захолустном городке.

Лермонтов равнодушно слушал жалобы проезжающих на высокую воду и дрянные отечественные дороги. Он был рад задержкам. Куда было скакать сломя голову? Под чеченскую пулю?

Впервые за последние годы он с тревогой думал о смерти. Прошло мальчишеское время, когда ранняя гибель казалась ему единственным исходом в жизни. Никогда еще ему так не хотелось жить, как сейчас.

Все чаще вспоминались слова: «И, может быть, на мой закат печальный блеснет любовь улыбкою прощальной». Он был бесконечно благодарен Пушкину за эти строки. Может быть, он еще увидит в жизни простые и прекрасные вещи и услышит речи бесхитростные, как утешения матери. И тогда раскроется сердце,

и он поймет, наконец, какое оно, это человеческое счастье.

Городок, где пришлось задержаться из-за гнилого парома, был такой маленький, что из комнаты в «номерах для проезжающих» можно было рассмотреть совсем рядом — рукой подать — поля, дуплистые ивы по пояс в воде и заречную деревню. Ее избы чернели на просыхающем откосе, как стая грачей. Навозный дымок курился над ними.

Из окна было слышно, как далеко, за краем туманной земли, поет, ни о чем не тревожась, пастуший рожок.

— Когда пройдет это круженье сердца? — сказал Лермонтов и усмехнулся. Он снял пыльный мундир и бросил на стул. — Круженье сердца! Кипенье дум! Высокие слова! Но иначе как будто и не скажешь.

Вошел слуга.

— Тут какие-то офицеры картежные стоят, — доложил он Лермонтову. — В этих номерах. Хрипуны, охальники — не дай бог! Про вас спрашивали.

— Будет врать! Откуда они меня знают?

— Ваша личность видная. Играть с ними будете? Ай нет?

— Отстань!

— А то я вам мундир почищу. В таком мундире к столу сесть совестно. Одна пыль!

— Не трогай мундир! — приказал Лермонтов и добавил, ничуть не сердясь, а даже с некоторым любопытством: — Станешь ты меня слушать или нет?

— Как придется, — уклончиво ответил слуга. — Я перед вашей бабкой евангелие целовал за вами смотреть.

— Знаешь что, — спокойно сказал Лермонтов, — ступай ты подальше! Надоел.

Слуга вышел. Лермонтов расстегнул рубаху, лег на шаткую койку и закинул руки за голову.

В дощатом домишке рядом с «номерами» сидел у окна худой паренек и вот уже который час наигрывал на гармонике один и тот же мотив, — должно быть, совсем ошалел от скуки: «Ах ты, барыня-сударыня моя! Ах ты, барыня-сударыня моя! Ах ты, барыня-сударыня моя!»

Лермонтов слушал, глядя сумрачными глазами на стену. Там было старательно выведено синим карандашом: «Пристанище для путешествующих по державе Российской».

Российская держава, Россия! Нескладная родная страна!

Утром Лермонтову встретился на улице слепой солдат. Он просил милостыню. Солдата вела за руку девочка лет четырнадцати, вся в лохмотьях. Сквозь грязную рвань просвечивало ее детское нежное тело.

— Кем он тебе приходится, этот солдат? — спросил Лермонтов девочку.

— Да никем. Ему пушечным огнем глаза выжгло. А я сирота.

— В бою под Тарутином! — хрипло прокричал солдат. По его зажатым воспаленным векам ползали мухи, но солдат их не отгонял.

«Ах ты, барыня-сударыня моя! Ах ты, барыня-сударыня моя!» — повизгивала гармоника.

Лермонтов дал солдату полтинник.

Слуга лежал на подоконнике в «номерах» и смотрел на улицу.

— Напрасно вы их балуете, Михаил Юрьевич, — сказал он укоризненно из окна.

— Помалкивай, пока я тебя не отправил в Тарханы!

Да, Россия... В Москве, на вечере у Погодина, Лермонтов впервые встретился с Гоголем. Гости сидели в саду. В этот день было народное гуляние. Из-за кирпичной ограды проникал с бульвара запах пропотевшего ситца. Пыль, золотясь от вечерней зари, оседала на деревьях.

Гоголь, прищурив глаза, долго смотрел на Лермонтова — чуть сутуловатого офицера — и лениво говорил, что Лермонтов, очевидно, не знает русского народа, так как привык вращаться в свете. «Попейте кваску с мужиками, поспите в курной избе рядом с телятами, поломайте поясницу на косьбе — тогда, пожалуй, вы сможете — и то в малой мере — судить о доле народа».

Лермонтов вежливо промолчал. Это Гоголю не понравилось.

Лермонтов был удивлен разговорами Гоголя, его брюзгливым голосом. За ужином Гоголь долго выбирал, помахивая в воздухе вилкой, в какой соленый груздь эту вилку вонзить.

Одно было ясно Лермонтову — Гоголь им пренебрегал. «Способный, конечно, юноша. Написал превосходные стихи на смерть Александра Сергеевича. Но мало ли кому удаются хорошие стихи! Писательство — это богослужение, тяжкая схима. А офицер этот никак не похож на схимника».

В ответ Гоголю Лермонтов, выждав время, прочел отрывок из «Мцыри».

— Еще что-нибудь! — приказал Гоголь.

Тогда Лермонтов прочел посвящение Марии Щербатовой:

На светские цепи,
На блеск утомительный бала
Цветущие степи
Украйны она променяла...

Гоголь слушал, сморщив лицо, ковырял носком сапога песок у себя под ногами, потом сказал с недоумением:

— Так вот вы, оказывается, какой! Пойдемте!

Они ушли в темную аллею. Никто не пошел вслед за ними. Гости сидели в креслах на террасе. Обгорали на свечах зеленые прозрачные мошки. На бульваре лихо позванивала карусель.

В аллее Гоголь остановился и повторил:

Как ночи Украйны
В сиянии звезд незакатных,
Исполнены тайны
Слова ее уст ароматных...

Он схватил Лермонтова за руку и зашептал:

— «Ночи Украйны в сиянии звезд незакатных...» Боже мой, какая прелесть! Заклинаю вас — берегите свою юность.

Гоголь сел на скамью, вынул из кармана клетчатый платок и прижал его к лицу. Лермонтов молчал. Гоголь слабо махнул ему рукой, и Лермонтов, стараясь не шуметь, ушел в глубину сада, легко перелез через ограду и вернулся к себе.

За окном прогремели по булыжникам колеса, брякнул и замолк колокольчик под дугой, захрапели лошади; топоча сапогами, скатился по лестнице гостиничный слуга, знакомая девочка-нищенка пропела серебряным голосом: «Барыня-красавица, подайте копеечку убогому слепцу-кавалеру», и гармоника споткнулась и затихла. Кто-то новый приехал в гостиницу.

Лермонтов встал с койки и подошел к окну.

Из запыленной коляски выходила, слегка подобрав дорожное платье, Мария Щербатова — высокая, тонкая, с бронзовым отблеском в волосах.

Лермонтов отшатнулся от окна. Откуда она здесь, в этом заштатном городке? Так недавно еще он расстался с ней в Петербурге.

Любила ли она его? Он не знал. Вообще он не знал, любил ли его по-настоящему хоть кто-нибудь в жизни. Все привязанности кончались обманом. Наталья Иванова променяла его на проворовавшегося офицера, Лопухина вышла замуж за богача.

Как же Щербатова попала сюда? В Петербурге она ничего не говорила ему об этой поездке. Потом он вспомнил — городок этот лежал по пути на ее Украину. Какой все же славный городок! Там, в степях Заднепровья, выросла эта юная женщина с лазурными глазами.

Любила ли она его, он не знал. Но он, если бы мог, подарил ей всю землю. Вся теплота этой любви была в нем одном. Он берег ее, он жил с ней одиноко и счастливо.

Он был благодарен за это Щербатовой. Неважно, знала она об этом или нет. Достаточно того, что она жила и случай столкнул их на несхожих житейских дорогах.

Он позвал слугу и велел получше почистить мундир.

Мария Щербатова была здесь! Он слышал ее голос в пропахшем кислыми щами коридоре, шум ее платья, знакомые шаги, хлопанье рассохшихся дверей, свежий плеск воды в тазу, запах лавандовых духов. И, наконец, он услышал заглушенные слова, каких ждал с той минуты, когда увидел ее выходящей из коляски:

— Неужели Михаил Юрьевич здесь? Вот забавный случай! Тогда передай ему вот это.

«Вот это» было запиской, наспех набросанной на клочке бумаги. Ее принес слуга.

В записке было два слова:

«Приходите скорей!»

Никакие слова не казались ему такими зовущими и ласковыми, как два этих маленьких слова.

Марии Щербатовой тоже казалось, что впервые в жизни она написала такие удивительные и важные слова. В них было все смятение ее любви, утаенной печали.

С детства она верила в счастливые неожиданности, ждала их, но ожидание это никогда не сбывалось. Ничего, кроме горечи, не приносило это ожидание. А вот сейчас — сбылось!

Еще там, в Петербурге, узнав о ссылке Лермонтова, Щербатова решила тотчас уехать к себе на Украину. Нет, еще бьется сердце, и она не променяла цветущие украинские степи на мертвую суету Петербурга. Он был неправ, когда упрекал ее в этом.

Она решила ехать. В глубине души, как исчезающий, неуловимый сон, жила надежда — может быть, она еще встретит его, догонит в пути. Мало ли что случается в жизни. Есть же такое утешительное слово — «наугад».

И вот — сбылось! Лермонтов здесь. И она должна решиться и сказать ему, наконец, как он ей дорог. И потом плакать напролет от безнадежности, нежности, от непонимания, как добиться хотя бы недолгого счастья.

Она не могла объяснить себе многого. Сейчас ей хотелось запомнить на всю жизнь этот городок, гостиный двор с желтыми облупившимися сводами, голубей

на базаре, зеленую вывеску трактира «Чай да сахар!», каждую щепку на горбатой мостовой.

— Я думаю совсем не о том, не о том! — шептала Щербатова, торопливо причесываясь перед темным гостиничным зеркалом. — Думаю о пустяках, а этот свободный для сердца день не повторится. Никогда! Что я скажу ему? Где? Нет, только не в этих «номерах»! Уйдем за город, к реке. Вон в ту рощу, где блестит на солнце покосившийся крест над часовней. Должно быть, там кладбище.

Но встреча, как это всегда бывает, вышла совсем не такой, как ожидала Щербатова.

Когда послышались шаги Лермонтова, Щербатова вышла в коридор, сбежала, задыхаясь, по лестнице и остановилась в воротах. В руке она держала за синюю шелковую ленту соломенную шляпу.

Они встретились у ворот, и Лермонтов, наклонившись, чтобы поцеловать ее руку, пропустил тот единственный миг, когда слеза блеснула в ее синих, как шелковая лента, глазах и тотчас исчезла.

И пошли они не в кладбищенскую рощу, а в городской запущенный сад. Там так громко трещали воробьи, что Лермонтов, усмехнувшись, заметил:

— Как будто на сотне сковородок жарят яичницу на украинском сале.

Щербатова слабо улыбнулась. Она поняла, что вряд ли скажет ему сейчас то, что хотела сказать минуту назад. Они все время уходили в сторону от единственно важного для них разговора.

Под горой в мутноватой воде кружились отражения облаков. И весь этот скромный весенний день казался Щербатовой тайным подарком. Он принадлежал только ей. Никто не знает, где она, с кем она сейчас. Сердце полно до краев. Пальцы вздрагивают, когда она прикасается к рукаву его грубого мундира. Прижать бы к груди эту милую голову, пригладить волосы...

Но этого тоже не случилось. Лермонтов, сгорбившись и застенчиво улыбаясь, заговорил о России, о том, что он любит в ней как раз то, чего не любят другие. Вот все досадуют на разлив, а он готов прожить хоть месяц в этом городке и только то и делать,

что смотреть на полую воду. Должно быть, все занимательно для нас, если душа открыта для простых впечатлений.

Он говорил с ней как с другом, как с мужчиной. В его темных глазах появился влажный блеск.

Он рассказал о слепом солдате и девочке-поводыре. Она весь день не выходила у него из головы.

— Михаил Юрьевич! — Щербатова положила пальцы на горячую руку Лермонтова. — Я догадываюсь обо всем, что вы можете думать обо мне. Но я не такая. Я выросла среди простонародья. Я бегала босиком по крапиве и пасла телят и гусей. До сих пор я не могу без слез слушать наши малороссийские песни. «Закувала та сыва зозуля раным-рано на зори». Вы понимаете? «Закуковала серая кукушка на ранней заре».

— Я понимаю, — ответил Лермонтов и начал чертить ножнами сабли по песку.

— Михаил Юрьевич! — сказала с отчаянием Щербатова. — Опять у вас тоска! Я не знаю, что сделать, чтобы ее не было.

— Все кончится, — спокойно ответил Лермонтов. — Мы украли у этого дурацкого света единственный день. Но все равно вы ничем не можете помочь мне. Просто вы не решитесь.

— Да, не решусь, — призналась Щербатова и опустила голову.

— Вы не виноваты, — сказал, успокаивая ее, Лермонтов. — Мне грустно оттого, что я вас люблю и знаю, что за этот легкий день вам придется дорого рассчитаться. Мы не скроемся. Здесь шайка петербургских офицеров. И среди них один. Я давно приметил его. Или, вернее, он давно преследует меня, как тень. Некий жандармский ротмистр с черной повязкой на глазу. Единственный, но зоркий глаз Бенкендорфа.

— Ну вот, — Щербатова встала и протянула Лермонтову руки, как бы желая помочь ему подняться с низкой садовой скамейки. — Вы так просто сказали то, что я не решаюсь сказать сама.

Она слегка потянула его за руки. Лермонтов встал, и она, обняв его за плечи, поцеловала в губы, потом

в глаза — поцеловала прямо, открыто, глядя в побледневшее лицо.

И опять все случилось не так, как она думала. Не было ни бурных слов, ни пылких признаний, ни клятв, а была только разрывающая сердце нежность.

Слепой солдат зашел в ренсковый погребок и купил на весь полтинник, полученный от Лермонтова, казенного вина. Но он не стал его пить в погребке, а отнес на «квартиру» — солдат ночевал на окраине городка, в Слободке, в дальней кривой избе.

Хозяин избы, непутевый шорник, вдовец, увидев штоф с вином, засуетился, постлал на стол дырявое, но чистое рядно, насыпал в деревянную миску соленых желтых огурцов, достал краюху хлеба и солонку с красной, заржавевшей солью.

В избе было по-весеннему сыро. Пахло гнилой кожей. Изо рта валил пар.

Начали пить, отдуваясь, поминая святых угодников.

Девочка сидела на скамье, поджав босые ноги, и жевала корку. Тощая, только что окотившаяся кошка терлась о ноги девочки. Девочка чувствовала тепло кошачьей шкурки, смотрела на кошку прозрачными, пустыми глазами, потом отломила кусок корки и бросила кошке.

Кошка стала жадно грызть корку, как пойманную мышь, — урча, давясь и встряхивая ушами.

— Ишь ты, — сказал хозяин избы, — мамзель какая! Хлеб животному стравливает. Это, я считаю, безобразие.

Девочка ничего не ответила, а солдат закричал хозяину:

— Тысячи нас, солдат, сполняют царскую службу! Понимаешь ты это, серая твоя башка? На солдате государство стоит...

— То-то вас порют через каждого третьего, — заметил хозяин. — Ты лучше расскажи, откуда ты родом.

— А я и не помню! — бесшабашно ответил солдат. — Ей-богу, забыл. Одно помню — стояла мать

под ракитой и крестилась на солнце, когда меня угоняли. Мать у меня была раскрасавица, прямо цыганка!

— Ну, бреши, утешайся, — согласился хозяин избы. — Куда ты только подаяние деваешь? У самого в брюхе щелк. И девчонка у тебя засохла, насквозь светится.

— Она вроде немая, — ответил солдат. — Только милостыню за меня просит. А чтобы другое слово сказать, так этого за ней не водится. Катька! — крикнул он. — Хочешь вина?

Девочка молча покачала головой, не спуская глаз с кошки.

— Слушай! — закричал солдат и стукнул желтой ладонью по столу. — Слушай мое объяснение, сиворайдовский мужик! Меня сам командир за бой под Тарутином облобызал. Видишь, крест егорьевский! Перед ним встать следует, а не сидеть раскорякой. С тем крестом я могу во дворец беспрепятственно войти — часовые меня не тронут. Войти и сказать караульному генералу: «Доложи государю, такой-растакой сын, что старослужащий солдат желает ему представиться на предмет вспоможения». И генерал — ни-ни, не пикнет! Только забренчит орденами и пойдет к царю докладать.

— Да ну! — притворно удивился хозяин избы. — Так-таки и пойдет?

— Еще как! Мне вот офицер дал полтинник. Катька говорит — молодой офицер, чернявый. Это не каждому полтинник дают! Это, брат, заслужить надо. Я самого Кутузова видел. Полководца! Одноглазый генерал. Облик львиный. Скачет в дыму, знамена над ним шумят, «ура» катится до самой Москвы. И кричит он нам: «Ребята, умрем за отечество! Умрем, кричит, за отечество!»

Солдат сморщил лоб и заплакал. Плакал он молча, сидя навытяжку, придерживая на груди почернелый георгиевский крест.

— Все герои, а пока что в дерме преем, — вздохнул хозяин. — Ты лучше пей, кавалер. Солдат веселиться должен. По уставу.

— Видит бог, должен! — закричал солдат с натугой, и лицо его начало чернеть.

Ах ты, сукин сын, камаринский мужик!

Солдат тяжело затопал ногами под столом.

Ты, видать, видать, к веселию привык!

— Дедушка, — испуганно сказала девочка и положила синеватые пальцы на набухшую узлами руку солдата, — ты не пой — закашляешься.

— Полк, слуша-а-ай! — закричал солдат и тотчас закашлялся.

Кашлял он долго, навалившись грудью на стол, выпучив красные от удушья глаза. Хозяин избы жевал огурец и с любопытством смотрел на солдата.

— Чего же ты сидишь? — сказал он, наконец, девочке. — Видишь, человек кончается. Паралик его разбирает.

Солдат упал головой на стол, захрипел и сполз, свалив лавку, на земляной пол. Кошка, прижав уши, отбежала с недоеденной коркой к холодной печке.

Девочка стала на колени около солдата, схватила его за голову.

— Дедушка! — закричала она. — Встань! Чего ж ты по полу валяешься? Худо тебе?

— Тихо! — прохрипел солдат. — Слушай мою команду. Офицер дал мне полтинник. Душа-офицер! Доложи ему — помер, мол, старослужащий солдат и кавалер Трифон Калугин с весельем, как полагается.

Ах ты, сукин сын, камаринский мужик!

— Дедка! — звонко вскрикнула девочка, легла головой на грудь солдату и обхватила его плечи.

И, должно быть, солдат почувствовал скудное и последнее для него тепло детских рук. Он задвигался и положил девочке на лицо тяжелую ладонь.

— Темно мне помирать, — сказал он. — Хоть бы солнышко вполглаза увидеть! Ты не кричи. Жизнь солдатская — портянка. Снял и выкинул. Беги к офицеру, скажи... хоронить надо солдата по правилам службы.

Солдат дернулся и застыл. В наступившей тишине было слышно, как кошка догрызала хлебную корку и тяжело дышал хозяин избы.

— Вот тоже, — сказал он, наконец, — навязались постояльцы на мой загривок. Погодь!

Он оттолкнул девочку и начал ловко шарить в карманах у солдата.

— Мошна-то глубокая, да пуста, — зло бормотал он. — Голь перекатная! А вино пьют. Да еще угощают! Мне двугривенный полагается за постой.

Девочка вскочила. Хозяин качнулся, хотел схватить ее за подол, но девочка метнулась к порогу и, не оглядываясь, выбежала из избы.

Бывает такая душевная уверенность, когда человек может сделать все.

Он может почти мгновенно написать такие стихи, что потомки будут повторять их несколько столетий.

Он может вместить в своем сознании все мысли и мечты мира, чтобы раздать их первым же встречным и ни на минуту не пожалеть об этом.

Он может увидеть и услышать волшебные вещи там, где их никто не замечает: серебряный пень в лунную ночь, звон воздуха, небо, похожее на старинную морскую карту. Он может придумать множество удивительных рассказов.

Примерно такое же состояние испытывал сейчас Лермонтов. Он был спокоен и счастлив. Но не только любовью Щербатовой. Разум говорил, что любовь может зачахнуть в разлуке. Он был счастлив своими мыслями, их силой, широтой, своими замыслами, всепроникающим присутствием поэзии.

Днем Лермонтов обошел со Щербатовой весь городок. Из сада они пошли посмотреть на разлив и узнали, что паром починят только завтра. Они долго сидели на теплых от солнца сосновых бревнах, наваленных на береговом песке. Щербатова рассказывала о своем детстве, о Днепре, о том, как у них в усадьбе оживали весной высохшие, старые ивы и выпускали из коры мягкие острые листочки.

Она увлеклась воспоминаниями. В голосе у нее появилось мягкое южное придыхание. Лермонтов любовался ею.

Они пообедали у известной в городке бригадирской вдовы поварихи. Она накрыла стол в саду. Цвела яблоня. Лепестки падали на толстые ломти серого хлеба и в тарелки с крутым борщом. К чаю бригадирша подала тягучее вишневое варенье и сказала Лермонтову:

— Я его берегла для праздника. А вот сейчас не стерпела, выставила для вашей жены. Где это вы отыскали такую красавицу?

Щербатова вспыхнула слабым румянцем. Лермонтов впервые за этот день увидел слезу на глазах Щербатовой. Она незаметно вытерла ее мизинцем.

Он не узнавал ее. Она была прелестна в Петербурге, но куда сейчас девалась ее тамошняя сдержанность, снежная, почти мраморная красота и горделивость движений? Сейчас перед ним была простая, ласковая женщина, и тайная радость, что она переменилась так внезапно ради него, не покидала Лермонтова.

Только к вечеру они вернулись в «номера». Огромное солнце склонялось к разливу.

Из большой комнаты в «номерах», занятой офицерами, доносились то дружный хохот, то рыдающие стоны гитары и нестройное пение:

Коперник весь свой век трудился,
Чтоб доказать земли вращенье.
Дурак, зачем он не напился, —
Тогда бы не было сомненья!

Под стеной «номеров» сидела на земле, обхватив руками колени и положив на них голову, знакомая нищенка. Она, казалось, спала. Лермонтов остановился.

— Почему ты одна? — спросил он. — Где солдат?

Девочка подняла голову, но не встала.

— Где солдат? — повторил Лермонтов.

— На Слободке. Лежит в хате.

— Что с ним?

— А он помер. Как почернел, так и свалился под лавку. А меня к вам послал.

— Зачем?

— А я не знаю, — шепотом ответила девочка, и лицо у нее задрожало. — Велел добежать до вас, а я не дослушала.

— Испугалась?

— Ага! — еще тише ответила девочка.

Щербатова вскинула на Лермонтова глаза. Лицо его стало суровым и нежным. Она ни разу не видела у него такого лица. Легкая боль кольнула ей сердце.

— Я не знала, что вы так чувствительны.

Лермонтов пристально взглянул на нее.

— Я не люблю благодеяний, — сказал он, чуть сердясь. — Все это вздор! Но со вчерашнего дня мне все кажется, что я отвечаю за эту детскую жизнь.

Слуга Лермонтова, по своему обыкновению, лежал на подоконнике и, сощурив глаза, смотрел на улицу. Он явно показывал проходящим, что нестерпимо скучает в этой серой провинции. Лермонтов резко окликнул его и приказал накормить девочку.

Когда Лермонтов проходил с Щербатовой по тесному коридору «номеров», дверь из офицерской комнаты распахнулась. Из нее высунулся жандармский ротмистр с черной повязкой на глазу. Увидев Лермонтова, он тотчас захлопнул дверь.

— Извините, мне надобно отлучиться, — сказал Лермонтов Щербатовой, поклонился и быстро открыл дверь в офицерскую комнату.

Шум за дверью оборвался.

Щербатова пошла к себе, но в комнату не вошла, а остановилась у дверей. Она была оскорблена внезапным уходом Лермонтова.

«Господи! — сказала она про себя. — Дорога каждая минута, а он теряет время на карты. Что это значит?»

Тяжелая боль сжала ей грудь. В одно это мгновение она поняла, что даже короткая разлука приводит ее в отчаяние. Что же будет завтра, когда надо будет расставаться надолго, может быть навсегда?

Небо за окном в конце коридора становилось все зеленее. День быстро угасал. На смену ему шла тишина ночи со слабым заревом звезд.

Если бы можно было остановить медленный ход ночи над этим глухим уголком России! Остановить, чтобы никогда не приходил завтрашний день...

Офицеры играли и пили вторые сутки.

Лермонтов вошел не постучавшись. Он уронил на пороге белоснежный носовой платок и так ловко и незаметно поднял его, что кое-кто из офицеров подумал:

«Да, с этим разжалованным гусаром лучше не связываться. Бьет, как пить дать, в пикового туза пулей в пулю».

Жандармский ротмистр с черной повязкой на глазу встал и вышел в соседнюю комнату. Лермонтов посмотрел ему в спину. Одноглазый! А может быть, нарочно завязал глаз для нечистой игры.

Офицеры замолкли. По их напряженным лицам Лермонтов догадался, что они только что говорили о нем и Щербатовой. Нижняя губа у него дернулась, но усилием воли он сдержал нервную дрожь, кивнул всем и громко сказал:

— Жаль, что так поспешно ушел господин ротмистр. Мне бы надобно сразиться именно с ним.

Жандармский ротмистр быстро открыл дверь из соседней комнаты и остановился на пороге.

— Я к вашим услугам, — сказал он добродушно и слегка поклонился. — Всегда рад сразиться с прославленным русским поэтом.

— Насколько я знаю, — спокойно ответил Лермонтов, — вы играете только втемную. Ну что ж, сыграем и втемную.

Ротмистр деланно засмеялся и подошел к столу. Глаз его прищурился от злобы.

— Играю на тысячу, — сказал Лермонтов. — Не больше. Без отыгрыша. После выигрыша тотчас уйду. Идет?

Ротмистр кивнул.

— Идет! — ответил за него банкомет, белобрысый драгунский капитан. — Остановка за малым — за выигрышем. А я, признаться, думал, что вам сейчас не до игры, господин Лермонтов.

— Мысли ваши держите в кармане рейтуз, — резко ответил Лермонтов.

— Ежели бы вы не ехали на Кавказ, под пули... — сказал, краснея, банкомет и осекся.

Лермонтов смотрел на него выжидательно и спокойно.

— То что бы случилось, позвольте узнать? — спросил он с вежливым любопытством.

— Да так... ничего, — пробормотал банкомет.

Ротмистр кивнул и бросил на стол пачку ассигнаций.

Лермонтов тоже вынул деньги.

— Здесь тысяча, — сказал он. — Иду на все!

— Вы об этом уже изволили докладывать. Вот ваша карта.

Офицеры столпились у расшатанного стола. Хмель сразу слетел с них. Всем было ясно, что Лермонтов играет неспроста. Не такой уж мальчик уродился, чтобы чего-нибудь не выкинуть. Только совсем юный и пьяный до беспомощности чиновник прокричал:

Вам не видать таких сражений!

— Замолчите! — ласково сказал ему Лермонтов.

Чиновник всхлипнул и затих. Лермонтов быстро открыл карты.

— Ваша тысяча! — сказал банкомет с наигранным равнодушием.

— Посмотрим, как вы отыграетесь, — сказал Лермонтов ротмистру, взял деньги, засунул их, не считая, в карман, кивнул и вышел.

С этой минуты Лермонтов с полной ясностью понял, что ротмистр послан следить за ним.

— Индюк! — зло сказал ротмистр банкомету. Тот удивленно моргнул красными от бессонницы веками. — Тюфяк! — повторил ротмистр. — Пропустил такой слу-

чай расквитаться с этим наглецом! Он же лез на ссору, а ты вильнул и скис. «Да так... ничего...» — передразнил он банкомета.

— От такого и тремя откупишься, — пробормотал конопатый пехотный капитан. — По всем повадкам видно — головорез!

Тогда вдруг зашумел чиновник.

— Стреляться с Лермонтовым? — закричал он. — Не допущу! Извольте взять свои слова обратно!

— Проспитесь сначала, фитюк! — брезгливо ответил ротмистр.

А банкомет еще долго сидел, недоумевая, и моргал красными веками, пока двое вдребезги пьяных драгун не взяли его под руки и не уложили на рваный, стреляющий пружинами диван.

После выигрыша Лермонтов пошел на Слободку.

К себе в «номера» он вернулся поздним вечером. Девочки в комнате не было. Слуга сидел у стола и лениво отковыривал ногтем воск на чадящей свече.

От внезапного тяжелого гнева у Лермонтова заныл затылок. Припадки такого гнева случались с ним все чаще. Последний раз так было на маскараде в Благородном собрании, когда великая княжна игриво ударила его веером по руке и сказала, что хочет причислить поэта к своим приближенным. Но тогда этот гнев был понятен. Он не сдержался, сказал княжне дерзость.

Но почему гнев вспыхнул сейчас? Он не мог разобраться в этом. Может быть, потому, что в комнате не оказалось девочки, а может быть, от сонной и, как ему показалось, насмешливой рожи слуги.

— Подай мне мокрое полотенце, — хрипло сказал Лермонтов. — Свеча чадит, а ты сидишь как истукан. Где девочка?

Слуга начал мочить полотенце под медным рукомойником.

— Пить бы вам надо поменьше, — сказал он наставительно.

— Где девочка? — повторил Лермонтов, и голос его зазвенел.

— Кабы вы приказали мне ее караулить... — обиженно сказал слуга, но Лермонтов не дал ему окончить.

— Где? — крикнул он, и слуга отшатнулся, увидев его взбешенные глаза.

— Княгиня сюда заходили и увели ее к себе, — скороговоркой пробормотал слуга. — Что ж я, силком ее, что ли, буду держать, христарадницу эту!

Лермонтов вырвал из рук слуги полотенце, обвязал им голову.

— Ступай к себе, — сказал он, сдерживаясь. — И собирайся в дорогу. Завтра поедешь в Тарханы. К черту!

— Это как же? — спросил, прищурившись, слуга.

— Ступа-а-ай! — повторил Лермонтов так протяжно и яростно, что слуга, сжавшись, выскочил в коридор.

За дверью он перекрестился. «И впрямь лучше поеду, — подумал он. — А то еще убьет. Ей-богу, убьет. Смотри, какой бешеный!»

Лермонтов сел к окну, оперся локтями о подоконник и сжал ладонями голову.

Ночная прохлада лилась в окно из зарослей черемухи, будто черемуха весь день прятала эту прохладу в своих ветвях и только ночью отпускала ее на волю. Низко в небе вздрагивал огонь звезды.

«Надо пойти к Щербатовой, — думал Лермонтов. — Но можно ли? Там камеристка. Да все равно ничего не удержишь в тайне. Зачем случилась эта встреча? Опять пришла тоска, дурные предчувствия». Он привык к одиночеству. Иногда он даже бравировал им: «Некому руку подать в минуту душевной невзгоды». А вот сейчас и невзгода и есть кому руку подать, а тоска растет, как лавина, и вот-вот раздавит сердце.

Никогда ему не хотелось ни о ком заботиться. А вот теперь...

У него, как и у этой девочки, не было ни матери, ни отца. Сиротство роднило их, прославленного поэта и

запуганную нищенку. Он думал, усмехаясь над собой, что, должно быть, поэтому он был так явно обеспокоен ее судьбой.

Он смутно помнил свою мать, — вернее, ему казалось, что он ее помнил, — ее голос, теплые бессильные руки, ее пение. Думая о ней, он написал стихи о звуках небес, о том, что их не могли заменить скучные земные песни.

За окном стучал в колотушку сторож. И как люди считают, сколько раз прокуковала кукушка, чтобы узнать, долго ли им осталось жить, так он начал считать удары колотушки. Выходило каждый раз поиному: то три года, то девять, а то и все двадцать лет. Двадцати лет ему, пожалуй, хватит.

За спиной Лермонтова открылась дверь. Сквозной ветер согнул пламя свечи.

— Опять ты здесь, — сказал устало Лермонтов. — Я же говорил, чтобы ты оставил меня в покое.

Теплые руки обняли Лермонтова за голову, горячее лицо Щербатовой прижалось к его лицу, и он почувствовал у себя на щеке ее слезы.

Она плакала безмолвно, навзрыд, цепляясь за его плечи побледневшими пальцами. Лермонтов обнял ее.

— Радость моя! — сказала она. — Серденько мое! Что же делать? Что делать?

Оттого, что в этот горький час она сказала, как в детстве, украинские ласковые слова, Лермонтов внезапно понял всю силу ее любви.

Что делать, он не знал. Неужели смириться? Жизнь взяла его в такую ловушку, что он не в силах был вырваться. Дикая мысль, что его может спасти только всеобщая любовь, что он должен отдать себя под защиту народа, мелькнула в его сознании. Но он тотчас прогнал ее и засмеялся. Глупец! Что он сделал для того, чтобы заслужить всенародное признание? Путь к великому назначению поэта так бесконечно труден и долог — ему не дойти!

— Мария, — сказал он, и голос его дрогнул, — если бы вы только знали, как мне хочется жить! Как мне нужно жить, Машенька!

Она прижала его голову к груди. Он впервые за последние годы заплакал — тяжело, скупо, задыхаясь в легком шелку ее платья, не стыдясь своих слез.

— Ну что ты? Что ты, солнце, радость моя? — шептала Щербатова.

Лермонтов сжал зубы и сдержался. Но долго еще он не мог вздохнуть всей грудью.

— Пойдем сейчас ко мне, — шептала Щербатова. — Я покажу тебе девочку. Она спит. Я вымыла ее, расчесала. Я возьму ее к себе.

— Хорошо, — сказал он. — Иди. Я сейчас умоюсь и приду.

— Только скорее, милый.

Она незаметно вышла. Лермонтов умываться не стал. Он сел к столу и быстро начал писать:

Мне грустно потому, что я тебя люблю
И знаю — молодость цветущую твою
Не пощадит молвы коварное гоненье...

Он встал, спрятал стихи за обшлаг мундира, задул свечу и вышел.

Глухая ночь проходила неведомо куда над городком, над черными полями и разливом. И лениво, как бы засыпая, ударил один раз в колотушку ночной сторож.

Рано утром Лермонтов снова ушел на Слободку и вернулся только к полудню. Перед уходом он послал записку Щербатовой. Она была написана по-французски:

«Я обязан сегодня отдать последний долг старому солдату. Если у вас есть черное платье, то, прошу вас, наденьте его. Я зайду за вами и за девочкой».

Щербатова достала простое черное платье и торопливо переоделась.

Лермонтов пришел сдержанный, молчаливый, и они втроем пошли на Слободку.

Солдат лежал в неструганом гробу на столе, прибранный, покрытый рваным рядном. Он как бы прислушивался, дожидаясь утренней побудки, пения полковой трубы.

Высокая старуха читала псалтырь, проглатывая слова, как бы боясь, что ее остановят. По столу около гроба суетливо бегали рыжие тараканы. Старуха смахивала их ладонью.

Хозяин избы, уже успевший опохмелиться на полученную от Лермонтова трешку, не то плакал, не то кряхтел, стоя в углу и вытирая лицо ситцевым рукавом.

Пришел рыжий веселый священник с дряхлым дьячком, надел через голову старую ризу, выпростал жирные волосы, вытер лицо коричневым платком, попробовал голос и начал отпевание.

Щербатова стояла, опустив голову. Воск капал ей на пальцы с тонкой, согнувшейся свечи. Но она не замечала этого. Она думала о бездомном солдате, о своей нарядной и утомительной жизни в Петербурге и вдруг удивилась: зачем ей эта жизнь? И зачем ради нее она должна отказаться от любви, от радости, от веселья, даже от того, чтобы пробежать босиком по мокрой траве? Она думала о Лермонтове. Их родственная и светлая близость не может пройти никогда. Она думала обо всем этом, и ей казалось, что она молится за солдата, за Лермонтова, за свою самую печальную на свете любовь.

Девочка, одетая в серенькое, наспех подшитое на ней платье, смотрела, не мигая, за окно.

За окно смотрел и Лермонтов. Там сияла последняя в жизни солдата весна. Легкий сквозняк уносил дым ладана. Небо и деревья светились сквозь этот дым тусклой позолотой.

«Может быть, это и моя последняя весна», — подумал Лермонтов, но тотчас начал торопливо думать о другом — о Щербатовой, о том, что уже починили, должно быть, паром и через несколько часов он расстанется с ней.

— Кутузовский кавалер! — вздыхал позади хозяин избы. — Царствие ему небесное, вечный спокой!

Лермонтов улыбнулся. Щербатова с тревогой подняла на него глаза. Со времени встречи в городке малейшее его душевное движение тотчас передавалось ей. А он подумал, что вот эти слова будут когда-нибудь петь и над ним. Петь о вечном покое над человеком, созданным для вечного непокоя. Ну что ж, тогда ему будет все равно!

Кладбище оказалось в той маленькой роще за городом, где Щербатова хотела встретиться с Лермонтовым. Дымные тени от недавно распустившихся берез шевелились под ногами.

Хозяин избы подошел к гробу с молотком и гвоздями, чтобы заколотить крышку. Гвозди он держал во рту. Лермонтов отстранил его, наклонился и поцеловал бугристую руку солдата. Смуглое лицо его побледнело.

Щербатова опустилась на колени перед гробом, тоже поцеловала холодную солдатскую руку и подумала, что никогда она не забудет об этом дне.

Не забудет о шуме ветра в березах, застенчивом солнечном тепле, дрожащих губах девочки, голосе Лермонтова, о каждом сказанном им слове, об этих двух днях, что останутся в памяти, как святая святых, — маленьких днях, затерянных среди тысячи других дней в потоке времени.

Все неподвижно смотрели, как сырая земля сыпалась на крышку гроба. Щербатова взяла руку Лермонтова и незаметно и нежно поцеловала ее. За все — за прошлые его страдания, за погибшую молодость, за счастье жить с ним под одним небом.

Щербатова сидела в коляске, закрыв глаза, закутав голову. Она сослалась на нездоровье, чтобы ее не тревожили.

После разлуки с Лермонтовым она не могла смотреть ни на степь, ни на людей, ни на попутные села и города. Они как бы вырывали у нее воспоминание о нем, тогда как все ее сердце принадлежало только ему. Все, что не было связано с ним, могло бы совсем не существовать на свете.

С детских лет она слышала разговоры, что любовь умирает в разлуке. Какая ложь! Только в разлуке бережешь, как драгоценность, каждую малость, если к ней прикасался любимый.

Вот и сейчас к подножке коляски прилип листок тополя. Когда Лермонтов, прощаясь со Щербатовой, вскочил на подножку, он наступил на него.

Щербатова смотрела на этот трепещущий от ветра жалкий лист и боялась, что его оторвет и унесет в поле. Но он не улетал. Лист оторвался и улетел только на третий день к вечеру, когда из-за днепровских круч ударил в лицо грозовой ветер и молнии, обгоняя друг друга, начали бить в почерневшую воду.

Гроза волокла над землей грохочущий дым и ликовала, захлестывая поля потоками серой воды.

Кучер повернул к видневшейся вдалеке деревне. Испуганные кони скакали, прижав уши, храпя, косясь на раскаты грозы, обгонявшие коляску то справа, то слева.

Щербатова привстала, сбросила шаль. Тополевого листка на подножке не было.

Гром расколол над головою небо.

«Зачем я не бросила все, — подумала с тоской Щербатова, — и не поехала с ним на Кавказ?»

Ничего не нужно сейчас — ни покоя, ни прочности в жизни. Только бы увидеть его, взять за руки. И знать, что он здесь, рядом, и что никакая сила в мире не сможет теперь оторвать их друг от друга.

Девочка испугалась грозы. Щербатова обняла ее, прижала к себе и тогда только заметила, что девочка плачет.

— О ком ты плачешь? — спросила Щербатова порывисто. — О ком?

Девочка только затрясла головой и крепче прижалась к Щербатовой.

Гроза несла над ними на юг, к Кавказу, обрывки разодранного в клочья неба. И старик украинец в накинутой на голову свитке торопливо отворял пе-

ред взмыленными лошадьми скрипучий плетень и говорил:

— В такую грозу разве мыслимо ехать! Убьет и размечет. Заходите скорийше до хаты.

Опять задержка. Но теперь не из-за поломанного парома, а из-за грозы. Она долго кружила над ночной степью в полыхании синего небесного огня. Серебряная путаница сухих стеблей и колосистых трав вдруг возникала во мраке по сторонам степного шляха и тотчас гасла, чтобы через мгновение вспыхнуть снова с нестерпимой пугающей яркостью.

Каждый раз при вспышке молнии Лермонтов видел ее вороватый отблеск на эфесе своей шашки и на медной бляхе на спине ямщика. И каждый раз появлялась и снова тонула в кромешном мраке припавшая к широким балкам степная станица. Она как бы прилегла к земле, спасаясь от грозы.

В одной из хат Лермонтов и остановился переждать грозу. Он думал назавтра ехать дальше, но черноземные дороги превратились от ливня в озера липкой грязи. Надо было дождаться, пока они немного просохнут.

Хата была ветхая. На жердях под потолком висели пучки пересохшей полыни. Жили в хате старуха Христина, промышлявшая знахарством и гаданием, и ее муж, сельский скрипач Захар Тарасович. Он играл на крестинах и свадьбах. Скрипочка у него была совсем детская, высохшая от старости, как пучки полыни под потолком. И такая же легкая, как эти пучки.

Лермонтов прожил в станице два дня. Все время напролет он писал. Слугу он отправил в Тарханы, и никто не мешал ему, не приставал с разговорами.

Мысли были ясные, как безоблачная ночь. На душе было легко от этих мыслей и от ощущения, что все вокруг подвластно поэзии. Разлука со Щербатовой, воспоминания, тоска по юной любящей женщине — все это помогало Лермонтову писать. Он с грустью думал, что в сердце поэта, кажется, нет большей привязанности, чем привязанность к поющей строфе.

В последний вечер перед отъездом из станицы Захар Тарасович зазвал Лермонтова с собой на свадьбу.

Лермонтов согласился. В этот вечер ему не хотелось оставаться одному. Он был встревожен, и его тянуло к людям. Днем он видел, как ротмистр с черной повязкой на глазу вошел в хату, где жила молодая шинкарка. Опять этот ротмистр вьется около него.

На свадьбе Лермонтов сидел в углу на темной от времени лавке. Девушки в венках из бумажных цветов искоса поглядывали на него, опускали глаза и заливались румянцем. Сваты, повязанные вышитыми рушниками, степенно пили пшеничную водку и закусывали розовым салом и квашеной капустой.

Девушки тихо пели:

Ой, в Ерусалиме
Рано зазвонили.
Молода дивчина
Сына породыла.

Невеста украдкой вытирала слезы, а Захар Тарасович подыгрывал девушкам на скрипке.

В полночь Лермонтов попрощался с хозяевами и вышел. Звезды медленно роились над головой. Ночь была южная, непроглядная. Из степи тянуло чебрецом.

Невдалеке от своей хаты Лермонтов столкнулся с пьяным. Пьяный молча загородил Лермонтову дорогу. Лермонтов сделал шаг в сторону, чтобы его обойти, но пьяный засмеялся и снова загородил дорогу.

— Ты со мной не шути, приятель, — сказал, сдерживая гнев, Лермонтов. — Дай мне пройти.

— Куда? — тихо спросил пьяный и крепко схватил Лермонтова за руку.

Лермонтов вырвался. Ни пистолета, ни шашки при нем не было.

— Долго ты у меня не находишься, — сказал со смешком пьяный.

Лермонтов с силой оттолкнул его и тут только заметил, что от пьяного не пахнет водкой.

Лермонтов пошел к своей избе. Сзади было тихо. Лермонтов оглянулся, и в то же мгновение сверкнул тусклый огонь из пистолетного дула, и пуля, подвывая, прошла около плеча Лермонтова и ударила в стену хаты. Посыпалась сухая белая глина.

Лермонтов в ярости бросился назад. Но там уже никого не было. Только брехали по всей станице собаки, встревоженные ночным выстрелом.

Лермонтов вернулся в хату, зажег свечу и при ее свете заметил, что левый погон у него оторван. Он потрогал плечо. Оно чуть болело.

Бабка лежала на печке.

— Вот клятый иуда! — сказала она. — Злодий, чтоб добра ему не было! Не поранил он вас?

— Нет. А откуда ты знаешь, что это в меня стреляли?

— Да так... ниоткуда, — ответила бабка. — Свечку лучше задуйте да отойдите от окна. А то он упорный.

— Кто это «он»?

— А кто ж его знает, — неохотно ответила бабка. — Он всего третий год как приехал до нашей станицы. За карбованец любого подпалит, а за два карбованца — так и до смерти забьет. Он кат, палач, людей вешал. Свое отслужил, так начальство и заховало его к нам в станицу, в скрытность.

Лермонтов зарядил пистолет, погасил свечу, лег на лавку и укрылся буркой.

Он думал, что год назад ни за что бы не погасил свечу, а наоборот, сел бы при свете к окну, чтобы бросить вызов судьбе. А сейчас он берег каждый час своей жизни.

Сейчас он не имел права играть собой. Он отвечал за все еще не свершенное им, за каждое будущее слово, за каждую будущую строфу. Перед кем? Перед людьми, перед своей совестью, перед поэзией. Нечего играть в прятки. Порой он сам восхищался тем, что создал, но, конечно, никому не сознавался в этом. Разве не он написал слова, что «звезда с звездою говорит»? Ради этого стоило погасить свечу и лежать тихо, прислушиваясь, трогая время от времени теплую сталь пистолета.

— Ну что ж, пока вам еще не удалось отыграться, господин ротмистр, — сказал вслух Лермонтов.

Он задремал. Сквозь дремоту он ощущал легкий, даже легчайший ветер на лице. Щербатова вошла в избу, оставила открытой скрипучую дверь, и звездный свет сиял за дверью, как синяя глубокая заря. И свежесть ночи, огромная успокоительная свежесть, собравшая весь холод родников, что журчат повсюду по степным балкам, прикоснулась к его лицу. От этого прикосновения ночной прохлады губы Щербатовой, приникшие сквозь сон к его глазам, показались такими горячими, будто солнечный луч каким-то чудом прорвался сквозь ночь и упал на лицо Лермонтова.

Лермонтов проснулся. Сердце медленно билось. На печке Христина шепталась с Захаром Тарасовичем, вернувшимся со свадьбы, рассказывала ему о ночном происшествии с Лермонтовым.

Лермонтов пролежал с закрытыми глазами до рассвета. Он лежал один в крошечной хате, затерянной в широкой степи под неохватным небом, лежал, укрывшись буркой.

Он вспомнил, как девочка-нищенка на кладбище обняла плечи солдата худыми руками и на мгновение прижалась к его груди. Что бы он дал теперь, чтобы почувствовать на себе эту детскую ласку!

— Нет, не успеть! — сказал он и покачал головой.

Было слышно, как где-то, должно быть в соседней хате, плакал ребенок. Этот слабый звук наполнял ночь живым ощущением горя. Что делать, чтобы прошло это сиротство, одиночество?

Лермонтов сел на лавке. Старики на печке зашевелились и затихли. Не зажигая свечи, Лермонтов начал писать карандашом на обертке от табака:

Не смейся над моей пророческой тоскою.
Я знал — удар судьбы меня не обойдет.
Я знал, что голова, любимая тобою,
С твоей груди на плаху перейдет.
Я говорил себе — ни счастия, ни славы
Мне в мире не найти. Настанет час кровавый,
И я паду...

А потом были длинные жаркие месяцы, ветер с невысоких гор под Ставрополем, пахнущий бессмертниками, серебряный венец Кавказских гор, схватки у лесных завалов с чеченцами, визг пуль, Пятигорск, чужие люди, с которыми надо было держать себя как с друзьями. И снова мимолетный Петербург и Кавказ, желтые вершины Дагестана и тот же любимый и спасительный Пятигорск. Короткий покой, широкие замыслы и стихи, легкие и взлетающие к небу, как облака над вершинами гор. И дуэль. И последнее, что он заметил на земле, — одновременно с выстрелом Мартынова ему почудился второй выстрел, из кустов под обрывом, над которым он стоял.

Кавказ сотрясался от раскатов грома. Лермонтов упал. Тотчас, вся в летнем прозрачном солнце, склонилась над ним Мария Щербатова, и он сказал ей:

— Не плачьте. Я видел смерть. Значит, я буду жить вечно. На мне они не отыграются.

Гром не затихал в теснинах Кавказа. Это было 27 июля 1841 года — сто двенадцать лет назад.

1953

РАССКАЗЫ



СЛАВА БОЦМАНА МИРОНОВА

Листвою акаций и морем шумело одесское лето, голодное и веселое лето 1921 года.

Из окон редакции газеты «Моряк» были видны желтые мачты в порту и вереницы стариков, сидевших вдоль набережной с гигантскими бамбуковыми удочками.

С утра собирались в редакцию помощники с пароходов, стоявших с погашенными машинами, матросы, масленщики, портовые служащие, и начиналось густое курение табака и густое вранье. Говорили о фрахтах, восстании на «Жане Барте», рейсах, рыбе и о прочих прекрасных вещах. Редакция превращалась в клуб.

Иногда в редакции появлялись иностранные моряки, больше греки. Они скалили зубы и хлопали всех по плечу. Их угощали чаем из сушеной моркови.

Греки приносили с собой запах маслин и эгейского солнца. В их морщинах лежала сизая синева.

Почему-то все греческие пароходы носили женские имена — «Анастасия», «Ксения», «Елена», «Афродита», — были маленькие, черные и смешно подскакивали на гребнях пенистых черноморских волн. Над портом страшно дымили их красные трубы с белыми звездами.

Пароходики были похожи на переводные картинки. Сиплые их машины и тесные каюты, где

коки выращивали в жестянках побеги лимонов, напоминали детство парового флота, то добродушное и безмятежное время, когда, по словам стариков, на морях стояли мертвый штиль и глухая жара.

Пароходы эти не торопились уходить. Они лежали, накренившись на борт, в теплой воде у набережной, обвешанные матросским бельем. Команда ловила с бортов скумбрию и мылась на палубе. Идиллическое существование этих финикийских судов не нарушалось ни войнами, ни революциями. Им было немного надо: груз лимонов, малую толику хлеба, вина и сыра, много солнца и побольше беззаботности. При наличии этого жизнь казалась прекрасной.

Чаще всех в редакции бывал боцман Миронов.

Он нежно был привязан к своей морской газете. Он умел, как никто, завязывать галстук австралийским узлом, был высок, конфузлив и обладал памятью четкой и феноменальной, как фотографическая пластинка.

В Нью-Орлеане в 1920 году он вошел в бар, сел под полосатым тентом и заказал бутылку виски. Вокруг сидели негры и скалили ослепительные зубы. Вслед за Мироновым вошел полисмен, тронул его за плечо и грубо сказал:

— Выйдите отсюда!

— Почему?

— Это заведение для черных. Вы не должны унижать белых.

На это со стороны Миронова последовал ответ об «американском байструке», меткий удар и «хорошенький тарарам» с участием негров и команды с норвежского наливного парохода.

— Стекла набили на советские деньги лимонов[1] на восемьсот. Дрались, чтобы не соврать, часа три. С полисменов выпустили всю подкладку.

Потом, конечно, Миронов сидел три месяца «на президентских харчах» в каменной раскаленной тюрьме, где от духоты весь день шла носом кровь, а ночью кусали сколопендры.

---

[1] «Лимоны» — тысячерублевые кредитные билеты желтого цвета, ходившие по рукам в 1919—1920 годах.

Он презирал Америку, потому что там «трудно поворотиться рабочему человеку», презирал, несмотря на то, что был единственным русским моряком, плававшим на стеклянных американских пароходах, которых пока только два в мире.

Об этих пароходах он говорил лаконически:

— Сверху, конечно, черный, а в середке — стеклянный. Плывешь в нем, как в бутылке. Моряки на нем липовые, все на один рейс, больше все шпана с Мангатана. Конец потравить не умеют. Подымут у пиджаков воротники, насунут кепки и бегают по палубе, как на Бродвее!

В морские способности американцев он вообще не верил.

— Норвежцы — это да! — говорил он. — Это люди! Валит через океан на дырявой шхуне, груза накладет полную палубу, кофе надуется, и на все ему наплевать. Штормов не боится, качается — ему и весело. Можно сказать, что народ до моря подходящий.

И вот с боцманом Мироновым в редакции «Моряка» произошла необычайная история. Тот вундеркинд, которого возили по Европе и показывали в цирке за деньги, так как он множил в полминуты 3375 на 931, может почернеть от зависти. Потому что память боцмана была более четкой, острой, была поистине какой-то нечеловеческой памятью.

Не помню, кто — Наркоминдел или Внешторг — просил редакцию сообщить все сведения о русских пароходах, уведенных за границу. Надо знать, что был уведен почти весь торговый флот, чтобы понять, как это было трудно.

И когда мы просиживали напролет жаркие одесские дни над судовыми списками, когда в редакции потели от напряжения и вспоминали старые капитаны, когда изнеможение от путаницы новых пароходных названий, флагов, тонн и «дедвейтов» достигло наивысшего напряжения, — в редакции появился Миронов.

— Вы это бросьте, — сказал он. — Так у вас ни черта не выйдет. Я буду говорить, а вы пишите. Пишите! Пароход «Иерусалим». Плавает сейчас под французским флагом из Марселя на Мадагаскар, зафрахтован

французской компанией «Пакэ», команда французская, капитан Борисов, боцмана все наши, подводная часть не чистилась с тысяча девятьсот семнадцатого года. Пишите дальше. Пароход «Муравьев-Апостол», теперь переименован в «Анатоль». Плавает под английским флагом, возит хлеб из Монреаля в Ливерпуль и Лондон, зафрахтован компанией «Рояль-Мейль-Канада». В последний раз я его видел в прошлом году осенью в Нью-Порт-Ньюсе.

Это длилось три дня. Три дня с утра до вечера он, дымя папиросами, диктовал список всех судов русского торгового флота, называл их новые имена, фамилии капитанов, рейсы, состояние котлов, стоянки, состав команды, грузы. Капитаны только качали головами. Морская Одесса взволновалась. Слух о чудовищной памяти боцмана Миронова распространился молниеносно.

Пароходные агенты приходили в редакцию посмотреть на него и стояли почтительно в соседней комнате, сняв шляпы.

Это было неслыханно. Это было точно до одной тонны. Об этом стали создавать легенды, об этом горланили в кубриках, на палубах, в кают-компаниях. Херсонские матросы стали бахвалиться и обзывать всех остальных матросов «гицелями» и «штукатурами», потому что Миронов был из Херсона.

Слава тяготила Миронова. Наркоминдел прислал благодарность. Сотрудники «Моряка» и все желающие морские люди снимались с ним на шхуне «Мальвина» в порту. Был устроен даже банкет. И Миронов сбежал. Он зашел ко мне попрощатьсся и сказал мне напоследок:

— Ну и тарарам, не дай бог! Надо тикать. Поеду я лучше до себя, в Херсон, пойду на море, а то задурили мне совсем голову, — совести нет у людей.

И он бежал, преследуемый по пятам славой, безжалостной и назойливой, как слепни на вспотевших лошадях.

Одесса, 1921

РЕПОРТЕР КРЫС

Было время голода, пайков и диких, зимних ночей на одесских улицах.

Я ночевал в бывшем магазине Альшванга и спал на зеркальной двери из примерочной, положенной на ящики со стружками. Ночью в магазине было пять градусов мороза, в стружках пищали мыши, ветер гудел над крышами, как гигантский примус, и было слышно, как у кромки зернистого льда в порту шумел черный прибой.

Когда мутный рассвет вползал в широкие окна, по улице шаркал больными ногами старый еврей-газетчик с Большой Арнаутской и безнадежно кричал в мертвые окна и пустые двери:

— «Звэстья» газэта, «Звэстья»!

Он плелся дальше к порту, где серый снег лежал на палубах заколоченных шхун и под мрачным небом гулял норд-ост.

Это было, по словам одного из писателей, «в стране революции, холода и героев». И одним из этих героев был Крыс — пожарный репортер рабочей газеты «Станок».

Он ходил в рваной «цыганской» шинели, в футбольных бутсах, резонерствовал, скулил от холода, а по

ночам терпеливо волочил свои бутсы из редакции через весь город на Пересыпь, где его ждала старуха мать.

Когда секретарь «Станка» выбрасывал в корзину его заметки, Крыс шел отводить душу в контору к молодому счетоводу со звучной, шотландской фамилией Фингарет.

Но Фингарет, чахлый и тихий, сводя синими пальцами скудные балансы, неизменно отвечал:

— Ты дурак, Крыс! Работай, — может быть, что-нибудь выйдет.

И Крыс работал. Он вышагивал бесконечные улицы, где над ним издевался норд-ост, залепляя глаза смешанным с пылью снегом. Ходил он медленно, в силу философического склада своего ума.

— Я иду, смотрю себе и думаю разные вещи, — говорил он. — И пока я дойду с Пересыпи до Дерибасовской, я уже знаю все, что мне надо писать.

Сначала Крыс был мальчиком при типографии «Известий». В типографии его шпыняли за медлительность и за то, что во время работы он читал Вальтера Скотта. После типографии Крыс поступил на курсы журналистов. Здесь он пропал. Он понял, что такое газета, что такое журналист, он, неповоротливый Крыс, мишень для насмешек репортеров, голодавший, как нищий, и изредка приносивший немногочисленные «куски» и «ицыки»[1] своей горько вздыхавшей мамаше:

— Ну и время (это же не время, а кошмар!). Такое время, что и люди — не люди, и деньги — не деньги, и смерть — не смерть.

Крыс долго приглядывался к веселым в голоде, беззаботным в нищете, ироническим людям, которые называли себя журналистами. Он радостно ухмылялся, слушая их рассказы, в которых самый опытный редактор не смог бы отделить правду от выдумки, завидовал им, шатавшимся по всей России, как по соб-

---

[1] Одесское название сторублевок и пятидесятирублевок 1920 года.

ственной комнате, их любви к событиям и насмешливо-добродушному отношению к жизни, совсем не такому, как у его мамаши или у дяди-экспедитора из губтрамота.

Наконец он решился. Он спросил одного из них, как понять: кругом голод, и люди далеко еще не знают, как и чем им жить, темно, зима, в комнатах свистит ветер, а они смеются.

— Ты дурак, Крыс. Разве ты не знаешь, что теперь революция? Не задавай нелепых вопросов. Работай, — может быть, из тебя что-нибудь выйдет.

И Крыс понял: времена великой революции! Чтоб он так жил! Так надо! С тех пор гул норда, трупы лошадей, а подчас и людей на улицах, кислый хлеб, пахнущий гашеной известью, и бензиновые коптилки его не удручали. Так надо!

Крыс работал. С упорством, достойным несомненно лучшей участи, он описывал пожары от «румынок» и бензиновых коптилок. На пожары он ходил даже ночью с Пересыпи, ориентируясь по зареву. Его знали все милиционеры. Его бутсы размокали в лужах от дырявых насосов, руки краснели, как куриные лапы, но он должен был быть на месте. Ибо, во-первых, ему доверял редактор, а, во-вторых, Крыс не доверял брандмайору за его полковничий бас и явное пренебрежение к крысовской шинели и званию репортера.

Кроме того, Крыс «обслуживал» одесский базар — вавилонское торжище, переполненное жуликами, простынями, унылыми дамами, жарившими пирожки, военморами, бывшими генералами и старыми еврейками; одесский базар — визгливое, легко впадавшее в панику торжище, распространявшее неистребимый запах горелого масла, новых сапог и мыла.

В свободное от работы время Крыс топил бумагой чугунную печку и внушал правила дисциплины десятилетним шустрым курьерам в рваных гимназических шинелях. Уходил он последним.

Но редактор знал, что если ночью, в ледяной дождь, понадобится послать кого-нибудь за пятнадцать верст на Большой Фонтан или в Слободку Романовку — пойдет Крыс. Пойдет безропотно, бережно неся в кар-

мане свои заметки, как священные реликвии, пойдет, весь загоревшись от того, что вот ему, Крысу, который два года тому назад едва умел писать, поручили важное дело, что товарищи ждут, что этого «требует газета» и редактор, — все самое нужное и ценное в жизни Крыса. Ничего не поделаешь! Времена великой революции! Чтоб он так жил!

Газете приходилось трудно, тощала касса, с каждым днем грубела бумага, и стало ясно, что надо сокращаться.

Наконец пришел день сокращения, и жребий пал на Крыса — пожарного репортера.

Крыс догадывался. Весь день он томился, смотрел в глаза редактору, секретарю, репортерам, Фингарету, силясь прочесть ответ, шепотом спрашивал замерзавшую машинистку: кого сократили? — и все угрюмо прятали от него глаза и молчали.

Только вечером репортер Любимов, любитель кино и протоколов, сиявший потертой элегантностью, открыл ему правду.

Крыс прижал к глазам рукав рваной шинели, презираемой бранд-майором, и заплакал.

В редакции наступила тишина. Было слышно, как внизу Фингарет щелкал на счетах, подводя скудеющий баланс. Сквозь заплеванные дождями окна накатилась тяжелая ночь, тоска сырых комнат, боль отмороженных пальцев, молчаливых страданий, которые пережил каждый в те годы.

Все это собралось в один комок — в жалкого, мокрого от слез Крыса. Мать Крыса уже две недели лежала в сыпняке, но ради нее Крыс не бросил редакцию.

Мутно, как в покойницкой, светила лампочка, и никогда не терявшийся Любимов сжался над столом, словно ждал удара в спину.

Крыс промычал, что он просит, чтобы ему разрешили только работать в «Станке», денег ему не нужно...

— Что ж я, без «Станка»?.. — спросил он и снова закрыл глаза рваным рукавом.

Спина у него дрожала. И мы, знавшие прекрасно, что тогдашние дни не допускали жалости и уступок, были взволнованы и сдались.

Крыс — сияющий мокрыми глазами Крыс — был оставлен на окладе курьера — единственная роскошь, которую мог себе позволить «Станок».

Крыс был оставлен, потому что и редактор и все мы поняли, что во время своих далеких странствований с Пересыпи и своих медлительных размышлений Крыс узнал, что значит быть журналистом.

Его неумолимо затянула жизнь редакций, лихорадочная и утомительная, затянуло сознание «всемирности», которое явственно ощущаешь в редакции каждой газеты. Ощущение того, что вот здесь, в этих накуренных комнатах, где машинистка дует на свои потрескавшиеся пальцы, отражается на торопливо исписанных гранках вся сложная жизнь портового города, отполированного зимними ветрами, а на листах папиросной бумаги с лиловыми строчками телеграмм Ратау горит весь мир в его блеске, борьбе, гениальности и негодовании.

У каждого есть своя точная и замкнутая профессия. У журналистов профессия — все, вся жизнь. В небольшом комке нервного вещества, который зовется мозгом, они должны соединить знание многих профессий, областей жизни, научных теорий и политических систем.

У советских журналистов профессия — ловить жизнь, закреплять каждый ее день на свинцовых полосах набора, бросать его в массы, в города, на глухие станции, в села, на заводы, на палубы судов и вызывать ответный гнев, сосредоточенность, радость, действие. Бросать, зная, что завтра надо поймать в эти же строчки новый день, что газета живет только сутки, что вчера уже отгремело и накатывается оглушительное сегодня.

И Крыс с Пересыпи, пожарный репортер «Станка», испытал это редкое счастье. В этот вечер в редакции шумели так оглушительно, что даже несменяемый передовик всех одесских газет, совершенно глухой, но экспансивный Зоров, услышал этот хохот — случай

единственный в летописях одесской печати — и сам хохотал фальцетом, хлопая Крыса по «цыганской» шинели.

У редактора глаза весело и насмешливо поблескивали. Фингарет гремел в конторе на разбитом пианино то «Интернационал», то «Свадьбу Шнеерсона».

А «знаменитый парень» репортер Светлов натянул Крысу кепку до самого рта и крикнул:

— Работай Крыс, шмаровоз! Из тебя будет толк!

Крыс дико захохотал, потому что первый раз в жизни он услышал эту фразу без страшных слов «может быть».

Одесса, 1922

ЛИХОРАДКА

I

— Двадцать третий, — прохрипел надсмотрщик и мигнул распухшим глазом. — Двадцать третий прилип к этой проклятой каучуковой земле.

— А остальные?

— Остальные режут. Сок течет. Москиты жалят, и подушки из песка промокли от пота. Ничего! Компания будет довольна.

— Вы пессимист, Томми, — сказал капитан речного парохода, но подумал о том, что Томми не пессимист, а дурак. — Выпейте лучше виски и смените белье: скоро закат. Иначе вы тоже прилипнете.

Надсмотрщик посмотрел на реку. В первобытном пару дымились леса и воспаленное разбухшее солнце.

— Хорош апельсинчик, — пробормотал он. — Это не климат, а прачечная. Все мое тело промокло насквозь. Мои легкие, как выстиранная штанина, прилипают к ребрам.

— Жалкая европейская болтовня, — бросил в сторону инженер и закурил трубку. — Конечно, вас жаль, Томми, но вы отлично знали, на что шли.

— Стоп! — крикнул надсмотрщик. — Стоп! Вы больше европеец, чем я. Я родился в Египте, а вы — в Москве. Это бесплодный разговор, сэр. Надо понимать.

Инженер встал и, тяжело волоча краги, путаясь в траве, поднялся на вышку, где приходилось спать по ночам, спасаясь от москитов и лихорадки.

Внезапно упала ночь, скользкая, как шкура бегемота, тяжелая ночь, с избытком заполненная нервными снами.

Ртутным блеском, глазами трупа светилась река. Инженер закурил и лег на спину, глядя на небо, опрокинутое над экваториальными лесами.

«Амазонка, — подумал он вяло и сбивчиво. — Калоши «Треугольник» и самые прочные шины для «фордов». Детские соски. С гор, из какой-то республики Венецуэлы, ползет туман и такой запах, будто бы это не республика, а нью-йоркская аптека».

И его, как дрожь лихорадки, пронизала тоска по Европе.

— У него моча уже кровяного цвета, — просвистел зловонным шепотом Томми на ухо капитану и повел белками на инженера.

— Через два дня он прилипнет. Рабочие разбегутся. Что тогда?

— Вы сосунок, — капитан сухо засмеялся. — Куда разбегутся? Пешком до океана столько миль, что их хватит на остаток всей вашей жизни. За день они прорубят в лесах не больше мили. Лихорадка хлопнет их раньше, чем они вылезут на сухое место. Не болтайте чепуху.

— Что же делать?

— Ждать, пока придет новая партия.

— Незаконнорожденные! — проскрипел зубами Томми и замолк.

Утром инженер долго сидел в каюте капитана над картой Бразилии.

— Санто-Марко, — несколько раз повторил он задумчиво и подчеркнул на карте черенком трубки чер-

ный кружок — Санто-Марко. Оттуда раз в две недели идут пароходы в Шербург, в Европу. Значит, десять дней до устья, четыре дня до Санто-Марко, шесть дней ждать, две недели через океан и десять дней до Одессы. Сейчас январь. В половине марта я буду дома.

В груди у него тупым барабанным боем заколотилось сердце.

Он перевернул листки настольного календаря на столе у капитана и на «15 марта» жирно написал красным карандашом:

«Я в Одессе, в России, и плюю на амазонский каучук».

Потом подумал и приписал:

«Будь трижды проклята Бразилия и вы, колониальные собаки! К дьяволу ваши соски и калоши».

Он нетвердо вышел на палубу, дымившуюся от пара. Река блестела, как слюда. В безмолвии и великолепии лесов сторожила его шаги лихорадка в испарине, жажде, в своем изумительном и потрясающем бесплодии.

«Лихорадка — это выкидыш воли, — вспомнились ему слова чудака-капитана. — Лихорадка — это «скэб», проказа, черная кровь, змеиный яд в мозговых бороздах».

Пустыми глазами он долго смотрел на раздавленные зноем бараки фактории. Он знал, что делать.

Их было еще довольно много. Они резали каучук, — вот все, что знали о них капитан Гарт и инженер Миронов. Знали они только Томми — «босса» (надсмотрщика) и «траурного Вильямса», негра с оторванной мочкой у правого уха — Вильямса-молчаливого.

Инженер знал, что делать. Надо бежать. Надо подняться со шлюпки на пароход перед рассветом, а утром капитан Гарт, который охотно выдаст

его за сумасшедшего, снимется с якоря, и об этом не будет знать ни одна живая душа в фактории.

Гарт всегда бесстрастен, молчалив и не привык удивляться. Гарт — амазонский речник, но ходил в Нью-Орлеан, возил нефть из Тампико на Антиллы, много видел странных и тяжелых историй и готов оправдать даже профессионального убийцу.

Он ценил только три вещи в мире: табак, безмолвие великих рек и парадоксальный образ своих мыслей, доставлявших ему величайшее наслаждение.

Гарт был одинок. Когда-то в Рио, в кафе, он встретил норвежку с зелеными глазами. Но это было давно. С тех пор он ушел в плаванье по этим местам, в удушливый банный сон смертоносных зарослей и рек. По ним он первый прокладывал пути на своей «Минетозе», пугая стаи горластых зеленых попугаев. Он открывал новые каучуковые леса и сутками лежал в своей каюте, зевая от скуки и равнодушия.

Вечером инженер пошел к рабочим. В зарослях горел костер, отгонявший москитов. Синим стеклом затопила леса торжественная ночь.

Дрожали усталые веки, и вздрагивала черная река, нехотя баюкая острые зерна звезд.

«Все-таки жаль, немного жаль», — подумал инженер, всматриваясь в яркое белое пятно — рубаху Вильямса-молчаливого.

— Вильямс! — крикнул он глуховатому негру. — Как партия?

— Понемногу издыхает, сэр, — ответил устало Вильямс и не поднял глаз (он латал синие выцветшие штаны). — Партия волнуется, сэр, и хочет с вами потолковать.

— О чем толковать?

Вильямс подумал, откусил нитку прокуренными зубами и ответил:

— Этот проклятый ливерпулец сбежал. Он нарушил контракт. Он украл у босса из походной аптеки чуть ли не четверть кило хинина и ушел в лес. Говорят, он пошел вдоль реки.

— Ну и что же?

— Пропадет, ясно, — проронил Вильямс. — Но партия волнуется. Надо потолковать.

— Ладно. Чтобы через полчаса все были здесь, — сказал инженер. — Созови партию.

— Хорошо, сэр. Вот я еще об этом, о ливерпульце... Хинин ему не поможет. У него уже моча с кровью. Многие видели.

Инженер вспомнил на своем белье бледно-кровавые пятна. Он не мог выговорить ни слова, быстро обернулся, выхватил браунинг и выстрелил в облезлую ручную обезьяну, вычесывавшую блох около костра.

— Так недолго ухлопать и людей, сэр, — вяло сказал «траурный Вильямс» и отложил в сторону штаны. — Недолго ухлопать и себя, сэр.

— К черту в зубы! — пробормотал инженер и, шатаясь, пошел к вышке. Ноги у него дрожали, волосы слиплись, внезапно запахли уксусом, и в голове океанским прибоем шумела хина.

— В чем дело? — хрипло крикнул он через полчаса, глядя на ненавистное, мокрое лицо босса.

Рабочие слушали его молча.

— В чем дело? Ливерпулец показал нам пример, теперь наша очередь. Я — инженер компании, но я не хочу менять свою жизнь на тысячу спринцовок. Пусть компания навербует себе две сотни новых дегенератов, они будут резать каучук и издыхать от лихорадки, высунув вспухшие языки. С нас хватит.

— Он большевик! — шепотом просвистел босс и толкнул капитана. — Вы поняли, к чему он ведет?

— Пустяки, Томми, — ответил капитан и отодвинулся подальше. — Это лихорадка. Он уже прилипает. Еще трое суток, и никакая сила не оторвет его от земли.

— Чего же вы хотите? — крикнул из задних рядов Джек-одноглазый.

— Идти за ливерпульцем, — ответил от костра чей-то насмешливый голос. — Чтобы подохнуть в лесах.

— Попугаи откричат по нас веселенькую панихиду, — проронил Вильямс и взглянул на босса. Было ясно, что необходимо вмешаться.

— Сэр, — осторожно сказал босс, сделал шаг вперед и тотчас же отступил. — Сэр, вы — представитель компании. Не хотите ли вы предложить рабочим нарушить контракт?

— Именно, — ответил инженер и провел ладонью по побелевшему от слабости лбу. — Именно. Что касается меня, то я нарушу его сегодня же ночью. Я плюю на вашу компанию! Мне жизнь дороже контрактов.

— Так не годится, сэр! — крикнул босс и тотчас же отскочил в тень.

Инженер не спеша вынул браунинг и приложил его плашмя к пылающим щекам.

— Будьте благоразумны, — сказал капитан, не двигаясь с места. — Не позволяйте лихорадке хватать вас, иначе вы не продержитесь и пяти дней. Спрячьте револьвер, вам сейчас дадут виски. Джек, дайте ему стакан, не бойтесь. Так! Теперь легче? Хорошо. Слушайте дальше! Вас осталось семьдесят человек. Что вы думаете делать?

— Жить, — сказал инженер, и по его воспаленной щеке поползла слеза.

Босс кивнул головой.

— Жить, — сказал он и удовлетворенно ухмыльнулся. — У него горячка: то бежать, то жить. Хорошенькие штучки!

Все замолчали. Только слабо гудела неведомая, не нанесенная на карту, река, унося свои тяжелые воды, размывая корни ядовитых лесов.

— Жить... — повторил инженер и повернулся к капитану. — Слушайте. Я представитель компании, и вы, Гарт, в данное время подчинены мне.

— Это так. — Гарт выжидательно взглянул на инженера.

— Да, это так, — резко подтвердил инженер. — А раз это так, то я даю распоряжение: в четыре часа ночи начать погрузку на пароход всей партии, а в шесть часов сняться и идти к устью. Около первого же населенного пункта вы подымете желтый флаг, мы потребуем на борт воду, нефть и провизию, и до самого устья я не спущу никого на берег.

— Если вы раньше не умрете, — заметил вскользь, но вежливо Гарт.

— Да, если я раньше не умру. Но умирать я не собираюсь.

— Слушаю! — Гарт повернулся.

Возражать было нечего. Было совершенно ясно, что с этого момента вся партия выпустит семьдесят пуль в того, кто посмеет возражать.

Партия поняла. Гарт услышал это в хриплом и тихом гуле после своих слов о смерти инженера.

«Они нашли выход, — подумал капитан, подходя к берегу и нащупывая глазами шлюпку. — Ха! Он оказался необыкновенно прост».

Он взглянул на белые огни «Минетозы», вдохнул тягучий, камфарный сок лесов, от которого тупела голова, и ему пришла простая мысль, что весь строй Америки, крепкий и тяжелый, как «клоб» полисмена, призрачен, бессилен и разлетится пылью от двух-трех слов человека, умирающего от лихорадки.

«Теория относительности Эйнштейна», — подумал он и улыбнулся в темноту, в которую водопадом лилось небо во всем своем черном великолепии.

II

В дощатых комнатах пахло камфарой, сигарным дымом и зноем.

Среди реки на якоре стоял пароход с повисшим на мачте желтым флагом.

— Необходимо узнать, — расслабленно сказал редактор и уронил мокрые руки на стол. — Необходимо узнать, в чем дело. Какая у них болезнь на борту.

И он глотнул из потного стакана воду со льдом.

Черным лаком пылал асфальт, изъезженный маслянистыми шинами, а из садов, где прятались кубические дома, удушливо тянуло лавром, эвкалиптом и полуденной смолой.

Запахи полудня были невыносимы. Они изнуряли бесплодной тоской по необъятным водам, в которые можно броситься вниз головой с восторженным криком.

Вентиляторы жужжали, разбрасывая по сторонам папиросную бумагу с фиолетовыми строчками телеграмм, и казалось, что вместе с их шумом в комнату накачивался готовый ежеминутно вспыхнуть газ гигантских моторов.

Редактор был добрый католик. Он еще помнил то время, когда к его отцу приезжали монахи-иезуиты и пили в темных комнатах крепкую абрикосовую водку.

Его отец разбогател на какао. Вероятно, поэтому редактор не выносил запаха какаового масла, напоминавшего ему запах негритянского пота. Он был либералом. Он считал негров людьми, держал в редакции сторожа негра, был слаб в географии, молчалив и предполагал, что его род восходит к далеким и пышным временам Филиппа Великолепного.

Он был безобидный дилетант, хотя и принимал некогда участие в революции (кажется, двадцать четвертой по счету). Однажды президент Мигуэс ночевал у него, спасаясь от инсургентов генерала Ля-Пеньи, и даже забыл на тростниковом стуле потертый кобур от револьвера. Кобур лежал у редактора в письменном столе вместе с единственной написанной им книгой: «О причинах войны между республиками Чили и Перу».

Пока редактор размышлял о жаре и урожае тростникового сахара, а репортер Типедж нехотя, часто задумываясь, писал заметку о приходе «Минетозы» под желтым флагом, в редакцию вошел капитан Гарт.

— Что у вас? — спросил, оживляясь, редактор, помахал в воздухе рукой в знак приветствия и залпом допил воду со льдом. — Почему вы подняли желтый флаг?

— Я вам пишу об этом.

И Гарт положил на стол листки рисовой бумаги, исписанные синими чернилами.

— Великолепно! Типедж, бросьте ваши потуги, вы всегда проспите. Капитан написал сам. Это очень любезно с вашей стороны, — сказал он капитану, кивнул и потянул к себе листки. — Одну минуту, я выпишу чек. Ничего подобного я еще не испытывал; это не воздух, а сахарная патока. Прихо-

дится каждый час умываться. Да, да. Это очень неприятное ощущение, когда парусиновые туфли промокли до нитки... Как вы решились выйти в полдень? Всего лучшего! Я надеюсь еще увидеть вас во время обратного рейса.

Зной метался в глазах красным туманом. Было четыре часа. Редактор взглянул на заголовок рукописи, пометил шрифт и послал ее в типографию со сторожем негром.

Жара медленно изнывала, растворяясь в горячем молоке реки. На кирпичных лицах еще долго, почти до рассвета, болезненно тлели ожоги полудня.

И когда «Минетоза», шумя винтом, ушла вниз по реке в прозрачную, кое-где затушеванную испарениями ночь, ушла в далекое, исцеляющее, прекрасное плавание, спустив желтый флаг, — из машин на полированные доски вылетели, шелестя, сырые газеты. На первой странице был напечатан портрет некоего джентльмена с тремя шавронами на левом рукаве, весьма отдаленно напоминавшего капитана Гарта, и на белизне бумаги кричала жирная таинственная надпись:

Желтый флаг на «Минетозе»

«Это флаг лихорадки, — писал капитан Гарт. — У меня на борту 66 человек, больных ею. Четверо умерли в пути. Лихорадка привела этих 66 человек к простой до глупости и неизбежной мысли. Они — бывшие рабочие каучуковых плантаций. Во главе их стоял русский — инженер Миронов.

Да, вопрос прост. Компания купила руки этих рабочих, их мозг и время. Иначе говоря, компания купила их жизнь. Один продает свою жизнь оптом, другой в розницу. Это дело личного вкуса.

Продавший оптом умирает на службе у одного и того же хозяина и получает за это серебряные часы и несколько дурацких слов, написанных витиеватым почерком на слоновой бумаге. Это называется юбилеем.

Те, кто продает свою жизнь в розницу, считаются менее ценными работниками, так как они любят жизнь

как жизнь. Тот же, кто совершенно не хочет продавать свою жизнь и так глуп, что думает о счастливом и веселом существовании, — обречен на презрение и смерть. Смерть иначе называется безработицей.

Итак, партия в семьдесят человек резала каучук. В лесах ее настигла лихорадка. Потрясающая смертельная лихорадка, от которой пятидесятилетние бородачи и даже негры плакали, как грудные дети. Лихорадкой заболел и инженер Миронов.

Ему, русскому, она внушила простую мысль: если у тебя отнимают жизнь, не отдавай ее, если тебе грозят безработицей, вырви у тех, кто помимо господа бога дарует тебе существование, свое право на жизнь.

Почему негр Вильямс должен получать свою жизнь, как кусок мокрого хлеба из рук молодого, картавого и глупого, как баран, директора Кларка? Почему, если он может создать ее сам?

Эта мысль появилась. Она вонзилась в мозги, как упавшие ножницы в деревянный пол. Она ширилась, рост ее был поистине молниеносен.

Я, капитан компании Гарт, не имел возможности и права сопротивляться партии, потребовавшей от меня увезти ее из проклятых лесов к океану. Дальнейшие планы партии мне неизвестны, но думаю, что моя «Минетоза» еще окажет ей большую и существенную помощь при этом новом и весьма любопытном случае, впервые происходящем на территории Бразилии. Поразительно лишь то, что к столь простым выводам мы приходим путем тропических болезней.

Капитан Гарт».

Редактор не читал статьи, — в этом была виновата жара и его легковерие; поэтому на следующий день по всему городу были слышны яростные крики о бунте партии каучуковых рабочих, захвативших пароход «Минетозу» и идущих на нем к устью, чтобы напасть на правление каучуковой компании. Во главе рабочих — инженер, русский («лидер оф большевик», как говорил всюду сонливый репортер Типедж), молодой человек, умирающий от амазонской лихорадки.

III

Воздух в каменных переулках был красноватый от заката. Миронов курил трубку. Над заливом разбухала луна, и черные борта пароходов змеились медным огнем.

Миронов вспоминал. Последние три дня прошли, как в кинофильме.

Он вспомнил белую пыль, легкие пороховые дымки около желтых стен, клочья штукатурки, с шумом падающие на мягкий от солнца асфальт, хриплый голос Вильямса-молчаливого, сжимавшего черными лапами ствол винчестера, каску полисмена с громадным, как цветок мака, кровавым пятном и звон пуль, дергавших телеграфные провода.

Миронов курил и думал о том, что все случившееся было неизбежно: даже если бы полиция первая не напала на пароход и не разъединила их, все равно загорелые и гневные люди с парохода повели бы правильную осаду окруженного кокосовыми пальмами дворца компании.

Миронов вспомнил, как капитан Гарт после первых выстрелов, прогудевших сонно и тупо над черной рекой, вышел на мостик и приказал боцману поднять на мачте красный флаг.

Гарт был спокоен. Он даже насвистывал «Джимми». И только когда «траурный Вильямс» упал, плюясь липкой кровью, а сержант выстрелил ему в спину, крикнув что-то о «вонючей собаке», Гарт вынул из кармана коричневую руку с теплым кольтом и, почти не целясь, снял сержанта. Сержант упал в густую, красную к вечеру пыль. Река дымилась па̀ром. Красный флаг полоскался в удушливом небе, переливался свежим пурпуром над тропическими, тусклыми, как столетний хрусталь, но все еще ослепляющими далями.

Миронов вспомнил, как они, пять отбившихся от парохода «инсургентов», пытались прорваться к пароходу, уже отходившему вниз к океану, как они рвали руки в колючках кактусовых зарослей, жаливших, как пчелы, как зеленоватый сок простреленных стволов

брызгал в лицо и Джекс облизывал лопнувшие губы, из которых капала кровь. К шести часам из пяти осталось их двое — он и Вильямс. Вильямса убили на берегу, когда он хотел броситься в воду и плыть к «Минетозе». Гарт ответил за его смерть.

Внезапно упавшая, стремительная, как полет птицы, темнота скрыла Миронова. Он долго полз через кофейные плантации и просидел до утра в шалаше у старика метиса. Старик даже не спросил его, кто он и почему у него рубашка на плече бурая от крови.

Утром он сжег рубаху, промыл пустяковую рану на плече, купил у метиса другую рубаху, синюю, купил табаку и пошел к океану. До океана было тридцать миль. Паспорт он уничтожил.

Куда ушел капитан Гарт, он не знал. Очевидно, на Антиллы или в Венецуэлу, чтобы спастись от суда и каторги.

IV

В тот душный день, когда он пришел в Санто-Марко, в местной революционной газете была напечатана статья за подписью Дюлье «О беспорядках среди каучуковых рабочих». Он жадно прочел ее. Там было написано:

«Все уже знают об этих беспорядках. Партия каучуковых рабочих, умиравшая от лихорадки в ядовитых лесах Рио-Негро, вблизи Амазонки, восстала против хозяев. Рабочие захватили речной пароход «Минетозу» и пошли вниз по реке. Полиция, предупрежденная губернатором центральной провинции, встретила пароход ниже Сантаремы, около резиденции компании, и, когда пять человек из восставших спустились на берег, пыталась арестовать их. Началась перестрелка. Пароход, подняв красный флаг и отстреливаясь, ушел вниз к океану. Четверо рабочих было убито. Со стороны полиции убиты сержант и два полицейских.

Во главе восставших был русский инженер, большевик. Судьба его неизвестна. По последним сведениям, «Минетоза» подошла к берегам французской Гвианы,

где ее экипаж и мятежники сошли на берег, отдав себя под покровительство французских властей.

Наивные люди! Они думают, что правительство республиканской Франции не выдаст их, ибо они политические преступники. Министр иностранных дел найдет повод, чтобы выдать их как уголовных преступников, хотя бы за захват частной собственности — парохода бразильской каучуковой компании.

Франция республиканская и Франция времен Коммуны — два мира, которые вечно путают невежественные рабочие массы Латинской Америки.

Коммуна семьдесят первого года острой иглой проткнула нарыв, но он растет и наливается снова. Буржуа живуч, как старая кошка.

Но Коммуна придет. Снова запылает Бельвилль гневом и пеной народного возмущения. Снова блузники будут дуть на ладони, обожженные винтовками. Случай в Сантареме — одна из тонких нитей, из которых плетут на ткацком станке времени и нужды красное полотнище революции».

— Довольно патетически, — сказал инженер и подумал о том, что единственный человек, который ему поможет в этом городе, будет Дюлье. Необходимо его разыскать.

Спустя час, в тесной кофейне, где по стенам бегали скорпионы, он узнал от красного толстяка в порванном сомбреро, что Дюлье — редактор «революционной» (толстяк сделал круглые глаза) газеты, семидесятилетний старик, участник Парижской коммуны. Он был сослан после семьдесят первого года на пожизненную каторгу в Кайенну и оттуда бежал в Санто-Марко. Здесь он живет уже тридцать лет, у него сын в Париже, а здесь единственная дочь. Живет он на улице Санта-Барбара, около старой капеллы.

Вот все, что узнал о нем Миронов, а вечером он сидел уже в кабинете Дюлье и спокойно курил трубку.

Миронов с любопытством изучал этот странный город, где совершенно не было птиц, если не считать маленьких зеленых попугаев, точивших клювы о полированные жердочки в кофейнях.

На белых и высоких оградах садов весь день лежал шелковистый блеск солнца. Душно пахли олеандры, звенела по камням вода, звенели подковами старые мулы, и гортанно кричали потные погонщики, оглушительно щелкая по ящикам бичами. На улицах сладковато пахло ванилью. Из кофеен, где трещали кофейные мельницы, несся заглушенный стук чашек. Оливковые люди прожигали сигаретками в страстных спорах газеты, и клекотали, моргая янтарными глазами, крошечные попугаи.

Ночи были залиты белым холодным пламенем, — отраженное солнце играло в гигантских голубых кристаллах океана. В душную тьму лились томные и страстные звоны старинных, перевитых лентами гитар.

Миронов, глядя на свои коричневые руки, испытывал странное ощущение, что вместо крови в его теле бьется острый, как горные травы, сок. Дюлье, смеясь, сказал, что у здешних жителей не кровь, а шартрез — пахучий ликер.

Миронов подружился с дочерью Дюлье — Сесиль, девушкой с ярким лицом. От матери-испанки у Сесиль остались дикость в движениях и внезапная лень, заставлявшая ее целыми днями лежать на террасе, глядеть, как ветер качает шарики сухой мимозы, и слушать полуденный шорох океана. Каждое утро она купалась в заливе, и за девятичасовым кофе ее руки пахли солью.

С ней он однажды ездил в старый иезуитский монастырь за городом. У него в памяти остались тяжелые лесные заросли, лиловый дым далеких исполинских гор, известковые стены монастыря, похожего на персидский караван-сарай, и легкая дрожь руки Сесиль, когда он помогал ей садиться в седло.

— Когда придет пароход? — спросила Сесиль вскользь, словно думая о чем-то другом.

— Через неделю.

Миронов почувствовал презрение к себе, к своим мягким волосам, сдержанному голосу, к своей нерешительности, заставившей его прозевать уже один пароход, к бесплодной мечтательности, к глупым колебаниям — и резко ударил хлыстом лошадь.

Ветка глицинии зацепила его по лицу. Он сорвал ее и бросил в темноту, туда, где ехала рядом Сесиль.

Сесиль засмеялась. Свет из окна прорезал лакированные, рваные листья банана и упал на ее лицо. Оно было смертельно-бледным.

V

Капитан парохода был гасконец, картавый, вертлявый и гримасничающий, как обезьяна. Он был в восторге от того, что ему приходится переправлять в Европу «инсургента», и даже спрашивал по секрету Дюлье: не президент ли это одной из экваториальных республик?

— Я высажу его в Роттердаме, — сказал он таинственно Дюлье. — Вы можете на меня положиться.

И он прибавил несколько слов о Великой французской революции и «прекрасной Франции» — матери всех республик.

Миронов — теперь уроженец Канады, француз Гастон Ру, погрузился в одиночество и синюю молчаливость океана. Дни шли. Переворачивались склянки песочных часов в его каюте, пассат обдувал лицо тонкими запахами, в которых Миронов так явственно различал дыханье перца и миндаля. По вечерам гигантские красные какаду раскидывали по небу длинные хвосты. Торжественным, ослепительным величием была полна короткая тропическая ночь.

Океан дышал мерно, лениво вздымал стеклянные горы воды. «Прованс» дымил желтыми трубами, качая полированные, чисто вымытые палубы.

Миронов вспоминал последний день в Санто-Марко с Сесиль около монастыря.

Из монастырских ворот выходили женщины. Отблеск их желтых шелковых шалей залил тусклым золотом зрачки Сесиль, когда она на листке блокнота, ломая карандаш, записывала его русский адрес.

Синее безмолвие океана томило. В каютах, пахнувших краской, болела голова; на корме раздражал лаг, вызванивавший океанские солнечные мили, а на

спардеке — скучающий, гортанный голос киноартистки, лежавшей в лонгшезе.

Впереди, предупреждая прохладой и туманами, в дождях, сутолоке и асфальте ждала изъеденная веками, как волчанкой, старая Европа.

Однажды холодным вечером Миронов вышел на мокрую палубу. Моросил дождь, пахло свежей сосной. Пароход тихо шел по реке. На плотах блестели заплаканные фонари, и какие-то люди в клеенчатых плащах смеялись и кричали с берега.

Хмурое небо поблескивало в стеклах штурманской рубки. Через час «Прованс» затерялся в толпе пароходов, в разноязычном крике, в сипении пара, в этажах огней, резавших мокрые мостовые. Пахло рыбой, овощами, кардифским углем. Они пришли в Роттердам. Было начало февраля.

VI

Степь казалась шкурой вылинявшего зверя.

В стеклах роговых очков журналиста сверкнуло багровое солнце.

— Днем было сорок два градуса, — сказал он, глядя за окно, где по сторонам полотна шумел от горячего ветра колючий чертополох. — Земля высыхает и становится бесплодной. Хлеба горят. Египетская духота тяготеет над этой землей.

И он взглянул в лицо Миронова, коричневое от загара, и на его сухие, кофейные руки.

— Это Техас! — ответил Миронов, встал и подошел к окну.

Поезд мчался, звеня и качаясь, в голубиную вечернюю мглу, прорезанную белыми пятнами одиноких хуторов. По далеким шляхам серыми столбами завивалась пыль и бежала к багровому, лихорадочному закату. Он широко тлел на западе, где рыбьей чешуей просверкали днепровские плавни.

Поезд рвануло на стрелках, звякнули буфера, посыпалась под откос разбитая черепица. В яростном ржании бросившихся в сторону косматых коней он уже

несся дальше, вздрагивая хрусталем стаканов, лакировкой дверей, запахом пролитых духов, разрывая горячее полотно степного вечера, больно хлеставшего Миронова по похудевшему и крепкому лицу.

— Это Техас,— повторил задумчиво Миронов и обернулся к журналисту.— Я инженер-химик. Я долго работал в Америке. Вы знаете, что здесь будет через двадцать лет? Из этих степей, из всего СССР мы сделаем тучную, как Фландрия, и золотую от жита страну. Секреты у нас в лабораториях, в колбах и ретортах, о которых вы вчера в Харькове отозвались с таким непростительным легкомыслием.

— Почему Техас? — спросил журналист и с недоумением взглянул на Миронова.

— В Техасе я видел такой же дым и такие же вечера, — ответил Миронов, и его глаза потемнели от внезапной тоски.— Такую же духоту, такие же серые от полыни и бессонницы ночи. У женщин там такие же яркие лица, и лошади так же тревожно ржут перед сухими грозами. Техас и херсонские степи — одно и то же. Но не об этом я вам хотел рассказать.

Он помолчал. Журналист ждал, жадно блеснув на него очками, втянув голову в плечи, точно перед прыжком.

— В наших руках страшная сила.

Миронов поднял руки и сжал пальцами раму опущенного окна.

— Вы представляете, что будет здесь через полвека? По берегам Днепра мы вырастим бамбуковые леса и кофейные плантации в Таганроге. Я видел вишни величиной с яблоко и песчаную пустыню, зеленую и сочную от кактусовых зарослей. Здесь будет то же. Здесь будут каналы,— вы представляете, как на этой потрескавшейся земле заблестит тихая и чистая влага и рис протянет из земли миллионы изумрудных иголок.

Это сложная вещь. Я сейчас работаю над этим. Мы насытим землю едкими солями, воздухом, влагой, теплом. Душистые пасеки и мирные пчелы будут жить в тишине и бездымном воздухе будущих фабрик. А этого не будет!

Миронов показал на восток, где в синеве сухой грозы, в слепых зарницах дымилось, плюясь в небо, ржавое зарево доменных печей.

— Это — тоже хорошо, это — жизнь, но в этом слишком много пота, утомления и тяжести.

— Мы изменим климат,— сказал Миронов и закурил.

Журналист засмеялся.

— Мы изменим климат,— спокойно повторил Миронов и улыбнулся.— В конце концов это не так уж сложно. Вы знаете одно из величайших открытий за последние годы? Открытие норвежского ученого Ларса Веганда. Он первый узнал, что небо — это кристаллический купол из азота, из синего, замерзшего азота, вы понимаете? — Миронов снова задумался. — В детстве я жил на Украине, — сказал он, вздрогнув от зарницы. — Степь за окном грохотала. На базарах, черных от вишен и душистых от топленого молока, в тени тополей я любил слушать песни лирников о лазоревом рае. Теперь оказывается, что весь мир — это лазоревый шар. Мы заключены в нем, и мы добьемся того, что сможем распределять всю энергию, заключенную под этим синим колпаком, так, как нам нужно. Вот вам изменение климата.

— Вы парадоксальны, — ответил журналист, — но это захватывает.

— Я знал,— сказал Миронов и печально улыбнулся, — я знал одного американского капитана, который жил только парадоксами. Но ради его парадоксов мы потеряли четверых убитыми.

Журналист недоумевал. Но спросить, о чем говорит Миронов, он не решался. Профессиональная развязность его покинула.

За окном бесшумно разверзались зарницы, как вспышки небесного магния. Пахло полынью, паровозным дымом и серой сожженных колючих трав.

— Надо ложиться, — сказал Миронов. — А то, о чем я говорил,—не бред. Не забывайте, что мы—инженеры и химики — привыкли думать формулами. Мы точны. И мы знаем, что в точности заключено больше чудес, чем в самых фантастических и ребяческих снах.

Когда Миронов лег на верхней полке, журналист достал блокнот и, медленно надкусывая карандаш, записал все, что говорил Миронов. «Любопытный человек»,— подумал он и стал раздеваться.

Миронову снился последний день в Санто-Марко, протяжный и веселый звон в монастыре. Океан качался, у берегов плавали розовые медузы. Пахло азалиями, морем, соками кремнистой страны. И сквозь сон Миронов явственно различал запах перца и миндаля.

Поезд рвало на стрелках. Он мчался в ночь, где его ждали сумерки Мисхора, кристаллы морских волн, желтый жар севастопольских оград, рассветы, солнце, смех женщин и огни пароходов, омытых теплыми южными дождями.

VII

В Крыму Миронов жил около Алушты в пустынной даче на берегу.

Был сентябрь. Желтели магнолии, на коричневых сухих виноградниках весь день лаяли привязанные у шалашей собаки. Доносились гортанные голоса сторожей, и снова в осенней тишине, в неторопливых днях блистало море, шуршали на пляже крабы, и ржавые водоросли путались в ногах. Вода стала жгучей и крепкой, как йод.

Лежа под солнцем, Миронов подолгу смотрел на пустое, освежающее небо, слушал дремотный морской шум и вспоминал до боли ясно: океан, желтые взгорья Санто-Марко, слюдяной блеск садов, ветки глицинии, ливни, запах ванили, смуглых мальчишек, сбегавших к заливу купаться, тягучий и звонкий испанский язык, попугаев в кофейнях, короткую клетчатую юбку Сесиль, блестевшего, как антрацит, Вильямса, знойные дни на «Минетозе», лихорадку и измятую кепку капитана Гарта над медным лбом.

Потом память делала несколько скачков, и после пахнувшей скипидаром каюты на «Провансе», холодного дождя над желтым Балтийским морем всплывал Ленинград, музеи, гранит, изъеденный дождями,

сумерки в глубине пустых проспектов, прохлада. Потом Москва в самумах пыли, шипящих автомобильными раскатами по асфальту. Москва, где явственно бился пульс огромной и еще неведомой для него Республики Советов, где красный флаг шумел над куполом Большого дворца и часы на Спасской башне бросали в щели Ильинки и Варварки медные удары «Интернационала».

«Вот область для капитана Гарта»,— думал Миронов, улыбаясь.

«Чудесен мир, революция, море»,— написал он на сыром прибрежном песке осколком раковины. Волна смыла надпись, и Миронов, улыбаясь, написал ее снова.

Однажды вечером ему привезли из Алушты письмо. Оно было переслано из Ленинграда.

Миронов взял шершавый конверт, и у него глухо застучало сердце. Прямым и капризным почерком был написан его русский адрес.

От конверта пахло сургучом и сладковатым запахом магнолий.

Миронов вскрыл письмо только на следующий день. Шумело море, и виноградники дрожали в сухом, солнечном стекле. В конверте было два письма: от Сесиль и капитана Гарта. Письмо капитана Гарта было коротко.

«Алло, Миронов! Я напал на ваши следы. Я еду в Россию, так как президент утверждает в палате кофейных плантаторов, что он строит для меня хорошенькую виселицу в Сантареме на самом берегу Амазонки.

У вас есть громадные реки, есть Дальний Восток (Гарт почему-то написал «Старый восток»), есть юг и солнце, есть много занятных вещей, и, наконец, у вас я могу поднять красный флаг на клотике без того, чтобы потом удирать в гнилую и презираемую всеми неграми Гвиану. Скоро увидимся... Там, в России, работает наш аргентинский моряк Том Ларкер,— он мне поможет. Мы с вами еще пошатаемся.

Капитан Гарт».

Сесиль писала:

«Я добилась от отца согласия на поездку в Париж, к брату. В Париже я пробуду год. Отец дает мне письмо в редакцию «Юманите», и они достанут мне визу в Россию. Я хочу посмотреть вашу страну. Отец говорит, что это единственная сказочная страна в мире.

Я приеду в Россию в мае будущего года, и так как не знаю русского языка и у меня, кроме вас, нет в России знакомых, то я надеюсь, что вы мне поможете и покажете все любопытное. Правда? Напишите мне в Париж, 12, улица Гюго, 5, когда и куда мне лучше всего приехать — в Москву или на юг, и где вы нас встретите. Со мной приедет невредимый Гарт.

Ваша Сесиль.

P. S. Сейчас период дождей, и в нашем саду шумят ливни. Опять цветут камелии, — помните, вы их так не любили, вы говорили, что это не цветы, а трупы. Я была несколько раз в иезуитском монастыре и пила козье молоко на каменной разрушенной террасе из той же синей кружки, из которой пили вы. Помните? Я не выношу мысли о том, что Россия так далеко, и океан меня пугает».

В конце страницы карандашом Сесиль сделала приписку:

«Если бы вы знали, как я ненавижу эти горы, солнце, мулов, океан! Все это не нужно. Я ненавижу все, я стала молчалива и редко улыбаюсь, даже отцу. Целыми днями я жду почтовые пароходы, но они ничего не привозят, и вы почему-то не пишете».

Москва, 1924

ЭТИКЕТКИ ДЛЯ КОЛОНИАЛЬНЫХ ТОВАРОВ

> У всех народов есть люди, охваченные непоседливостью. Одних толкает неудержимая полнота их душевной жизни, других — пустота. Последние воображают, что возвращаются обогащенными, но повсюду они оставляют по себе лишь смуту и неурядицу. А богатые дарят своими исканиями других, и очень часто их вынужденные скитанья бывают благодеянием для тех, кто встречается им по пути.
>
> *Мангеше Рао.*

НЕЗНАКОМЕЦ

— Вам не кажется, что закат освещает горы, как лампа?

Я оглянулся. Было темно; я не видел лица говорящего, только вершины гор были залиты желтым блеском.

— Он сейчас погаснет, — добавил незнакомец и замолчал.

— Да, — неопределенно ответил я и закурил. Табак отсырел от вечернего тумана. Дым папиросы был горь-

кий и холодный. Угрюмый пламень на горах медленно погас.

При свете спички я взглянул на незнакомца. Вытертое пальто обвисало на нем, как на манекене. Недолгий свет спички ярко загорелся в толстых стеклах его круглых очков.

Он закашлялся воющим кашлем и снял очки.

— Эта проклятая работа загонит меня в гроб, — сказал он раздраженно, вытер очки и снова надел их. — Дело в том, что я гравер в типографии. Кроме того, я рисую на литографском камне. Вы видели когда-нибудь литографский камень?

— Нет, — ответил я коротко. Я не был расположен к разговору. Было сыро. Черная вода журчала и переливалась у свай. Каждый раз, когда я слышал это журчанье, у меня по спине пробегал озноб.

— Вроде мрамора, — сказал незнакомец и вдруг добавил без всякой связи: — Проклятая работа. Я каждый день выплевываю золотник свинцовой пыли. Очень ядовитая штука. Она даже называется особенно — гартовая пыль, но от этого не легче.

Мимо нас проползал на рейд океанский пароход. Он глухо дышал широкой трубой, выл гигантской сиреной, сверкал хрусталем и взбивал за кормой чернильную воду.

— «Адриа», — сказал незнакомец. — Срочный пароход Триестинского Ллойда. Он отходит в Венецию, на Лидо, к зеленой воде и красным парусам Адриатики. От нас он в ста метрах. Только сто метров отделяют нас от чудесного мира! Только сто метров!

Он снова закашлялся удушливым кашлем.

— Фу, ударило в голову, — сказал он, отдышавшись. — Вы не в настроении выпить?

— Пожалуй. Где-нибудь здесь, на берегу.

— Чтобы были видны пароходы? — насмешливо спросил незнакомец.

— Да, если хотите.

— Неро! — крикнул он черному псу, вертевшемуся под ногами. — Рекомендую — старый корабельный пес, злой, как дьявол. Я уже заплатил за него порядочный штраф.

— А что, рвет?

— Да, — печально ответил незнакомец, — главным образом — чистильщиков сапог. Вы знаете, это действительно может взбесить, когда они все сразу начинают махать своими громадными щетками. И потом, — добавил он, помолчав, — мальчишек с папиросами. И крыс...

Неро заворчал.

Над городом лежала ночь. Была глухая осень. В тесных переулках горели пыльные фонари, и под ними, над самой головой, провисала густая и тяжелая темнота.

Мы сидели в скудно освещенном, прокисшем от винных бочек духане. Начался дождь. Он обрушился сразу и оглушительно гремел по обитым жестью стенам домов и проржавленным крышам.

— Что вы гравируете? — прокричал я в ухо незнакомцу, чтобы заглушить широкий гомон дождя.

— Этикетки для колониальных товаров — для вин, для папирос. Ничего не слышно. Я расскажу вам в другой раз. У меня есть коллекция этикеток за несколько лет.

Дождь стих. Мы оставили на столе недопитую бутылку красного вина и вышли. В этих местах ливни длятся сутками и надолго запирают одиноких людей в комнатах наедине с одиночеством и скукой.

КОФЕ МОККО

При свете яркой электрической лампы я невольно зажмурил глаза. Все стены рябили пестрыми лоскутами и пятнами, как наряд цыганки.

— Фу ты, черт! — сказал я и осмотрелся. — Неужели это все этикетки?!

— Моя работа, — ответил литограф, потирая руки. — Не выходя из комнаты, вы можете совершить кругосветное путешествие. Хотите? Здесь не только география, здесь и всемирная история, и целая портретная галерея, и рисунки сложнейших машин. Такого музея вы не найдете на всем земном шаре.

Я снова взглянул на стены, и тонкие пальмы, ананасы, полинявшие фрески, старинные фрегаты и чашки с дымящимся кофе затанцевали в глазах.

— Я объясню вам свой способ работы. Вам не будет скучно?

— Нет, нет, меня это очень занимает, — ответил я поспешно.

— Собственно говоря, во всем виноваты мои родители. Отец мой был мелкий лавочник-еврей. От него вечно несло бакалейным запахом мыла, гвоздики и перца. В торговле ему замечательно не везло, мать его пилила круглые сутки, он помалкивал, вешал нос, и дела его от этой монотонной стрекотни шли все хуже. Они вечно ссорились из-за меня.

— На что ему твоя паскудная гимназия! — кричала мать. — Что ты ему крутишь голову! Пускай сидит в магазине (она была убеждена, что у нас не дрянная лавчонка, а магазин), хоть настоящим делом займется.

Но отец упорствовал и уныло возражал:

— Хватит, что у меня руки воняют медяками. А он пусть будет человеком.

Иногда, когда я помогал ему перебирать в лавке товары, он показывал мне со значительным видом банку с консервами. На ней были грубо намалеваны колючие ананасы, небо, как густая синька, и море со стадами китов.

— Это — Индия, — говорил отец. — Заруби у себя на носу это слово. Куда ты ложишь мыло? Несчастье с этим ребенком! Когда ты будешь большой, ты поедешь в Индию и найдешь там тигровый глаз. Он приносит счастье.

Мне казалось, что тигровый глаз — страшная штука, вроде шутих, что бросают заречные мальчишки, и я робко спрашивал:

— А что такое тигровый глаз?

— Эх ты, — говорил обиженно отец. — Это — камень! За него дают много денег.

— А где Индия?

— Там. Заруби у себя на носу.

Отец показывал за стеклянную, заклеенную газетами дверь, где в лужах лошадиной мочи сопели чер-

ные, злые свиньи. И мне казалось, что Индия там, за Старокиевской заставой, куда уходит солнце.

Однажды мать продала эту банку, и отец несколько дней сердился и ворчал:

— Это мне нравится. Она не знала, что эта вещь не для продажи! Надо понимать.

С тех пор Индия не давала мне покоя. Когда меня отдали в ремесленную школу, то на первом же уроке я спросил о ней учителя.

— Что такое Индия? — пропищал я, подымая руку.

— Тебе в Индию захотелось? А вот посажу тебя на Камчатку, чтобы ты не совал в глаза свои грязные лапы.

Дома я спросил отца о Камчатке.

— Это далеко, за Сибирью, — ответил он и почмокал губами. — Там много вкусной рыбы, каждая по пять пудов, и икра у ней красная, как смородинное варенье. Такая рыба не поместится даже в нашей лавке. Там есть еще горностай. Что? Ты не знаешь про горностая? Это такой зверь, как кошка. Из его шкуры делают белую одежду для царей.

— Что ты ему поешь! — кричала из задней комнаты мать. — Так это туда гонят всех конокрадов и арестантов, таких, как Яшка-цыган. Что ты мне портишь мальчика!

После этого я стал с уважением относиться к соседской кошке Мотьке; может быть, ей посчастливится, и из нее сделают мантию для царя, — шкура у нее белая, как пух из перины.

Я крепко зарубил у себя на носу, что мне надо поехать в Индию, и с этого начались все мои несчастья...

Он подошел к полке, снял и бросил на стол груду книг.

— Я начинаю с книг. Сейчас я делаю этикетку для папирос. Заказчику пришла в голову дурацкая фантазия назвать эти папиросы «Рим». Прежде всего я перечитываю о Риме несколько книг. Время у меня есть, — срочные заказы бывают редко.

— Вы знаете, римская земля — ведь это священный прах. Вспомните, кто только не был в Риме. Какие

имена, какие люди! Боже мой, какие люди! — повторил он и схватился за голову.

— Да, — спохватился он. — Прежде всего я узнаю цену товара. Папиросы эти дешевые, курить их будут по ночлежкам. Ночлежным жильцам не нужен тот Рим, о котором я говорил. Им нужен Рим попроще. Здесь имена Пиранези, Микеланджело и Пуссена неизвестны. Поэтому я гравирую кривые улицы за Тибром, где дерется и пропивает несчастье римская голь, высокие колокольни; развешанное на веревках белье. На все это я накладываю желтую краску позднего заката. И этикетка готова. Иногда, конечно, заказчики сердятся и требуют, чтобы я пририсовал голову Гарибальди или Виктора Эммануила. Но это бывает редко.

Я взял со стола одну из этикеток и спросил:

— А это для чего?

— Это для кофе мокко, — сухо ответил литограф.

На этикетке была изображена маленькая девочка. Она стояла среди комнаты, растопырив руки и с ужасом смотрела на кофейник, из которого бил пар и струей бежало кофе. За ее спиной прятался, раздув пушистый хвост, испуганный котенок.

Литограф стал нетерпеливо рыться в книгах, повернувшись ко мне спиной.

— Чудесная этикетка.

— Вы находите? — спросил он жестяным, неприятным голосом и подавился слюной. — Не правда ли, прелестная девочка? — И он неожиданно повернул ко мне острое лицо. — Это моя дочка. Она умерла. Вы очень молодой и не поймете этого. Нас было только двое, и я прекрасно знал, что всему миру нет до нас ровно никакого дела.

— Отчего она умерла?

— Отчего? От этих проклятых этикеток! — крикнул он и швырнул в угол книгу о Риме. — Оттого, что с детства я был тряпкой и глупым фантазером.

Он замолчал и стал быстро складывать книги на полку. Я встал. Он меня не удерживал.

На улице было пустынно и черно, как в заколоченном ящике, и где-то в стороне вокзала раздраженно

крякал автомобиль. Я поднял воротник пальто и быстро пошел домой. До поздней ночи я просидел за столом, слушая, как шумит дождь в дырявых водосточных трубах. Было холодно. Очевидно, в горах выпал снег.

ЖЕСТЯНОЕ ВЕДРО

У меня была отвратительная комната. Во время дождя потолок промокал и приобретал черный, угрожающий цвет. За разбитым окном оглушительно щелкал по стенам редкий град, будто бы небрежный игрок постукивал костяшками по крыше гроба, и на чердаке бегали, прихрамывая, жирные портовые крысы. На желтой и липкой стене мой предшественник наклеил карту Босфора и вырезанный из «Нивы» портрет Венизелоса.

По вечерам, когда было холодно, я заводил керосинку. Тоска на душе была такая же желтая и липкая, как стены моей комнаты, и такая же ненужная, как портрет Венизелоса с орденами на просторном сюртуке. Во время частых зимних штормов в порту ревели басами океанские пароходы и скрипело от ветра окно, удлиняя и без того медлительную и тяжкую бессонницу.

В один из таких вечеров ко мне пришли литограф и Неро. Я завесил окно простыней, чтобы не видеть мрака, зажег лишнюю свечу, заварил чай и постарался украсить хотя бы немного мое сырое логово.

Неро заворчал.

— Чует крыс, — сказал литограф и оглянулся. — Да-а, у вас не богато. Похоже на вертеп. Старый дом. Он скоро развалится.

После чая литограф рассказал простую, но странную историю. О стекла бились потоки стремительного ливня, и мы просидели до утра.

— Сколько, по-вашему, нужно времени, чтобы добраться из Западного края сюда? — спросил он меня.— Неделя? А я добирался девять лет. У меня была жена. Единственная ее вина была в том, что она никогда

мне не возражала. Она не могла даже толком на меня рассердиться.

Меня тянуло к новым странам, я часто просыпался ночью и думал: «Черт побери, земной шар не так уже велик, и глупо умереть, ничего не увидев». Глупо, безмозгло, вы сами понимаете!

Меня испортили этикетки. Вы не представляете, как на меня действовали лакированные рожи негров и пышные тропические города на жестяных коробках от консервов. Я всматривался в них часами, пока мне не начинало казаться, что жестокое солнце сжигает мой лоб и я слышу, как в тесных кофейнях позванивают фарфоровыми чашками арабы.

Я полюбил даже все эти названия. Вы вслушайтесь, как мягко переливаются Севилья, Гвадаррама, Лос-Анжелос и торжественно, как латынь, гремят Гренада, Рома, Карфаген. А от таких слов, как Массова и Джедда, хлещет в лицо красной пылью и хрипом верблюдов.

Он остановился и искоса посмотрел на меня.

— Вы смеетесь, но в этом есть своя сила, в этих словах. Они ударяют в голову, как водка. А скитанья! Сигарный дым в пароходных конторах, огни в воде, желтые от старости камни Акрополя.

— Акрополиос... — повторил он задумчиво.

Он помолчал.

— Теперь я знаю, что это был мальчишеский бунт против моего детства, против тесных еврейских местечек, залитых дождями и пенистой лошадиной мочой, против нудного грохота жестяного ведра, привязанного к пролетке Еськи-извозчика. Это ведро доводило меня до бешенства. Оно было набатом, пульсом этой жизни, — застоявшейся, душной от розовых перин и запаха сыромятной кожи. Оно гремело весь день. Его грохот с утра будил местечко, как барабан в казармах подымает солдат.

Когда Еська умер, ведро привязали к пролетке другого извозчика. Без ведра местечко не могло жить. Ведро гремело, и они чувствовали смысл своего существования, чувствовали, что на небе есть бог, а на земле — незыблемый порядок.

— Черт, опять я об этом местечке! — вскрикнул он и схватился за голову. — Как глупо!

От Еськиного ведра я делал по ночам громадный прыжок и слушал визг скрипок в кабачках на набережных Барселоны, вдыхал розовую пудру, запах апельсинов и заглядывал в прищуренные глаза женщин.

...Но недолго. За ставнями слышался скачущий грохот ведра, и с руганью я прятал голову под красную исполинскую подушку на деревянной клоповой кровати, в местечке Клецк, Минской губернии, Несвижского уезда.

ИДИШЕР ГОТТ

— Вы чувствовали когда-нибудь на руках запах меди? — спросил неожиданно гравер и, не дожидаясь ответа, поморщился и продолжал: — Ядовитый, омерзительный. Я переехал из местечка в Минск, три года корпел у гравера и резал медные дверные дощечки для акушерок и зубных врачей, разных Вайнштоков и Левиных. На вокзале я купил железнодорожный указатель и по вечерам высчитывал — сколько стоит билет до Одессы и скоро ли я смогу уехать.

Я копил по гривеннику и дошел до того, что пользовался каждым случаем, чтобы лишний раз пообедать у тети Сарры или перехватить за день три-четыре папиросы. Мои родственники стали коситься на меня и звать дармоедом.

В Минске я женился. Этого не следовало делать. У жены, кроме глаз, ничего, собственно, не было. Она часто плакала, но до самой смерти глаза у нее были блестящие, как у ребенка. Серые глаза, а у евреек это встречается не часто.

Мы уехали в Киев. Там я встретил Текера — высокого чахоточного еврея. У него из-под брюк всегда висели красные носки и белые тесемки. Он собирался в Палестину и зарабатывал деньги на отъезд: приготовлял порошок от клопов — «антипаразитин» и продавал его на базаре. Я тоже работал с ним. Днем мы терли мел, Текер поливал его желтой вонючей жидко-

стью (он уверял, что это было эвкалиптовое масло), а потом жена таскала коробки с этим порошком по обшарпанным аптекарским магазинам.

По вечерам у себя в каморке я резал этикетки для захудалой литографии, а Текер сидел рядом, мечтая о Палестине.

— Нам поможет наш бог, — говорил он, облизывая засаленные селедкой пальцы, — идишер готт, в которого ты так мало веришь. Ты ведь почти что гой. Ты знаешь, где твоя родина? Не тут вот у Киеве, а там, в Палестине, где в земле лежат все пророки, и Сарра и Рахиль. Твоя родина — камень, и солнце, и Сионская земля.

Около Яффы мы будем жить в колонии, ухаживать за апельсинами, купаться в море, а по праздникам будем молиться. А? Ты знаешь, о ком мы будем молиться? О своих братьях, что гниют в Чернобылях и Голтах, и гои им плюют в бороды и говорят — «жид», и у них нет лишних трех копеек, чтобы купить детям бублик в субботу.

А, Иосиф! Там будет жара и много солнца, а здесь пацюки весь год валяются в лужах, такая мокрая погода.

— Иордан, Иордан!— говорил он и обтирал пальцы о заштопанные клетчатые брюки. — Или ты там будешь такой же бледный, как здесь, Иосиф?

— Нет, — говорил он, тряс головой и тонко хохотал. — Нет, мадам Шифрина, ваш муж будет там здоровый и черный, как буйвол, и будет кушать виноград и морскую рыбу.

Жена болезненно улыбалась, стирая в тазу белье. Я резал и думал, что на билет до Палестины надо заработать еще сто рублей. Сто рублей — нешуточные деньги.

Потом жена забеременела. Этого не надо было делать. Но она тосковала по ребенку, будила меня по ночам и рассказывала, какой у нее будет мальчик.

— Ты не бойся, Иосиф, — говорила она. — Он не помешает ни капельки тебе ездить. Он будет такой крошечный. Я его буду носить на руках. Кормиться он

будет моим молоком, и тебе совсем не надо будет о нем думать. Правда, Иосиф?

Как-то в праздник мы пошли гулять с Текером на Владимирскую горку. В коридоре нас встретил сосед, веселый красный кондуктор Игнатий, посмотрел на нас и сказал, подмигнув Текеру:

— Здравствуйте, путешественники в Палестину.

Я побледнел и обругал его дураком. Он захохотал и сказал мне добродушно:

— Ты чего серчаешь! Я не со зла, а так. Посмотри на себя, какой ты путешественник. До Одессы не доедешь — помрешь по дороге. Опять-таки жена у тебя не порожняя. Сидели бы в Киеве, — куда уж вам.

На улице я посмотрел на красные носки Текера, на его зеленое лицо, на опухшую жену с животом, увидел в окне парикмахерской себя в железных очках, плюгавого, веснушчатого; мне стало тяжело, я заплакал и пошел домой.

— Что с тобой, Иосиф? — спросила жена и заковыляла за мной.

— Ничего, — ответил я, давясь слезами. — Никуда мы с тобой не уедем. Какие мы путешественники?! Посмотри на меня, на что я похож. Я устаю, я все дни голодный, ты больна, и я боюсь каждую минуту, что ты споткнешься, скинешь и умрешь. Никуда мы не уедем, нас затрут, обманут; никогда я не заработаю на дорогу денег.

— Это неправда, Иосиф! — кричала жена и хватала меня за руки. — Не смей этого говорить! Мы будем ездить везде, где ты хочешь. Никогда не теряй веры, Иосиф.

Дома Текер сел на стул, сдвинул на затылок пыльный рыжий котелок и сказал:

— Есть еще бог, наш идишер готт. Гои всегда смеются с нас. Плюнь им в глаза. А умрем мы не здесь, а в Палестине. Я это говорю тебе, я — старый, честный еврей, и ты должен мне верить.

Ночью после этого дня рядом был пожар; хрипло рыдали женщины. Я сидел на кровати в поту, зажав в руке свои сбережения на дорогу, и плакал частыми, мелкими слезами. Жена торопливо связывала в узел

весь наш заношенный хлам. Я плакал и думал о том, что ей нельзя нагибаться, но помочь ей у меня не было сил.

Мы все же уехали из Киева в Винницу — хоть на триста верст ближе к Палестине. Так я думал, а Текер только качал рыжим котелком и вздыхал.

— Ехать так ехать, а не выматывать душу через каждую минуту, — говорил он мне, прощаясь на проплеванном вокзале.

В Виннице не было даже литографии, и я работал простым наборщиком. На жизнь не хватало, но из денег, что я собирал на дорогу, жене я ничего не давал. Я закусил эти деньги и не выпускал ни одной копейки.

В Виннице у меня родилась девочка, вот та, что на этикетке для кофе мокко. Когда она родилась, мне вдруг стало легко. Я поверил, что поеду в Палестину, увижу красные скалы в море, услышу восторженный рев ослов, буду пить из холодных горных ключей и солнце высушит до костей мое хилое чахоточное тело.

«Солнце меня спалит до костей», — думал я и дрожал от наслаждения. Я видел песчаные отмели, сизый камень Ливанских гор, слышал голоса невиданного моря. Я видел, как я иду по каменистой тропе домой, оглядываюсь и вижу далекий дым над голубизной, дым парохода, идущего к островам, брошенным, как кошницы пальм, цветов и звезд, в зеленое покачивание океанов.

Но тут случилась война, закрыли границы, и над моей жизнью повисло унылое ожидание конца и мобилизации. Я отупел, внешне примирился со всем, и только тревожные глаза жены заставляли меня стонать по ночам от бессильной ярости.

МОРСКИЕ КАРТЫ

Когда дочке пошел второй год, мы переехали в Одессу.

По вечерам в конце нашей улицы садилось запыленное солнце и зной стоял во дворах, как теплая вода.

Все первые дни я забрасывал работу, бегал в порт и смотрел, как разгружают военные транспорты. Грохот лебедок был лучшей музыкой, которую я когда-либо слышал.

Не знаю, испытывали ли вы сложное, редкое ощущение, когда в каждой капле морской воды, в каждом обрывке морского каната вы слышите запах океанов, чувствуете соленый осадок Атлантики и Адриатического моря. Вы берете кусок сгнившего каната, растираете между пальцами и, прикасаясь губами к песку, что остался на ладони, думаете, что, быть может, это песок со священного Малабарского берега, с желтых, как дынные корки, берегов Аравии или с черных изумрудов — Сандвичевых островов. Я думаю, вы этого не испытали.

В глазах моряков я искал отражение тех стран, которые они видали. Не правда ли, дико? Я думал, что увижу в них туманы, золотой зной Азии, мокрые пристани в старинных черных портах. До этого надо додуматься, — искать в глазах отражение чуть ли не Эйфелевой башни.

Я подбирал в мусоре обрывки иностранных газет и подолгу, как реликвии, хранил и рассматривал их.

Я начал засиживаться над большими морскими картами в публичной библиотеке. Правда, первое время я краснел, глотал слюну и заикался, когда библиотечная барышня с изумлением смотрела на меня — маленького робкого еврея, требовавшего морские карты. Но потом к этому привыкли.

Теперь я знаю морские карты не хуже любого капитана дальнего плавания.

Я читал морские книги и руководства и должен вам сказать, что они прекрасны. Они пропитаны насквозь старинной поэзией моря, поэзией парусных кораблей тех времен, когда не весь земной шар был еще нанесен на карты.

— Это выше Пушкина, выше Толстого! — воскликнул он и стал рыться в кармане. — Здесь у меня есть некоторые выписки. Вот, слушайте:

«Вблизи Босфора, на рассветах, вода всегда очень чиста и прозрачна. Ночью море штилеет. Зимой

шхунам трудно идти во внезапных туманах и нередко у этих берегов жестоком граде».

— Когда вы прочтете эти книги, — вы поймете, как еще молод и великолепен мир, — вот этот резиновый мяч, что вертится в небесном пространстве.

Да, в Одессе я выкинул к черту свои старые привычки, начал приучать себя к морю, к прохладе, к суровой жизни. Я часто спал на берегу, дрожал от дождя, обсыхал на солнце, ловил скумбрию и бычков и вообще вел жизнь, неподходящую для ремесленника и тем более для еврея.

Я сбрил свою выщипанную бороду и усы, загорел и курил уже не чахлые папиросы, а крепкую трубку.

С каждым днем все большая свежесть пропитывала мое тело. Я выбросил очки и подолгу вглядывался вдаль, приучая глаза к горизонтам. Моя ремесленная слепота стала уменьшаться.

Да что говорить? Достаточно, что женщины стали поглядывать на меня с любопытством, тогда как раньше мой вид вызывал только брезгливую усмешку или обидное равнодушие.

Даже жена однажды сказала мне: «Ты стал сам на себя непохож, Иосиф. Что сказал бы теперь кондуктор Игнатий! А?» — и весело засмеялась.

Она не понимала, что со мной происходит. Я нередко заставал ее за своим столом, когда она, наморщив лоб, просматривала мои книги. А у меня появилось довольно много книг — Лондона, Киплинга, Гамсуна. С непривычки я пьянел от них, как от водки.

Я работал немного, но зарабатывал неплохо. Каждый день приближал ко мне то, что я ждал, — белые полудни, зеленую средиземную воду, крепкие палубы кораблей.

Жена недоумевала, робко радовалась, неизвестно отчего плакала и все чаще жаловалась на боль в сердце. Но я был захвачен вихрем, дни текли солнечной чередой, и в их широте растворялась без следа вся моя боль. Я был слеп и глух ко всему, что пыталось вернуть меня к прежней жизни, к местечковым страданиям

и радостям. На болезнь жены я не обращал внимания.

Однажды я вернулся с моря поздним вечером. Вы бывали в Одессе? Тогда вы должны помнить эти медные сумерки, когда акации сереют от пыли и в море лежит тишина.

В своей комнате я застал дикое скопище старых евреек: крикливых, кисло пахнущих перинами старух, которые лезут в чужую жизнь в самые страшные, требующие одиночества минуты.

Я сразу понял, что умирает жена. Я грубо выгнал всех старух, силой вытолкал их на лестницу. Они визгливо ругались и посылали на мою голову «ренегата» отвратительные проклятия.

Жена умерла от сердечного припадка. Перед смертью она пыталась что-то сказать, но так тихо, что я едва разобрал несколько слов — робкую просьбу, чтобы я берег дочку. Дочка плакала целые дни. Она была испугана и самой болезнью, и сладковатым запахом трупа в нашей тесной комнате, и похоронами, на которые я ее повел.

Вы были когда-нибудь на еврейских похоронах? Нет? Каждая религия пытается создать вокруг смерти веяние торжественного и вечного. У вас, например, очень торжественно отпевание. Помните: «Приидите, дадим последнее целование». Последнее целование теплых человеческих губ, а потом эти любимые губы будут целовать могильные черви и мокрая глина. Я люблю похороны где-нибудь в деревне, на заросшем кашкой кладбище, когда солнце тускло поблескивает на старенькой ризе священника и запах ржаных полей заглушает запах ладана. У вас смерть окружена величавыми молитвами и реквиемом Моцарта.

А у нас ничего этого нет. Все очень просто. Смерть есть смерть, гниение, а труп — падаль. Была душа маленького еврея, торговавшего всю жизнь бакалеей. Всю жизнь над ним стоял смрад перин, тоска немощеных улиц, высохшая жена, заросшие коростой дети и погоня за пятаком. По праздникам он рыдал в черной синагоге; в ужасе и трепете читал древние молитвы перед лицом неотвратимого Иеговы.

Разве похороны его могли внушить мысль о легчайшей печали: об увядших цветах, о слезах прекрасных женщин. Глупо даже подумать об этом. Наши похороны торопливы, будничны, суматошливы, как любая толкучка, лишены малейшего намека на таинство.

Жена умерла. Пришел рыжий синагогальный служка в цилиндре с серебряным позументом и две минуты покричал над трупом непонятную молитву. Потом он же сел за кучера на погребальную колесницу, злобно хлестнул вожжой колченогого коня, и похоронная процессия двинулась, скорей побежала за быстро тронувшейся колесницей.

На кладбище, почти на глазах у провожающих, происходит отвратительный обряд обмывания и выдавливания экскрементов. Делают это нищие старухи, перекрикиваясь о своих дворовых делах и ругаясь из-за куска серого стирочного мыла.

Потом жену положили на носилки, залитые потеками запекшейся сукровицы, и мы понесли ее до могилы.

Рядом со мной носилки тащил старый хромой еврей. Их много на кладбищах, они ходят стаями, как бродячие псы.

Он наступал на полы своего рваного сюртука, спотыкался и все время пытался сговориться о плате.

— Труп тяжелый, — свистел он сквозь гнилые зубы и кряхтел, — и надо бы прибавить... Кроме того, могила очень далеко. Если бы я знал, что так далеко, то вообще не понес бы...

Все это окончилось дикой сценой. О ней я и сейчас вспоминаю с брезгливой дрожью. Когда жену зарыли в сухой глине, в тесноте затоптанных сапогами могил, и евреи, тащившие гроб, получили плату, они подняли крик, потребовали больше и схватили меня за руки. Я вырвался и в припадке бешенства ударил одного по лицу. Он крякнул, сел на могилу жены и завыл пронзительно и непрерывно. Остальные тоже завыли от злости и стали толкать и щипать меня, наступая мне на ноги.

Вся эта история окончилась в сырой кладбищенской конторе, где раздраженный околоточный составил протокол «О драке во время погребения».

С кладбища я ушел, уводя за руку плачущую дочку. В душе у меня все было запоганено, — вы сами понимаете.

Я не вернулся домой. Было осеннее утро — ломкий синий хрусталь; спокойнее, чем летом, шумел далекий город. Весь день я провел у моря. Дочка ловила сердитых крабов, и волны сглаживали ее маленькие узкие следы.

Море исцеляет раны и смывает грязь этого мира.

ТИШИНА

Нас осталось двое. Настала тишина, покой. Я снова погрузился в думы о скитаниях, о голубых городах со странными именами, о зеленом сиянье тропических лесов, о гаванях, раскинутых, как птицы, о неколеблемых ветрами морях. Я думал об этом настойчиво, непрерывно, улыбаясь самому себе, как помешанный. Я дошел до того, что часами мог останавливать мысль на незначительном образе, испытывая непередаваемое наслаждение.

Помню один. Я видел вывеску фруктовой лавки в Рио-де-Жанейро, вывеску желтого цвета с черной надписью. Я видел внутри белые мраморные столики, на них бледным огнем горели бокалы с фруктовым соком. Густое небо синим пламенем сверкало в чисто вымытых стеклах. И я, гравер из местечка Клецк, Минской губернии, сидел за столом, закинув нога за ногу, лениво курил, перелистывал иллюстрированные журналы и смотрел в глаза смеющихся женщин.

Мне надо было в порт, я не спешил, и было радостно от мысли, что я медленно пройду по шелестящим пальмами улицам, буду пересекать площади, где шуршат фонтаны тепловатой воды, пока впереди, в дыму океанских труб, в легком покачивании мачт не задымится зеленый, кипящий прибоем залив.

И я, гравер из местечка Клецк, разденусь и буду купаться в водах океана, и мое бронзовое тело будет пахнуть не медью и не кислятиной нищенской кухни, а йодом и жгучей солью океанской глубины.

Границы были закрыты, и мне посоветовали ехать в Палестину через Батум — оттуда, мол, легче пробраться. И я уехал.

Уехал кружным путем через Ростов и Кавказ. В дороге я испытывал ощущение радости от сухих стекленеющих степей, от широких станиц, от голубых гор, сверкнувших за Кубанью, от крынок с топленым молоком и желтых ноздреватых бубликов, что выносили к поезду казачки.

Я стоял с девочкой у окна и жадно смотрел на каждый полевой цветок, на жирную черную землю, на серебряные реки. У меня было такое чувство, будто я выкупался в воде со снегом и я уже не Иосиф Шифрин из Клецка, а кто-то другой, веселый, прекрасно приспособленный к жизни. Могила жены отошла в туман, слилась с памятью о дождях и вонючих непроезжих местечках.

Потом серый песок Каспийского моря, обрывы гор, красные берега и караваны верблюдов. Сизый дым кизяка уходил в далекое небо. В обширном провале встало на желтой глине черное мазутное Баку, игрушечный Тифлис перебирал веселые огни и, наконец, Батум, усыпанный мандаринами, омытый густым морем и тропическими дождями. Я был все ближе и ближе к цели. Вы понимаете мой восторг.

Батум — цепкий город. Горячие ливни, банный воздух, густые и терпкие запахи накачивают в мозги сонный яд усталости и лени. Но и здесь, в Батуме, я резко взялся за дело. Каждый раз, когда я видел вывески пароходных компаний, всех этих «Кунард Ляйн», «Сервици Маритими» и «Ллойд Триестано», это меня подхлестывало, как удар кнута. Из-за этих вывесок я проморгал революцию.

В Батуме девочка заболела тропической малярией. Припадки были часты и ужасны. Она почти оглохла от хины. А ливни все шли и шли. Казалось, что земля до сердцевины набухла влагой. Я дрожал от тоски,

глядя на запад, в море, откуда неслись, толкаясь, как стадо овец, низкие тучи.

Солнца не было, лихорадка крепчала, несколько раз за ночь я менял дочке белье, мокрое от пота. Пот лил с нее ручьями, и в глазах была известная всем здешним жителям «малярийная тоска». Она бредила, плакала, если у нее оставались силы плакать, и не отпускала от себя серого котенка Леньку. Так мы и жили втроем: я — в отчаянии, она — в бреду, а Ленька — в сытом довольстве.

Через два месяца она умерла. Умерла, когда я ушел в город за хиной. Ленька спал у нее на груди, укрывшись хвостом. Вот и все.

— Ее можно было спасти, — сказал я граверу. — Надо было попросту уехать на север.

— Я не мог, — ответил гравер. — Я не мог выбросить за борт девять лет и начинать сначала. Я был недалеко от цели. Я надеялся, что это пройдет. Врачи говорили мне то же самое, но я заставлял себя не верить им.

Гравер кончил. Мы вышли на влажную после ночи набережную. Тихим розовым огнем пылал Эльбрус, как облака над морем. Море было сонно, и далеко за мысом сверкал белыми надстройками палуб океанский пароход. Он шел из Трапезунда. Булочные пахли лавашом. В пустых кофейнях первые завсегдатаи потягивали кофейную гущу и перебирали четки.

БЛЕСК ОСЕНИ

Я собирался уезжать. Перед отъездом я провел весь день у моря. Цвели олеандры. Их розовый цвет напомнил мне детство, бабушкин дом со стеклянной галереей, где пахло олеандрами, стоявшими в зеленых деревянных кадках. Детство с его солнечной тишиной в клумбах настурций, детство в необъятных золотых степях Украины.

Цвели олеандры и чай — желтоватый, как воск. Теплые туманы лениво шли с похолодевшего моря, синий воздух качался над городом свежей синей водой.

В духанах шипел на углях шашлык, сверкало белое вино, на кирпичные лица турок ложился бронзовый свет короткого дня.

Звуки раздавались над водой очень тонко, звенели, как задетая струна, и терялись в щелях влажных улиц, где дремали на солнце ишаки.

В прозрачной воде качались красные турецкие фелюги, груженные до бортов золотыми тяжелыми апельсинами. Их запах, как запах восточной земли, был прохладен, прян, и эта осень была, как сок апельсинов, также прохладна и терпка своей милой печалью.

Мягкий ветер дул в лицо, колыхал выцветшие полотнища пароходных флагов. Голоса моряков и женщин были слышны очень далеко; бледное солнце стояло в вышине, и казалось, что за морем дышит пышная и светлая весна.

Весь день меня мучили, как и чахоточного гравера, мечты об океане, о серебряных веснах, о желтом песке чужих и пустынных берегов.

В полдень я выкупался и потом долго обедал в столовой у самой воды. Я дремал, запивал баранину вином, и черный кофе бил мне в лицо крепким паром. Мне нравилось это безделье, шатанье по городу, по турецкому базару, по бульвару, по пристаням, где греки в старомодных котелках удили бычков и качались у свай кружевные и розовые медузы.

Ночью печально и широко шумело море и было холодно.

ПЕРЕПЕЛА И ШТОРМ

Утром на город обрушился тяжелый ливень. Ехать было нельзя, — я остался еще на день.

Вода хлестала, как из тысячи открытых кранов. В комнатах было тесно, и слепо светили электрические лампочки.

Ветер рвал серые полосы воды, мчал их вдоль каменных оград, швырял на ржавые крыши, бил мокрыми полотенцами по стеклам и внезапно стихал. Тогда все заполнял ровный водопад льющейся с неба воды.

Море швырялось желтой пеной, чернело от туч, а к полудню поднялось и пошло на город мутными ровными валами.

Горные реки вздулись, переливались через мосты, волокли в море туши буйволов. Белый шторм качался над морем, заливал рассолом подъезды прибрежных домов. В домах пахло ветром, жареным кофе.

Днем неведомо откуда ветер принес густые стаи мокрых изнемогших перепелов. Они низко и косо неслись под ливнем и тысячами падали на крыши, в щели бурлящих улиц. Потоки воды смывали их в море, и волны расстилали перепелиные трупы на берегу рядами черных четок.

На крышу театра упал розовый фламинго — его принесло бурей с Чороха.

В сумерки, когда ливень стих, я пошел в турецкую кофейную на пристань. Озябшие турки играли в кости. Море гремело. Черная ночь дымилась кольцом вокруг города.

В кофейной я встретил гравера.

— Я завтра уезжаю, — сказал я и встал. Я хотел ветра, свежей воды, грома волн, глотка крепкой водки. — Прощайте. Ну как? Вас теперь не тянет в новые страны?

— Иногда, — ответил он, свертывая толстую папиросу. — Но здесь все, каждый камень, каждый ливень напоминает о дочке. У меня осталась только одна эта память. Она дает мне силу жить. Отсюда я никуда теперь не уеду.

У гравера задрожали губы, Неро заворчал.

Я вышел, и крепкий ветер бросил мне в лицо запах прекрасного бушующего моря. Маяк уже горел, на мокром песке блестел неведомый серый свет.

Во мглу ударила крепостная пушка: солнце зашло.

1924

ДОЧЕЧКА БРОНЯ

(Письмо из Одессы)

Я стараюсь писать точно. Прежде всего место действия, потом действующие лица, потом события.

Итак, место действия — Одесса, а в Одессе театр на Куяльницком лимане, степь у Большого Фонтана и Дальницкая улица, 5 (во дворе).

Действующих лиц много. Боцман Бондарь, поэт Вербицкий, хромая Валентина из «Известий», Андрюша Роговер, фотограф Глузкин, я и прочие — репортеры, курортные, матросы, милиционеры, машинистки и чистильщики сапог.

Событий было три: концерт на Куяльницком лимане, знакомство с правнучкой Пушкина и жестокая месть фотографу Глузкину.

Вообще, эпиграфом к этому письму я мог бы поставить слова фотографа Глузкина, который кричал мне при каждой встрече:

— Товарищ, я имею через вас массу неприятностей!

Он был прав. Он устраивал на Куяльницком лимане литературный вечер, который кончился плачевно. На вечере выступал я. Если вы возьмете в рот десяток липких ирисок, будете их жевать и в это же время читать «Известия», то вы получите довольно

точное представление о моем произношении. Естественно, что я провалился.

Во время вечера я был слегка пьян, так же, как был пьян поэт Вербицкий, Андрюша Роговер, читавший рассказ об одесском базаре под названием «Имеете пару интеллигентных брюк», и сам Глузкин. Трезвым были только профессор Верле и хромая Валентина. Когда она ходит, то получается впечатление последовательного вколачивания гвоздей в вашу голову.

Начал Андрюша Роговер. Потом Верле читал лекцию о греческих вазах, найденных в Ольвии. Когда он дополз до ваз с коричневым фоном, погас свет. Это внесло большое оживление. Публика звонко перекликалась и аукалась, как в лесу, я шарил по грязным кулисам, ища выключатель, а профессор робко продолжал объяснять разницу между этрусскими и микенскими вазами. Кое-где уже курили.

Потом я услышал со сцены сначала равномерное вколачивание гвоздей (Валентина пошла за свечкой), а затем истерический вопль и грохот.

В зале началась паника. В проходах бушевали невидимые людские водовороты, женский голос возмущенно взвизгнул: «Бросьте мою ногу», кто-то стучал палкой по стулу и дико орал: «Граждане, не делайте Варфоломеевскую ночь!»—и грозил милицией. Выходная дверь на пружине предсмертно выла, очевидно, хлопала граждан по лбам и другим частям тела, так как слышались стоны и досадливые выкрики.

— Однако, — невозмутимо сказал поэт Вербицкий и зажег спичку. Свет спички обнаружил, что Валентина провалилась в суфлерскую будку. Она стонала и требовала немедленной помощи.

Общими силами под гул стихающей паники мы вытащили ее, и тогда Глузкин первый раз сказал эти слова.

— Товарищи, я чувствую, что через вас я буду иметь порядочно неприятностей.

Профессор был удручен. Микенские вазы потонули в грохоте стульев, жалкий свет свечи уродливо метался по кулисам, над нашими головами мрачно висела картонная кисть винограда, и Валентина стонала и смея-

лась, лежа на стульях. У нее было растяжение сухожилия.

— Вы подковали себя на вторую ногу, — сказал Глузкин.

Тогда Вербицкий шагнул вперед, поднял руку и крикнул. Паника прекратилась. Бегущие остановились, некоторые даже сели. И мы под стоны Валентины исполнили свой боевой номер — песенку о дочечке Броне.

Хотите знать ее слова? Вот они:

А третья дочечка Броня —
Была она воровка в кармане.
Что с глаз она видала,
То с рук она хватала.
Словом...
Любила чужих вещей.

Эффект был страшен. Зал визгливо плакал от смеха, стучал ногами, беглецы густо валили обратно, а какой-то матрос требовал «Свадьбу Шнеерсона».

Чтобы прекратить эту лавочку, я потушил свечку, и Вербицкий заорал в новую темноту чудовищным басом:

— Немедленно очистить зал!

Когда мы снова зажгли свечу, в зале было пусто. Только в углу сидели матрос, требовавший «Свадьбу Шнеерсона», и рыжая девица.

— Товарищи, — сказал матрос, встал и снял кепку. Было похоже на то, что он сейчас скажет приветственную речь. — Товарищи! Пока вы кляпздонили со своим концертом, ушел последний поезд в город и мне с этой гражданочкой негде ночевать. Поэтому разрешите остаться здесь.

Ночь, проведенную в театре, нельзя назвать обыкновенной. Мы устроили из стульев места для спанья. У профессора был такой вид, точно он попал в шайку бандитов. Он судорожно вздыхал и просил пить.

Матроса (звали его Бондарь) послали за водкой и закуской. Рыжая девица растерла Валентине ногу. Профессору дали сельтерской воды, он лег на стульях, не снимая пенсне, и вскоре стал посвистывать носом, как молочный младенец.

Мы же, выпив каждый по доброй стопке водки, сели играть в шестьдесят шесть с матросом и рыжей девицей.

Наша компания за хромым столом на черной и пыльной сцене давала довольно точное представление о бандитской «малине».

— Шли мы рейсом в Скадовск, —рассказывал Бондарь, отчаянно шлепая картами, но не выказывая особого азарта. — Шли мы, значит, в Скадовск с коровами. Ноябрь, на море погода, а в заливе лед. (Играете вы, дорогие граждане, как зайцы на барабане.) Да, а в заливе — лед. Наша дрымба замерзла, обложило ее льдом, как компрессом, словом — полярный океан.

Завезем на лед якоря, зацепим, вытягнем дрымбу до полкорпуса, она провалится —и опять тягни. Чистое наказание! Страдали неделю, до берега близко, коровы сдыхают, а судно бросить никак нельзя. (Как же вы считаете? Разве же это счет?) Да... встаю я раненько утром, мороз, туман, солнце на льду чуть-чуть светится, а на судне ни души нету. Ушли, стервы, ночью на берег, сговорились. Пошел я до капитана и доложил. (Вы, гражданка, отодвиньтесь подальше. Так нельзя.) Да, доложил, а он говорит: «Ну и черт их дери! Будем, Бондарь, пропадать с тобой вместе». Есть, говорю, будем. Механик еще с нами остался.

— Прошу не возражать, — засипел во сне профессор. — Какая же это соль!

— Да, стоим. Мороз. Коровы, можно сказать, все и подохли. И тут началось. Была у капитана водка. Взяли мы корову — и жарить роскошный ростбиф, печенки, вымя — жир так и плывет. Никогда так не кушал, как во льду.

Напьемся и петь. Капитан за гитару, я просто так. Бывало, как ударим:

Выйду ль я на улицу,
Красный флаг я выкину.
Что-то красным повезло
Больше, чем Деникину.

Одним словом, жили широко. Потом нагнало теплую воду, сломало лед, капитан вышел, глянул. «Вы-

води, кричит, эту гитару на чистую воду! Бондарь, становись шуровать». Сам стал за штурвального — и пошли до самой Одессы. Газеты подняли тарарам — герои труда, на красную доску, дать им орден Красного Знамени. А капитан порта вызвал нас, застучал кулаками да как гавкнет: «Герои! Где коровы? Ишь какие хряпы понаедали на казенном скоте. Я вас подведу под трибунал! Мне, кричит, все известно. Почему команду упустили и допущаете бунт?»

Следующим номером было выступление рыжей девицы. Ее волосы пылали матовым огнем, а серые глаза смотрели на мир очень весело.

— Я учусь в студии киноартистов, — сказала она, присмирев; перед этим она хохотала. — Сейчас я даже играю небольшую роль в «Дороге гигантов». Я ничем не замечательна, кроме того, что я настоящая правнучка Пушкина.

— Того самого? — спросил боцман.

— Да, того самого.

— Ай спасибо, вот спасибо! — Боцман немедленно потерял весь заряд самоуверенности. Игра прекратилась. Наступила торжественная и зловещая тишина.

— К нему не зарастет народная тропа, — сказал вдруг ни с того ни с сего Глузкин.

Рыжая девица заплакала.

— Никто не верит,— крикнула она сквозь слезы. — Никто, никто! — Она вскочила и топнула ногой. — Я расскажу вам все, что знаю. Моя бабушка была дочкой Пушкина. Я ее хорошо помню. Она умерла в ту ночь, когда матросы с «Ростислава» сжигали в топках на броненосце одесских банкиров. Она была черная и никогда не завивала волос — они вились у ней сами. У нее осталось два письма Пушкина к моей прабабке.

— Где они? — крикнул Вербицкий и вскочил. Лицо у него дергалось судорогой. Он задыхался. На него было страшно смотреть.

— Вы их увидите, — сказала рыжая девушка. — У моей прабабки была только одна встреча с Пушкиным. Из писем это ясно. Прабабка никогда не говорила о Пушкине, бабка рассказала только мне.

Даже своей дочери — моей маме — она ничего не говорила.

Когда мне было шестнадцать лет, как-то вечером, осенью, я пришла к бабке.

Ревел норд, зеленые фонари качались на улицах, и было страшно подумать о пароходах, застигнутых в открытом море.

Бабка сидела в кресле, за ее спиной был целый иконостас, горели лампадки. Она плакала.

— Мэри, дорогая, — сказала она и взяла меня за руку. — Наш греческий род смешал свою кровь с русскими и евреями — и вышли все маленькие, хилые люди. У твоего брата — Володи — пискливый голос и скучный характер, твоя мать толста и больше всего на свете любит кофе с гущей. Разве этого я ждала? Разве могло быть это? Вы срослись с этим городом. Вы ничего не хотите, и только ты одна не можешь мириться ни с чем безобразным, ты строптивая, и я думаю, что тебе я передала частицу прадеда. Во мне самой она не сказалась.

Она вытерла слезы и достала из сумочки янтарные четки. Янтарь был красный от времени, весь в трещинах.

— Эти четки подарил мой отец, а твой прадед моей матери. Это — родовые четки. Я передаю их тебе, береги и смотри, чтобы ни одна горошина янтаря не пропала.

Это было сделано так торжественно, точно меня посвящали в рыцари. Она надела мне четки на шею и сжала мои щеки своими желтыми, холодными ладонями. Я заплакала.

— Мэри, Мэри, — сказала она, — не волнуйся, девочка. Теперь я скажу тебе, кто был твой прадед.

Она вынула из сумочки письмо на толстой бумаге и показала его мне.

— Чей почерк?

Почерк был косой, небрежный, страшно знакомый. Чернила выцвели, а сбоку на полях были мелкие, мелкие брызги, какие оставляет только гусиное перо.

— Я где-то видела в книгах... — сказала я нерешительно.

— Пушкина! — крикнула бабка и упала в кресло. — Ты правнучка Пушкина. Береги это, как святыню, будь достойна прадеда.

Она зарыдала.

Рыжая девушка замолкла. На глазах у нее блестели слезы. И только в эту минуту я заметил, что мы все стоим, что Вербицкий смертельно бледен, а у боцмана дрожит голова.

— Мэри Пушкина!—сказал Вербицкий и наклонил голову. Голос его был глух и печален. — Простите, что я мог вам не поверить. Перед Пушкиным можно только рыдать или смеяться от счастья. Когда говорят «Пушкин», солнце подымается в душе каждого, кто еще не разменял на «лимоны» последние отрепья своей души.

Он осторожно взял руку девушки и поцеловал ее, как целуют фанатики серебряное тело Христа на черных распятьях.

— А мы? — сказал глухо Вербицкий и посмотрел на нас. — Мы — ленивое, потасканное, пустяковое племя, плюющее на романтику.

Потом он так же глухо сказал:

Я не снесу трагического груза,
Чернила высохли, и новых песен нет.
Прости меня, классическая муза,
Я опоздал на девяносто лет.

— У меня нет денег, — продолжал он. — Я нищий. Я живу стихами. Есть маленькая серая птичка, величиной в три наперстка. Она живет на пустырях, летом поет на заборах, а осенью гибнет массами от холода и неуюта. Ее зовут «заборный король».

Так и я — «заборный король» среди людей. У меня нет ничего, кроме этой кепки, но у меня есть жизнь, есть много нерастраченных сил, и если вам понадобятся эти вещи — скажите мне, и я отдам их вам. Я готов служить вам, как невольник.

— Спасибо, родной, — сказала девушка, смахнула слезу и засмеялась. — Пушкинская кровь тяжела, так тяжела... Я первый раз в жизни рассказала об этом... Мне не надо было пить вина.

Рассвет сочился сквозь кулисы, и далеко за стеной был слышен голос моря.

Рассказ девушки слышало нас четверо — Вербицкий, я, боцман и Андрюша Роговер. Валентина спала, Глузкин уснул во время рассказа. Глузкин — чавкающая и слепая свинья, жадная до засаленных денег. Острая ненависть поднялась во мне. Я решил отомстить, унизить этого трусливого негодяя. Свое решение я исполнил, но об этом дальше.

Иногда среди лета вдруг наступят осенние дни. Так было и тогда. Мы ехали с Вербицким к Мэри на Большой Фонтан. Дул северный ветер, накрапывал серый дождь. Казалось, что кончилось лето и осень щемила сердце поздним сожалением о встречах, которых не будет, и рассказах, которые я не успел написать. На дачах топили печи.

Мэри нас ждала. После чая мы вышли на обрыв к морю. Над берегом взошла кровавая средневековая луна.

Я называю луну средневековой. Мне кажется, такая же кровавая безмолвная луна всходила над полянами Шотландии, над розовым вереском в те годы, когда прекрасные женщины рыдали о Ветингтоне и рыцари были смешливые, как наши подростки.

Это — отступление от темы, но я вам признаюсь, — я очень хочу написать о темных и высоких залах, где горят камины, турьи рога висят над притолоками дверей, пахнет за окнами дикой хвоей, звериными шкурами, мхами и свежестью ночи и слышно, как льется по камням холодная, полная форели река.

Разве это плохой фон для рассказа о мужестве, здоровом хохоте и опасностях. Простите, я заговорился. Теперь не век Вальтера Скотта, и такие рассказы никто не стал бы читать.

Мы сидели очень долго на старой скамье над обрывом. Мэри ничего не говорила о Пушкине, и мы не спрашивали.

Я остался ночевать на даче и спал в саду, забившись в заросли сухого и душистого барбариса. Ветер стих, туман стоял над садом, я лежал, закутавшись с головой в пальто; было тепло, дремотно, и издалека

гудело море. Какой-то рыжий пес долго крутился у меня в ногах, утаптывая траву, потом лег, скорбно вздохнул и стал насвистывать носом. Спали мы с ним долго и крепко.

Мое письмо затянулось. Поэтому я вкратце расскажу только один эпизод, достойный внимания.

Этот эпизод — месть Глузкину. Мне 26 лет, но иногда я поступаю, как мальчишка. Так было, например, с Глузкиным. Глузкин жил на Дальницкой, 5. В тот вечер он праздновал именины жены — веснушчатой и кислой женщины с выпуклыми глазами.

Этот вечер был выбран мной и Андрюшей Роговером для мести.

Для того чтобы понять, в чем дело, я должен сказать несколько слов об устройстве парадных дверей. Вы, очевидно, знаете, что все парадные двери из квартир открываются внутрь. На этом принципе и была построена месть. Мы поднялись к двери Глузкина, вернее к двери той квартиры, где Глузкин снимал комнату, продели сквозь ручку двери хорошую бельевую веревку, пропустили ее через ручку двери соседней квартиры, где жил зубной техник, связали туго концы веревки, отчаянно позвонили в ту и другую квартиру и выскочили во двор. Надо было ждать результатов.

Результаты были потрясающие. Очевидно, Глузкин и зубной техник одновременно вышли открывать дверь. И тот и другой тянули дверь к себе, но «кто-то» (веревка) не пускал. Страшно, когда вы открываете дверь и за ней в темноте стоит неподвижная и тяжелая фигура, но вдвое страшней, когда вы хотите открыть дверь, а тот, кто звонил, молча тянет дверь к себе. Сразу же возникает подозрение, что за дверью прячется или сумасшедший, или чрезвычайно загадочный и опасный преступник.

Естественно, что Глузкин, который вначале довольно мирно сказал: «Сема, перестань меня разыгрывать», дико закричал и бросился в свою комнату. Естественно, что техник, пытаясь открыть свою дверь, дергал за веревку и сотрясал дверь Глузкина. Естественно, что никто ничего не понимал, началась

паника, истерические вопли женщин, рев мужчин, кто-то стал выбрасывать на улицу через окно горшки с цветами, а хозяин Глузкина — рыжий и задыхающийся от жира закройщик — выскочил на балкон в одних исподниках и хрипло закричал:

— Ратуйте, работают бандиты!

Мы видели, как Глузкин, обезумев, выбросил на улицу швейную машину Зингер, как с балкона третьего этажа начали стрелять из пугача и как два милиционера бесстрашно, с наганами в руках бросились на штурм парадной лестницы. Мы слышали, как дикий хохот несся из парадного, где милиционеры перерезали веревку, как визжала от колик толпа и как, наконец, закройщик орал на Глузкина на всю Дальницкую:

— Зараза! Чтоб завтра же ты выбирался от меня со всем своим барахлом! Чтоб ты повесился на той веревке, поганец!

— Слава богу, — сказал с обычным спокойствием Андрюша Роговер, — что обошлось без человеческих жертв и без больших убытков.

— Слава богу, — ответил я.

1925

КОФЕЙНАЯ ГАВАНЬ

Если вы хотите знать биографию инженера Тенеберга, то вам придется перелистать техническую энциклопедию. Вы узнаете несколько сухих дат и фактов, пахнущих типографской краской и скучных, как готический шрифт.

Вы узнаете, что корабельный инженер Отто Тенеберг родился на острове Рюгене, учился в Берлине и Гамбурге, построил теплоход «Венгрия» и изобрел новый тип водонепроницаемой двери. В словаре вы не найдете ни слова о том, что Тенеберг пишет книгу об океанских кораблях, как об архитектурных сооружениях, что он первый потребовал сохранить в нетронутом виде старые уголки гаваней, создав из них морские музеи, что он играет на рояле и знает наизусть многие стихи современных поэтов.

Я приведу здесь некоторые места из доклада Тенеберга, нисколько не опасаясь получить упрек в отсутствии литературного вкуса. Доклад был прочитан осенью 1924 года в Гамбурге. В нем сухо и точно говорилось о новых механизмах, установленных на океанском пароходе «Африка».

— За капитанским мостиком находится навигационная рубка. В ней расположены магнитный и жиро-

скопические компасы, лаг и доска с чертежом водонепроницаемых переборок и дверей. Здесь же находятся рычаги. Каждый из них соединен электрической проводкой с водонепроницаемыми дверями. Легкий поворот рычага — и дверь захлопывается с быстротой и силой, достаточной, чтобы преодолеть давление воды. Двери устроены таким образом, что ни одна капля воды не может через них просочиться.

Позади рулевой будки расположена станция пожарной сигнализации. В ней находится сигнальный прибор — ящик со стеклянной стеной. В ящик проведены концы двадцати пяти трубок, идущих из таких помещений парохода, где нет людей, — из грузовых трюмов, провизионных камер, ламповой и так далее. Электрический вентилятор все время высасывает из этого ящика воздух, создавая разрежение и высасывая тем самым воздух из трубок. Если в каком-нибудь помещении, соединенном с такой трубкой, случится пожар, то через несколько секунд дым уже будет замечен в сигнальном ящике. Тогда с капитанского мостика по трубкам пускается пар под давлением в сто кило в паровые огнетушители, расположенные в нежилых помещениях. Пар моментально наполняет загоревшееся отделение и убивает огонь.

В жилых помещениях применен другой сигнальный прибор, состоящий из сети очень тонких медных трубок, проведенных во все каюты. Сильное повышение температуры в какой-либо каюте заставляет воздух в трубке расширяться. Давление воздуха передается очень чувствительной диафрагме, а от нее — электрическому прибору, указывающему место повышения температуры.

В этом месте доклада Тенебергу подали записку. Он прочел ее и пожал плечами. Кто-то спрашивал:

«Как быть, если в помещении за водонепроницаемыми дверями или в помещениях, куда будет пущен пар, окажутся люди?»

Тенеберг ответил:

— Надо предварительно удостовериться, что там нет людей.

Ответ показался ему самому глупым. Тенеберг сознавал, что это бездарное решение вопроса. Он скомкал конец доклада и ушел.

Дым и пар из пароходных котлов стлались над Гамбургом. «Африка» готовилась к отплытию. Пароход казался расплавленным от множества огней. Он растворялся и мерцал в темноте прохладной ночи. То была «Африка», из кают которой еще не выветрился воздух плаваний, «Африка», попавшая, как редкая птица, из желтизны и синевы в сырую и неприветливую зиму.

Тенеберг долго смотрел на пароход, потом взял такси и поехал домой.

В журнале «Искусство» некто Лео Капп напечатал очерк о старой гавани — как раз о том уголке ее, который был сохранен по настоянию Тенеберга в неприкосновенном виде. Эпиграфом к очерку Капп поставил выдержку из постановления магистрата:

«Территорию Кофейной гавани, ограниченную на севере старыми сваями, со всеми постройками объявить неприкосновенной. Дома, окружающие гавань, не разрешается переделывать или тем или иным способом изменять их внешний вид. Вход каких бы то ни было судов в Кофейную гавань не допускается. В гавани будут стоять на мертвых якорях лишь старинные суда, дающие понятие об истории флота. Впредь до назначения особой комиссии для устройства из Кофейной гавани морского музея хранителем ее назначается отставной капитан парусного флота Эрнест Тенеберг».

Эрнест Тенеберг был дядей Отто Тенеберга.

Очерк Каппа назывался «Трава и соль».

Вот он:

«Надпись «Разрешается ловить рыбу» опрокидывает все представления о нашем индустриальном веке. Я долго рассматривал ее — синюю на белом фоне, — а позади гамбургский порт подымал к небу тяжелый

занавес дыма и пара. Как стрекотание кузнечиков, долетал сюда с верфей Блома и Фосса грохот пневматических молотков.

Я невольно заглянул в черную воду и увидел стаю длинных, как кухонные ножи, серебряных рыб. Они объедали мох с кузова старого парусника, они бродили около якорных цепей и мирно паслись в неподвижной гавани, поблескивая оловянными спинками. Пыльные иллюминаторы были тусклы, как глаза слепых, а бугшприты печально подымались к небу, по которому они никогда не будут чертить свои замысловатые пути. Сухие канаты были белы, как волосы старух.

Я знал, что каждое судно заслуживает описания — не только как архитектурное сооружение (это уже сделал Отто Тенеберг в своей замечательной книге, на днях выходящей в свет), но как живое некогда существо.

Меня интересовала биография этих кораблей. Кто мог знать ее лучше, чем хранитель этих величественных реликвий, капитан Эрнест с «Альбиона». Я спросил сторожа, где его найти. Сторож показал мне дом, превратившийся от старости в одно целое с набережной, воздухом и водой. Он был так же темен, как вода в гавани, так же чист, как воздух, и так же мшист, как набережная. Над дверью висела вывеска:

«БЕРЕГОВОЙ ПРИЮТ»

Я вошел в эту кофейную или портерную, — не все ли равно, — в эту сухую комнату из светлого ясеня, согретую тепловатыми кафелями голландской печи. Ветер не проникал сквозь дубовые двери и не дул по полу, потому что порог был высотой в четверть метра, как на хорошем корабле. Легкий запах табака и старости наполнял комнату.

В ней сидело несколько стариков в синих потертых куртках и тяжелых ботинках. Старый морской мир встретил меня внимательными взглядами и молчаливыми рукопожатиями. Я опустился на стул, и мои перчатки показались мне непристойными в этом суровом и добродушном месте. Мое появление было встре-

чено, как появление женщины в кочегарке. Поэтому я спросил довольно робко:

— Могу ли я видеть капитана Тенеберга?

— Да, я — Тенеберг с «Альбиона», — сказал один из стариков, так похожий на всех остальных, что я не могу описать вам его примет. Кажется, он был выше всех, и у него был слегка раздраженный голос.

Я назвал себя, цель своего посещения и упомянул о знаменитом его племяннике Отто Тенеберге. Ответ старика смутил меня. Он, глядя исподлобья, сердито проворчал:

— Отто свернет себе голову со своими океанскими пароходами.

Старики сочувственно закивали.

— Они, — старик грозно посмотрел за окно, — они думали, что их пароходы безгрешны, как боги, и шутя будут переходить океан под музыку и телефонные разговоры. Но океан им показал, что не любит этих легкомысленных затей. Помните, как погиб «Титаник»?

— Да, как погиб «Титаник», — закивали старики. — Это было хорошее предупреждение!

— Что думает Отто? — спросил старик самого себя и тут же ответил: — Отто думает, что его механизмы могут заменить человека. Отто думает, что какой-то там звоночек начнет вежливо тирлиликать в каюте капитана и скажет ему: «Будьте добры, господин капитан, распорядитесь взять на два румба на норд, потому что, видите ли, пароход идет на ледяную гору». И этот бездельник капитан, потягиваясь, как кошка, скажет по телефону на мостик: «Взять два румба на норд». А мы? Разве звонки предупреждали нас об опасностях? Глаза, уши, обоняние, температура воды! Капитан Нокс, норвежец, слышал запах айсбергов за полмили.

— Разве у айсбергов есть запах? — спросил я в полной растерянности.

— Такой же, как у подводных рифов, — ответил старый капитан, удивленно подняв брови.

Я решил больше не задавать вопросов.

— Я встретил Отто на днях, — продолжал старик, — и сказал ему: «Отто, ты идешь против моря, и ты

сломаешь себе шею. Когда-нибудь море с тобой расквитается». Посудите сами, парусные корабли никогда не возили бездельников. Парусное плаванье не прогулка. Мы не знали малодушных пассажиров. Они брали билет в Гавр, и за собственные деньги в пятидесяти случаях из ста им совали смерть под самый нос. Океан ревел на них и топал ногами, как бешеный. А на кого работает Отто? На чарльстон, на фабрикантов с гнилыми зубами, на стада баранов-туристов, на людей в пижамах. Они думают, что штиль на океане стоит только потому, что они заплатили за билет пятьсот долларов, и океан из почтительности не смеет их беспокоить. Моряки превращаются в холуев. Отто, конечно, стыдно, и он придумал эту затею — сохранять старые гавани, — самое умное, что он вообще мог придумать.

«Что с того, — сказал я Отто, — что ты пишешь книжку, где расхваливаешь красоту парусных кораблей! Все это — слова и капризы. Ты не знаешь назначения половины снастей, ты не знаешь, почему на клиперах возили чай, а в трамбаках грязную соль. Ты не знаешь, что корабль в том виде, в каком ты его воспеваешь, создавался веками». Тысячи голов — и каких голов! — думали над каждой доской и заклепкой, и вы посмотрите, вот, например, «Сириус», — посмотрите за окно и скажите, сколько весит этот корабль. На взгляд — кило, не больше! Он ничего не весит, он легок, как девушка, а между тем он подымал шесть тысяч тонн груза, молодой человек! Я спрашиваю вас: похожи ли на настоящие корабли эти беременные киты «Африка» и «Левиафан»? Можете об этом написать. Отто не обидится. Приходите утром, я проведу вас по кораблям.

Я ушел с одним желанием — пойти сейчас же в магистратуру и подать просьбу: я хочу просить, чтобы мне разрешили занять каюту на одном из этих кораблей. Я буду его сторожить и напишу его биографию. Я мечтаю о книге под названием: «Биографии великих кораблей».

Я не могу забыть ночного ветра, дувшего мне в лицо, когда я уходил из «Берегового приюта», и шума волн, звеневших причальными кольцами. Я не роман-

тик, но материал, как бы спрессованный в каждой частице этих кораблей, меня подавляет. Рассказы, повести, каких не выдумать жалкому человеческому воображению, ждут меня, качаясь на мертвых якорях в Кофейной гавани.

Лео Капп».

Компания «Нордзее» — владелец парохода «Африка» — выпустила рекламную кинокартину. Берем наугад несколько кадров.

Кадр № 80. Седой помощник капитана в выутюженных брюках стоит у трапа и проверяет билеты. Билет протягивает маленькая девочка с плюшевым медвежонком. Помощник приятно улыбается. На заднем плане умиленное лицо матери, закутанной в меха.

Кадр № 96. Громадный спасательный круг с надписью «Африка». На нем лежит чудовищный толстяк. Волны плещут около круга, кроткие, как голуби. Толстяк снимает шляпу и раскланивается. Во рту у него золотые зубы. Это «Дядя Сэм» — борец из Чикаго.

Кадр № 99. Действие водонепроницаемых дверей инженера Тенеберга. Капитан нажимает пальцем рукоятку. Виден край крахмальной манжеты и запонки — маленький якорь на перламутровом сердце. Затемнение. Затем — каскад воды. Воду внезапно прорезает стальная полоса двери. Дверь режет струю и вжимается в железную стену, защемив громадного краба. Половину краба, будто разрезанную бритвой, показывают крупным планом. Краб еще шевелит клешней.

Кадр № 100. Женский палец проводит по месту соединения двери со стеной и прижимается к промокательной бумаге. На бумаге нет даже намека на пятно. Дверь не пропустила ни капли воды.

Кадр № 101. Инженер Тенеберг проходит под кормой гигантского парохода, стоящего в доке. Он — в сером. Серые его глаза внимательно и недовольно останавливаются на операторе. Тенеберг подносит руку к шляпе и отходит в сторону. У него легкая походка, худое лицо и седые виски.

Кадр № 110. Кочегары у котлов. Веерами гудит горящая нефть. Кочегары смеются — служить у компании

«Нордзее» весело и выгодно. Очевидно, в кочегарку долетают звуки чарльстона с верхних палуб.

Кадр № 120. Кран с горячей водой. Из ванны идет пар. Видны ноги неизвестной купающейся леди. Надпись: «Каюта с ванной и будуаром стоит 500 долларов».

Кадр № 128. Пассажиры четвертого класса. Едят хлеб с колбасой и пьют кофе. Лица довольные и доброжелательные. Жуют медленно, вызывая аппетит у зрителей. Надпись: «Надежда на американские быстрые заработки».

Кадр № 133. «Африка» отходит из Гамбурга. Будто тысячи чаек поднялись над палубой — уезжающие машут платками. Огромный якорь, как перерезанный краб, ползет вверх на цепи. С него льется вода и падает жидкая глина. Надпись: «Через океан в пять дней».

Радио с парохода «Африка»: «В ночь на 20 сентября в 120 милях к северо-востоку от Ньюфаундленда вследствие порчи сигнальных приборов и густого тумана пароход «Африка» компании «Нордзее» наскочил на айсберг и получил пробоину в левом борту у форпика, на фунт ниже ватерлинии. Вода начала заливать ламповую каюту. Немедленно были закрыты водонепроницаемые двери системы инженера Тенеберга, подведен пластырь и выкачана вода. Погиб матрос Ганс Крафт. Пассажиры спали и лишь утром узнали о случившемся.

Пароход продолжает путь».

Выписка из судового журнала: «Обстоятельства смерти матроса Ганса Крафта, происшедшей по воле божьей и в силу опасностей, связанных с морской службой, таковы: Ганс Крафт находился в ламповой каюте, когда пароход наскочил на айсберг и получил пробоину. Крафт, стоя по пояс в воде, дал аварийный звонок на капитанский мостик, указавший номер затапливаемого помещения. Вахтенный путем поворота соответствующей рукоятки немедленно захлопнул водонепроницаемую дверь, не думая о том, что в ламповой каюте могут быть люди. Крафт не успел выбраться и остался за дверью. После откачки воды и заделки пробоины труп его был вынесен из каюты и, по существующим обычаям, предан океану».

Товарищ Ганса Крафта, матрос Штейн, сидел всю ночь, сочиняя письмо матери Крафта. Он подробно описал, как все произошло. Рассказ его совпадал с выпиской из судового журнала, за исключением одной детали.

«Ганс хотел выскочить из ламповой каюты, — писал Штейн, — и схватился рукой за косяк двери. В эту минуту дверь захлопнулась и отрезала ему руку. Кисть руки упала на пол в воду, а Ганс остался за стеной. Руку мы подобрали, я снял с пальца серебряное колечко, которое посылаю. Об этом случае нам было приказано молчать, чтобы не портить настроения у господ из первого и второго классов. Похоронили его ночью. Компания должна платить вам пенсию, потому что Ганс погиб на посту и спас пароход. А двери оказались вправду водонепроницаемыми: они не пропустили ни капли воды, если не считать нескольких капель крови. Насчет пенсии посоветуйтесь с капитаном Эрнестом с «Альбиона» — вы живете рядом. Между прочим, это его племянничек изобрел дверь, которой прихлопнуло Ганса».

Штейн забыл написать, что матросы приняли сначала в темноте отрезанную кисть Ганса за краба и что капель крови было достаточно, чтобы оставить на промокательной бумаге большое пятно.

Капитан Эрнест с «Альбиона» торжествовал. Его предсказания сбылись.

Он побрился, наваксил ботинки и пошел к племяннику Отто Тенебергу. Он шел как победитель и разучивал вполголоса обличительную речь. Слепящий свет автомобилей с изумлением останавливался на лице капитана. Старик сплевывал на тротуар у самых ног полицейских: плевать ему на современный Гамбург! Презрение это было настолько продуманным, что старик не боялся штрафа.

Идти было далеко. Шум улиц иссякал, и, наконец, перед стариком черной завесой зелени выросли кварталы, населенные учеными и инженерами. Тишина и мягкий свет, лившийся из окон, говорили о жизни

устойчивой и разумной. В таких кварталах дети очень румяны, женщины не блещут красотой, но умны и жизнерадостны, а мужчины чрезвычайно вежливы, хотя и с легким холодком превосходства.

Осень хрустела под тяжелыми ботинками. Старик шел через сад по ковру каштановых листьев.

Отто был дома. Он сидел у стола и чертил на клочке бумаги. Окно было открыто, и туман проникал в ярко освещенную комнату. Отто поднял глаза, бесцветные от усталости, и встал.

— Отто! — сказал старик торжественно и поднял к потолку толстую палку.— Я пришел сказать тебе, что ты дурак! Отто! — Он потряс палкой, как бы давая сигнал небесному грому поразить непокорного племянника. — Наконец-то море с тобой расквиталось. Мы, старые моряки, умирали, наглотавшись соленой воды, а Ганса Крафта прищемила твоя паршивая мышеловка. Ты выдумал механизм и был горд. Тебя даже показывали в кино. Ты стал знаменитостью. Ты убил человека, Отто! Твоя дверь придумана плохо, — она не пропускает воду, но пропускает человеческую кровь. Ты хочешь, чтобы настоящих людей, нас, знавших риск и находчивость, сменили идиоты с тряпками вместо мускулов и с патефоном в голове? Ты думаешь, что ты строишь пароходы? — Старик стукнул палкой об пол. — Ты строишь гостиницы для бездельников, игорные дома и тюрьмы и называешь их пароходами. Ты унизил назначение корабля. Мы знали, что корабли открывали новые земли и перевозили отважных людей и ценные грузы, но у нас не было и мысли, что корабль может сделаться удобным место для обжорства и птичьей болтовни. Ты развратил моряков. Капитан «Африки» приказал команде не болтать о том, что у Крафта отрезало руку, чтобы не портить пищеварение пассажирам. Если бы мой матрос попал в беду, я, чтобы спасти его, заставил бы этих шалопаев работать до кровавой испарины. Плевал я на их пищеварение. Таких капитанов, как этот твой, надо топить, как щенят. Все!

Отто молчал. Молчание заливало комнату водой, хлынувшей через пробоину. Старик осязал молчание: вот оно стеснило грудь, дошло до головы, поднялось

к потолку. Кровь пела в ушах, как назойливый комар. Вокруг ламп вспыхнули тусклые радуги. Много минут спустя старик, наконец, услышал голос, говоривший будто сквозь вату:

— Моя дверь придумана плохо. А теперь — иди. Я отвечу тебе через несколько дней.

Старик вышел. На улице пленка тишины оглушительно лопнула. В уши ударило кваканье автомобилей и визг буксирных катеров.

С каждым днем Эрнест с «Альбиона» волновался все больше. Ответа от Отто все не было.

Степень волнения капитана лучше всего изучили мальчишки, удившие рыбу в Кофейной гавани. Сначала старик прогнал их с пустынных палуб, ссылаясь на то, что они втихомолку курят и могут устроить пожар, потом загнал в самый дальний угол гавани, где под водой желтели только банки от консервов, а рыбы не было со времен Тридцатилетней войны. Наконец он потребовал записок от мамаш о том, что мальчишки ловят рыбу с согласия родителей и не в ущерб школьным занятиям.

Сначала мальчишками овладела тревога, затем недоумение, но на третий день они возмутились. За разбитой баркой был созван митинг. Митинг решил начать кровавую месть и в первую очередь утопить кошку капитана — Генриетту.

Пришел день мести. Принято говорить, что осенью выдаются редкие дни. Но этот день был действительно редкий. Синий свет стоял между небом и песчаным дном гавани неподвижной стеной. Он падал сверху и поднимался, слегка зеленоватый от морской воды. Солнце, ударяя лучом в разноцветные ставни и в стекла домов, раскидывало по этой синеве золотые и красные пятна. Если добавить, что стоял легкий туман и было очень тепло, то вы можете себе составить легкое представление об этом дне, когда рыба должна была клевать особенно жадно. К тому же море пахло в этот день особенно сильно — не рыбой и тиной, а персиками и льдом.

Четверо самых смелых мальчишек были посланы поймать Генриетту. Они пробрались в «Береговой приют» с черного хода и услышали тихое бормотанье. Старик читал газету. Самый глазастый из мальчишек заглянул в щелку и увидел на газетном листе заметку, жирно обведенную красным карандашом. Генриетта спала на коленях у капитана.

«Вчера, — читал старик, — в Альтоне было произведено испытание нового прибора, сконструированного инженером Тенебергом. Как известно, на пароходе «Африка» произошел несчастный случай: матрос утонул в одном из помещений парохода, застигнутый водой, хлынувшей через пробоину. Водонепроницаемая дверь системы Тенеберга была автоматически заперта прежде, чем матрос успел оставить затопляемое помещение. Этот прискорбный случай привел к тому, что инженер Тенеберг сделал новое исключительное открытие. Он изобрел прибор, не позволяющий водонепроницаемым дверям захлопываться, пока в помещении находится человек. Прибор очень сложен. Он построен на том принципе, что человеческий организм излучает электрическую энергию. Прибор улавливает эти электрические токи и парализует действие насосов, захлопывающих двери. Как только человек оставляет помещение, прибор перестает действовать, и двери стремительно закрываются.

Инженер Тенеберг был помещен в отсек старого корабля, снабженный дверями его системы и новым прибором. Он открыл клапан, заранее сделанный в борту. Хлынула вода. Попытка закрыть дверь с капитанского мостика при помощи электрического рычага не привела ни к чему, пока инженер Тенеберг не выбрался из отсека. Как только он вышел, дверь тотчас захлопнулась. Опыт был повторен десять раз и дал прекрасные результаты.

Инженер Тенеберг потребовал, чтобы компания «Нордзее» снабдила этим прибором все водонепроницаемые двери его системы. Компания отказалась, ссылаясь на чрезвычайную дороговизну приборов. В связи с этим инженер Тенеберг заявил вчера пра-

влению компании, что он оставляет работу. По слухам, инженер Тенеберг намерен уехать в одну из восточных стран, где, по его мнению, он сможет применять свой опыт более целесообразно, чем в Германии».

Слова «одну из восточных стран» были набраны жирным шрифтом, и намек газеты не оставлял никаких сомнений: инженер Тенеберг едет к большевикам!

Через всю заметку крупным почерком было написано: «Вот мой ответ. Отто».

Старик отложил газету и пробормотал:

— Он перехитрил меня, этот бездельник. Да-а, кровь Тенебергов всегда брала свое. Сам, слышишь ли, Генриетта, он сам десять раз подвергал себя смертельному риску, он наплевал на «Нордзее» и едет к большевикам.

Один из мальчишек — самый маленький — тихо заплакал. У него затекла нога, а пошевелиться он боялся.

— Кто там? — крикнул старик.

Удирать было поздно. Старший мальчик вышел из-за двери и сказал срывающимся голосом:

— Дядя Эрнест, мы пришли просить разрешения поудить рыбу.

— Кто смеет запрещать удить в Кофейной гавани, где я начальник! — закричал старик, смахнув с глаз слезинку.—Франц? Пришлите этого Франца ко мне, я ему намылю рожу! Марш на корабли, только смотрите, чтоб не курить и не удить с якорных цепей! Живо!

Мальчишки бросились в гавань. Голубой день зазвенел, как стекло, от их свиста, криков и песен, и серебряными комками, разбрызгивая солнце, трепетали над палубами кораблей пойманные рыбы.

Москва, 1926

ЦЕННЫЙ ГРУЗ

Штерн вычитал в какой-то книге, что чудаки украшают жизнь. Однако чудак, появившийся у него на пароходе, никому не понравился. Он был в клетчатых чрезмерно широких брюках желтого цвета. Желтизна брюк явно раздражала Штерна, может быть потому, что все вокруг было серого и мягкого цвета — не только воды Финского залива, но и борта его парохода «Борей». «Борей» был выкрашен в цвет мокрого полотна. Лишь там, где ободралась краска, краснел сурик. По мнению чудака, это было очень живописно; по мнению Штерна — пароход надо было давным-давно покрасить.

Чудак ходил по палубе среди наваленных ящиков походкой страуса. Он был похож на голенастое тропическое животное пестрой раскраски. Пиджак у него был синий, кепка зеленая, галстук цвета осенних листьев. Он привез с собой чемодан и скрипку в футляре.

Чудак сопровождал в Англию груз игрушек. Можно понять, когда в трюмы наваливают лес, кожу или зерно в мешках, но брать игрушки было обидно. Старые капитаны с соседних пароходов только пожимали плечами.

Игрушки спускали в трюм, по требованию чудака, с такими предосторожностями, как гремучую ртуть.

Помощник Чох — человек суеверный и недовольный земным существованием — выразился в том смысле, что эти «чертовы ляльки не доведут до добра». Штерн потребовал объяснений. Чох пробурчал, что груз легкий, его невозможно закрепить в трюме и в случае шторма — сами знаете — ящики навалятся на один борт, «Борей» даст крен и... Чох пошел на берег за папиросами.

— Не ваше дело рассуждать! — сказал ему в спину Штерн. — Прикажут, так вы будете грузить у меня коровьи хвосты! Какая разница?!

Раздражение на палубе не утихало. Утром, когда уходили из порта, какой-то матрос крикнул в рупор со «Страны Советов»:

— Благополучно ли взяли груз тещиных языков?

В море висел туман. Штерн почувствовал облегчение — будто туман мог скрыть его легкомысленный груз. Штерн представлял, как любопытные и вежливые пароходы будут осведомляться в море:

— Куда и с каким грузом вы следуете?

— С игрушками в Бельфаст, — ответит вахтенный.

После этого на встречных пароходах начнется необычайное оживление. Их борта запестреют хохочущими рожами матросов. Град насмешек обрушится на команду «Борея». Матросы будут пищать «уйди-уйди», а капитаны орать с мостиков:

— Счастливого плавания с сосками!

Чох прозвал чудака «роман с контрабасом». Действительно, он не внушал уважения. Матросы, обычно равнодушные к пассажирам и грузу, были уязвлены. Они подходили к чудаку и спрашивали, показывая на его красные остроносые туфли и явно издеваясь:

— Сколько дали за эти колеса?

Более нахальные ставили вопрос иначе:

— Почем копыта?

Чудак не обижался. Он охотно отвечал, что заплатил в ГУМе двадцать рублей.

Он был настроен восторженно. К вечеру в морской мгле происходили любопытные вещи. Сквозь туман проглядывали облака, похожие на гигантские шары из розовой ваты, подмигивали далекие маяки, и берега Дании, казалось, пахли свежей селедкой и сливками. Чудак спускался в кают-компанию и говорил Штерну:

— Я очень доволен.

Штерн высоко поднимал брови: поводов для удовольствия не было. Входили в Немецкое море, и барометр падал с упорством часовой гири.

— Будет шторм, — отвечал Штерн и уходил к себе в каюту.

На пятый день плавания за ужином в кают-компании чудак постучал ножом по стакану с нарзаном и попросил слова. Над морем шел тихий и серый дождь. В каюте пылали лампы. Лампы и чудак отражались сразу в четырех зеркалах. Штерн смотрел на чудака в зеркало и видел его профиль с кривым пенсне на мягком и добром носу.

Штерну было неловко. Как капитан он мог бы остановить чудака и указать ему, что суровые морские традиции не требуют речей. Можно было напомнить, что моряки считают многословие вещью постыдной (в том случае, конечно, если человек не выпил лишнего). Но Штерн пренебрег недовольными взглядами помощников и безнадежно махнул рукой:

— Пусть говорит.

Чудак сказал следующее:

— Происходит досадное недоразумение. Груз, который я сопровождаю, доставил вам много хлопот. Причина в том, что вы плохо знакомы с игрушечным делом. Вы заражены профессиональной гордостью. Конечно, гораздо почетнее, чем возить игрушки, участвовать в экспедиции на Северный полюс. Я не думал, что моряки так падки на эффектные занятия и так необдуманно враждебны к вещам, каких они попросту не знают.

Эти слова прозвучали объявлением войны. Объявив войну, чудак перешел к сути дела. Он доказывал, что искусство делать игрушки так же почтенно, как и искусство кораблевождения. Он огорошил Чоха сооб-

щением, что некий немецкий игрушечный мастер, делавший оловянных солдатиков, стал миллионером. Он утверждал, что советские игрушки лучшие в мире, а лучшие из лучших «Борей» сейчас везет в Бельфаст на выставку. Он уязвил Штерна, заметив вскользь, что в каюте капитана он видел маленький парусный корабль, выкрашенный в канареечный цвет. Игрушки — ценный груз. Ломать их имеют право только дети, но никак не портовые грузчики и команда. Он вызывающе сообщил, что страхи Чоха — вздор. Скажите любому моряку, что корабль может перевернуться от груза игрушек, и он засмеется вам в лицо.

Чох протестовал. Он вспомнил случай, когда в Ленинградском порту грузчик был задавлен кипой ваты. Он отпарировал удар и спросил, не засмеется ли чудаку в лицо первый встречный, которому он расскажет, что человека задавило ватой. Разгорелся спор. Штерн прекратил его, спросив с плохо скрытым любопытством:

— А какие у вас игрушки?

— Двух сортов, — ответил чудак.

Он приволок в кают-компанию чемодан и вывалил на стол румяных матрешек, парусные корабли, зайцев и медвежат.

— Второй сорт, — объяснил чудак. — На таможне английские чиновники вскроют груз большевистских игрушек и приятно поразятся: сотни томных кукол с соболиными бровями будут посылать заученные улыбки. Эти улыбки скроют наш подлинный груз — вот он: это первый сорт.

Чудак встряхнул чемодан, и на стол посыпались комсомолки и пионеры из папье-маше, Буденный на сером коне, красноармейцы с загорелыми лицами, кузнецы, кующие плуги, полисмены с идиотскими рожами, ткачихи у прялок, шахтеры, скрюченные в забоях, десятки детей на первомайских автомобилях и наконец смехотворный король с белыми глазами. При малейшем прикосновении он издавал хриплый лай.

Игрушки пошли по рукам. Младший помощник посадил полисмена на сахарницу, щелкнул по носу и дал ему в рот папиросу. Полисмен яростно вертел

злым бисерным глазом. Штерн заспорил с Чохом о парусных кораблях. Чох уверял, что это модели чайных клиперов. Штерн сердился и доказывал, что это бриги. Вытащили книги с описанием старинных кораблей. Радист сел за пианино, и кукла-пионер под опытной рукой механика начала отплясывать чечетку.

В дверь заглядывали ухмыляющиеся матросы. Боцман пришел доложить относительно скорости хода, взял со стола свистульку и показал на ней все двенадцать соловьиных колен.

Волнение перекинулось в кубрик. Рулевой Ширяев хвастал, что может вырезать из одного куска коры модель миноносца вместе с мачтами, трубами и боевой рубкой. Ему не верили. Ширяев клялся и требовал кусок коры, но на «Борее» коры не было. Имена прославленных корабельных модельщиков из Гамбурга, Одессы и Лондона склонялись тысячи раз.

Чох остался тверд в своих суевериях. Значение игрушек он видел в том, что они — особенно плюшевые медвежата — предохраняют от роковых случайностей.

Штерн рассказал, как дети рабочих в Гавре играют в глухих, занесенных мусором бассейнах гавани, откуда их не гоняет портовая стража. Игрушки их просты. Доски заменяют пароходы, а ржавые гвозди — адмиралтейские якоря. Играют они очень тихо. Их радость сродни печали, настолько она боязлива.

Чудак перебил Штерна и сказал, что в игрушки вкладывается много таланта и теплоты, должно быть, потому, что игрушечные мастера прожили незавидное детство. Ребенок, не знающий игрушек, растет в сухом окружении взрослых. Он даже не может разговаривать с паровозами и зайцами, он не может проделать самую заманчивую вещь — отвертеть голову полисмену и заглянуть внутрь, в полый гипсовый шарик.

— Я понимаю, как обидно и оскорбительно возить кукол в кружевных панталончиках и резиновых негров, предназначенных для комнатной расправы, — сказал чудак. — Вы видите, что наш груз иной. Мы везем игрушки для тех кварталов, где дети играют банками от консервов и высохшими селедочными хвостами. Трудно догадаться, сколько радости и слез

лежит в ненавистных вам ящиках в трюмах «Борея». А вы сожалеете о грузе соленых кишок.

Шум затих только к полуночи, когда четыре склянки прозвучали особенно мелодично в безветрии и тьме.

Штерн поднялся на мостик. «Борей» огибал северные берега Англии. Штерн взглянул на барометр и выругался: с океана шел шторм. Звезды растерянно мигали и заволакивались длинным дымом тумана.

В каюте чудака нежно запела скрипка. Штерн прислушался. Пение скрипки на ночном корабле было так же необыкновенно, как и груз, лежавший в трюмах. Штерн поднес ко рту свисток, помедлил и свистнул. Прибежал вахтенный.

— Передай Чоху, — приказал Штерн, — пусть проверит, как закреплен груз в трюмах. Надвигается шторм.

— Есть! — прокричал вахтенный и побежал, насвистывая, с трапа.

Когда Штерн спускался к себе, в трюмах сияли лампочки, забранные толстыми сетками, и Чох кричал:

— Аккуратнее, это вам не мыло!

Провозились до утра, но груз был закреплен талантливо, как умел крепить только Чох, когда бывал в хорошем настроении.

Чудак до поздней ночи играл на скрипке.

Мрак ударялся о пароходные фонари и бесшумно стекал за корму. Барометр падал скачками.

Чудак уснул с раскрытой на груди книгой. То был «Давид Копперфильд» Диккенса.

Чудаку приснилась старая Англия — желтые почтовые кареты, бледные девушки, клетчатые фраки стряпчих и стаканы с грогом, выпитым натощак...

В шесть часов утра сон неожиданно прервался. Книга свалилась на пол, и «Борей» покатился в пропасть.

Чудак проснулся и схватил пенсне. Он хотел видеть, что происходит, но ничего не увидел, кроме желтоватой тьмы и плаща, висевшего перпендикулярно

к стене. Плащ хлопнул его по лицу. Из-под койки медленно выползло черное чудовище и пошло, шурша, бродить по каюте — то был старый кожаный чемодан.

Чудаку показалось, что «Борей» запрятан в исполинскую бутылку и в нее кто-то дует изо всех сил.

Чудак не сразу понял, что начался шторм. Вначале казалось, что «Борей» вертится, как щепка, под исполинским водопадом. Гвозди трещали в пересохшем дереве, железо взвизгивало, но хуже всего был ровный и внятный вой снаружи — там пели под ураганом снасти.

Чудак быстро и кое-как оделся. В кают-компании он застал рассвет. Обстановка напоминала зимний день в лазарете: яичным пламенем горели забытые лампочки, а около окон, как лужи, расплывался неприятный свет.

Чудак открыл дверь и шагнул на палубу. Утро, зеленое и мутное, ревело и мчалось за бортом. Океан шел стеной. Плач снастей леденил сердце. Чудак ползком пробирался на мостик, но там было еще угрюмее. Оттуда было видно, как «Борей» кипит картофелиной в холодном котле.

Плащи Штерна и младшего помощника промокли насквозь. Штерн тускло улыбнулся чудаку и ткнул пальцем вниз. Чудак похолодел: жест означал, что «Борей» с минуты на минуту может пойти ко дну. Потом он понял, что его вежливо просят убраться в каюту. Он упрямо мотнул головой и остался на мостике.

Штерн больше не обращал на него внимания. Он смотрел вперед и часто дергал ручку машинного телеграфа. Горы воды, наматывая перед собой гигантские валы из пены, мчались на пароход. Одну минуту чудак был уверен, что «Борей» погибает. Пароход с треском ушел в воду, и несколько минут над взмыленным океаном торчали только его красная труба и мостик со Штерном. Потом «Борей» нехотя вылез из волн, и вода лилась с палубы, как из дырявых ведер. По неподвижной спине Штерна чудак понял, что момент был очень опасный.

Отрезвил чудака яростный крик вниз в рупор, показавшийся шепотом. Голос Штерна прохрипел:

— Чох, как в трюмах, как игрушки?

— Пока живем, — ответило эхо из медной трубы.

Штерн притянул чудака за шею и прокричал ему в ухо:

— Мы должны прорваться в Северный пролив!

Чудак закивал в ответ, но подумал, что ни о каком прорыве не может быть разговора. «Борей» дергался, как человек во время самосуда, которого то справа, то слева бьют по лицу.

Чудака поражало одно обстоятельство: пароход не прятал носа от ударов, а лез напролом на самые крутые волны. Это походило на храбрость отчаяния или на простое нахальство.

Штерн растянул губы, как будто они были резиновые, и хрипло закричал:

— Одиннадцать баллов!.. Слышите?.. Да... Ночью... Игрушки довезем... Вниз, вниз...

Растянутые губы означали улыбку.

Чудак сполз вниз. В кают-компании на диване лежал стюард[1]. Он сокрушался, что придется есть всухомятку, так как камбуз не работает. Мысль о возможности еды показалась нелепой. Слова стюарда чудак объяснил помешательством.

В три часа над палубой мрачно загудел гудок. Чудак прижался носом к ледяному окну и увидел ржавый пароход со вставшей на дыбы кормой. На мачте его извивались клочья флага. Пароход нырнул кормой в воду и исчез в дожде. Чудак, хотя и не был моряком, заметил одну странность: у «Борея» флаг был на корме, а у встречного парохода флаг висел на половине мачты. Чудак спросил об этом стюарда.

— Что же тут непонятного? — раздраженно ответил стюард. — Просят помощи.

Даже чудак понимал, что просить помощи по меньшей мере глупо. Встречный пароход захлестало пеной и унесло. Лишь изредка подскакивало на переломе волн его красное днище.

---

[1] Стюард — мужская прислуга на английских судах, обслуживающая столовые, каюты и т. д.

Чудак дрожал. Он потерял веру в прочность «Борея» и во всемогущество Штерна. Радист поймал два призыва о помощи. Океан походил на буйного сумасшедшего.

Шторм крепчал. Приближалась ночь, но мысль о сне даже не приходила в голову. Можно было только курить и ждать. Чего? Чудак прятался от мысли о возможной гибели, но в сумерки «Борей» стремительно лег на борт и понесся вниз. Тысячи тонн воды обрушились на палубу.

На мостике отчаянно засвистели. Побледневший стюард прокричал чудаку:

— Огибаем скалы Рокк! Наверх!

Чудак выскочил и отшатнулся: перед глазами ревела белая смерть. Он не заметил скал. Он видел только мощные гейзеры воды, взлетавшие высоко в небо. Обмирая от тошноты, он прополз на мостик. «Борей» стремительно падал с борта на борт, черпая воду. Он шел параллельно волнам.

— Что?.. Что?.. — крикнул чудак Штерну, но ветер пробкой закупорил рот и флейтой засвистел на зубах.

Штерн даже не посмотрел на него. Он не отрывал глаз от ослепительных белых гейзеров, особенно страшных оттого, что с востока мчалась непроглядная и угрюмая ночь.

Младший помощник вскинул на чудака усталые глаза, схватил за руку и написал пальцем на ладони:

«Огибаем Рокк».

Чудак понял, что наступило самое трудное.

«Борей» боролся из последних сил. Его несло мимо скал. Мутные волны были круты, как стены.

Чудак присел, вцепился в поручни и закрыл глаза. Неистовое желание оглохнуть и ослепнуть наполнило его торопливой тоской. Потом кто-то рванул его за плечи, он мгновенно промок и вскочил: под мостиком прошла, курчавясь, волна, и в ней килем вверх качалась сорванная с палубы шлюпка. «Борей» высоко вскинул нос и ринулся вниз, мимо последней скалы. Волны хлестали в корму. Машина мелко дрожала.

Штерн вытер лицо рукавом и сплюнул. Он тяжело повернулся к чудаку, стиснул его за локоть и повел в

кают-компанию. Он молчал, а чудак не решался спрашивать.

— Ну, счастлив ваш груз, — выговорил, наконец, Штерн. — В такую погоду нельзя огибать Рокк. Все гибнут. Другого выхода не было. Через час мы будем за берегом.

Чудак спросил, зачем понадобилось огибать скалы. Он знал, что во время жестоких штормов пароходы идут против волны и ветра, пока погода не утихнет, и никогда не меняют курса, чтобы не подвергать себя смертельному риску.

— Если бы я вез груз соленых кишок, — прошипел Штерн, — я не менял бы курса. А теперь идите спать!

Чудак покорно пошел в каюту, переоделся и лег. Качка стала мерной и приятной.

Он согрелся и уснул.

Ему приснился город, мохнатый от снега. Снег падал густо и бесшумно, покрывая черепицы домов и мостики пароходов.

Запах приморской зимы был свеж, как весна, — его нельзя было забыть всю жизнь. В сумерках дрожали миллионы огней.

Штерн вышел на палубу в новом кителе с золотыми шевронами. Его чисто выбритое лицо казалось юношеским.

«Борей» торжественно гудел.

Зажгли громадные факелы, и началась выгрузка. От ящиков с игрушками шел запах краски.

Чудак сошел на берег и заблудился в мягких от снега переулках. Он встречал стариков, похожих на героев Жюля Верна. Он с наслаждением вдыхал крепкий дым их трубок.

Город был пропитан запахом старых кораблей. На бульварах румяные и смешливые няни рассказывали детям о «Борее». Он прорвался через шторм, страшный, как кончина мира, и холодный, как ледяной компресс, чтобы привезти им игрушки. Глаза детей синели от восторга и непонятных слез.

Снег и пламя в каминах воскрешали чудесные времена из сказок Андерсена. Чудак увидел на снегу узкие следы Золушки. Снег под ее ступней растаял:

у нее были очень теплые и маленькие ноги. Чудак пошел по следам. Они вели к «Борею».

Золушка стояла на корабле и говорила с Штерном. Штерн дружелюбно улыбался. Она повернулась к чудаку, и он отступил: лицо ее казалось созданным из блеска глаз и радости, на темных волосах белели снежинки, платье цвета морской воды играло разными красками от подымавшихся над городом ракет. Ракеты возвещали начало большого зимнего праздника.

Чудак проснулся. Было тихо. Он вышел на палубу и увидел в немом свете зари Бельфаст — старинный город с непогашенными огнями, закутанный в пуховый туман. Пахло осенней травой. «Борей», посапывая паром, качался и медленно кланялся городу.

1926

МОСКОВСКОЕ ЛЕТО

1

Был объявлен привал. Лыжи воткнули в снег. Солнце отражалось в их широких отгибах, как янтарный плод. Ветер вместе с тонкими облаками пролетал очень низко, над самыми елями. Тогда просеку заносило снегом, и солнце превращалось в сырое пятно.

Архитектор Гофман, прозванный за малый рост «карманным лыжником», оттирал лыжи рукавицей. Он добивался зеркального блеска. От сильного трения дерево согревалось, и блеск его переходил в запах лака и хвои.

Компас лежал на ладони у Лели. Его робкая стрелка долго дрожала. Компас растерялся в мелколесье и в пустошах, засыпанных снегом. Потом белым острием он твердо показал на юг, немного левее солнца. В этом направлении была Медвежья гора. Гофман проверил по карте. Среди выцветшего зеленого пятна, обозначавшего леса, чернела надпись: «Сожженный французами монастырь». Компас вел верно.

За монастырем, над колючим от ельника оврагом на Медвежьей горе, стоял недостроенный дом отдыха

«Пятый день». К нему можно было легко подойти с Брянской дороги, но лыжники шли с севера, из Голицына, сплошным лесом. Дом строил Гофман.

Из пятерых лыжников только один — очеркист Метт — шел с практической целью. Он хотел описать «Пятый день». Остальные шли ради снега и зимних лесов.

О «Пятом дне» Метт знал только из коротких заметок в газетах. Говорили, что известный французский архитектор считал проект Гофмана гениальным. Между аспирантами Коммунистической академии вокруг «Пятого дня» возникли споры. Сообщали, что дом — цилиндрический и почти весь построен из стекла. Гофман на расспросы Метта ответил коротко и не по существу: изругал новые московские дома, обозвал их «американской дрянью» и предложил Метту пойти в «Пятый день» на лыжах.

В вагоне дачного поезда Метт думал о «Пятом дне». Но в лесу он забыл о нем. Он дышал. Как будто весна прошла над снегами. Метт воткнул в наст палки и оглянулся, — снега распространяли чистый, острый запах. Так пахнет ветер, так пахнет лед, тающий во рту, так пахнет юность.

Мощные пласты океанского воздуха легли на подмосковную землю. Спичка в руках Метта, закурившего папиросу, долго не гасла. Пламя ее даже не колебалось от ветра.

Сзади с мерным шорохом надвигался Лузгин.

— Хо-хо! — кричал он, пугая зайцев и наезжая на лыжи Метта. Лузгину хотелось говорить, но Метт ничего не мог разобрать.

Он снял кожаный шлем и услышал, наконец, слова Лузгина, похожие на выкрики.

— ...Шесть часов утра... темно... шел к вокзалу, и передо мной выключали квартал за кварталом.

— Как выключали?

— Выключали фонари. Раз — и все кольцо бульваров проваливается в темноту! Раз — и тухнет вся Тверская от Садовой до Триумфальных ворот! Замечательно!

На кустах лежали маленькие снежные шапки. Леля остановилась, сняла перчатку и осторожно потрогала их холодными пальцами.

— Совсем как белые воробьи!

Муж Лели — репортер Данилов, — безмолвный и близорукий, всю дорогу отставал.

Лузгин считал заячьи следы. Зайцы, спасаясь от лыжников, путали сложные петли.

Низкое солнце светило сквозь замерзшие ветви. На снег, не тронутый ничем, даже ветром, легли прозрачные тени. Надо было пристально вглядываться, чтобы их заметить.

Темнело. Лес широко пошел вниз, к оврагу. Гофман обернулся и крикнул:

— Медвежья гора!

Остановились. За оврагом, как глыба старинного серебра, торжественно подымалась гора, заросшая кустарником.

Леля вскрикнула. Она первая увидела на горе «Пятый день». Над стеной прозрачных деревьев стояла луна. Она казалась розовым облаком, занесенным на головокружительную высоту.

2

Метт подумал, посмотрел, прищурившись, за окно, где звезды и снежные ветки создавали живописную зимнюю ночь, и с силой ударил по клавишам. Окоченевший рояль звучал глухо. Метт ударил второй раз, третий, и рояль запел, наконец, полным голосом:

Красивое имя — высокая честь.
Гренадская волость в Испании есть.

Когда налетал ветер, Метт морщился. Шум ветра проникал внутрь дома и заглушал мелодию. Он свободно входил и уходил через стены. Так бывает в комнатах с жалюзи. Порыв ветра наливает в них свежий воздух до самых краев, как воду в стакан, и табачный дым тянется вверх ровной струей.

Гофман дремал над остывшим стаканом чая. Когда Метт яростно бил по клавишам, он открывал глаза, с изумлением смотрел на Метта и засыпал снова. Леля спала рядом с ним, сидя за столом.

Данилов придвинул к самому носу керосиновую лампу и близоруко писал, перечитывая написанное одним глазом.

«Дом цилиндрический. Изогнутые окна из небьющегося стекла (без рам) занимают все стены. Комнаты полукруглые. Главный зал круглый. Стены очень тонкие и пропускают звук снаружи. В них устроены узкие прорезы, автоматически закрывающиеся планками из полированной сосны. Планки можно ставить под любым углом.

Три этажа соединены широкой винтовой лестницей из белого камня. Лестница идет около стен. Она неожиданно разрезает полы и потолки. Освещения еще нет. Все лампы будут из вольфрамового стекла, не задерживающего ультрафиолетовых лучей. Гофман уверяет, что в доме будет стоять вечное лето, климат Алжира. Зимой отдыхающие смогут загорать, как летом у моря.

Центр дома прорезает от основания до крыши круглая каменная колонна, похожая на мачту. Вообще в доме есть нечто маячное. Гофман вырос на море. В молодости, по его словам, он даже плавал на шхунах, возивших херсонские вишни. В сторожа «Пятого дня» он взял на зиму комсомольца Гришина, демобилизованного из Балтийского флота.

Все же в доме есть что-то мертвое, от крематория. Он еще не обставлен и не совсем окончен.

Дом не огорожен. Он стоит в чаще деревьев, над оврагом. Внизу лес и замерзшая лесная речонка. Называется она очень странно — «Дарьинка».

Данилов написал: «Дарьинка», «Даринка», «Дар»... — и уснул. Звезды пролетели за окнами, царапая их зеленоватым следом.

Метт играл все тише, перебирая клавиши, как струны.

Лузгин пошел вниз в кочегарку за спичками. Ему хотелось курить. Гришина не было — он уехал в Москву. Истопник Никифор сидел у котла и сушил мокрые валенки. Никифор был стар, глаза его слезились.

— Ну, как, отец, привык к этому дому? — спросил Лузгин.

Никифор подумал и заглянул внутрь валенка.

— Дом, конечно, кругловатый. Ветерком его разнообразно обдувает, нет никакого препятствия. Практическая вещь.

Никифор был убежден, что дома начинают разрушаться с углов. К дому он привык. Его занимало другое.

— Вот Гришин намедни,— сказал он, оживляясь,— по зайцу из револьвера стрелял. Сроду этого не видывал, хоть я и сам охотник. Нешто можно из револьвера в зайца?

Лузгин сказал, что можно.

— Дом — одна красота! — вздохнул Никифор, как бы забыв о зайце. — Когда воздвигали этот дом, было приказано ни единого кустика круг его не сломать. Ты погляди — дорогу, и ту провели узкую, чтобы лишний лес не рубить. А ране как было? Лес валили под корень десятинами, реки сушили, зверя истребляли. Зверь какой подался на Мещовск, а какой — на Ржев. Пустели леса. Прошлым разом приезжал Гофман, разговорились. «Мы, говорит, сделаем всю округу заказником, иначе какой людям отдых? Пускай все растет-цветет без помехи».

Лузгин вернулся наверх. Все уже спали. Леля свернулась на диване. Метт и Данилов спали на полу. Гофман торжественно лежал на походной кровати лицом вверх, как труп полководца. Острый его нос бросал гигантскую тень на стену.

Лузгин полюбовался тенью, потушил лампу и лег рядом с Меттом. Сны наплывали отдаленным гулом, — в нем слышались свистки паровозов, шум ветра над оврагами. Вздрогнул и тихо пропел рояль. Лузгин уснул.

Один Никифор бодрствовал в кочегарке, размышляя над высыхающими валенками.

Метт открыл глаза. Он чувствовал теплую свежесть, удивительно ясную голову, — он выспался. За окном валил снег. Метт его не видел. Он замечал только отдельные снежинки, отлетавшие от стекла.

— Прекрасно! — громко сказал Метт и закурил. Папиросой он осветил часы — была половина пятого.

— Что прекрасно? — спросил со своей койки Гофман. Он проснулся раньше Метта.

Метт помолчал.

— Я хочу написать об этом доме; вы будете рыдать от восторга перед самим собой. Такого очерка не удостоился ни один архитектор в мире. Устроим интервью.

— Черт с вами, — пробормотал Гофман. — Спрашивайте.

— Расскажите сами.

Гофман подумал.

— О доме, конечно, будут писать специалисты. Это важно для меня, но не нужно всем прочим. Я полагаю, что лучше всего «Пятый день» может описать только круглый невежда в архитектуре, такой, как, скажем, вы или Данилов. Это будет похоже на мнение рядового читателя о литературной новинке.

— Спасибо, — сказал Метт.

— Города отжили свой век. Если вы, гражданин Метт, думаете, что это неверно, то Энгельс думал иначе. Каждому государственному строю присущи свои формы расселения людей. Социализму города не нужны. Города созданы человеческой ограниченностью, неумением распределять сырье, труд, продукты и культурные ценности. Все это сваливают в кучу и собирают вокруг миллионы людей.

— Слабо! Вы отрицаете коллективное начало.

— Радио, телефон, воздушные рейсы и передача изображений на расстояние позволят отказаться от необходимости собирать миллионы в одно место. Коллективы будут меньше числом — и все.

— Предположим.

— Что такое дом? Для человека это то же, что панцирь для черепахи или раковина для улитки. Он

должен быть устроен так, чтобы облегчить и биологическую и психическую нашу жизнь, дать ей среду для расцвета. Дом должен быть рационален, строго соответствовать своему назначению и радовать глаз. Созерцание прекрасных вещей вызывает подъем творческого настроения. Это — мощный фактор в деле социалистического строительства и создания полноценной личности.

— Это отрицают.

— Кто отрицает? Недоучки, — сердито сказал Гофман. — Кто сказал, что только идиот может не любить Пушкина?

Метт молчал.

— Вы шля-па, а не литератор. Не знаете даже этого! Из того, что я сказал, понятны все особенности «Пятого дня».

— Ни черта не понятно!

— Как не понятно! Я же сказал, что дом должен соответствовать своему назначению. Вы едете отдыхать не в Москву, а в лес. Так? Значит, дом отдыха должен быть неотделим от природы. Отсюда — форма. Нужны спокойные линии. Самая спокойная линия — круг, а не острый угол. Отсюда — закругленные комнаты. Стены пропускают звук, и вы морщились во время игры на рояле. Это сделано сознательно. Шум леса и ветра такой же хозяин внутри дома, как и снаружи. Вместо наружных стен — стекла. Вас будит не хлопанье парадных дверей, а восход солнца.

В стенах прорезы. Надо поставить планки под известным углом, весь дом наполняется воздухом, и вместе с тем в комнатах стоит полный штиль. Крыша разделена перегородками по румбам. На ней можно спать, спрятавшись от любого ветра. Потолки невысокие. Прорези в стенах делают ненужными высокие потолки. Высота комнат должна соответствовать среднему росту людей, иначе комната делается противной, как тощий человек исполинского роста. Хватит?

— Пока хватит.

Метт долго смотрел за окна, надеясь заметить легкий налет синевы, что предвещает приближение утра, но ничего не дождался и уснул.

Как только начало светать, Лузгин разбудил Данилова. Обоим было нужно вернуться утром в Москву. Они вышли на лыжах в Апрелевку, на Брянскую дорогу. Ночь из черной стала синей, потом серой. Заиндевелые верхушки деревьев светились желтым огнем, — за лесом взошло солнце.

От станций, от паровозов, от вагонов валил густой пар. Отчаянно кричали вороны. Махорочные, душные, обветренные поезда шли к Москве, продышавшей, как лесной зверь, темное пятно среди глухих и глубоких снегов. От Москвы тоже валил дым и пар, но московский дым был угрюм и величав. Это был как бы дым истории, революций, дым вечности. Так думал Данилов, склонный к поэтическим метафорам и слегка истеричный.

— Мне гофманский дом не понравился, — сказал он Лузгину в буфете Брянского вокзала, где они пили чай. — В каждой мелочи виден расчет. Нужна ли такая свирепая целесообразность?

— Вы что ж, только что родились? — угрюмо буркнул Лузгин. — Что вы чушь порете.

Данилов был настойчив.

— В каждом доме, — продолжал он, — должен быть некоторый запас бесполезных вещей. В каждом доме должна быть хотя бы одна ошибка.

— Зачем?

— Чтобы оживить его. Гладкая речь без ошибок, — это дикая скука. Ошибка — признак жизни, безошибочность — омертвение. Гофманский дом мертв.

Лузгин пожал плечами.

— Разные бывают ошибки, — сказал он, надевая рюкзак. — Один татарин-нефтепромышленник выстроил в Баку дворец. Архитектор ошибся и не сделал во дворце уборной. И по нужде гостям и хозяевам приходилось бегать во двор. Не думаю, чтобы они разделяли ваши взгляды.

Леля, Гофман и Метт вернулись в Москву вечером. В трамвае у Лели оторвали в давке пуговицу на шубке. Пассажиры давили и мяли друг друга невыно-

симо. По Пятницкой катились, изрыгая проклятья, грузовики.

Данилова не было дома. На кухне гудели примусы. Леля села к столу и, медленно стаскивая с руки перчатку, заплакала... В ответ ей злорадно прогромыхал за окном разбитый и злой, как собака, трамвай.

3

Лузгин приехал на завод на два часа раньше начала занятий. Так уж повелось — он приезжал всегда раньше. На заводе он отдыхал. Он ходил по цехам, подолгу простаивал около станков, перекидывался шутками с рабочими.

Его злили разговоры о том, что заводы неживописны и не дают материала художникам. Даже сейчас сквозь мартовский глухой туман рваным пламенем дышали окна кузнечного цеха, фиолетовые нестерпимые звезды автогенных горелок гудели во дворе, в пустых цехах черные портальные краны высоко катились в голубом дыму электрического огня, свет преломлялся в толстых линзах предохранительных очков, стальные машины, сонно чавкая, резали тусклую золотую латунь.

Несмотря на надписи в сварочном цехе о том, чтобы не смотреть на пламя, очень тянуло смотреть на него. Оно вызывало воспоминание о никогда не виденном море, о чуть сиреневом дымящемся солнце, о городах, сыплющихся грудами фонарей в глухие приморские ночи, как сыпались в темноту искры взрезаемых с жестоким скрежетом тавровых балок. Около сварщиков Лузгин простаивал дольше всего.

Завод гудел день и ночь, но привыкший к гулу слух Лузгина замечал нараставший, все более высокий тон гула. Завод набирал скорость, перекрывая зимний прорыв. Завод жил спокойной спешкой, углубленными в работу ударными бригадами.

Бригады работали безмолвно, без криков, без зубоскальства. Это было совсем не похоже на то, что трескуче писали в газетах об этом заводе шустрые

юноши в вязаных жилетах. Они нагнетали в свои заметки много шуму и фамильярности по отношению к бригадам. Бригадам это не нравилось. В заметках проскакивал не производственный, не рабочий, слегка фанфаронский подход к делу, но бригады терпели, — пусть их пишут, мы свое делаем.

Лузгин репортеров ругал. Он пытался внушить им, что надо ясно, просто, без захлебывания и без паники писать о работе завода. Репортеры соглашались, но делали по-своему. Они сегодня восторженно сообщали: «Завод блестяще идет к ликвидации прорыва», а назавтра били в набат: «Сигнал тревоги. Завод не выполняет мартовских показателей. Недостаток плановости является решающим фактором в прорывах на заводе». И то и другое было одинаково преувеличено.

Лузгин пошел в красный уголок. Рабочие уже собрались. Почти все были из горячих цехов — сухие, перегоревшие от огня, с резкими бронзовыми профилями.

Лузгин тщательно готовился к докладам. Он выработал язык простой и законченный. Говорил он медленно, даже спотыкался, но после каждой остановки начинался абзац, раскрывавший тему с неожиданной стороны. Мыслил он образами и невольно строил доклад, подчиняясь им и развивая их до нужной выразительности.

На доклады Лузгина рабочие шли охотно.

Лузгин строго следил за составом слушателей. Больше всего его радовало присутствие стариков. Среди заводских работников господствовало убеждение, что стариков раскачать нельзя, что старики упрямы, как буйволы. Лузгин втайне ликовал, — стариков с каждым днем набиралось все больше.

На этот раз он делал доклад о событиях на Китайско-Восточной дороге. Он пересыпал его отрывками из писем красноармейцев, рассказал о Дальнем Востоке, где провел два года в Красной Армии, упомянул, между прочим, о знаменитом исследователе Уссурийского края Арсеньеве, посоветовал прочесть его книгу и привел отзыв о ней Горького.

Доклады Лузгина обрастали плотью быта, людьми, характерными подробностями, даже пейзажем. Лузгин заметил, что этот способ, лишавший тему ее абстрактности, создавал приподнятое настроение среди рабочих. Метод был верен, и Лузгин точно бил в цель.

4

Вечер приближался со всей пышностью, на какую способно московское лето. К пяти часам день приобрел мутный цвет плохо процеженного белого вина. Гофман лежал на диване и смотрел на кущи черных садов, готовых каждую минуту сорваться в светлую воду. Из окна были видны Воробьевы горы.

Он устал. Пришлось много спорить, быстро находить веские доводы, доказывать то, что, по мнению Гофмана, не нуждалось в доказательствах.

«Пятый день» был достроен и открыт, но кому-то понадобилось снова затеять бесцельный спор об этом доме. Спор шел в строительном комитете. Гофмана вызвали повесткой. В повестке было сказано: «Доклад тов. Иваницкого о нецелесообразности постройки домов отдыха типа «Пятого дня» — и в конце: «Ваша явка обязательна».

Гофман боялся публичных выступлений. Он не умел говорить. Маленький рост делал его в собственных глазах менее авторитетным. Его угнетали солидные инженеры в тонких английских костюмах, неторопливо изрекавшие скупые и как будто бесспорные истины. Его преследовали некоторые аспиранты из Института сооружений, придававшие постройке «Пятого дня» чуть ли не мировое, но отрицательное значение. Они обклеивали свою речь множеством «измов», и Гофман удивлялся: один «изм» цеплялся за другой с точностью зубчатой передачи. Всем своим существом Гофман знал, что они не правы, но доказать это не умел.

На совещании «Пятый день» уничтожили без остатка. Аспиранты говорили, что Гофман допустил много ошибок и проявил ненужный функционализм в своей постройке. Говорили, что дом построен, как

машина,—только из работающих частей, по-делячески, по-американски — иначе говоря, черство и рационально до скуки. Один из аспирантов назвал «Пятый день» силосной башней. Гофман взорвался и наговорил кучу резкостей. Он был глубоко уверен, что аспиранты приписывали Гофману то, с чем он сам боролся.

Инженеры слушали аспирантов почтительно, но рассеянно. По их мнению, гораздо важнее было то, что «Пятый день» обошелся дорого и взял много строительных материалов. Постройку таких домов инженеры считали расточительством. К ним присоединился и представитель РКИ.

— Видите ли, дорогой товарищ, — сказал в нос инженер Розенблит и зажал между колен скрипучий желтый портфель. — Видите ли, я одного не понимаю. Зимою ваши отдыхающие будут спать при открытых планках. Кажется, так? Другими словами, дом на ночь будет превращаться в решето. Вместе с тем необходимо, я полагаю, чтобы температура воздуха не падала ниже определенной нормы. Другими словами, — Розенблит поставил портфель на стол как границу между собой и Гофманом, — другими словами, в комнатах должен быть всегда свежий, но теплый воздух. Следовательно, надо топить. При условии решетчатых стен это равносильно тому, как если бы, — Розенблит встал и взял портфель под мышку, собираясь уходить, — как если бы мы начали отапливать Сокольническую рощу.

— Во-первых, — ответил Гофман, — при небольших морозах топку можно на ночь прекращать,— больные спят в мешках. При сильных морозах топить нужно, но планки будут периодически закрываться, а в открытом состоянии их будут регулировать таким образом, чтобы не спускать температуру ниже известного предела.

Розенблит коротко рассмеялся и вышел. В соседней комнате он громко сказал кому-то:

— У меня сегодня масса дел и нет охоты слушать разговорчики.

Теперь, лежа на диване, Гофман вспоминал Розенблита, краснел и бормотал:

— Идиот. Спесивый дурак!

Один только человек в сапогах и новом твердом пиджаке, все время что-то записывавший, поддержал Гофмана.

— Если материалов мало, — сказал он, — так это не значит, что мы должны строить дрянь. Можно построить дом и на большой палец. Я в этом доме жил и отдохнул, как в Крыму не отдыхал. Дом замечательный. Это надо сказать твердо.

— Вы от какой организации? — спросил его председатель.

— Да я рабкор из «Рабочей Москвы», отчет буду давать.

Решение было вынесено неясное—признать вопрос о постройке домов отдыха типа «Пятого дня» открытым.

— Вы открывайте, а мы закроем, — сказал рабкор, собрал свои листки и ушел. Загадочная его фраза вызвала у инженеров натянутые улыбки.

День заседания в строительном комитете был последним днем Гофмана в Москве. Завтра он уезжал, вернее — улетал в отпуск. Летел он до Харькова, а оттуда собирался проехать к себе на родину — в маленький порт Скадовск на берегу Каркенитского залива.

Вещи были уложены, и делать было нечего. Гофман решил идти домой на Усачевку пешком. Он миновал тесное азиатское Зарядье и вышел к реке. Над синей от бензинного чада водой носились чайки. Из черного горла могэсовских труб валил жирный дым. У Каменного моста старики удили рыбу в зеленой сорной воде. В ней плавал розовый Кремль. Отражение было сказочным, но старики равнодушно сплевывали на него и одобрительно вдыхали гнилую прохладу, сочившуюся из-под арок моста.

Гофман свернул на Пречистенку. В этом районе Москвы солнечный свет был свободен от пыли. Дворники поливали мостовые. Серый асфальт превращался в черные блестящие пруды. Пруды эти пахли дождем.

— Жара! — Гофман вспомнил, что в жару полеты неприятны, бывает много воздушных ям.

Над пустынной Усачевкой мальчишки гоняли голубей. Дома Гофман лег, долго вспоминал заседание,

потом у него под закрытыми веками забегали красные и фиолетовые пятна, и он уснул.

Разбудил его грохот в дверь. Леля и Метт пришли прощаться. За стеной смеялась Леля. Тончайшая рябь облаков чешуей золотела над городом.

Метт улыбался глазами. Смеяться он не умел. Леля в необыкновенном платье — коротком, тонком и блестящем — то хохотала, то внезапно задумывалась и неподвижно глядела перед собой. Гофман всматривался в нее. Ее зрачки были неестественно расширены, и на белках загорались искры — отражение вечера, полного жары и света. Так по белому борту парохода перебегает блеск волны.

В комнате было душно. Пошли к реке.

— Друзья, — сказал Гофман, — если бы можно было нам вместе поехать к морю. Как было бы чудесно!

Случайное соединение нескольких мелких фактов вызывало у Гофмана взрыв фантазии. Достаточно было ленивого летнего дня, короткого, но крепкого сна, чтобы началось то состояние, какое Гофман переживал сейчас. Он называл его «сухим опьянением».

Он неясно представил шум акаций в темноте, плеск моря, пески, степи, откуда дует суховей.

— Как было бы чудесно! — повторил он с сожалением.

— У всех отпуска в разное время, — пожаловалась Леля. — По-идиотски устроено.

Метт занялся подсчетом.

— Двести восемьдесят один день в году, — сказал он точно, — вы сидите в грязных комнатах. Мы еще не научились культурно работать. К концу занятий воздух зеленеет от дыма.

— Ужасно! — ответила Леля.

Гофман не выносил жалоб. Припадок «сухого опьянения» сменился раздражением.

— Дурость, — сказал он. — Вы — умный человек, Метт, но ум у вас с гнильцой. Вы решили, что скептицизм спасет вас от действительности. Вы живете в нем, как инфузория в питательной среде. В глубине души вы сами знаете, что это неверный подход

к окружающему, но вы лентяй и чувственный тип и потому плывете по течению.

— Весьма интересно, — сказал язвительно Метт.— Продолжайте, прошу вас.

— Вы идете по линии наименьшего сопротивления и руководствуетесь своими чувствами, а не разумом. Конечно, это легко.

— Об этом вы бубните мне каждый день, — спокойно ответил Метт.

— Заставьте себя подумать. Представьте такое положение — мы окружены не врагами, а друзьями. Нас не травят, не ощетиниваются против нас штыками. Представьте себе победу советского строя если не во всем мире, то хотя бы в Европе. Вы первый заключите договоры с издательствами и ринетесь в Турцию, в Грецию, в Италию. Вы будете писать великолепные книги, и ваша жизнь приобретет небывалую полноту. Вы помолодеете на десять лет. Тогда, я надеюсь, вы поймете, что значат слова «культурная революция». Вы будете одним из ее борцов. Ее ценности будут жить внутри вас, как весь комплекс ваших мыслей и настроений. Не думайте, что это будет сладкое идиллическое время. Тогда тоже будут умирать и бороться — в экспедициях, в лабораториях — всюду, где существует живая человеческая мысль.

— Это неясно, но довольно привлекательно, — сказал Метт.

— Что такое пятилетка? — спросил Гофман. — Величайшее напряжение, чтобы приблизить будущее не теми сонными темпами, какими идет биологическая жизнь, а теми темпами, которые нужны нам, живым людям, не рассчитывающим жить двести лет. Пятилетка — это героическое нетерпение, вогнанное в рамки цифр. В этом ее смысл и ее необыкновенность, молодой человек.

Метт молчал.

— Согласились бы вы сейчас уехать навсегда из СССР? — спросил Гофман.

Метт перестал улыбаться.

— Никогда, — ответил он резко.

— Чего же вы валяете дурака?

Леля засмеялась.

Они вышли к реке у моста Окружной дороги. Прозрачные сумерки отражались в ней зеленым цветом. Гофман взял лодку.

С поднятых весел стекала лиловая ртуть. Каждую каплю пропитывал поток огней, сиявших из парка культуры и отдыха. Вода засыпала под глухими тяжелыми липами.

Гофман довез Лелю и Метта почти до Болота. Здесь они распрощались. Отъехав на середину, Гофман смотрел, как Леля медленно шла вдоль набережной. Метт остановился закурить и отстал.

— Эх, друзья мои! — сказал Гофман, повернул лодку и короткими рывками погнал ее к шумной темноте Нескучного сада.

5

В июле умер отец Лузгина. Старик умер внезапно от разрыва сердца.

На следующий день Лузгин отправил тело в крематорий, а сам поехал автобусом. В крематории никого, кроме Лузгина, не было. Осторожно ходил очень вежливый человек в халате, и басом рыдал орган.

Лузгин испытал облегчение. Со смертью старика прошлое ушло, его можно было навсегда убрать из памяти.

От Донского монастыря Лузгин прошел на Калужскую улицу. В поясе садов и больниц она простиралась к Воробьевым горам. Было четыре часа. Засуха достигла той степени, когда перегорают краски. Листва на деревьях, дома и даже небо выцвели до серого цвета. Корпуса Нефтяного института побелели, как бы покрывшись солью.

Лузгин знал, что в Нефтяном институте работала машинисткой Леля. Он вошел во двор, похожий на плац для военных учений, открыл дверь, и прохладная светлая тишина бетонных зал и переходов подействовала на него, как внезапный душ.

Ему указали комнату. Он вошел — за окном тлело пестрое Замоскворечье. Леля писала под диктовку.

Она вскочила, пододвинула Лузгину стул и попросила подождать — ей осталось дописать страницу.

Незаметный человек в сером мосторговском костюме глухо и сбивчиво, стесняясь Лузгина, диктовал доклад об омоложении нефтяных участков на Грозненских промыслах.

Леля писала порывисто, сжав губы. Машинка трещала в такт ее сбивчивым мыслям:

«Зачем он пришел?.. вот неожиданно... как хорошо все-таки, что он пришел... стыдно, — я при нем жаловалась на свою работу, а сегодня здесь хорошо, как никогда, — светло, чисто, Мятликов диктует интересный доклад... знает ли он, что Гофман улетел в Харьков... он пришел не зря... зря так далеко не ходят... почему я волнуюсь... почему, почему, почему?..»

Леля не успела мысленно ответить на этот вопрос. Мятликов сказал: «Все» — и, скромно подождав, пока Леля вынет готовый лист, взял доклад и, попрощавшись, торопливо вышел. Он боялся хотя бы лишнюю минуту задержать Лелю и помешать ей. Мягкость и догадливость ученых в делах, далеких от нефти, крекингов, легких и тяжелых масел, удивляла Лелю. Она думала об этом, но не нашла объяснения. Оставалось предположить, что в научных книгах среди непонятных формул и интегралов самозарождались крохотные бактерии уважения к человеку, внедрялись в сознание ученых и жили в нем скромной жизнью.

— Ну что, что? — торопливо сказала Леля, подойдя к Лузгину. — Как вы нашли меня здесь? Как вовремя вы пришли. Я сегодня с утра сама не своя — так гадко на душе, будто во всей Москве я одна.

Лузгин понял, что Леля относится к его приходу, как к перелому в своей жизни. Зашел он случайно, но, слушая Лелю, понял, что некое, незаметное ему самому, решение встретить ее жило в нем еще со времени лыжной вылазки на Медвежью гору. Встреча эта приближалась, как туча, — в беспокойном шорохе листвы, во внезапных порывах ветра, в неясности настроения, — хотелось шуметь от возбуждения и легкого страха.

— Я здесь был недалеко по делу, — сказал Лузгин и покраснел. Какого сорта было «дело», он не сказал. Он понимал, что сейчас это невозможно. Леля даже не услышит слов о смерти, они не дойдут до ее сознания. Их заглушит гроза, шумящая в ней самой, их скомкает и отшвырнет ее внезапное смятение.

Ей надо было услышать совсем иное, и Лузгин промолвил:

— Я за вами. Пойдемте на реку.

— Да, идем? — радостно спросила Леля, как будто ждала этого очень давно. В ее глазах Лузгин уловил широкий напряженный блеск, который недавно поразил Гофмана. — Будет дождь, вы не боитесь?

— Наоборот. В дождь на реке хорошо. У вас есть плащ?

— Есть, — глубоко вздохнула Леля. — Я сейчас.

Пока она надевала шляпу, Лузгин заглянул в окно. Из Дорогомилова тянуло гарью. Дым паровозов подымался к небу белыми зловещими столбами — за Брянским вокзалом, сквозь пыль и грохот предместий, прорастала исполинская синяя туча.

Через Нескучный сад они сбежали к реке и зашли пообедать в павильон у пруда. Приближение грозы распугало гуляющих — в парке было пусто.

Леля ничего не ела. Она рассказала Лузгину о сегодняшнем утре.

Утром у нее была ссора с Даниловым.

Данилов, вытираясь полотенцем, сказал:

— Ты знаешь, я напечатал заметку о «Пятом дне».

— Ну и что же?

Леля с прошлого вечера была раздражена, — кончался июль, а она ни разу не была за городом. Лето изнывало на мостовых и в комнатах с застоявшимся воздухом.

— Ничего особенного. После этой заметки назначили комиссию, чтобы выяснить, стоит ли вообще строить такие дома.

— Слышала. Что написал, покажи!

Данилов протянул газету. Леля быстро нашла заметку, прочла и сухо рассмеялась. Данилов писал о том, что «Пятый день» — образчик формальных иска-

ний, совершенно чуждых пролетариату, и что дома такого типа строить сейчас, когда строительные материалы нужны для промышленности, — преступное разбазаривание ресурсов.

— Куцые мозги! — Леля швырнула газету на стол. — Всю жизнь ты мелко плавал и так и умрешь мелюзгой. Как тебе верят в редакции, не знаю. Чудесное здание, в нем схвачено будущее, в нем — талант, мысль, — и такая паршивенькая заметка.

— Нам такие дома не нужны, — ледяным голосом ответил Данилов.

— Кому это нам, кому это нам? — закричала Леля. — Маменькиным сынкам, сыновьям маклаков? (Отец Данилова был торговцем.) Как ты смеешь так говорить! Ты злишься на талантливых людей. Мне противно, понимаешь, противно слушать тебя. Уходи! — Леля сломала карандаш и швырнула его в угол. — Уходи сейчас же, я не хочу тебя видеть! Как я теперь буду смотреть в глаза Гофману, Метту, всем?

— Истеричка! — Данилов начал торопливо завязывать галстук. — Вздорная сумасшедшая баба! Твой Гофман хвастун и халтурщик. Об этом говорят все, ты одна ни черта не видишь.

— Я сказала тебе — уходи!

Данилов ушел, хлопнув дверью. Леля упала на диван и разрыдалась. На службу она опоздала. Аспиранты, увидев ее заплаканные глаза, тотчас ушли в соседнюю комнату, а один из них принес ей невзначай апельсин из буфета. Леля взглянула на него, улыбнулась, и слезы быстро закапали на клавиши ундервуда. Аспирант моментально скрылся.

Лузгин слушал Лелю, краснел и покашливал. Потом, решившись, сказал:

— Да, он мелковат. Все дело в том, что невыносимо слышать, как бездарность (Лузгин спохватился, но слово уже сорвалось, и потому он его повторил), как бездарность клевещет на таких свежих людей, как Гофман. Он чудак, конечно, Гофман, но такие чудаки нужны нам. Их нельзя променять на самых трезвых людей.

На реке было пустынно. Над слепой свинцовой водой порывами взлетел жаркий ветер. Сады волновались и тревожно переговаривались пыльной листвой. Лузгин быстро греб. Он хотел до дождя попасть к Ноевскому саду. Уже были видны вывески на берегу: «Якорей не бросать — сифон водопровода», когда над Хамовниками взрывом вздуло желтую пыль.

— Не успеем, — сказала Леля.

Железная рябь пронеслась от берега к берегу, и пыль, смешанная с листьями, ослепила Лузгина. Он повернул лодку к берегу и увидел посреди реки водяную стену, с шумом налетавшую на Лелю. Обрушился дождь, и тотчас же они услышали дикий запах мокрой травы и речного песка.

Лодка ударилась о берег. Лузгин выскочил, подтянул ее. Леля выпрыгнула, с силой оттолкнувшись от его плеча.

— Наверх! — скомандовал Лузгин, яростно вытаскивая застрявшие в уключинах весла. Леля побежала по сгнившей деревянной лестнице. Лузгин с тяжелыми мокрыми веслами на плече прыгал за нею через ступеньки. Наверху стояла заколоченная дача. Издали Лузгин увидел крытую террасу, защищенную от дождя.

Леля, смеясь, взбежала на террасу. К ее туфлям прилипли сбитые дождем блестящие листья лип.

Ливень глухо гудел, плотным полотном застилая реку. Жидким огнем сверкнула молния, рявкнул гром, и ливень полил еще гуще.

Лузгин улыбался, сам не зная чему, и стряхивал с лица крупные брызги. Дождь наступал. Он начал захлестывать террасу и вытеснил Лелю и Лузгина в угол — единственное место, куда он не мог достать. Обрадовавшись сырости, в зарослях крапивы под полом террасы запели комары.

Леля и Лузгин тесно стояли рядом.

— Леля, — сказал Лузгин, — вы знаете, что сейчас творится вот здесь, — он показал на свой лоб.

— Да, — тихо ответила Леля, — а впереди еще много, много... Такая тревога, мы совсем не можем говорить. Ни о чем нельзя говорить, когда это приходит.

Она слегка подчеркнула слово «это».

— Как неверно, — продолжала она, засмеявшись, — как глупо думают, что любить — это значит одного человека, что вокруг него вертится весь мир. Совсем это не так, не так! Это не один человек, это — все! Ну все, понимаете, все! Представьте, вот гроза, мокрые листья, вы, гофманский дом, дружба, споры, ну все, все это — любовь, а не один человек.

— Да, это так, — ответил Лузгин.

Он слышал ровное гудение дождя в терпких зарослях крапивы и быстрые удары Лелиного сердца рядом с собой.

— Есть вещи незабываемые, — сказал он. — Мы прекрасно знаем, что нет ничего вечного, но есть вещи незабываемые. Они существуют вне всякой зависимости от того, что может случиться с нами потом.

В Москву они вернулись поздно. Дождь прошел, но ветер налетал порывами до самого утра. Москва шумела листвой. Брызги залетали с веток в открытые окна трамваев.

Ночью Леля не спала. Данилова не было дома — взбешенный, он уехал на дачу к приятелю. Два раза поздней ночью Леля тихо вызывала по телефону Лузгина, и ей тотчас же отвечал из трубки его мягкий и глухой голос. Леля бранила себя дурой и смахивала слезинки, слушая, как он шутил и смеялся.

Окна были открыты. Суровый ночной воздух проникал в них. Со стороны Кремля долетал величавый бой башенных часов. Раньше Леля не замечала этого звона.

6

Метт получил письмо, написанное дрожащим старческим почерком. Письмо было датировано 10 августа.

«Мой сын, Виктор Борисович Гофман, несколько раз упоминал вашу фамилию, называя своим другом. В его записной книжке я нашел ваш адрес. Поэтому считаю тяжелым своим долгом сообщить вам ужасную весть — Витя утонул 2 августа.

Детей из здешнего детского сада, — сообщал почерк, и дрожание его усиливалось, — повезли на моторном катере на прогулку на остров в трех километрах от Скадовска. К шести часам катер должен был возвратиться, но в три часа налетел ураган с ливнем, развело зыбь, и о возвращении детей не могло быть и речи. В городишке нашем началось волнение, ибо дети были отправлены в легких платьицах и, естественно, могли простудиться. Кроме того, им приходилось заночевать на острове, где нет никакого жилья, кроме дырявого сарая для сетей. К вечеру шторм дошел до семи баллов.

Рыбак Ковальченко и Витя вызвались на парусной шлюпке доставить на остров теплую одежду для детей и провизию. В управлении порта был взят брезент, чтобы соорудить на острове подобие палатки.

Мой Витя — человек, привыкший к морю, и потому я его отпустил, не очень опасаясь за последствия.

По рассказам Ковальченко, они благополучно прошли пролив, ориентируясь на скадовские огни, но при подходе к острову попали в сильный накат волн. Витя и Ковальченко соскочили в воду, чтобы подтянуть шлюпку. Волна опрокинула Витю, он упал и, очевидно, волна ударила его с большой силой головой о киль шлюпки или килем его прижало ко дну — понять трудно, но он исчез. Только через десять минут Ковальченко разыскал его тело в прибое. Вернуть к жизни его не удалось.

Хоронили его в Скадовске. На похороны собрался весь город. Его очень любили здесь, особенно рыбаки, и даже гордились им, как своим земляком, читая в газетах о его прекрасных постройках.

Остался у меня еще один сын в Ташкенте, но тому далеко до этого. О том, что я сейчас чувствую, как проходят дни — писать не буду, ибо знаю, что трудно понять стариковское горе. Если будет желание и случай побывать в Скадовске — обрадуете меня очень. Живу я небогато, как и пристало отставному смотрителю порта, но, думаю, не взыщете.

Уважающий вас *Б. Гофман*».

— Что за шутки! — Метт криво улыбнулся.

Он подошел к окну, боязливо развернул письмо и прочел его вторично. Испарина выступила у него на лбу.

— Как же так? — хрипло сказал он, надел шляпу и вышел на Остоженку. — Как же так? — повторял он, наталкиваясь на прохожих.

Он остановился и долго смотрел на розовую афишу. Издалека могло показаться, что Метт ее внимательно читает. Но он не читал, он прислушивался: внутри у него натягивалась, звеня и вздрагивая, стальная струна. От этого сильно болело сердце. Метт ждал, что вот-вот струна лопнет и вместе с нею разорвется сердце.

Струна перестала дрожать. Она напряглась и тянула сердце к горлу. Метт вздрогнул и слегка вскрикнул — струна лопнула, но сердце не разорвалось. Оно забилось радостно и быстро, и Метт, пошатываясь, отошел от афиши.

«Надо к Лузгину», — решил он. Он вспомнил, что у Лузгина сегодня выходной день. Где он может быть? Конечно, на реке. Тогда Метт как бы увидел афишу, перед которой стоял, отпечатанную гигантскими белыми буквами на синем и свежем небе. Буквы сложились в слова:

«Водная станция «Динамо».

«14 августа гребные состязания Ленинград — Москва».

Метт свернул к Крымскому мосту, на станцию «Динамо». Пестрота, флаги, плеск воды, блеск неба и гомон пловцов несколько его успокоили. На вышке он увидел Лузгина в синих плавках. Лузгин крикнул, полетел с вышки, изогнувшись дугой, и поплыл «брассом», отплевываясь и разбивая головой воду.

Метт спустился на плот и окликнул Лузгина.

— Старик, раздевайтесь! — прокричал Лузгин, подплывая, но потом нахмурился, вылез и, отряхиваясь, подошел к Метту.

— Неладный вид у вас, — сказал он строго.

— Вот, получил письмо... — ответил Метт, не глядя на Лузгина. — Гофман, оказывается, утонул.

— Бросьте!

— Вот письмо.

Лузгин письма не взял — у него были мокрые руки.

— Черт знает, — промолвил он, — какая чепуха.

Метт рассказывал о гофманской смерти, Лузгин слушал его, одеваясь.

— Что ж, — сказал он, помолчав, — тяжело. Но не в этом, конечно, дело. Надо жить. Пойдемте, выпейте черного кофе, успокойтесь.

На легкой террасе, похожей на палубу парохода, хохотали девушки в купальных костюмах и спорили гребцы с нашитыми на груди номерами. Лузгин и Метт сели у барьера. Метт молчал и смотрел вниз, на лодочную пристань. Голый мальчишка бегал по ней, радостно шлепая по горячим доскам мокрыми ногами. Метт с зоркостью, какая бывает во время резкой смены обстановки, рассматривал загорелые руки, синие от неба скатерти, слушал восторженный визг детей.

— Когда гонки? — спросил Метт.

— Не скоро. Сейчас только десять часов.

Метт удивился. Ему казалось, что было гораздо позже.

— Я сейчас еду к Леле. — Лузгин смутился. — Она на отдыхе в «Пятом дне». Придется ей сказать.

Метт кивнул головой.

— Да, — продолжал он, — умер великий отгадчик. Ну что ж, вы правы, продолжаем жить.

Они расстались. Метт остался посмотреть гонки, а Лузгин поехал на Брянский вокзал.

Приезжать в «Пятый день» было неудобно, и Лузгин условился с Лелей встретиться на дороге в лесу, около межѐвого столба.

Лето стояло жаркое. Над порубками и высохшими болотами висела гарь. Дороги пахли пылью и дегтем. В лесу уже желтели березы. Чтобы сократить путь, Лузгин пошел прямо через порубку.

В лесу среди желтеющих берез он увидел Лелю. Она шла ему навстречу. Тени бежали по ее лицу и легкому шуршащему платью. Она приближалась стремительно. Зной схлынул. Леля несла с собой свежесть, неясную радость, дыхание осени, просторы,

тревогу их недавней любви. Она шла как бы из тех стран, где тлели облака.

Лузгин остановился, пораженный.

— Ну вот, — Леля быстро подошла и легко сжала руки Лузгина.

— Леля, — сказал поспешно Лузгин, — Гофман...

— Да, я знаю, — Леля спокойно взглянула ему в глаза. — Он умер. Я получила открытку от его отца. Ну что ж. После его смерти я не могу избавиться от очень легких мыслей — не понимаю почему. Он хорошо умер. Он научил меня не бояться жизни.

Лузгин, слушая ее, смотрел на облака. Ему казалось, что за мглой дыма он различает огромную страну, откуда пришла сейчас Леля, — страну, прозрачную от воздуха и солнечного блеска. Таким, должно быть, представляли себе золотой век наши дикие и мечтательные предки.

Москва, 1930

СОРАНГ

Экспедиция капитана Скотта к Южному полюсу погибла в страшных буранах, разразившихся в Антарктике весной 1911 года.

Шесть человек вышли к полюсу на лыжах от ледяной стены Росса.

Шли больше месяца. До полюса дошло пять человек. Один сорвался в расщелину и умер от сотрясения мозга.

Вблизи полюса Скотт, шедший впереди, внезапно остановился: на снегу что-то чернело. То была палатка, брошенная Амундсеном. Норвежец опередил англичан.

Скотт понял, что это конец, что после этого им не осилить обратного пути в тысячу километров, не протащить по обледенелым снегам окровавленных ног. Тогда всем поровну был роздан яд.

На обратном пути заболел молчаливый шотландец, лейтенант Отс. У него начиналась гангрена обеих ног. Каждый шаг вызывал острую боль, сукровица сочилась сквозь потертые оленьи сапоги и застывала на лыжах каплями воска. Отс знал, что он задерживает экспедицию, что из-за него могут погибнуть все. И он нашел выход.

В дневнике Скотта, найденном вместе с четырьмя трупами год спустя после экспедиции, об этом говорится так:

«Одиннадцатого марта

За последние сутки мы сделали всего три мили. Несмотря на нечеловеческую боль, Отс не отставал от нас, но мы шли гораздо тише, чем могли бы. Вчера он попросил оставить его в спальном мешке на снегу, но мы не могли этого сделать и уговорили его идти дальше. До последнего дня он не терял, не позволял себе терять надежду. К ночи мы остановились. Отс дал мне записку и просил передать родным, если мы останемся в живых. Потом он встал и сказал, глядя мне в глаза: «Я пойду. Должно быть, вернусь не скоро». Мы молчали. Отс вышел из палатки и ушел в метель. Он проваливался в снег и пачкал его кровью. Было два часа ночи. Он не вернулся. Он поступил, как благородный человек».

Перед дневником капитана Скотта вся литература кажется праздной болтовней — перед этим дневником смерти, дневником людей, безропотно гибнущих от гангрены, голода и потрясающей стужи в ледяных пустынях Антарктики.

В конце дневника Скотт написал дрожащими буквами:

«Я обращаюсь ко всему человечеству. Оно должно знать, что мы рисковали, рисковали сознательно, но нам во всем была неудача. Если бы мы остались живы, я рассказал бы такие вещи о высоком мужестве и простом величии моих товарищей, что они потрясли бы каждого человека. Мы гибнем, но не может быть, чтобы такая богатая страна, как Англия, не позаботилась о наших близких».

Скотт ошибся: Англия не позаботилась о его близких.

Записка лейтенанта Отса на имя Анны О'Нейль попала в руки русского матроса Василия Седых, участника экспедиции, нашедшей трупы Скотта и троих его спутников.

Анну О'Нейль Седых разыскал только после войны, в 1918 году, в приморском городке на севере Шотландии.

Было начало зимы. Снег, похожий на старое серебро, лежал на окрестных полях, и океан вздыхал у берегов, отсыпаясь перед зимними штормами.

Муж Анны, начальник рыбачьего порта, весь вечер курил трубку и молча угощал Седых кофе и твердым печеньем. Анна прочла письмо Отса, оделась и ушла в город, не сказав ни слова. Один только портовый смотритель, дедушка Гернет, друг мужа Анны, пытался рассеять смутную тревогу, как бы открывшую все окна в доме и наполнившую комнаты печальным запахом снега.

Гернет рассказывал сыну Анны, мальчику восьми лет, старую морскую легенду о ветре, носившем название «соранг».

У моряков есть поверье, что среди бушующих нордов и тремонтан, муссонов и сокрушительных тайфунов есть жаркий ветер соранг, дующий один раз за многие сотни лет. Соранг приходит с южных румбов горизонта поздней зимой и обыкновенно ночью. Он приносит воздух незнакомых стран, печальный и легкий, как запах магнолий. Сами по себе начинают звонить колокола сельских церквей, голубая заря поднимается к зениту, и сквозь снега пробиваются цветы, похожие на подснежники. У детей от радости темнеют глаза, а корабли зажигают приветственные сигналы, качаются и кланяются этому ветру, как ласковые звери с мокрой от дождя шкурой.

Соранг знаменует начало веселых и великолепных праздников. Воздух Антилл проносится над Шотландией, превращая зиму в свежее мгновенное лето.

Старый Гернет не окончил своей басни. Отец услал мальчика спать.

Анна вернулась домой около полуночи. Она ходила без цели по набережной, пряча лицо от ветра. За ней бродил, опустив голову, дряхлый портовый пес, по прозвищу Репейник. Анна тихо говорила с ним, — ей больше некому было рассказать о письме Отса.

«Я умру через час, — писал Отс. — Мне кажется, что даже труп мой будет содрогаться от ужаса этих буранов и стальной чудовищной стужи. Я вспоминаю Шотландию, наши теплые дожди, летящие над землей, подобно дыму, огни в сумерках, тяжелую воду гавани, соленый воздух мокрых осенних полей с почему-то не убранным клевером и нашу старинную песенку:

Здравствуй, дом! Прощай, дорога!
Сброшен плащ в снегу сыром.
Если нет для гостя грога,
Так найдется крепкий ром.

Я вспоминаю вас и знаю, что это все — любовь. Я до сих пор не понимаю, почему вы ушли от меня так внезапно».

Анна перечитывала письмо в комнате мальчика. Она стояла у окна. Резкие морщины обозначились у нее на лбу — ей показалось, что громадная птица взмахнула крылом и с деревьев посыпались мелкие брызги. Они падали на лицо Анны, и было трудно понять, капли это дождя или слезы.

Что-то громадное входило в жизнь, чему не было имени, наполнявшее все тело дрожью.

Мальчик проснулся и сел на кровати. Глаза его потемнели от радости.

— Ты не плачь, — сказал он и снова лег на теплую подушку. — Сегодня ночью будет соранг.

Он смеялся во сне — ему снилось, что откуда-то страшно далеко, из Антарктики, подходит ветер, несущий запах снега и экваториальных лесов, дует соранг — праздничный зимний ветер, перебрасывающий тысячи белых огней, как мальчики швыряют комья снега.

Мальчик улыбался во сне. Маяк вскидывал в небо белые лучи томительного света.

1932

ИНКУБАТОР КАПИТАНА КОСОХОДОВА

Дыма в порту не было. В ржавых трубах пароходов играли зайчики от солнца. Чистый воздух струился к зениту над стеклянной водой. Налет красноватой соли на старых якорях говорил о полном запустении.

Вдоль набережных сидели старики с гигантскими бамбуковыми удочками. Удочки они называли «прутами». Когда в гавань заходила стая скумбрии, удочки вздымались от одного конца мола до другого, будто их подбрасывала резвая волна, и на каждой трепыхалась, брызгая солнцем и зеленой водой, веселая скумбрия. За спинами рыбаков прятались облезлые кошки — портовые воры.

Иногда в порт забредали уличные торговцы, и Карцев — секретарь морской газеты «Маяк» — удивлялся, слушая их диковинные выкрики. Особенно поражала его старуха, кричавшая голосом козы:

— Кому следует бублики, бублики кому следует!

Первое время Карцев даже не решался покупать эти тощие бублики. Ему казалось, что они продаются по предварительной записи только тому, кому следует, но никак не ему — приезжему, случайному человеку.

Карцев поселился в одной комнате с корректором «Маяка» — студентом Метаксой. Корректор был грек родом с острова Митилена, где его отец издавал газету. Газету эту технический редактор «Маяка» Васька Петров прозвал «Вестникопуло Митиленокаки», потом кличка Вестникопуло прочно укрепилась за корректором.

Как все корректоры, Вестникопуло был критический и недовольный человек. У него была страсть — стихи Осипа Мандельштама и фамильные предания. Стихи он читал наизусть по любому поводу.

Укладываясь вечером спать и прислушиваясь к шуму прибоя, он говорил нараспев:

И море Черное, витийствуя, шумит
И с тяжким грохотом подходит к изголовью...

Покупая виноград, он декламировал:

Виноград, как старинная битва, живет,
Где курчавые всадники бьются в кудрявом порядке...

В одесские дни с их устойчивым зноем стихи Мандельштама врывались, как прохладный ветер. Было приятно вспомнить далекую зиму и пропеть про себя:

Холодного и чистого рейнвейна
Предложит нам студеная зима...

По утрам Карцев ходил в редакцию «Маяка» — в старинный итальянский особняк на бульваре.

Ответственным редактором был отставной капитан Косоходов — старичок с обвисшими запорожскими усами. Море он не любил, плаванье считал делом хлопотливым, отставке искренне радовался. Он был из тех капитанов, которые плавали со своими женами, похожими на провинциальных полковниц. Он не любил свежей погоды и лучшим экзаменом на моряка считал уменье швартоваться.

Косоходов жил в Аркадии, в домике у моря, где завел инкубаторы и высиживал цыплят. От инкубаторов в комнатах стоял гниловатый сухой воздух, — яйца грелись в тропической теплоте керосиновых

ламп. Из ста яиц вылупливалось не больше десяти цыплят, да и те дохли. Занятие было разорительно, но Косоходов не терял надежды на золотые барыши.

Газетой он не интересовался и лишь ревниво следил, чтобы правильно печатались фамилии начальства. Искаженная фамилия была, по его словам, «гробом» даже для редактора с самой прочной карьерой.

Кроме Метаксы, в «Маяке» работал корректор Суходольский — томный студент, ходивший без шапки, в рваной солдатской шинели и пышном дамском боа. Он долго жал руку, заглядывая в глаза.

Метакса, враждовавший с Суходольским из-за того, что оба считали себя блестящими знатоками литературы, говорил, что привычка долго жать руку у Суходольского осталась от отца — ростовщика. О старике Суходольском ходили темные слухи. В его конторе висел плакат: «Не волноваться». Клиентам он долго жал руку, чтобы ему не дали по физиономии. Левой рукой давать пощечину было неудобно, а правая была крепко зажата в пухлых ладонях ростовщика.

Среди репортеров «королем» считался Саша Хейфец — старичок в пенсне, мнивший себя «морским волком». Был он кроток, говорил вкрадчивым голоском, но, по словам Васьки Петрова, был редкий врун. Карцев убедился в этом.

Однажды он застал Сашу в редакции ранним утром. Пышное солнце плавило воск на паркете, и в окна беззаботно входил черноморский бродяга-ветер. Саша сидел у секретарского стола и, сняв пенсне, плакал.

— Что с вами?

Саша показал рукой на аршин от пола и пробормотал:

— Вот таким его знал. Мальчишками вместе финики в порту воровали. И вот — умер. Талантливейший человек, друг Куинджи, друг Айвазовского.

— Да кто умер?

— Костанди, художник. Лучший мой приятель. Зашел к нему утром, а он уже лежит на столе, все картины завешены простынями...

Горе Саши тронуло Карцева, — старик был беспомощен, руки его тряслись. Успокоившись, Саша спросил, не написать ли некролог. Карцев согласился. Некролог был написан с «морским» уклоном, — Костанди был пейзажист, и Саша цветисто описывал морские пейзажи покойного: прибои и необычайную передачу приморских песков. Сдав некролог, Саша вздохнул и ушел в бывшее кафе Фанкони, где после революции, по его словам, кофе горчило, а официанты хамили.

На следующее утро в редакцию ворвался свирепый и рычащий Костанди и долго стучал палкой по столу Васьки Петрова. Он был жив и налит кровью, как помидор. Саша гнусно соврал. Три дня он не появлялся в редакции, а на четвертый пришел, кротко улыбнулся и сказал беззаботно:

— Немножко, знаете, ошибся. Умер, оказывается, сапожник Костанди, а живут они в одном доме. Естественно, легко спутать.

Саша был старый одессит, столь же неизбежный в перспективе Дерибасовской, как памятник Ришелье был неизбежен в перспективе бульвара.

С утра в редакцию собирались помощники с пароходов, стоявших с погашенными машинами, матросы, масленщики, портовые сторожа, и начиналось густое куренье пайкового табака и густое вранье. Говорили о фрахтах, лоцманах, восстании на «Жане Барте», рейсах, женщинах, рыбе и других прекрасных вещах.

Васька Петров щедро раздавал пайки, поэтому в газете было человек пятьдесят сотрудников, — от боцмана Стаха, ввинчивавшегося во всех зелеными ядовитыми глазками, до бывшего пароходчика Лукашевича.

Иногда в редакции появлялись иностранные моряки, больше греки. Они скалили зубы и хлопали всех по плечу. Их угощали чаем из сушеной моркови. Прием иностранцев оканчивался тем, что редакционный парикмахер Тер-Назарьянц брил их начисто, выдергивая у некоторых из носа черные волоски. Делал он это виртуозно, — жертва не успевала даже вскрикнуть.

Греки приносили с собой запах маслин, смолы, эгейского солнца.

Почему-то все греческие пароходы носили женские имена: «Анастасия», «Ксения», «Елена», «Афродита», были маленькие, черные, пахли кухней и кофе и смешно подскакивали на гребнях пенистых, синих, как излом стекла, черноморских волн. Над синевой страшно дымили их красные трубы с белыми звездами. Пароходы эти были похожи на детские переводные картинки. Сиплые их машины и тесные каюты, где коки выращивали в банках от консервов побеги лимонов, напоминали детство парового флота — добродушное безмятежное время, когда моря знали только мертвый штиль и непрерывную жару.

Пароходы эти не торопились уходить. Они лежали, накренившись на борт, в теплой воде у набережных, обвешанные матросским бельем. Команда с бортов ловила скумбрию и мылась, голая, на палубе. Идиллическое существование этих финикийских судов не нарушалось ни войнами, ни революцией. Им было немного надо — груз лимонов, малую толику хлеба, вина и сыра, много солнца и главное — побольше беззаботности. При наличии этого жизнь была хороша.

Но в общем море было пустынно. Ясность и бездымные дни стояли над ним. Казалось, вся Россия заросла густой и нагретой травой. На дачах людские голоса заменило шуршание ящериц. Фронт гремел за спиной, но до Одессы докатывался, затихая, как зыбь.

Потребности иссякали, и от этого Карцев чувствовал в теле особую легкость. Кусок хлеба, чай с брынзой и помидоры были его единственной пищей. На лице по вечерам явственно выступала серебряная пудра соли.

Это время было целительным, как пустыня. Громадное солнце проплывало над безлюдным городом и степью, громадная тишина стояла над миром, как осень.

Прошлая жизнь была враждебна своей суетой и шумливостью. Бывшие прокуроры чинили сапоги,

бывшие генералы собирали на топливо терновник по обрывам. Карцеву нравилось, что через жизнь прошла трещина, и по эту ее сторону остались легкость, молчаливость, насыщенная человеческой задумчивостью, простое существование на земле без чинов и звездочек в петлице, черный хлеб, море и тишина. Начиналось новое существование. Оно было полно чувства молодости.

Карцев часто думал об этом, сидя на палубе миноносца «Занте». Миноносец наскочил в тумане на прибрежные камни, был разоружен и оброс ржавчиной. Корма его уходила под воду, на палубу набегали волны. Карцев ловил с палубы разъяренных бычков. Вместе с ним бычков ловили мальчишки. Разговаривал он почему-то шепотом. После ловли Карцев купался с палубы и нырял, — иллюминаторы и борта миноносца под водой приобретали фантастический вид.

Но мирному существованию Карцева скоро был положен конец. «Маяк» закрылся из-за недостатка денег. Закрытие было ознаменовано пирушкой в Аркадии на даче у Косоходова.

На пирушку собралась вся редакция. Карцев пришел поздно. Было уже шумно и дымно. Репортер и поэт Бачинский стоял на стуле и, размахивая палкой, читал свои стихи:

О, многогранных душ конечная усталость!
В закатный час любови и тоски
Вонзилась волн тоскующая алость
И лориган — тончайшие духи.

— Довольно! — кричал писатель Бернер и стучал ножом по столу, рассекая ослепительную скатерть. — Вы оскорбляете природу своими стихами! Вы оскорбляете советскую власть! Долой!

Бачинский слез со стула, протер пенсне и сказал Бернеру:

— Вам, собственно говоря, следовало бы дать по физиономии, но так и быть — вы хороший парень.

Косоходов опустил усы в стакан и трясся от смеха. Вестникопуло сидел на перилах веранды, спиной к пирующим, и ел апельсин. Он недовольно посмотрел на Карцева и сказал нараспев:

Я изучил науку расставаний
В простоволосых жалобах ночных...

От оглушительного шума пиршества, лая псов, привязанных под верандой, голоса боцмана Стаха, будто бившего кулаками в бубен, от распаренного лица жены Косоходова, носившейся с блюдами, Карцев растерялся. Васька Петров сидел на полу у дверей и пел, покачиваясь, украинские песни. На глазах его блестели слезы.

— Газету жалко, — сказал он Карцеву. — Не было и не будет такой газеты во всем мире. Вот, возьмите!

Он вытащил из кармана измятый номер, напечатанный на обороте бандерольной бумаги.

— Какая свежесть! Морем пахнет, мировыми портами, кардифским углем, лимонами — всем миром пахнет! Если бы нам дали настоящего моряка, а не эту шляпу, — он показал на Косоходова, — мы бы с вами завинтили такую газету, что все бы шарахнулись. Это не газета, — глядите, — это роман!

Он совал Карцеву в лицо последний измятый номер. Карцев знал его наизусть, но все же взглянул. Он увидел свою статью о моряках — участниках Парижской коммуны, письмо в редакцию боцмана Стаха о том, что лоцмана получают с иностранных судов плату натурой — ромом и трубочным табаком, что является безусловно вредным фактом, стихи французского матроса-поэта Тристана Корбьера, заметку Бачинского о приходе шхун с акациевыми дровами из Херсона и портрет капитана Хмары, спасшего во время шторма у Зангулдака турецкую фелюгу с лимонами.

Множество знакомых, ставших милыми слов зарябило в глазах: тонны, якоря, брекаватеры, лоцмана,

норд-осты, таможни, пассаты, Марсели, Севастополи и Генуи.

Карцев вздохнул. Он вспомнил редакцию, — из окон ее были видны желтые мачты и сонные полудни над морем, вспомнил яркие и свежие от теней утра, когда он правил заметки и весь мир блестел у него под пальцами сухим и веселым сверканием. Мир гаваней и каботажных судов, парусников и забастовок докеров, мир, связанный рейсами, как сетью, нагретый средиземноморским солнцем и бурлящий винтами пароходов.

— Все дело погубила эта тютя, — зло сказал Петров, поглядывая на Косоходова. — Этот старый гнилой баклажан, паршивый моряк. Он не мог достать денег. А цыплят может высиживать!

Тер-Назарьянц сидел на корточках рядом и сочувственно кивал головой.

— Никакой моряк, — бормотал он. — Халамидник. Зачем закрыл газэту, скажи, зачем? Хорошая газэта, веселая газэта.

— Вот побьем ему все яйца, тогда будет знать, — сокрушенно сказал Васька Петров. — Побить разве?

Тер-Назарьянц вдохновился.

— Товарищи! — Он вскочил. — Пожалуйста, послушайте меня. Я хочу сказать. Зачем закрыли газэту? Кто закрыл? Он закрыл! — Назарьянц яростно показал на Косоходова. — Халамидник он, не моряк, я говорю!

— Халамидник! — крикнул боцман Стах. — Верно, халамидник. Он привык на пароходах барынь катать. Липа!

— Липа, — радостно прокричал Назарьянц. — Разве это дело, товарищи, моряку цыплят разводить?

— Это цинизм! — крикнул Рачинский.

— Ты за моих цыплят помолчи, брадобрей, — грозно сказал Косоходов. — Ты помолчи маленько.

Васька Петров вскочил, бросил фуражку с якорем на стол и закричал, брызгая слюной:

— Друзья, он закрыл нам газету — чудеснейшую из газет во всем мире, — а мы прикроем его дрянное птицеводство! Стыд и срам, — капитан дальнего плаванья высиживает цыплят!

— «Цыпленки тоже хочут жить», — пьяно пробормотал Саша Хейфец.

— К дьяволу! Товарищи, бей инкубаторы!

— Бей!

Тер-Назарьянц бросился в комнаты. Удушье керосиновых ламп ударило ему в нос. Он закачался, схватил с подоконника горшок с кактусом и швырнул в инкубатор. Треснуло и посыпалось стекло. Отчаянно взвизгнула жена Косоходова. Васька Петров давил яйца пивной бутылкой. Ошеломляющий запах тухлой курятины смешался с гарью ламп.

— Бей кактусы! — кричал Бачинский и жестом фехтовальщика на турнире протыкал палкой с серебряным набалдашником прозрачную скорлупу. Псы безнадежно выли.

— Пафос разрушения! — промолвил Вестникопуло, невозмутимо очищая апельсин.

— Круши! — рыдал сам Косоходов, внезапно впавший в непонятный восторг. — Круши, дуй. Заслужил, понимаю. Верно, — заслужил. Не мои — женины инкубаторы. Крой со всех сторон, разноси!

Он плясал по скорлупе, хлопая в ладоши, потом поскользнулся на липком белке и упал.

Лампы потухли. Жена Косоходова скрылась.

Карцев сидел за столом и не спеша пил вино. Шум погрома затихал. Поздняя ночь безмолвно стояла около дома и с любопытством наблюдала веселых и разгневанных людей, яростно давивших яйца.

Васька Петров вышел на веранду, налил в стакан вина и поднял его выше головы.

— Друзья, — сказал он. — Пробил час возмездья!

В ту же минуту стакан выскользнул у него из рук и беззвучно лопнул на полу. Ударил чудовищный гром, будто небо обрушилось на дачу и на пирующих. Желтый огонь взорвался над горизонтом и погас.

Вестникопуло упал с перил на цветочные горшки под террасой.

— Мина! — прокричал Косоходов, поднявшись с пола и показывая всем желтые липкие руки. — Мина у скал взорвалась. Соблюдайте спокойствие!

Карцев и Вестникопуло побежали на берег. Светало. Тихая зыбь лениво колыхала у берега трупы фиолетовой скумбрии и бычков. Прибрежная скала была разворочена взрывом, и от нее шел дым.

Не заходя на дачу, Карцев и Вестникопуло пошли по берегу в город. Море едва шумело, и в сером тумане зарождался день, полный тишины и безветрия.

1933

САРДИНКИ ИЗ ОДЬЕРНА

В 1923 году Париж остался без сардинок, — их больше не привозили в холодных жестянках, покрытых потом. Исчезновение сардинок было связано с судьбой капитана Ривьера, моего знакомого по Одьерну. Я служил в то время в Бретани, в Одьерне, на сардинной фабрике, — это была одна из моих многочисленных профессий.

Я старался проникнуть в жизнь одьернских рыбаков и каждый вечер ходил в дешевое кафе «Киберон». Я слушал разговоры и смотрел за окно, где грубо шумел ветер и далекий маяк простирал к горизонту два туманных луча, как руки Христа на придорожных распятьях.

Каждый вечер я встречал в «Кибероне» спившегося капитана Ривьера. Он непрерывно врал, но врал с достоинством. За его сухощавой спиной была блестящая жизнь, закончившаяся судом. Ривьер посадил на камни судно «Руан» и погубил две тысячи тонн груза — шерстяного тряпья.

От посетителей «Киберона» я узнал, что Ривьер посадил пароход нарочно, чтобы получить страховку. Теперь Ривьер нищенствовал. Пароходная компания отреклась от него — он слишком грубо осуществил аварию.

За кружку сидра Ривьер распинался перед посетителями «Киберона» и играл роль одьернского шута. Рассказы его приелись всем. Только я, как новичок, терпеливо выслушивал Ривьера.

— В Персидском заливе есть порт Оман, — хрипел Ривьер, глядя на меня белыми глазами. — Оман — это независимое арабское государство. Ну, выпьем! В этом Омане я нарвался, когда был еще мальчишкой. Мы пришли ночью и стали на рейде. У нас капитаном был зверь Дидо, живший с собственной дочерью, как с женой. Оман — это узкий залив, стиснутый черными скалами. Матросы меня подбили на глупое дело. Ночью я подъехал в шлюпке к скале и большой кистью написал белой масляной краской: «Дидо — кровосмеситель и негодяй». Утром надпись загорелась на черных скалах, как вывеска самого шикарного кино. На пароходах матросы катались от хохота. Дидо дал мне оплеуху и вышвырнул на берег. Я пошел к арабскому шейху и обменял железный будильник на персидский ковер: арабы падки на часы. Ковер я спустил за триста франков туристу англичанину и вернулся в Марсель. Я был глуп и самонадеян. Эта надпись цела до сих пор, и имя Дидо треплют по всему миру.

Рыбаки посмеивались над Ривьером. Когда он чересчур завирался, пересаживались за дальние столики. Вранье могло длиться часами.

Руки у Ривьера дрожали. Он был похож на человека, совершившего множество незначительных преступлений.

Я решил прощупать до конца этого измочаленного капитана. Я привел Ривьера к себе и напоил его кофе и абсентом.

Был вечер, совершенно черный от холода. Дул ветер из Англии. Старики каркали, что выпадет снег.

Ривьер широко шагал по каморке и говорил, часто останавливаясь и щелкая пальцами:

— Я посадил «Руан» по приказу компании. Но это ерунда. Не в этом дело! Жизнь мне не удалась, как не удаются писателям книги. Я много думал над жизнью, мой друг, и этим погубил ее. Живут хорошо только те,

кто живет машинально. Ну, выпьем! Я заметил, что целые годы человеческой жизни складываются так или иначе под влиянием сущей чепухи. Десятого апреля тысяча девятьсот восьмого года я опоздал на две минуты на поезд из Парижа в Шербург — ведь это чепуха! — а мой товарищ сел вовремя. Он попал на пароход к отплытию, а я нет. Мелкие события цепляются одно за другое, и вот он — в Индо-Китае, а я — в резерве компании. Он идет из Сайгона в Сан-Франциско, а я заражаюсь черт знает чем — венерической болезнью, простите за откровенность.

Он богатеет, а я трачу все деньги на шарлатанов-докторов и вынужден поступить капитаном на «Руан», на гроб, на это вонючее корыто. Я выбросил его на берег около Биаррица.

Меня судили. Я просидел три года. Я отупел. Мое тело превратилось в желтый мешок из кожи, наполненный гнилой кровью. Я разучился отличать сладкое от соленого, я перестал соображать.

Когда меня выпустили, я ничего не хотел — ни пищи, ни службы, ни друзей, — ну их к дьяволу! Дайте мне только спать и ни о чем не думать.

Я пошел в свидетели по бракоразводным делам. За тридцать франков я стоял перед судом и рассказывал со всеми подробностями, как застал чью-нибудь жену с любовником в момент прелюбодеяния. Чтобы не тратить зря свое воображение, я придумал четыре разных рассказа об этом — в зависимости от того, кто был любовник: аристократ, буржуа, мелкий служащий или военный. Мне платили деньги через третьих лиц, — какова у людей брезгливость!

Я лжесвидетельствовал, но мне было все равно. Я тонул в долгах. Я боялся консьержек, лавочников и полицейских. Если хотите понять, что такое государство, залезьте в долги, мой друг, и вы узнаете, что государство — это низость. Коли ему не нужен ваш ум, то только потому, что на ум еще не наложили прогрессивного налога.

Потом я плюнул на Париж и добрался сюда. Десять лет я не знал ни одной женщины. У меня падают волосы и слезятся глаза. Чем больше я лысею, тем

больше мне хочется жить. Что делать! Я совершил много предательств. Я хочу знать, кто виноват в этом? Я окружен презрением, как скорлупой. Кто виноват, что капитан Ривьер опоздал на две минуты на поезд? Может быть, вы уже догадались? Нет? Ну, ладно. Я знаю, кто виноват. Я знаю...

— Кто же?

— Правительство и монахи, — неожиданно ответил Ривьер и выпил рюмку абсента. — Полиция, деньги, публичные дома, прокуроры, тюрьмы, шарлатанские пароходные компании — все объединилось против капитана Ривьера. Если все это смешать, то получится государство. Я мечтаю о времени, когда можно будет государство стереть в порошок и подсыпать в свиное пойло.

Я улыбнулся.

— Я — отброс! — пьяно пробормотал Ривьер, и руки его затряслись. — Не забывайте, мсье, что из отбросов, из грязной ваты делают пироксилин.

— На что вы способны?

— На все!

— Вы не один. Вас много, способных на все, а Франция существует. Ваше негодование стоит недорого, дорогой капитан.

— Ну-ну! — пробормотал Ривьер примирительно.— Посмотрим.

Он ушел. Я вышел проводить его до ворот. Одьерн лежал в снегу. Пока мы пили, пошел снег. Он падал большими хлопьями.

Утром Одьерн погрузился в белую тишину. Улицы опустели. Только стаи жаворонков метались от крыши к крыше в поисках пищи. Жаворонки падали в море и тонули. Разноцветные трупы замерзших щеглов срывались с деревьев и тонули в снегу. Старый кот, жеманно отряхивая лапы, обходил деревья и пожирал щеглов.

Кот этот принадлежал управляющему сардинной фабрикой, эмигранту из Одессы, Могилевскому. Это был высокий, тощий человек в красном вязаном жилете. У Могилевского были глаза с коричневыми веками, как у кур, — глаза библейских старцев, полные горести и

мудрости. Мудрость его выражалась в глубоком безразличии ко всему окружающему, а горечь — в болезни: у Могилевского была язва желудка.

Ночью мне снился капитан Ривьер. Он пытался потопить пароход, разбив его о скалы, но это ему не удавалось: пароход проскакивал мимо скал. Ривьер поворачивал его и снова бросался на камни, — и опять неудачно. Ривьер ругался, а матросы хохотали. На скалах мелом была сделана громадная надпись: «Ривьер — анархист и пустозвон». Надпись горела на скале, как пощечина.

Утром я зашел к парикмахеру Полю. Дожидаясь своей очереди, я рассматривал старые иллюстрированные журналы.

На меловых изорванных страницах проходили пыльные батальоны солдат в стальных касках, и арабы поили верблюдов из маленьких чистых лужиц. Красавицы с жемчужными глазами улыбались шоферам, и президент республики шел мимо толпы детей, вскидывая ногу и приподняв цилиндр. Рассматривая «Иллюстрасион», можно было подумать, что на земле наступил золотой век: безукоризненные зубы сверкали жизнерадостными улыбками, и даже на фотографиях чувствовалась прочная ткань одежд и запах клумб. Я понял, что фотографии могут быть так же лживы, как и выдумки газетчиков.

Меня заинтересовала одна фотография: громадные, во всю страницу, пальцы с тупыми ногтями прижимали к пергаменту маленькую печать. Между пальцами виднелся туманный зал, лица людей, а за окнами зала — далекие сады и фонтаны.

Фотография изображала подписание Версальского договора. Кто-то из «великих» людей прикладывал к договору государственную печать. Весь задний план — дворец, люди, парки — был меньше, чем ноготь на исполинском пальце. Ноготь этот поразил меня. С тех пор я начал приглядываться к мелочам.

Сложность ощущения была разъята на отдельные волокна. Я мог целыми днями рассматривать только человеческие руки, не обращая внимания больше ни на что. Я мог рассматривать глаза или изучать запахи.

Сегодня я следил за дождем, а завтра — за цветом неба.

Раньше дождь нагонял на меня скуку. Теперь же я знал, что у дождя есть цвет, запах и звук.

Приближение дождя я угадывал по запаху. Сильнее пахли водоросли и скалы — пахли океаном и холодом. Когда начинался дождь, этот запах сменялся запахом земли и парного молока. В разгар дождя с берега доносило свежий, как бы колючий запах мокрой ржавчины. Это мокли на пристанях старые якоря и обручи от бочек. Потом дождь пригибал к земле редкую траву. Пыль и дым не давали ей возможности пахнуть.

Но когда дождь проходил, земля и океан как бы разжимали кулак, где был зажат душистый плод. Волны запахов сгущались над городком. Он был будто обрызган вином.

Ветер трепал легкие сети, развешанные на берегу. Ветер приходил из мглы, где скрывались берега Испании. «За Пиренеями — Африка», — так говорил капитан Ривьер.

Изучение дождя и запахов успокаивало меня. Волновали человеческие глаза, особенно глаза Ривьера — жестокие, белые, с рыжеватыми ресницами. Я заметил, что такие глаза бывают у очень опасных людей — у шулеров, развратников и убийц.

У парикмахера Поля глаза блестели вишнями. В них отражался весь его мир. Поль был франт, жених и сплетник.

У молоденькой жены владельца «Киберона» Люсьены были бледно-зеленые и длинные глаза. Она смотрела в упор и улыбалась только кончиками губ. Она была пренебрежительна, как все женщины, вызывающие вожделение многих мужчин. Подавая кофе, она на секунду прижималась тугим бедром к ноге посетителя — но не больше. Глаза ее почти всегда были полузакрыты и надменно смотрели на залитые вином клеенки. У нее не было детей. Она ни с кем не дружила.

Это была серия береговых глаз. Но оставались еще глаза рыбаков — насупленные и крепкие. Их зрачки никогда не дрожали. Они смотрели собеседнику в глаза, а не в рот, как делают горожане. Они рассматривали

медленно, как бы желая запомнить навсегда. Они умели подмигивать и жмурились от смеха. Только один Ривьер, смеясь, дико таращил глаза.

Особенно были хороши косые взгляды рыбаков. Такими взглядами они награждали иностранцев, лгунов и богачей, приезжавших иногда в Одьерн посмотреть «настоящую» Бретань.

Так прошел месяц. Дожди сменились туманами, а в тумане пришла рыба. Барки рыбаков исчезали во мгле, как призраки. К вечеру рыбаки возвращались. Гавань шуршала от груд скользкой рыбы и трущихся бортами барок. Я записывал уловы. Исполинские плетеные корзины ставились на весы. Под весами натекали лужи соленой воды. В них прыгали креветки с синими усиками.

Фабрика начала работать. Рыбу чистили и варили в прованском масле. Терпкая вонь окутывала океан.

Ривьера наняли взвешивать рыбу. Он явно обманывал фабрику и потакал рыбакам, прикидывая на корзину по полкило. Я равнодушно записывал колонки цифр. Могилевский щелкал на арифмометре. Звук напоминал резкое харканье.

Сдав рыбу, рыбаки выстраивались у кассы и получали деньги. Новенькие бумажки пахли клеем и тотчас же засаливались в карманах брезентовых курток.

«Киберон» пылал всеми люстрами до раннего утра. Патефон высвистывал фокстроты. На рассвете его развязное пение прерывалось старческим звоном колокола. Церковь была пуста, — жителям Одьерна некогда было молиться.

Женщины, работавшие на фабрике, были молчаливы и застенчивы. Когда я проходил через низенькие залы, пропахшие рыбьей желчью, некоторые из них пугались и краснели.

Сардинка кипела в медных котлах. Белое сияние ламп уходило за широкие окна в туман, и фабрика со стороны океана казалась очень красивой.

Вечером работницы долго пересчитывали монеты, прятали их в кошельки, высыпали и пересчитывали снова. Они не верили Могилевскому. Забота морщила их чистые лица.

Приходила вторая смена. Фабрика тихо гудела всю ночь.

Сардинка шла, как Гольфштрем — тугим течением, и рвала сети, похожие на голубую паутину Одьерн горел огнями, дымился, работал и пил, — такие уловы бывают не часто.

Цена на рыбу была понижена по приказу хозяев, сидевших в Париже. Могилевский отнесся к этому равнодушно. Я обозлился. Мне впервые стало стыдно, будто я вместе с хозяевами участвовал в надувательстве рыбаков.

Ривьер теперь часто ночевал у меня. Он меньше пил, и лицо его посвежело. Лиловый галстук с золотыми пионами украшал шею. Бритые щеки отливали синим лаком. Он опять стал похож на капитана корабля: стоя около весов, он широко расставлял ноги и бодро командовал рыбаками, — здесь он был хозяин.

Туман густел. На четвертый день, когда фабрика задыхалась от рыбы, с океана пришел шторм. Он дул прямо в лоб, в скалы и превратил гавань в кипящий котел.

Облака неслись так низко, что их можно было тронуть рукой. Одьерн был окружен гулом и пеной — океан таранами бил в каменные кручи. Ветер рыдал в щелях заборов, и старухи, прячась за углами домов, доили тощих коз.

Я еще утром окончил приемку рыбы. Ворота фабрики были закрыты. Могилевский пришпилил к ним кнопками записку: «Сегодня и завтра фабрика сардинку не принимает». Ветер сорвал ее и унес в скудные поля.

Дряхлый сторож с румяными щечками, выпуская меня за ворота, испуганно пробормотал не то приветствие, не то предупреждение. Я услышал слово «тампет». В нем был напор и неожиданность бури.

Чайки носились над океаном. Изредка до берегов доносился их жалобный писк:

— Диий-уар-кенн! Диий-уар-кенн!

Я вышел за околицу. Воздух был похож на ливень — он не пропускал света. Одьерн, Финистер,

Бретань — все окружающее было как бы заключено в мутную пивную бутылку из зеленого стекла и пахло свежим солодом. Ветер насвистывал на горлышке бутылки варварские мелодии. Маяк Сен-Жюльпис вскидывал к небу зажженные днем бледные лучи, как бы сигнализируя несчастье.

Тьма бурлила над горизонтом и катилась на Одьерн. В этой тьме шторм захлестывал запоздавшие рыбачьи барки. Пять барок осталось в море. Остальные, как куча щенят, жались к каменному брюху набережной. В их качании нельзя было уловить никакого ритма: волны, разбиваясь о скалы, шли вразброд. Только за портом они катились на берег ровными и исполинскими хребтами, глухо грохоча и подминая дно.

Я с трудом шел вдоль берега. Ветер пронес мимо черный шар сухих водорослей. За шаром волочилась веревка. Я схватил ее и задержал убегавшие водоросли. Из расщелины выползло синее от ветра оборванное существо — старик Жак Гран.

Он потерял руку и с тех пор не мог выходить в море. Он сушил водоросли для своей козы и жил настолько скудно, что завидовал рыбачкам, зарабатывавшим двадцать су в день. Ривьер рассказывал мне, что Жак нырнул однажды за вершей, поставленной на омаров, и схватился левой рукой за морскую крапиву. Через неделю у него отсохла рука. Эти басни о морской крапиве я слышал не раз.

Жак Гран схватил веревку и вместе со мной, пробивая головой ветер, потащил водоросли к Одьерну. Глаза Жака неестественно блестели. Одышка не давала ему говорить. Наконец, переждав порыв ветра, он пролаял мне на ухо:

— Три барки возвращаются с моря. Бесполезно. Их разобьет о Варг. Им надо было брать в Дуарнен, дуракам.

Я бросил веревку и побежал к порту. Оглядываясь, я видел Жака, он пятился, перекинув через плечо веревку. Сен-Жюльпис вскидывал над его головой сияющие лучи, как над святыми рыбаками на картинах Шаванна.

Я слышал рев океана около Варга — высокого утеса, похожего на утюг. Барки должны были пройти от него в нескольких метрах.

Сверху я увидел порт, черный от женщин. На пристани лежали, держась за причальные кольца, рыбаки в бурых парусиновых костюмах.

В темноте океана я заметил косой беспомощный парус. Он взлетал, ложился, как птица, на воду и исчезал.

Я сбежал в порт по каменной лестнице. Я увидел Ривьера и парикмахера Поля. Поль стоял в коротком белом халате. Морская сырость, смешанная с ветром, смочила бриллиантами его пробор.

Ривьер сурово взглянул на меня и в ответ на вопрос пробормотал:

— Пока идет «Оркней». Остальных не видно.

Я с изумлением смотрел на Ривьера. Он был сдержан. Он стоял, глубоко засунув руки в карманы, и глядел в одну точку — на парус «Оркнея». Все глядели туда же.

Темнота накрывала Одьерн черным холодным платком. Гул океана усилился. На берегу зажгли смоляные бочки. Их пламя перенесло Одьерн на пять веков назад. Вверху сияла голубоватыми стеклами фабрика, а внизу ветер рвал желтый огонь, густо сдобренный дымом и копотью.

Рыбаки давали свои сигналы, не доверяя цивилизации. Бочки горели не где попало, а в строго рассчитанных местах. Эти места определялись в течение столетий.

Ривьер объяснил: когда люди с «Оркнея» увидят из-за Варга пятый огонь слева, они должны держать на четвертый огонь, чтобы проскочить около подводного рифа. Потом они должны взять к северу, пока не откроются все десять огней, и повернуть на седьмой огонь, — только тогда им удастся миновать Варг и войти в гавань.

Я стоял рядом с Ривьером и вглядывался в темноту, ничего не видя. Кто-то крепко взял меня под руку. Я оглянулся и встретился с длинными глазами Люсьены. Она одевалась не так, как рыбачки. Ветер

рвал ее короткое платье. Блестящие светлые чулки на ее круглых коленях светились в темноте, как два тусклых фонарика. Люсьена сказала тягучим и хриплым голосом:

— Мсье, я решила взять себе ребенка Луи. Мальчику всего два года.

— Какого Луи? — Я был поражен откровенностью этой надменной женщины.

— Луи с «Оркнея». Он не доберется до берега. Я приучу мальчишку ненавидеть море. У, дрянь!

Она плюнула на камни. Огонь метался по ее сморщенному лбу и в глазах, злых и длинных. Люсьена, не глядя на меня, сказала, будто оправдываясь:

— У меня не может быть детей, мсье. Бог не сделал из меня настоящей женщины. Кто знает, сколько простояла я у витрины фотографа, где выставлены карточки малышей. Доктор Альберт говорит, что все в порядке, а детей все-таки нет. Ох, если бы он разбился! Он все равно вдовец. У него останется девочка десяти лет и маленький мальчик.

Ривьер стоял как каменный. Только по скулам, двигавшимся под кожей, было заметно, что он взбешен.

— Я воткнула сотню булавок в статую Мадонны. Это, говорят, помогает от бесплодия. Кюре кропил меня святой водой из Лурда, — и все ни к чему.

Ривьер повернулся к Люсьене. Он сделал широкий жест, будто вытер с лица воду, и крикнул:

— Шлюха! Портовая дрянь! Бог не дал тебе детей, потому что ты перепробовала всех пачкунов на острове, даже таких, как Поль. Ты просишь у бога смерти Луи, чтобы украсть его ребенка, кукушка навыворот! Чего ты пристаешь к иностранцу? Марш в «Киберон» разливать водку!

Ривьер был неузнаваем. Его голос гремел, как на палубе парохода. Люсьена медленно подошла к Ривьеру и плюнула ему в лицо. Сзади захохотал Поль.

Ривьер оттолкнул Люсьену, повернулся к Полю и влепил ему жестокую пощечину. Ярость металась в глазах этих трех людей — Люсьены, Ривьера и Поля.

Океан гремел. Рыбаки упрямо вглядывались в Варг, не обращая внимания на драку.

Поль схватил камень и швырнул в Ривьера. У Ривьера из разбитой губы потекла кровь. Люсьена прижалась к лежавшей на боку разбитой барке. Ее, казалось, веселила эта драка самцов.

Ривьер бросился на Поля, но дружный крик рыбаков остановил его: над молом высоко, выше Варга, взлетел исполинский черный парус. «Оркней» входил в гавань. Он проваливался, падал и дрожал, как подстреленная птица. Человек в клеенчатых мокрых штанах стоял на носу и кричал, крестясь и отплевываясь:

— Эй, молодцы с фабрики, принимайте сардинку!

Этот крик относился к Ривьеру и мне. Люсьена побежала в город. Подымаясь по спуску к фабрике, я видел, как белели впереди ее светлые чулки.

Ночь была отвратительная. Кто-то густо замешал ее, как мутный раствор, на опасностях, плевках океана, плевках женщины, страдающей от бесплодия, ветре, ярости двух людей — Ривьера и Поля, и вековом озлоблении моряков.

Я был взбешен. Чем?.. Я сам не знал. Нелепостью всего, что происходило вокруг, риском из-за десяти франков, чадом, исходившим от фабрики, овечьей кротостью рыбачек.

Могилевский наотрез отказался принять рыбу, — ее некуда было девать.

Луи скомкал на груди брезентовую куртку и пробормотал проклятие. Лицо его блестело от воды и усталости. Он сплюнул и приказал отчаливать.

Порт замер. «Оркней» уходил в Дуарнен — там больше фабрик. До Дуарнена два часа ходу, к тому же шторм стихает.

Луи был человек тяжелого нрава. Спорить с ним никто не решался. На пристань прибежала растрепанная девочка — дочка Луи. Мальчик спал. Девочка пряталась за спинами рыбачек — боялась отца. Она хотела попросить у него перед уходом денег — в доме осталось тридцать су, — но опоздала. «Оркней» взмыл в темноту шумящим парусом, и между его кормой и

пристанью уже выросла река пены: лишь бы обогнуть Варг, а там ветер подхватит до самого Дуарнена.

Я остановился над обрывом в каком-то беспамятстве. Я стиснул зубы от прилива непонятной ярости. Мне хотелось ударить кого-нибудь по лицу во всю силу своих мускулов. Но кого? Могилевского?

Его мучила тяжелая желудочная боль. Он лежал у себя в комнате, укрывшись пледом, и смотрел в одну точку выпуклыми глазами. Он смотрел на муху, ползавшую по спинке кровати. Муха казалась ему посланницей смерти. Она не торопясь подходила к голове Могилевского, останавливалась и, вытянув сухие лапки, терла их одна о другую. Так человек потирает руки, предвкушая сытный обед.

Муха определенно ждала его смерти. Могилевский не спускал с нее глаз. Руки его были налиты тяжелой водой. Он не мог пошевелить пальцами, чтобы прогнать муху.

Он начал дремать. Океан гудел равномерно и глухо, будто бесконечный поезд, мчавшийся за окнами. Потом Могилевский зашевелился и открыл глаза: в долгий гул врезались новые звуки. Как стая псов, затявкали колокола, и, рванув воздух, загремел тревожный фабричный гудок.

Могилевский слышал, как бежали по двору работницы, стуча деревянными башмаками, как колотила в ворота кулаками толпа.

Сквозь туман он расслышал яростные крики: «Смерть!» — вскочил и упал. Наконец-то за ним пришли. Упал он на коврик у кровати, спугнув кота. Он лежал, подогнув ноги, держась за живот, и медленная краска смерти ползла от носа ко рту и глазам.

Когда я вбежал в его комнату, вышибив ногою дверь, Могилевский был уже мертв. В это же время океан выбросил на берег мертвого Луи и его помощника.

Ярость рыбаков докатилась до трупа Могилевского и отхлынула. Толпа бросилась на фабрику. Работницы разбежались. Ривьер влез на пожарную лестницу и крикнул в темноту, где шевелилась мокрая толпа:

— Красавицы, бросайте работу! Пусть сгинет вся сардинка, дьявол ее побери! Ударим по хозяйской голове хорошим убытком!

Толпа ответила гулом. Я остановил динамо и выпустил пар из котлов. Свет погас, фабрика стала.

Снизу, с берега, где рыбаки заворачивали в старый парус тело Луи, подымался розовый свет от костров.

«Оркней» разбился о Варг. Среди ночи тела Луи и его помощника, по прозвищу «Серьга», отнесли в часовню.

Я пошел в «Киберон». Шторм стихал. Океан дышал, как тяжелобольной. У ворот фабрики на погасшем фонаре болтался на веревке повешенный кот Могилевского. Кот вертелся и как будто мяукал.

В «Кибероне» было шумно и тесно. Мне уступили место. Шел разговор о забастовке. Ривьер владел умами. Он говорил резко и точно. Вино и волнение преобразили его лицо. Он казался даже красивым. Он мстил теперь за всю свою жизнь.

— Пришло время расплатиться за выпитое, — сказал он мне. — Я покажу, как следует мстить, молодые люди. Я не позволю вам выходить в море, пока хозяин не приползет в Одьерн из Парижа на брюхе и не подпишет вот здесь, в «Кибероне», все ваши условия. Первое — принимать всю рыбу, до последнего кило, и не сбавлять на нее цены. Второе — повысить заработок девочек на фабрике. И третье — вносить каждый год в общину рыбаков по тысяче франков на содержание старикашек и семей утонувших.

Я не знал тогда, что присутствую при начале знаменитой забастовки, охватившей вскоре все побережье.

Море опустело. Париж остался без сардинок.

Доктор Альберт протискался ко мне между столиков и сказал:

— Вы знаете, есть жизнь и есть смерть. Математик сказал бы, что жизнь — это плюс, а смерть — это минус. Но есть люди, которые не живут, но еще и не умерли, — люди, пришедшие к нулю. Таков был Ривьер, не правда ли? А теперь? Что случилось

с ним? Он превратил этот рабочий трактир в конвент.

Кто знаком с забастовкой рыбаков, тот знает, что доктор был прав. Океан опустел. На нем два месяца не было ни единого рыбачьего паруса, он только бесплодно грохотал у берегов, и берега гремели гневом. Имя Ривьера — внезапного вождя забастовки — носилось из дома в дом, как стремительная чайка.

Какая блестящая и умная судьба ждет людей, нашедших правильный вывод из своей разодранной в клочья жизни!

Утром мы пошли на кладбище. Все возбуждало беспокойство — каменные кресты, поросшие желтыми лишаями, ветер, открывающий по временам клок безжизненного неба, куртки рыбаков цвета запекшейся крови, блеяние коз и растрепанные над лысиной волосы Ривьера.

Неуклюжий кюре, пьяница и балагур, выкрикивал возгласы на грубой латыни:

— Мы молим тебя за души рабов твоих — Луи Тибо и Франсуа Перришара, которым ты приказал покинуть этот мир.

Дым из кадильниц пахнул жженой травой. Колокола сонно тявкали, будто они не выспались после тревожной ночи.

Черные платья рыбачек и белые чепцы были вечным трауром по всем, утонувшим в прошлом, и всем, кто утонет в будущем. Никто не плакал. Это было не в обычаях Одьерна. Луи был вдовец, а Франсуа — одинокий.

Жак Гран опирался на заступ. Слеза неохотно сползла по его сизому, озябшему носу. Он привычно оплакивал всех.

— Cibavit eos ex apide frumenti... — гнусаво сказал кюре над гробами. Кружевное его одеяние казалось сотканным из пеньки. Седина проступала почерневшим серебром на обветренных и круглых щеках. Кюре сделал паузу и громко и строго окончил:

— ...et de perta melle saturnavit.

Парикмахер Поль кадил и громко вскрикивал:

— Amen!

Я не совсем еще забыл латынь. Я перевел последние слова кюре и удивился.

Они на редкость подходили к одьернской действительности. «Ты напитал их шелухой пшеницы и насытил медом из скал». Слова богослужения звучали издевательством.

Кто загнал людей на этот клочок земли, бесплодной от ветров, жесткой, как терновые шипы, и угрюмой, как вечная осень? Нужда стояла над Одьерном, такая же всесильная, как океан.

Возглас о вечной памяти совпал с грохотом щебня по крышам гробов.

Могила росла.

Я бросил на нее вместе с остальными горсть каменистой земли.

1933

ЧЕРНЫЕ СЕТИ

Над островом стояла осень. Она притаила дыхание, — дым немногих пароходов, дремавших в порту, величественными колоннами исчезал в небе. Легкие флаги висели тяжело, как знамена.

Случилось то, о чем Семенов втайне мечтал. Из-за поломки руля пароход задержался во Флиссингене — самом пустынном и самом безмолвном из всех голландских портов.

Флиссинген умер. Вода в его гаванях была прозрачная, как в колодцах. По горизонту тянулась полоса черного дыма—то была большая морская дорога на Антверпен и Роттердам. Но даже в бинокль нельзя было различить корпуса океанских пароходов, величественных, как соборы. Они проходили мимо, забыв о былой славе Флиссингена, торговавшего в старые времена черным бархатом, золотом и бочками для испанских вин.

Семенов на пароходе был человеком случайным. Он не был моряком, но принадлежал к немногочисленному разряду людей, терзающихся всю жизнь мыслями о море. Он говорил о нем очень много. На вопросы собеседников, почему он не стал моряком, Семенов ссылался на плохое зрение. Он был близорук.

Семенов попал на пароход «Большевик» пассажиром. Первые недели плавания принесли разочарование. Морские переходы казались монотонными, а стоянки

в портах были слишком коротки. Только во Флиссингене Семенов вздохнул и огляделся. Можно было сидеть в кофейной, не прислушиваясь к пароходным гудкам, не бросая недокуренных папирос, не оставляя официанту неразмененную бумажку без сдачи. Семенов понял, что наблюдательность требует неторопливости.

Наблюдая, Семенов откладывал в памяти отдельные факты, и из них, наконец, сложилось твердое на всю жизнь впечатление о Флиссингене, как о городе черных сетей. Флиссингенские рыбаки всегда возвращались с пустыми сетями, и сети эти были черного цвета. Пустыми они были потому, что рыбаки сдавали рыбу в море на поджидавшие их шхуны, а черными — потому, что их пропитывали смолой. Шхуны брали рыбу в море, чтобы скорее доставить ее в ближайшие порты, и эта торопливость еще больше подчеркивала медлительность жителей Флиссингена.

Недаром над дверью одного из домов Семенов прочел надпись, высеченную в каменной плите:

«КАК ЭТОТ ГОРОД, КОГДА-ТО СТОЛЬ НАСЕЛЕННЫЙ,
СДЕЛАЛСЯ ТАКИМ ПУСТЫННЫМ В НАШИ ДНИ?»

Капитан «Большевика» Лобачев объяснял умирание Флиссингена очень просто. По его словам, морские порты были самыми недолговечными городами. Море меняет глубину, берега дышат, порты или мелеют, или поглощаются морем, и нет такой силы, которая остановила бы это движение. Лобачев перечислял Семенову целый список умерших портов, начиная с Карфагена и кончая Таганрогом. Богатые порты превращаются в пруды, где мальчишки ловят рыбу. От рассыпанного когда-то в изобилии зерна их набережные обращаются в поля, в цветущие лужайки, а гавани становятся приютом для разоруженных и догнивающих свой век парусных судов.

Лобачев был прав. Каждое утро Семенов видел толпу старух из богадельни, половших траву на набережной. Флиссинген сопротивлялся неизбежному, но трава росла буйно, как на кладбище. Старухи не поспевали за ее ростом. Они пололи, сидя на маленьких скамейках, низко опустив головы, и часто засыпали.

Часть города была ниже моря. Ее защищали громадные валы, залитые цементом. Около валов жили сторожа, их называли «строителями плотин».

Город был населен рыбаками, старухами и «строителями плотин» — как будто больше никого не было. Один только раз Семенов встретил низенького и плотного человека с живыми глазками, похожего на Бальзака. Жилет его был расстегнут и держался на одной пуговице. Он подсел к столику Семенова в кофейной и завел по-французски разговор о советской России. Это был рыбопромышленник Ван-Теден. Он насмешливо слушал Семенова и ушел пренебрежительно и внезапно. Потом Семенов узнал, что Ван-Теден разорился после войны, когда рыбаки начали сдавать улов английским шхунам.

Второй достопримечательностью города была сумасшедшая рыбачка Христина. Она бродила по порту и плакала, когда ее окликали. Семенов часто встречал ее на валах. Она сидела на траве и смотрела на Семенова светлыми глазами, теребя на шее коралловую нить.

Но безветрие не могло длиться бесконечно. Наступил день, заполненный сыростью и облаками. В серой воде качались отражения пестро-раскрашенных — зеленых, желтых и синих — домов на набережной. Набережная казалась гигантской, разукрашенной кормой старинного корабля. Рыбаки ушли за сардинкой.

Уют иссякал. Только в кофейной, где раньше всех зажигали яркие лампы, он остался у маленьких столиков и вселился в кошку, спавшую на прилавке.

Семенов укрылся от сырости в кофейную. За окнами шумно пронеслись чайки. Несмотря на ранний час, было темно.

Семенов нервничал. Он заметил, что походка горожан стала торопливей, что все пароходы на рейде повернулись кормой к городу и носом к морю и что черные облака несутся все стремительней, разрываясь на грязные клочья. Кроме того, в кофейной он был один. Очевидно, приближалась опасность, и только Семенов, как чужестранец, не подозревал о ней и позволял себе пить остывающий кофе. Хозяин исчез из-за стойки. Его глухой голос что-то торопливо доказывал за дощатой стеной.

Семенов вспомнил о полях гиацинтов и левкоев, виденных им на окраинах Флиссингена. Теперь ветер уносил их густой и нерастворимый запах в глубь страны. Этот запах был признаком приближающейся бури и вызывал у жителей тревогу. Своеобразие этого штормового сигнала, выдуманного Семеновым, ему очень понравилось. Он закурил и, следя за струями синеватого дыма, начал развивать эту мысль: если в глубине страны запахнет левкоями, значит шторм идет с запада, потому что жители запада разводят преимущественно левкои, если гиацинтами — с севера, а если лилиями — с северо-востока.

Мальчишеское это занятие было прервано ударом ветра. Вдоль улицы пронесся дым из труб и сухие листья. Тяжелые и редкие капли дождя прихлопывали листья к земле и перерезали наискось водяными шнурками окна кофейной. Нарастающий гул доносился со стороны моря. В нем захлебывался визг пароходных сирен. По улице пробежал, нагнувшись, человек в черном. Он колотил в медный гонг и кричал однообразно и тревожно:

— Nood! Groste nood!

Семенов оцепенел. Этот крик — «Несчастье! Большое несчастье!» — был сигналом для жителей Флиссингена. Население бросилось на валы. Море грозило прорвать их и затопить рыбачьи кварталы.

Семенов вышел на улицу. Воздух был холодный и зеленый. Ветер сдувал набок тяжелые юбки женщин. Женщины бежали к морю, таща за руки детей. Мужчины то бежали, то останавливались, чтобы закурить трясущимися руками трубки. Все население должно было быть на валах.

— Nood! Groste nood!

Семенов тоже бежал к валам, глотая острый воздух, смешанный с дождем. Дождь был горько-соленый. Только потом Семенов понял, что это не дождь, а морская вода. Ветер подымал ее и швырял пригоршнями на город. В сумерки Семенов видел очень плохо, пробегавшие люди казались разбухшими призраками. Темнота была страшнее бури.

Семенов взобрался на валы. Улицы были полны

бегущих, но на валах толпа стояла густо и безмолвно; она оцепенела от бури. Черный ветер летел от горизонта. Белая пена била с громом в потрескавшийся цемент и пятнала чернильную ночь. Семенов испытал страх, потом чувство одиночества, наконец желание бежать. Стоять лицом к лицу с таким штормом было свыше его сил.

На рейде пароходы, как слепые щенки, окунали носы в волны. Семенов об этом догадывался, видел же он только их желтые фонари, дававшие столько же света, сколько тлеющий фитиль.

Семенов вернулся в город. На перекрестке улиц, где ветер создавал гигантские водовороты из брызг и листьев, он услышал пронзительный крик. Так кричат подстреленные кролики и дети, попавшие под трамвай. Что-то темное лежало у дерева. Семенов нагнулся и узнал Ван-Тедена. Голландец как бы спал на животе, его крахмальный воротничок поднялся на голову и сжимал ее, как наушники телефонистки. Между воротничком и сорочкой в затылке торчала рукоятка кухонного ножа. Ван-Теден был мертв.

— Убийство! — крикнул Семенов, вытирая руки о полы пиджака, но никто не отозвался. Шторм гремел водопадом, в домах не было огней, и убийство казалось совершенно естественным в эту ночь гибели Флиссингена. Крик повторился, но уже дальше, и Семенов узнал голос сумасшедшей Христины.

Буря длилась двое суток. Семенов провел их на пароходе в тесноте и неуюте. Из всех щелей дуло. Над мачтами неслось грязное небо. Зеленая вода в гавани, скомканная ветром, и селедочный цвет дня нагоняли тоску. По словам Лобачева, это была настоящая «зеленая тоска», от нее выцветали глаза и теснило дыхание.

На третий день шторм стих. «Большевик» готовился уходить из Флиссингена. Семенов последний раз пошел в кофейную. Из-за прозрачных облаков солнце светило, будто громадный матовый шар. К полудню туман накрыл город тишиной и теплом.

В кофейной сидел сонный хозяин с красными от усталости веками и сухой еврей — старичок в очках. Старичок оказался бывшим шлифовальщиком линз из

Амстердама. Он жил у сына во Флиссингене. Отхлебывая кофе маленькими глотками, он философствовал. Очевидно, власть Спинозы — шлифовальщика оптических стекол — еще не выветрилась из умов амстердамцев.

Говорили об убийстве Ван-Тедена и о том, что, слава богу, море не прорвало валы.

Ван-Тедена убила Христина. Старичок рассказал Семенову историю ее сумасшествия, но Семенов понял едва половину. Рассказ старичка выглядел примерно так:

У нее был муж рыбак. Его звали «барышней», потому что он был очень стеснительный. Он сдавал улов Ван-Тедену. Потом родился сын — такой же робкий мальчик. Его всегда обижали чужие дети. Он ходил за ними следом и смотрел издали, как они играют. Одна Христина в их доме была шумна и жизнерадостна. Она одна смеялась.

— Угу! — подтвердил хозяин, засыпая за стойкой.

— Война и для Голландии была тяжелым бременем. Рыбаки опасались уходить далеко в море. Уловы пали. Вместо селедки пошла в ход сардинка. Селедки не было. Па-де-Кале перегородили сетями, чтобы ловить подводные лодки. Рыба не любит новшеств на своем пути, потому она и ушла от здешнего берега.

— Совершенно верно, — пробормотал хозяин, просыпаясь. — Не дать ли вам чего-нибудь покрепче, чем кофе?

Взяли абсент — чуть желтоватый в чистых блестящих стаканах. У старичка на глазах навернулись мутные слезы.

— Вот видите, — сказал он и задумался, рассматривая свою серую ладонь. — Вот видите, к чему это привело — к нищете. Сети, кроме воды, ничего не приносили. Барки возвращались в порт, как похоронное шествие. Что оставалось делать, как не брать авансы в счет будущих милостей господа бога. И рыбаки брали, пока Ван-Теден их давал.

— По-разному, — добавил хозяин.

— Да, Петер, по-разному. У кого были сети получше и барка покрепче, тем он давал больше. Жизнь

человека зависела от прочности снастей. У мужа Христины сети были старые, пароход порвал их, заблудившись у берега, а барка его была тяжела на ходу. И Ван-Теден почти не давал ему денег вперед. Вы ведь из России, и у вас, говорят, очень страшные зимы. Здесь зима тоже невеселая. Правда, морозов нет, но сырости больше, чем надо. Зимой вы можете весь день вытирать руки полотенцем, и все равно они будут красные и сырые. Дом надо хорошо протапливать. У Христины не было дров, и, конечно, у мужа начался ревматизм, а мальчик схватил воспаление легких. Муж Христины пошел к Ван-Тедену за авансом (как он говорил, за последним авансом!), но Ван-Теден сказал ему:

— Иди в попечительство для бедных, если ты не можешь поймать рыбы даже на флорин в неделю.

— Да, он так сказал, и он был прав, — промолвил хозяин.

— Тогда Христина начала очень ссориться с мужем. Она даже выгоняла его на улицу. Она требовала, чтобы он шел в море, а когда он брел к своей барке, она бежала за ним и возвращала домой, выходить в море было совершенно бесполезно. Бывает безденежье, когда нет спичек, чтобы зажечь очаг. У людей мутится в голове при мысли об одном флорине. Им хочется уснуть, спрятаться, остаться одним. Они идут занять денег к соседу, красные, как кирпич, но не решаются попросить, заранее зная, что им откажут, и вместо этого говорят о военных новостях и других глупостях. Человек теряет веру в себя. А жена дома ждет с минуты на минуту, потому что ребенку надо купить поесть. Проходит час-два, человек томится, не решается попросить и не решается уйти. А дома — холод, полное отчаяние и мальчик просит молока. Правда, доктор давал им немного денег, но их хватало только на вчерашний черствый хлеб. Вы понимаете, каждый день человека уже с самого рассвета встречает мысль: если сегодня я не достану денег, то завтра—смерть. Вот так было с мужем Христины. Мальчику становилось все хуже. Тогда муж Христины ушел украдкой из дома и вышел один в море. Не думаю, чтобы он пошел за рыбой. Он ушел,

чтобы хотя три часа не видеть слез Христины и не слышать, как хрипло дышит сын.

— Это было в тысяча девятьсот шестнадцатом году, в декабре, — добавил хозяин.

— Да. Это было в декабре. Если ты помнишь, Петер, к вечеру сорвался шторм, и все мы бросились на валы. Одна Христина не пришла. В ее доме было темно и тихо. Конечно, он не вернулся, — в ту ночь сорвало с якорей даже пловучие маяки, а один из них потонул. Христина не выходила два дня. Соседки поняли, что случилось несчастье. Они вошли в дом и застали ее с мальчиком. Она лежала и отогревала его, а он уже совсем умирал.

— Почему ты не пришла к нам за хлебом и огнем? — спросили соседки.

— А вдруг бы он умер один, пока я ходила бы к вам, — ответила Христина. — Ему одному так страшно умирать, он не отпускает меня.

Тогда мы поняли, что она сошла с ума. Мальчик умер в тот же день, муж утонул или утопил себя в море — не знаю, а она сошла с ума. Не дай бог никому такого конца!

— Нельзя сумасшедших, даже таких тихих, как Христина, оставлять на свободе, — сонно сказал хозяин. — Этот шторм ей напомнил прошлое, и она убила невинного человека.

— Да... да... невинного,—пробормотал шлифовальщик. — Невинного, как ягненок. Ты прав, Петер.

Густой и протяжный гудок задрожал над городом. Семенов поднял голову и прислушался, — это гудел «Большевик». Он попрощался и пошел на набережную.

«Большевик» отвалил через час. Над островом моросила осень. Пестрые дома почернели. В церкви невесело, по-старчески, звонили колокола. Там шло отпевание Ван-Тедена, и Семенов подумал: «Как этот город, когда-то столь населенный, сделался таким пустынным в наши дни?»

1934

ЖАРА

(Записки лейтенанта Жиро)

После матросского бунта в Бресте министр решил проветрить команду, и наш крейсер «Примоге» был отправлен в Портсмут на праздник английского флота. И вот мы в Англии. Здесь небо покрыто серой пленкой, а солнце светит, как белый фонарь.

Сегодня я видел, как умывались английские офицеры. Дольше всего они моют носы. Они кажутся легкими и жестковатыми, эти офицеры, как высушенные крабы. Английские матросы молчат или играют на молах в литой мяч.

Город прошивает сизое небо белыми нитями дымов. Дым подымается высоко к небу, — над влажными полями Англии уже две недели стоит безветрие.

Флот дымит. Вчера он ходил в море: в отвалах свинцовой воды, в жирном дыму и в сотнях сигнальных флажков. Сегодня у нас был банкет. Английские офицеры пили, помалкивая, виски, пили долго и крепко. Воротники душили их жилистые шеи. Они клекотали, как куры, и щурились на наших матросов. После ужина они пели крикливые песни. Должно быть, так пели еще во времена Вильгельма Завоевателя. Потом они метко плевали в световые люки.

Матросы молчали. Только боцман Кремье сказал мне тихо:

— Люди волнуются.

Он посмотрел на англичан, и лицо его потемнело. Я подошел к лейтенанту Ваньо и шепнул ему на ухо:

— Люди волнуются. Прекратите как-нибудь это.

— Ха! — сказал Ваньо, откидываясь на спинку кресла. — С каких это пор на крейсере завелись барышни? Что я могу им сказать! Британцы! — добавил он зло. — Вы понимаете, Британия, Ве-ли-ко-британия! Британский флот, владычица морей, разрази ее тысяча громов! Они хорошо умели прятаться во время войны в резерве, эти сухопарые гуси! Ничего не поделаешь. Скажите людям, что надо терпеть. Мы — их гости. Кроме того, они наши союзники.

Говорить с ним было бесполезно. Он был пьян.

После банкета матросы мыли швабрами палубу. Казалось, они хотели протереть ее насквозь. Они сопели от злости и молчали. Я не люблю, когда команда молчит. Это опасно. Простой человек молчит, когда запас ругательств исчерпан, зубы стиснуты и кулак готов раздробить челюсть каждого, кто менее взбешен, чем он.

Так они молчали в Бресте, когда прошел слух, что «Примоге» пойдет в Китай. Они молчали два дня, а на третий вылили свой суп в море, отказались спускать вельботы для гребного учения и стали собираться кучками около орудийных башен. К вечеру их удалось успокоить: командир Пелье выстроил команду и прочел телеграмму министра о том, что «Примоге» отправляется в Портсмут на праздник английского флота. Команда повеселела.

После банкета я слышал разговор у кубрика.

— Поджарые черти! — говорил бомбардир Гамар со своим смешным бретонским акцентом. — Они хотят слопать все. Они суют свой чванный нос во все чужие горшки, пока им его не расколотят.

Ночью мы ушли из Портсмута. Миноносец «Ламотт Пике», прикомандированный следить за нами, шел

следом и отстал только под Брестом. В Ламанше стояла сухая ночь. Звезды поблескивали стекляшками моноклей. Только сырой ветер из Бискайи разогнал этот британский дурман.

К рассвету Брест проплыл на горизонте куполом голубого огня. Мы взяли на юг.

— Куда мы идем? — спросил я Ваньо.

— В неизвестном направлении. У командира есть запечатанный приказ. Я думаю, на Мадагаскар.

Звонили склянки. Туман широкими полосами качался над Бискайским заливом. Залив был тих и сер.

Средиземное море встало перед нами лиловой стеной. Светило прозрачное солнце. Ровно и упорно дул ветер из Африки. Мокрая палуба просыхала в одну минуту.

К полудню небо розовело от зноя. Дни влеклись бесконечно, оживляемые лишь пеной у бортов и грядами желтых гор на горизонте. Мы проходили Мальту.

«Мадагаскар» — это слово не сходило с языка матросов. Механик Жамм бывал на этом острове и рассказывал небылицы.

— Там леса, — говорил он, умывшись после вахты и сидя под тентом, — свешиваются прямо в море. Мы купались и держались за лианы, как за канаты для неопытных пловцов в Биаррице. Рыбы? Там есть рыба «сизирь». Она лиловая, а перья у нее черные, как китайский лак. Пссс... Ее ловят на распаренные какаовые зерна. Там такая жара, что потеют не только люди, но и военные корабли. Ого, это номер! Вам будет хорошая работа — вытирать каждый день крейсер с мачты до ватерлинии губкой, смоченной в уксусе. Золотая страна!

— Жамм говорит, — передавали в кубрике, — что лучшая пища на Мадагаскаре — рагу из попугаев с соей.

— Жамм говорит, что всем будут выдавать от лихорадки по бутылке абсента в день.

— Жамм говорит... Жамм говорит...

Ваньо позвал Жамма и сказал ему:

— Проглоти язык! Это не детский сад, а военный корабль. Ты взбудоражил людей своим дурацким Мадагаскаром.

Жамм посопел и ответил:

— Ладно. Но с каких это пор на корабле нельзя поболтать о том и о сем?

Жамм вышел, хлопнув дверью каюты сильнее, чем следует. С тех пор он изредка делал страшные глаза и говорил шепотом:

— Пссс... На Мадагаскаре не жизнь для Ваньо. У таких собак там пухнет от злости печень. Она становится величиной с дыню. Против этой болезни нет никаких лекарств. Она называется «цек».

И матросы, подмигивая друг другу на командира Пелье и лейтенанта Ваньо, щелкали языками:

— Цек! Цек!

Около Порт-Саида крейсер застопорил машину. Было утро. Ветер не осязался кожей, а был виден простым невооруженным глазом. Он налетал теплыми волнами от берегов Греции и смывал с загорелых лиц последние остатки сна. Ветер пах мятой. Смех был слышен так отчетливо, будто мы стояли в тесной и жаркой гавани. Спустили на воду парус, и команда купалась.

Я бросился в воду, нырял в упругие подводные миры, пропитанные зеленым светом. Море мыло прозрачной влагой серую броню крейсера. Красноватый отблеск африканских песков подымался к зениту, как предвестник тяжелой жары.

Жамм фыркал, как кашалот, и кричал:

— Купайтесь, мальчики! Завтра вползаем в настоящее пекло.

Купанье кончилось. Я вышел на палубу и лег на баке. Крейсер, медленно работая винтами, втягивался в искрящуюся мглу.

Ко мне подошел Жамм.

— Жиро, — сказал он хрипя, — я подохну от духоты. Только что я слышал разговор командира с Ваньо. Нас гонят в Китай.

Я вскочил. Кровь ударила в глаза.

— Молчи! — сказал Жамм.

Он махнул рукой и пошел в машину.

Из Аравии тянуло зноем, как от постели больного тропической лихорадкой. В Суэце мы видели последнюю зелень — пыльную акацию около портовой конторы. Она дрожала маленькими листьями и, казалось, просила пить.

Африка развернула над нами пылающее и страшное небо. Мы шли в ловушку из лихорадки и черной смерти.

Первый закат в Красном море был полон песчаной мути. Легкие ссыхались. Вода со льдом плохо освежала сердце. Пальцы судорожно хватали потный стакан. Удушье ватным одеялом накрывало нас и гудело в ушах.

Доктор Равиньяк, высокий и желтый, как высохший тростник, встретил меня на палубе и спросил:

— Жиро, есть ли у вас уверенность, что в трюмах не чумеет какая-нибудь старая крыса?

— Конечно, нет.

Он вздохнул.

— Мы проходим Массову — легендарный источник чумы. Здесь крысы с берега заплывают на корабли.

Было бы легче, если бы крейсер не так дымил. Запах серы смешивался с испарениями ночи, хотелось разорвать грудь и обдать ее ветром. Волны скреблись о борта, как десятки чумных крыс.

К утру заболел кочегар. К полудню слегло еще пять матросов. Кровь густела, как клейстер, и сердце плохо проталкивало ее в артерии.

Боцман Кремье пришел ко мне в каюту. Он долго отдувался, прежде чем начать говорить.

— Господин офицер, — сказал он, и усы у него задрожали. — Куда нас гонят через этот асфальтовый чертов котел? Люди измучены. Только что у штурвального Пома пошла горлом кровь. Почему командир не объявит, куда мы идем?

Он пристально взглянул на меня.

— Завтра, — я повернулся к нему спиной, перебирая на столе книги, — мы выйдем в океан. Там будет легче. Куда мы идем, я не знаю.

— А не в Китай?

— Не знаю.

— Ну, ладно.

Кремье ушел.

Утром мы стали на якорь в Джибути. Никто не может представить себе этот низкий песчаный берег, этот исполинский смертоносный пляж, добела раскаленный солнцем. Дома в Джибути похожи на пляжные кабинки. Их деревянные стены прогреты и светятся кровавыми жилами смолы.

— Хорошая увертюра к Китаю, — сказал мне Жамм, когда мы спустились на берег и шли к дощатому бару, где продавали воду. — Командир Ваньо и доктор очень боятся чумных крыс, — продолжал он. — Может быть, поэтому они ходят с револьверами в карманах. Как вы думаете, а? Может быть, поэтому они плохо спят и подслушивают, что говорят матросы? Вчера командир сказал доктору: «Еще два дня такой жары и тревоги, и я пущу себе пулю в лоб». Они что-то затевают, я это чувствую, хотя не имею никаких доказательств. Крысы, очевидно, хотят захватить корабль. Редкий случай в истории республики.

— Жамм, — ответил я, — это не так просто, как кажется. Из этой жары может родиться бунт, убийство или массовое помешательство. Нас гонят в Китай. Дольше скрывать невозможно.

Жамм не ответил. Когда мы пили воду в баре, он показал с террасы на юг и промычал:

— Вот там — свежий воздух. Там Абиссиния. Чудесное плато, леса и много воды. Там нет лихорадок. Я бы пошел туда пешком и с каждым километром дышал бы все глубже. Я бы не остановился, пока не увидел бы первую реку. Не правда ли, у вас тоже тоска по воде?

— Да, Жамм. Тоска по воде, где плещется рыба.

Жамм смотрел щелками серых глаз на пустыню. Красный песок разрезал горизонт лезвием бритвы.

В гавани железной крысой лежал на якорях «Примоге». Тонким слоем пыли был покрыт деревянный столик. Жамм написал на нем пальцем: «Сет».

Это была его родина.

Вечером лейтенант Ваньо выстроил команду на баке и объявил, что мы идем в Аннам для несения сторожевой службы. Сразу отлегло, — лишь бы не в Китай.

Ночью мы вышли в океан. Африка тонула в кромешной тьме и гуле прибоя.

От океана подымался пар. Я сидел в каюте. Пот стекал по манжетам на страницы тетради, в голове ныла хина, и хотелось пить без конца холодный сидр из глиняной кружки.

Из Индии шел не ветер, а сладкий сироп. Мысли увязали в нем, как мухи в липкой бумаге.

Пелье отдал секретный приказ: следить за командой и быть начеку.

— Мало ли что может прийти в голову людям от этой духоты, — сказал он за столом в кают-компании.

После Цейлона крейсер замолк. Люди перестали смеяться. Они молча терли палубу, молча ели, молча отбывали вахты и возились у раскаленных топок.

В густой воде чудовищными жаровнями пылал закат. Океан качал нас неустанно и зло. Мы потеряли веру в незыблемость земли. Жамму снились дурные сны.

— Угля мало, — говорил он с тревогой. — Жиро, я становлюсь идиотом, но мне кажется, что Сингапура уже давно нет на свете и мы напрасно лезем вперед.

— Это от жары, — ответил я.

За обедом доктор Равиньяк затеял с офицерами разговор о климате Сайгона.

— Этот воздух, — сказал он, — слишком густ для наших легких. Он трудно всасывается и вызывает малокровие мозга. Люди или тупеют, или впадают в буйство и крушат направо и налево. Необходимо дышать через распираторы, охлажденные льдом.

После обеда командир вызвал команду наверх. Люди собирались, хмурые и недоверчивые.

— Дети мои, — тихо сказал командир, почесывая бородку, — завтра мы станем на рейде в Сингапуре. Переход через океан окончен. Что говорить, — он был

труден. Я думаю, что каждый рад оставить его позади. Вечером в кают-компании мы устраиваем маленький банкет по этому случаю, и я приглашаю вас выпить с нами немного вина и кофе.

Матросы молчали. Жамм делал мне страшные глаза.

— В чем дело? — шепнул я ему.

— От жары он стал демократом, — Жамм подмигнул на офицеров, не менее матросов пораженных этим приглашением.

— Ну-ну, — сказал Ваньо добродушно. — Приходите, ребята. Боцманы разобьют вас на смены, чтобы не было слишком тесно.

Вечером мы собрались на этот банкет. Матросы перешептывались, стоя у стен. Ваньо хлопал то одного, то другого по плечу, и они в ответ улыбались, показывая белые зубы.

— Из вежливости, — сказал мне Жамм. — Только из вежливости они скалят зубы, уверяю тебя, Жиро. Посмотрим, что будет дальше.

Вино развязало языки. Бомбардир Гамар запел бретонскую песню. Матросы дружно подхватили ее:

Святая дева, храни моряков
От стран горячих и смрадных,
От гаврских и брестских собак-шкиперов
И от мундиров парадных.

Святая дева, храни моряков
От старых служак-адмиралов,
От гаврских и брестских собак-шкиперов
И от кюре из Сен-Мало.

— К черту! — крикнул доктор Равиньяк. — Выпьем за колонии! Представьте себе, Жамм, мощь этих жарких и богатых земель, принадлежащих Франции: Сахара, Тимбукту, Кайенна и Сирия, Аннам и острова Полинезии. Латинская раса всюду несет культуру, рожденную во Франции. В Сахаре вы увидите «ситрены» и номера «Иллюстрасион», выгорающие от солнца. В Сайгоне вы можете купить последнюю книгу Бенуа и встретить школьного товарища, с которым ловили перепелок на полях и удили рыбу в тинистых речках. Океаны становятся домашними, как бульвары. Это называется — иметь колонии! За это я пью.

— В Сирии, — в тон ему продолжал Жамм, — можно увидеть бомбометы последней марки заводов Крезо. Равиньяк, я был в Сирии с генералом Серрайлем. Не дай бог, чтобы французам кто-нибудь вколачивал культуру так, как мы вколачиваем ее арабам.

Матросы засмеялись.

— Механик Жамм, — позвал Ваньо, — пойдите сюда.

Он взял Жамма под руку и увел из каюты. Постепенно нарастал шум. Матросам разрешено было курить. В иллюминаторы дул ветер от Суматры, мы шли проливом. На побережьях горели маяки.

Боцман Кремье был красен. По шее у него струился пот.

— Неспроста, — сказал он мне, — этот идиотский банкет. Заметьте, матросы не пьют. Команда не верит Пелье.

— Тише! — вдруг крикнул Ваньо. — Командир желает говорить.

Пелье встал. В руке он держал бокал. Старческое его лицо с острой бородкой вежливо улыбалось, как на светском приеме.

— Матросы! — сказал он. — Вы слышали, что говорил здесь доктор Равиньяк? Сердце каждого француза бьется при мысли о мощи Франции, о великих колониях этой прекрасной страны. Мы призваны охранять одну из этих колоний — Аннам, где было пролито столько французской крови и столько молодых матросов погибло от лихорадки. Мы высушили аннамские болота. Цветущие поля этой страны сейчас так же безопасны, как и любая улица в Париже. Но Восток коварен. В Китае происходит анархия, резня и междоусобица. У границ Аннама бушует кровавое море. Мы получили назначение охранять Аннам. Но лучшая оборона — всегда в наступлении. Поэтому не удивляйтесь, если через четыре дня вы будете в китайских водах.

Матросы молчали. Постепенно они начали исчезать из каюты. Через десять минут она была пуста. Пелье сел за стол и хрипло сказал:

— С завтрашнего дня крейсер переходит на боевое положение. За малейшее недовольство — каторга.

Так и объявить команде. Мне надоела возня с этими истеричными бабами. Кто мы — моряки или бесштанные философы с Монмартра, черт возьми?

Он ударил ладонью по столу.

Я вышел на палубу. Ночь неотступно шла за кормой. Там широко шумела вода. Берега Суматры обозначались тусклыми огнями.

Вот они — эти китайские воды, ставшие роковыми для лейтенанта Ваньо.

Вчера вечером он пошел на корму проверить лаг. Ему доложили, что лаг перестал отзванивать мили. Он был навеселе, слишком перегнулся через борт к лагу, потерял равновесие и сорвался в воду, не успев даже крикнуть.

Машины застопорили только через две минуты. Спустили шлюпки. Белая стрела прожектора вонзилась в гущу азиатской тьмы. Матросы бегали по палубе, перекликаясь, вахтенные свистели, боцмана ругались. Пелье взбежал на мостик и скрипел проклятья. Ваньо не нашли.

— Кто из офицеров был на корме во время гибели Ваньо? — спросил Пелье вахтенного.

— Кажется, никого...

— Отвечайте точно! — Пелье ударил кулаком по планширу. — Без всяких «кажется»!

— Механик Жамм.

— Позвать!

Жамм пришел.

— Доложите, как это случилось!

Жамм стоял навытяжку. Он был бледен.

— Лейтенант был пьян, — ответил он резко, — и потерял равновесие. Осмелюсь доложить, что лейтенант нарушил ваш приказ об особой бдительности офицеров в китайских водах. Он был неосторожен.

— А не в китайских водах этого бы не произошло? Так я должен вас понимать?

Жамм молчал.

Пелье отвернулся и пошел в радиорубку. Застреко-

тало радио,—командир говорил с флагманским кораблем, стоявшим на рейде в Шанхае.

Ночью ко мне в каюту постучали.

— Кто там?

— Кремье.

— В чем дело?

— Механик Жамм срочно просит вас к себе.

Я встал и впустил Кремье.

— Жиро, — сказал он мне, не называя моего чина. — Команда верит вам и механику Жамму. Матросы просят вас выйти. Надо потолковать. Мы пройдем незаметно. Всюду стоят свои.

Я оделся, и мы вышли. Я не узнал крейсера. Такой простой и мирный днем, изученный до последнего винтика, он был мрачен и накален ненавистью и тревогой.

Я понимал, что теперь отступления нет. Если даже я не буду согласен с матросами, то одно мое присутствие на этом митинге обяжет меня идти с ними до конца и умереть в случае нужды спокойно, как подобает моряку.

В темноте я слышал дыхание десятков людей. Потом раздался хриплый голос Жамма:

— Ребята, я буду говорить в открытую. Нас гонят убивать и умирать. Франции не угрожает ни малейшей опасности. Мы лезем в чужие дела. Мы наступаем. Мы будем жечь деревни и расстреливать людей. Нами вертят гнилые шаркуны из министерств и биржевые маклаки, — весь этот сброд, разворовывающий казну и разоряющий Францию. Какой идиот согласится умереть ради них, воевать ради «нуворишей»? К свиньям! Надо действовать. Беспорядки в Бресте и смерть Ваньо подействовали мало. Надо пугнуть еще. Но как?

— Убить Пелье, — сказал Гамар.

— Это не дело. Из-за убийства командира крейсер не повернут обратно.

— Нужно, — сказал я, — завтра утром вызвать Пелье и сказать ему: или мы идем обратно в Сайгон, или мы поворачиваем орудия на капитанскую каюту и берем крейсер в свои руки.

Матросы тихо зашумели.

— Дать ему два часа сроку.

— Кто сделает это?

— Механик Жамм.

— Сейчас же разобрать винтовки и поставить часовых.

— Делать вид, что ничего не случилось.

— Заставить Пелье молчать. Пусть улаживает дело как хочет.

— Если хоть одна крыса из министерства узнает об этом — ему крышка.

Ночь я не спал. На рассвете я вышел на палубу. Я помнил последние слова Жамма: «Все будет сделано чисто». Мы стояли на рейде Шанхая. Несметное нагромождение домов, огней, джонок, крейсеров, небоскребов и фанз тлело в сером разливе рассвета и мутной воды.

Я задыхался. Мокрые от дождя тенты казались смоченными в кипятке. Теплая вонь сочилась из джонок. В китайских кварталах выли псы.

Я постоял на палубе и вернулся в каюту. Жамм приказал никому без дела не шататься по кораблю.

Утром на дверях командирской каюты была приклеена записка:

«Воевать мы не будем. Устройте так, чтобы сегодня «Примоге» ушел из китайских вод, иначе крейсер будет наш и судьба лейтенанта Ваньо станет поучительной для многих. Боевые припасы и орудия в наших руках. Переговоры с флагманом ведите через сигналистов. Мы хотим избежать кровопролития, но в случае упорства прибегнем к оружию.

Команда».

В шесть часов утра Пелье вызвал с флагманского корабля адмирала. Сигналисты передали, что командир Пелье тяжело заболел, не может подняться с койки и просит адмирала посетить «Примоге», так как должен сделать рапорт относительно дела, не терпящего отлагательства.

Через час адмирал приехал. Команда была выстроена на шканцах. Оркестр сыграл встречу. Вооружен-

ный отряд почетной стражи держал «на караул». Жамм был бледен, матросы — хмуры и настороженны.

Через два часа адмирал вышел из каюты Пелье и поднялся на мостик. За полчаса до этого я расставил людей у орудий.

— Офицеры и матросы! — сказал адмирал и передохнул. — Офицеры и матросы! Мною получены инструкции от правительства о сокращении наших вооруженных сил в Китае. Трех судов, находящихся в Шанхае, достаточно для охраны французских граждан. Поэтому я дал приказ командиру Пелье сняться с якоря, дабы излишне не раздражать китайское население, и идти в Сайгон, откуда «Примоге» будет переброшен в резерв Средиземноморского флота. Желаю счастливого плаванья!

Оркестр сыграл колониальный марш. Матросы держали «на караул» и скалили зубы.

Вечером мы шли в Сайгон. Пелье впервые за весь день появился на палубе. Он смотрел на китайский берег.

— К чертовой тетке! — прошипел он. — Будь я проклят, если не сдам эту коробку другому командиру.

Я стоял на вахте. Китайские воды тихо шумели и сливались с небом. На юге низко лежали звезды, а над Китаем всходила луна. Впервые за весь рейс я вспомнил о неразрезанных книгах и улыбнулся: сегодня я буду читать всю ночь.

Подошел Жамм.

— Чисто сделано, о-ля-ля! — сказал он, подмигивая. — Слышишь, как они веселятся.

Из кубрика доносился хор:

Святая дева, храни моряков
От стран горячих и смрадных,
От гаврских и брестских собак-шкиперов
И от мундиров парадных...

1934

ТОСТ

Стояла зима, и скука плаваний ощущалась особенно сильно. Скука пароходных ночей, наполненных скрипом переборок, заунывным плеском волн и тусклыми звездами. Звезды качались всю ночь над гудящими черными мачтами.

Все книги были давно перечитаны, и можно было часами стоять у иллюминатора без всяких мыслей и смотреть на пламя маяка, зажженного на плоских берегах. Там месяцами гудел, не смолкая, однообразный прибой, наскучивший всем нестерпимо.

В одну из таких ночей я услышал над своей головой стеклянный звон рояля. Кто-то играл после полуночи, грубо нарушив корабельную дисциплину.

Звуки были торжественны и отсчитывали время с точностью метронома. Человек играл одной рукой, — поэтому из мелодии выпадала нарядность и оставалась только суровая и неторопливая тема. Она звучала все громче, она приближалась к моей каюте. Я узнал отрывок из «Пиковой дамы»: «Уж полночь близится, а Германа все нет, все нет».

Я поднялся в кают-компанию. За роялем сидел однорукий старик в сером костюме. Он играл правой рукой. Левый пустой рукав был небрежно засунут в боковой карман пиджака.

Каюту освещала одинокая лампочка, но было настолько темно, что я различал за окнами черные волны

и мглистую полосу рассвета. Старик перестал играть, повернулся ко мне и сказал:

— Я старался играть очень тихо. Но все-таки вас разбудил.

Я узнал его. Это был капитан Шестаков. С нами он плыл в качестве пассажира. Я посмотрел в его прищуренные глаза и вспомнил жестокую судьбу этого человека. О ней мы, молодежь, говорили, как о примере почти непонятного мужества.

Во время германской войны Шестаков командовал миноносцем «105» на Балтийском море. Миноносец стоял вместе с главными силами эскадры около Ревеля.

Однажды осенней ночью Шестакова вызвал к себе на корабль адмирал Фитингоф. Этого адмирала прозвали «чухонским Битти». Он во всем подражал английскому флагману Битти, руководившему Ютландским боем.

Фитингоф, так же как и Битти, никогда не выпускал из тонких бабьих губ маленькой трубки, вечное перо торчало золотым лепестком из кармана его кителя, а по вечерам адмирал раскладывал пасьянс. Во многих словах Фитингоф делал неправильные ударения, стараясь подчеркнуть свое законченное презрение к русскому языку. Иногда «чухонский Битти» позволял себе странные шутки.

Приветствуя какой-либо корабль в день судового праздника, он приказывал поднять сигнал:

— Как жизнь молодая?

Смущенный корабль, не решаясь отшучиваться. почтительно благодарил адмирала.

Поздней ночью Шестаков поднялся по трапу на адмиральский корабль и прошел в каюту Фитингофа. Адмирал, не глядя на Шестакова, сказал, пережевывая слова вместе с мундштуком трубки:

— Лейтенант, сейчас же выходите на своем миноносце к Алландским островам, где стоит бригада крейсеров. Вручите командующему бригадой этот секретный пакет. Ответ командующего немедленно доставьте сюда.

— Есть! — ответил Шестаков очень тихо: он боялся нарушить стальное безмолвие корабля.

Через час миноносец «105» вырвался в черную пенистую ночь, и только гул пара из его низких труб был

некоторое время слышен вахтенными на сторожевых кораблях.

Ночь сгущалась. Ветер, дувший из Швеции, накачивал темноту, как исполинская помпа, все гуще и гуще. К рассвету вахтенным стало трудно дышать от плотного мрака.

В каюте Шестакова в секретном ящике лежал пакет, запечатанный личной императорской печатью.

Шторм бил в скулу миноносца, и ветер плакал в снастях. Снизу казалось, что на палубе поют с закрытыми ртами матросы. Боцман был недоволен приметами — свист снастей, выход в море в понедельник и окурок, найденный на палубе, не предвещали добра.

На следующий день в сумерки по горизонту открылась бригада крейсеров. Миноносец «105» подошел к флагманскому кораблю, и Шестаков передал командующему секретный пакет.

Ответ был получен через четверть часа, и миноносец, погасив огни, снова ушел в бушующую ночь и качку.

Он шел со скоростью в двадцать узлов.

На дрожащих палубах можно было дышать, только стоя спиной к ветру.

С запада несло косой тяжелый дождь.

Машинные вентиляторы ревели ураганом, и от запаха тины и солярового масла у Шестакова разболелась голова.

Он спустился на полчаса в свою каюту, лег и задремал.

Ему приснились кочегары, с лицами, как бы обожженными паяльниками, с копотью на бледных губах, мокрые от пара и изнеможения.

Они дружно швыряли уголь в топки и пели в такт:

Моряк, забудь о небесах,
Забудь про отчий дом!
Чернеют дыры в парусах,
Распоротых ножом!

Эта нелепая песня, неизвестно откуда попавшая на миноносец, вызывала у Шестакова тревогу. Он боялся ее: когда кочегары запевали, он старался не слу-

шать и всем существом ощущал близость несчастья. Так же было и теперь, во сне.

— Отставить пение! — крикнул Шестаков — и проснулся: в дверях каюты стоял вахтенный и просил его срочно подняться наверх.

Через минуту по всему миноносцу гремели колокола громкого боя. Люди бежали по лязгающим палубам и трапам. Миноносец лег на борт на крутом повороте, и серебристый свет прожектора, похожий на ослепительное сверкание снега, ударил в глаза Шестакову. Колокола боевой тревоги внезапно затихли.

Миноносец «105» наскочил на три германских разведочных крейсера. Шестаков повел миноносец в обход крейсерской эскадры, стараясь уклониться от прожекторов, но они спокойно нащупывали его и не отпускали ни на секунду. Три реки дымного света тянулись к бортам миноносца и зажигали иллюминаторы нестерпимым блеском.

Миноносец должен был во что бы ни стало прорваться мимо германских крейсеров, чтобы доставить ответ адмиралу. Единственный выход был в том, чтобы принять неравный бой. И Шестаков его принял. Он сделал резкий поворот и повел миноносец на ближайший крейсер.

У Шестакова было преимущество в скорости. Крейсера не могли развить такого хода. Ночь хлестала со всех сторон дождем, ветром.

Шестаков приказал открыть левый прожектор. В его неверном струящемся свете возникла громада неуклюжего германского крейсера. Он тяжело зарывался носом в волны и катил перед собой буруны. Его орудия были направлены на миноносец.

Миноносец пустил мину, но промахнулся. В ту же минуту крейсер дал залп, и черная ночь как бы посыпалась глухим громом в шторм и ветер.

Бой длился больше часа. У миноносца «105» были сбиты трубы, он получил две пробоины выше ватерлинии, в носовом кубрике начался пожар.

Восемь матросов и механик были убиты. У Шестакова осколком снаряда оторвало левую руку, и корабельный фельдшер наложил ему тугую повязку. Она все время промокала кровью, и Шестаков часто терял сознание.

К четырем часам утра миноносец вышел из огня крейсеров и взял курс к главным силам эскадры. Шестакова отнесли из боевой рубки в каюту.

Мрачные сумерки летели вслед за кораблем, припадали к волнам, и миноносец никак не мог уйти от них. Казалось, он тянул их за собой на буксире.

Весь обратный путь походил на тяжелое головокружение.

Палубы пахли перегоревшей кровью и дымом.

В пробоины хлестала вода.

Миноносец «105» подошел к главным силам эскадры лишь к вечеру и стал на якорь. Он прополз мимо дредноутов и крейсеров, как издыхающий пес. Ему подымали приветственные сигналы, но он даже не отвечал на них. Его безмолвно провожали глазами. На всех кораблях были видны бледные лица людей, внезапно почувствовавших всю тяжесть случившегося.

На адмиральском судне был поднят сигнал. Его поднимали так медленно, что со стороны казалось, будто Фитингоф колебался и несколько раз останавливал сигналиста:

«Командира... сто пятого... просят прибыть... к адмиралу...»

Шестакова свели с трапа в шлюпку. Когда он поднимался на адмиральский корабль, матросы помогали ему, и один из них заглянул в лицо Шестакову внимательно и печально. Этот взгляд друга Шестаков долго не мог забыть.

Адмирал встретил Шестакова на палубе и провел в каюту.

— Государю императору, — сказал он глухо, — будет подан рапорт о геройском поведении — как вашем, так и всей команды миноносца «Сто пять».

Вы же немедленно отправитесь в дворцовый госпиталь.

Фитингоф вскрыл пакет, вынул донесение и, далеко отставив его от глаз, рисуясь своей дальнозоркостью, начал читать.

Шестаков, не менее дальнозоркий, чем адмирал, увидел короткие строчки секретного донесения:

«Бригада крейсеров благодарит монарха за тост, провозглашенный его величеством в честь наших славных моряков и доставленный судам бригады миноносцем «105».

Фитингоф оглянулся и вздрогнул. Шестаков, не отдав чести, вышел из каюты. Он шатался. Глаза его были закрыты. Он придерживался рукой за поручни. Сжатые его губы казались выкрашенными в черный цвет. Он спустился в шлюпку, не замечая помогавших ему матросов, и вернулся на миноносец.

Он вызвал на палубу уцелевших людей и сказал им:

— Приказываю всем сейчас же съехать на берег. На тост государя я отвечу сам.

Команда повиновалась. Матросы ничего не поняли, кроме того, что ослушаться этого приказа нельзя.

Шестаков остался. Он спустился вниз и открыл кингстоны. Вода хлынула в отсеки миноносца и хрипела в них, как кровь в горле расстрелянного.

Миноносец медленно начал валиться на борт и затонул.

Шестакова успели снять.

Ночью он был арестован и отправлен под конвоем в психиатрическую больницу. Он был вполне нормален, но просидел в больнице два года.

И вот теперь, во время скучного зимнего плавания, я попросил Шестакова сыграть мне на рояле еще что-нибудь.

— Я вам сыграю матросскую песенку, — ответил он тихо и ударил по клавишам:

Матрос, забудь о небесах,
Забудь про отчий дом!
Чернеют дыры в парусах,
Распоротых ножом!

Синий рассвет качался в волнах и боролся с пламенем лампочки, все еще горевшей в каюте.

Москва, 1933

ДОБЛЕСТЬ

Маленький мальчик рисовал цветными карандашами. Он был очень озабочен и о чем-то напряженно думал. Потом он поднял голову, посмотрел на меня, и из глаз его неожиданно полились слезы. Они ползли по щекам, капали на его измазанные карандашами пальцы, и от слез мальчику было трудно дышать.

— Па, — шепотом спросил он, — почему люди не придумали лекарства, чтобы не умирать?

Тогда мне пришлось рассказать ему эту историю.

Летчик Шебалин заблудился в туманах.

Морские метеорологические станции вывесили объявления о том, что на Европу надвигаются мощные массы тропического воздуха.

Стояла зима. Снега не было, но треск сухих листьев напоминал жителям морского города хрупкий треск льда. Этот звук был свойственен только зиме.

Знатоки морских туманов и дымной мглы — англичанин Тейлор и немец Георги — дали точное определение этого тумана: «Теплый тропический воздух, если его зимой приносит в Европу, превращается сначала в голубоватую мглу, затягивающую материки на сотни миль, а затем мгла переходит в моросящие дожди. Туман этот очень устойчив».

Летчик Шебалин знал это. Внизу были пропасти и рваные вершины Карадага, покрытые лишаями и ржавчиной тысячелетий. Туман закрывал вершину. Он ударялся с размаху в гранитную стену горы и взмывал к небу могучей белой рекой. Вокруг этого туманного столба — единственного ориентира — Шебалин упорно водил по широким кругам стремительную машину.

Равнодушно и глухо гудело море. Красное солнце — солнце ранней зимы — висело во мгле и отливало сумрачной бронзой на мокрых крыльях машины.

В кабине самолета лежал в жару маленький мальчик. Мать сидела около него, и каждый раз, когда Шебалин оборачивался, он видел глубокие, почти мужские, морщины около ее губ. Мальчик умирал.

Шебалин летал за мальчиком в степь и должен был его доставить в больницу в приморский город. Три часа назад, когда мальчика вносили в кабину, сухое небо было безоблачно, и на чертополохе блестела паутина, — казалось, ничто не предвещало тумана.

Шебалин знал, что, даже если удастся через два-три часа сесть на землю, — все равно будет поздно — мальчика уже не спасти. Просветов в тумане не было.

Машина с торжественным ревом рвала в клочья сырой и душный дым. Мальчик метался и бредил.

Внезапно Шебалин увидел внизу тень громадной и стремительной птицы. Самолет! Шебалин резко взял вверх.

— Конденсация! — крикнул ему в лицо борт-механик. — Вылетели все-таки!

Шебалин кивнул. Встречная машина промахнула серебряным крылом. Шебалин узнал машину Ставриди.

Ставриди шел в тумане и рассеивал за собой широкими дорогами наэлектризованную пыль. Пыль притягивала частицы тумана, пыль превращала туман в крупный дождь. Его первые капли уже били наискось в стекла кабины.

Туман оседал глубокими пропастями, уже блестели под слюдяным солнцем мокрые ребра Карадага, и Шебалин увидел внизу землю, омытую дождем. Она переливалась и слепила глаза.

Шебалин уверенно пошел на посадку.

С аэродрома мальчика увезли в больницу. Шебалин медленно вылез из машины. Его не удивило, что аэродром был полон летчиков, не удивил вылет Ставриди. Он знал, что рассеивание тумана было сложным и дорогим делом, но не удивился и этому, — жизнь мальчика была дороже.

«Кто же этот мальчик?» — подумал Шебалин. Он даже не спросил об этом, когда получил приказ лететь.

Вечером экстренные выпуски газет сообщили, что летчик Шебалин доставил в город мальчика семи лет, получившего сотрясение мозга. Врачи признали состояние мальчика почти безнадежным, но допускали, что благоприятный исход возможен лишь при условии абсолютной тишины и покоя.

Через час после выхода газет на улицах было расклеено постановление городского совета, предлагавшее всем гражданам города соблюдать тишину. Наряды милиционеров прекратили движение около больницы.

Но эти меры были излишни. Без всякого приказа город затаил дыхание. И тем явственнее звучали голоса моря, ветра и сухой листвы.

Автомобили шли, крадучись, по окраинам. Шоферы, привыкшие газовать и рявкать сиренами, безмолвно сидели в темноте своих кабин, как заговорщики.

Ярость шоферов обрушилась на потертое такси, прозванное «кипятильником». Машина эта внезапно и оглушительно стреляла. Вдогонку ей шоферы грозили кулаками и кричали свистящим шепотом: «Чтоб ты пропал, чертов кипятильник!»

Газетчики перестали кричать. Громкоговорители были выключены. Пионеры образовали отряды по поддержанию тишины, но у них почти не было работы.

Нарушений тишины не было, если не считать незначительного случая с портовым фонарщиком. Это был старый и веселый человек.

Он шел и горланил песню, потому что приморский город привык петь и смеяться. Песни он выдумывал сам.

Фонарь горит, и звезд не надо,
И звезд не надо на небесах,
И все мы рады, да — очень рады,
Что нам не надо бродить впотьмах!

Пионеры остановили старика. Тихий разговор длился недолго. После него пьяный фонарщик сел на мостовую, стащил, кряхтя, ботинки и пошел на цыпочках к своему одинокому дому на окраине. Он грозил в переулки пальцем и шипел на прохожих. У себя дома он выпустил кошку из чулана, чтобы она не мяукала, вытащил из кармана старинные часы — толстую луковицу, послушал их громкий стук, положил часы на стол, прикрыл сверху подушкой и погрозил часам кулаком.

Второй случай произошел в порту и потом долго обсуждался по всему побережью.

Надо сказать, что от стародавних времен на морях еще сохранились заслуженные грузовые пароходы. Скрипя и тяжело переваливаясь на волнах, они проплывали около нарядных теплоходов и недружелюбно косились на них. Теплоходы шипели пеной и винтами и закатывались по ночам в морских горизонтах, как закатываются ослепительные планеты.

Один из таких пароходов — «Труженик моря» — подходил с грузом кровельного железа к городу, где лежал в больнице мальчик.

В десяти милях от берега пароход получил от начальника порта радиограмму. Начальник порта предупреждал, что ввиду чрезвычайных обстоятельств выгрузка железа в порту запрещается на неопределенное время.

В двух милях от порта пароход получил вторую радиограмму. Она приказывала при подходе к порту ни в коем случае не давать гудка, — визгливый гудок «Труженика моря» был хорошо известен.

Команда «Труженика моря», склонная к зубоскальству в такой же мере, как и все моряки, изощрялась в догадках. Но, несмотря на смешливое настроение, людей не оставляла тревога, — неуловимая связь между двумя приказами говорила о каких-то значительных событиях, происшедших в приморском городе.

При входе в порт к «Труженику моря» подошел моторный катер. Начальник порта поднялся на палубу и прошел в каюту капитана.

Когда начальник порта выходил из каюты, матросы услышали отрывок загадочной фразы:

— ...больница у нас на самом берегу моря...

Капитан «Труженика моря» поднялся на мостик и коротко приказал выходить на рейд и становиться на якорь. Никаких разговоров! Разгрузки не будет!

Команда роптала. Тогда капитан созвал ее на баке и прочел вслух сообщение газет о мальчике.

— Сами понимаете, — сказал капитан, — что в городе не должно быть шуму. С нашим грузом нечего сейчас и соваться.

Но ожидание на «Труженике моря» не было похоже на обычное, полное скуки стояние на рейде. Никто не знал мальчика, но о нем упоминалось с глубокой нежностью.

Ожидание это было полно рассказов и размышлений, наивных и печальных. Газету с берега вырывали друг у друга из рук. Несмотря на скрытую тревогу за судьбу незнакомого мальчика, ту тревогу, что двадцать лет назад показалась бы матросам не только смешной, но попросту непонятной, каждый скрывал в себе и чувство гордости.

Была ли это гордость собой или начальником порта, — моряки не могли разгадать. Но при встрече с начальником порта они срывали кепки и долго смотрели вслед на его синий лоснящийся китель.

Город затаил дыхание. Город молчал. Молчание это давало жителям ощущение одиночества и свежести. Так после крепкого сна в комнате с настежь открытыми окнами утро входит во все поры тела глубоким безмолвием и солнцем. Мысль, очищенная от соков усталости и никотина, приобретает стремительный полет, и горизонты отодвигаются и тают, открывая новые берега, мысы, земли, давая новую пищу для волнений и поэм.

Город молчал, и тем явственнее слышались голоса моря, ветра и сухой листвы. Особенно громко шелестели розовые листья платанов. Но ничего не могло сравниться с канонадой прибоя.

На третий день болезни мальчика город пережил новое испытание. На мачте в порту взвился штормовой сигнал. С моря шел шторм, гремящий, как сотни скорых поездов, широкий шторм, который всегда сры-

вается при безоблачном небе. И, как предвестник шторма, небо уже синело с нестерпимой ледяной яркостью.

Было выпущено второе экстренное обращение городского совета к населению. В нем говорилось, что приняты меры, чтобы устранить шум, возникающий помимо воли человека, шум стихии. Под наблюдением изобретателя Эрнста в больнице заканчивается монтаж установки, наглухо выключающей внешние шумы.

Шторм ожидается к полночи, и к тому же времени должна быть включена установка, названная «экраном тишины».

В больнице быстро и бесшумно работали монтеры. Времени оставалось мало. Ветер уже проносил над городом полосы высоких и прозрачных облаков. Шторм приближался. Первые порывы ветра продували городские площади и сносили к оградам кучи жесткой осенней листвы.

К ночи у мальчика ждали кризиса, и к ночи обрушился шторм. Он шел на берега сокрушительным ударом, — в пене, хриплых раскатах и визге обессиленных чаек. Земля вздрогнула, леса в горах качнулись и глухо заговорили, и дым из труб пароходов с протяжным свистом помчался вдоль вымерших улиц.

За несколько минут до первого удара шторма Эрнст включил «экран тишины». Эрнсту было разрешено войти в палату, где лежал мальчик, чтобы проверить действие установки.

Оглохший от неистовства бури Эрнст медленно поднимался по лестнице. Тишина была настолько совершенна, что Эрнст ясно слышал шуршание воздуха в своих легких. Эрнст вошел в палату, в безмолвие, залитое матовым пламенем ламп. О шторме можно было только догадаться по дрожи полов, сотрясаемых близким прибоем.

Но Эрнст не замечал этого. Он смотрел на мальчика. Мальчик лежал, приоткрыв рот, и улыбался во сне. Эрнст услышал его ровное и легкое дыхание. Он забыл об «экране тишины», о шторме, он не замечал врача и молодой женщины в белом халате. Она сидела у постели мальчика, и Эрнст только потом вспомнил,

как его — да и то на одно мгновенье — поразили слезы на ее глазах, слезы, медленно падавшие на ее колени.

Женщина подняла голову, и Эрнст понял, что это мать. Она встала и подошла к Эрнсту.

— Он будет жив, — сказала она и вдруг улыбнулась, глядя куда-то очень далеко, за спину Эрнста. Эрнст оглянулся. Позади никого не было.

— Вы великий человек, — сказала она. — Как я вам благодарна!

— Нет, — ответил, смешавшись, Эрнст. — Мы живем в великое время, и я так же велик, как и всякий трудящийся нашей страны. Не больше. Вы счастливы?

— Да!

— Вот видите, — сказал Эрнст, — создавать счастье — это высокий труд. Его осуществляет вся страна. Благодарить меня не за что.

Через полчаса город узнал о выздоровлении мальчика.

Радио, борясь со штормом, бросало эту весть в ночь, в океаны, во все углы страны.

Приказ о тишине был снят.

В кипение изнемогавшей бури врезались приветственные гудки пароходов, крики автомобильных сирен, хлопанье флагов, поднятых над домами, звон роялей и новая немудрая песенка фонарщика.

Осветил я бульвары, — пусть поет вся страна.
Что ж, что выпил я, старый, молодого вина!

В городе был устроен праздник. Шторм, как всегда, сменился неизмеримым штилем. Он уходил куда-то за край морей, плескался у пляжей на сотни миль, переливал у камней прозрачную воду и качал в ней красные листья кленов и теплое низкое солнце.

Если вы бывали ранней зимой у моря, вы должны помнить эти дни с легким дыханием, похожие на утренний сон, вы должны помнить этот голубоватый воздух, очищенный штормом, когда далекие ржавые мысы стоят грядой над морями и моря осторожно подносят к их подножиям солнечную рябь и тонкий туман.

Матросы с «Труженика моря» впервые услышали, как над спокойной водой поплыла симфония Бетхо-

вена. Казалось, звуки поднимают пароход высокой и плавной волной, и потому вполне понятен был поступок боцмана, — он побежал на бак проверить, не сорвало ли пароход с якорей. И нечего над этим смеяться, как смеялся масленщик.

Вечером в порт вошел английский пароход «Песнь Оссиана». Экипаж его, удивленный видом праздничного города, — город казался огненным каскадом, льющимся с гор в бесшумное море, — вежливо запросил начальника порта, что происходит. Начальник порта ответил ясно и коротко.

В это время летчик Шебалин вышел из своего дома. Далеко в горах выпал снег, и высокая луна магически блистала над серебряными снежными полями.

В саду около дома Шебалин встретил женщину. Это была мать мальчика. Она шла к летчику, чтобы поблагодарить за спасение сына.

В свете фонарей и в сумраке ночи лицо ее поразило Шебалина бледностью и радостной красотой. Она обняла летчика за шею, поцеловала, и Шебалин ощутил острую свежесть, как будто иней испарялся у него на губах.

Они спустились в город, держась за руки, как дети, и увидели мигающий свет электрических огней на мачте английского парохода. Шебалин остановился. Он узнал азбуку морзе и громко прочел сигнал англичанина:

«Командам советских кораблей. Поздравляем и тысячу раз завидуем морякам, имеющим такую прекрасную родину».

Маленький мальчик перестал рисовать цветными карандашами. Слезы высохли на его лице, и только ресницы были еще мокрые. Он засмеялся и спросил:

— А чей это был мальчик? Общий?

— Да, конечно, общий! — ответил я, застигнутый врасплох этим вопросом.

Ялта, декабрь 1934

МОРСКАЯ ПРИВИВКА

Автомобиль, гудя и встряхиваясь, метался по жарким дорогам. Их белая карта привела, наконец, к зеленой лагуне. Прохладная ее глубина казалась особенно яркой под днищами рыбачьих барок.

Лагуну, набережную, выметенную ветром, и дома с пустыми нишами для статуй окружали горы, покрытые ржавчиной многих веков.

Шофер замедлил ход, и за машиной помчались худые мальчишки. В их глазах сверкал восторг. Так умеют восторгаться люди очень теплых и древних стран.

Машина остановилась, и приехавшие с изумлением заметили сдержанную скупость природы, ветер и тишину. За горой, замыкавшей лагуну, шумел горизонт, — там было море.

Маленький мальчик вылез из автомобиля. Ему помогали шофер с пунцовым от солнца затылком и мать — светловолосая женщина с открытой улыбкой. Мальчик взглянул на отца, как смотрят на преданного друга, и спросил:

— Па, что это шумит там?

Отец ответил:

— Море.

— А что оно делает, море?

Отец засмеялся. Море ничего не делало. Его великолепное безделье казалось непонятным. Оно шумело, намывало пляжи, меняло очертания берегов, выбрасывало медуз и водоросли.

— Па, зачем море? — снова спросил мальчик и прищурил глаза.

Шофер похлопал мальчика по ладони:

— Ну прощай, Мишук. Море — чтобы купаться.

Мишук смущенно улыбнулся. Загадка была решена.

Машина умчалась, оставив позади конус белого дыма.

Отец, худой, с молодым лицом и седыми висками, взял Мишука за руку и повел в дом, высеченный в скалах. В белых комнатах стоял плотный солнечный свет.

Мишук сел на пол: за окном было страшно. Там тучей лежал глубокий глухой воздух. Пол был горячий, море было непонятно, и Мишук заплакал.

Но любопытство преодолело страх. Через полчаса Мишук стоял на балконе и кричал в восторге: по морю плыли большие лошади с белыми гривами. Гривы то окунались в воду, то вскипали пеной. Лошадей было много, — больше, чем во всей Москве.

В ресницах Мишука, еще черных от слез, запутался ветер. Мишук тер глаза и вскрикивал:

— Ма, смотри сколько лошадей! Ма!

— Это барашки, — ответила мать. На душе у нее было спокойно от света. — Это шторм на море, маленький. Это буря.

Мыс Айя — последняя ступень земли — краснел в пене и облачном дыму. За ним кончался мир, за ним плясали волны и дельфины и дул, припадая к воде, разгонистый ветер.

Отец сказал, помолчав:

— Помнишь, под Севастополем море открылось, как туча?

— Да, как туча, — ответила женщина и подошла сзади. Она хотела вспомнить прошлое: рождение мальчика, утрату чувства жизни, пугавшую ее по временам,

внезапные перемены в муже, но ничего не вышло. Прошлое исчезло. Оно казалось прекрасным даже во всей своей тягости. Оно тонуло в этой синеве, брызгах, в детском хохоте.

Утром на следующий день Мишук поехал на пляж. Курносый Пашка лениво греб и щурился на море. Там плыл белый пароход.

— «Зарница», — сказал Пашка.

На пляже Пашка лазил на бурые скалы и орал сверху, размахивая кепкой:

— Мишук, гляди, де я! Мишук!

Мишук волновался и хохотал. Невесомая влага подымалась и опускалась, но ни одна волна не плеснула о берег, — море дышало во сне.

Женщина вошла в воду и улыбнулась: в воде было растворено солнце. Перезревшее лето пахло йодом, хвоей и солью. Она закрыла глаза. В ресницах вспыхнули хрустальные шары — над морем всходил беззвучный полдень. Мыс Айя исполинским фортом чернел в море и терпеливо дожидался зноя.

Женщина прижала кончики пальцев к смуглым плечам, и несколько слез скатилось в море. Она плакала от простой мысли, что вот этот день нужнее для нее, чем многие годы их прошлой жизни, чем тяжесть познания, чем пестрые вереницы людей, проходившие через их жизнь, как через ресторан.

— Мишук, гляди, де я! — орал Пашка с неприступных вершин.

Мишук дрожал от страха и смеялся. Он стоял у моря так, что только кончики его пальцев были в воде. Он был слишком маленький, а море было слишком большое. Мишук боялся шагнуть вперед и назад. Непонятность всего происходившего пугала Мишука. Громадные его глаза были готовы пролиться невыплаканными слезами. Впервые он ощутил величие стихий.

— Ма, зачем море большое? — шепотом спросил Мишук, но мать не слышала, она плыла далеко в море.

— Что ты шепчешь, маленький? — спросил отец.

— Па, зачем море большое? — повторил Мишук, и из глаз его закапали слезы.

Отец понял этот род потрясения, — несоизмеримость величин — Мишука и моря — была очевидна. Морскую прививку Мишук переносил долго: только через неделю он перестал говорить в присутствии моря шепотом. Но тогда море уже стало его другом.

Шхуну «Кудесник» изгрызли морские черви. Она долго плавала у кавказских берегов и стояла в Батуме, где, по свидетельству старинных лоций, множество червей, и поэтому судам с деревянным корпусом застаиваться нельзя.

Изъеденный червями, «Кудесник» снялся из Батума в Херсон. Вблизи Севастополя в трюме открылась течь. Испуганный шкипер повернул в зеленую лагуну и выбросил судно на мель.

Проходили зимы с их штормами, и «Кудесник» погрузился в воду по палубу. В его трюмах серебряным рисом бродила камса, а на палубе Петро Дымченко сушил сети.

Из истлевших канатов еще не выветрился запах смолы. В трещинах мачт янтарными каплями каменела смола. Ржавчина цепей была цвета киновари — океанская ржавчина: твердый налет соли и ветра.

Отец Мишука переправился на «Кудесник», лег на палубу, открыл книгу и в ту же минуту услышал хриплое ворчанье за рассохшимся кубриком. Он встал и увидел внутри огромной сети-мережки гигантского седого краба, курившего трубку: это Петро Дымченко штопал сеть бамбуковой ниткой. Петро зорко посмотрел на книгу, на седые виски и загорелое лицо незнакомца, сплюнул и закричал:

— Чертов извозчик переехал мережку, будь он проклят, зараза, на мою голову! Теперь чини.

— Чем переехал?

— Арбой! Разогнал коня, а я сидел на набережной и чинил. Порвал все скрозь. Построй с ними социализм, с балбесами!

Из дальнейшего разговора, положившего начало молчаливой дружбе, выяснилось, что Петро — старейший рыбак на лагуне. Вдвоем с другим стариком он основал артель под названием «Вечерняя заря».

Отец Мишука каждый день переезжал на «Кудесник». Его привлекала тишина: голоса с берегов были едва слышны. Петро Дымченко встречал его у побелевшего от солнца планшира и кричал сердито:

— Что ж пацанчика не привезли?

Мишук боялся переезжать на шхуну. Пашка наврал ему, что по палубе «Кудесника» бегают огромные крабы, шипят и хватают пацанов клешнями за пятки.

Петро был бездетный бедняк. Нищету свою и одиночество он носил просто и с достоинством, как суровую одежду. В его представлении почти все лучшие люди были бедняками.

По утрам Петро приходил за Мишуком и брал его в свою шлюпку «Корсар» ставить сети в лагуне. Он нес Мишука на руках, как драгоценность. Мишук колол щеки о его щетину и смущенно улыбался. В лодке Мишук сидел на дне очень тихо, и глаза у него становились вдвое больше. На бесконечные его вопросы «зачем» Петро давал точные и мудрые ответы.

— Па, — спрашивал Мишук Дымченко, — зачем рыба плавает?

— Тикает от сетей, — отвечал односложно Дымченко.

Мать видела из окна, как Мишук шел, болтая с Дымченко, и держался за его синие заплатанные штаны, и ей хотелось смеяться. Дымченко брел походкой, разбитой от многолетних плаваний, и придерживал Мишука за спину.

Расплавленный полдень то погружал их в синюю тень, то обливал красным золотом.

Над лагуной дрались чайки. Греки орали с яликов:

— Петро, откуда у тебя дите? Хорош пацанчик! Будет наследником на «Корсаре», — он уже к морю имеет привычку!

Под водопадом шуток и смеха, в солнце, ветре и запахе сухих садов Дымченко провожал Мишука и сдавал на руки матери.

Мать улыбалась. Так улыбаются люди, чья душа открыта для всех ветров и всех человеческих страданий. Улыбка эта напоминала внезапный блеск. Радость приобретала в ней телесную форму.

Бездетность, не замечаемая раньше, приобрела для Петро характер несчастья. Она мучила. Жизнь мстила за себя: ни жажда покоя и сна, ни усталость от сорокалетней работы — ничто прошлое не было так сильно, как новые мысли о мальчике-внуке. Петро снилось, что он снимает пух с его ресниц, мальчик смеется, и в уголках его глаз дрожат слезинки.

— Эх, малый мой, — бормотал Петро и уже не мог заснуть.

Каждая новая мысль производит в старческом теле глубокое потрясение.

Только старикам знакомы тишина и тяжесть устоявшихся ночей, когда море теряет цвет и спит даже рыба. Не спят только старики, маячные сторожа и вахтенные на пароходах.

В одну такую памятную ночь Петро вышел на окраину рыбачьего городка встречать Мишука.

Мишук ездил с мамой в Севастополь провожать отца и вернулся сонный и теплый. Петро нес его домой. Мишук сладко посапывал у него на плече, а над морем разверзались страшные голубые бездны, — из Турции надвигалась гроза.

Женщина, задумавшись, слушала, как море волновалось перед грозой и глухо взрывалось в подводных пещерах. В комнате, уложив Мишука, она подошла к окну, взглянула в неизмеримую темноту и сказала:

— Ну, вот мы и одни.

Молния открыла в небе внезапное нагромождение облаков, высоких и розоватых, похожих на кущи исполинского сада. Свет ее обнаружил на столе забытую книгу с подчеркнутой строкой. Женщина зажгла спичку и прочла:

«Даже в печали, кроме горечи, есть глубина и подъем душевных сил. Как будто открываются все шлюзы».

Спичка погасла. Женщина вспомнила, как мучительно писал книги отец Мишука и как он страдал

от сознания, что почти никто не воспринимает жизнь так, как он.

Его никогда не покидало сознание, что автор выше своих книг.

В книги он вкладывал ребячество, в жизнь — иронию и сострадание. Он не любил действия. Его рассказы были пестры и медлительны, как мысли чистильщика сапог, дремлющего на солнце и наблюдающего кружение прохожих в зеркальной витрине.

Так же, как к своим рассказам, он относился и к чужим книгам. Он не читал, а медленно выбирал со страниц отдельные мысли, словно промывал чужую книгу в нескольких водах, и надолго запоминал то, что оставалось на решете: неожиданный образ, нервную дрожь, мысль, свежую, как дождь, насмешку и понимание простых человеческих печалей. Сюжет он забывал быстро.

Он мог написать рассказ о прорастании травы. Его тянуло к тишине и дружеским беседам. От суеты страниц, где люди дерутся, любят и мучают друг друга, у него болело сердце.

Он писал так, как мальчишки собирают марки или вырезывают из дерева модели кораблей. Вырезывание моделей плодит неистребимую тоску по городам, вымощенным голубым стеклом, где корабли швартуются прямо у цветочных клумб. Начинаются сомнения — может быть, такие города существуют? Сомнение переходит в уверенность, и тогда человек пишет рассказ об этих героических городах. Такие рассказы действуют, как стакан вина, выпитый натощак. Но теперь у нее эти рассказы вызывали горечь и раздражение.

Женщина утром написала мужу:

«На море уже осень, и очень пустынно. Пришла сельдь, в лагуне дежурят лодки, а над домом кричат чайки. Мы с Мишуком одни во всем доме и саду. Я очень сдружилась с рыбаками. Ни у кого я не встречала такого ясного отношения к жизни и к нашему времени. Мысли мои крепнут с каждым днем. Я перечитываю написанное тобой, и мне тяжело, что ты прячешься от жизни в переулки, заросшие тропическими

цветами и переполненные сверх всякой меры солнцем и блеском. Литература не валерьянка, а полный крови кусок человеческой жизни. Пиши о настоящих людях, о том, как создается на крови и нервах новое человечество. Прекраснее этого ты ничего не найдешь».

В это время отец Мишука стоял у окна вагона. Поезд взволнованно дышал, задержавшись в Бельбеке. Ветер косо нес свежесть и запах влаги. Над побережьем шумел ночной ливень. Над горой восходил свет, будто в долине был спрятан город, иллюминированный перед ночной грозой.

До моря было десятки верст, но он еще с детства верил, что море светится по ночам, и теперь ему хотелось думать, что это последний свет моря.

Морю он был обязан тем, что стал писателем. Болезнь воли, заставлявшая его писать о вещах смутных, мягких и ограниченных, прошла. Наступило время сосредоточенности и работы. Он улыбнулся, вспомнив о седых висках. Это не испугало его. Писательство оказалось не забавой и не жонглированием людьми и образами, — оно становилось судьбой. Оно превращалось из болтовни и дикого возгласа Жозефа Делтайля: «Я пишу, чтобы нравиться женщинам», — в бессонные ночи, в величайшее напряжение, в жестокость к себе.

После моря московское лето казалось сотканным из голубоватой паутины. Солнце светило, как через стекло.

Широкая радуга опрокинулась над зеленым Замоскворечьем. Цирк в Парке культуры и отдыха зажег свою палатку из пламени. Мокрые доски стадионов пахли скипидаром.

Над радугой повисло облако, похожее на гигантскую кисть сирени, освещенную закатом.

Все было очень мимолетно, как мимолетно московское лето. В черной листве Нескучного сада розовели огни, и с востока, закрывая золотые кремлевские купола, приближалась сырая ночь.

Млечный Путь пересекал реку по диагонали. Гремели под сурдинку оркестры, и мосты окружной дороги плавным прыжком перелетали с берега на берег.

Ветер качал в воде ослепительные столбы огней и перепутывал их с фонарями лодок.

Вечером отец Мишука пошел в планетарий. Здание еще стояло в лесах. В легких его линиях была заключена тоска по новым городам, где улицы будут стремиться среди листвы и тени в поля, пахнущие травами. Космический купол планетария чернел в зеленоватой воде заката.

В душном зале серебряный аппарат сверкал сотнями маленьких линз. Свет погас, и над головой поплыло звездное небо — яркое, низкое и пахнущее полотном. Оно было похоже на черный бархат с нашитыми никелевыми бляшками. Оно вращалось с глухим зудом. Планеты неслись, обгоняя друг друга, делали затейливые петли и погасали на кепках зрителей, сидевших у стен.

Строитель планетария — друг отца Мишука — подошел к нему после сеанса:

— Ну как?

— Слишком нарядное небо, — ответил отец Мишука.

Он вышел на улицу, и небо над Москвой обрушило на него ворохи звезд, туманы Млечного Пути, ветры, мерцание, горькую листву, дым облаков — настоящее и милое небо.

— Вот, — сказал он, прислонившись к решетке сада, и закурил папиросу, — вот настоящее.

Он вспомнил Ван-Гога, сошедшего с ума из-за неудачной попытки передать на полотне звездное небо, и подумал, что все же это было благородное помешательство.

Потом несколько дней он провел вдали от Москвы. Дни были налиты до краев дымом и синевой, а по вечерам в шуршании рощ свистели последние птицы и вставала луна.

По утрам он ходил купаться на Клязьму. Холод черной воды сменялся жаром. К сырому и еще загорелому телу прилипали березовые листья. Пни в лесах

пахли грибами и йодом. Он испытывал свежесть, будто в него переливали кровь этой осени. На щеках появился румянец, и писать было необыкновенно легко.

Он думал, что надо забыть все написанное и начать писать по-новому.

В суровости осенних ночей, в далеком крике паровозов на Северной дороге родилось чувство новой эпохи — напряженное, как ветер, дующий в упор в похолодевшее лицо.

«Только об этом надо писать, — думал отец Мишука. — Возвеличить эпоху — блистательную и неповторимую. Вместо выуживания со дна сознания пестрых тряпочек своих чувств и настроений заговорить полным голосом и дышать всей грудью воздухом времени, едким и свежим, как океанская соль».

А Мишук в это время возвращался с мамой с моря. Всю дорогу он висел в окне, волновался и приставал к матери — хватит ли в паровозе дыма до Москвы.

1935

МУЗЫКА ВЕРДИ

Есть что-то необычайно прекрасное в обхождении смелых людей друг с другом во время опасности и несчастья.

На броневой палубе крейсера приехавший из Москвы театр ставил под открытым небом «Травиату».

Седоусые лодочники толпились около дощатой пристани на старых шлюпках и хрипло и требовательно кричали:

— Кому до крейсера, кому на музыку? Будем стоять коло самого борта, покамест не кончится представление. Зыба нет — верьте совести! Какой же это зыб, товарищи!

Шлюпки бестолково толкались бортами и торопливо кивали и кланялись берегу, — их качала легкая волна. Так непрерывно машут головами дряхлые извозчичьи лошади.

Над бухтами стоял безмолвный штиль, затянутый вечерним дымом. Сигнальные фонари мерно колебались в воде около береговых утесов. Осенняя ночь приближалась очень медленно. Она останавливалась на каждом шагу и никак не могла вытеснить из глубоких бухт последние отблески заката.

Но когда на крейсере вспыхнули огни, сразу упала шумная темнота. Она была наполнена звуками встревоженной воды — журчанием, бульканием и плеском.

Стала слышна морская сутолока порта, торопливые удары весел, стук моторов, отдаленные крики рулевых, злорадный вой сирен и всплески волн, пересекавших залив по всем направлениям.

Все эти звуки стягивались от берегов и пристаней к крейсеру, где неожиданно пропел фагот в оркестре. Катеры неслись туда же, полоща в воде парадные кормовые флаги.

Татьяна Солнцева должна была играть Виолетту.

Она гримировалась в каюте командира, куда электрики-краснофлотцы провели стосвечные лампы.

Она приколола к корсажу красную камелию и напудрила похудевшее лицо. Играть ей было трудно. В Москве она оставила больного брата, почти мальчика. Он лежал в больнице и ждал тяжелой операции.

Солнцева тревожилась и потому ничего не замечала: ни города, шумного от сухой листвы и ветров, ни множества огней, носившихся с жужжанием по рейду, как золотые пчелы, ни изумительного воздуха, наполнявшего улицы запахом мокрых скал и горькой травы.

Операция была назначена на утро этого дня, но до сих пор из Москвы не было телеграммы.

Солнцева вышла на палубу, затянутую по сторонам брезентом. Грифы виолончелей были прислонены к серым орудийным башням.

Мелодия Верди вздрогнула в тишине стального корабля. Сотни молодых моряков слушали, затаив дыхание, печальный голос Виолетты. Струнный гром оркестра был слышен даже на окрестных берегах.

Шлюпки качались у борта. Люди смотрели из них вверх, задрав головы, на палубу крейсера. Лодочники старались не греметь веслами и, сталкиваясь, вместо обычной перебранки молча показывали друг другу кулаки.

Помощник режиссера стоял за броневой башней, как за кулисой, и волновался. В кармане у него

лежала телеграмма на имя Солнцевой. Он не знал, что делать: распечатать ли ему самому, или передать после спектакля Солнцевой, не читая. Он шепотом советовался с администратором театра.

Администратор вырвал у него из рук телеграмму и вскрыл ее.

— Ничего особенного, — сказал он, пережевывая мундштук папиросы. — Операция откладывается из-за тяжелого состояния больного. В антракте можете сказать ей об этом.

Помощник режиссера поморщился и кивнул головой.

Кочегар Вася Чухов, носивший, как и все кочегары, прозвище «подземный дух», был приставлен к занавесу, сшитому из сигнальных флагов.

Вася — маленький, кряжистый и красный от старания — не спускал глаз с помощника режиссера. Этот вертлявый, нервный человек должен был просемафорить Васе рукой, когда закрывать занавес.

Вася слышал весь разговор около броневой башни. Широкая улыбка медленно сползла с его лица.

Во втором акте Солнцева вышла на сцену слишком торопливо. В антракте она прочла телеграмму. Голова у нее кружилась.

Когда Альфред опустился около ее ног на колени, она наклонилась и поцеловала его в юношеский висок. Тонкая голубая вена проступала на виске, совсем как у брата.

Солнцева глотнула воздух и заплакала. Слезы катились из ее глаз, но она продолжала петь. Голос ее дрожал. Она видела мутные, влажные пятна и не могла понять, огни ли это рампы, или звезды в воде, или бледные лица моряков.

Тогда Вася Чухов дал занавес, несмотря на сердитые окрики из-за броневой башни. Чухов вышел из повиновения. Лицо его окаменело. На возмущенный шепот помощника режиссера он ответил зловеще и коротко:

— Будете разговаривать с командиром корабля. Я ему доложу обо всем.

Палуба гремела от аплодисментов. Простодушные зрители считали перерыв спектакля вполне законным

после такой напряженной и мучительной сцены, как слезы Виолетты. Никто из них не знал, что сцена прервана «подземным духом» в самом начале.

Чухов подошел к командиру корабля, сидевшему в первом ряду, и тихо доложил о случившемся.

Командир встал. Это был молчаливый седой человек. Он видел в своей жизни много смертей в революционных боях, много штормов, гибель многих товарищей. Он знал беспощадность борьбы и неумолимость боевых приказов. Он был одинок. Все, что существовало до революции, терялось в хмуром тумане, — и донецкий шахтерский поселок, и сельская грязная школа, и люди тех времен, оставившие впечатление усталой и растерянной толпы. Революция перечеркнула прошлое твердой рукой и внесла в сознание простоту и ясность. Ей он был предан как боец, как бывший шахтер и как человек точного и светлого ума.

Командир встал и прошел на сцену. Палуба все еще гремела от топота матросских каблуков и рукоплесканий.

За сценой командира встретил бледный от возмущения администратор.

— Не беспокойтесь, — сказал он торопливо. — Сейчас все наладим. Пустяки! Обычные женские нервы. Она будет петь.

— Она не будет петь, — спокойно сказал командир и посмотрел в глаза администратору. — Прекратите спектакль!

Администратор пожал плечами и криво усмехнулся:

— Невозможно. Наш театр работает по-ударному. Мы не можем из-за настроения актеров срывать спектакли. И, наконец, о чем говорить? Она успокоилась и вполне может петь.

Командир обернулся к Солнцевой. Она, не глядя ему в лицо, кивнула головой.

— Вы видите, она согласна, — сказал администратор и швырнул на палубу окурок.

Эта история начинала его раздражать. Становилось и неловко и стыдно.

Командир мельком взглянул на окурок, и Вася Чухов тотчас же незаметно смахнул его за борт.

— Вы находитесь на палубе корабля нашего Красного Флота, — сказал командир. Его щека со шрамом от пули чуть заметно дергалась. — Вы меня извините, но здесь я осуществляю власть и поэтому позволю себе вмешаться в ваши распоряжения. Об ударной работе вы, очевидно, имеете совершенно превратное представление. Согласие артистки значения не имеет. Я отменяю спектакль. Все. Разговоры прекращаются.

Командир поднял руку, и Вася Чухов раздвинул занавес. Зрители стихли.

— Краснофлотцы, — сказал командир спокойно, — у артистки Солнцевой произошло несчастье в семье. Ей трудно играть...

По толпе моряков прошел сдержанный гул. Все встали. Командир не успел сказать, что спектакль отменяется до лучших времен. Это было понятно для каждого краснофлотца и без объяснений командира.

— Подать к трапу катер! — негромко приказал командир.

— Есть подать к трапу катер! Есть подать катер! — начала перекликаться команда, пока не затихла на нижних палубах корабля.

Через несколько минут командир сошел с Солнцевой в катер. Краснофлотцы помогали Солнцевой, когда она спускалась по трапу. Высокий коренастый старшина осторожно положил на сиденье рядом с Солнцевой букет цветов, покраснел и крикнул негромко:

— Вперед до полного!

Катер выбил из-под кормы водопады огней и пены и помчался к пристани. В катере командир сказал:

— Я снесся с командующим флотом. В скором поезде на Москву вам оставлено место. Мы успеем. У нас есть еще сорок минут.

Солнцева наклонила голову и перебирала цветы рукой, — она не могла говорить.

— В газетах пишут, товарищ командир, — сказал высокий старшина тихо, но так, чтобы слышала Солнцева, — что один московский профессор делает операции сердца, как орехи щелкает. Вот бы к нему...

— Помолчите, Кузьменко, — сказал командир.

Через час скорый поезд, ревя и разбрасывая облака пара, вырвался из последнего тоннеля. Огни города и рейда умчались за выступы отвесных скал.

Солнцева сидела в купе не раздеваясь, не снимая пальто и платка. Она смутно вспомнила огни вокзала, снег на крышах товарных вагонов, Москву, затопленную полярной ночью, расшатанное такси и матовый свет в коридорах больницы.

Так же смутно она помнила лицо брата, улыбнувшегося ей с больничной койки.

— Все сошло удачно, — сказал Солнцевой профессор с сердитой острой бородкой. — Все сошло на редкость удачно.

Солнцева осторожно поцеловала брата во влажный юношеский висок. На нем чуть заметно проступала тонкая голубая вена.

А через несколько часов опять была ночь, вокзал, рябой носильщик, с трудом доставший билет, гром железных мостов, снега, угрюмый закат в степях за Харьковом и, наконец, синий дым глубоких бухт, высокое солнце и мягкий воздух приморской осени.

Солнцева бросилась к окну, — да, крейсер синел на рейде, он никуда не ушел! Солнцева начала торопливо рвать оконный ремень. Она хотела высунуться и протянуть к крейсеру руки, махать ему до беспамятства белым платком. Но окно не открывалось, и Солнцева вспомнила, что уже зима, что солнце светит здесь, на краю южных прекрасных широт, как последняя память о лете.

«Лишь бы наши не уехали, лишь бы их застать!» — думала Солнцева.

Своих она еще застала в приморском городе.

Через день на крейсере был снова поставлен прерванный спектакль. Когда «подземный дух» раздвинул занавес и на сцену вышла Солнцева, моряки встали, и грохот неслыханных на рейде аплодисментов потряс окрестные берега. Простые полевые цветы падали к ногам Солнцевой и перемешивались со старинными шелками и синим бархатом венецианских нарядов. Командир стоял в первом ряду и дружески улыбался.

Солнцева наклонила голову. Она почувствовала в глазах прежнюю тяжесть слез, но это были слезы благодарности и дружбы.

Она подавила их, подняла голову и рассмеялась. И тотчас же вздохнул оркестр, и щемящая мелодия Верди заглушила плеск волн.

Солнцева отколола камелию от корсажа и бросила ее на палубу. Вместо камелии она приколола сухой и пыльный лиловый цветок. Это был цветок городских окраин, брошенный ей Васей Чуховым.

Она пела блистательно. Голос ее звенел и томился над бухтами. Старые рыбаки сидели на берегах у воды, слушали и удивлялись силе человеческой молодости.

Командир слушал и думал, что ничто не дает такого расцвета таланту, как дружба и простое товарищеское внимание.

Казалось, Виолетта пела в своей родной Венеции. Дым звезд роился над береговыми утесами. Блеск огней достигал до самого дна бухты, так прозрачна была морская вода. Воздух дрожал от невидимых жарких течений. Горизонт над морем, несмотря на ночь, был светел на десятки миль, как будто наступали сумерки.

После спектакля краснофлотцы окружили Солнцеву, но внезапно быстро и почтительно расступились. К Солнцевой шел высокий моряк с широкими золотыми шевронами на рукавах — командующий флотом.

— Я хочу вас поблагодарить от имени всего флота, — сказал он. — Вы доставили нам высокую радость. Ну, как брат, поправляется?

Солнцева хотела ответить, что не она, а вот эти молодые, загорелые моряки — то смешливые, то серьезные, но всегда спокойные и доброжелательные — заставили ее испытать настоящее счастье. Она подумала, что таким слушателям могли бы позавидовать и Моцарт и Бетховен, но ничего не ответила, — она только крепко, до боли, пожала руку командующему.

Свежий ветер дул с моря, где в темноте и гуле бурунов сверкали далекие маяки.

1935

АВСТРАЛИЕЦ СО СТАНЦИИ ПИЛЕВО

Отца Вани Зубова каждый год с весны трясла болотная лихорадка. Он лежал на полатях, кашлял и плакал от едкого дыма: в сенцах курили трухлявое дерево, чтобы выжить из избы комаров.

Глухой дед, по прозвищу Гундосый, приходил лечить отца. Дед был знахарь и крикун, его боялись по всей округе, по всем глухим лесным деревням.

Дед толок в ступе сушеных раков, делал из них для отца целебные порошки и кричал, глядя на Ваню злыми дрожащими глазами:

— Разве это земля?! Подзол! На нем даже картоха не цветет, не желает его принимать, дьявола. Пропади он пропадом, тот подзол! Наградил нас царь за работу, — некуды народу податься!

— Податься некуды, это верно, — вздыхал отец.

— Ты чего бубнишь?! — кричал Гундосый. — Заладил, как дятел: «некуды да некуды»! Небось есть куды. Небось бягут люди в Сибирь, за реку Амур, богатые земли пашут.

— Известно, бягут, — стонал с полатей отец.

— Ничего тебе не известно! — продолжал кричать дед. — Ничего не бягут. Народ, что овца, — все к загону жмется, хоть тот загон ей горше смерти стано-

вится. На печи сидеть вы охочие, а пойти поискать счастья, так на это вы не охочие.

— Народ у нас действительно квёлый... Без напору народ, — соглашался измученный отец.

— Но, но! — кричал дед. — Ты поспорь у меня, какой лихой господин! Напор-то у вас есть, да на кой толк он вам даден, одному лешему известно! Напористы вы водку пить, стариков со свету сживать, по судам из-за того подзола веками судиться.

Отец уже молчал. Спорить с дедом не было возможности.

— Вот малый у тебя зря сидит! — Дед тыкал суковатым посохом в Ваню, и Ваня пугался. — Гони его в Сибирь землю искать. Шестнадцатый год ему пошел, а он под ногами суется, чаю просит, а работы с него, как с кота масла. Грамоту знает, вытяни его из-за угла за ухи и пошли.

— Чего ты, дед, раскричался? — говорил умоляющим голосом отец. — Куда я его пошлю, когда за один билет до Сибири отдай тридцать рублей, а то и все сорок?

— Ух ты, бестолочья твоя голова! — возмущался дед. — Пущай без билета едет, чего ему сделается? Где под лавкой, где в товарном, где на крыше, — так и доедет. А ты как же думал? С чистыми господами, с чайниками, на мягких постелях?

Дед зло захихикал.

— Миллиён! — неожиданно крикнул он и так стукнул по ступе, что отец закряхтел. — Не мене как миллиён каждый год без билета по чугунке туды-сюды шастает. Зовутся они зайцы. Вот его — зайцем, зайцем! Пусть хлебнет горя да поищет счастья! Зайцем!

Дед взмахнул посохом, засмеялся визгливо, как баба, и перекрестился: лекарство было готово.

В то же лето отец от дедовских порошков умер. Мать Дарья, бестолковая и скупая старуха, упросила Ваню ехать зайцем в Сибирь: может быть, там и взаправду дают сирым людям богатые земли. Мать по ночам не спала: все прикидывала, как они будут жить в Сибири.

— Поставим мы избу о пяти углах из дарового лесу, — бормотала она, и Ване казалось, что старуха молится. — На самом на берегу реки. Ох, мать пресвятая богородица! А река бегучая, течет из великих лесов по золотым пескам. Посеем гречиху, поставим улья, пчел заведем...

— Вы бы спали, мамка, — говорил Ваня.

Но мать все бормотала и бормотала. Бормотанье ее сливалось в один тягучий ночной звук с шорохом осеннего дождя, и под этот шорох Ваня засыпал. Ехать в Сибирь он боялся. Он знал, что в Сибирь уезжает много народу, но ни разу не видел, чтобы из Сибири возвращались. И отец говорил, что в Сибири народ тонет, как в зыбуне, в болоте.

Мать дала Ване на дорогу хлеба, луку, кусок старого сала, круто посыпанный желтой солью, и проводила на узкоколейку до станции Пилево.

Шел надоедливый октябрьский дождь. Он сбивал с берез холодные подгнившие листья и стучал по железной крыше вагонов. Ваня выглянул из окна, хотел крикнуть матери, что ему страшно ехать, что он хочет назад, в избу, где теплая зола в печке и тараканы, но мать, должно быть, поняла, чего он хочет, погрозила ему сухим, сморщенным кулаком и тем же кулаком вытерла слезы.

Так он и запомнил ее на всю жизнь: в старой паневе, с жилистыми сизыми ногами, измазанными грязью, с бабьими непонятными слезами на глазах.

Только в конце зимы Ваня добрался до Владивостока. В дороге его несколько раз били. Били станционные жандармы, кондуктора и грузчики-бродяги: у них он отбивал хлеб, напрашиваясь почти даром на тяжелую работу.

Сибирь показалась ему холодной, черной страной, где хлеб прячут в крепких домах за пудовыми замками, чтобы он не достался бедным, и ничто не растет, кроме заплесневелых бесконечных лесов, засыпанных по колени снегом.

Во Владивостоке Ваня попал в китайскую прачечную кочегаром. Приходилось топить дровами четыре больших котла, из котлов шел нездоровый серый пар

от белья. Седой китаец сидел на корточках около огня, курил и смотрел на Ваню желтыми дряхлыми глазами.

— Ты молодой, я старый, — говорил китаец и сплевывал сквозь длинные зубы. — Ты русский, я китаец, все равно нам плохо. Кушать мало надо, работать много.

— Плохо, дедушка, — соглашался Ваня. — Конца не видно нашей жизни.

— Ты молодой, я старый, — бормотал китаец. — Кушай мало, работай много.

Китаец был так худ, что широкие синие штаны постоянно сползали у него на бедра, открывая коричневый сухой живот. Китаец утюжил мужские сорочки. Однообразная эта работа казалась Ване хуже каторги, ей не было видно конца. Одни и те же рубашки возвращались в прачечную каждую неделю, и китаец снова утюжил их, чтобы через неделю опять и опять гладить все те же мужские сорочки.

Весной старый китаец умер. Он упал грудью на гладильную доску, затянутую паленой простыней, и чугунный утюг с грохотом вывалился из его руки.

Хоронили китайца за городом, на пустыре, где росла серая трава.

Весна была туманная, сырая, но во время похорон, когда китайцы сидели около свежей могилы и бормотали прощальные молитвы, появилось солнце. Его свет одним взмахом лег на воду, и берега и океан внезапно наполнились таким глубоким блеском и прозрачностью, что Ваня тут же решил бросить прачечную и уйти кочегаром на пароход.

Несколько лет он проплавал кочегаром на грузовом пароходе «Лансу», ходившем под китайским флагом. Сначала «Лансу» плавал из Владивостока в Шанхай; потом, когда началась война, он ушел в Австралию и оттуда возил овец и мороженое мясо в Батавию и Сингапур.

Команда на пароходе была сборная. Больше всего было норвежцев, странных людей, белоглазых и неразговорчивых. Капитаном был Ксиди — маленький жирный грек с золотыми зубами, всегда пьяный, в кителе,

облепленном пухом от подушек и обсыпанном трубочным табаком.

Пароход был так же грязен, как и его капитан. Ване — теперь его звали Джоном — казалось, что одним своим появлением около тропических берегов «Лансу» отравляет воздух, настоенный на дыхании источников, трав и вьющихся цветов. От парохода шла густая вонь овечьего помета и пережженного кофе. Кофе пили с утра до вечера, и кок по нескольку раз в день выливал в зеленую океанскую воду ушаты бурой кофейной гущи.

Ваня быстро привык к пароходной жизни. Она была бедна событиями: все тот же рейс, то же темное небо, те же лесистые острова, как бы утонувшие в воде, торчащие из нее одними зелеными верхушками, те же клопы в кубрике и матросские разговоры о вороватом коке и береговом пьянстве.

На третий год «Лансу» сел в тихую погоду на камни на Большом коралловом рифе около берегов Австралии. Риф лежал до горизонта, как громадная губка, чуть покрытая тонким слоем воды. Подводные камни отвесно поднимались со дна. Шлюпка каждую минуту то царапала днищем о камни, то проплывала над бездонными колодцами: добраться до берега было трудно. Берег виднелся вдалеке узкой полосой песков, освещенных белым солнцем.

Около самого берега Ваня заглянул в воду и увидел круглые водоросли, похожие на шары из зеленого дыма. Они медленно колебались в теплой воде.

Ваня вспомнил Боровые озера, куда он бегал летом ловить рыбу. Там были такие же водоросли. В них жили стаи мальков. Ваня лез в черную воду, накрывал водоросли рубахой и вытаскивал их на берег вместе с мальками. Водоросли были такие тонкие, что на рубахе оставалась от них только паутина. Она быстро высыхала и осыпалась зеленой пылью.

Когда шлюпка пристала к австралийскому берегу, Ваня разделся и нырнул в воду. Он поймал тельником одну водоросль и вытащил на горячий белый песок. Водоросль пахла так же, как и там, на Боровых озерах, запахом чистой глубокой воды.

Ваня развернул тельник; зубастая серая рыба с налитыми кровью глазами лежала в нем и трещала колючими костяными плавниками. Ваня схватил ее, хотел бросить в воду, но рыба изогнулась и вцепилась ему в ладонь.

Ваня оторвал ее и швырнул на песок. Из руки лилась кровь. Рыба пищала и хрипела. Матрос-малаец сказал Ване, что рыба эта ядовитая, что в океане вообще много ядовитых рыб и рука у Вани наверняка отсохнет.

Ване хотелось заплакать, но он сдержался и только выругался по-русски.

— Все у вас не как у людей, — сказал он малайцу, — даже рыбы кусаются, как собаки. Одна от этого получается тоска.

Малаец виновато улыбнулся.

С тех пор тоска не оставляла Ваню. Она медленно усиливалась. Ею было пропитано все вокруг, как хлеб бедняков бывает пропитан водой. Тоска была в самом небе этой страны, пыльном, высоком, покрытом по ночам чужими и редкими звездами, в сухом воздухе, в деревьях без коры, в клекочущих звуках английской речи, но больше всего в изнурительном и однообразном труде.

Ваня с матросом-малайцем поступил рабочим на сахарные плантации. С рассвета до позднего вечера рабочие шли рядами, согнувшись до земли, по полям сахарного тростника и рубили его под корень кривыми толстыми ножами, похожими на секачи. На тростниковых полях застаивался спертый воздух, от него ныла голова. Один раз Ваня попробовал тростниковую мякоть, — она была приторной, липкой и пахла аптекой.

Следил за рабочими высокий сухой человек с вывихнутым носом. Звали его «босс». Он никогда не кричал и не сердился. Он безмолвно и неторопливо подходил к провинившемуся рабочему, сильно бил его кулаком в лицо и так же неторопливо проходил дальше. Его боялись. Говорили, что когда-то он был знаменитым по всему Тихому океану карточным шулером.

Ночью спали в бараках. Друг с другом почти не разговаривали. Народ был разноязычный, набранный только на уборку одного урожая. Вечером пили кофе и сразу же валились на койки — спать до рассвета. Босс молча обходил бараки, гасил свет, иногда сбрасывал ударом ноги с койки какого-нибудь «цветного» рабочего — малайца или негра — и шарил под циновкой: искал водку.

Однажды босс ударил в лицо работницу-китаянку. Она визгливо заплакала и швырнула в босса ножом. Нож упал плашмя на землю и поднял пыль. Босс нехотя обернулся и пошел к китаянке. Она затряслась всем телом и начала кричать пронзительно и непрерывно.

Рабочие выпрямились. Страшное, сухое солнце жгло их головы. Сквозь красноватый туман в глазах они не сразу могли разобрать, что случилось.

Босс подошел вплотную к китаянке, но его схватил за плечо рабочий-американец, по прозвищу «Золотой мешок», — единственный веселый человек на плантациях. Он когда-то работал на золотых приисках, рассказывал, как золотоискатели носят золотой песок в кожаных мешочках, и за это его прозвали «Золотым мешком».

— Босс, — сказал «Золотой мешок», — вонючая собака, надо посчитаться с тобой по-белому за эту цветную.

Он показал на китаянку.

— Закажи сначала справку о смерти, — ответил босс и начал засучивать рукава.

«Золотой мешок» снял соломенную шляпу, несколько раз быстро сжал и разжал кулаки и вдруг стремительно и страшно ударил босса в переносицу. Босс упал и больше не поднимался: он был убит одним ударом наповал.

«Золотой мешок» скрылся. Вечером приехали полицейские в широкополых фетровых шляпах. Китаянку арестовали, а всех рабочих уволили.

Ваня с малайцем пошли пешком в портовый город Брисбэн искать счастья.

Искать счастья! Несколько раз за последние годы Ваня вспоминал крик Гундосого: «Пусть хлебнет горя да поищет счастья!» Счастье осталось на родине.

Однажды, незадолго до аварии «Лансу», капитан Ксиди вызвал Ваню в каюту к себе и спросил:

— Джон, ты знаешь, что творится на твоей картофельной родине?

— Война, — ответил Ваня.

— Дурак! — сказал капитан. — Война кончена. Она навоняла на весь мир и потухла. В твоей стране революция. Гальюнщиков сажают министрами. Может быть, твой почтенный отец уже сидит в кабинете с телефоном и пьет квас с икрой.

— Мой отец умер, — тихо сказал Ваня. — Вы моего отца лучше не трогайте.

— Ты мне грубишь, кочегар! — торжественно сказал капитан и икнул (он был, по обыкновению, пьян). — Отстоишь за это две вахты. Кто лезет в революцию? Кто? — крикнул он. — Астраханский мужик, народ, не имеющий истории! Надо было поучиться у греков. Мы умели драться за свободу, как львы!

— Умели, да не успели, — сказал Ваня. — Ваше дело лимонами спекулировать.

— Пошел вон, бандит! — сказал печально Ксиди.— За что бог покарал меня вонючей командой на этом дырявом китайском сундуке?

Ксиди упал головой на стол и всхлипнул. Ваня ушел. Так он впервые узнал о революции. Он начал жадно читать газеты. Он думал о революции по ночам. Неужели сбылись мечты матери и там, на родине, уже дают сирым людям богатые земли?

Он думал о революции и родине в душном ночном кубрике, пропитанном крепким пòтом, думал, что счастье осталось позади, в России, что он уехал от него и на это глупое бегство от счастья потратил тягучие годы голода, каторжного труда и унижений.

В Брисбэне Ваня с малайцем провели несколько ночей в портовом саду. Работы не было.

Стояла австралийская зима. Океан ревел на рифах. Изредка Ваня жевал жареные кукурузные зерна. Их дала ему старуха — чистильщица сапог.

Дули ветры, потом пошли дожди. Ночью Ваня прятался с малайцем на крыльце закрытого на зиму летнего ресторана. Ветер бил в лицо тяжелыми каплями воды и гнилыми листьями. Ветер бесновался над океаном и гнал на молы горы мутной воды. Она захлестывала землю и разливалась холодными лужами. Соленая вода хлюпала в порванных бутсах и разъедала до крови натруженные ноги.

На пятую ночь Ване стало жарко; океан и небо перемешались и понеслись над головой потоками черной воды, звезд и дыма. Ваня сидел на крыльце, покачивался и пел:

Ревела буря, гром гремел,
Во мраке молнии блистали!..

Малаец испугался и заплакал. Потом он побежал к ближайшему полицейскому, и наутро Ваню перевезли в больницу. Он пролежал два месяца в тифу. Его мучил все один и тот же бред. В больницу приходил Гундосый. Он толок в ступе зубастую серую рыбу и хихикал.

— Зайцем! — кричал он. — Поезди по миру зайцем, поищи счастья!

— Зачем отца уморил? — спрашивал Ваня.

— Не я его уморил, — кричал дед, — подзол его уморил! Тесно было ворочаться мужикам на худой земле. От той тесноты дох народ, как раки от водяной чумы.

— Ты бы ушел, дед, — просил Ваня.

— Куда мне идти-то? — кричал дед. — Мне идти некуда: знахарей всех сничтожили, подрубили под самый корень, вот и шастаем по чужим австралийским землям, просим Христа ради у нехристей-англичан.

Потом дед силой открывал Ване рот и сыпал колючий порошок из толченой ядовитой рыбы.

Ваня кричал, рвался и выбивал из рук сиделки стакан с водой.

Из больницы Ваня вышел в начале весны. Уже грело солнце, и легкие ветры ровно и тепло дули с океана, заволакивая портовые улицы сернистым пароходным дымом.

Нашлась работа: доктор из больницы предложил

Ване перекопать у него в большом саду грядки под цветы и овощи.

Ваня копал медленно, часто садился и пережидал, пока перестанет кружиться голова. Маленький мальчик, сын доктора, приносил Ване завтрак и дешевые папиросы. Особенно радовался мальчик тому, что мать доверяла ему носить работнику такую запретную вещь, как табак. Папиросы он никогда не отдавал сразу. Он таинственно и долго вытаскивал их из кармана и со смехом протягивал Ване.

Когда Ваня копал грядки, мальчик стоял рядом, внимательно смотрел на согнутую Ванину спину и без конца расспрашивал о России. Все, что рассказывал Ваня, казалось мальчику замечательной выдумкой.

Каждое утро мать мальчика — худая и красивая женщина — читала ему вслух толстую книгу. Ваня копал грядки около террасы и слушал.

В книге рассказывалась печальная история матроса, скитавшегося по земле в поисках потерянного кисета с табаком. Океаны сменялись вековыми лесами, леса — горячими пустынями, пустыни — вершинами диких гор, горы — шумными и веселыми городами.

Матрос встречал много людей, то крикливых и насмешливых, то робких и гостеприимных, то драчливых и вспыльчивых, но никто не мог помочь ему найти драгоценный кисет. Без этого потертого кисета чудак-матрос не мог жить. Только маленькая веснушчатая школьница посоветовала матросу вернуться домой и посмотреть, не забыл ли он кисет на скамейке около кровати, куда он складывал, ложась спать, свое грубое платье. Матрос вернулся домой и нашел кисет. В нем осталось табаку как раз на одну трубку. Порог его дома зарос высокой травой. Трава качалась и кланялась матросу, радовалась тому, что этот упрямый человек вернулся на родину, и матрос осторожно переступил через траву, чтобы не помять ее.

Книга кончалась словами:

«Чужое небо и чужие страны радуют нас только на очень короткое время, несмотря на всю свою красоту. В конце концов придет пора, когда одинокая

ромашка на краю дороги к отчему дому покажется нам милее звездного неба над Великим океаном и крик соседского петуха прозвучит, как голос родины, зовущей нас обратно в свои поля и леса, покрытые туманом».

Ваня сел на грядку и стал осторожно счищать щепкой с лопаты налипшую землю. Он прислушивался, но голос на террасе замолк.

Муравьи ползли один за другим по серому стволу дерева, и Ваня вспомнил муравьиные дороги в сосновых лесах около Пилева, заросли вереска и бересклета, крик журавлей под родным небом с его тонкими вечерними облаками.

Ваня поймал одного муравья на щепку. Он был синий, огромный. Он тотчас же стал на задние лапки и приготовился вцепиться в руку.

Ваня бросил щепку и заплакал. Он не мог удержать слез, они текли по его впалым небритым щекам, капали на руки, на лопату, на злых синих муравьев, и Ваня, плача, думал, что он мог бы проплакать сутки, целую неделю, так много накопилось тяжести на душе. О ней он никому не рассказывал, да и некому было рассказывать.

Когда мальчик принес Ване завтрак, он застал его еще плачущим. Губы у мальчика задрожали, но он сдержался и сказал суровым голосом:

— Я все знаю. Вас обидела рыжая девчонка.

Ваня покачал головой и украдкой вытер слезы.

— Нет, — сказал он глухо. — Это так...

— «Так» ничего не бывает, — строго повторил мальчик слова, слышанные от взрослых тысячу раз.

— Ну так... — сказал Ваня. — Вспомнил про разное, про свою страну. Очень она далеко отсюда.

Мальчик осторожно поставил кастрюлю с супом на землю и убежал в дом. Он долго не возвращался. Ваня начал есть суп. Слезы изредка еще текли по его щекам, но было уже легче.

Мальчик прибежал красный от волнения и сунул Ване в руку маленький кусок картона. Это был старый, давно использованный пароходный билет.

— Он настоящий, — сказал мальчик таинственно.— Мама ездила с ним в Лондон. Она подарила его мне и сказала, что, когда я вырасту большой, я тоже поеду по этому билету в Лондон. Я его спрятал за печкой. Возьмите.

— Зачем же он мне? — спросил Ваня.

— Возьмите, — повторил мальчик, и губы у него опять задрожали. — Поезжайте домой. Взрослому нельзя плакать. Завтра уходит пароход. Я смотрел в газете.

Ваня встал. Он хотел что-то сказать мальчику, но не смог. Он только ласково взъерошил теплые волосы на голове у мальчика, осторожно воткнул лопату в землю и вышел из сада. Хлопнула калитка. Ваня прислушался. За ней было тихо.

Больше месяца еще прожил Ваня в Брисбэне, голодал и зарабатывал гроши на билет до соседнего порта, чтобы только уехать из Брисбэна и случайно не встретить мальчика. Мальчик был уверен, что Ваня уехал на родину с его использованным, пробитым несколькими контролерами билетом, и нельзя было разрушать эту уверенность. Ваня прятался от мальчика, как бродяга прячется от полицейских.

Только через месяц он уехал в Батавию, а оттуда то зайцем, то палубным пассажиром, то гальюнщиком — матросом, моющим пароходные уборные, — он добрался до Лондона. В Лондоне его взяли на советский теплоход и привезли в Ленинград.

Ваня вернулся на родину осенью. Осень выдалась в том году сухая и ясная. Земля отдыхала от богатого и тяжелого урожая, она как будто спала в голубых туманах, в шелесте тихих лесов. Ее дыхание было свежим, исцеляющим прежние обиды.

В Пилеве Ваня поступил помощником машиниста на узкоколейную железную дорогу. Он с жадностью говорил с людьми, присматривался ко всему, что происходило вокруг, и чувствовал даже в каждом пустяке удивительную жизнь как будто знакомой и вместе

с тем новой родины, видел множество признаков счастья, расцветавшего на когда-то скудных полях, в когда-то нищих деревушках.

Как-то в выходной день Ваня пошел с машинистом Кузьмой Петровичем — маленьким, блестящим от машинного масла стариком — на Боровые озера ловить рыбу. Мальчишкой он бегал на эти озера, но каждый раз, когда он возвращался, Дарья замахивалась на него вожжами и визгливо кричала:

— Откуда такой барчук взялся, косоротый! Лошадь не поена, не кормлена, а он по озерам шлендает!

Дарья давно умерла. Умер и дед Гундосый. Старое кладбище, где они были похоронены, распахали и засеяли клевером. В клевере гудели шмели. Они отвесно взлетали из травы и с треском ударялись о заколоченные окна церкви. В церкви жили старые худые пауки. Они заткали все окна и часами сидели в оцепенении около высохших мух, болтавшихся в паутине.

Путь на озера был долог. День стоял туманный, засыпанный сухими березовыми листьями. Посвистывали синицы, курлыкали журавли над вершинами сосен. Ваня узнавал старые места: лесные заброшенные дороги, уводившие в заросли осинника, просеки, заросшие вереском, бессмертником и колосистой травой, и муравьиные тропы в рыжем зернистом песке.

Над лесным краем стояла прозрачная тишина — та осенняя тишина, когда кажется, что звенит даже паутина, перелетающая через поляны.

По пути зашли в деревню, где стояла Ванина изба.

В избе давно уже жили чужие — семья лесника.

К Ване вышла девушка в синем сарафане. Две длинные темные косы она перекинула через плечо и все время перебирала их от смущения.

— Дома-то никого нет, — сказала она и подняла на Ваню спокойные светлые глаза. — Отец в лесу, а мать поехала в город на колхозную ярмарку. Зайдите.

Ваня вошел и остановился у притолоки. Цветы стояли на оконцах, на столе, даже на полатях, где умер отец. Солнечный свет падал на суровую ска-

терть и раскрытую на столе книгу. Пахло сухим хлебом и яблоками.

Ваня взял книгу — это была ботаника.

— Учебник, — улыбнулась девушка. — Я здесь только летом живу, зимой учусь в городе.

Ваня по дороге в лесу собрал немного цветов. Он срывал их и старался вспомнить их названия. Он показал цветы девушке и пожаловался, что вот, мол, забыл русский язык и не помнит названий цветов. Девушка разложила цветы на столе, начала медленно перебирать их и называть имена: медуница, кипрей, ромашка, генциана, плакун-трава.

Ваня смотрел на нее, и ему все казалось, что это соседская Зинка. Когда он уезжал, ей было три года, она ползала по полу вся в коросте, измазанная куриным пометом, и мать звонкими шлепками отгоняла ее от корыта со свиным пойлом.

— Вы меня не помните? — спросил Ваня.

Девушка застенчиво посмотрела на него и покачала головой.

— Нет, не вспоминаю. А вы разве здешний?

Ваня не ответил. Он оставил цветы девушке и вышел. В сенях валялась в углу черная от старости, расколотая ступа, в которой дед Гундосый толок для отца целебные порошки. Долго потом Ваня не мог отделаться от мысли, что вся его прошлая жизнь, так же как и жизнь отца и матери, была чем-то похожа на эту страшную, вырубленную из дерева ступу, где годами толкли ядовитый злой порошок.

Дорога на Боровые озера шла сначала лесами. Потом пошли сухие болота, заросшие низкой березкой, ольхой, брусникой и кукушкиным льном. Мшары были золотые от осени: желтые листья падали в жесткую и высохшую траву. Красные стрекозы летали над травами, в воздухе столбами толклась мошкара, облака медленно уходили в вышину и растворялись в ней — все это предвещало сухие и теплые дни. Среди мшар стояли острова сосновых боров. Сосны росли на песчаных холмах. Земля в лесах — тот серый, похожий на пепел подзол, из-за которого и начались все Ванины

несчастья, — была покрыта папоротником и ландышами с оранжевыми ягодами.

На одном из лесистых островов Кузьма Петрович показал Ване свежие следы лося. Лось шел скачками в сторону озер, должно быть спешил на водопой. Уже на закате, когда огромное тихое солнце спускалось за океаны осенних лесов, Ваня и Кузьма Петрович поднялись на остров, где лежало пять Боровых озер. От воды тянуло ночной прохладой. Одинокая яркая звезда сверкала над лесами и отражалась в глубине озер.

Ваня остановился на холме над озерами, и слезы, как тогда в Брисбэне, в саду у доктора, подступили к горлу. Он вспомнил мальчика, свои рассказы о родине и подумал, что родина во сто крат прекраснее, чем он представлял ее себе издалека.

Всю ночь Ваня не спал, сидел у костра и прислушивался. Он узнавал плач сов, свист летучих мышей, сонные удары рыб в озерных омутах. Чем глуше становилась ночь, тем ярче разгоралось небо. Перед рассветом взошел Сириус и медленно понес свой пронзительный зеленый огонь над сырыми чащами, где печально трубил, как будто звал кого-то, какой-то лесной зверь.

Кузьма Петрович проснулся, послушал и сказал:

— Сохатый плачет.

На обратном пути Ваня снова зашел в свою старую избу. Встретила его хлопотливая чистая старушка в маленьких лаптях — тетка Василиса. Он совсем забыл о ней, но она его хорошо помнила.

— Ванятка! — вскрикнула она, расцеловалась с Ваней и захлопотала вокруг стола. — А народ все гудит и гудит который год, что ты сгинул за краем земли, пропал в теплых морях. Все твоего отца поминаю, Игната. До чего тихий был человек, даже кашлять надсадно боялся, чтобы людей не тревожить! Бывало, лежит, помирает. Придешь к нему, спросишь: «Тебе, Игнатушка, может, пирог ржаной испечь или бруснички принести к чаю, все полегчает малость?» А он говорит: «Ни к чему это, Василиса. Жизнь надо бы себе стесать хорошую, светлую, как новая изба,

да вот не стесал: руки у нас, у мужиков, от навоза не гнутся...» Говорит: «Есть земля, Василиса, где стоят тихие, светлые воды и пшеница в полях клонит голову до самой земли — такой тугой у нее колос, — и песни народ поет веселые, как ихняя беспечальная жизнь. Да вот помираю, а той страны не видел. Ванюшка мой ее должен увидеть, а увидит — беспременно вспомнит отца». Так и помер Игнат, не дождался иной жизни. А Дарья померла, почитай, перед самой революцией, в одночасье. Простыла. Все бегала зимой в Пилево, дожидалась письма от тебя, а ты никак не писал. Бывало, плачет: «Ванятка мой больно далеко заехал, даже почта достигнуть не может. Зачем я его, дура, в Сибирь погнала?»

Ваня встал. Ему тяжело было слушать певучий Василисин рассказ о прошлом. Вошла девушка в синем сарафане, покраснела и поздоровалась с Ваней за руку.

— Дочка моя, — сказала старуха с гордостью. — Ты небось ее и не помнишь, Зинку-то? Она при тебе еще совсем сопливой была, а теперь учится в самой-то в Москве.

— Ну, мама! — сказала девушка с укором и еще гуще покраснела. Она застенчиво взглянула на Ваню и показала ему на стакан; в нем стояли лесные цветы — подарок Вани. — Вот и цветы без вас все завяли, — сказала она печально. — Я два раза воду меняла, а они вянут и вянут.

— Ай цветы тоже по человеку скучают? — спросила старуха и рассмеялась.

Через несколько дней Ваня послал из Пилева письмо со странным адресом: «Австралия, город Брисбэн».

Почтарь долго вертел письмо в руках, щупал: в письме что-то шуршало. Он посмотрел письмо на свет и увидел внутри очертания красного кленового листа. Почтарь ничего не понял, но штемпель приложил очень старательно: пусть в Австралии знают, что есть на свете станция Пилево, утонувшая в русских лесах.

В письме было написано:

«Спасибо, Боб, за билет. Он оказался совсем настоящим. Меня везли в отдельной каюте с кипятком и цветами, всю дорогу играла музыка, кормили нас яблочными пудингами, и я вспоминал о тебе. Ты, смотри, не забывай меня все время, пока растешь, потому что, когда ты вырастешь и станешь большой, ты приедешь ко мне в гости, и я покажу тебе страну, где все делается для того, чтобы у людей было в будущем поменьше горя и побольше счастья.

Посылаю тебе лист из наших лесов. Наши леса совсем красные, ты таких никогда не видел. Недавно я ходил в леса на глубокие озера и видел следы лесного зверя — лося. Он похож на громадную лошадь, но только с рогами. Пиши мне, а я буду писать тебе. Передай привет твоей маме, скажи: от Джона. Он же тот самый матрос, который искал свой кисет с табаком по всему миру. Скажи маме, что я тоже нашел свой кисет дома.

Прощай, учись, веселись и будь здоров!

Твой *Джон Зубов*».

1935

КОТ-ВОРЮГА

Мы пришли в отчаяние. Мы не знали, как поймать этого рыжего кота. Он обворовывал нас каждую ночь. Он так ловко прятался, что никто из нас его толком не видел. Только через неделю удалось, наконец, установить, что у кота разорвано ухо и отрублен кусок грязного хвоста.

Это был кот, потерявший всякую совесть, кот — бродяга и бандит. Звали его за глаза Ворюгой.

Он воровал все: рыбу, мясо, сметану и хлеб. Однажды он даже разрыл в чулане жестяную банку с червями. Их он не съел, но на разрытую банку сбежались куры и склевали весь наш запас червей.

Объевшиеся куры лежали на солнце и стонали. Мы ходили около них и ругались, но рыбная ловля все равно была сорвана.

Почти месяц мы потратили на то, чтобы выследить рыжего кота.

Деревенские мальчишки помогали нам в этом. Однажды они примчались и, запыхавшись, рассказали, что на рассвете кот пронесся, приседая, через огороды и протащил в зубах кукан с окунями.

Мы бросились в погреб и обнаружили пропажу кукана; на нем было десять жирных окуней, пойманных на Прорве.

Это было уже не воровство, а грабеж средь бела дня. Мы поклялись поймать кота и вздуть его за бандитские проделки.

Кот попался этим же вечером. Он украл со стола кусок ливерной колбасы и полез с ним на березу.

Мы начали трясти березу. Кот уронил колбасу, она упала на голову Рувиму. Кот смотрел на нас сверху дикими глазами и грозно выл.

Но спасения не было, и кот решился на отчаянный поступок. С ужасающим воем он сорвался с березы, упал на землю, подскочил, как футбольный мяч, и умчался под дом.

Дом был маленький. Он стоял в глухом, заброшенном саду. Каждую ночь нас будил стук диких яблок, падавших с веток на его тесовую крышу.

Дом был завален удочками, дробью, яблоками и сухими листьями. Мы в нем только ночевали. Все дни, от рассвета до темноты, мы проводили на берегах бесчисленных протоков и озер. Там мы ловили рыбу и разводили костры в прибрежных зарослях.

Чтобы пройти к берегу озер, приходилось вытаптывать узкие тропинки в душистых высоких травах. Их венчики качались над головами и осыпали плечи желтой цветочной пылью.

Возвращались мы вечером, исцарапанные шиповником, усталые, сожженные солнцем, со связками серебристой рыбы, и каждый раз нас встречали рассказами о новых босяцких выходках рыжего кота.

Но, наконец, кот попался. Он залез под дом в единственный узкий лаз. Выхода оттуда не было.

Мы заложили лаз старой рыболовной сетью и начали ждать. Но кот не выходил. Он противно выл, как подземный дух, выл непрерывно и без всякого утомления.

Прошел час, два, три... Пора было ложиться спать, но кот выл и ругался под домом, и это действовало нам на нервы.

Тогда был вызван Ленька, сын деревенского сапожника. Ленька славился бесстрашием и ловкостью. Ему поручили вытащить из-под дома кота.

Ленька взял шелковую леску, привязал к ней за хвост пойманную днем плотицу и закинул ее через лаз в подполье.

Вой прекратился. Мы услышали хруст и хищное щелканье — кот вцепился зубами в рыбью голову. Он вцепился мертвой хваткой. Ленька потащил за леску. Кот отчаянно упирался, но Ленька был сильнее, и, кроме того, кот не хотел выпускать вкусную рыбу.

Через минуту голова кота с зажатой в зубах плотицей показалась в отверстии лаза.

Ленька схватил кота за шиворот и поднял над землей. Мы впервые его рассмотрели как следует.

Кот зажмурил глаза и прижал уши. Хвост он на всякий случай подобрал под себя. Это оказался тощий, несмотря на постоянное воровство, огненно-рыжий кот-беспризорник с белыми подпалинами на животе.

Рассмотрев кота, Рувим задумчиво спросил:

— Что же нам с ним делать?

— Выдрать! — сказал я.

— Не поможет, — сказал Ленька. — У него с детства характер такой. Попробуйте его накормить как следует.

Кот ждал, зажмурив глаза.

Мы последовали этому совету, втащили кота в чулан и дали ему замечательный ужин: жареную свинину, заливное из окуней, творожники и сметану.

Кот ел больше часа. Он вышел из чулана пошатываясь, сел на пороге и мылся, поглядывая на нас и на низкие звезды зелеными нахальными глазами.

После умывания он долго фыркал и терся головой о пол. Это, очевидно, должно было обозначать веселье. Мы боялись, что он протрет себе шерсть на затылке.

Потом кот перевернулся на спину, поймал свой хвост, пожевал его, выплюнул, растянулся у печки и мирно захрапел.

С этого дня он у нас прижился и перестал воровать.

На следующее утро он даже совершил благородный и неожиданный поступок.

Куры влезли на стол в саду и, толкая друг друга и переругиваясь, начали склевывать из тарелок гречневую кашу.

Кот, дрожа от негодования, прокрался к курам и с коротким победным криком прыгнул на стол.

Куры взлетели с отчаянным воплем. Они перевернули кувшин с молоком и бросились, теряя перья, удирать из сада.

Впереди мчался, икая, голенастый петух-дурак, прозванный «Горлачом».

Кот несся за ним на трех лапах, а четвертой, передней лапой бил петуха по спине. От петуха летели пыль и пух. Внутри его от каждого удара что-то бухало и гудело, будто кот бил по резиновому мячу.

После этого петух несколько минут лежал в припадке, закатив глаза, и тихо стонал. Его облили холодной водой, и он отошел.

С тех пор куры опасались воровать. Увидев кота, они с писком и толкотней прятались под домом.

Кот ходил по дому и саду, как хозяин и сторож. Он терся головой о наши ноги. Он требовал благодарности, оставляя на наших брюках клочья рыжей шерсти.

Мы переименовали его из Ворюги в Милиционера. Хотя Рувим и утверждал, что это не совсем удобно, но мы были уверены, что милиционеры не будут на нас за это в обиде.

1936

БАРСУЧИЙ НОС

Озеро около берегов было засыпано ворохами желтых листьев. Их было так много, что мы не могли ловить рыбу. Лески ложились на листья и не тонули.

Приходилось выезжать на старом челне на середину озера, где доцветали кувшинки и голубая вода казалась черной, как деготь.

Там мы ловили разноцветных окуней. Они бились и сверкали в траве, как сказочные японские петухи. Мы вытаскивали оловянную плотву и ершей с глазами, похожими на две маленькие луны. Щуки ляскали на нас мелкими, как иглы, зубами.

Стояла осень в солнце и туманах. Сквозь облетевшие леса были видны далекие облака и синий густой воздух. По ночам в зарослях вокруг нас шевелились и дрожали низкие звезды.

У нас на стоянке горел костер. Мы жгли его весь день и ночь напролет, чтобы отгонять волков, — они тихо выли по дальним берегам озера. Их беспокоили дым костра и веселые человеческие крики.

Мы были уверены, что огонь пугает зверей, но однажды вечером в траве у костра начал сердито сопеть какой-то зверь. Его не было видно. Он озабоченно

бегал вокруг нас, шумел высокой травой, фыркал и сердился, но не высовывал из травы даже ушей.

Картошка жарилась на сковороде, от нее шел острый вкусный запах, и зверь, очевидно, прибежал на этот запах.

С нами был маленький мальчик. Ему было всего девять лет, но он хорошо переносил ночевки в лесу и холод осенних рассветов. Гораздо лучше нас, взрослых, он все замечал и рассказывал.

Он был выдумщик, но мы, взрослые, очень любили его выдумки. Мы никак не могли, да и не хотели доказывать ему, что он говорит неправду. Каждый день он придумывал что-нибудь новое: то он слышал, как шептались рыбы, то видел, как муравьи устроили себе паром через ручей из сосновой коры и паутины.

Мы делали вид, что верили ему.

Все, что окружало нас, казалось необыкновенным: и поздняя луна, блиставшая над черными озерами, и высокие облака, похожие на горы розового снега, и даже привычный морской шум высоких сосен.

Мальчик первый услышал фырканье зверя и зашипел на нас, чтобы мы замолчали. Мы притихли. Мы старались даже не дышать, хотя рука невольно тянулась к двустволке, — кто знает, что это мог быть за зверь!

Через полчаса зверь высунул из травы мокрый черный нос, похожий на свиной пятачок. Нос долго нюхал воздух и дрожал от жадности. Потом из травы показалась острая морда с черными пронзительными глазками. Наконец показалась полосатая шкурка.

Из зарослей вылез маленький барсук. Он поджал лапу и внимательно посмотрел на меня. Потом он брезгливо фыркнул и сделал шаг к картошке.

Она жарилась и шипела, разбрызгивая кипящее сало. Мне хотелось крикнуть зверьку, что он обожжется, но я опоздал — барсук прыгнул к сковородке и сунул в нее нос...

Запахло паленой кожей. Барсук взвизгнул и с отчаянным воплем бросился обратно в траву. Он бежал и голосил на весь лес, ломал кусты и плевался от негодования и боли.

На озере и в лесу началось смятение. Без времени заорали испуганные лягушки, всполошились птицы, и у самого берега, как пушечный выстрел, ударила пудовая щука.

Утром мальчик разбудил меня и рассказал, что он сам только что видел, как барсук лечит свой обожженный нос. Я не поверил.

Я сел у костра и спросонок слушал утренние голоса птиц. Вдали посвистывали белохвостые кулики, крякали утки, курлыкали журавли на сухих болотах — мшарах, плескались рыбы, тихо ворковали горлинки. Мне не хотелось двигаться.

Мальчик тянул меня за руку. Он обиделся. Он хотел доказать мне, что он не соврал. Он звал меня пойти посмотреть, как лечится барсук.

Я нехотя согласился. Мы осторожно пробрались в чащу, и среди зарослей вереска я увидел гнилой сосновый пень. От него тянуло грибами и йодом.

Около пня, спиной к нам, стоял барсук. Он расковырял пень и засунул в середину пня, в мокрую и холодную труху, обожженный нос.

Он стоял неподвижно и холодил свой несчастный нос, а вокруг бегал и фыркал другой маленький барсучок. Он волновался и толкал нашего барсука носом в живот. Наш барсук рычал на него и лягался задними пушистыми лапами.

Потом он сел и заплакал. Он смотрел на нас круглыми и мокрыми глазами, стонал и облизывал своим шершавым языком больной нос. Он как будто просил о помощи, но мы ничем не могли ему помочь.

Через год я встретил на берегах этого озера барсука со шрамом на носу. Он сидел у воды и старался поймать лапой гремящих, как жесть, стрекоз. Я помахал ему рукой, но он сердито чихнул в мою сторону и спрятался в зарослях брусники.

С тех пор я его больше не видел.

1936

ПОСЛЕДНИЙ ЧЕРТ

Дед ходил за дикой малиной на Глухое озеро и вернулся с перекошенным от страха лицом. Он долго кричал по деревне, что на озере завелись черти. В доказательство дед показывал порванные штаны: черт якобы клюнул деда в ногу, порвал рядно и набил на колене большую ссадину.

Деду никто не верил. Даже сердитые старухи шамкали, что у чертей отродясь не было клювов, что черти на озерах не водятся и, наконец, что после революции чертей вообще нет и быть не может — большевики извели их до последнего корня.

Но все же бабы перестали ходить к Глухому озеру за ягодами. Им стыдно было признаться, что на двадцатом году революции они боятся чертей, и потому в ответ на упреки бабы отвечали нараспев, пряча глаза:

— И-и-и, милай, ягод нынче нетути даже на Глухом озере. Отродясь такого пустого лета не случалось. Сам посуди: зачем нам зря ходить, лапти уродовать?

Деду не верили еще и потому, что он был чудак и неудачник. Звали деда «Десять про́центов». Кличка эта была для нас непонятна.

— За то меня так кличут, милок, — объяснил однажды дед, — что во мне всего десять про́центов

прежней силы осталось. Свинья меня задрала. Ну и была ж свинья — прямо лев! Как выйдет на улицу, хрюкнет — кругом пусто! Бабы хватают ребят, кидают в избу. Мужики выходят во двор не иначе как с вилами, а которые робкие, те и вовсе не выходят. Прямо турецкая война! Крепко дралась та свинья.

Ну слухай, что дальше было. Залезла та свинья ко мне в избу, сопит, зыркает на меня злым глазом. Я ее, конечно, тяпнул костылем. «Иди, мол, милая, к лешему, ну тебя!» Тут оно и поднялось! Тут она на меня и кинулась! Сшибла меня с ног; я лежу, кричу в голос, а она меня рветь, она меня терзаеть! Васька Жуков кричит: «Давай пожарную машину, будем ее водой отгонять, потому ныне убивать свиней запрещено!» Народ толчется, голосит, а она меня рветь, она меня терзаеть! Насилу мужики меня цепами от нее отбили. В больнице я лежал. Доктор прямо удивился. «От тебя, говорит, Митрий, по медицинской видимости, осталось не более, как десять про́центов». Теперь так и перебиваюсь на эти про́центы. Вот она какая, жизня наша, милок! А свинью ту убили разрывной пулей: иная ее не брала.

Вечером мы позвали деда к себе — расспросить о черте. Пыль и запах парного молока висели над деревенскими улицами — с лесных полян пригнали коров. Бабы кричали у калиток, заунывно и ласково, скликая телят:

— Тялуш, тялуш, тялуш!..

Дед рассказал, что черта он встретил на протоке у самого озера. Там он кинулся на деда и так долбанул клювом, что дед упал в кусты малины, завизжал не своим голосом, а потом вскочил и бежал до самого Горелого болота.

— Чуть сердце не хряснуло. Вот какая получилась завертка!

— А какой из себя этот черт?

Дед заскреб затылок.

— Ну, вроде птица, — сказал он нерешительно. — Голос вредный, сиплый, будто с простуды. Птица — не птица, пес его разберет.

— Не сходить ли нам на Глухое озеро? Все-таки любопытно, — сказал Рувим, когда дед ушел, попив чаю с баранками.

— Тут что-то есть, — ответил я, — хотя этот дед и считается самым пустяковым стариком от Спас-Клепиков до Рязани.

Вышли на следующий же день. Я взял двустволку.

На Глухое озеро мы шли впервые и потому прихватили с собой провожатым деда. Он сначала отказывался, ссылаясь на свои «десять прóцентов», потом согласился, но попросил, чтобы ему за это в колхозе выписали два трудодня. Председатель колхоза, комсомолец Леня Рыжов, рассмеялся:

— Там видно будет! Ежели ты у баб этой экспедицией дурь из головы выбьешь, тогда выпишу. А пока шагай!

И дед, благословясь, зашагал. В дороге о черте рассказывал неохотно, больше помалкивал.

— А он ест что-нибудь, черт? — спрашивал, посмеиваясь, Рувим.

— Надо полагать, рыбкой помаленьку питается, по земле лазит, ягоды жрет, — говорил, сморкаясь, дед. — Ему тоже промышлять чем-нибудь надо, даром что нечистая сила.

— А он черный?

— Поглядишь — увидишь, — отвечал загадочно дед. — Каким прикинется, таким себя и покажет.

Весь день мы шли сосновыми лесами. Шли без дорог, перебирались через сухие болота — мшары, где нога тонула по колено в коричневых мхах.

Жара густо настаивалась в хвое. Кричали медведки. На сухих полянах из-под ног дождем сыпались кузнечики. Устало никла трава, пахло горячей сосновой корой и земляникой. В небе над верхушками сосен неподвижно висели ястребы.

Жара измучила нас. Лес был накален, казалось, что он тихо тлеет от солнечного зноя. Даже как будто попахивало гарью. Мы не курили. Мы боялись, что от первой же спички лес вспыхнет и затрещит, как сухой можжевельник, и белый дым лениво поползет к солнцу.

Мы отдыхали в густых чащах осин и берез, пробирались через заросли на сырые места и дышали грибным прелым запахом травы и корней.

Мы долго лежали на привалах и слушали, как шумят океанским прибоем вершины сосен, — высоко над головой дул медленный ветер. Он был, должно быть, очень горяч.

Только к закату мы вышли на берег озера. Безмолвная ночь осторожно надвигалась на леса глухой синевой. Едва заметно, будто капли серебряной воды, блестели первые звезды. Утки с тяжелым свистом летели на ночлег.

Озеро, замкнутое поясом непроходимых зарослей, поблескивало внизу. По черной воде расплывались широкие круги — играла на закате рыба.

Ночь начиналась над лесным краем, долгие сумерки густели в чащах, и только костер трещал и разгорался, нарушая лесную тишину.

Дед сидел у костра и скреб пятерней худую грудь.

— Ну, где же твой черт, Митрий? — спросил я.

— Тама, — дед неопределенно махнул рукой в заросли осинника. — Куда рвешься? Утром искать будем. Нынче дело ночное, темное, — погодить надо.

На рассвете я проснулся. С сосен капал теплый туман.

Дед сидел у костра и торопливо крестился. Мокрая его борода мелко дрожала.

— Ты чего, дед? — спросил я.

— Доходишься с вами до погибели! — пробормотал дед. — Слышь, кричит, анафема! Слышь? Буди всех!

Я прислушался. Спросонок ударила в озере рыба, потом пронесся пронзительный и яростный крик.

— Уэк! — кричал кто-то. — Уэк! Уэк!

В темноте началась возня. Что-то живое тяжело забилось в воде, и снова злой голос прокричал с торжеством:

— Уэк! Уэк!

— Спаси, владычица-троеручица! — бормотал, запинаясь, дед. — Слышь, как зубами кляцает? Дернуло меня с вами сюды переться, старого дурака!

С озера долетали странное щелканье и деревянный стук, будто там дрались палками мальчишки.

Я растолкал Рувима.

— Ну, — сказал дед, — действуйте, как желаете. Я знать ничего не знаю! Еще за вас отвечать доведется. Ну вас к лешему!

Дед от страха совсем ошалел.

— Иди стреляй, — бормотал он сердито. — Совецко правительство тоже за это по головке не побалует. Нешто можно в черта стрелять? Ишь чего выдумали!

— Уэк! — отчаянно кричал черт.

Дед натянул на голову армяк и замолк.

Мы поползли к берегу озера. Туман шуршал в траве. Над водой неторопливо подымалось огромное белое солнце.

Я раздвинул кусты волчьей ягоды на берегу, вгляделся в озеро и медленно потянул ружье.

— Что видно? — шепотом спросил Рувим.

— Странно. Что за птица, никак не пойму.

Мы осторожно поднялись. На черной воде плавала громадная птица. Оперение ее переливалось лимонным и розовым цветом. Головы не было видно, — она вся, по длинную шею, была под водой.

Мы оцепенели. Птица вытащила из воды маленькую голову, величиною с яйцо, заросшую курчавым пухом. К голове был как будто приклеен громадный клюв с кожаным красным мешком.

— Пеликан! — крикнул Рувим.

— Уэк! — предостерегающе ответил пеликан и посмотрел на нас красным глазом.

Из пеликаньего клюва торчал хвост толстого окуня. Пеликан тряс шеей, чтобы протолкнуть окуня в желудок.

Тогда я вспомнил о газете — в нее была завернута копченая колбаса. Я бросился к костру, вытряхнул из рюкзака колбасу, расправил засаленную газету и прочел объявление, набранное жирным шрифтом:

«Во время перевозки зверинца по узкоколейной железной дороге сбежала африканская птица пеликан. Приметы: перо розовое и желтое, большой клюв с меш-

ком для рыбы, на голове пух. Птица старая, очень злая, не любит и бьет детей. Взрослых трогает редко. О находке сообщить в зверинец за приличное вознаграждение».

— Ну, — спросил я, — что будем делать? Стрелять жалко, а осенью он подохнет от голода.

— Дед сообщит в зверинец, — ответил Рувим. — И, кстати, заработает.

Мы пошли за дедом. Дед долго не мог понять, в чем дело. Он молчал, моргал глазами и все скреб худую грудь. Потом, когда понял, пошел с опаской на берег смотреть черта.

— Вот он, твой леший, — сказал Рувим. — Гляди!

— И-и-и, милай... — Дед захихикал. — Да разве я что говорю! Ясное дело — не черт. Пущай живет на воле, рыбку полавливает. А вам спасибо. Ослобонили народ от страха. Теперь девки сюда понапрут за ягодами — только держись! Шалая птица, сроду такой не видал.

Днем мы наловили рыбы и снесли ее к костру. Пеликан поспешно вылез на берег и приковылял к нашему привалу. Он посмотрел на деда прищуренным глазом, как будто что-то стараясь припомнить. Дед задрожал. Но тут пеликан увидел рыбу, разинул клюв, щелкнул им с деревянным стуком, крикнул «уэк» и начал отчаянно бить крыльями и притопывать утиной лапой. Со стороны было похоже, будто пеликан качал тяжелый насос.

От костра полетели угли и искры.

— Чего это он?—испугался дед.—Чумовой, что ли?

— Рыбы просит, — объяснил Рувим.

Мы дали пеликану рыбу. Он проглотил ее, потом снова начал накачивать крыльями воздух, приседать и топать ногой — клянчить рыбу.

— Пошел, пошел! — ворчал на него дед. — Бог подаст. Ишь размахался!

Весь день пеликан бродил вокруг нас, шипел и кричал, но в руки не давался.

К вечеру мы ушли. Пеликан влез на кочку, бил нам вслед крыльями и сердито кричал: «Уэк, уэк».

Вероятно, он был недоволен, что мы бросаем его на озере, и требовал, чтобы мы вернулись.

Через два дня дед поехал в город, нашел на базарной площади зверинец и рассказал о пеликане. Из города приехал рябой скучный человек и забрал пеликана.

Дед получил от зверинца сорок рублей и купил на них новые штаны.

— Порты у меня — первый сорт, — говорил он и оттягивал штанину. — Об моих портах разговор идет до самой Рязани. Сказывают, даже в газетах печатали. Весь колхоз наш знаменитость получил через эту дуроломную птицу. Вот она какая, жизня наша, милок!

1936

РЕЗИНОВАЯ ЛОДКА

Мы купили для рыбной ловли надувную резиновую лодку.

Купили мы ее еще зимой в Москве, но с тех пор не знали покоя. Больше всех волновался Рувим. Ему казалось, что за всю его жизнь не было такой затяжной и скучной весны, что снег нарочно тает очень медленно и что лето будет холодным и ненастным.

Рувим хватался за голову и жаловался на дурные сны. То ему снилось, что большая щука таскает его вместе с резиновой лодкой по озеру и лодка ныряет в воду и вылетает обратно с оглушительным бульканием; то снился пронзительный разбойничий свист — это из лодки, распоротой корягой, стремительно выходил воздух, и Рувим, спасаясь, суетливо плыл к берегу и держал в зубах коробку с папиросами.

Страхи прошли только летом, когда мы привезли лодку в деревню и испытали ее на мелком месте, около Чертова моста.

Десятки мальчишек плавали около лодки, свистели, хохотали и ныряли, чтобы увидеть лодку снизу. Лодка спокойно покачивалась, серая и толстая, похожая на черепаху.

Белый мохнатый щенок с черными ушами — Мурзик — лаял на нее с берега и рыл задними лапами

песок. Это значило, что Мурзик разлаялся не меньше, чем на час. Коровы на лугу подняли головы и все, как по команде, перестали жевать.

Бабы шли через Чертов мост с кошелками. Они увидели резиновую лодку, завизжали и заругались на нас.

— Ишь, шалые, что придумали! Народ зря мутитя!

После испытания дед, по прозвищу «Десять про́центов», щупал лодку корявыми пальцами, нюхал ее, ковырял, хлопал по надутым бортам и сказал с уважением:

— Воздуходувная вещь!

После этих слов лодка была признана всем населением деревни, а рыбаки нам даже завидовали.

Но страхи не прошли. У лодки появился новый враг — Мурзик.

Мурзик был недогадлив, и потому с ним всегда случались несчастья: то его жалила оса, и он валялся с визгом по земле и мял траву, то ему отдавливали лапу, то он, воруя мед, измазывал им мохнатую морду до самых ушей, к морде прилипали листья и куриный пух, — и нашему мальчику приходилось отмывать Мурзика теплой водой.

Но больше всего Мурзик изводил нас лаем и попытками сгрызть все, что ему попадалось под руку.

Лаял он преимущественно на непонятные вещи: на черного кота Степана, на самовар, примус и на ходики.

Кот сидел на окне, тщательно мылся и делал вид, что не слышит назойливого лая. Только одно ухо у него странно дрожало от ненависти и презрения к Мурзику. Иногда кот взглядывал на щенка скучающими наглыми глазами, как будто говорил Мурзику:

— Отвяжись, а то так тебя двину!..

Тогда Мурзик отскакивал и уже не лаял, а визжал, закрыв глаза. Кот поворачивался к Мурзику спиной и громко зевал. Всем своим видом он хотел унизить этого дурака, но Мурзик не унимался.

Грыз Мурзик молча и долго. Изгрызенные и замусоленные вещи он всегда сносил в чулан, где мы их и находили.

Так он сгрыз книжку стихов Веры Инбер, подтяжки Рувима и замечательный поплавок из иглы дикобраза — я купил его случайно за три рубля.

Наконец Мурзик добрался и до резиновой лодки.

Он долго пытался ухватить ее за борт, но лодка была очень туго надута, и зубы скользили. Ухватить было не за что.

Тогда Мурзик полез в лодку и нашел там единственную вещь, которую можно было сжевать, — резиновую пробку. Ею был заткнут клапан, выпускавший воздух.

Мы в это время пили в саду чай и не подозревали ничего плохого.

Мурзик лег, зажал пробку между лапами и заворчал — пробка ему начинала нравиться.

Он грыз ее долго. Резина не поддавалась. Только через час он ее разгрыз, и тогда случилась совершенно страшная и невероятная вещь.

Густая струя воздуха с ревом вырвалась из клапана, как вода из пожарного шланга, ударила в морду, подняла на Мурзике шерсть и подбросила его в воздух. Мурзик чихнул, взвизгнул и полетел в заросли крапивы, а лодка еще долго свистела, рычала, и бока ее тряслись и худели на глазах.

Куры раскудахтались по всем соседским дворам, а черный кот промчался тяжелым галопом через сад и прыгнул на березу. Оттуда он долго смотрел, как булькала странная лодка, выплевывая толчками последний воздух.

После этого случая Мурзика наказали. Рувим нашлепал его и привязал к забору.

Мурзик извинялся. Завидев кого-нибудь из нас, он начинал подметать хвостом пыль около забора и виновато поглядывать в глаза. Но мы были непреклонны — хулиганская выходка требовала наказания.

Мы скоро ушли за двадцать километров, на Глухое озеро, но Мурзика не взяли. Когда мы уходили, он долго визжал и плакал на своей веревке около забора. Нашему мальчику было жаль Мурзика, но он крепился.

На Глухом озере мы пробыли четыре дня.

На третий день ночью я проснулся оттого, что кто-то горячим и шершавым языком вылизывал мои щеки.

Я поднял голову и при свете костра увидел мохнатую, мокрую от слез Мурзикину морду.

Он визжал от радости, но не забывал извиняться — все время подметал хвостом сухую хвою по земле. На шее его болтался обрывок разгрызенной веревки. Он дрожал, в шерсть его набился мусор, глаза покраснели от усталости и слез.

Я разбудил всех. Мальчик засмеялся, потом заплакал и опять засмеялся. Мурзик подполз к Рувиму и лизнул его в пятку — в последний раз попросил прощения. Тогда Рувим раскупорил банку тушеной говядины — мы звали ее «смакатурой» — и накормил Мурзика. Мурзик сглотал мясо в несколько секунд.

Потом он лег рядом с мальчиком, засунул морду к нему под мышку, вздохнул и засвистел носом.

Мальчик укрыл Мурзика своим пальто. Во сне Мурзик тяжело вздыхал от усталости и потрясения.

Я думал о том, как, должно быть, страшно было такому маленькому щенку бежать через ночные леса, вынюхивая наши следы, сбиваться с пути, скулить, поджав лапу, слушать плач совы, треск веток и непонятный шум травы и, наконец, мчаться опрометью, прижав уши, когда где-то на самом краю земли слышался дрожащий вой волка.

Я понимал испуг и усталость Мурзика. Мне самому приходилось ночевать в лесу без товарищей, и я никогда не забуду первую свою ночь на Безыменном озере.

Был сентябрь. Ветер сбрасывал с берез мокрые и пахучие листья. Я сидел у костра, и мне казалось, что кто-то стоит за спиной и тяжело смотрит в затылок. Потом в глубине зарослей я услышал явственный треск человеческих шагов по валежнику.

Я встал и, повинуясь необъяснимому и внезапному страху, залил костер, хотя и знал, что на десятки километров вокруг не было ни души. Я был совсем один в ночных лесах.

Я просидел до рассвета у потухшего костра. В тумане, в осенней сырости над черной водой поднялась кровавая луна, и свет ее казался мне зловещим и мертвым.

Когда мы возвращались с Глухого озера, мы посадили Мурзика в резиновую лодку. Он сидел тихо, расставив лапы, искоса посматривал на клапан, вилял самым кончиком хвоста, но на всякий случай тихо ворчал. Он боялся, что клапан опять выкинет с ним какую-нибудь зверскую штуку.

После этого случая Мурзик быстро привык к лодке и всегда спал в ней.

Однажды кот Степан залез в лодку и тоже решил там поспать. Мурзик храбро бросился на кота. Кот со страшным шипом, будто кто-нибудь плеснул воду на раскаленную сковороду с салом, вылетел из лодки и больше к ней не подходил, хотя ему иногда и очень хотелось поспать в ней. Кот только смотрел на лодку и Мурзика из зарослей лопухов завистливыми глазами.

Лодка дожила до конца лета. Она не лопнула и ни разу не напоролась на корягу. Рувим торжествовал. А Мурзика мы перед отъездом в Москву подарили нашему приятелю — Ване Малявину, внуку лесника с Урженского озера. Мурзик был деревенской собакой, и в Москве среди асфальта и грохота ему было бы трудно жить.

1936

ЗОЛОТОЙ ЛИНЬ

Когда в лугах покосы, то лучше не ловить рыбу на луговых озерах. Мы знали это, но все-таки пошли на Прорву.

Неприятности начались сейчас же за Чертовым мостом.

Разноцветные бабы копнили сено. Мы решили их обойти стороной, но бабы нас заметили.

— Куда, соколики? — закричали и захохотали бабы. — Кто удит, у того ничего не будет!

— На Прорву подались, верьте мне, бабочки! — крикнула высокая и худая вдова, прозванная Грушей-пророчицей. — Другой пути у них нету, у горемычных моих!

Бабы нас изводили все лето. Сколько бы мы ни наловили рыбы, они всегда говорили с жалостью:

— Ну что ж, на ушицу себе наловили — и то счастье. А мой Петька надысь десять карасей принес. И до чего гладких — прямо жир с хвоста каплет!

Мы знали, что Петька принес всего двух худых карасей, но молчали. С этим Петькой у нас были свои счеты: он срезал у Рувима английский крючок и выследил места, где мы прикармливали рыбу. За это Петьку, по рыболовным законам, полагалось вздуть, но мы его простили.

Когда мы выбрались в некошеные луга, бабы стихли.

Сладкий конский щавель хлестал нас по груди. Медуница пахла так сильно, что солнечный свет, затопивший рязанские дали, казался жидким медом. Мы дышали теплым воздухом трав, вокруг нас гулко жужжали шмели и трещали кузнечики.

Тусклым серебром шумели над головой листья столетних ив. От Прорвы тянуло запахом кувшинок и чистой холодной воды. Мы успокоились, закинули удочки, но неожиданно из лугов приплелся дед, по прозвищу «Десять про́центов».

— Ну, как рыбка? — спросил он, щурясь на воду, сверкавшую от солнца. — Ловится?

Всем известно, что на рыбной ловле разговаривать нельзя.

Дед сел, закурил махорку и начал разуваться. Он долго рассматривал рваный лапоть и шумно вздохнул:

— Изодрал лапти на покосе вконец. Не-ет, нынче клевать у вас не будет, нынче рыба заелась, — шут ее знает какая ей насадка нужна.

Дед помолчал. У берега сонно закричала лягушка.

— Ишь стрекочет, — пробормотал дед и взглянул на небо.

Тусклый розовый дым висел над лугом. Сквозь этот дым просвечивала бледная синева, а над седыми ивами висело желтое солнце.

— Сухомень! — вздохнул дед. — Надо думать, к вечеру ха-роший дождь натянет.

Мы молчали.

— Лягва тоже не зря кричит, — объяснил дед, слегка обеспокоенный нашим угрюмым молчанием. — Лягва, милок, перед грозой завсегда тревожится, скачет куды ни попало. Надысь я ночевал у паромщика, уху мы с ним в казанке варили у костра, и лягва — кило в ней было весу, не меньше — сиганула прямо в казанок, там и сварилась. Я говорю: «Василий, остались мы с тобой без ухи», а он говорит: «Черта ли мне в этой лягве! Я во время германской войны во Франции был, и там лягву едят почем зря. Ешь, не пужайся». Так мы ту уху и схлебали.

— И ничего? — спросил я. — Есть можно?

— Скусная пища, — ответил дед, прищурился, подумал. — Хошь, я тебе пиджак из лыка сплету? Я сплел, милок, из лыка цельную тройку — пиджак, штаны и жилетку — для Всесоюзной выставки. Супротив меня нет лучшего лапотника на весь колхоз.

Дед ушел только через два часа. Рыба у нас, конечно, не клевала.

Ни у кого в мире нет стольких самых разнообразных врагов, как у рыболовов. Прежде всего — мальчишки. В лучшем случае они будут часами стоять за спиной и оцепенело смотреть на поплавок.

В худшем случае они начнут купаться поблизости, пускать пузыри и нырять, как лошади. Тогда надо сматывать удочки и менять место.

Кроме мальчишек, баб и болтливых стариков, у нас были враги более серьезные: подводные коряги, комары, ряска, грозы, ненастье и прибыль воды в озерах и реках.

Ловить в коряжистых местах было очень заманчиво, там пряталась крупная и ленивая рыба. Брала она медленно и верно, глубоко топила поплавок, потом запутывала леску о корягу и обрывала ее вместе с поплавком.

Тонкий комариный зуд приводил нас в трепет. Первую половину лета мы ходили все в крови и опухолях от комариных укусов.

В безветренные жаркие дни, когда в небе сутками стояли на одном месте все те же пухлые, похожие на вату облака, в заводях и озерах появлялась мелкая водоросль, похожая на плесень, — ряска. Вода затягивалась липкой зеленой пленкой, такой толстой, что даже грузило ее не могло пробить.

Перед грозой рыба переставала клевать. Она боялась грозы, затишья, когда земля глухо дрожит от далекого грома.

В ненастье и во время прибыли воды клева не было.

Но зато как хороши были туманные и свежие утра, когда тени деревьев лежали далеко на воде и под самым берегом ходили стаями неторопливые пучеглазые голавли! В такие утра стрекозы любили садиться на

перяные поплавки, и мы с замиранием сердца смотрели, как поплавок со стрекозой вдруг медленно и косо шел в воду, стрекоза взлетала, замочив свои лапки, а на конце лески туго ходила по дну сильная и веселая рыба.

Как хороши были красноперки, падавшие живым серебром в густую траву, прыгавшие среди одуванчиков и кашки! Хороши были закаты в полнеба над лесными озерами, тонкий дым облаков, холодные стебли лилий, треск костра, кряканье диких уток.

Дед оказался прав: к вечеру пришла гроза. Она долго ворчала в лесах, потом поднялась к зениту пепельной стеной, и первая молния хлестнула в далекие стога.

Мы просидели в палатке до ночи. В полночь дождь стих. Мы разожгли большой костер и обсохли.

В лугах печально кричали ночные птицы, и белая звезда переливалась над Прорвой в предутреннем небе.

Я задремал. Разбудил меня крик перепела.

— Пить пора! Пить пора! Пить пора! — кричал он где-то рядом, в зарослях шиповника и крушины.

Мы спустились с крутого берега к воде, цепляясь за корни и травы. Вода блестела, как черное стекло. На песчаном дне были видны дорожки, проложенные улитками.

Рувим закинул удочку недалеко от меня. Через несколько минут я услышал его тихий призывный свист. Это был наш рыболовный язык. Короткий свист три раза значил: «Бросайте все и идите сюда».

Я осторожно подошел к Рувиму. Он молча показал мне на поплавок. Клевала какая-то странная рыба. Поплавок качался, осторожно ерзал то вправо, то влево, дрожал, но не тонул.

Он стал наискось, чуть окунулся и снова вынырнул.

Рувим застыл, — так клюет только очень крупная рыба...

Поплавок быстро пошел в сторону, остановился, выпрямился и начал медленно тонуть.

— Топит, — сказал я. — Тащите!

Рувим подсек. Удилище согнулось в дугу, леска со свистом врезалась в воду. Невидимая рыба туго и медленно водила леску по кругам. Солнечный свет упал на воду сквозь заросли ветел, и я увидел под водой

яркий бронзовый блеск: это изгибалась и пятилась в глубину пойманная рыба. Мы вытащили ее только через несколько минут. Это оказался громадный ленивый линь со смуглой золотой чешуей и черными плавниками. Он лежал в мокрой траве и медленно шевелил толстым хвостом.

Рувим вытер пот со лба и закурил.

Мы больше не ловили, смотали удочки и пошли в деревню.

Рувим нес линя. Он тяжело свисал у него с плеча. С линя капала вода, а чешуя сверкала так ослепительно, как золотые купола бывшего монастыря. В ясные дни купола были видны за тридцать километров.

Мы нарочно прошли через луга мимо баб. Бабы, завидев нас, бросили работу и смотрели на линя, прикрыв ладонями глаза, как смотрят на нестерпимое солнце. Бабы молчали. Потом легкий шепот восторга прошел по их пестрым рядам.

Мы шли через строй баб спокойно и независимо. Только одна из них вздохнула и, берясь за грабли, сказала нам вслед:

— Красоту-то какую понесли — глазам больно!

Мы не торопясь пронесли линя через всю деревню. Старухи высовывались из окон и глядели нам в спину. Мальчишки бежали следом и канючили:

— Дядь, а дядь, где пымал? Дядь, а дядь, на што клюнуло?

Дед «Десять пр́оцентов» пощелкал линя по золотым твердым жабрам и засмеялся:

— Ну, теперь бабы языки подожмут! А то у них все хаханьки да хиханьки. Теперь дело иное, серьезное.

С тех пор мы перестали обходить баб. Мы шли прямо на них, и бабы нам ласково кричали:

— Ловить вам не переловить! Не грех бы и нам рыбки принести!

Так восторжествовала справедливость.

1937

ЗАЯЧЬИ ЛАПЫ

К ветеринару в наше село пришел с Урженского озера Ваня Малявин и принес завернутого в рваную ватную куртку маленького теплого зайца. Заяц плакал и часто моргал красными от слез глазами...

— Ты что, одурел? — крикнул ветеринар. — Скоро будешь ко мне мышей таскать, оголец!

— А вы не лайтесь, это заяц особенный, — хриплым шепотом сказал Ваня. — Его дед прислал, велел лечить.

— От чего лечить-то?

— Лапы у него пожженные.

Ветеринар повернул Ваню лицом к двери, толкнул в спину и прикрикнул вслед:

— Валяй, валяй! Не умею я их лечить. Зажарь его с луком — деду будет закуска.

Ваня ничего не ответил. Он вышел в сени, заморгал глазами, потянул носом и уткнулся в бревенчатую стену. По стене потекли слезы. Заяц тихо дрожал под засаленной курткой.

— Ты чего, малый? — спросила Ваню жалостливая бабка Анисья; она привела к ветеринару свою единственную козу. — Чего вы, сердешные, вдвоем слезы льете? Ай случилось что?

— Пожженный он, дедушкин заяц, — сказал тихо Ваня. — На лесном пожаре лапы себе пожег, бегать не может. Вот-вот, гляди, умреть.

— Не умреть, малый, — прошамкала Анисья. — Скажи дедушке свому, ежели большая у него охота зайца выходить, пущай несет его в город к Карлу Петровичу.

Ваня вытер слезы и пошел лесами домой, на Урженское озеро. Он не шел, а бежал босиком по горячей песчаной дороге. Недавний лесной пожар прошел стороной на север около самого озера. Пахло гарью и сухой гвоздикой. Она большими островами росла на полянах.

Заяц стонал.

Ваня нашел по дороге пушистые, покрытые серебряными мягкими волосами листья, вырвал их, положил под сосенку и развернул зайца. Заяц посмотрел на листья, уткнулся в них головой и затих.

— Ты чего, серый? — тихо спросил Ваня. — Ты бы поел.

Заяц молчал.

— Ты бы поел, — повторил Ваня, и голос его задрожал. — Может, пить хочешь?

Заяц повел рваным ухом и закрыл глаза.

Ваня взял его на руки и побежал напрямик через лес — надо было поскорее дать зайцу напиться из озера.

Неслыханная жара стояла в то лето над лесами. Утром наплывали вереницы плотных белых облаков. В полдень облака стремительно рвались вверх, к зениту, и на глазах уносились и исчезали где-то за границами неба. Жаркий ураган дул уже две недели без передышки. Смола, стекавшая по сосновым стволам, превратилась в янтарный камень.

Наутро дед надел чистые онучи и новые лапти, взял посох и кусок хлеба и побрел в город. Ваня нес зайца сзади. Заяц совсем притих, только изредка вздрагивал всем телом и судорожно вздыхал.

Суховей вздул над городом облако пыли, мягкой, как мука. В ней летал куриный пух, сухие листья и

солома. Издали казалось, что над городом дымит тихий пожар.

На базарной площади было очень пусто, знойно; извозчичьи лошади дремали около водоразборной будки, и на головах у них были надеты соломенные шляпы. Дед перекрестился.

— Не то лошадь, не то невеста — шут их разберет! — сказал он и сплюнул.

Долго спрашивали прохожих про Карла Петровича, но никто толком ничего не ответил. Зашли в аптеку. Толстый старый человек в пенсне и в коротком белом халате сердито пожал плечами и сказал:

— Это мне нравится! Довольно странный вопрос! Карл Петрович Корш — специалист по детским болезням — уже три года как перестал принимать пациентов. Зачем он вам?

Дед, заикаясь от уважения к аптекарю и от робости, рассказал про зайца.

— Это мне нравится! — сказал аптекарь. — Интересные пациенты завелись в нашем городе. Это мне замечательно нравится!

Он нервно снял пенсне, протер, снова нацепил на нос и уставился на деда. Дед молчал и топтался. Аптекарь тоже молчал. Молчание становилось тягостным.

— Почтовая улица, три! — вдруг в сердцах крикнул аптекарь и захлопнул какую-то растрепанную толстую книгу. — Три!

Дед с Ваней добрели до Почтовой улицы как раз вовремя — из-за Оки заходила высокая гроза. Ленивый гром потягивался за горизонтом, как заспанный силач распрямлял плечи, и нехотя потряхивал землю. Серая рябь пошла по реке. Бесшумные молнии исподтишка, но стремительно и сильно били в луга; далеко за Полянами уже горел стог сена, зажженный ими. Крупные капли дождя падали на пыльную дорогу, и вскоре она стала похожа на лунную поверхность: каждая капля оставляла в пыли маленький кратер.

Карл Петрович играл на рояле нечто печальное и мелодичное, когда в окне появилась растрепанная борода деда.

Через минуту Карл Петрович уже сердился.

— Я не ветеринар,—сказал он и захлопнул крышку рояля. Тотчас же в лугах проворчал гром. — Я всю жизнь лечил детей, а не зайцев.

— Что ребенок, что заяц — все одно, — упрямо пробормотал дед. — Все одно! Полечи, яви милость! Ветеринару нашему такие дела неподсудны. Он у нас коновал. Этот заяц, можно сказать, спаситель мой: я ему жизнью обязан, благодарность оказывать должен, а ты говоришь — бросить!

Еще через минуту Карл Петрович — старик с седыми взъерошенными бровями, — волнуясь, слушал спотыкающийся рассказ деда.

Карл Петрович в конце концов согласился лечить зайца. На следующее утро дед ушел на озеро, а Ваню оставил у Карла Петровича ходить за зайцем.

Через день вся Почтовая улица, заросшая гусиной травой, уже знала, что Карл Петрович лечит зайца, обгоревшего на страшном лесном пожаре и спасшего какого-то старика. Через два дня об этом уже знал весь маленький город, а на третий день к Карлу Петровичу пришел длинный юноша в фетровой шляпе, назвался сотрудником московской газеты и попросил дать беседу о зайце.

Зайца вылечили. Ваня завернул его в ватное тряпье и понес домой. Вскоре историю о зайце забыли, и только какой-то московский профессор долго добивался от деда, чтобы тот ему продал зайца. Присылал даже письма с марками на ответ. Но дед не сдавался. Под его диктовку Ваня написал профессору письмо:

«Заяц не продажный, живая душа, пусть живет на воле. При сем остаюсь *Ларион Малявин»*.

Этой осенью я ночевал у деда Лариона на Урженском озере. Созвездия, холодные, как крупинки льда, плавали в воде. Шумел сухой тростник. Утки зябли в зарослях и жалобно крякали всю ночь.

Деду не спалось. Он сидел у печки и чинил рваную рыболовную сеть. Потом поставил самовар — от него

окна в избе сразу запотели и звезды из огненных точек превратились в мутные шары. Во дворе лаял Мурзик. Он прыгал в темноту, ляскал зубами и отскакивал — воевал с непроглядной октябрьской ночью. Заяц спал в сенях и изредка во сне громко стучал задней лапой по гнилой половице.

Мы пили чай ночью, дожидаясь далекого и нерешительного рассвета, и за чаем дед рассказал мне, наконец, историю о зайце.

В августе дед пошел охотиться на северный берег озера. Леса стояли сухие, как порох. Деду попался зайчонок с рваным левым ухом. Дед выстрелил в него из старого, связанного проволокой ружья, но промахнулся. Заяц удрал.

Дед пошел дальше. Но вдруг затревожился: с юга, со стороны Лопухов, сильно тянуло гарью. Поднялся ветер. Дым густел, его уже несло белой пеленой по лесу, затягивало кусты. Стало трудно дышать.

Дед понял, что начался лесной пожар и огонь идет прямо на него. Ветер перешел в ураган. Огонь гнало по земле с неслыханной скоростью. По словам деда, даже поезд не мог бы уйти от такого огня. Дед был прав: во время урагана огонь шел со скоростью тридцати километров в час.

Дед побежал по кочкам, спотыкался, падал, дым выедал ему глаза, а сзади был уже слышен широкий гул и треск пламени.

Смерть настигала деда, хватала его за плечи, и в это время из-под ног у деда выскочил заяц. Он бежал медленно и волочил задние лапы. Потом только дед заметил, что они у зайца обгорели.

Дед обрадовался зайцу, будто родному. Как старый лесной житель, дед знал, что звери гораздо лучше человека чуют, откуда идет огонь, и всегда спасаются. Гибнут они только в тех редких случаях, когда огонь их окружает.

Дед побежал за зайцем. Он бежал, плакал от страха и кричал: «Погоди, милый, не беги так-то шибко!»

Заяц вывел деда из огня. Когда они выбежали из леса к озеру, заяц и дед — оба упали от усталости.

Дед подобрал зайца и понес домой. У зайца были опалены задние ноги и живот. Потом дед его вылечил и оставил у себя.

— Да, — сказал дед, поглядывая на самовар так сердито, будто самовар был всему виной, — да, а перед тем зайцем, выходит, я сильно провинился, милый человек.

— Чем же ты провинился?

— А ты выдь, погляди на зайца, на спасителя моего, тогда узнаешь. Бери фонарь!

Я взял со стола фонарь и вышел в сенцы. Заяц спал. Я нагнулся над ним с фонарем и заметил, что левое ухо у зайца рваное. Тогда я понял все.

1937

ПАРУСНЫЙ МАСТЕР

Старик с копченой кефалью, засунутой в карман пиджака, сел в автобус около вокзала. Северный ветер дул над Севастополем. Синие холодные крейсера скрипели на якорях в бухте, и, как всегда зимой, тяжело стонал на рейде пловучий бакен-ревун. Ветер прижимал к севастопольским желтым холмам снеговые тучи, и все заметнее иссякал хмурый свет.

Старик с кефалью сердито посмотрел на небо.

— У нас в Крыму, — сказал он, — все одно что у людей, что у погоды — нету дисциплины. Где сегодня холод, там завтра жара.

Озябшие пассажиры молчали. Старик вытащил из кармана кефаль и книгу Жюля Верна. Кефаль он засунул обратно в карман, а книгу начал было читать, но автобус внезапно заревел, сорвался с места, начал набирать высоту по белому шоссе, и читать стало невозможно: книга мелко тряслась в руке и сами собой перелистывались страницы.

— Интересная книга? — спросил старика моряк с серебряными нашивками, должно быть морской инженер.

— Было бы интересно, — ответил старик, — когда бы я читал для удовольствия, а то приходится читать по долгу службы, морочить себе, старому, голову.

— А вы чем занимаетесь?

— Я парусным делом занимаюсь. Сорок лет шью паруса.

— Зачем же вам Жюль Верн?

— А затем, что наше дело погибло, — ответил старик. — Не стало парусного дела в республике. Дед мой работал для линейного флота. Так вшивал фалы, что самый здоровый шкипер не мог их оторвать на спор руками. Отец тоже всю жизнь старался, шил помалу паруса для трамбаков. Было это в стариковские времена. А теперь пошли пароходы, моторы — стук, гром, — об ветре теперь никто и не беспокоится. Ветер теперь ни к чему! Кому он сдался? Одной голытьбе — рыбакам. Кто мотор купить не осилит, тот сейчас бежит до меня: «Сшей, дядя Федя, паруса, будь другом». Паруса! — сказал старик, помолчав. — Из парусных кораблей остался у нас один «Товарищ». Мы с ним вдвоем и бедуем, старики. А какой корабль! Как невеста! В океаны ходил, брал в шторм все паруса, падал на борт, гнал пену и пел, как скрипка, — даже зависть брала заграничных шкиперов. Идет «Товарищ», будто из снега, горит на волне, а пароходы ему сигналы подымают: «Счастливого плавания старшему брату, последнему парусному кораблю».

Моряк усмехнулся.

— Думаете, я брешу? — рассердился парусный мастер. — Пусть береговые брешут, а нам, морским, брехать нет надобности! У нас и без брехни найдутся дела. Когда, положим, паруса набирают полный ветер, кто скажет, что некрасиво? Разве какой-нибудь дурак с пароходной команды, серый сиволап. Или, скажем, корабль идет при слабом бризе, паруса колыхаются на солнце, белый свет от них льется кругом, даже глазам больно. Теперь белых парусов давно не шьют, начали их смолить от сырости. Теперь парус черный, как воронье крыло, — глядеть на него противно!

— Верно! — согласился белобрысый моряк. — Но какое же у вас общее дело с Жюлем Верном?

— Как какое! — изумился старик. — Я такие паруса сшил, что загнал Жюля Верна с его парусными кораблями на самое дно в бутылку. Он в гробу два-

дцать раз перевернулся от зависти, ваш Жюль Верн, пока я те паруса работал.

Все молчали. Суровые горы, присыпанные снегом, стояли впереди.

Машина неслась к ним, дрожа и рявкая на поворотах. Всех занимала мысль, как она прорвется через стену гор, казавшуюся непроходимой.

— Сколько нас, стариков, в Севастополе, — сказал горестно парусный мастер, — это даже удивительно! Пойдите на Корабельную, — по всем дворам одни старики сидят. Хлеб кушать за одну свою старость — тоже как будто обидно, и выходит так, что старички наши хитрят и к малым детям пристраиваются. Одни внуков нянчат, другие игрушки стругают на продажу. И я для детей тоже стараюсь.

— Игрушки делаете? — вяло спросил моряк. Он сильно озяб. Машина приближалась к снегам, и моряку уже не хотелось ни спрашивать, ни слушать.

— Зачем игрушки! — возразил старик. — Игрушки за меня пусть швейцарский адмирал делает, я мелкой работой не интересуюсь. Может, читали в газетах, что в Ялте снимают картину для кино по книге Жюля Верна? Перешили под кино этого француза, достали азовскую шхуну, починили, сделали из нее вроде как стариннейший клипер и написали на корме имя «Марианна». Для съемки! А паруса для «Марианны» заказали мне — Федору Марченке. Врать не буду, сшил я паруса на красоту, даже Ханов — последний парусный капитан на весь Советский Союз — и тот удивлялся. «Ты, говорит, Федя, не паруса сшил, а лебединые крылья. Надо тебя объявить, говорит, народным парусным мастером нашей республики». У него из всего получается смех, у Ханова. Я над теми парусами чуть не ослеп.

— Ай, как старался! — сказал насмешливый толстый пассажир. — Тысячи зарабатывал.

— Не к месту ты ввязался, базарная душа! — рассердился мастер. — Подавись моими тысячами! Мне денег не надо, я на одной кефальке проживу.

— А чего же тебе надо? — удивился пассажир.

— Сроду ты не поймешь из-за грубости из-за своей. Надо мне, чтобы многие тысячи людей смотрели ту картину и удивлялись великолепным парусам и большую любовь получали до моря. Дети будут радоваться на «Марианну», а может, где и какой тертый моряк посмотрит и скажет: «Да, знаменитый мастер шил паруса, честь ему и слава от всего морского населения, от всех, кто понимает! Почет Марченке и Жюлю Верну, что сработали такую красоту, и вечная память!»

Машина вошла в снежные горы. Старик пытался рассказать, что едет в Ялту, чтобы исправить второй кливер, потому что, судя по Жюлю Верну, со вторым кливером вышло у него, у Марченко, не совсем удачно, — но его уже никто не слушал.

Леса, будто выкованные из тонкого олова, сверкали под декабрьским небосклоном. Стеклянный блеск играл на горах, засыпанных легкими снегами. Солнце, похожее на золотой запушенный плод, неслось за прозрачной листвой деревьев, зажигая в ней ослепительные пожары.

Хлопья снега лежали на кустах, как мохнатые цветы, рядом с серыми пушистыми шарами волокнистых семян. Плющ плотно сжимал белые стволы деревьев. При каждом взгляде на его живую зелень было ясно, что тут же, за перевалом, Черное море бьет о каменистые берега прозрачной водой и мерно качает от горизонта до горизонта глубокий теплый воздух.

Шофер гудел клаксоном, и горное эхо катилось навстречу машине. Непрочный снег слетал с деревьев, обнажая стволы, позеленевшие, как бронза.

Парусный мастер сидел с закрытыми глазами. Из-под красных сморщенных век текли слезы. Внезапная зима летела навстречу и ослепляла его своим невыносимым светом.

За перевалом неожиданное море встало в глазах глухой высокой тучей, и начался спуск к Ялте.

В Ялте парусный мастер пошел в гостиницу, где жил режиссер. В гостинице пахло пыльными коврами, застоявшимся одеколоном, шашлыком.

Режиссер в лиловой пижаме сидел за круглым столом и пил кофе.

— Какой кливер? Зачем? — морщась, говорил режиссер. — Съемка корабля давно закончена. Сейчас мы работаем в павильоне.

— Хочу я вас попросить, — сказал Марченко, замирая от робости. Ему казалось, что он говорит с этим брезгливым человеком не теми словами, какие нужны, говорит как будто совсем не по-русски и режиссер его не поймет. — Хочу я вас попросить напечатать и мое имя на картине.

— Зачем? — равнодушно спросил режиссер.

— Может, где какой моряк прочтет и помянет меня добрым словом.

Режиссер поморщился.

— Вы же бутафор, — сказал он и закурил сигарету. Дым висел пластами над вазой с пирожными. — Зачем вам реклама? Кроме нас, больше никто в мире не закажет вам таких парусов. Парусных кораблей не будет!

— Оно, конечно, так... — пробормотал Марченко. — Нет у нас парусного дела. Мне заказов не нужно, я на фелюжников буду по малости работать.

— Так что же вам, собственно, нужно?

— Простите за мою дурость, за беспокойство, — сказал Марченко. — Нету у меня возможности рассказать вам про свою заветную думку. Да и шут с ней теперь, с той думкой!

— На сегодняшний день, — сказал раздельно режиссер, — я не вижу необходимости упоминать в картине имя случайного бутафора. У нас и так упоминается сорок имен. Но, в общем, я подумаю.

Марченко вышел на набережную и сел на скамейку. Ненужная, давно снятая на пленку «Марианна» качалась на якорях и робко, будто заискивая, кланялась морю.

Вдруг Марченко встал и торопливо пошел к «Марианне» — на ней медленно падали с рей и развертывались паруса. Солнце садилось, и его последний свет придавал холсту легкость самой тончайшей ткани.

— Чего паруса подымаете? — закричал с берега Марченко.

— Почтение и низкий поклон дяде Феде, — ответил с бака старый рябой матрос Низовой. — Подымаем сушить. С утра дождем промочило. Заходите до кубрика потолковать.

В кубрике Марченко рассказал Низовому о разговоре с режиссером.

— Неспокойный ты старик, Федя, — просипел Низовой, выковыривая ножом пробку из бутылки кислого вина. — Чего ты зажурился? Ты плюнь! Я так считаю: чи будет на той картине твое имя-отчество, чи совсем его не будет, твои паруса свое возьмут. Кругом возьмут: и в Ялте, и в Одессе, и, скажем, во всей республике. Когда уважение чужому человеку делаешь, он тебя не пытает, кто ты да что ты, и ты сам с этим делом до него не лезешь.

— Зачем лезу, — сказал Марченко. — Я не лезу, ни-ни! Мне бы одного надо — приохотить людей до моего парусного дела.

— Приохотишь, — сказал Низовой.

— Приохочу!

— Через ту картину?

— А хоть бы и через картину.

— И паруса твои свое возьмут.

— Возьмут!

— Ну, тогда наливай шкалик и вытягай с кармана свою кефальку.

Старики пили и шумно беседовали до позднего вечера. В иллюминаторы заглядывали портовые огни. Они качались на волнах и то подплывали к «Марианне», как будто стараясь подслушать разговор стариков, то отскакивали и тонули в темноте.

1937

ПОТЕРЯННЫЙ ДЕНЬ

Все описанное ниже не заключает в себе ничего значительного и является только проверкой собственной памяти. Дело идет об одном дне. Он заранее был признан нами потерянным.

Началось с того, что мы трое пошли вечером на ялтинскую пристань, чтобы купить на проходящем теплоходе мандарины. Неожиданно Осипов предложил нам поехать на один день в Феодосию и вернуться на автобусе через Симферополь.

Мы подсчитали деньги и согласились: денег хватало. Самая бесцельность этой поездки казалась нам вначале интересной, но как только теплоход отвалил, Берг впал в мрачность и сказал, что мы дураки, потому что воруем у себя дорогое время и бессмысленно отрываемся от работы. Я был готов согласиться с Бергом, но Осипов резко возразил и даже обозвал Берга «скучным типом».

В курительной рубке теплохода Осипов написал на клочке бумаги несколько цифр и долго их рассматривал.

Огонь маяка качался за иллюминатором. Он то разгорался, то бледнел от усталости. Ему трудно было без конца пробивать слабым лучом вязкую декабрьскую ночь.

Я заглянул через плечо Осипова и увидел ряд чисел. Около последней цифры «180» Осипов написал «180 книг за 20 лет своей жизни».

— Что это значит? — спросил я, предчувствуя новую выдумку.

— Это значит, — ответил Осипов, — что за двадцать лет моей сознательной жизни (во время этого разговора Осипову уже перевалило за сорок) я мог бы написать сто восемьдесят книг. Самый плодовитый писатель, даже Бальзак, и тот бы не угнался за мной.

Я представил себе Бальзака, занятого этим невероятным соревнованием. Густо исписанные листы бумаги падали со стола и разлетались по комнате. Один лист проскользнул под дверь, и рыжая комнатная собака сжевала его, и выплюнула с отвращением. Бальзак не знал, что связь романа нарушена негодной собакой и страница, полная гнева и гениальной болтовни, уничтожена навсегда.

Он писал. Он торопился. Сизый табачный воздух клокотал в его бронхах. На камине слишком быстро стучали старые швейцарские часы. Их звон сливался в непрерывный раздражающий гул. Только что они били шесть часов утра, сейчас бьют полдень, а еще через двадцать страниц будут бить снова шесть медных бесцеремонных ударов. Часам было все равно.

Брызги срывались с пера. Прядь волос падала на глаза, но жаль было тратить время на то, чтобы ее откинуть, — не только жаль, но даже опасно. Бальзак знал, что каждое неосторожное движение может внезапно остановить поток мыслей, сравнений, человеческих голосов, лившихся на бумагу.

Тогда начнется головная боль, и, как всегда в таких случаях, покажется, что рука никогда уже не выведет на бумаге ни одной талантливой строчки.

Бальзаку казалось, будто сложный оркестр играет в его сознании симфонию, и надо успеть ее записать, пока не лопнули перетертые струны и не упали головами на пюпитры обессиленные музыканты.

Я открыл глаза и вместо бальзаковского кабинета, заваленного гранками и порванными счетами из типо-

графии, увидел глаз маяка, косо уходящий вниз. Глаз мигнул и погас.

— Зачем он мигает? — спросил я Осипова.

— Это проблесковый маяк на Меганоме. Слушайте дальше. Если мы примем за истину простую мысль, что каждый день нашей жизни заслуживает описания, то придем к неожиданным выводам. В году примерно триста шестьдесят дней. Вот уже двадцать лет я живу более или менее сознательной жизнью и могу описать каждый день этой жизни не меньше чем на пяти страницах. Значит, за эти двадцать лет я могу описать семь тысяч двести дней на тридцати шести тысячах страницах. Лучший размер книги — двести страниц. Я делю тридцать шесть тысяч да двести и получаю сто восемьдесят книг.

— Почему же вы их не написали, эти сто восемьдесят книг? — спросил я, уже раздражаясь от бесплодной болтовни.

— Не догадался, — ответил Осипов.

— Кошмарные разговоры! — пробормотал Берг.

Мне не хотелось спорить с Осиповым. Теплоход тяжело и медленно качало.

— Далеко не каждый день заслуживает описания,— возразил я равнодушно.— Бывают пустые дни, месяцы, даже годы.

— Посмотрим, — ответил Осипов, но ни я, ни Берг не обратили внимания на эти слова.

Открылись портовые огни Феодосии. Мы вышли на палубу.

Огней было мало. Они лежали низко, почти на взволнованной воде. Ночь над городом была гораздо темнее, чем на море. Ветер нес темноту к берегам, горы задерживали ее, не пускали дальше — в степь, где она могла опять поредеть, и тьма над Феодосией висела плотная и глухая.

Изредка брызгали капли дождя. Они пахли лекарственно и дико. Может быть, в дождевой воде была горечь чабреца — чабрецом зарастали из года в год здешние каменистые берега.

Мы одни сошли с теплохода в Феодосии. Не было даже признаков рассвета. Тускло белела наваленная

на пристанях едкая соль — единственное светлое пятно в кромешном мраке.

— Зачем вы меня сюда завезли? — пробормотал Берг.

Осипов не ответил.

Через заржавленные ворота мы вошли в город. Было пусто и тихо. Зеленые фонари качались над черепичными крышами и выхватывали из темноты то лужи, засыпанные мелкой листвой, то кусок каменной ограды, на которой были написаны статьи новой Конституции, то ветхую лестницу греческого дома.

Ощупью мы вышли на главную улицу. Мрачные аркады тянулись по сторонам. Под ними светился огонек папиросы: милиционер курил и сплевывал.

Он был, должно быть, единственным человеком, бодрствовавшим в этот час в городе. Мы позавидовали ему. Он должен был стоять и прислушиваться, а это занятие казалось нам очень увлекательным. Он слышал за длинную ночь много звуков, то простых и понятных, то загадочных и тревожных, и ему было о чем рассказать.

Ветер неожиданно начинал шуметь в голых акациях и так же неожиданно затихал. Собаки выли в Карантине. Капли стучали по жести. За черным окном плакал во сне ребенок, вспыхивала спичка, гасла, снова становилось тихо, и только море за городом, у Сарыгола, мыло ночные берега с однообразным гулом.

Милиционер вздрагивал и поворачивался к морю, — густо и величаво ревела в два тона сирена теплохода. Горы, немного помолчав, отвечали теплоходу глухим и торжественным криком. Потом перекличка теплохода и гор стихала, и теплоход уносил в ненастное море свои праздничные огни и пустые палубы.

Возвращалась ночь, и кашель грузчиков, натрудивших плечи, был все тот же, что и всегда, — махорочный и неторопливый.

Мы шли по главной улице и старались догадаться, о чем думает милиционер ночью на посту. Никто об этом не знал, сами же милиционеры были неразговорчивы.

Мы брели вдоль аркад, и Берг вспоминал стихи Волошина, уроженца Феодосии:

И беден и не украшен
Мой древний град —
В венце генуэзских башен,
В тени аркад.

Генуэзские башни, носившие имена римских пап, современников Данте, были скрыты от нас темнотой. Прошлое Феодосии лежало мраморными розовыми плитами в тесных и заполненных ночью залах маленького музея.

Музей был, конечно, закрыт. Около его дверей сидела худая женщина с корзиной рыбы. Она спозаранку шла на базар, присела на стертые ступени и закурила. От рыбы шел запах морского песка. Чешуя блестела под жёлтой угольной лампой, горевшей над дверью.

— Рыба нам дорого стоит, — сказала женщина. — Рыбацкая жизнь зимой опасная. Штормы такие тяжелые, — бьют всю ночь, пока вынимаешь сети. Я сама рыбачка, колхозница, натерпелась этих ночей, этой морской страсти, рада покурить на берегу. А вы кто же такие?

Мы ответили.

— Значит, жадность у вас все знать, — сказала печально рыбачка. — Город наш древний, хороший город — каменный, летом очень теплый, только опустелый. Очень опустелый, — повторила она, перебирая красными озябшими руками еще живую маленькую кефаль.

Мы пошли на вокзал пить чай — больше деваться было некуда.

На цементном подъезде вокзала были свалены убитые зайцы. Рядом спала костлявая собака и безмолвно сидели охотники с двустволками. Они принесли зайцев на базар и, как рыбачка, сидели на ступеньках, дожидаясь рассвета.

Зайцы были степные, рыжие. Они лежали, прикрыв лапами пушистые морды, и, казалось, мирно спали рядом с собакой.

В буфете яркий свет горел только для того, чтобы освещать мандариновые корки на столах и старого

бродягу — должно быть, последнего из бродяг, оставшихся от легендарных горьковских времен.

— Я все вокзалы знаю по Союзу, — говорил бродяга сонной женщине. — Лучше Курского вокзала в Москве нету на свете.

Женщина молчала.

— А почему? — сипло спросил бродяга. — Потому что там научный подход до человека. Все дадут — и кипятку, и хлеба, и есть где сховаться от мелитонов.

Когда мы вышли с вокзала, синеватый свет уже брезжил над Феодосией. Черные тучи низко висели, упершись лбом в лысые горы. Город показался нам построенным из окаменелой пыли.

Мы пошли к автомобильной станции, чтобы ехать дальше — в Симферополь.

Через час машина вынесла нас на пустое шоссе. Она с шорохом выплескивала белые лужи, виляла, будто судорожно обнюхивала дорогу, гремела и делала все, чтобы вызвать у пассажиров впечатление неистовой, головокружительной езды. Пассажиры молчали и зябли. Они давно знали этот древний автобус, и ни шофер, ни машина уже не могли их обмануть.

Хилый человек, забрызганный грязью степных дорог, сказал нам, опасливо отводя глаза от спины шофера:

— Много машин кругом по Крыму поразбивалось, погибло от шоферской бойкости, а эта одна тарахтит и тарахтит, нет на нее погибели!

Кожа на затылке шофера задвигалась, но он ничего не ответил.

— А нам что? — спохватился забрызганный пассажир, стараясь загладить неловкость. — Пускай крутится, старуха! От нее людям ничего, кроме пользы.

Шофер не ответил, но решил отомстить. Он повел машину с такой скоростью, что на ухабах сама собой крякала сирена и ветер выдувал из глаз у пассажиров холодные и обильные слезы. Ветер ревел под колесами, рвал брезентовый борт, и мы с восхищением и страхом увидели по сторонам дороги картину землетрясения.

Лысые горы мелко дрожали, качались, заваливались то вправо, то влево, ограды из дикого камня

встряхивались, как псы, но почему-то не обрушивались, чугунные столбы Индо-Европейского телеграфа тяжело свистели. Овцы неслись галопом в степь, но их настигали комья грязи, летевшие из-под колес машины, и больно били по худым бокам. Голова у шофера моталась, как пьяная.

— Чешет семьдесят километров без обгона,— встревоженно сказал забрызганный пассажир.— Взял я шофера за самую манишку, за сердце, и теперь он из нас сделает закуску.

Было неясно, чем все это кончится, но под кузовом, переходя с фальцета на бас, завыл воздух. Спустила камера. Шофер остановил машину и нехотя вылез.

Впервые после отъезда из Феодосии мы огляделись и увидели Восточный Крым. Он был пустынен и блестел от недавних дождей. Тусклая редкая трава росла на взгорьях. Над травой медленно вращалось тяжелое облачное небо. Кое-где из земли торчали желтые слоистые камни, и среди них бродили овцы.

— А летом здесь была кругом по горам пшеница и мак,— вздохнул забрызганный пассажир.— Летом тут была сама красота.

— Как это люди,— сердито крикнула старая маленькая еврейка, закутанная в шаль,— любят вспоминать! Если бы от этого человеку прибавлялось ума на какую копейку, я бы еще согласилась: сидите и вспоминайте, что было еще до царя Николая.

— Это вам, старым людям, только и делать, что вспоминать,— пробормотал забрызганный пассажир.

— Ух! — с негодованием ответила старуха.— Так знайте, что вашу пшеницу уже помололи на мельнице, а ваш мак съели свиньи. «Кто любит вспоминать, тот не любит работать»,— так говорит мой муж; он лучший сапожный майстер в Керчи. Если бы вы видели, как он работает! Через его работу мы вывели в люди целый табор детей. Теперь мне осталась перед смертью нелегкая должность — всех объезжать и смотреть, чтобы они не ссорились. Но где они живут! — воскликнула старуха.— В Москве, в Горьком, в Карасубазаре, в Одессе, Джанкое и Мелитополе! С такими детьми можно выучить географию. А чтобы у меня оставалось

время вспоминать, так об этом забудьте, молодые люди.

— Нашла себе работу! — сказал из-под днища машины незнакомый угрюмый голос.

Старуха покосилась на пол и замолчала. Подземный голос принадлежал шоферу. Он сидел на корточках в липкой грязи и чинил машину.

Как выяснилось потом, это был мрачный, но очень любопытный шофер, не пропустивший ни одного слова из пассажирских разговоров.

Снова стал слышен ветер. Он качал сухой чертополох в полях и заглушал голоса Берга и Осипова. Они сошли с машины и, как всегда, спорили о Бальзаке. Над степью тучи сгущались, их цвет все темнел и чем ближе к земле, тем становился все более глухим и синим. Я долго вглядывался и, наконец, понял, что это море.

— Скажите, — спросила старуха и потянула меня за рукав, — он еврей или русский?

Она показала на Берга.

— Еврей.

— А тот, высокий?

— Тот русский. Почему вы спрашиваете?

— А если мне интересно?! — ответила старуха. — Представьте себе, мне интересно знать про каждого человека, зачем он живет на свете.

— А ты сама зачем живешь? — неожиданно спросил из-под пола тот же угрюмый голос, и старуха испуганно замолчала.

Шофер вылез, вытер руки о пиджак, и машина тронулась.

Мы мчались к Старому Крыму. Он белел вдалеке, как отара грязных овец, сбившихся в кучу на склоне синих от сырости гор.

В Старом Крыму из глиняных хижин клубился дым. В дыму стояли старые сады.

Ветер дул из степей и вертел по лужам сухие листья орехов.

Трудно было поверить, что на этих засыпанных битой черепицей холмах стоял когда-то Солхат, великий город, своим богатством превосходивший Дамаск.

Теперь от прошлого остались только камни, небо и могилы.

Недавно к старым могилам прибавилась могила писателя Грина, такая же каменистая и заросшая колючками, как и все остальные.

Грин умер в Старом Крыму. Здесь он писал о Лиссе, о Гель-Гью, о не существующих на карте городах, полных здорового запаха палуб. Солнце, прогревавшее корабли, не было нашим обыкновенным солнцем. Оно больше походило на стеклянный шар, наполненный золотой влагой. Солнце Грина издавало запах, подобно тем тропическим зарослям, которые он описывал. Ни разу в жизни он не видел этих зарослей и не ощущал их запаха. Достаточно было старой обертки от кокосового мыла, чтобы вызвать в его воображении вкус кокосового молока.

После Старого Крыма пустынная дорога вошла в леса. Рыжая осень мчалась по сторонам. Леса были заржавлены, их покрывала желтая плесень.

Северное облачное небо доползло до подножия гор — дальше к югу его не пускал теплый воздух, подымавшийся с моря. Белое солнце неторопливо катилось за нами по вершинам голых холмов и озаряло долины, заросшие старой травой.

Машина сонно шуршала по кремнистой дороге, сонно шумел ветер в радиаторе, дремали пассажиры, кажется дремал шофер, и, будто во сне, в неторопливо вращающейся панораме, перемещалась на дне долины глухая татарская деревня. Сверху, с поворота дороги, она казалась красной от черепичных крыш, снизу — белой от вымазанных мелом стен.

Собаки, заслышав ленивые гудки шофера, бежали рысцой во дворы, прятались от автобуса. Здешние псы хорошо знают неистовый нрав крымских шоферов и никогда не облаивают машин, хотя глаза их и зеленеют от ненависти к зловещей и трескучей повозке, несущейся мимо выветренных оград.

Сквозь дремоту мы увидели на севере гряду красных гор, покрытых морщинами. На горах не было ни единой травинки, как будто с земли сняли веселый растительный покров и обнажили каменный мозг,

ссохшийся от геологических, невыносимо длинных эпох.

— Если бы на земле исчезла растительность,— пробормотал Берг, — я бы повесился.

Машина катилась, и ее равномерное движение вызывало простые и спокойные мысли. Вся привлекательность земли заключена в животном и растительном мире. И тот и другой мир изучены нами почти в совершенстве, но всегда от соприкосновения с ними остается ощущение загадки. Загадочны и потому прекрасны темные чащи лесов, глубины морей; загадочен крик птицы и треск лопнувшей от теплоты древесной почки. Разгаданная загадка не убивает волнения, вызванного зрелищем земли. Чем больше мы знаем, тем сильнее желание жить.

— Что правда, то правда! — сказал шофер. — Такие сады даже в Америке поискать надо.

Я открыл глаза. Машина стояла. Из радиатора бил пар. Стены вековых облетевших тополей опускались по склонам холмов. За ними серели обширные, как море, яблоневые сады. Зеленый ручей шумел по гальке. Запах палого листа и дыма висел над садами, то усиливаясь, то ослабевая от неуверенных нажимов ветра.

— Крымское яблоко — зимнее, — сказал забрызганный пассажир. — В нем сока нет, его хорошо держать для запаха. Можно сказать, для елки это самое подходящее яблоко: его и золотить не надо. Оно само золотое.

Старуха еврейка торопливо развязала кошелку и вытащила елочные игрушки. Они пошли по рукам. Даже шофер осторожно повертел в масленых пальцах серебряную дрожащую звезду.

— Вот такую бы звезду моей старухе на радиатор! — сказал он и печально усмехнулся. — Хоть бы ей перед смертью покрасоваться, удивить людей. А то мучилась по чертовым дорогам всю жизнь, растряслась. Один только раз был у нее праздник — в этом году, когда ходил я в Ялту за цветами для Первого мая. Ехал обратно в Симферополь на малом газу: боялся — облетят цветы. Хотели послать лошадей, говорят — на машине все цветы обобьешь, сделаешь из

них зеленую кашу. А я человек упорный, гордый — довез без повреждения. И машина за себя постаралась. Ехали по горам, ветер в лоб, а все равно запах из кузова было слышно. Мимоза очень крепко пахла.

Шофер вытер лоб черной рукавицей.

— Оглянулся, а за мной машин — целый поезд. Идут сзади, никто не обгоняет. Я остановился, кричу им: «Давайте вперед, чего вы все за мной тащитесь?» А они отвечают: «Мы, значит, вроде как почетный конвой при твоих цветах, Митя. Езжай, не смущайся! Нам сзади ехать — одно удовольствие».

— Легкий груз, — пробормотал забрызганный пассажир.

— Уж чего легче! — ответил шофер сердито. — Не то что вас возить, скандалистов...

— Вы хороший человек, — сказала шоферу старуха еврейка, — потому что вы имеете любовь к хорошим вещам.

Шофер не ответил. Он прибавил газу в моторе, оглянулся и хмуро спросил:

— Все сели?

— Все.

Машина с натугой вырвалась из грязи и зашуршала по скользкой шоссейной гальке.

На краю садов машину остановил пожилой человек с черным худым носом.

Он о чем-то вполголоса поговорил с шофером и, получив согласие, завалил нас корзинами с яблоками, орехами, яйцами и сыром. Потом он притащил громадный ящик с живыми белыми курами.

— Скажите, товарищ шофер, — ядовито спросила старуха еврейка, — это автобус или толчок? Потому что я уже перестала понимать, что это значит.

— Когда я вам отвечу, так вы сгорите со стыда за свой неспокойный характер, — пригрозил шофер. — Это святой товар, он мне дороже всех пассажиров.

— Интересно вы разговариваете! — обиделась старуха. — Даже смешно.

— Кому смешно?! — яростно закричал пожилой человек. Шея его покраснела от гнева. — Глупым

людям смешно, а ты — старая, ты не должна быть глупой. В Мадрид! — крикнул он. — В Мадрид идет этот товар, испанским детям от наших пацанов. Сами собирали, сами укладывали, сами записки писали. А ты говоришь — смешно!

— Боже ж мой! — закричала старуха и взмахнула руками. — Так что же вы шепчетесь с шофером, как последний спекулянт? Надо было раньше сказать! Если не хватает места, так я, старая женщина, вылезу и дохромаю до Карасубазара пешком ради такого золотого багажа!

— Ничего, сиди, — сказал шофер. — Как-нибудь я тебя довезу.

— Выходит, что ваша машина, товарищ шофер, не такая несчастная, как вы жалуетесь, — засмеялась еврейка и вытерла глаза концом шали. — Получается, что у нее уже второй праздник за год.

— Похоже, что так получается, — хмуро ответил шофер.

Степь, залитая лужами, ползла навстречу. Ветер поднимал пух на головах у кур, и куры делались похожими на растрепанных чудаков. Забрызганный пассажир прикрыл их полой плаща.

— Как бы курочки наши не простудились! — сказал он и застенчиво засмеялся. — Все-таки надо доставить до Испании в исправности.

Мы пронеслись по окраинам Карасубазара и остановились около почтовой станции. Городок, обнесенный валами, остался в стороне. Мы обошли его по обочине. По тесным улицам Карасубазара машина пройти не могла, — на них едва расходились ослы. Низкие минареты торчали над крышами. Зеленая жидкая грязь плыла по переулкам медленными потоками. В бесчисленных кофейнях варили черную гущу с сахаром и сидели старики, перебрасываясь сонными словами об урожае яблок и пшеницы.

В Симферополе мы пересели в машину на Ялту. На перевале нас застала темнота. Шумели сухие леса. Ветер нес в лицо снежную крупу. Пропасти были наполнены сизым дымом. Изредка в этом дыму мертво блестело море, похожее на ртуть.

Ночь простиралась над берегами, где у мокрых камней плескалась ледяная вода. Береговые огни висели на краю вселенной, за ними начинались хаос, темнота, бездна. Около Ялты из садов потянуло застоявшимся за день теплом.

День был окончен. Он казался громадным, бесконечным и деятельным, несмотря на то, что в пути мы даже не говорили друг с другом.

— Ну как, вы по-прежнему считаете этот день пропащим? — спросил Осипов, когда машина спускалась в черный провал, где были рассыпаны пригоршнями огни приморского города.

— К чертям! — ответил Берг. — Я не мальчик. Я лучше вас со всей вашей писательской математикой знаю, чего стоит каждый день.

1937

ПОВОДЫРЬ

Обширное Полесье качалось под поплавками машины. Леса уже желтели, роняли листву. Солнце висело над просеками в осеннем дыму.

«Товарищ командарм, — написал летчик на записке, — разрешите сесть на ближайшем озере: мотор капризничает. Озер, кстати, много».

Командарм читал. Он нехотя оторвался от книги, прочел записку, написал на ней: «Совсем некстати, но делать нечего», и вернул записку летчику. Летчик взглянул на нее и повел самолет на снижение.

Никогда командарм не испытывал такого наслаждения от книг, как во время полетов. Это были единственные часы, когда он спокойно читал, — земля медленно проплывала внизу, безмолвная и ясная, как карта, забрызганная каплями озер.

Командарм снова раскрыл книгу, но в это время поплавки ударили о воду, она как бы взорвалась, превратилась в шумную пену, и самолет помчался, разбрызгивая озеро, к лесистому берегу.

Командарм взглянул за окно. Летчик рулил к избе на берегу. Солнце сверкало над вершинами старого

леса. Ветер нес над водой бледную паутину. Озеро было так густо засыпано палыми листьями, что даже в кабину проникал их сладковатый запах.

Весело загремел маленький якорь. Командарм открыл дверцу кабины и прислушался. Давно забытая тишина простиралась на сотни километров над лесами. Не было слышно даже пересвистывания птиц. Такая тишина бывает только безветренной ночью, когда легкий хруст сухой травинки застает вас врасплох и заставляет сердце биться глухо и торопливо.

— Где мы сели? — спросил командарм.

— Это Полесье, — ответил летчик. — В ста километрах отсюда — город Чернобыль.

— А вы уверены, что это город?

— Что-то вроде, — пробормотал летчик и смутился.

— Ну, хорошо. Чините скорее мотор.

Опаздывать было нельзя. Командарм летел на юг, к морю, где его ждал громадный флот, готовый выйти в осеннее учебное плавание.

От единственной избы на берегу отчалил старый челн. Человек на нем греб стоя.

Челн подошел к самолету, и человек крикнул с челна командарму:

— А я дивлюсь: який журавель прилетел до нас с неба? Що воно, думаю, и яка в том причина? Должно поломались, землячки?

— Ничего не поломались, — ответил летчик.

— Ну, ну, — добродушно согласился лесной человек. — Нехай будет по-вашему. А вы, часом, не из Москвы?

— Из Москвы, — ответил командарм.

— Ну, седайте в челн, будете гостем, хоть хата моя и не дуже богатая. Я полесовщик здешний.

Командарм сел в валкий, полный воды челн.

Летчик остался чинить машину.

На берегу командарм оглянулся на леса, быстро ставшие печальными и золотыми от заката, вдохнул запах вянущих трав и улыбнулся.

— Хорошо тут у вас! Охота, должно быть, богатая?

— А в Москве, мабуть, лучше, — сказал лесник.

— Ну что ж, поменяемся, — пошутил командарм.

— Чистый смех! — сказал лесной человек. — Тут я знаю, где какая птица перо загубила. За самую за райскую жизнь я этого леса не кину.

Командарм прошел в избу. На стене были приклеены портреты, вырезанные из старых газет. Среди них рядом с портретом Шевченко командарм увидел себя — он был изображен молодым, улыбающимся. Командарм снял фуражку, провел широкой ладонью по седым волосам и сел на лавку. Лесник полез в подпол за молоком и сыром.

Из темного угла послышалось заунывное жужжание. Командарм оглянулся — на полу сидел старик со светлыми слепыми глазами. Отполированная сотнями нищих заскорузлых рук украинская лира лежала у него на коленях. Старик медленно поворачивал костяную ручку, деревянный треснувший валик вертелся, терся о струны, и они глухо жужжали.

— Ты здешний, отец? — спросил командарм.

— Не, я из-за Припяти. Иду в Чернобыль, на Киев: як силы хватит, дойду до самого моря.

«Странный старик», — подумал командарм.

Лира жужжала все так же тихо и заунывно.

Вошел старик. Он поставил на стол кувшин с молоком, положил краюху черного хлеба и рассказал, что убогий этот старик пришел из-за Припяти. Его привел мальчик из соседнего колхоза и тотчас ушел.

Теперь надо бы проводить старика до Чернобыля, но все некогда.

Идет старик без поводыря. Где теперь взять поводырей, когда все девчата и хлопцы бегают в школу? Так и пробирается один к морю, а зачем — неизвестно, — говорит, к дочери.

— Ты бы мне спел, отец, — попросил командарм, разламывая черный хлеб и макая его в кружку с молоком.

— Спасибо на ласковом слове, — ответил старик. — Теперь народ пошел торопливый, не слухает старые песни.

Старик помолчал.

— Спою я тебе думку, что сложили про меня, про старого Колдобу, сирые слепцы, покалеченные люди, —

сказал спокойно старик, и командарм невольно вздрогнул. — Слухай тихонько.

Старик снял шапку и долго молча жужжал на лире.

— Як бурьян на шляхах вянет да пылится, — сказал он печально, — так и сердце сохнет от людской обиды. Як вода на речке льется, уплывает, так и слезы льются, их никто не чует.

Лира стихла. В наступившей тишине старик сказал просто и громко:

Ой, жила на свете сирота-небога,
Тай пришлась сиротке трудная дорога.
Мать ее не мыла, волос не чесала,
Корку хлеба с салом, борща не давала,
Бо в могиле маты третий год лежала.

Лира снова зажужжала громко и томительно:

Тай коров пасла та сирота у пана,
Ночевала, бидна, посередь бурьяна.
Грозы по-над степью ходят чередою,
Молнии полышут над сухой травою.

Слепец рассказал, как гроза разогнала стадо в степи, как потеряла девочка лучшую корову и как хозяин выгнал ее ночью со двора и не дал даже куска хлеба.

И пошла сиротка, слезы утирае,
Мать свою с могилы даром выкликае.
Доля человечья слезами полита,
Доля человечья тоскою повита,
Доля человечья богом позабыта.

Старик опять помолчал. Скрипела лира.

— Слухай, сердце мое, — сказал старик командарму. — Нема на свете гирше слез, як слезы сиротыны.

Он прижал струны и снова заговорил:

Так бежит сиротка, а куда — не знае.
Тай на шляху ночью казака встречае
И тому казаку все оповидае.
Взяв казак сиротку и довел до хаты,
Где господовала его стара маты.
И сказав казаче матери. «Горпына,
Я знайшов на шляху небогу-дивчину.
Будь же ей, старуха, як родная маты,
Я ж пойду до пана два слова казаты».

Лира зажужжала торопливо, и старик запел грозным голосом:

То не грозы в небе ходят да играют, —
То господски хаты огнем полыхают
Ще не вмерла правда та холопска сила,
Ще не зарастае панская могила.
Гей, вставайте, люды, со степей та гаев!
Гей, вставайте, люды, кто щастья не мае!
Шуми, Украина, повстаньем та свистом,
Бренчи, Украина, блисканьем монистом,
Бо идут холопы ратуваты волю,
Отбываты землю, будуваты долю!

Лира еще долго гудела и затихала. Командарм слушал, отодвинув хлеб. Щемящая эта песня напоминала ему детство, далекие годы, когда он мальчишкой гонял в ночное в осенние холодные ночи старого коня и у него, у мальчишки, был один только тулупчик — рваный, косматый от вылезшей шерсти.

Замученный конь пасся вяло, часами стоял неподвижно под дождем, думал о чем-то, и глаза его слезились.

Мать штопала тулупчик, но он все рвался и рвался, и мать плакала от забот, от дурных предчувствий. Отец ушел на юг, на шахты, и там пропал.

— Да, детство, — сказал командарм и поднял голову.

— Очи я спалил на том на панском пожаре, — сказал старик, надевая шапку. — За год до войны я ослеп. Один голос остался для меня на свете.

— А где ж та девочка? — спросил командарм.

— Двадцать годов я ее не бачив, — ответил старик. — Як наскочили на наше село гайдамаки, она и ушла через болота с красными частями. Так и сгинула, загубилась в городах посередь многолюдства. Немае у мене иншего ридного сердца, она одна осталась. Шукав я ее сколько годов, исходил всю землю. Месяц назад вернулся в свое село, прибег до мене председатель колхоза и каже: «Дочка твоя знайшлась. Приезжав, каже, на побывку Остап — вин служит во флоте. Вин ее бачив, она про тебя пытала, а вин, дурный, сказав, шо ты ушел из села, загубывся, мабуть

вже помер. Она дуже плакала. Я, каже, адрес ее у Остапа спысав. Ось вин!»

Старик вытащил из-за пазухи измятую бумажку и протянул ее вперед в дрожащей руке.

Командарм прочел адрес при свете керосиновой лампочки. Стекло у лампы было покрыто мохнатой пылью, должно быть ее с зимы не зажигали.

— Далеко тебе идти, отец, — сказал командарм. — До самого моря. Далеко и долго идти.

— Одного боюся — не дойду, — ответил старик. — Годы мои великие, силы прежней нету.

Вошел летчик и доложил, что работы осталось часа на два и на рассвете можно будет лететь.

— Значит, мы не опоздаем? — спросил командарм.

— Прилетим как раз вовремя.

Ночью командарм не спал.

Он вышел из избы. Как только он переступил порог, густая ночь окружила его шелестом и холодом. Осины на берегу торопливо зашуршали листьями и стихли.

«Да, детство, — подумал командарм и закурил. — Все, как в детстве, — глухие ночи, Стожары, роса, сонная возня птиц, ночующих в мокрой листве».

Командарм посмотрел на восток. Среди черных ветвей сверкал зеленый холодный Сириус, — приближался рассвет.

Командарм вернулся в избу. Все спали.

— Отец, — негромко позвал командарм.

Слепец пошевелился в своем углу. Командарм зажег спичку. Старик сидел на полу, прислонившись к стене, и смотрел в темноту светлыми мертвыми глазами.

— Огец, — повторил командарм, — собирайся. Мы возьмем тебя, доставим до моря.

Старик молчал в темноте.

— Бери лиру, завяжи сумку с хлебом. Через час полетим.

Старик молчал. Командарм снова зажег спичку.

Старик сидел все так же. Из его открытых глаз текли редкие слезы.

— Чую, — тихо сказал он. — Чую, сердце мое.

Через час машина с торжественным рокотом, разогнав по озеру темную волну, шла в небо, разворачиваясь к югу, где низко среди просек и пустошей дотлевал пепельным огнем Юпитер.

Перед отлетом летчик оглянулся на слепца, сидевшего в кабине. Лицо старика сморщилось. Он вытирал глаза колючим рукавом свитки и бормотал:

— От, старый дурень, яка приключилась история!

— Разрешите доложить, — сказал летчик командарму. — Двести километров лишних. Мы опоздаем ко флоту.

— А вы не опаздывайте, — ответил, усмехнувшись, командарм.

Через четыре часа самолет, окруженный дрожащим серебряным воздухом, сел в зеленых бурунах, в солнце и громе моторов, около желтых рыбачьих лачуг, красных скал, около берегов, залитых мерным и теплым прибоем.

Казалось, что приморский городок еще спит, так пустынно было на его каменных улицах, когда командарм осторожно вел за руку, как поводырь, дряхлого лирника в старой колючей свитке.

Милиционер на берегу около пристани узнал командарма по портретам, хотел поднять руку к козырьку, но растерялся — только дернул рукой и спрятался от смущения за кузов вытащенной на берег рыбачьей барки.

— Ну вот, здесь! — сказал командарм и остановился около маленького дома.

Тонкие сети, похожие на голубую паутину, висели на ограде, и черный кот сидел на перевернутой шлюпке и лениво жмурился на командарма.

— Я тебе, отец, открою калитку, — тихо сказал командарм, — а там уж ты сам доберешься. Я тороплюсь.

— Я дойду, я дойду, сердце мое, — растерянно ответил старик.

Командарм открыл калитку, ввел в нее старика и быстро отошел за угол. Он заметил сквозь заросли ди-

кого винограда молодую женщину, стремительно сбежавшую с ступенек террасы, услышал отчаянный, радостный крик, смешанный со слезами, торопливо вынул папиросу, на ходу закурил и, прыгая с камня на камень по крутым спускам, сворачивая в боковые запутанные переулки, быстро пошел к морю, где его ждал самолет.

В сумерки под крылом самолета открылись глубокие бухты. Во мгле, в перебегающих огнях, в шуме флагов и блеске сигнальных фонарей, в плеске и гомоне чаек покачивался на якорях и тяжело дымил южный флот, дожидавшийся командарма, чтобы выйти в осеннее учебное плавание.

Командарм опоздал на два часа.

1938

КОЛОТЫЙ САХАР

Северным летом я приехал в городок Вознесенье, на Онежском озере.

Пароход пришел в полночь. Серебряная луна низко висела над озером. Она была ненужной здесь, на севере, потому что уже давно стояли белые ночи, полные бесцветного блеска. Длинные дни почти ничем не отличались от недолгих ночей: и день и ночь весь этот лесной низкорослый край терялся в сумерках.

Северное лето всегда вызывает тревогу. Оно очень непрочно. Его небогатое тепло может внезапно иссякнуть. Поэтому на севере начинаешь ценить каждую едва ощутимую струю теплого воздуха, ценить скромное солнце, что превращает озера в зеркала, сияющие тихой водой. Солнце на севере не светит, а просвечивает как будто через толстое стекло. Кажется, что зима не ушла, а только спряталась в леса, на дно озер, и все еще дышит оттуда запахом снега.

В садах отцветали березы. Белобрысые босые мальчишки сидели на дощатой пристани и удили корюшку. Все вокруг казалось белым, кроме черных больших поплавков. Мальчишки не спускали с них прищуренных глаз и шепотом просили друг у друга дать покурить.

Вместе с мальчишками удил рыбу вихрастый веснушчатый милиционер.

— А ну, давай не курить на пристани! Давай не безобразничать! — покрикивал он изредка, и тотчас же несколько махорочных огоньков падали в белую воду, шипели и гасли.

Я пошел в город искать ночлег. За мной увязался толстый равнодушный человек, стриженный бобриком.

Он ехал на реку Ковжу по лесным делам. Он таскал с собой поседевший портфель со сводками и счетами. Говорил он косноязычно, как бесталанный хозяйственник: «лимитировать расходы на дорогу», «сделать засъемку», «организовать закуску», «перекрыть нормы по линии лесосплава»...

Небо выцветало от скуки от одного присутствия этого человека.

Мы шли по дощатым тротуарам, черемуха цвела в холодных ночных садах, за открытыми окнами горели неяркие лампы.

У калитки бревенчатого дома сидела на скамейке тихая светлоглазая девочка и баюкала тряпичную куклу. Я спросил ее, можно ли переночевать в их доме. Она молча кивнула и провела меня по скрипучей крутой лестнице в чистую горницу. Человек, стриженный бобриком, упрямо шел следом.

В горнице вязала за столом старуха в железных очках и сидел, прислонившись к стене, худой пыльный старик с закрытыми глазами.

— Бабушка, — сказала девочка и показала на меня куклой, — вот заезжий просится ночевать.

Старуха встала и поклонилась мне в пояс.

— Ночуй, желанный, — сказала она нараспев. — Ночуй, будь гостем дорогим. Только тесно у нас, не взыщи, — придется на полу постелить.

— На низком уровне, значит, жизнь у вас организована, гражданка, — придирчиво сказал человек, стриженный бобриком.

Тогда старик открыл глаза — они были у него почти белые, как у слепого, — и медленно ответил:

— Такого, как ты, ни сон, ни ум не обогатят. Терпи — притерпишься.

— Имей в виду, гражданин, — сказал человек, стриженный бобриком, — с кем разговариваешь! Должно в милиции не сидел!

Старик молчал.

— Ох, батюшка, — жалобно пропела старуха, — не обижайся на странника! Бездомный он, бродячий старик, чего с него спрашивать?

Человек, стриженный бобриком, оживился. Глаза его сделались сверлящими и свинцовыми. Он тяжело хлопнул портфелем по столу.

— Безусловно чуждый старик, — сказал он с торжеством. — Надо соображать, кого в дом пускаете. Может, он беглец из концлагеря или подпольный монах? Сейчас мы выясним его личность. Как тебя звать? Откуда родом?

Старик усмехнулся. Девочка уронила куклу, и губы у нее задрожали.

— Родом я отовсюду, — ответил спокойно старик. — Нигде нету для меня чужбины. А зовут меня Александр.

— Чем занимаешься?

— Сеятель я и собиратель, — так же спокойно ответил старик. — В юности хлеб сеял и хлеб собирал, нынче сею доброе слово и собираю иные чудесные слова. Только неграмотен я, — вот и приходится все на слух принимать, на память свою полагаться.

Человек, стриженный бобриком, озадаченно помолчал.

— Документы есть?

— Есть-то есть, только не для тебя они писаны, милый человек. Документы у меня дорогие.

— Ну, — сказал человек, стриженный бобриком, — мы найдем того, для кого они писаны.

И он ушел, хлопнув дверью.

— Сырой человек, неспелый, — сказал, помолчав, старик. — От таких бывает в жизни одна суета.

Старуха поставила самовар. Она певуче сокрушалась, что нету у нее в доме ни кусочка сахару: забыла купить. Самовар ей жалобно подпевал. Девочка постелила на стол чистую суровую скатерть. От скатерти пахло ржаным хлебом.

За открытым окном блистала звезда. Она была туманной, очень большой, и странным казалось ее одиночество на громадном зеленеющем небе.

Ночное чаепитие меня не удивило, — давно я заметил, что северным летом люди долго не спят. И сейчас за окном, у калитки соседнего дома, стояли две девушки и, обнявшись, смотрели на тусклое озеро. Как всегда бывает белой ночью, лица девушек казались бледными от волнения, печальными и красивыми.

— Ленинградские это комсомолки, — сказала старуха. — Дочери капитанов. На лето всегда приезжают.

Старик сидел с закрытыми глазами и молчал, как будто прислушивался. Потом он открыл глаза и вздохнул.

— Ведет! — сказал он горестно. — Прости, бабушка, меня, дурака, за докуку.

Лестница скрипела. По ней тяжело подымались люди. Без стука вошел человек, стриженный бобриком. За ним шел вихрастый озабоченный милиционер — тот, что удил рыбу на пристани. Человек, стриженный бобриком, кивнул на старика.

— А ну, давай, дед,— сурово сказал милиционер, — давай выясняй свою личность! Налаживай документы!

— Личность моя простая,— ответил старик,—только рассказывать долго. Садись, слушай.

— Ты поскорей! — сказал милиционер. — Сидеть мне некогда, надо тебя в отделение представить.

— В отделение, родимый, мы завсегда с тобой успеем, в отделении разговор короткий, не с кем душу отвести. Мне седьмой десяток пошел, помру я не нынче-завтра на чужом дворе. Значит, должен ты меня вытерпеть.

— Ну, давай, — согласился милиционер. — Только не путай!

— Зачем путать! Жизнь моя чистая, ее не запутаешь. Все мы, Федосьевы, были со стародавних времен ямщики да певуны. Дед мой Прохор был великий певец, по всему тракту от Пскова до Новгорода голос свой пропел, проплакал. Голос беречь надо, он не зря человеку даден, и дед мой берег, да не уберег — со-

рвался. Может, знаешь иль нет, жил у нас в Псковской губернии знаменитый земляк Александр Сергеевич, поэт Пушкин.

Милиционер ухмыльнулся:

— Еще бы не знать-то!

— Из-за него дед голос свой и сорвал. Встретились они на ярмарке, в Святогорском монастыре. Дед пел. Пушкин слушал. Потом пошли они в питейное заведение и просидели до ночи. Об чем гуторили, никому не известно, только дед вернулся веселый, как хмельной, хоть вина почти и не пил. Говорил потом бабке: «От слов и от смеха его я захмелел, Настюшка, — такой красоты слова — лучше всякой моей песни». Была у деда одна песня, очень ее Пушкин уважал.

Старик помолчал и вдруг запел звенящим томительным голосом:

Эх, по белым полям, по широким
Наши слезы снежком замело!

Девушки подошли к окну и, обнявшись, слушали. Милиционер осторожно сел на скамью.

— Да, — вздохнул старик, — многие времена прошли, умер дед столетним стариком и песню ту велел петь своим сыновьям и внукам. Однако не про то я говорю. Раз зимой будят деда ночью, стучат в оконце, велят запрягать по спешной казенной надобности. Вышел дед с крыльца, видит — полно жандармов, ходят, звенят тесаками. Ну, думает, опять везти каторжан. Однако нет никаких арестантов, а на санях черный гроб лежит, веревками увязан. Кого же это, думает, и в могилу, страдальца, в оковах везут, кого ж это царь и после смерти боится? Подошел к гробу, смахнул рукавицей снег с черной крышки и спрашивает жандарма: «Кого повезем?» — «Пушкина, — говорит жандарм. — Убили его в Петербурге». Дед отступил на шаг, скинул шапку и поклонился гробу в пояс. «Ты, что ж, знаком ему, что ли?» — спрашивает жандарм. «Песни я ему пел». — «Ну, так теперь петь не будешь!» Ночь была тяжкая, крепкая, дыхание в груди замерзало. Подвязал дед бубенцы, чтобы не гремели, сел на облучок, поехал. Тихо кругом, только полозья свистят

да слышно, как тесаки стучат и стучат о гроб глухим стуком. Накипело у деда на сердце, от слез заболели глаза, собрал он весь свой голос и запел:

Эх, по белым полям, по широким...

Жандарм его бьет ножнами в спину, а дед не слышит, поет. Вернулся домой, лег, молчит: голос на морозе застудил. С той поры до самой смерти говорил сипло, одним шепотом.

— От сердца, значит, пел, — пробормотал, сокрушаясь, милиционер.

— Все, родимый, надо от сердца делать, — сказал старик. — А ты ко мне пристаешь, кто я да что. Песни я пою. Такое мое занятие. Хожу промеж людей и пою. Где какую новую песню услышу — запоминаю. К примеру, слово ты сказал — это одно, а слово это самое ты пропел — выходит, сердешный мой, другое, — оно долго в сердце дрожит. Песенную силу беречь надо. Какой народ петь не любит — плевый тот народ, нету у него правильного жизненного понятия. А об документе ты не тревожься, документ я тебе покажу.

Старик вытащил трясущимися руками из-за пазухи серую ладанку и достал оттуда бумажку.

— На, читай!

— Зачем мне читать! — обиделся милиционер. — Мне ее читать нет теперь надобности. Я тебя и так вижу. Сиди, дедушка, отдыхай. А вы, гражданин, — милиционер обернулся к человеку, стриженному бобриком, — лучше шли бы ночевать в дом колхозника, там вам способнее. Идемте, я вас доведу.

Они вышли. Я взял бумажку у старика и прочел:

«Дано это удостоверение Александру Федосьеву в том, что он является собирателем народных песен и сказок и получает за это пенсию от правительства Карельской республики. Всем местным властям предлагается оказывать ему всяческую помощь».

— Эх, горе! — сказал старик. — Нету хуже, когда у человека душа сухая. Вянет от таких жизнь, как трава от осенней росы.

Мы пили чай. Девушки, обнявшись, ушли к озеру, и в легком ночном сумраке белели их простые ситце-

вые платья. Тусклая луна опускалась в воду, и в саду среди берез печально крикнула ночная птица.

Светлоглазая девочка вышла на улицу и снова сидела у калитки и баюкала тряпичную куклу. Я видел ее из окна. К ней подошел вихрастый милиционер и сунул ей в руку сверток с сахаром и баранки.

— Давай отнеси дедушке, — сказал он и густо покраснел. — Скажи, гостинец. Мне самому некогда, надо на пост становиться.

Он быстро ушел. Девочка принесла сверток с колотым сахаром и баранки. Старик засмеялся.

— Жил бы я, — сказал он, вытирая слезящиеся глаза, — еще долгое время. Жалко помирать, уходить от ласковости людской, и-и-и как жалко! Как гляну на леса, на светлую воду, на ребят да на травы — прямо силы нет помирать.

— А ты живи, желанный, — сказала старуха. — У тебя легкая жизнь, простая, таким только и жить.

Днем я уехал из Вознесенья в Вытегру. Маленький пароход «Свирь» шел по каналу, задевая бортами за плакун-траву, разросшуюся по берегам.

Городок уходил в солнечный тусклый туман, в тишину и даль летнего дня, и низкорослые леса уже охватывали нас темным кругом. Северное лето стояло вокруг — неяркое, застенчивое, как светлоглазые здешние дети.

1938

ЛЕНЬКА С МАЛОГО ОЗЕРА

Мы шли по карте, составленной в семидесятых годах прошлого века. В углу карты была сделана приписка о том, что карта составлена «на основании расспросов местных жителей». Надпись эта, несмотря на ее откровенность, не радовала нас. Мы тоже занимались расспросами местных жителей, но их ответы почти всегда были неточны.

«Местные жители» долго и горячо кричали, переругивались и упоминали много примет. Их объяснения выглядели примерно так: «Как дойдете до канавы, берите круто вкось к лесу, а там идите и идите на край дороги по горелым опушкам к самой барсучьей яме, за ямой надо бы вам угодить прямо на холмище, его оттуда чуть-чуть видать, а за холмищем дорога, можно сказать, совсем простая — по кочкам до самого озера. Так и дойдете».

Мы точно следовали этим приметам, но никогда не доходили.

Сейчас мы шли по карте, но все же заблудились в сухих болотах, заросших мелким лесом.

Осенний день шуршал ломкой листвой. Потом начал моросить тончайший дождь, похожий на холодную пыль.

К трем часам дня мы вышли на песчаный бугор среди болот, заросший сухим папоротником. День быстро темнел, сумерки уже зарождались под неприветливым небом, и приближалась ночь — волчья ночь в болотах, полная треска сухих ветвей, шороха капель и невыносимого чувства одиночества.

Мы кричали и прислушивались. Ветер шумел в ответ в мертвых чащах и приносил хриплое карканье вороньих стай.

Потом где-то за краем земли и болот послышался ответный крик, протяжный и слабый.

Голос приближался. Затрещал осинник, голос послышался совсем рядом, из чащи вышел веснушчатый мальчик. Было ему лет двенадцать. Он осторожно шагал по валежнику босыми ногами и нес в руках старые сапоги. Он подошел к нам и застенчиво поздоровался.

— А я слышу, кто-то и кричит и кричит, — сказал он и засмеялся. — Даже испугался: никого в эту пору тут быть не должно. Летом еще бабы ходят за ягодами, а сейчас какие ягоды — все сошло! Заблудились?

— Заблудились, — ответили мы.

— Здесь и пропасть недолго, — сказал мальчик. — Прошлым летом баба одна заблудилась — только весной ее нашли, остались одни косточки.

— А ты как сюда попал?

— Я-то здешний, с Малого озера. Телку ищу.

Мальчик вывел нас на Малое озеро. Только к ночи мы вышли из болот, добрались до твердой земли и пошли по заросшей дороге. Ветер угнал тучи к югу. Звезды пронзительно горели над вершинами сосен, но сквозь путаницу ветвей знакомые созвездия казались чужими — среди них было трудно найти даже Большую Медведицу.

— Про телку это я вам выдумал, — сказал мальчик после долгого молчания. — Я не телку искал.

— А чего же ты искал в болотах?

— Падучую звезду, — ответил мальчик. — Запрошлой ночью звезда здесь упала, за холмищем. Я проснулся — слышу, корова Манька тревожится, ревет, мотает рогами. Должно быть, волк к избе подходил.

Я вышел во двор поглядеть. Стою, слушаю — и вдруг что-то как полыхнет через все небо. Гляжу — метеор. Пролетел низко над лесом и упал где-то тут, за холмищем. Гудел сильно, как самолет.

— Зачем тебе метеор?

— В школу я его отнесу, — ответил мальчик. — Исследовать надо. А вы не знаете, из чего сделаны звезды?

Начался ночной разговор о звездах и спектральном анализе.

К полночи мы вышли к берегу черного лесного озера. Осеннее звездное небо пылало в воде. На берегу стояло несколько изб. Только в одном конце горела керосиновая лампа. Мальчик постучал.

— Где тебя носит, черт шалый? — сказал за дверью сердитый женский голос. — Только сапоги даром треплешь.

— А я разумшись, мамка, — ответил мальчик.

Загремел засов, и мы ощупью вошли в сени; в них пахло сеном и парным молоком.

Мы переночевали в избе у мальчика — звали его Ленька Зуев, — выкурили по папиросе с отцом Леньки, пожилым молчаливым человеком в железных очках, и легли на сене, около теплой печки. Кричал сверчок, и в сенцах ворчали сонные куры.

Среди ночи я проснулся. Сильный, полный слез женский голос пел знакомую арию из «Пиковой дамы». Оркестр звенел сотнями туго натянутых струн. Звезды дрожали в запотевших оконцах, и сверчок, услышав пение, перестал кричать.

— Беспокойство вам от этого радио, — сказала с полатей Ленькина мать. — Ленька его сделал, спать оно вам не дает, а как его прекратить — я не ученая! Придется будить малого.

— Не надо. Пусть спит.

— А мы любим, — сказала из темноты женщина, и голос ее стал певучим и тихим, — страсть любим слушать, как поет Москва. Так-то и непонятно, и жалостно, и весело — иной раз до вторых петухов глаз не сомкнешь, хоть за день и намаешься со своим-то хозяйством.

Она помолчала.

— А все Ленькино дело, — сказала она и, очевидно, улыбнулась в темноте. — Такой беспокойный, такой жадный все знать — надо быть, в отца пошел.

— А что отец? — спросил я женщину.

— Семен-то? — переспросила женщина. — Семен у нас партийный с восемнадцатого года. Все для людей... Остатнюю корку другим отдаст, сам будет одними книжками сытый.

Наутро мы узнали историю Семена Зуева. Был он в молодости портновским подмастерьем в Рязани. Заведение Лысова, где он служил, считалось лучшим в городе; работало оно на губернатора, на военных и адвокатов. Адвокаты шили фраки, и Семен испортил глаза, вшивая во фрачные брюки шелковую тесьму, — работа эта была ручная и очень тонкая.

Лысов, богомольный сухой старик, с лицом, зеленым, как лампадное масло, читал весь день божественные книги или «Историю государства Российского» писателя Карамзина. Истратил тысячу рублей на благолепие города — прибил на пыльных улицах к стенам домов чугунные доски с выдержками из «Истории» Карамзина. Под каждым текстом была подпись: «Смотри гишторию господина Карамзина», том такой-то, страница такая-то.

— Начал я с Карамзина, — сказал Семен, — а кончил статьями Ленина. Крепко доходил его голос до самых, можно сказать, пустых захолустий. Ночью читаешь, а утром выйдешь на улицу — пыль, гуси бредут к лужам, стена у монопольки красная от сургуча, в соборе — колокольный звон, убогие люди бьют друг друга посохами из-за копейки, — одним словом, самая допотопная Русь, а в голове несешь свежие слова, как свет какой-то о будущем нашего брата.

После революции Семен уехал в деревню, на озеро, построил на берегу избу и начал отвоевывать у глухого полесья плодородную землю. Сейчас на озере живут уже пять семей.

Утром Ленька проводил нас до большой дороги. Белое солнце сверкало в облетавших лесах, и в его холодном свете был хорошо виден каждый лист,

падавший с осин и берез в озерную воду. Изредка срывался ветер, и тогда листья летели шумным дождем, щекотали лицо.

Через несколько дней Ленька прибежал к нам в деревню и принес кусок «падучей звезды» — острый спекшийся осколок, покрытый копотью и ржавчиной. Он нашел его за холмищем в развороченном пне.

С тех пор я подружился с Ленькой. Я любил бродить с ним по лесам: он знал все тропы, все глухие углы леса, все травы, кустарники, мхи, грибы и цветы, он знал голоса всех птиц и зверей.

Ленька, первый из многих сотен людей, которых я встречал в своей жизни, рассказал мне, где и как спит рыба, как годами тлеют под землей сухие болота, как цветет старая сосна и как вместе с птицами совершают осенние перелеты маленькие пауки. Они летят, прицепившись к паутине, когда дуют ветры на юг, летят десятки километров.

У Леньки были две книги Кайгородова, зачитанные до дыр. Он напрасно искал в них разгадку осеннего перелета пауков.

— Одного я не пойму, — говорил Ленька, — паучок маленький, а паутины выпускает столько, что ежели ее скатать в комок, так из этого комка выйдет сорок таких паучков.

Ленька каждый день бегал в школу за десять километров. За всю зиму он пропустил только два дня, но не любил об этом вспоминать, смущался, — была тогда сильная метель, их избу засыпало снегом по самую стреху.

Зимой Ленька выходил из дому в темноте. Колючие звезды дрожали от стужи, трещали сосны, снег скрипел под ногами, и у Леньки сжималось сердце: как бы не услышали волки. Зимами волки подходили к самому озеру и жили в стогах.

Но хуже всего было поздней осенью, в ноябре, когда снег, раскисший от дождя, лежал на дорогах и с черного неба бил в лицо и леденил все тело порывистый ветер.

Летом Ленька вместе с матерью пахал, копал огород, сеял, убирал сено. Семен работать не мог:

с каждым годом сердце билось все чаще, лицо наливалось землистой опухолью, мучил затяжной сухой кашель.

— Не то живу, не то помираю, — говорил Семен и растирал ладонью худую грудь. — Тараканья жизнь меня съела — поздно, знать, пришла революция. Ну, ничего, Ленька за меня что надо доделает.

Я сдружился с Ленькой и посылал ему из Москвы много книг. Каждую осень я приезжал в лесную деревню и шел из нее на озеро. Это стало традицией.

Я приходил всегда неожиданно. Я шел тихими осенними лесами, где, кроме птиц, не было встречных, узнавал старые пни, светлые поляны, изгибы заброшенной дороги. Мне была знакома каждая сосна на опушке — любить их меня научил Ленька.

Приходил я обычно в поздние сумерки, когда бледные звезды предвещали холодную ночь и запах дыма казался лучшим запахом в мире. Он говорил о близости озера, теплой избы, веселых разговоров, о певучих жалобах Ленькиной матери, постели из сухого сена, говорил о пении сверчка и бесконечных ночах, когда я просыпался от струнного грома, от мелодий Бетховена и Верди, заглушавших дрожащий вой голодных волков.

Каждый раз Ленька выскакивал из избы и бежал мне навстречу. Он стеснялся показывать свою радость и только крепко здоровался со мной за руку. Потом мы долго говорили о прочитанных книгах, об урожае, зимовке на полюсе, затмении солнца и ловле вьюнов. У нас было много увлекательных тем для разговоров, и Семен снова рассказывал о своей молодости, о студентах, привозивших в Рязань прокламации.

Так крепла дружба. Где бы я ни был, я знал, что поздней осенью я вернусь в этот лесной край. Вернусь и увижу Леньку, Семена, и общение с этими людьми все больше дает мне ощущение того, что жизнь с каждым годом становится лучше. Все чаще выдаются дни, когда вдруг услышишь, как гулко шумят под ветром леса, как журчат во мхах холодные родники, узнаешь всю громадную цену книг, размышлений и дружбы деревенского мальчика, мечтающего вот уже третий

год съездить в Москву и увидеть метро, Кремль и живого слона в зоопарке.

Каждый год, когда я уезжаю, Ленька провожает меня. Так было и в этом году. Поезд узкоколейки, прозванный местными жителями «старым мерином», — забавный маленький поезд, — тащился среди лесов. Просеки открывали багряные и золотые разноцветные чащи, и на одной из просек, возле самого полотна, стоял Ленька и махал старой отцовской кепкой. Паровоз, похожий на чайник, сердито засвистел на него, но Ленька засмеялся и крикнул мне в окно:

— Ждать будем! Я вам письмо обо всем отпишу, а вы Брэма прислать не забудьте.

Еще долго я видел его — румяного, бегущего за поездом сквозь мокрые и терпкие осенние чащи. Он бежал, махал сумкой с книгами и улыбался мне, лесам, солнцу, всему миру своей застенчивой, простодушной улыбкой.

1938

СТАРЫЙ ЧЕЛН

Поезд остановился. Стало слышно, как гудит шмель, запутавшийся в оконной занавеске.

— Какая станция? — спросил из купе сонный голос.

— Стоим в пути, — ответил проводник. Он торопливо шел через вагон и вытирал паклей руки.

Наташа высунулась из окна. От высокой насыпи до самого горизонта тянулся лес. Над ним, закрывая половину неба, стояла глухая туча. Стаи белых птиц метались перед ней, как хлопья одуванчика.

Гром громыхнул за краем земли и неуклюже покатился над лесом. Гром ворчал так долго, что казалось, он обегает кругом всю огромную землю. Он затихал, когда запутывался в чаще, но, выбравшись на просеки и поляны, гремел еще угрюмее, чем раньше.

— Какая гроза! — сказал кто-то за спиной у Наташи.

Она оглянулась: в дверях купе стоял ее попутчик — молодой режиссер.

— Какая гроза! Как здорово сделано! — повторил он, всматриваясь в грозовое небо с таким видом, будто оно было театральной постановкой. — Вы не знаете, что это за птицы?

— Не знаю, — ответила Наташа.

— Это дикие голуби, — сказал пожилой лесничий в роговых очках и улыбнулся Наташе. — Как же вы не знаете? А еще десятиклассница!

— Я горожанка, — ответила Наташа и смутилась.

Поезд вздрогнул и пополз назад. Сразу стемнело.

Внезапно ветер рванул занавески и опрокинул стакан с цветами на столике. На пол звонко полилась желтая вода.

Вдоль окон блеснула молния, и тотчас в лесу что-то страшно и сухо треснуло, будто сломалась большая сосна.

— Что случилось? — спросила плачущим голосом сухая маленькая женщина в лиловой пижаме. Ее щебечущая красота исчезла с первым же раскатом грома.

Пассажиры торопливо подымали окна, смотрели на тучу. Молнии открывали в ней зловещие пещеры, воронки вихрей, мутные космы дождя. Огромные материки из черного пепла и седой золы валились на землю. В страшной черноте все вспыхивала и вспыхивала в блеске молний одна и та же белая сухая береза. Было непонятно, почему этот беглый свет вырывает из темноты только эту березу, когда вокруг нее шумят под ветром тысячи других деревьев.

— Проводник, что же, наконец, случилось? — крикнула женщина в лиловой пижаме. — Почему мы идем назад?

— Путь впереди размыло, — угрюмо ответил проводник. — Видите, какая гроза! Подают на Синезерки. Там будем стоять, пока не починят.

— Безобразие! — сказала маленькая женщина, испуганно зажмурила глаза и захлопнула дверь купе.

Мертвый лес вздрогнул от мутного блеска и оказался живым: ветки, похожие на черные рваные рукава, дрожали от ветра и были вытянуты в одну сторону — к последнему просвету под низким пологом туч. Деревья будто цеплялись за уходящее чистое небо и звали на помощь.

По крыше вагона тяжело зашумел проливной дождь.

— «Молньи стремителен бег, и разит она тяжким ударом», — неожиданно сказал лесничий.

Режиссер усмехнулся одними глазами.

— Откуда это? — спросила Наташа.

— Из Лукреция, — ответил лесничий и покраснел. По всему было видно, что лесничий и счастлив и смущен. Он был счастлив потому, что ехал в отпуск в Крым, где не был с детства. В памяти остались обрывистые мысы, заросшие колючками, и плывущий к их подножью откуда-то, из страшной дали, плеск воды.

Смущали его попутчики. Смущала их подчеркнутая вежливость с ним, пижамы, разговоры о курортной жизни. Они вели их друг с другом, никогда не обращаясь к нему. Когда они небрежно говорили о гостиницах, портье и «линкольнах», он чувствовал, что это — люди совсем другой жизни и до него, лесничего, надевшего в дорогу новый серый костюм, им нет никакого дела. Они были проницательны, эти попутчики, и, казалось, знали, что костюм у него единственный и сшит посредственным портным из Костромы. Он берег его и завидовал режиссеру. Развалясь на диване, засунув бледные руки в карманы тончайших брюк, режиссер курил папиросы «Элит» и ничуть не заботился о том, что его расстегнутый пиджак мнется, а табачный пепел осыпает завязанный вольным узлом ослепительный галстук.

Единственным попутчиком, не смущавшим лесничего, была Наташа — застенчивая худенькая девушка. У нее все время от ветра из окон растрепывались волосы и по нескольку раз в день попадали в глаза песчинки.

Однажды лесничий помог ей вынуть песчинку из глаза, но тоже смутился, когда Наташа протянула ему для этого прозрачный, слабо надушенный носовой платок.

«Лесовик, — подумал о себе лесничий. — Чертов провинциал».

— Какое славное название «Синезерки», — пробормотал режиссер. — Синезерки! Синезерки! Синие озера! Это надо запомнить.

— Здесь много озер, в этих лесах, — сказал лесничий.

— А вы знаете эти места?

— Да так... немного... Лет пятнадцать назад я здесь работал: сажал лес.

— А-а, это интересно, — протянул режиссер, но по его лицу лесничий понял, что это никому не интересно. — Нам чертовски не везет. Что стоило грозе разразиться здесь не сегодня, а завтра?!

— Да, действительно досадно, — согласился лесничий.

Он думал, что вот уже давно собирается съездить в Синезерки, на старые места, но все никак не соберется. Вот и теперь поезд простоит в Синезерках час, два, пока не починят путь, и, кроме знакомой пустынной станции, где по платформе бродят занятые своим делом куры, он ничего не увидит.

— Да, жаль! — вздохнул лесничий.

Наташа тоже волновалась. В Крыму она еще не была, и он казался ей синим, туманным, пахнущим гвоздикой. Хотелось поскорее увидеть море. Говорили, что оно открывается неожиданно и похоже на высокую тучу.

В Синезерках было безлюдно. В окне у дежурного горела керосиновая лампа, и трудно было понять, наступил ли уже вечер, или темнота пришла от дождя.

Дождь стих. Из леса пахло сырыми опилками.

Дед Василий перетряхивал в телеге мокрое сено и поглядывал на поезд: «Куда это только шастают люди взад-вперед, взад-вперед?!»

Лошаденка его засунула голову по самые уши в торбу с овсом, торопливо жевала и прислушивалась к бормотанию деда, ждала привычного окрика: «Н-но, дьявол! Заелся на казенных харчах!» После такого окрика оставалось только тяжело вздохнуть и понуро тащить телегу по песчаной дороге обратно на озеро.

Но дед Василий неожиданно бросил вожжи и заторопился к поезду. Он подошел к освещенному окну мягкого вагона и постучал кнутовищем в стекло.

— Петр Матвев! — крикнул он слабым, срывающимся голосом. — А Петр Матвев!

За окном в коридоре стоял лесничий и разговаривал с Наташей. Лесничий всмотрелся в старика и открыл окно.

— Не признаешь? — спросил дед и тонко засмеялся. — А я тебя признал издаля, от телеги. Как привел бог встретиться, скажи на милость!

— Василий! — крикнул лесничий, быстро вышел на площадку, соскочил на песок и обнял старика. — Живешь?

— Живу, — ответил дед, утирая рукавом лицо. — Живу, стараюсь. Смерть около топчется, а в сторожку ко мне ей зайти невдомек. Забыл ты нас, Петр Матвев, истинное слово, забыл! А без тебя жизнь наша, прямо скажу, никудышняя.

— Чего так? Что у вас неладного?

— Будто ты и не знаешь? — недоверчиво спросил дед. — Будто газет сроду не читал, Петр Матвев?

— А что? Ты говори, не оглядывайся.

— Мне оглядываться не на кого. В нашей-то районной газете сколько раз печатали, — сказал со вздохом дед. — Печатали, печатали, а на поверку выходит — зря старались. Оно и видать — одной письменностью дела не сдвинешь, лес не оборонишь.

— Да ты о чем? — спросил лесничий. — Ты не крути, ты говори прямо.

Дед снял шапку и бросил ее на черный от нефти песок.

— Эх, Петр Матвев, Петр Матвев! Лес твой молодой приказал долго жить.

— Сгорел? — испуганно спросил лесничий.

— Зачем сгорел? Пожару у нас, храни бог, не было. А с этой весны ест его гусеница, ест как по наряду, и сейчас, почитай, уже половину съела, проклятая. Новый лесовод никак не управится. Все ему, видишь ли, ходу не дают, яду не дают, а он бумажки сюда пишет, туда пишет, и как не придешь, одни у него слова: «Нет из области ответу». Так вот и сидим, порты протираем. «Нет ответу да нет ответу». А лес! — громко сказал дед и всхлипнул. — Лес мы с тобой, Петр Матвев, какой насадили! Сосна к сосне, как красавицы сестры! Ей-богу, верь не верь, а я как войду в него, шапку

скину и стою, как беспамятный: до чего хорош лес!

Дед поднял шапку, осмотрел ее и нахлобучил на свалявшиеся седые волосы.

— Что же поделаешь, Василий? — сказал лесничий и оглянулся. На ступеньках вагона стояла Наташа и, наморщив лоб, слушала жалобы деда.

— Когда отец детей кинет без помощи, —сказал горестно дед, — так совесть его корит, а к тому же и судят его народным судом. А дерево что? Дерево безгласное. Дерево кому будет жаловаться? Одному мне, дураку, лесному объездчику.

— Что же делать, Василий? — растерянно спросил лесничий.

— Опыление, — пробормотал дед, не слушая лесничего. — Нынче весной созрела пыльца, задул ветер — и понесло ее по-над озером золотым дымом. В жизни я такой пыльцы не видал.

Дед помолчал.

— Петр Матвев, — сказал он умоляюще и взял лесничего за рукав. — Уважь старика: поедем на озеро, поглядим. Ты мне только скажи, чем его спасать, лес-то, и поезжай себе с богом, а я как-нибудь сам управлюсь.

— Чудак! — сказал лесничий. — Да ведь поезд через два-три часа уйдет. Что ты в самом деле придумал!

— Не уйде-ет! — уверенно сказал дед. — Некуда ему идти. Путь на два километра размытый. Завтра в обед уйдет, не ране.

Лесничий снова оглянулся на Наташу. Она, все так же наморщив лоб, смотрела на деда.

— Пойдем к дежурному, — сказал решительно дед. — И ежели есть у него малейшая совесть, он тебе подтвердит. Ну, пойдем!

— Что мне с тобой делать! — рассердился лесничий. — Запутал ты меня своими разговорами.

— Поезжайте, Петр Матвеевич, — сказала неожиданно Наташа. — Успеете.

— Вы думаете, успею? — спросил лесничий, засмеялся и почувствовал внезапную свежесть на сердце. — Вы думаете, успею?

— А можно и мне поехать с вами? — спросила Наташа.

— Эх, барышня-красавица, товарищ дорогой, — сказал дед и низко поклонился Наташе. — Как же тебя не взять за твое верное слово? Поедем. Пока мы по лесу туда-сюда будем шастать, ты у озера поживи. Озеро у нас с серебряной водой, нету такого во всем Советском Союзе.

— Ну, пошли к дежурному! — сказал лесничий. — Запутал ты меня, старик, окончательно.

Дежурный сказал, что путь вряд ли починят раньше полудня.

Лесничий, дед и Наташа уехали на озеро. Отъезд этот вызвал среди пассажиров неодобрительное недоумение и обычные в таких случаях неопределенные возгласы:«Да что вы!», «Ну, знаете, не ожидал!»

Лошаденка тащила телегу не торопясь, помахивая ушами, — все равно ночью больного леса не увидишь и ничего не придумаешь.

Колеса скрипели по заросшим травой темным дорогам. Тишина, — она казалась Наташе глубокой, как ночная вода, — стояла в лесах. Только в сырых перелесках изредка кричали спросонок какие-то птицы.

К полуночи тучи ушли, и над вершинами сосен начало переливаться холодными огнями небо. Но Наташа не узнавала звезд: созвездия запутались в ветвях деревьев и потеряли знакомые очертания.

Лесной край, загадочный и огромный, как океан, простирался вокруг в сумраке ночи, в запахе прели и мокрой листвы, в остром воздухе никем не потревоженных чащ, в непрерывном мерцании неба. Наташа говорила шепотом, да и дед и лесничий тоже говорили вполголоса.

— Сторонушка наша заповедная, — бормотал, вздыхая, дед. — Леса эти завалились до самого края земли. Нету их лучше на свете.

— Спи-спи! — крикнула где-то над головой проснувшаяся птица. — Спи-спи!

«Я и так сплю», — подумала Наташа и засмеялась от неожиданного счастья. Ей даже стало холодно от радости и захотелось, чтобы эта ночь тянулась без

конца, чтобы без конца неторопливо постукивала по корням телега, чтобы все дремучей, разбойничей делался лес.

— Ну, кажись, приехали, — сказал дед.

Стало светлее. Наташа оглянулась и ничего не поняла: звездное небо лежало у самой дороги и тихо плескалось, набегая на невидимый берег.

— Озеро, — сказал лесничий. — Звезд сколько в нем — будто осенью!

Сипло залаяла собака. Телега остановилась около сторожки, под черными ивами. На насесте всполошились куры. Дед вошел в сторожку, зажег жестяную керосиновую лампу и посветил Наташе и лесничему.

Наташа вошла в избу. В ней сильно пахло печной золой, сухой мятой, теплом старого бревенчатого дома.

Наташа выпила молока и тотчас уснула на блестящей от старости широкой лавке. Дед положил ей под голову новый армяк.

Проснулась она очень рано. Белое солнце стояло над лесом. В избе никого не было, только черный пес сидел под столом и, с изумлением поглядывая на Наташу, вычесывал блох.

— Как бы не опоздать! — спохватилась Наташа, вскочила и поправила волосы.

Ходики стояли, должно быть, давно: бутылка с водой, подвешенная вместо гири, заросла паутиной.

Наташа вышла в прохладные сени. Пес шел за ней и, заискивая, колотил хвостом по ведрам, по сваленным на полу хомутам.

Никого не было. Наташа открыла дверь на крыльцо и только вздохнула. Круглое светлое озеро стояло тут же рядом, за самым порогом, в едва приметном тумане. В озере отражались высокие леса. Вода у белого прибрежного песка была такая чистая, что казалась очень легкой, невесомой. В ней спали, чуть пошевеливая хвостами, маленькие серебряные рыбы.

На берег был вытащен серый от старости, рассохшийся челн. Наташа выкупалась в озере, оделась и подошла к челну. На нем еще осталась скамейка. Наташа села на нее. Скамейка была теплая от солнца.

В щелях челна проросли высокие цветы и травы. У самых ног Наташи стройным кустом расцвел розовый кипрей. На носу, где челн был стянут ржавым железным стержнем, рос бессмертник, а сквозь песок на дне челна пробились кукушкины слезы. Сильно и сладко пахло аиром и сосновыми стружками. Черный пес лег около челна и зевнул. Глубоко под землей кричали медведки.

«А как же поезд?» — подумала Наташа и удивилась: эта мысль не вызвала у нее никакой тревоги.

Так она просидела около часа. Она слышала, как на полянах за озером тихо переговаривались о чем-то своем журавли, потом отчаянно крякнула утка, — и снова все стихло.

Первым пришел дед. Он ласково поздоровался с Наташей, сел на песок около челна и сказал:

— Ты насчет поезда не опасайся. Дай вот я покурю, запрягу Мальчика и свезу тебя на станцию. Поклонюсь тебе вслед: езжай, живи на теплых водах в городе Золотые Маковки, наживай счастье.

— А где же Петр Матвеевич?

Дед усмехнулся:

— Сейчас придет. Ему теперь все нипочем!

— А что такое? — испугалась Наташа.

— Расскажет, — ответил дед, выколачивая треснувшую трубку о борт челна. — Ты слушай. Челну этому сколько годов? Не менее, чем мне. Мы с ним одногодки. Смотри, как зарос всяким цветом, всякой травой. Вот это называется по-нашему дрёма, — дед показал на кукушкины слезы. — Ты погляди на него, на цветок: днем дремлет, а как ночь — раскрывается, медом пахнет — и так до утра. Правду сказать, худой челн, свое отслужил. Лесовод намедни приезжал, смеялся: «Ты бы, говорит, Василий, на нем картошку сварил, чего зря дрова валяются». А я думаю: «Нет, картошку на нем варить срок не вышел, с этим делом погодить надо».

— Жалко? — спросила Наташа.

— Известно, жалко. Ведь ты подумай: истлел вконец, а годится для жизни.

— Как это? — спросила Наташа. — Я не понимаю.

— А чего тут понимать! — рассердился дед. — Челн этот — одна труха, а в каждом пазу цветок тянется. Так вот погляжу на него, да нет-нет и подумаю: «Может, и от меня, от старика, тоже для жизни какая-нибудь полезность случится». Вот и стараюсь. Ты седины не бойся. Главное, чтобы сердце у тебя было в исправности. Верное я слово сказал или нет?

— Верное, — ответила Наташа и засмеялась.

— Ну, то-то! Ты моему слову верь!

Подошел лесничий. Дед, кряхтя, встал и пошел запрягать Мальчика. Лесничий был суров, смущен. Он спросил Наташу, как она спала, выпила ли утром молока, и замолчал.

— Мы не опоздаем? — спросила Наташа.

— Да нет, не думаю, — ответил лесничий, покраснел и добавил, не глядя на Наташу: — Дело в том, что я не поеду.

Наташа изумленно молчала.

— Да, не поеду! — сказал, сердясь, лесничий. — Оказывается, тут такая история... Одним словом, без меня у них может ничего и не выйти. Пропадет лес. Сам сажал, знаете, жалко...

— Я-то понимаю, — сказала Наташа.

— В общем, мне здесь, признаться, будет лучше, чем в этом Крыму. Жаль только: пропала путевка. Ну, да бог с ней! А к вам большая просьба: передайте мой чемодан деду, он привезет.

— Ну что ж, — сказала Наташа и вздохнула. — Мне даже завидно.

— Но-о, дьявол! — хрипло закричал около сторожки дед. — Заелся на казенных харчах!

— Ну что ж, прощайте! — сказала Наташа и робко пожала руку лесничему.

Поезд пронесся по плавному закруглению, и Наташа узнала: вот на этом месте его вчера застала гроза. Вагоны с лязгом пролетели над маленькой чистой рекой, и Наташа успела прочесть на доске около моста запыленную надпись: «Река Мошка».

Широкая радуга стояла над лесами: там где-то, за озером, шел небольшой дождь.

Радуга показалась Наташе входом в заповедные, таинственные страны, где хозяйничают Петр Матвеевич и дед и кричат на рассветах журавли.

Далеко среди зарослей блеснула светлая вода. Неужели озеро? Наташа высунулась из окна и долго смотрела на блеск воды среди листвы, на радугу, и у нее сжалось сердце: если бы можно было остаться здесь до самой осени?!

Паровоз прощально закричал, и леса начали перебрасывать его короткий крик, унесли в непролазные чащи и неожиданно вернули звонким, многоголосым эхом.

1939

СТЕКОЛЬНЫЙ МАСТЕР

Бабка Ганя жила на околице, в маленькой избе. Ганя была одинокая. Единственный ее внук Вася работал в Гусь-Хрустальном на стекольном заводе. Каждую осень он приезжал в отпуск к бабке, привозил ей в подарок граненые синие стаканы, а для украшения — маленькие выдутые из стекла самовары, туфельки и цветы. Выдувал их он сам.

Все эти хитрые безделушки стояли в углу на поставце. Бабка Ганя боялась к ним прикасаться.

По праздникам соседские ребята приходили к ней в гости. Она позволяла им смотреть на эти волшебные вещи, но в руки ничего не давала.

— Вещь эта хрупкая, как ледок, — говорила она. — Неровен час — сломаете. Руки у вас корявые. Картуз держать не умеете, а тоже пристаете: «Дай подержать да дай потрогать». Их держать надо слабо-слабо, как воробышка. А нешто вы так можете? А раз не можете — так глядите издаля.

И ребята, сопя и вытирая рукавом носы, смотрели «издаля» на стеклянные игрушки. Они переливались легким блеском. Когда кто-нибудь наступал на шаткую половицу, они звенели долго и тонко, будто

разговаривали между собой о чем-то своем — стеклянном и непонятном.

Кроме стеклянных игрушек, в избе у бабки Гани жил рыжий пес, по имени Жек. Это был старый, беззубый пес. Весь день он лежал под печкой и так сильно вздыхал, что с пола подымалась пыль.

Бабка Ганя часто приходила к нам с Жеком — посидеть на крыльце, погреться на осеннем солнце, поговорить о разных разностях, пожаловаться на старость.

— Я совсем слаба стала, ничего, почитай, и не ем, — говорила она. — Воробей и тот за день больше нащиплет, чем я.

Однажды она попросила меня написать бумагу в сельский совет. Она диктовала ее сама. Диктовать бабке Гане было, видимо, трудно.

— Пиши, сердешный, — сказала она. — Пиши в точности, как я скажу: «Я, Агафья Семеновна Ветрова, жительница села Окоемова, сообщаю сельскому совету, что в случае моей смерти домишко мой со всем обзаведением оставляю внуку Василию Ветрову, стекольному мастеру, а бесценные стеклянные вещи, сделанные для забавы, прошу забрать в школу для ребят. Пусть видят, какие чудеса может человек совершить, ежели у него золотые руки. А то наши мужики только и знают, что пахать, да скородить, да косить, а этого для человека мало. Он обязан знать еще и какое ни на есть мастерство.

Внук мой — такой мастер, что только землю и небо не сделает, а все прочее может отлить из стекла красоты замечательной. Вася мой — не женатый, не пьющий. Боязно мне, что не окажется ему в жизни дороги. По этому случаю низко прошу нашу власть не оставить его заботой, чтобы дар, даденный ему с малолетства, не пропал, а большал и большал. А потому сообщаю, что внук мой придумал сделать из тяжелого стекла некоторую вещь, — называется она по-городскому рояль, а у нас в селе ее сроду не видывали и не слыхали. Это самое мечтание он изложил мне, и чуть что лишится его, то может быть беда. Поэтому прошу: помогите ему, чем можете. А собаку

Жека пусть заберет аптекарь, Иван Егорыч, он к зверям ласковый.

Остаюсь при сем вдова Агафья Ветрова».

Когда мы писали эту бумагу, Жек сидел у стола и вздыхал — чувствовал, должно быть, что решается его судьба.

Бабка Ганя сложила бумагу вчетверо, завернула в ситцевый платок, поклонилась низко, по-стариковски, и ушла.

На следующее утро я со своим приятелем — художником — уехал на лодке на Прорву — глубокую тихую реку. На берегах Прорвы мы провели три дня, ловили рыбу.

Стоял конец сентября. Мы ночевали в палатке. Когда мы просыпались на рассвете, полотнища палатки провисали над головой и хрустели — на них лежал тяжелый иней. Мы выползали из палатки и тотчас разводили костер. Все, к чему приходилось прикасаться — топор, котелок, ветки, — было ледяное и обжигало пальцы.

Потом в безмолвии зарослей подымалось солнце, и мы не узнавали Прорвы — все было присыпано морозной пылью.

Только к полудню иней таял. Тогда луга и заросли приобретали прежние краски, даже более яркие, чем всегда, так как цветы и травы были мокрыми от растаявшего инея. Серая гвоздика снова делалась красной. Белые, будто засахаренные ягоды шиповника превращались в оранжевые, а лимонные листья берез теряли серебряный налет и шелестели под ясным небом.

На третий день из зарослей шиповника вышел дед Пахом. Он собирал в мешок ягоды шиповника и относил их аптекарю, — все-таки хотя и небогатый, а заработок. Его хватало на табак.

— Здорово! — сказал дед. — Никак я в толк не возьму, чего вы тут делаете, милые. Придумали сами себе арестантские роты.

Мы сели к костру пить чай. За чаем дед завел трудный разговор о витаминах.

— Одышка у меня, — сказал дед. — Просил я у аптекаря, у Ивана Егорыча, пчелиного спирту, а он божится, что нету такого лекарства. Даже рассерчал на меня. «Всегда ты, говорит, Пахом, выдумываешь невесть что. Пчелиный спирт потреблять запрещается согласно государственной науке. Ты бы, говорит, лучше тмины пил».

— Чего? -- спросил я.

— Ну, тмины там какие-то советует потреблять. Настой из шиповника. От него, говорит, происходит долголетняя жизнь. Ей-богу, не вру. Отсыплю вот этих ягод стакана два, сварю настой, буду сам пить и бабке Гане снесу — она у нас сплоховала.

— А что?

— Второй день лежит в избе, прибранная, тихая, новую паневу надела. Помирать хочет. А мне, прямо скажу, помирать еще ни к чему. Вы от меня, голубчики, еще наслушаетесь разного разговора. Жалеть не будете!

Мы тут же свернули палатку, собрались и вернулись в деревню. Дед был озадачен нашей торопливостью. Он перевидал на своем веку много болезней и смертей и относился к этим вещам со стариковским спокойствием.

— Раз родились, — говорит он, — все одно помрем.

В деревне мы тотчас пошли с дедом к бабке Гане. В избах и по дворам было пусто: все ушли на огороды копать картошку.

На крыльце Ганиной избы нас встретил Жек, и мы поняли, что с Ганей что-то случилось. Жек, увидев нас, лег на живот, поджал хвост, повизгивал и не смотрел в глаза.

Мы вошли в избу. Бабка Ганя лежала на широкой лавке, сложив на груди руки. В руках она держала сложенную вчетверо бумагу — ту, что я писал вместе с ней. Перед смертью Ганя надела лучшую старинную одежду. Я впервые увидел белый рязанский шушун, новенький черный платок с белыми цветами, повязанный на голове, и синюю клетчатую паневу.

Дед наступил на шаткую половицу, и тотчас жалобно запели стеклянные игрушки.

— Вечный спокой, — сказал дед и стащил с головы рваный картуз. — Не поспел я тмины ей приготовить. Душевная была старуха, строгая, бессеребряная.

Он обернулся к Жеку и сказал сердито, утирая картузом лицо:

— Ты чего же недоглядел хозяйку, дьявол косматый!

Жек опустил голову и робко помахивал хвостом. Он не понимал, за что на него сердятся.

Внук бабки Гани, Вася, приехал только на десятый день, когда Ганю давно схоронили и соседские ребята каждый день бегали на ее могилу и рассыпали по ней накрошенный хлеб — для воробьев и всякой другой птицы. Такой был в деревне обычай — кормить птиц на могилах, чтобы на стареньком кладбище было весело от птичьего щебета.

Вася приходил каждый день к нам. Это был тихий человек, похожий на мальчика, болезненный, — «квелый», как говорили по деревне, — но с серыми строгими глазами, такими же, как у бабки Гани. Говорил он мало, больше слушал и улыбался.

Я долго не решался расспросить его о стеклянном рояле. Заветная его мечта казалась неосуществимой.

Но как-то в сумерках, когда за окнами густо валил первый снег, а в печах постреливали березовые дрова, я, наконец, спросил его об этом рояле.

— У каждого мастера, — ответил Вася и застенчиво улыбнулся, — лежит на душе мечтанье сделать такую великолепную вещь, какую никто до него не делал. На то он и мастер!

Вася помолчал.

— Разное есть стекло, — сказал он. — Есть грубое, бутылочное и оконное. А есть тонкое, свинцовое стекло. По-нашему оно называется флинтглясс, а по-вашему — хрусталь. У него блеск и звон очень чистые. Оно играет радугой, как алмаз. Раньше работать из хрусталя хорошие вещи было обидно — очень он был ломкий, требовал осторожного обращения,

а теперь нашли секрет делать такой хрусталь, что не боится ни огня, ни мороза, ни боя. Вот из этого хрусталя я и задумал отлить свой рояль.

— Прозрачный? — спросил я.

— Об этом-то и разговор, — ответил Вася. — Вы внутрь рояля, конечно, заглядывали и знаете, что устройство в нем сложное. Но, несмотря на то, что рояль прозрачный, это устройство только чуть будет видно.

— Почему?

— А потому, что блеск от полировки и хрустальная игра его затмят. Это и нужно, потому что иной человек не может получать от музыки впечатления, ежели видит, как она происходит. Хрусталю я дам слабый дымчатый цвет с золотизной. Только вторые клавиши сделаю из черного хрусталя, а так весь рояль будет как снежный. Светиться должен и звенеть. У меня нет воображения рассказать вам, какой это должен быть звон.

С тех пор до самого Васиного отъезда мы часто говорили с ним об этом рояле.

Вася уехал в начале зимы. Дни стояли пасмурные, мягкие. В сумерки мы выходили в сад. На снег падали последние листья. Мы говорили о рояле, о том, что прекраснее всего он будет зимой, — сверкающий, поющий так чисто, как поет вода, позванивая по первому льду.

Он даже снился мне иногда, этот рояль. Он отражал пламя свечей, старинные портреты композиторов, тяжелые золотые рамы, снег за окнами, серого кота, — он любил сидеть на крышке рояля, — и, наконец, черное платье молодой певицы и ее опущенную руку. Мне снился перекликающийся по залам, как эхо, голос хрустального рояля.

Мне снился композитор с серыми глазами, с седеющей бородкой и спокойным лицом. Он садился, брал холодными пальцами аккорд, и рояль начинал петь знакомые слова:

Когда поля в час утренний молчали,
Свирели звук, унылый и простой,
Слыхали ль вы?

Я просыпался и чувствовал то чудесное стеснение в сердце, которое всегда возникает при мысли о талантливости народа, его песнях, его великих музыкантах и скромных стекольных мастерах.

Все гуще падал снег, засыпал могилу бабки Гани. И все сильнее зима завладевала лесами, нашим садом, всей нашей жизнью.

И вся эта рязанская земля казалась мне теперь особенно милой. Земля, где жили бабка Ганя и дед, где вчерашний деревенский мальчик мечтал о хрустальном рояле и где красные, оставшиеся с осени гроздья рябины пылали среди снежных лесов.

1939

РУЧЬИ, ГДЕ ПЛЕЩЕТСЯ ФОРЕЛЬ

Судьба одного наполеоновского маршала, — не будем называть его имени, дабы не раздражать историков и педантов, — заслуживает того, чтобы рассказать ее вам, сетующим на скудость человеческих чувств.

Маршал этот был еще молод. Легкая седина и шрам на щеке придавали привлекательность его лицу. Оно потемнело от лишений и походов.

Солдаты любили маршала: он разделял с ними тяжесть войны. Он часто спал в поле у костра, закутавшись в плащ, и просыпался от хриплого крика трубы. Он пил с солдатами из одной манерки и носил потертый мундир, покрытый пылью.

Он не видел и не знал ничего, кроме утомительных переходов и сражений. Ему никогда не приходило в голову нагнуться с седла и запросто спросить у крестьянина, как называется трава, которую топтал его конь, или узнать, чем знамениты города, взятые его солдатами во славу Франции. Непрерывная война научила его молчаливости, забвению собственной жизни.

Однажды зимой конный корпус маршала, стоявший в Ломбардии, получил приказ немедленно выступить в Германию и присоединиться к «Большой армии».

На двенадцатый день корпус стал на ночлег в маленьком немецком городке. Горы, покрытые снегом, белели среди ночи. Буковые леса простирались вокруг, и одни только звезды мерцали в небе среди всеобщей неподвижности.

Маршал остановился в гостинице. После скромного ужина он сел у камина в маленьком зале и отослал подчиненных. Он устал, ему хотелось остаться одному. Молчание городка, засыпанного по уши снегом, напомнило ему не то детство, не то недавний сон, которого, может быть, и не было. Маршал знал, что на днях император даст решительный бой, и успокаивал себя тем, что непривычное желание тишины нужно сейчас ему, маршалу, как последний отдых перед стремительным топотом атаки.

Огонь вызывает у людей оцепенение. Маршал, не спуская глаз с поленьев, пылавших в камине, не заметил, как в зал вошел пожилой человек с худым, птичьим лицом. На незнакомце был синий заштопанный фрак. Незнакомец подошел к камину и начал греть озябшие руки. Маршал поднял голову и недовольно спросил:

— Кто вы, сударь? Почему вы появились здесь так неслышно?

— Я музыкант Баумвейс, — ответил незнакомец. — Я вошел осторожно потому, что в эту зимнюю ночь невольно хочется двигаться без всякого шума.

Лицо и голос музыканта располагали к себе, и маршал, подумав, сказал:

— Садитесь к огню, сударь. Признаться, мне в жизни редко перепадают такие спокойные вечера, и я рад побеседовать с вами.

— Благодарю вас, — ответил музыкант, — но, если вы позволите, я лучше сяду к роялю и сыграю. Вот уже два часа, как меня преследует одна музыкальная тема. Мне надо ее проиграть, а наверху, в моей комнате, нет рояля.

— Хорошо... — ответил маршал, — хотя тишина этой ночи несравненно приятнее самых божественных звуков.

Баумвейс подсел к роялю и заиграл едва слышно. Маршалу показалось, что вокруг городка звучат глубокие и легкие снега, поет зима, поют все ветви буков, тяжелые от снега, и звенит даже огонь в камине. Маршал нахмурился, взглянул на поленья и заметил, что звенит не огонь, а шпора на его ботфорте.

— Мне уже мерещится всякая чертовщина, — сказал маршал. — Вы, должно быть, великолепный музыкант?

— Нет, — ответил Баумвейс и перестал играть, — я играю на свадьбах и праздничных вечерах у маленьких князей и помещиков.

Около крыльца послышался скрип полозьев. Заржали лошади.

— Ну вот, — Баумвейс встал, — за мной приехали. Позвольте попрощаться с вами.

— Куда вы? — спросил маршал.

— В горах, в двух лье отсюда, живет лесничий, — ответил Баумвейс. — В его доме гостит сейчас наша прелестная певица Мария Черни. Она скрывается здесь от превратностей войны. Сегодня Марии Черни исполнилось двадцать три года, и она устраивает небольшой праздник. А какой праздник может обойтись без старого тапера Баумвейса?!

Маршал поднялся с кресла.

— Сударь, — сказал он, — мой корпус выступает отсюда завтра утром. Не будет ли неучтиво с моей стороны, если я присоединюсь к вам и проведу эту ночь в доме лесничего?

— Как вам будет угодно, — ответил Баумвейс и сдержанно поклонился, но было заметно, что он удивлен словами маршала.

— Но, — сказал маршал, — никому ни слова об этом. Я выйду через черное крыльцо и сяду в сани около колодца.

— Как вам будет угодно, — повторил Баумвейс, снова поклонился и вышел.

Маршал засмеялся. В этот вечер он не пил вина, но беспечное опьянение охватило его с необычайной силой.

— В зиму! — сказал он самому себе. — К черту, в лес, в ночные горы! Прекрасно!

Он накинул плащ и незаметно вышел из гостиницы через сад. Около колодца стояли сани — Баумвейс уже ждал маршала. Лошади, храпя, пронеслись мимо часового у околицы. Часовой привычно, хотя и с опозданием, вскинул ружье к плечу и отдал маршалу честь. Он долго слушал, как болтают, удаляясь, бубенцы, и покачал головой:

— Какая ночь! Эх, только бы один глоток горячего вина!

Лошади мчались по земле, кованной из серебра. Снег таял на их горячих мордах. Леса заколдовала стужа. Черный плющ крепко сжимал стволы буков, как бы стараясь согреть в них живительные соки.

Внезапно лошади остановились около ручья. Он не замерз. Он круто пенился и шумел по камням, сбегая из горных пещер, из пущи, заваленной буреломом и мерзлой листвой.

Лошади пили из ручья. Что-то пронеслось в воде под их копытами блестящей струей. Они шарахнулись и рванулись вскачь по узкой дороге.

— Форель, — сказал возница. — Веселая рыба!

Маршал улыбнулся. Опьянение не проходило. Оно не прошло и тогда, когда лошади вынесли сани на поляну в горах, к старому дому с высокой крышей.

Окна были освещены. Возница соскочил и откинул полость.

Дверь распахнулась, и маршал об руку с Баумвейсом вошел, сбросив плащ, в низкую комнату, освещенную свечами, и остановился у порога. В комнате было несколько нарядных женщин и мужчин.

Одна из женщин встала. Маршал взглянул на нее и догадался, что это была Мария Черни.

— Простите меня, — сказал маршал и слегка покраснел. — Простите за непрошенное вторжение. Но мы, солдаты, не знаем ни семьи, ни праздников, ни мирного веселья. Позвольте же мне немного погреться у вашего огня.

Старый лесничий поклонился маршалу, а Мария Черни быстро подошла, взглянула маршалу в глаза и

протянула руку. Маршал поцеловал руку, и она показалась ему холодной, как льдинка. Все молчали.

Мария Черни осторожно дотронулась до щеки маршала, провела пальцем по глубокому шраму и спросила:

— Это было очень больно?

— Да, — ответил, смешавшись, маршал, — это был крепкий сабельный удар.

Тогда она взяла его под руку и подвела к гостям. Она знакомила его с ними, смущенная и сияющая, как будто представляла им своего жениха. Шепот недоумения пробежал среди гостей.

Не знаю, нужно ли вам, читатель, описывать наружность Марии Черни? Если вы, как и я, были ее современником, то, наверное, слышали о светлой красоте этой женщины, о ее легкой походке, капризном, но пленительном нраве. Не было ни одного мужчины, который посмел бы надеяться на любовь Марии Черни. Быть может, только такие люди, как Шиллер, могли быть достойны ее любви.

Что было дальше? Маршал провел в доме лесничего два дня. Не будем говорить о любви, потому что мы до сих пор не знаем, что это такое. Может быть, это густой снег, падающий всю ночь, или зимние ручьи, где плещется форель. Или это смех и пение и запах старой смолы перед рассветом, когда догорают свечи и звезды прижимаются к стеклам, чтобы блестеть в глазах у Марии Черни. Кто знает? Может быть, это обнаженная рука на жестком эполете, пальцы, гладящие холодные волосы, заштопанный фрак Баумвейса. Это мужские слезы о том, чего никогда не ожидало сердце: о нежности, о ласке, несвязном шепоте среди лесных ночей. Может быть, это возвращение детства. Кто знает? И может быть, это отчаяние перед расставанием, когда падает сердце и Мария Черни судорожно гладит рукой обои, столы, створки дверей той комнаты, что была свидетелем ее любви. И, может быть, наконец, это крик и беспамятство женщины, когда за окнами, в дыму факелов, при резких выкриках команды наполеоновские жандармы соскакивают

с седел и входят в дом, чтобы арестовать маршала по личному приказу императора.

Бывают истории, которые промелькнут и исчезнут, как птицы, но навсегда остаются в памяти у людей, ставших невольными их очевидцами.

Все вокруг осталось по-прежнему. Все так же шумели во время ветра леса и ручей кружил в маленьких водоворотах темную листву. Все так же отдавалось в горах эхо топора и в городке болтали женщины, собираясь около колодца.

Но почему-то эти леса, и медленно падающий снег, и блеск форелей в ручье заставляли Баумвейса вынимать из заднего кармана фрака хотя и старый, но белоснежный платок, прижимать его к глазам и шептать бессвязные печальные слова о короткой любви Марии Черни и о том, что временами жизнь делается похожей на музыку.

Но, шептал Баумвейс, несмотря на сердечную боль, он рад, что был участником этого случая и испытал волнение, какое редко выпадает на долю старого бедного тапера.

1939

СТАРЫЙ ПОВАР

В один из зимних вечеров 1786 года на окраине Вены в маленьком деревянном доме умирал слепой старик — бывший повар графини Тун. Собственно говоря, это был даже не дом, а ветхая сторожка, стоявшая в глубине сада. Сад был завален гнилыми ветками, сбитыми ветром. При каждом шаге ветки хрустели, и тогда начинал тихо ворчать в своей будке цепной пес. Он тоже умирал, как и его хозяин, от старости и уже не мог лаять.

Несколько лет назад повар ослеп от жара печей. Управляющий графини поселил его с тех пор в сторожке и выдавал ему время от времени несколько флоринов.

Вместе с поваром жила его дочь Мария, девушка лет восемнадцати. Все убранство сторожки составляли кровать, хромые скамейки, грубый стол, фаянсовая посуда, покрытая трещинами, и, наконец, клавесин — единственное богатство Марии.

Клавесин был такой старый, что струны его пели долго и тихо в ответ на все возникавшие вокруг звуки. Повар, смеясь, называл клавесин «сторожем своего дома». Никто не мог войти в дом без того, чтобы клавесин не встретил его дрожащим, старческим гулом.

Когда Мария умыла умирающего и надела на него холодную чистую рубаху, старик сказал:

— Я всегда не любил священников и монахов. Я не могу позвать исповедника, между тем мне нужно перед смертью очистить свою совесть.

— Что же делать? — испуганно спросила Мария.

— Выйди на улицу, — сказал старик, — и попроси первого встречного зайти в наш дом, чтобы исповедать умирающего. Тебе никто не откажет.

— Наша улица такая пустынная... — прошептала Мария, накинула платок и вышла.

Она пробежала через сад, с трудом открыла заржавленную калитку и остановилась. Улица была пуста. Ветер нес по ней листья, а с темного неба падали холодные капли дождя.

Мария долго ждала и прислушивалась. Наконец ей показалось, что вдоль ограды идет и напевает человек. Она сделала несколько шагов ему навстречу, столкнулась с ним и вскрикнула. Человек остановился и спросил:

— Кто здесь?

Мария схватила его за руку и дрожащим голосом передала просьбу отца.

— Хорошо, — сказал человек спокойно. — Хотя я не священник, но это все равно. Пойдемте.

Они вошли в дом. При свече Мария увидела худого маленького человека. Он сбросил на скамейку мокрый плащ. Он был одет с изяществом и простотой — огонь свечи поблескивал на его черном камзоле, хрустальных пуговицах и кружевном жабо.

Он был еще очень молод, этот незнакомец. Совсем по-мальчишески он тряхнул головой, поправил напудренный парик, быстро придвинул к кровати табурет, сел и, наклонившись, пристально и весело посмотрел в лицо умирающему.

— Говорите! — сказал он. — Может быть, властью, данной мне не от бога, а от искусства, которому я служу, я облегчу ваши последние минуты и сниму тяжесть с вашей души.

— Я работал всю жизнь, пока не ослеп, — прошептал старик и притянул незнакомца за руку поближе

к себе. — А кто работает, у того нет времени грешить. Когда заболела чахоткой моя жена — ее звали Мартой — и лекарь прописал ей разные дорогие лекарства, и приказал кормить ее сливками и винными ягодами и поить горячим красным вином, я украл из сервиза графини Тун маленькое золотое блюдо, разбил его на куски и продал. И мне тяжело теперь вспоминать об этом и скрывать от дочери: я ее научил не трогать ни пылинки с чужого стола.

— А кто-нибудь из слуг графини пострадал за это? — спросил незнакомец.

— Клянусь, сударь, никто, — ответил старик и заплакал. — Если бы я знал, что золото не поможет моей Марте, разве я мог бы украсть!

— Как вас зовут? — спросил незнакомец.

— Иоганн Мейер, сударь.

— Так вот, Иоганн Мейер, — сказал незнакомец и положил ладонь на слепые глаза старика, — вы невинны перед людьми. То, что вы совершили, не есть грех и не является кражей, а, наоборот, может быть зачтено вам как подвиг любви.

— Аминь! — прошептал старик.

— Аминь! — повторил незнакомец. — А теперь скажите мне вашу последнюю волю.

— Я хочу, чтобы кто-нибудь позаботился о Марии.

— Я сделаю это. А еще чего вы хотите?

Тогда умирающий неожиданно улыбнулся и громко сказал:

— Я хотел бы еще раз увидеть Марту такой, какой я встретил ее в молодости. Увидеть солнце и этот старый сад, когда он зацветет весной. Но это невозможно, сударь. Не сердитесь на меня за глупые слова. Болезнь, должно быть, совсем сбила меня с толку.

— Хорошо, — сказал незнакомец и встал. — Хорошо, — повторил он, подошел к клавесину и сел перед ним на табурет. — Хорошо! — громко сказал он в третий раз, и внезапно быстрый звон рассыпался по сторожке, как будто на пол бросили сотни хрустальных шариков.

— Слушайте, — сказал незнакомец. — Слушайте и смотрите.

Он заиграл. Мария вспоминала потом лицо незнакомца, когда первый клавиш прозвучал под его рукой. Необыкновенная бледность покрыла его лоб, а в потемневших глазах качался язычок свечи.

Клавесин пел полным голосом впервые за многие годы. Он наполнял своими звуками не только сторожку, но и весь сад. Старый пес вылез из будки, сидел, склонив голову набок, и, насторожившись, тихонько помахивал хвостом. Начал идти мокрый снег, но пес только потряхивал ушами.

— Я вижу, сударь! — сказал старик и приподнялся на кровати. — Я вижу день, когда я встретился с Мартой и она от смущения разбила кувшин с молоком. Это было зимой, в горах. Небо стояло прозрачное, как синее стекло, и Марта смеялась. Смеялась, — повторил он, прислушиваясь к журчанию струн.

Незнакомец играл, глядя в черное окно.

— А теперь, — спросил он, — вы видите что-нибудь?

Старик молчал, прислушиваясь.

— Неужели вы не видите, — быстро сказал незнакомец, не переставая играть, — что ночь из черной сделалась синей, а потом голубой, и теплый свет уже падает откуда-то сверху, и на старых ветках ваших деревьев распускаются белые цветы. По-моему, это цветы яблони, хотя отсюда, из комнаты, они похожи на большие тюльпаны. Вы видите: первый луч упал на каменную ограду, нагрел ее, и от нее подымается пар. Это, должно быть, высыхает мох, наполненный растаявшим снегом. А небо делается все выше, все синей, все великолепнее, и стаи птиц уже летят на север над нашей старой Веной.

— Я вижу все это! — крикнул старик.

Тихо проскрипела педаль, и клавесин запел торжественно, как будто пел не он, а сотни ликующих голосов.

— Нет, сударь, — сказала Мария незнакомцу, — эти цветы совсем не похожи на тюльпаны. Это яблони распустились за одну только ночь.

— Да, — ответил незнакомец, — это яблони, но у них очень крупные лепестки.

— Открой окно, Мария, — попросил старик.

Мария открыла окно. Холодный воздух ворвался в комнату. Незнакомец играл очень тихо и медленно.

Старик упал на подушки, жадно дышал и шарил по одеялу руками. Мария бросилась к нему. Незнакомец перестал играть. Он сидел у клавесина не двигаясь, как будто заколдованный собственной музыкой.

Мария вскрикнула. Незнакомец встал и подошел к кровати. Старик сказал, задыхаясь:

— Я видел все так ясно, как много лет назад. Но я не хотел бы умереть и не узнать... имя. Имя!

— Меня зовут Вольфганг Амедей Моцарт, — ответил незнакомец.

Мария отступила от кровати и низко, почти касаясь коленом пола, склонилась перед великим музыкантом.

Когда она выпрямилась, старик был уже мертв. Заря разгоралась за окнами, и в ее свете стоял сад, засыпанный цветами мокрого снега.

1940

ЖИЛЬЦЫ СТАРОГО ДОМА

Неприятности начались в конце лета, когда в старом деревенском доме появилась кривоногая такса Фунтик. Фунтика привезли из Москвы.

Однажды черный кот Степан сидел, как всегда, на крыльце и, не торопясь, умывался. Он лизал растопыренную пятерню, потом, зажмурившись, тер изо всей силы обслюненной лапой у себя за ухом. Внезапно Степан почувствовал чей-то пристальный взгляд. Он оглянулся и замер с лапой, заложенной за ухо. Глаза Степана побелели от злости. Маленький рыжий пес стоял рядом. Одно ухо у него завернулось. Дрожа от любопытства, пес тянулся мокрым носом к Степану — хотел обнюхать этого загадочного зверя.

— Ах, вот как!

Степан изловчился и ударил Фунтика по вывернутому уху.

Война была объявлена, и с тех пор жизнь для Степана потеряла всякую прелесть. Нечего было и думать о том, чтобы лениво тереться мордой о косяки рассохшихся дверей или валяться на солнце около колодца. Ходить приходилось с опаской, на цыпочках, почаще оглядываться и всегда выбирать впереди какое-нибудь дерево или забор, чтобы вовремя удрать от Фунтика.

У Степана, как у всех котов, были твердые привычки. Он любил по утрам обходить заросший чистотелом сад, гонять со старых яблонь воробьев, ловить желтых бабочек капустниц и точить когти на сгнившей скамье. Но теперь приходилось обходить сад не по земле, а по высокому забору, неизвестно зачем обтянутому заржавленной колючей проволокой и к тому же такому узкому, что временами Степан долго думал, куда поставить лапу.

Вообще в жизни Степана бывали разные неприятности. Однажды он украл и съел плотицу вместе с застрявшим в жабрах рыболовным крючком — и все сошло, Степан даже не заболел. Но никогда еще ему не приходилось унижаться из-за кривоногой собаки, похожей на крысу. Усы у Степана вздрагивали от негодования.

Один только раз за все лето Степан, сидя на крыше, усмехнулся.

Во дворе, среди курчавой гусиной травы, стояла деревянная миска с мутной водой — в нее бросали корки черного хлеба для кур. Фунтик подошел к миске и осторожно вытащил из воды большую размокшую корку.

Сварливый голенастый петух, прозванный «Горлачом», пристально посмотрел на Фунтика одним глазом. Потом повернул голову и посмотрел другим глазом. Петух никак не мог поверить, что здесь, рядом, среди бела дня происходит грабеж.

Подумав, петух поднял лапу, глаза его налились кровью, внутри у него что-то заклокотало, как будто в петухе гремел далекий гром. Степан знал, что это значит, — петух разъярялся.

Стремительно и страшно, топая мозолистыми лапами, петух помчался на Фунтика и клюнул его в спину. Раздался короткий и крепкий стук. Фунтик выпустил хлеб, прижал уши и с отчаянным воплем бросился в отдушину под дом.

Петух победно захлопал крыльями, поднял густую пыль, клюнул размокшую корку и с отвращением отшвырнул ее в сторону — должно быть, от корки пахло псиной.

Фунтик просидел под домом несколько часов и только к вечеру вылез и сторонкой, обходя петуха, пробрался в комнаты. Морда у него была в пыльной паутине, к усам прилипли высохшие пауки.

Но гораздо страшнее петуха была худая черная курица. На шее у нее была накинута шаль из пестрого пуха, и вся она походила на цыганку-гадалку. Купили эту курицу напрасно. Недаром старухи по деревне говорили, что куры делаются черными от злости.

Курица эта летала, как ворона, дралась и по нескольку часов могла стоять на крыше и без перерыва кудахтать. Сбить ее с крыши, даже кирпичом, не было возможности. Когда мы возвращались из лугов или из леса, то издалека была уже видна эта курица — она стояла на печной трубе и казалась вырезанной из жести.

Нам вспоминались средневековые харчевни — о них мы читали в романах Вальтера Скотта. На крышах этих харчевен торчали на шесте жестяные петухи или куры, заменявшие вывеску.

Так же как в средневековой харчевне, нас встречали дома бревенчатые темные стены, законопаченные желтым мхом, пылающие поленья в печке и запах тмина. Почему-то старый дом пропах тмином и древесной трухой.

Романы Вальтера Скотта мы читали в пасмурные дни, когда мирно шумел по крышам и в саду теплый дождь. От ударов маленьких дождевых капель вздрагивали мокрые листья на деревьях, вода лилась тонкой и прозрачной струей из водосточной трубы, а под трубой сидела в луже маленькая зеленая лягушка. Вода лилась ей прямо на голову, но лягушка не двигалась и только моргала.

Когда не было дождя, лягушка сидела в лужице под рукомойником. Раз в минуту ей капала на голову из рукомойника холодная вода. Из тех же романов Вальтера Скотта мы знали, что в средние века самой страшной пыткой было вот такое медленное капанье на голову ледяной воды, и удивлялись лягушке.

Иногда по вечерам лягушка приходила в дом. Она прыгала через порог и часами могла сидеть и смотреть на огонь керосиновой лампы.

Трудно было понять, чем этот огонь так привлекал лягушку. Но потом мы догадались, что лягушка приходила смотреть на яркий огонь так же, как дети собираются вокруг неубранного чайного стола послушать перед сном сказку. Огонь то вспыхивал, то ослабевал от сгоравших в ламповом стекле зеленых мошек. Должно быть, он казался лягушке большим алмазом, где, если долго всматриваться, можно увидеть в каждой грани целые страны с золотыми водопадами и радужными звездами.

Лягушка так увлекалась этой сказкой, что ее приходилось щекотать палкой, чтобы она очнулась и ушла к себе, под сгнившее крыльцо, — на его ступеньках ухитрялись расцветать одуванчики.

Во время дождя кое-где протекала крыша. Мы ставили на пол медные тазы. Ночью вода особенно звонко и мерно капала в них, и часто этот звон совпадал с громким тиканьем ходиков.

Ходики были очень веселые — разрисованные пышными розанами и трилистниками. Фунтик каждый раз, когда проходил мимо них, тихо ворчал — должно быть, для того, чтобы ходики знали, что в доме есть собака, были настороже и не позволяли себе никаких вольностей — не убегали вперед на три часа в сутки или не останавливались без всякой причины.

В доме жило много старых вещей. Когда-то давно эти вещи были нужны обитателям дома, а сейчас они пылились и рассыхались на чердаке и в них копошились мыши.

Изредка мы устраивали на чердаке раскопки и среди разбитых оконных рам и занавесей из мохнатой паутины находили то ящик от масляных красок, покрытый разноцветными окаменелыми каплями, то сломанный перламутровый веер, то медную кофейную мельницу времен севастопольской обороны, то огромную тяжелую книгу с гравюрами из древней истории, то, наконец, пачку переводных картинок.

Мы переводили их. Из-под размокшей бумажной пленки появлялись яркие и липкие виды Везувия, итальянские ослики, убранные гирляндами роз, девочки в соломенных шляпах с голубыми атласными

лентами, играющие в серсо, и фрегаты, окруженные пухлыми мячиками порохового дыма.

Как-то на чердаке мы нашли деревянную черную шкатулку. На крышке ее медными буквами была выложена английская надпись: «Эдинбург. Шотландия. Делал мастер Гальвестон».

Шкатулку принесли в комнаты, осторожно вытерли с нее пыль и открыли крышку. Внутри были медные валики с тонкими стальными шипами. Около каждого валика сидела на бронзовом рычажке медная стрекоза, бабочка или жук.

Это была музыкальная шкатулка. Мы завели ее, но она не играла. Напрасно мы нажимали на спинки жуков, мух и стрекоз — шкатулка была испорчена.

За вечерним чаем мы заговорили о таинственном мастере Гальвестоне. Все сошлись на том, что это был веселый пожилой шотландец в клетчатом жилете и кожаном фартуке. Во время работы, обтачивая в тисках медные валики, он, наверное, насвистывал песенку о почтальоне, чей рог поет в туманных долинах, и девушке, собирающей хворост в горах. Как все хорошие мастера, он разговаривал с теми вещами, которые делал, и рассказывал им их будущую жизнь. Но, конечно, он никак не мог догадаться, что эта черная шкатулка попадет из-под бледного шотландского неба в пустынные леса за Окой, в деревню, где только одни петухи поют, как в Шотландии, а все остальное совсем не похоже на эту далекую северную страну.

С тех пор мастер Гальвестон стал как бы одним из невидимых обитателей старого деревенского дома. Порой нам даже казалось, что мы слышим его хриплый кашель, когда он невзначай поперхнется дымом из трубки. А когда мы что-нибудь сколачивали — стол в беседке или новую скворечню — и спорили, как держать фуганок или пригнать одну к другой две доски, то часто ссылались на мастера Гальвестона, будто он стоял рядом и, прищурив серый глаз, насмешливо смотрел на нашу возню. И все мы напевали последнюю любимую песенку Гальвестона:

Прощай, звезда над милыми горами!
Прощай навек, мой теплый отчий дом...

Шкатулку поставили на стол, рядом с цветком герани, и в конце концов забыли о ней.

Но как-то осенью, поздней осенью, в старом и гулком доме раздался стеклянный переливающийся звон, будто кто-то ударял маленькими молоточками по колокольчикам, и из этого чудесного звона возникла и полилась мелодия:

В милые горы
Ты возвратишься...

Это неожиданно проснулась после многолетнего сна и заиграла шкатулка. В первую минуту мы испугались, и даже Фунтик слушал, осторожно подымая то одно, то другое ухо. Очевидно, в шкатулке соскочила какая-нибудь пружина.

Шкатулка играла долго, то останавливаясь, то снова наполняя дом таинственным звоном, и даже ходики притихли от изумления.

Шкатулка проиграла все свои песни, замолчала, и как мы ни бились, но заставить ее снова играть мы не смогли.

Сейчас, поздней осенью, когда я живу в Москве, шкатулка стоит там одна в пустых нетопленных комнатах, и, может быть, в непроглядные и тихие ночи она снова просыпается и играет, но ее уже некому слушать, кроме пугливых мышей.

Мы долго потом насвистывали мелодию о милых покинутых горах, пока однажды нам ее не просвистел пожилой скворец, — он жил в скворечне около калитки. До тех пор он пел хриплые и странные песни, но мы слушали их с восхищением. Мы догадывались, что эти песни он выучил зимой в Африке, подслушивая игры негритянских детей. И почему-то мы радовались, что будущей зимой где-то страшно далеко, в густых лесах на берегу Нигера, скворец будет петь под африканским небом песню о старых покинутых горах Европы.

Каждое утро на дощатый стол в саду мы насыпали крошки и крупу. Десятки шустрых синиц слетались на стол и склевывали крошки. У синиц были белые пушистые щеки, и когда синицы все сразу клевали, то

было похоже, будто по столу торопливо бьют десятки белых молоточков.

Синицы ссорились, трещали, и этот треск, напоминавший быстрые удары ногтем по стакану, сливался в веселую мелодию. Казалось, что в саду играл на старом столе живой щебечущий музыкальный ящик.

Среди жильцов старого дома, кроме Фунтика, кота Степана, петуха, ходиков, музыкального ящика, мастера Гальвестона и скворца, были еще прирученная дикая утка, еж, страдавший бессонницей, колокольчик с надписью «Дар Валдая» и барометр, всегда показывавший «великую сушь». О них придется рассказать в другой раз — сейчас уже поздно.

Но если после этого маленького рассказа вам приснится ночная веселая игра музыкального ящика, звон дождевых капель, падающих в медный таз, ворчанье Фунтика, недовольного ходиками, и кашель добряка Гальвестона — я буду думать, что рассказал вам все это не напрасно.

1940

СИВЫЙ МЕРИН

На закате колхозных лошадей гнали через брод и луга в ночное. В лугах они паслись, а поздней ночью подходили к огороженным теплым стогам и спали около них стоя, всхрапывая и потряхивая ушами. Лошади просыпались от каждого шороха, от крика перепела, от гудка буксирного парохода, тащившего по Оке баржи. Пароходы всегда гудели в одном и том же месте, около переката, где был виден белый сигнальный огонь. До огня было не меньше пяти километров, но казалось, что он горит недалеко, за соседними ивами.

Каждый раз, когда мы проходили мимо согнанных в ночное лошадей, Рувим спрашивал меня, о чем думают лошади ночью.

Мне казалось, что лошади ни о чем не думают. Они слишком уставали за день. Им было не до размышлений. Они жевали мокрую от росы траву и вдыхали, раздув ноздри, свежие запахи ночи. С берега Прорвы доносился тонкий запах отцветающего шиповника и листьев ивы. Из лугов за Новоселковским бродом тянуло ромашкой и медуницей, — ее запах был похож на сладкий запах пыли. Из лощин пахло укропом, из озер — глубокой водой, а из деревни изредка

доносился запах только что испеченного черного хлеба. Тогда лошади подымали головы и ржали.

Однажды мы вышли на рыбную ловлю в два часа ночи. В лугах было сумрачно от звездного света. На востоке уже занималась, синея, заря.

Мы шли и говорили, что самое безмолвное время суток на земле всегда бывает перед рассветом. Даже в больших городах в это время становится тихо, как в поле.

По дороге на озеро стояло несколько ив. Под ивами спал сивый мерин. Когда мы проходили мимо него, он проснулся, махнул тощим хвостом, подумал и побрел следом за нами.

Всегда бывает немного жутко, когда ночью лошадь увяжется за тобой и не отстает ни на шаг. Как ни оглянешься, она все идет, покачивая головой и перебирая тонкими ногами. Однажды днем в лугах ко мне вот так же пристала ласточка. Она кружилась около меня, задевала за плечо, кричала жалобно и настойчиво, будто я у нее отнял птенца и она просила отдать его обратно. Она летела за мной, не отставая, два часа, и в конце концов мне стало не по себе. Я не мог догадаться, что ей нужно. Я рассказал об этом знакомому деду Митрию, и он посмеялся надо мной.

— Эх ты, безглазый! — сказал он. — Да ты глядел или нет, чего она делала, эта ласточка. Видать, что нет. А еще очки в кармане носишь. Дай покурить, тогда я тебе все объясню.

Я дал ему покурить, и он открыл мне простую истину: когда человек идет по некошеному лугу, он спугивает сотни кузнечиков и жуков, и ласточке незачем выискивать их в густой траве — она летает около человека, ловит их на лету и кормится без всякой заботы.

Но старый мерин нас не испугал, хотя и шел сзади так близко, что иногда толкал меня мордой в спину. Старого мерина мы знали давно, и ничего таинственного в том, что он увязался за нами, не было. Попросту ему было скучно стоять одному всю ночь под ивой и прислушиваться, не ржет ли где-нибудь его приятель, гнедой одноглазый конь.

На озере, пока мы разводили костер, старый мерин подошел к воде, долго ее нюхал, но пить не захотел. Потом он осторожно пошел в воду.

— Куда, дьявол! — в один голос закричали мы оба, боясь, что мерин распугает рыбу.

Мерин покорно вышел на берег, остановился у костра и долго смотрел, помахивая головой, как мы кипятили в котелке чай, потом тяжело вздохнул, будто сказал: «Эх вы, ничего-то вы не понимаете!» Мы дали ему корку хлеба. Он осторожно взял ее теплыми губами, сжевал, двигая челюстями из стороны в сторону, как теркой, и снова уставился на костер — задумался.

— Все-таки, — сказал Рувим, закуривая, — он, наверное, о чем-нибудь думает.

Мне казалось, что если мерин о чем-нибудь и думает, то главным образом о людской неблагодарности и бестолковости. Что он слышал за всю свою жизнь? Одни только несправедливые окрики: «Куда, дьявол!», «Заелся на хозяйских хлебах!», «Овса ему захотелось — подумаешь, какой барин!» Стоило ему оглянуться, как его хлестали вожжой по потному боку и раздавался все один и тот же угрожающий окрик: «Но-но, оглядывайся у меня!» Даже пугаться ему запрещалось — тотчас возница начинал накручивать вожжами над головой и кричать тонким злорадным голосом: «Боишьси-и, черт!» Хомут всегда затягивали, упираясь в него грязным сапогом, и тем же сапогом толкали мерина в брюхо, чтобы он не надувал его, когда затягивали подпругу.

Благодарности не было. А он всю жизнь таскал, хрипя и надсаживаясь, по пескам, по грязи, по липкой глине, по косогорам, по «битым» дорогам и кривым проселкам скрипучие, плохо смазанные телеги с сеном, картошкой, яблоками и капустой. Иногда в песках он останавливался отдохнуть. Бока его тяжело ходили, от гривы поднимался пар, но возницы со свистом вытягивали его ременным кнутом по дрожащим ногам и хрипло, с наигранной яростью кричали: «Но-о, идол, нет на тебя погибели!» И мерин, рванувшись, тащил телегу дальше.

Начало быстро светать. Звезды бледнели, как бы уходили от земли в глубину неба. Неожиданно над головой, на огромной высоте, загорелось нежным розовым светом одинокое облачко, похожее на пух. Там, в вышине, уже светило летнее солнце, а на земле еще стоял сумрак, и роса капала с белых зонтичных цветов дягиля в темную, настоявшуюся за ночь воду.

Мерин опустил голову к самой земле, из его глаз выкатилась одинокая старческая слеза, и он уснул.

Утром, когда роса горела от солнца на травах так сильно, что весь воздух вокруг был полон влажного блеска, мерин проснулся и громко заржал. Из лугов шел к нему с недоуздком, перекинутым через плечо, колхозный конюх Петя, недавно вернувшийся из армии белобрысый красноармеец. Мерин медленно пошел к нему навстречу, потерся головой о плечо Пети и безропотно дал надеть на себя недоуздок.

Петя привязал его к изгороди около стога, а сам подошел к нам — покурить и побеседовать насчет клева.

— Вот вы, я гляжу, — сказал он, сплевывая, — ловите на шелковый шнур, а наши огольцы плетут лески из конского волоса. У мерина весь хвост повыдергали, черти! Скоро обмахнуться от овода — и то будет нечем.

— Старик свое отработал, — сказал я.

— Известно, отработал, — согласился Петя. — Старик хороший, душевный.

Он помолчал. Мерин оглянулся на него и тихо заржал.

— Подождешь, — сказал Петя. — Работы с тебя никто не спрашивает — ты и молчи.

— А что он, болен, что ли? — спросил Рувим.

— Да нет, не болен, — ответил Петя, — а только тяги у него уже не хватает. Отслужил. Председатель колхоза — ну, знаете, этот сухорукий — хотел было отправить его к коновалу, снять шкуру, а я воспрепятствовал. Не то чтобы жалко, а так... Все-таки снисхождение к животному надо иметь. Для людей — дома отдыха, а для него — что? Шиш! Так, значит, и выходит — всю жизнь запаривайся, а как пришла старость — так под нож. «Нет, говорю, Леонтий Кузьмич,

не имеешь ты в себе окончательной правды. Ты, говорю, за копейкой гонись, но и совесть свою береги. Отдай мне этого мерина, пусть он у меня поживет на вольном воздухе, попасется, — ему и жить-то осталось всего ничего». Поглядите, даже морда у него — и та кругом седая.

— Ну, и что же председатель? — спросил Рувим.

— Согласился. «Только, говорит, я тебе для него не дам ни полпуда овса. Это уже, говорит, похоже на расточительство». — «А мне, говорю, на ваш овес как будто наплевать, я своим кормить буду». Так вот и живет у меня. Моя старуха, мамаша, сначала скрипела: зачем, мол, этого дармоеда на дворе держим, а сейчас обвыкла, даже разговаривает с ним, с мерином, когда меня нету. Поговорить, знаете, не с кем, вот она ему и рассказывает всякую всячину. А он и рад слушать... Но-о, дьявол! — неожиданно закричал Петя.

Мерин, ощерив желтые зубы, тихонько грыз изгородь около стога. Петя поднялся.

— Два дня в лугах погулял, теперь пусть постоит во дворе, в сарае, — сказал он и протянул мне черную от дегтя руку. — Прощайте.

Он увел мерина. Тихое утро было полно такой свежести, будто воздух промыли родниковой водой. В озере отражались белые, как первый снег, цветы водокраса. Под ними медленно проплывали маленькие лини. И где-то далеко, в цветущих лугах, добродушно заржал мерин.

1940

ПОДАРОК

Каждый раз, когда приближалась осень, начинались разговоры о том, что многое в природе устроено не так, как нам бы хотелось. Зима у нас длинная, затяжная, лето гораздо короче зимы, а осень проходит мгновенно и оставляет впечатление промелькнувшей за окном золотой птицы.

Разговоры наши любил слушать внук лесника Ваня Малявин, мальчик лет пятнадцати. Он часто приходил к нам в деревню из дедовской сторожки с Урженского озера и приносил то кошелку белых грибов, то решето брусники, а то прибегал просто так — погостить у нас, послушать разговоры и почитать журнал «Вокруг света».

Толстые переплетенные томы этого журнала валялись в чулане вместе с веслами, фонарями и старым ульем. Улей был выкрашен белой клеевой краской. Она отваливалась от сухого дерева большими кусками, и дерево под краской пахло старым воском.

Однажды Ваня принес маленькую, выкопанную с корнем березу. Корни он обложил сырым мхом и обернул рогожей.

— Это вам, — сказал он и покраснел. — Подарок. Посадите ее в деревянную кадку и поставьте в теплой комнате — она всю зиму будет зеленая.

— Зачем ты ее выкопал, чудак? — спросил Рувим.

— Вы же говорили, что вам жалко лета, — ответил Ваня. — Дед меня и надоумил. «Сбегай, говорит, на прошлогоднюю гарь, там березы-двухлетки растут, как трава, — проходу от них нет никакого. Выкопай и отнеси Руму Исаевичу (так дед называл Рувима). Он о лете беспокоится, вот и будет ему на студеную зиму летняя память. Оно, конечно, весело поглядеть на зеленый лист, когда на дворе снег валит как из мешка».

— Я не только о лете, я еще больше об осени жалею, — сказал Рувим и потрогал тоненькие листья березы.

Мы принесли из сарая ящик, насыпали его доверху землей и пересадили в него маленькую березу. Ящик поставили в самой светлой и теплой комнате у окна, и через день опустившиеся ветки березы поднялись, вся она повеселела, и даже листья у нее уже шумели, когда сквозной ветер врывался в комнату и в сердцах хлопал дверью.

В саду поселилась осень, но листья нашей березы оставались зелеными и живыми. Горели темным пурпуром клены, порозовел бересклет, ссыхался дикий виноград на беседке. Даже кое-где на березах в саду появились желтые пряди, как первая седина у нестарого человека. Но береза в комнате, казалось, все молодела. Мы не замечали у нее никаких признаков увядания.

Как-то ночью пришел первый заморозок. Он надышал холодом на стекла в доме, и они запотели, посыпал зернистым инеем крыши, захрустел под ногами. Одни только звезды как будто обрадовались первому морозу и сверкали гораздо ярче, чем в теплые летние ночи. В эту ночь я проснулся от протяжного и приятного звука — пастуший рожок пел в темноте. За окнами едва заметно голубела заря.

Я оделся и вышел в сад. Резкий воздух обмыл лицо холодной водой — сон сразу прошел. Разгорался рассвет. Синева на востоке сменилась багровой мглой, похожей на дым пожара. Мгла эта светлела, делалась все прозрачнее, сквозь нее уже были видны далекие и нежные страны золотых и розовых облаков.

Ветра не было, но в саду все падали и падали листья. Березы за одну эту ночь пожелтели до самых верхушек, и листья осыпались с них частым и печальным дождем.

Я вернулся в комнаты: в них было тепло, сонно. В бледном свете зари стояла в кадке маленькая береза, и я вдруг заметил — почти вся она за эту ночь пожелтела, и несколько лимонных листьев уже лежало на полу.

Комнатная теплота не спасла березу. Через день она облетела вся, как будто не хотела отставать от своих взрослых подруг, осыпавшихся в холодных лесах, рощах, на сырых по осени просторных полянах.

Ваня Малявин, Рувим и все мы были огорчены. Мы уже свыклись с мыслью, что в зимние снежные дни береза будет зеленеть в комнатах, освещенных белым солнцем и багровым пламенем веселых печей. Последняя память о лете исчезла.

Знакомый лесничий усмехнулся, когда мы рассказали ему о своей попытке спасти зеленую листву на березе.

— Это закон, — сказал он. — Закон природы. Если бы деревья не сбрасывали на зиму листья, они бы погибали от многих вещей — от тяжести снега, который нарастал бы на листьях и ломал самые толстые ветки, и от того, что к осени в листве накапливалось бы много вредных для дерева солей, и, наконец, от того, что листья продолжали бы и среди зимы испарять влагу, а мерзлая земля не давала бы ее корням дерева, и дерево неизбежно погибло бы от зимней засухи, от жажды.

А дед Митрий, по прозвищу «Десять процентов», узнав об этой маленькой истории с березой, истолковал ее по-своему.

— Ты, милок, — сказал он Рувиму, — поживи с мое, тогда и спорь. А то ты со мной все споришь, а видать, что умом пораскинуть у тебя еще времени не хватило. Нам, старым, думать способнее. У нас заботы мало — вот и прикидываем, что к чему на земле притесано и какое имеет объяснение. Взять, скажем, эту березу. Ты мне про лесничего не говори, я наперед

знаю все, что он скажет. Лесничий мужик хитрый, он когда в Москве жил, так, говорят, на электрическом току пищу себе готовил. Может это быть или нет?

— Может, — ответил Рувим.

— Может, может! — передразнил его дед. — А ты этот электрический ток видал? Как же ты его видал, когда он видимости не имеет, вроде как воздух? Ты про березу слушай. Промеж людей есть дружба или нет? То-то, что есть. А люди заносятся. Думают, что дружба им одним дадена, чванятся перед всяким живым существом. А дружба — она, брат, кругом, куда ни глянешь. Уж что говорить, корова с коровой дружит и зяблик с зябликом. Убей журавля, так журавлиха исчахнет, исплачется, места себе не найдет. И у всякой травы и дерева тоже, надо быть, дружба иногда бывает. Как же твоей березе не облететь, когда все ее товарки в лесах облетели? Какими глазами она весной на них взглянет, что скажет, когда они зимой исстрадались, а она грелась у печки, в тепле, да в сытости, да в чистоте? Тоже совесть надо иметь.

— Ну, это ты, дед, загнул, — сказал Рувим. — С тобой не столкуешься.

Дед захихикал.

— Ослаб? — спросил он язвительно. — Сдаешься? Ты со мной не заводись, — бесполезное дело.

Дед ушел, постукивая палкой, очень довольный, уверенный в том, что победил в этом споре нас всех и заодно с нами и лесничего.

Березу мы высадили в сад, под забор, а ее желтые листья собрали и засушили между страниц «Вокруг света».

Этим и кончилась наша попытка сохранить зимой память о лете.

1940

ПРОЩАНИЕ С ЛЕТОМ

Несколько дней лил, не переставая, холодный дождь. В саду шумел мокрый ветер. В четыре часа дня мы уже зажигали керосиновые лампы, и невольно казалось, что лето окончилось навсегда и земля уходит все дальше и дальше в глухие туманы, в неуютную темень и стужу.

Был конец ноября — самое грустное время в деревне. Кот спал весь день, свернувшись на старом кресле, и вздрагивал во сне, когда темная вода хлестала в окна.

Дороги размыло. По реке несло желтоватую пену, похожую на сбитый белок. Последние птицы спрятались под стрехи, и вот уже больше недели, как никто нас не навещал: ни дед Митрий, ни Ваня Малявин, ни лесничий.

Лучше всего было по вечерам. Мы затапливали печи. Шумел огонь, багровые отвесы дрожали на бревенчатых стенах и на старой гравюре — портрете художника Брюллова. Откинувшись в кресле, он смотрел на нас и, казалось, так же как и мы, отложив раскрытую книгу, думал о прочитанном и прислушивался к гудению дождя по тесовой крыше.

Ярко горели лампы, и все пел и пел свою нехитрую песню медный самовар-инвалид. Как только его

вносили в комнату, в ней сразу становилось уютно — может быть, оттого, что стекла запотевали и не было видно одинокой березовой ветки, день и ночь стучавшей в окно.

После чая мы садились у печки и читали. В такие вечера приятнее всего было читать очень длинные и трогательные романы Чарльза Диккенса или перелистывать тяжелые тома журналов «Нива» и «Живописное обозрение» за старые годы.

По ночам часто плакал во сне Фунтик — маленькая рыжая такса. Приходилось вставать и закутывать его теплой шерстяной тряпкой. Фунтик благодарил сквозь сон, осторожно лизал руку и, вздохнув, засыпал. Темнота шумела за стенами плеском дождя и ударами ветра, и страшно было подумать о тех, кого, может быть, застигла эта ненастная ночь в непроглядных лесах.

Однажды ночью я проснулся от странного ощущения. Мне показалось, что я оглох во сне. Я лежал с закрытыми глазами, долго прислушивался и, наконец, понял, что я не оглох, а попросту за стенами дома наступила необыкновенная тишина. Такую тишину называют «мертвой». Умер дождь, умер ветер, умер шумливый, беспокойный сад. Было только слышно, как посапывает во сне кот.

Я открыл глаза. Белый и ровный свет наполнял комнату. Я встал и подошел к окну — за стеклами все было снежно и безмолвно. В туманном небе на головокружительной высоте стояла одинокая луна, и вокруг нее переливался желтоватый круг.

Когда же выпал первый снег? Я подошел к ходикам. Было так светло, что ясно чернели стрелки. Они показывали два часа.

Я уснул в полночь. Значит, за два часа так необыкновенно изменилась земля, за два коротких часа поля, леса и сады заворожила стужа.

Через окно я увидел, как большая серая птица села на ветку клена в саду. Ветка закачалась, с нее посыпался снег. Птица медленно поднялась и улетела, а снег все сыпался, как стеклянный дождь, падающий с елки. Потом снова все стихло.

Проснулся Рувим. Он долго смотрел за окно, вздохнул и сказал:

— Первый снег очень к лицу земле.

Земля была нарядная, похожая на застенчивую невесту.

А утром все хрустело вокруг: подмерзшие дороги, листья на крыльце, черные стебли крапивы, торчавшие из-под снега.

К чаю приплелся в гости дед Митрий и поздравил с первопутком.

— Вот и умылась земля, — сказал он, — снеговой водой из серебряного корыта.

— Откуда ты это взял, Митрий, такие слова? — спросил Рувим.

— А нешто не верно? — усмехнулся дед. — Моя мать, покойница, рассказывала, что в стародавние годы красавицы умывались первым снегом из серебряного кувшина и потому никогда не вяла их красота. Было это еще до царя Петра, милок, когда по здешним лесам разбойники купцов разоряли.

Трудно было оставаться дома в первый зимний день. Мы ушли на лесные озера. Дед проводил нас до опушки. Ему тоже хотелось побывать на озерах, но «не пущала ломота в костях».

В лесах было торжественно, светло и тихо.

День как будто дремал. С пасмурного высокого неба изредка падали одинокие снежинки. Мы осторожно дышали на них, и они превращались в чистые капли воды, потом мутнели, смерзались и скатывались на землю, как бисер.

Мы бродили по лесам до сумерек, обошли знакомые места. Стаи снегирей сидели, нахохлившись, на засыпанных снегом рябинах.

Мы сорвали несколько гроздей схваченной морозом красной рябины — это была последняя память о лете, об осени.

На маленьком озере — оно называлось Лариным прудом — всегда плавало много ряски. Сейчас вода в озере была очень черная, прозрачная, — вся ряска к зиме опустилась на дно.

У берегов наросла стеклянная полоска льда. Лед был такой прозрачный, что даже вблизи его было трудно заметить. Я увидел в воде у берега стаю плотиц и бросил в них маленький камень. Камень упал на лед, зазвенел, плотицы, блеснув чешуей, метнулись в глубину, а на льду остался белый зернистый след от удара. Только поэтому мы и догадались, что у берега уже образовался слой льда. Мы обламывали руками отдельные льдинки. Они хрустели и оставляли на пальцах смешанный запах снега и брусники.

Кое-где на полянах перелетали и жалобно попискивали птицы. Небо над головой было очень светлое, белое, а к горизонту оно густело, и цвет его напоминал свинец. Оттуда шли медленные снеговые тучи.

В лесах становилось все сумрачнее, все тише, и, наконец, пошел густой снег. Он таял в черной воде озера, щекотал лицо, порошил серым дымом леса.

Зима начала хозяйничать над землей, но мы знали, что под рыхлым снегом, если разгрести его руками, еще можно найти свежие лесные цветы, знали, что в печах всегда будет трещать огонь, что с нами остались зимовать синицы, и зима показалась нам такой же прекрасной, как лето.

1940

ПРИМЕЧАНИЯ

МАЛЕНЬКИЕ ПОВЕСТИ

Судьба Шарля Лонсевиля. Повесть была написана летом 1933 года в Мещорских лесах, в селе Солотче. О возникновении замысла этой повести Паустовский подробно рассказал в своей книге «Золотая роза», в главе «Белая ночь».

Впервые повесть вышла отдельным изданием в 1933 году в издательстве «Молодая гвардия» (Москва), после чего выдержала несколько изданий. Переведена на многие языки народов СССР.

Озерный фронт. Повесть под названием «Озерная война» была напечатана в журнале «30 дней» (1933, № 1). Затем под названием «Озерный фронт» вышла отдельным изданием в Детиздате (1934) и в «Роман-газете» (1934, № 10).

Созвездия Гончих Псов. Повесть написана в Ялте в 1936 году во время испанских событий. Ряд подробностей тогдашней жизни в Ялте органически вошел в эту повесть. Об этом Паустовский пишет в «Золотой розе», в главе «Зарубки на сердце» (приводим выдержку из этой главы в сокращенном виде): «Я жил тогда в Ялте. Когда я открывал окна, в комнату залетали сухие дубовые листья. По ночам холодный ветер дул с гор, присыпанных снегом. Поэт Асеев, живший рядом со мной, писал стихи о героической Испании и «древнем небе Барселоны». По вечерам мы собирались около радио и слушали сводки о боях в Испании. Мы ездили в Симеизскую обсерваторию. Седой астроном показывал нам звездное небо — сияние редких и головокружительно далеких огней в необъятных провалах неба. Изредка

до Ялты доносилась учебная стрельба кораблей Черноморского флота. Тогда вздрагивала в графинах вода, тихий гул перекатывался по яйле, запутывался в сосновой хвое и затихал. Ночью в небе рокотали невидимые самолеты. Я читал книгу о Сервантесе. Гайдар привел в наш дом огромную лохматую собаку со смеющимися глазами. Он говорил, что это горная овчарка.

Вот целый ряд подробностей тогдашней «текущей жизни». Из них сложилась повесть «Созвездие Гончих Псов». В этой повести вы найдете все, о чем я упомянул выше: сухие дубовые листья, седого астронома, гул канонады, Сервантеса, людей, непоколебимо уверенных в победе гуманизма, горную овчарку, ночной полет и многое другое. Все это спаяно, конечно, в ином соотношении и вошло в определенный сюжет».

Впервые повесть была напечатана в журнале «Знамя» (1937, № 6).

Отдельным изданием «Созвездие Гончих Псов» вышло в 1937 году в Детиздате.

По этой повести Паустовским была написана одноименная пьеса. В течение нескольких лет она шла во многих театрах страны.

Орест Кипренский. Биографическая повесть о художнике Кипренском была напечатана в журнале «Красная новь» (1937, № 6), после чего вышла отдельным изданием в серии «Жизнь замечательных людей» в Детиздате в 1938 году.

Исаак Левитан. Повесть была напечатана в журнале «Красная новь» (1937, № 6), а затем так же, как и книга о Кипренском, вышла в серии «Жизнь замечательных людей» в Детиздате в 1938 году.

Мещорская сторона. Повесть впервые напечатана в 1939 году в Детиздате, выдержала семь изданий, была переведена на многие иностранные языки.

Мещорский край (лесистая низменность между Рязанью и Владимиром) Паустовский несколько раз называл своей «второй родиной». Писатель прожил в этом краю с небольшими перерывами свыше двадцати лет. Это время было одним из самых плодотворных в его творчестве. По свидетельству автора, в Мещоре он впервые вплотную прикоснулся к народной жизни и к истокам чистого народного языка.

Роль Мещоры в творчестве Паустовского очень значительна. Об этом свидетельствует не только повесть «Мещорская сторона», но и многие рассказы и очерки Паустовского, посвящен-

ные этому уголку русской земли. Достаточно назвать хотя бы часть этих рассказов, чтобы понять мощное влияние скромной Мещорской земли на формирование писательского сознания Паустовского, на его язык, строй образов и поэтику его произведений. Мещора вызвала к жизни такие рассказы, как цикл «Летних дней», «Старый челн», «Стекольный мастер», «Жильцы старого дома», «Ночь в октябре», «Телеграмма», «Кордон 273», «Во глубине России», «Клад», «Стальное колечко» и ряд других.

Тарас Шевченко. Биографическая повесть о Тарасе Шевченко была написана в 1939 году и вышла в том же году в массовом издании в Гослитиздате (Москва).

Разливы рек. Небольшая повесть о Лермонтове была написана в 1952 году и впервые опубликована в сборнике рассказов Паустовского «Бег времени» («Советский писатель», 1954).

Кроме «Разливов рек», Паустовский написал о своем любимом поэте Лермонтове пьесу «Поручик Лермонтов» и два сценария. Один из них был поставлен Детфильмом и шел на экранах.

РАССКАЗЫ

Слава боцмана Миронова. Впервые напечатан в первой вышедшей из печати в 1925 году книге рассказов Паустовского «Морские наброски» (Библиотечка «На вахте», РИО ЦК водников, Москва).

Репортер Крыс. Впервые напечатан в сборнике «Романтики», Москва, Государственное издательство «Художественная литература», 1935.

Лихорадка. Под названием «Минетоза» был впервые напечатан в журнале «Сибирские огни» (1925, № 2). Под этим же названием он вошел в сборник рассказов Паустовского «Минетоза» (изд-во «Огонек», 1927).

Этикетки для колониальных товаров. Впервые напечатан в сборнике рассказов Паустовского «Встречные корабли» («Молодая гвардия», М. 1928). Рассказ написан в зиму 1924 года в Батуме, где Паустовский редактировал в то время маленькую морскую газету «Маяк», печатавшуюся на ножной печатной машине — «бостонке». Несмотря на ничтожный размер газеты, в ней работали талантливые люди: писатели И. Бабель, Ульянский, Р. Фраерман, поэт Александр Чачиков, фельетонист Ядов.

Под именем Шифрина в рассказе выведен один из сотрудников «Маяка» — гравер, резавший для газеты клише на линолеуме.

Дочечка Броня. Впервые напечатан в сборнике рассказов Паустовского «Встречные корабли» («Молодая гвардия», М. 1928).

В рассказе описан подлинный случай, бывший в Одессе в 1921 году. Участниками выступления на Куяльницком лимане, кроме самого автора, были поэт Багрицкий и профессор Варнеке.

Кофейная гавань. Впервые напечатан в сборнике Паустовского «Рассказы», Детиздат, 1935.

Ценный груз. Первоначально рассказ вышел отдельной небольшой книгой в издательстве «Молодая гвардия» (М. 1931), а затем в значительно исправленном и сокращенном виде вошел в последующие сборники рассказов Паустовского.

Московское лето. Впервые напечатан в сборнике Паустовского «Романтики» (Государственное издательство «Художественная литература», М. 1935).

Первоначально рассказ назывался «Пятый день», в связи с тем, что во время написания рассказа выходным днем было не воскресенье, а последовательно каждый пятый день.

Соранг. Первоначально напечатан в журнале «30 дней» (1933, № 11—12).

Рассказ написан поздней осенью 1933 года в писательском доме отдыха в Малеевке. Однажды несколько отдыхавших в Малеевке писателей решили устроить шуточный конкурс на самое быстрое написание рассказа. Паустовский написал рассказ «Соранг» за полтора часа.

Инкубатор капитана Косоходова. Написан в 1933 году, печатается впервые. Принадлежит к тому же циклу одесских шутливых рассказов, что и «Дочечка Броня». Таких рассказов, связанных с жизнью Паустовского в Одессе и с его работой в газете «Моряк», было написано больше десяти, но, по свидетельству автора, все они, за исключением двух, были потеряны.

Сардинки из Одьерна. Рассказ напечатан в журнале «30 дней» (1934, № 1). Написан в связи с всеобщей забастовкой рыбаков во Франции в 1933 году.

Черные сети. Впервые опубликован в журнале «Борьба миров» («Молодая гвардия», 1930, № 1).

Жара. Напечатан в сборнике Паустовского «Рассказы», Детиздат, 1935.

Тост. Впервые напечатан в журнале «30 дней» (1933, № 11—12).

Доблесть. Впервые напечатан в сборнике Паустовского «Рассказы», Детиздат, 1935.

Морская прививка. Напечатан в журнале «30 дней» (1935, № 3). О значении этого рассказа для творческого пути Паустовского писатель рассказал в предисловии к настоящему изданию.

Музыка Верди. Рассказ был написан в Севастополе в 1936 году, когда Паустовский работал там над своей повестью «Черное море». Впервые напечатан в «Правде» 2 января 1936 года.

Австралиец со станции Пилево. Напечатан в сборнике Паустовского «Повести и рассказы» (Государственное издательство «Художественная литература», 1939). Сюжет рассказа был подсказан Паустовскому писателем А. И. Роскиным, равно как и его название.

Кот-ворюга. Барсучий нос. Последний черт. Резиновая лодка. Золотой линь. Входят в цикл «мещорских» рассказов «Летние дни». Этот цикл рассказов был издан Детиздатом в 1937 году и затем многократно переиздавался.

Заячьи лапы. Опубликован отдельным изданием в Детиздате, 1937.

Парусный мастер. Напечатан в первый раз в сборнике Паустовского «Рассказы», Детиздат, 1940.

Потерянный день. Напечатан в журнале «Знамя» (1937, № 6). Рассказ представляет совершенно точное описание поездки автора и писателей А. И. Роскина и С. Г. Гехта по Крыму зимой 1937 года. По поводу этого рассказа Юрий Олеша напечатал в «Литературной газете» (26 августа 1937 г.) статью под названием «Письмо писателю Паустовскому».

Поводырь. Первоначально был напечатан в журнале «Знамя» (1938, № 2). Песня лирника написана самим Паустовским, равно как и многие песни в других его рассказах и романах, в частности в «Далеких годах» (песня слепца над могилой поводыря).

Колотый сахар. Под названием «Гостинец» был напечатан в «Правде» 10 мая 1937 года. Под новым названием «Колотый сахар» впервые напечатан в сборнике «Повести и рассказы» (Государственное издательство «Художественная литература», М. 1939).

Ленька с Малого озера. Впервые напечатан в «Правде» 18 октября 1937 года. Под именем Леньки в рассказе описан маленький приятель Паустовского Вася Зотов, живший в Мещоре на озере Сегден в талантливой семье колхозника Кузьмы Леонтьевича Зотова. О Васе Зотове (называя его разными именами) и его семье Паустовский писал несколько раз, в частности в рассказах «Подарок», «Акварельные краски», «Записки Ивана Малявина» и в повести «Мещорская сторона».

Старый челн. Впервые опубликован в «Правде» 7 ноября 1940 года. Первый по времени рассказ Паустовского, посвященный теме леса. В дальнейшем она заняла большое место в творчестве Паустовского — в его рассказах, статьях и, наконец, в «Повести о лесах».

Стекольный мастер. Напечатан в «Литературной газете» 31 декабря 1940 года.

Ручьи, где плещется форель. Старый повар. Вошли в незаконченную Паустовским повесть о музыкантах. Оба рассказа впервые были напечатаны под общим названием «Зимние рассказы» в сборнике «Михайловские рощи» (Библиотека «Огонька», изд-во «Правда», 1941).

Жильцы старого дома. Впервые опубликован в 1941 году в сборнике рассказов Паустовского под одноименным названием (Детиздат). В рассказе описан дом художника-гравера И. П. Пожалостина в селе Солотче, Рязанской области. В этом доме, кроме автора, жили писатели Р. Фраерман, А. Роскин, А. Гайдар, В. Гроссман, А. Платонов, И. Халтурин, С. Бондарин, архитектор М. Синявский, бывали К. Симонов и писатель-краевед Юрин.

Сивый мерин. Впервые опубликован в цикле рассказов, включенных в сборник «Жильцы старого дома» (Детиздат, 1941).

Подарок. Опубликован в сборнике рассказов Паустовского «Жильцы старого дома» (Детиздат, 1941).

Прощание с летом. Впервые напечатан в сборнике «Жильцы старого дома» (Детиздат, 1941).

СОДЕРЖАНИЕ

МАЛЕНЬКИЕ ПОВЕСТИ

РАССКАЗЫ

Паустовский
Константин Георгиевич

Собрание сочинений, т. 4

Редактор *Н. Крючкова*
Художник *Н. Шишловский*
Художеств. редактор *Ю. Боярский*
Технический редактор *В. Гриненко*
Корректор *В. Брагина*

*

Сдано в набор 9/XII 1957 г. Подписано к печати 4/III 1958 г. А02907. Бумага 84×108 1/32 20,5 печ. л.=33,6 усл. печ. л. 30,07 уч.-изд. л. Тираж 225000. Цена 12 р. Заказ № 2620.

Гослитиздат
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

*

Типография № 2 им. Евг. Соколовой
УПП Ленсовнархоза.
Ленинград, Измайловский пр., 29